

**ТЕОДОР
МОММЗЕН**

ИСТОРИЯ РИМА



**Книга четвертая
(продолжение)
РЕВОЛЮЦИЯ**

**Книга пятая
ПРОВИНЦИИ ОТ ЦЕЗАРЯ
ДО ДИОКЛЕТИАНА**



**Ростов-на-Дону
«Феникс»
Москва
«Зевс»
1997**

Теодор Моммзен

М 74 История Рима. В 4 томах. Том третий (кн. IV продолжение, кн. V). Ростов-на-Дону; Изд-во «Феникс». 1997. — 640 с.

В представленных томах Т. Моммзен на основе «Корпуса латинских надписей» описывает римские провинции от Августа до Диоклетиана. Автор был единственным компетентным ученым в этой области.

Для широкого круга читателей.

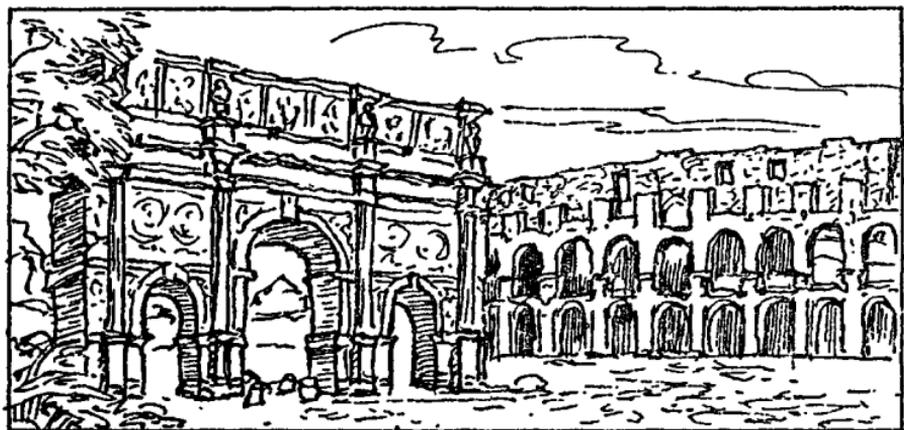
ББК 83.3Р7

ISBN 5-222-00049-4



**КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

РЕВОЛЮЦИЯ



Глава XIII

Литература и искусство

VI столетие было как в политическом, так и в литературном отношении бодрой и великой эпохой. Правда, в области литературы, как и в области политики, эта эпоха не дала талантов первого ранга. Невий, Энний, Плавт, Катон — даровитые, живые писатели, с яркой индивидуальностью, но это не творческие таланты в высшем смысле этого слова. Тем не менее чувствуется, что размах и смелость их драматических, эпических и исторических произведений выросли на почве гигантских боев пунических войн. Многие здесь искусственно пересажено, в рисунке и в красках немало недостатков, художественная форма и язык не отличаются чистотой, элементы греческие и национальные причудливо переплетаются; все творчество носит на себе школьный отпечаток, не самостоятельно и не совершенно. Однако если у поэтов и писателей этой эпохи не хватило сил для достижения своей высокой цели, в них жили мужество и надежда соперничества с греками. В описываемую эпоху дело обстояло иначе. Утренний туман рассеялся. Римляне уже не могли продолжать того, что начали с сознанием закаленной в войне народной силы, с юношеским задором и непониманием трудностей своего начинания и границ своего таланта, с юношеским пылом и увлечением. В воздухе уже чувствовалась томительная духота перед революционной грозой. У зорких людей постепенно открылись глаза на неподражаемое совершенство греческой поэзии и греческого искусства и на очень скромные художественные дарования римского народа. Литература VI столетия возникла благодаря воздействию греческого искусства на полуразвитые, но воз-

бужденные и восприимчивые умы. Распространение эллинского образования в VII столетии вызвало литературную реакцию; холодная рефлексия подобно зимнему морозу убила семена, заключавшиеся в наивных попытках подражать грекам, вместе с плевелими реакция вырвала с корнем и здоровые ростки старого направления.

Эта реакция первоначально и главным образом исходила из кружка Сципиона Эмилиана. Кроме самого Сципиона самыми выдающимися членами этого кружка были: из римской знати старший друг и советник Сципиона Гай Лелий (консул 614 г.) и молодые товарищи Сципиона, Луций Фурий Фил (консул 618 г.) и Спурий Муммий, брат разрушителя Коринфа; из римских и греческих литераторов — автор комедий Теренций, сатирик Луцилий, историк Полибий, философ Панэтий. Для кого не представляли трудностей «Илиада», Ксенофонт и Менаандр, тем не мог импонировать римский Гомер, а тем более плохие переводы трагедий Еврипида, которые делал Энний, а после него Пакувий. Патриотические соображения могли удерживать в известных рамках критику отечественной хроники. Однако уже Луцилий преследовал язвительными стрелами своего остроумия «печальные фигуры напыщенных произведений Пакувия». Такую же строгую, но справедливую критику произведений Энния, Плавта, Пакувия и всех поэтов, которые «как бы получили привилегию выражаться напыщенно и делать нелогические выводы», мы находим у остроумного автора риторики, написанной в конце этого периода и посвященной Гереннию. Члены сципионовского кружка пожимали плечами над вставками, которыми грубое народное остроумие римлян снабдило изящные комедии Филемона и Дифила. То ли с улыбкой, то ли с завистью они отворачивались от беспомощных усилий неодаренной эпохи, относились к ним примерно так, как зрелый человек к своим юношеским стихотворениям. Люди сципионовского кружка отказались от попыток пересадить чудесное дерево на римскую почву, отказались от высших форм искусства в римской поэзии и прозе и довольствовались тем, что разумно наслаждались произведениями греков. Творчество этой эпохи ограничивается преимущественно второстепенными формами: легкой комедией, мелкими поэтическими произведениями, политическими брошюрами и специальными науками. Литературным лозунгом стала корректность стиля и прежде всего языка. С выделением из народа узкого круга образованных людей язык в свою очередь разделился на классическую латынь высшего общества и вульгарную народную латынь. В своих прологах Теренций обещает «чистый язык», полемика по поводу ошибок в языке составляет главный элемент в сатирах Луцилия. В связи с этим решительно отступают на задний план потуги подражать грекам. В этом отношении имеется известный прогресс. В эту эпоху бездарные про-

изведения встречаются гораздо реже, чем в предшествующую или последующую; гораздо чаще появляются произведения совершенные в своем жанре и вполне удовлетворительные. В отношении языка уже Цицерон называет времена Леллия и Сципиона золотым веком чистой неспорченной латыни. В глазах общественного мнения литературная деятельность мало-помалу возвышается из ремесла на степень искусства. Еще в начале этого периода считалось, что знатному римлянину не подобает заниматься сочинением, если не стихотворений — это еще куда ни шло, — то во всяком случае театральные пьес. Пакувий и Теренций жили на свои драмы, сочинение драм было только ремеслом и притом не очень прибыльным. Во времена Суллы положение совершенно изменилось. Уже гонорары актеров того времени показывают, что популярный драматург мог требовать высокого денежного вознаграждения, снимающего с него клеймо ремесленника. Драматическое творчество стало, таким образом, свободным искусством. Люди из самой высшей знати, например Луций Цезарь (эдил в 664 г., умер в 667 г.), пишут для римской сцены и гордятся тем, что принадлежат к сословию поэтов наряду с совсем незнатным Акцием. Искусство вызывает к себе больше внимания и уважения. Но исчез размах в жизни и литературе. У позднейших авторов нет той самоуверенности лунатиков, которая создает поэтов и очень определенно сказывается прежде всего у Плавта. Эпигоны борцов с Ганнибалом корректны, но бесцветны.

Рассмотрим сначала римскую драму и театр. В драме теперь впервые происходит дифференциация. Авторы трагедий этой эпохи пишут исключительно трагедии, а не занимаются попутно, как авторы предыдущей эпохи, также сочинением комедий и эпических произведений. Очевидно, в кругах авторов и читателей растет интерес к трагедии, но сама трагедия не сделала больших успехов. Созданную Невием национальную трагедию (praetexta) мы находим теперь только у позднего представителя эллинистической эпохи, Пакувия, о котором сейчас будет речь.

Среди многочисленных, по-видимому, писателей, подражавших греческим трагедиям, лишь двое приобрели имя. Марк Пакувий из Брундизия (535, умер около 625 г.) в молодости занимался в Риме живописью и лишь в зрелом возрасте жил на свои трагедии. И по своим годам и по характеру своего творчества он принадлежит скорее к VI, чем к VII столетию, хотя живет в VII столетии. В общем он писал по образцу своего земляка, дяди и учителя Энния, но более тщательно, чем его предшественник, и с большим подъемом. Поэтому благосклонные критики считали впоследствии его сочинения образцом художественной поэзии и богатого стиля. Однако в дошедших до нас отрывках можно найти немало мест, оправдывающих нападки Цицерона на язык Пакувия и нападки Луцилия с эстетической

стороны. Язык Пакувия более шероховат, чем язык Энния, а его манера писать напыщенна и жеманна*.

По некоторым данным можно считать, что Пакувий, как и Энний, отдавал предпочтение философии перед религией. Однако он все же не отдавал предпочтения, подобно Эннию, драмам, в которых в духе нового направления проповедывались чувственные страсти или новейшее просвещение; он одинаково черпал и у Софокла, и у Еврипида. В поэзии более молодого Пакувия нет и следа решительной и почти гениальной тенденциозности, которой отличался Энний.

Более удобочитаемые и более искусные подражания греческой трагедии писал младший современник Пакувия, Луций Акций (584, умер около 651 г.), сын вольноотпущенника из Пизавра. После Пакувия это единственный значительный трагик VII столетия. Акций занимался также историей литературы и грамматикой. Он, несомненно, старался внести в латинскую трагедию вместо грубых приемов своих предшественников более чистый язык и стиль. Однако требовательные критики вроде Луцилия резко порицали и его за неровность стиля и неправильный язык.

Гораздо больше сделано было в области комедии; здесь достигнуты были также более значительные результаты. В самом начале этого периода происходит замечательная реакция против бывшей в ходу народной комедии. Представитель этого направления Теренций (558—595) — одно из самых интересных явлений в истории римской литературы. Он родился в финикийской Африке, в ранней молодости был привезен в Рим в качестве раба, получил здесь по обычаю того времени греческое образование. У него были все задатки для того, чтобы вернуть новоаттической комедии ее космополитический характер, отчасти утраченный ею в грубых руках Невия, Плавта и других

* Такова, например, в его оригинальном сочинении «Павел» следующая фраза, относящаяся, вероятно, к описанию Пифионского перевала:

«Qua vix caprigeno géneri gradilis gréssio est».

«Проход здесь еле проходим для козлородной породы».

В другом его сочинении предоставляется слушателям понять следующее описание:

«Четвероногое, неповоротливое, водится в полях, шероховатое, приземистое, с короткой головой, с змеиной шеей, дико на вид, а выпотрошенное и мертвое дает живой звук».

Слушатели отвечают на это вполне резонно:

«В туманных выражениях ты описываешь нам то, о чем вряд ли догадается и мудрец: если ты не будешь выражаться ясно, мы не пойдем тебя».

Затем следует признание, что автор подразумевает черепаху. Впрочем, такие загадочные описания встречались также у аттических трагиков, за что им часто сильно доставалось от Средней комедии.

авторов, приспособлявших ее ко вкусам римской публики. Уже в выборе образцов и в манере пользоваться ими выступает резкая противоположность между ним и тем из его предшественников, которого только мы и можем теперь сопоставить с ним. Плавт выбирает свои темы из всего круга новой аттической комедии и отнюдь не брезгует бойкими и популярными комическими писателями вроде, например, Филемона. Теренций почти исключительно придерживается Менандра, самого изящного, самого тонкого и скромного из поэтов Новой комедии. Теренций сохранил манеру соединять несколько греческих пьес в одну латинскую; при данном положении римский автор, обрабатывавший греческие пьесы, не мог обойтись без этой манеры. Но Теренций делал это несравненно искуснее и тщательнее, чем другие. Диалог Плавта, несомненно, очень часто уклонялся от своих образцов. Теренций гордится тем, что его подражания дословно примыкают к оригиналу; впрочем, под этим не следует понимать дословный перевод в нашем нынешнем смысле. Теренций решительно и умышленно отказывается от подчас грубой, но всегда яркой манеры Плавта переносить на греческий фон местный римский колорит. У Теренция нет ни одного намека на Рим, ни одной поговорки, пожалуй, ни единого отзвука римской жизни*, даже римские названия заменены греческими.

То же различие в художественной обработке темы. Актерам возвращены надлежащие маски, проявляется больше тщательности в отношении постановки. Действие не происходит непременно на улице впазд или невпазд, как у Плавта. Завязка и развязка интриги у Плавта легковесна и слаба, но его фабула забавна и часто захватывает. Теренций гораздо менее резок, всегда считается с правдоподобностью, нередко в ущерб интересу пьесы. Он решительно выступает против обычных приемов своих предшественников, подчас пошлых и безвкусных, например против аллегорических фантазий**. Плавт ри-

* Единственным исключением является, быть может, в комедии «Девушка с Андроса» (4, 5) ответ на вопрос «Как поживаете?»

Ответ гласит: «Живем так, как можем, потому что не можем жить так, как хотелось бы». Это намек на слова Цецилия: «Если не можешь жить как хочешь, живи, как можешь».

В свою очередь эти слова заимствованы из греческой поговорки.

Эта комедия — самая старая из комедий Теренция; театр поставил ее по рекомендации Цецилия, автор в этой деликатной форме выразил благодарность Цецилию.

** Теренций смеется над аллегорической ланью, которая, спасаясь от сабак, со слезами просит помощи у молодого человека (Phorm. prol. 4). Ключ к этому можно усмотреть в малоостроумной аллегории Плавта о козе и обезьяне (Merc., 2, 1).

В конце концов эти нелепицы тоже ведут начало от еврепидовской риторики (например, Eurip., Нес., 90).

сует характеры своих героев широкими мазками, часто шаблонно, всегда с расчетом на грубый общий эффект. Теренций рисует психологическое развитие с тщательной, подчас превосходной миниатюрной отделкой. Так, например, в его комедии «Братья» мастерски показан контраст между двумя стариками, из которых один ведет беспечную светскую жизнь в столице, а другой трудится в своем имении, отнюдь не пользуясь изысканными благовониями. По своей тематике и языку Плавт вращается в кабачках, Теренций — в благопристойной обывательской обстановке. Кабачки Плавта, его развязные, но миловидные потаскушки с их неразлучными сводниками, его бряцающие мечом солдаты и с особым юмором нарисованные слуги, для которых раем является погреб, а фатумом плеть, — весь этот мир исчезает у Теренция или во всяком случае изменился к лучшему. В общем у Плавта мы имеем дело с подонками общества или с опускающимися до их уровня; у Теренция, как правило, мы находимся только среди благородных людей. Если и у него случается, что сводник ограблен или молодого человека ведут в публичный дом, то это делается с нравственной целью, по побуждениям братской любви или для того, чтобы внушить юноше отвращение к притонам. В плавтовских комедиях господствует филистерская оппозиция кабачка против домашней жизни. Плавт постоянно издевается над женщинами на потеху всем мужьям, которые временно сбрасывают с себя брачные узы, а потом оказываются не очень уверенными в любезном приеме дома. В комедиях Теренция господствует не более нравственный, но более приличный взгляд на природу женщины и на брак. Комедии Теренция всегда добропорядочно заканчиваются свадьбой или по возможности двумя свадьбами; точно так же Менандра хвалили за то, что у него всякое обольщение заглаживалось браком. У Менандра часто встречаются похвалы холостой жизни, но его римский подражатель повторяет их лишь робко; это характерно*. Зато в комедиях «Евнух» и «Девушка с Андроса» очень мило описаны страдания влюбленного, нежный супруг над кроваткой ребенка и любящая сестра у постели умирающего брата. В «Свекрови» в заключение даже появляется добродетельная публичная женщина в качестве ангела-спасителя, тоже чисто менандровская фигура, которая, впрочем, как водится, была освистана римской публикой. Когда Плавт выводит на сцену отцов, то только для того, чтобы сыновья насмеялись над ними и обманывали их. У Теренция в комедии «Самоистязатель» блудный сын возвращается на путь истины под влиянием наставлений отца. Теренций вообще прекрасный педагог, и в лучшей из его комедий «Братья» все вертится на том, чтобы отыскать золотую середину между слишком

* В комедии «Братья» (1, 1) Мицион благодарит свою судьбу, между прочим, за то, что никогда не имел жены, что «по их мнению (т. е. по мнению греков) считается счастьем».

либеральным воспитанием у дяди и слишком строгим воспитанием у отца. Плавт пишет для широкой массы и вкладывает в уста своих действующих лиц безбожные и глумливые речи, насколько это допускалось цензурой; Теренций же считает своей целью нравиться добродетельным людям и подобно Менандру никого не оскорблять. Плавт любил живой, порой бурный диалог, его пьесы требуют от актеров живой жестикуляции; Теренций ограничивается «спокойным разговором». Язык Плавта изобилует грубыми шутками и игрой слов, аллитерациями, комическими новыми словообразованиями, аристофановским спутыванием слов и забавными греческими словечками. Всех этих причуд Теренций не знает; его диалог ведется с безукоризненной ровностью, и лишь изящные сентенции придают ему некоторую остроту. Ни одна из комедий Теренция не является по сравнению с комедиями Плавта прогрессом ни в отношении поэзии, ни в отношении нравственности. Оригинальности нет у обоих; у Теренция ее, пожалуй, еще меньше, чем у Плавта. Сомнительная похвала за более верное подражание обесценивается у Теренция тем, что он умел передавать хорошее настроение Менандра, но не его веселость; комедии Плавта, написанные в подражание Менандру, как то: «Стих», «Ларец», обе «Бакхиды», воспроизводят обаяние оригинала, вероятно, гораздо лучше, чем комедии «Полу-Менандра». С эстетической точки зрения нельзя считать прогрессом переход от грубости к бесцветности, а с точки зрения морали нельзя считать прогрессом переход от сальностей и безразличия Плавта к приспособляющейся морали Теренция. Однако в отношении языка у Теренция имеется прогресс. Теренций гордился изяществом своего языка; неподражаемой прелестью своего языка Теренций обязан тем, что в последующую эпоху самые тонкие критики — Цицерон, Цезарь, Квинтилиан — отдавали ему пальму первенства среди всех поэтов республиканской эпохи. А так как в основе римской литературы лежало не развитие латинской поэзии, а развитие латинского языка, то комедии Теренция, первое в художественном отношении безупречное подражание эллинскому искусству, могут считаться началом новой эры в римской литературе. Новая комедия проложила себе дорогу в решительнейшей литературной борьбе. Плавтовская манера пустила глубокие корни во вкусах римской публики; комедии Теренция натолкнулись на самую энергичную оппозицию публики, которой не нравились их «вялый язык» и «слабый стиль». Поэт, по-видимому, человек обидчивый, отвечал на эти нападки антикритикой в прологах, хотя по-настоящему последние предназначались не для этого. Эта полемика имела оборонительный и наступательный характер; от народной толпы, которая два раза уходила с представления «Свекрови» на представления гладиаторов и канатных плясунов, автор апеллировал к образованным кругам высшего общества. Он заявлял, что ищет одобрения только у чистой публики (у «хороших»), причем, конечно, намекал, что не подобает отно-

ситься с пренебрежением к тем произведениям искусства, которые удостоились одобрения «немногих». Он не опровергал, а даже подерживал слух, что аристократы помогают ему, в его творчестве советом и даже делом*.

И, действительно, он добился своего. Даже в литературе господствовала олигархия; написанная по всем правилам искусства аристократическая комедия вытеснила народную комедию. Около 620 г. комедии Плавта исчезают из репертуара. Это тем более знаменательно, что после преждевременной смерти Теренция не было выдающихся талантов в этой области. О комедиях Турпилия (умер в преклонном возрасте в 651 г.) и других совсем забытых или почти забытых писателях один компетентный критик уже в конце этого периода выразился, что новые комедии гораздо хуже, чем плохие новые монеты.

Выше уже говорилось (1, 856), что, вероятно, еще в течение VI столетия к греческо-римской комедии (*palliata*) присоединилась национальная комедия (*togata*), в которой отражена была, правда, не спе-

* В прологе к комедии «Самоистязатель» критик упрекает автора:

«Он вдруг взялся за поэзию, не столько по собственному влечению, сколько полагаясь на своих друзей».

Позже (594) в прологе к комедии «Братья» говорится:

«Неблагожелатели говорят, что знатные люди помогают поэту сочинять и пишут вместе с ним все его пьесы; но это тяжелое по их мнению обвинение делает честь поэту, оно доказывает, что он нравится тем людям, которые оказывают услуги вам и всему народу; они без гордыни служили всем вам в свое время на войне советом и делом».

Уже во времена Цицерона полагали, что здесь имеются в виду Лелий и Сципион Эмилиан. Указывали сцены, якобы написанные ими. Рассказывали о поездках бедного поэта с его знатными покровителями в их имения близ Рима и считали непростительным, что эти люди ничего не сделали для улучшения материального положения поэта. Однако известно, что легенды легче всего создаются в истории литературы. Ясно — и уже рассудительные римские критики признали это, — что эти строки не могли относиться к Сципиону, которому в то время было 25 лет, а также к его на несколько лет старшему приятелю Лелию. Другие — во всяком случае, логичнее — имели здесь в виду аристократов-поэтов Квинта Лабейона (консул 571 г.) и Марка Попилия (консул 581 г.), а также ученого покровителя искусств и математика Луция Сульпиция Галла (консул 588 г.). Однако и это, очевидно, является лишь предположением. Впрочем, не подлежит сомнению, что Теренций был в близких отношениях с семьей Сципиона. Знаменательно, что первое представление «Братьев» и второе представление «Свекрови» состоялись во время торжественных похорон Луция Павла, устроенных его сыновьями, Сципионом и Фабием.

циально жизнь Рима, а жизнь латинских городов. Разумеется, школа Теренция вскоре утвердилась и в этой национальной комедии. Вполне в стиле этой школы было, с одной стороны, вводить в Италию греческую комедию в точном переводе, а с другой стороны, в новом, чисто римском духе. Главным представителем этого направления является Луций Афраний (расцвет его славы приходится на время около 660 г.).

По дошедшим до нас отрывкам его сочинений нельзя, правда, составить себе определенного представления об его творчестве, однако эти отрывки не противоречат также тому, что говорили об Афрании римские критики. Его многочисленные национальные комедии были написаны по образцу тех греческих пьес, в которых все построено на интриге; разница лишь в том, что они, как это понятно в подражаниях, проще и короче. В деталях Афраний тоже заимствовал частично у Менандра, частично у более старой национальной литературы. У Афрания мы редко находим тот местный латинский колорит, который ярко выражен у творца этой формы, Тициния*, его темы очень общи и, вероятно, взяты из определенных греческих комедий, лишь с некоторым переодеванием. Тонкий эклектизм и искусная композиция — у него нередко встречаются литературные намеки — характерны для него так же, как для Теренция. Сходство имеется также в нравственной тенденции, приближающей пьесы Афрания к драме, в безупречности с точки зрения требований полиции и в чистоте языка. Позднейшие критики характеризуют Афрания, как сродного по духу Менандру и Теренцию; Афраний — говорят они — носит тогу так, как носил бы ее Менандр, если бы был италикком. Сам Афраний заявил, что ставит Теренция выше всех других поэтов.

Новой формой в латинской литературе этой эпохи был фарс. Фарс существовал в древнейшие времена (1, 212). Вероятно, уже задолго до возникновения Рима веселая молодежь Лация во время празднеств предавалась импровизации в раз навсегда установленных масках. Твердый местный колорит латинской городской общины эти фарсы приобретают от оскского города Ателлы, разрушенного Ганнибалом и потому отданного в качестве места действия в распоряжение авторов комических представлений. С тех пор эти представления называются

* Возможно, что здесь влияли и внешние обстоятельства. С тех пор, как в результате союзнической войны все итальянские общины получили право римского гражданства, не разрешалось переносить место действия комедии в одну из этих общин. Писатели были вынуждены либо вообще не указывать местности, либо выбирать города, уже не существующие или находящиеся за пределами римского государства. Несомненно, это обстоятельство, игравшее роль также при постановках более старых пьес, неблагоприятно отразилось на национальной комедии.

«оскскими играми» или «ателланскими играми»*. Однако эти фарсы не связаны ни с литературой, ни с театром**. Они ставились дилетан-

* С этими названиями с древних пор связан ряд ошибок. Теперь правильно отвергают грубую ошибку греческих писателей, утверждавших, что эти фарсы игрались в Риме на языке осков. Но при ближайшем рассмотрении оказывается столь же невозможным связывать эти пьесы, содержанием которых была городская и деревенская жизнь латинов, с национальным характером осков. Название «Ателланские игры» объясняется иначе. Латинский фарс с его неизменными действующими лицами и одними и теми же шутками требовал постоянного места действия; шутовство всегда ищет себе постоянной жертвы. Конечно, при наличии римской театральной полиции нельзя было избрать такой жертвой ни одну из римских общин или даже из латинских общин, которые находились в союзе с Римом, хотя действие национальных комедий разрешалось переносить именно в эти последние (1, 837). Зато для этой цели во всех отношениях годилась Ателла, которая вместе с Капуей была уничтожена юридически еще в 543 г. (1, 606, 624), фактически же продолжала существовать в качестве деревни, населенной римскими крестьянами. Это предположение становится несомненным, если принять во внимание, что некоторые фарсы имеют местом действия другие общины на территории с латинской речью, переставшие существовать или во всяком случае не существующие юридически. Так, например, место действия *Sampani* Помпония, возможно также его *Adelphi* и *Quinquatria* является Капуя, место действия *Milites Pomentinenses* Новия является Суесса Пометия. Ни одна из существующих общин не выбирается жертвой фарса. Итак, действительной родиной этих пьес является Лаций, их местом действия — латинизированная страна осков: с оскским народом они не имеют ничего общего. Это нисколько не опровергается тем, что одна из пьес Невия (умер в 550 г.) была исполнена за недостатком настоящих актеров «ателланскими» и поэтому называлась *personata* (см. *Festus*, под этим словом). Название «Ателланские актеры» употреблено здесь по антиципации и можно даже предположить, что они раньше назывались «актерами в масках» (*personati*).

Таким же образом объясняются также «фесценнинские песни». Они тоже принадлежат к пародической поэзии римлян и локализовались в южноэтрусском местечке Фесценнии. Но это не дает основания причислять их к этрусской поэзии; так же как ателланы не могут быть причислены к поэзии осков. Впрочем, нельзя доказать, что в исторические времена Фесценний был не городом, а деревней; но это весьма правдоподобно ввиду отзывов о нем современников и ввиду отсутствия надписей.

** Ливий говорит о тесной и исконной связи ателланских пьес с сатурой (*satura*) и с развившейся из последней драмой. Но это положение не выдерживает критики. Между гистрионом и исполнителем ателланы была примерно столь же большая разница, как между нашими артистами в театре и участниками маскарада. Между драмой, которая до Теренция не знала масок, и между ателланами, существенную черту

тами, где и как им нравилось. Текст к ним не писался и во всяком случае не обнародовался. Только теперь ателланские представления были переданы настоящим актерам*, и их стали ставить точно так же, как в греческой сатирической драме, в качестве эпилога после трагедии. А отсюда уже недалеко было до следующего шага: писатели распространили свою деятельность и на эти пьесы. Нельзя сказать, развился ли римский художественный фарс совершенно самостоятельно, или же толчок к этому исходил от нижеиталийского фарса**, во многих отношениях родственного ему. Несомненно, отдельные пьесы были всегда оригинальными произведениями. Творцом этого нового рода литературы является в первой половине VII столетия*** Луций Помпоний из латинской колонии Бононии. Наря-

которых составляли характерные маски, то же исконное и неизгладимое различие. Драма произошла из представления с флейтой. Сначала эти представления давались без всяких монологов и ограничивались только пением и танцами, впоследствии к ним присоединен был текст (*saturnus*), а, наконец, Андроник снабдил их заимствованным из греческой драматической сцены текстом, причем старые песни флейтистов заняли в этом тексте приблизительно место греческого хора. Первые стадии этой эволюции ни в чем не соприкасаются с фарсами дилетантов.

* Во времена империи ателланы ставились профессиональными актерами (*Friedländer u Becker'a, Handbuch 6, 549*). Нет указаний, с какого времени последние стали участвовать в ателланских представлениях, но надо думать, это могло быть только тогда, когда ателланы вошли в круг настоящих театральных представлений, т. е. в предцицероновскую эпоху (*Cic., ad fam., 9, 16*). Этому не противоречит, что еще во время Ливия (7, 2) ателланские актеры в отличие от других актеров сохраняли свои почетные привилегии. Если профессиональные актеры стали участвовать за плату в ателланских представлениях, то это еще не значит, что ателланы не исполнялись уже безвозмездно дилетантами, например, в провинциальных городах и, таким образом, не сохраняли своих привилегий.

** Заслуживает внимания тот факт, что греческий фарс не только был распространен в Нижней Италии, но что отдельные греческие фарсы (например, из фарсов Сопатра: «Блюдо чечевицы», «Жених Бакхиды», «Наемный слуга Мистака», «Ученые», «Физиолог») живо напоминают ателланы. Эта поэзия фарсов, вероятно, восходит к тому времени, когда греки в Неаполе и вокруг Неаполя образовали как бы островок в латинской Кампании: ибо один из авторов таких фарсов, Блез из Капрен, носит уже римское имя и написал фарс под заглавием «Сатурн».

*** По словам Евсевия, Помпоний писал около 664 г. Веллей называет его современником Луция Красса (614—663) и Марка Антония (611—667). Евсевий, кажется, ошибается на одно поколение и указывает более позднее время. Отмененный около 650 г. счет по викториатам встречается еще в «Живописцах» Помпония, а в конце этого периода уже встречаются мимы, которые вытеснили ателланы с театральной сцены.

ду с его пьесами вскоре снискали себе расположение публики пьесы другого поэта, Новия. Насколько можно судить по многочисленным дошедшим до нас отрывкам и сообщениям древних авторов, это были короткие, в большинстве случаев одноактные фарсы, и интерес их заключался не столько в буйной и сумасбродной фабуле, сколько в комическом изображении различных сословий и ситуаций. Любили представлять в комическом виде праздники и публичные акты: «Свадьба», «Первое марта», «Панталон как кандидат на выборах»; охотно высмеивали также чужие народы: заальпийских галлов, сирийцев, а главным образом показывали на сцене представителей различных ремесел: гробовщиков, предсказателей будущего, гадателей по полету птиц, врачей, мытарей, маляров, рыбаков, пекарей. Много доставалось глашатаям, а еще больше валяльщикам, которые, кажется, играли в римском фарсе роль наших портных. На сцене показывались не только различные стороны городской жизни, но также крестьянин с его печалью и радостями. О разнообразии этого деревенского репертуара можно судить по множеству названий, вроде следующих: «Корова», «Осел», «Ягненок», «Свинья», «Большая свинья», «Супоросая свинья», «Селянин», «Крестьянин», «Панталон селянин», «Пастух», «Виноделы», «Сборщик винных ягод», «Заготовка дров», «Рыхление почвы», «Птичий двор». В этих пьесах постоянно фигурируют глупый и плутоватый слуга, добрый старик, мудрец; они забавляли публику, особенно же смешил ее тип слуги, Полишинель этих фарсов, прожорливый, грязный, нарочито крайне безобразный и притом всегда влюбленный Полишинель; он постоянно спотыкался, на него со всех сторон сыпались насмешки и колотушки. В заключение он всегда оказывался козлом отпущения. Такие заглавия, как: «Полишинель-солдат», «Полишинель-сводник», «Девушка-Полишинель», «Полишинель в ссылке», «Два Полишинеля», дают представление о том, как разнообразно было содержание римских фарсов. Эти фарсы подчинялись общим правилам литературного искусства, во всяком случае с тех пор, как их стали излагать в письменной форме: так, например, по стихотворному размеру они примыкали к греческому театру. Тем не менее они, естественно, были более латинскими и народными, чем сама национальная комедия. Фарс затрагивает греческий мир только в форме пародий на трагедию*; этот жанр появляется впервые лишь у Новия и культивировался вообще нечасто. Фарс этого писателя если и не осмеливался коснуться Олимпа, то все же затронул самого человеческого из богов — Геркулеса. Новий написал фарс «Hercules Auctionator». Нечего говорить, что тон этих пьес не отличался изыс-

* Вероятно, эти пародии тоже были забавны. Так например, в «Финикианках» Новия одно из действующих лиц говорит: «Берись за оружие! Я убью тебя тростниковой дубиной». Совершенно так же как «Лже-Геркулес» у Менандра.

канностью. Весьма недвусмысленные двусмысленности, грубые мужицкие сальности, привидения, пугающие детей, а иногда и пожирающие их; проскальзывали сюда нередко и личные нападки, даже с указанием собственных имен. Однако не было недостатка также в ярких картинах, неожиданных положениях, метких остротах. Эта арлекинада скоро заняла видное место в театральной жизни столицы и даже в литературе.

Наконец, что касается развития театра, то мы не имеем возможности проследить в подробностях того, что в общем совершенно ясно, а именно, что интерес к театральным представлениям все возрастал, они давались все чаще и становились все более роскошными. Теперь почти ни одно народное празднество, обычное или чрезвычайное, не обходилось без театральных представлений; даже в провинциальных городах и частных домах вошли в обиход спектакли нанятых актеров. Впрочем, в столице все еще не было каменного здания театра, хотя такие здания, вероятно, имелись уже в некоторых муниципальных городах. По настоянию Публия Сципиона Назики, сенат расторгнул в 599 г. договор, заключенный на постройку здания театра в столице. Это было вполне в духе лицемерной политики того времени; из уважения к прадедовским нравам не допустили постройки постоянного театра, но вместе с тем не препятствовали чрезвычайному росту театральных представлений и из года в год тратили громадные суммы на постройку для них театральных подмостков и декораций. Театральная техника, видимо, повышалась. Улучшение постановок и введение масок во времена Теренция без сомнения связано с тем, что с 580 г. расходы по устройству и содержанию сцены и сценического аппарата взяты были на счет государственной казны*. Эпоху в истории театра составили игры, устроенные Луцием Муммием после взятия Коринфа (609). Вероятно, тогда же впервые был устроен по греческому образцу театр, отвечающий требованиям акустики, со скамьями для публики, и вообще было обращено больше внимания на устройство зрелищ**. Теперь постоянно идет речь о выдаче премий, т. е.

* Прежде устроитель зрелищ должен был оборудовать сцену и заготовить весь аппарат на предоставленную ему определенную сумму или брать все на свой счет, поэтому на это дело вряд ли могло тратиться много денег. Только в 580 г. цензоры сдали особым подрядчикам оборудование сцены для зрелищ, даваемых эдилами и преторами (*Liv.*, 41, 27); и то, что сценический аппарат заготавливался теперь не только на один раз, должно было привести к заметному улучшению всего дела.

** О том, что были приняты во внимание акустические приспособления греков, свидетельствует, по-видимому, Витрувий, 5, 5, 8. О скамьях для публики говорил *Ritschl* (parerg. 1, 227, XX), но право на них имели только те, которые не были *capite sensi* (*Plautus*, *capt. prol.*, 11). Вероятно, к этим, составившим эпоху, театральным постановкам Муммия (*Tac.*, *Ann.*, 14, 21), относятся слова Горация, что «покоренная Греция покорила победителя».

о конкуренции между отдельными произведениями, о живейшем выражении публикой одобрения или неодобрения главным актерам, о клакерах и о кликах. Декорации и театральные механизмы были улучшены: в 655 г. при эдиле Гае Клавдии Пульхре появились искусно разрисованные кулисы и ясно различаемый театральный гром*, спустя двадцать лет (675) при эдилах братьях Луции и Марке Лукуллах введена смена декораций на сцене путем вращения кулис. Концу этой эпохи принадлежит величайший из римских актеров, вольноотпущенник Квинт Росций (умер в глубокой старости около 692 г.), гордость и украшение римской сцены в течение многих поколений**, друг и приятель Суллы, его любимый гость и собеседник, — мы еще вернемся к нему позднее.

В повествовательной поэзии прежде всего бросается в глаза ничтожность эпоса. В VI столетии эпос занимал безусловно первое место в литературе, предназначавшейся для чтения; в VII столетии он еще имел многочисленных представителей, но ни один из них не пользовался хотя бы временным успехом. В рассматриваемую эпоху мы находим лишь несколько грубых попыток перевести Гомера и несколько продолжений летописей Энния вроде «Истрийской войны» Гостия и «Летописей (быть может) галльской войны» Авла Фурия (около 650 г.); по всем признакам, эти авторы начинали свое изложение с того момента, на котором остановился Энний в своем описании истрийской войны 576—577 гг. В дидактической и элегической поэзии тоже нет ни одного выдающегося имени.

Единственные успехи в повествовательной поэзии этой эпохи относятся к области так называемой сатуры, которая подобно пись-

* Кулисы Пульхра, вероятно, были расписаны по всем правилам искусства, так как птицы якобы пытались садиться на них (*Plin.*, h. n. 35, 4, 23; Vol. Max., 2, 4, 6). Прежде гром устраивали таким образом, что трясли медный котел, наполненный гвоздями и камнями. Пульхер ввел улучшение грома путем перекатывания камней. С тех пор это называлось «Клавдиевым громом» (*Festus*, v. Claudiana, p. 57).

** Среди немногих сохранившихся от этой эпохи мелких стихотворений имеется следующая эпиграмма на этого знаменитого актера:

Constiteram, exorientem Aurora forte salutans,
Cum subito a laeva Roscius exoritur.
Pace mihi liceat, caelestes, dicere vestra:
Mortalis visust pulchrior esse deo.

(Недавно случилось мне с восхищением смотреть на восходящую Аврору, как вдруг появился влево от меня Росций. Простите мне, небожители, если признаюсь вам, что смертный показался мне прекраснее бога.)

Автором этой эпиграммы, написанной в греческом духе и проникнутой греческим энтузиазмом к искусству, был не кто иной, как победитель кимвров Квинт Лутаций Катул, консул 652 г.

му или брошюре допускает любую внешнюю форму и любое содержание. Поэтому для таких произведений нет видовых признаков; их индивидуальность всецело определяется индивидуальностью их автора, они стоят не только на грани между поэзией и прозой, а даже более того — во многих отношениях стоят вне настоящей литературы. Веселые поэтические послания, которые писал из лагеря под Коринфом своим друзьям один из младших членов сципионовского кружка, Спурий Мумий, брат разрушителя Коринфа, охотно читались еще через сто лет. Надо думать, на почве богатой духовной жизни лучшего римского общества появилось много шуточных поэтических произведений этого рода, не предназначавшихся для широкой публики.

Представителем их в литературе был Гай Луцилий (606—651), принадлежавший к уважаемой семье из латинской колонии Суессы; он также был членом кружка Сципиона. Стихотворения Луцилия представляли собой своего рода открытые письма к публике. Их содержание отражало, по удачному выражению одного из остроумных потомков, всю жизнь образованного и независимого человека, который созерцает события на политическом театре из партера, а иногда из-за кулис, — человека, который вращается среди лучших людей своего времени, как среди себе равных, любовно и со знанием дела следит за литературой и наукой, хотя сам не хочет считаться ни поэтом, ни ученым; он поверяет своей записной книжке свои мысли о всем, что встречается в жизни хорошего и дурного, записывает свои политические наблюдения и надежды, замечания о языке и искусстве, собственные переживания, визиты, званые обеды, путешествия и анекдоты. В своей поэзии Луцилий язвителен, капризен и безусловно субъективен. Однако у него имеется резко выраженная оппозиционная, а тем самым и дидактическая тенденция как в литературном, так и в нравственном и политическом отношениях; есть и кое-что от протеста провинциального жителя против столицы, преобладает гордость уроженца Суессы, говорящего на чистом латинском языке и ведущего честную жизнь, в противоположность вавилонскому смещению языков и нравственной испорченности столицы. Направление сципионовского кружка, требовавшего литературности и строгой чистоты языка, нашло в Луцилии самого совершенного критика и талантливое представителя. Свою первую книгу он посвятил основателю римской филологии Луцию Стилону; при этом он подчеркивал, что пишет не для образованных людей, говорящих на чистой образцовой латыни, а для тарентинцев, бреттиев, сикулов, т. е. для живших в Италии полугреков, латынь которых нуждалась в исправлении. Целые книги его стихотворений посвящены установлению правил латинской орфографии и просодии, борьбе с пренестинскими, сабинскими, этрусскими провинциализмами, выделению ходячих солецизмов, причем,

однако, автор никогда не забывает при случае высмеять бездушный и схематический исократовский пуризм в отношении слов и фраз* и упрекнуть даже своего друга Сципиона за исключительную изысканность речи, упрекнуть шутивно, но вместе с тем и серьезно**. Однако еще серьезнее чем за чистую и простую латынь борется поэт за чистые нравы в личной и общественной жизни. Его положение благоприятствовало ему в этом отношении своеобразным образом. Хотя по своему происхождению, состоянию и образованию он стоял на равном положении со знатными римлянами своего времени и был владельцем большого дома в столице, он все же был не римским гражданином, а латинским. Даже близость его к Сципиону, под начальством которого он в юности участвовал в нумантинской войне и в доме которого он бывал частым гостем, возможно, связана с тем, что Сципион поддерживал многосторонние сношения с латинами и покровительствовал им в политических распрях того времени. Общественная карьера для Луцилия была закрыта, а карьера спекулянта была ему не по душе, он не желал, как он однажды выразился, «перестать быть Луцилием, чтобы сделаться откупщиком податей в Азии». В грозную эпоху гракховских реформ и надвигавшейся союзнической войны Луцилий был завсегдагатаем в дворцах и виллах римской знати, но не стал ничьим клиентом; он вращался среди борющихся политических клик и партий, но не принимал непосредственного участия в их борьбе. В этом отношении он напоминает Беранже, с которым его политическое положение и его поэзия имеют много общего. Луцилий обращался к общественному мнению со словами несокрушимого здорового человеческого разума, с блестящим остроумием.

«В праздник и в будни, с утра до поздней ночи народ и сенаторы шляются по площади, не дают другим проходу, занимаются одним делом, одним искусством — как бы друг друга надуть, причинить друг другу вред, превзойти один другого в лести и искусстве носить личину добродетели. Все они строят друг другу козни, точно каждый во вражде со всеми»*.

* *Quam lepide λέξεις compostate ut tesserulae omnes
Arte pavimento atque emblemate vermiculato!*

(Какой красивый набор фраз! Точно искусно подобранные друг к другу камешки в пестрой мозаике.)

* Поэт советует ему:

Quo facetior videre et scire plus quam ceteri,

(Чтобы казаться более тонким и образованным, чем другие), говорить не *pertaesum*, а *pertisum*.

* *Nunc vero a mane ad noctem, festo atque profesto.*

Toto itidem pariterque die populusque patresque

Jactare endo foro se omnes, decedere nusquam.

Uni se atque eldem studio omnes dedere et arti:

В развитие этой неисчерпаемой темы, поэт, не щадя ни друзей, ни самого себя, восстал против общественных язв своего времени, политических интриг, бесконечной военной службы в Испании и так далее. В первой из сатир Луцилия сенат олимпийских богов обсуждает вопрос, заслуживает ли Рим в дальнейшем покровительства небожителей. Корпорации, сословия, отдельные личности повсюду названы собственными именами. Поэзия политической полемики, не имевшая доступа к римской сцене, является основным элементом стихотворений Луцилия. Даже в дошедших до нас отрывках эти стихотворения не утратили пленительной силы своего меткого и образного остроумия, пронзают и уничтожают врага, «подобно острому мечу». Здесь, в нравственном превосходстве и гордом сознании свободы поэта из Суессы, кроется причина того, почему изящный венусиец, возобновивший луцилиеву сатиру в александрийский период римской поэзии, со справедливой скромностью считал своего предшественника «лучшим», хотя его собственные произведения превосходили луцилиевы изяществом внешней формы. Язык Луцилия — это язык человека, владеющего греческим и латинским образованием, который дает себе полную свободу. Такой поэт, как Луцилий, о котором говорят будто он писал двести гекзаметров до обеда и столько же после обеда, слишком тороплив, чтобы быть кратким; бесполезные длинноты, неряшливое повторение одних и тех же оборотов, крайняя небрежность встречаются у него постоянно. Первое попавшееся слово, латинское или греческое, всегда является для него самым лучшим. Точно так же относится он к стихотворному размеру, в особенности к гекзаметру, который у него преобладает. Один остроумный подражатель Луцилия говорит, что стоит только переставить слова в луцилиевом стихотворении, и никто не догадается, что перед ним стихи, а не простая проза. По эффекту стихи Луцилия можно сравнить только с немецкими Knittelverse*.

*Verba dare ut caute possint, pugnare dolose,
Blanditia certare, bonum simulare virum se,
Insidias facere ut si hostes sint omnibus omnes.*

* Следующий длинный отрывок характерен для стиля и метрического размера Луцилия; в переводе нельзя воспроизвести его небрежность.

*Virtus, Albine, est pretium persolvere verum
Queis in versamur, queis vivimu' rebu potesse;
Virtus est homini scire id quod quaeque habeat res;
Virtus scire homini rectum, utile quid sit, honestum,
Quae bona, quae mala item, quid inutile turpe, inhonestum;
Virtus quaerendae rei finem scire modumque;
Virtus divitiis pretium persolvere posse:
Virtus id dare quod re ipsa debetur honori,
Hostem esse atque inimicum hominum morumque malorum,*

Стихотворения Теренция и Луцилия стоят на одном и том же культурном уровне и относятся друг к другу, как тщательно продуманная и отделанная литературная работа к письму, набросанному на скорую руку. Но несравненно более высокое духовное развитие и более свободное мировоззрение всадника из Суессы по сравнению с африканским рабом создали ему блестящий успех настолько же быстро, насколько успех Теренция был медленен и сомнителен. Луцилий сразу стал любимцем нации и мог сказать о своих стихах подобно Беранже, что «только они читались народом». Необыкновенная популярность луцилиевых стихотворений является и исторически замечательным явлением. Она свидетельствует, что литература уже в то время была силой; если бы сохранилась обстоятельная история того времени, мы, несомненно, нашли бы в ней многочисленные следы этого влияния поэзии. Суждение современников о Луцилии было подтверждено в более поздние времена. Римские художественные критики, противники александрийского направления, признали за Луцилием первое место среди всех латинских поэтов. Луцилий создал сатиру, поскольку она вообще может считаться особой формой художественной литературы. В сатире Луцилий создал единственный вид поэзии, характерный для римлян и перешедший от них к потомству.

Из поэзии, примыкающей к александрийской школе, мы не находим в Риме той эпохи ничего кроме мелких стихотворений, переведенных с александрийских эпиграмм или написанных в подражание им. Эти стихотворения не имеют значения сами по себе, но заслуживают упоминания, как первые предвестники новой литературной эпохи в Риме. Кроме нескольких малоизвестных писателей, о которых нельзя даже с точностью сказать, когда они жили, сюда относятся

*Contra defensorem hominum morumque bonorum,
Nos magni facere, his bene velle, his vivere amicum;
Commoda praeterea patriae sibi prima putare,
Deinde parentum, tertia iam postremaque nostra.*

Добродетель, Альбин, заключается в том, чтобы платить правильную соответственную цену за все, среди чего мы живем и вращаемся.

Добродетель — знать, что дает человеку каждая вещь, что для него справедливо, полезно и честно, что хорошо или дурно, бесполезно, позорно, нечестно.

Добродетель — знать меру и предел в своих стремлениях.

Добродетель — знать настоящую цену богатства.

Добродетель — воздавать каждому по его достоинствам, быть другом и врагом дурных людей и порядков, защитником хороших людей и порядков, уважать хороших людей, делать им добро, жить с ними в дружбе.

Добродетель — иметь в первую очередь в виду благо родины, затем своих близких и уже в третью и последнюю очередь свою собственную пользу.

Квинт Катул, консул 652 г. и Луций Манлий, видный сенатор, писавший в 657 г. Луций Манлий, по-видимому, первый познакомил римлян с некоторыми распространенными в Греции географическими легендами, например, с делийской легендой о Латоне, легендой о Европе и о чудесной птице Феникс. Во время своих путешествий он открыл в Додоне знаменитый треножник и списал с него предсказание, сделанное пеласгам перед их переселением в страну сикелов и аборигенов, — открытие, которое римские летописи не преминули с благоговением зарегистрировать.

Историография этой эпохи представлена в первую очередь писателем, который ни по своему происхождению, ни по своим научным и литературным взглядам не принадлежит к итальянской культуре, который, однако, был первым, вернее единственным писателем, давшим адекватное литературное изложение мирового значения Рима, и которому последующие поколения и мы сами обязаны всем самым ценным, что знаем по римской истории. Полибий (около 546 — около 627) был родом из Мегалополя в Пелопоннесе; он был сыном ахейского государственного деятеля Ликорта. Кажется, он уже в 565 г. принимал участие в римском походе против малоазийских кельтов, а впоследствии неоднократно получал от своих соотечественников военные и дипломатические поручения, особенно во время третьей македонской войны. В результате кризиса, вызванного в Элладе этой войной, он вместе с другими ахейскими заложниками был отправлен в Италию (1, 734), где был интернирован в течение 17 лет (587—604). Сыновья Павла ввели его в круг столичной знати. Освобождение ахейских заложников вернуло Полибия на родину, где он с тех пор был постоянным посредником между Ахейским союзом и римлянами. Он присутствовал при разрушении Карфагена и Коринфа (608). Казалось, судьба воспитала его так, чтобы он мог лучше самих римлян понять историческое значение Рима. Греческий государственный деятель и римский пленник, уважаемый за свое эллинское образование Сципионом Эмилианом и вообще первыми людьми в Риме, порой возбуждавший даже их зависть, он видел, как оба ручья, которые долго текли по разным руслам, слились в одно и как история всех средиземноморских государств сошлась в гегемонии римского могущества и греческого образования. Таким образом, Полибий был первым знаменитым греком, который с искренним убеждением воспринял мировоззрение сципионовского кружка, признал превосходство эллинизма в духовной области и Рима в политической области как совершившийся факт, над которым история произнесла свой приговор, обязательный для обеих сторон. В этом духе Полибий действовал в качестве практического политика и писал свою историю. Если в молодости Полибий отдал дань заслуживающему уважение, но несостоятельному местному ахейскому патриотизму, то в зрелом возрасте ясно понимая неизбежную необходимость, он защищал на своей родине по-

литику самого тесного сближения с Римом. Это была в высшей степени понятная и, без сомнения, благонамеренная политика, но она была лишена величия и гордости. Не совсем был свободен Полибий и от тщеславия и мелочности эллинских политиков того времени. Немедленно после освобождения он обратился к римскому сенату с просьбой формально подтвердить документами каждому из освобожденных заложников то общественное положение на родине, которым они пользовались прежде. Катон метко выразился по этому поводу, что здесь Одиссей как бы снова возвращается в пещеру Полифема, чтобы выпросить себе у великана колпак и пояс. Полибий часто использовал свои связи с римской знатью для блага своих соотечественников; однако форма, в которой он прибегал к высокой протекции, и его хвастовство своими связями приближались к лакейству.

Литературная деятельность Полибия была проникнута тем же духом, что и его практическая деятельность. Задачей его жизни было написать историю объединения средиземноморских государств под гегемонией Рима. Его труд охватывает судьбу всех цивилизованных государств, — Греции, Македонии, Малой Азии, Сирии, Египта, Карфагена и Италии в период времени от первой пунической войны до разрушения Карфагена и Коринфа и изображает в причинной связи вступление этих государств под протекторат Рима. Целью своего труда Полибий считает доказательство разумности и целесообразности римской гегемонии. По своему замыслу и выполнению история Полибия представляет резкую и сознательную противоположность современной ему римской и греческой историографии. В Риме еще всецело стояли на точке зрения хронистов; здесь имелся ценный исторический материал, но так называемая историография ограничивалась наивными преданиями и разрозненными заметками. Исключение составляли очень ценные, но чисто субъективные произведения Катона, еще не поднявшиеся над первыми зачатками исторического исследования и историографии. У греков, правда, существовали свои исторические исследования и историография. Но в смутное время диadoхов понятия о нации и государстве были утрачены столь основательно, что ни одному из бесчисленных тогдашних историков не удалось пойти по следам великих аттических мастеров, заимствовать их дух и правдивость и обработать всемирно-исторический материал эпохи с всемирно-исторической точки зрения. Греческая историография ограничивалась чисто внешним описанием событий или же была проникнута фразерством и ложью аттической риторики; слишком часто в ней отражаются продажность и пошлость, подхалимство и ожесточение того времени. Как у римлян, так и у греков существовала лишь история городов и племен. Полибий первый вышел из этих узких рамок. Как правильно указывалось, он, будучи родом из Пелопоннеса, был духовно одинаково далек как от ахейцев, так и от римлян; он перешел эти жалкие рамки, обрабатывал римский материал с эллин-

ским зрелым критическим подходом и создал если не всеобщую историю, то во всяком случае историю, уже освобожденную от местных государственных рамок и охватывавшую римско-греческое государство в процессе становления. Пожалуй, ни один историк не сочетал в такой полноте, как Полибий, все преимущества писателя, основывающегося на источниках. Он вполне отдает себе отчет в объеме своей задачи и никогда не упускает этот объем из виду. Его внимание сосредоточено на действительном историческом ходе событий. Он отбрасывает предания, анекдоты, массу лишнего значения записей хрониста. Он восстановил в правах описание стран и народов, государственных и торговых отношений, всех тех чрезвычайно важных фактов, столь долго остававшихся в пренебрежении, которые ускользали от внимания летописцев, потому что не могли быть отнесены к определенному году. В сборе исторического материала Полибий обнаруживает такую осторожность и настойчивость, какой, пожалуй, ни у кого не было в древности. Он пользуется документами, в широких размерах привлекает литературу различных народов, всесторонне использует свое благоприятное положение для получения сведений от участников и свидетелей событий, наконец, по заранее составленному плану объезжает всю область средиземноморских государств и часть атлантического побережья*. Правдивость была в его натуре; во всех важных вопросах он беспристрастно относится к отдельным государствам и личностям, его интересует исключительно внутренняя связь между событиями, изложить которые в правильном соотношении причин и последствий он считает главной и даже единственной задачей историка. Изложение Полибия отличается образцовой полнотой, простотой и ясностью. Однако все эти чрезвычайные достоинства еще не создают первоклассного историка. Полибий выполнил свою литературную задачу так же, как и задачу практической действительности, — со всей силой разума, но только разума. История, борьба необходимости и свободы, является нравственной проблемой; Полибий же трактует ее так, как если бы она была механической проблемой. В природе, как и в государстве, для него имеет значение только целое; отдельное событие, отдельная личность, как бы они ни были поразительны, являются лишь частными моментами, небольшими колесиками в чрезвычайно сложном механизме, который называется государством. В этом отношении Полибий был более чем кто-либо другой создан для изображения истории римского народа, который действительно разрешил единственную в своем роде проблему, достигнув беспримерного внутреннего и внешнего величия, не имея ни

* Впрочем, такие путешествия в научных целях не были редкостью среди греков того времени. Так, например, у Плавта (Men. 248. ср. 235) один из его героев, объездивший все Средиземное море, спрашивает:

«Почему я не иду домой? Ведь я не собираюсь писать историю».

одного подлинно гениального государственного деятеля, народа, который развивался на своих простых основах с удивительной, почти математической, последовательностью. Но момент нравственной свободы присущ истории каждого народа, и Полибий не мог безнаказанно устранить его из римской истории. Полибий рассматривает все вопросы, касающиеся права, чести и религии, не только поверхностно, но совершенно неправильно. Это надо сказать также о всех тех случаях, где требуется генетическое построение; чисто механическое объяснение событий, которое Полибий ставит на его место, порой приводит в отчаяние. Можно ли представить себе более наивную политическую конструкцию: превосходная государственная конституция выводится из разумного смешения монархических, аристократических и демократических элементов, а успехи Рима — из совершенства этой конституции. Толкование существующих отношений ужасает своей сухостью и отсутствием фантазии, его манера говорить о религиозных вопросах с пренебрежением, с высоты своего умственного величия, просто противна. Изложение его, в сознательном противоречии с обычной художественно стилизованной греческой историографией, конечно, правильно и ясно, но бледно и вяло; автор слишком часто вдается в полемические отступления или впадает в стиль мемуаров, причем в описании своих переживаний нередко проявляет чрезмерное самодовольство. Весь труд Полибия проникнут оппозиционным духом. Автор предназначал свое сочинение прежде всего для римлян, но и среди них нашел лишь небольшой круг людей, понимавших его. Полибий чувствовал, что он остался для римлян чужеземцем, а для своих соотечественников отступником и что его широкое толкование отношений принадлежит скорее будущему, чем настоящему. Поэтому он не свободен от некоторой угрюмости и личной горечи, в своей полемике против поверхностных и даже продажных греческих и некритических римских историков часто сварлив и мелочен и впадает в тон не историка, а рецензента. Полибий не принадлежит к приятным светским писателям. Но так как правда и правдивость выше всяких прикрас, то, пожалуй, надо сказать, что из всех древних писателей мы больше всего обязаны Полибию серьезными поучительными сведениями. Его книги подобны солнцу. С того момента, с которого они начинают свое изложение, раздвигается туманная завеса, покрывающая еще самнитскую войну и войну с Пирром. А с момента, которым они кончают, наступают новые сумерки, чуть ли не еще более непроглядные.

Римская историография, современная Полибию, представляет странную противоположность широким воззрениям этого чужестранца на римскую историю и его широкой трактовке этой истории. В начале этого периода мы встречаем еще некоторые хроники, написанные на греческом языке, как, например, упоминающуюся уже (1, 886) хронику Авла Постумия (консул 603 г.), изобилующую плохой праг-

маткой, и хронику Гая Ацилия (законченную им в глубокой старости около 612 г.). Однако отчасти под влиянием катоневского патриотизма, отчасти под влиянием тонкого образования сципионовского кружка латинский язык достиг такого решительного преобладания в этой области, что не только среди новых исторических произведений уже редко встречаются работы, написанные на греческом языке*, но и старые, греческие хроники переводятся на латинский язык и, вероятно, читались главным образом в этих переводах. К сожалению, в латинских хрониках этого периода можно хвалить только то, что они написаны на родном языке. Они очень многочисленны и достаточно подробны; так, например, мы встречаем указание на хроники Луция Кассия Гемины (около 608 г.), Луция Кальпурния Пизона (консул 621 г.), Гая Семпрония Тудитана (консул 625 г.), Гая Фанния (консул 632 г.). К этому надо прибавить официальную летопись города Рима в восьмидесяти книгах, отредактированную и изданную по поручению великого понтифика и авторитетного юриста Публия Муция Сцевола (консул 621 г.). На этом летопись Рима кончается; записи понтификов продолжались, но ввиду растущей деятельности частных хронистов не играют уже роли в литературе. Все эти летописи, частные и официальные, в сущности представляли собой компиляции имевшегося налицо исторического или квази исторического материала. Их ценность в качестве источников и их ценность с точки зрения формы падала, без сомнения, в той же мере, в какой возрастала их обстоятельность. Конечно, в летописях всегда есть примесь вымысла, и было бы весьма наивно упрекать Невия и Пиктора, что они поступали так же, как Гекатей и Саксон Грамматик. Однако позднейшие попытки строить на этом зыбком фундаменте могут вывести из терпения даже самого сдержанного читателя. Эти авторы играючи заполняют все пробелы предания чистейшим вымыслом и ложью. Когда между основанием Рима и разрушением Трои остается полтысячелетия, то для того, чтобы создать связь между рассказами, промежуток заполняется 15 царями Альбы, каждый с именем, временем правления, приводимых с целью наглядности. Затмения солнца, цифры ценза, родословные, триумфы — все это, не моргнув глазом, заносят задним числом в летописи от текущего года вплоть до первого года от основания Рима. В летописях записано, в каком году и месяце, в какой день царь Ромул вознесся на небо; записано, как царь Сервий Туллий праздновал свой триумф по случаю победы над этрусками 25 ноября 183 г. и еще раз 25 мая 187 г. Так и в римских доках

* Единственное бесспорное исключение составляет, поскольку нам известно, написанная по-гречески история Гнея Ауфидия, который писал во времена детства Цицерона, значит около 660 г. (Tusc. 5, 38, 112). Греческие мемуары Публия Рутилия Руфа (консул 649 г.) едва ли могут рассматриваться как такое исключение, так как автор писал их в изгнании, в Смирне.

показывали легковерным судно, на котором Эней прибыл из Илиона в Лаций. Даже свинью, которая указывала дорогу Энею, засолили в римском храме богини Весты. Эти знатные летописцы сочетают с вымыслом поэта скучнейшую канцелярскую точность. Свой богатый материал они трактуют с пошлостью, неизбежной при отказе от всех поэтических и исторических элементов. У Пизона мы читаем, например, что Ромул воздерживался от пиршеств, когда на следующий день у него было заседание; что Тарпея открыла сабинянам ворота крепости из любви к отечеству, чтобы лишить неприятеля его щитов. Неудивительно, что рассудительные современники видели в этом «не историю, а детские сказки». Несравненно большую ценность представляли отдельные произведения по истории недавнего прошлого и современности, а именно история войны с Ганнибалом, написанная Луцием Целием Антипатром (около 633 г.), и написанная более молодым Публием Семпронием Азеллионом история его времени. Здесь мы находим по крайней мере ценный материал и серьезное отношение к истине; у Антипатра также живое, хотя и очень вычурное изложение. Однако, судя по всем свидетельствам и сохранившимся отрывкам, ни одна из этих книг не могла сравниться по форме изложения и по оригинальности с «Началами» Катона, который, к сожалению, в области истории создал так же мало, как и в области политики.

Второстепенные, носящие более субъективный и легковесный характер, виды исторической литературы — мемуары, письма и речи — представлены в эту эпоху богато, по крайней мере в количественном отношении. Виднейшие государственные деятели Рима уже стали записывать свои переживания: так, например, Марк Скавр, консул 639 г., Публий Руф, консул 649 г., Квинт Катул, консул 652 г., и даже диктатор Сулла составляли свои мемуары. Впрочем, кажется, ни одно из этих произведений не имело литературного значения, они ценны только своим фактическим материалом. Письма Корнелии, матери Гракхов, замечательны отчасти своим образцовым чистым языком и высоким нравственным чувством автора, отчасти тем, что это была первая опубликованная в Риме переписка и вместе с тем первое литературное произведение римской женщины.

Речи в литературе этого периода сохраняют всецело отпечаток Катона. Речи адвокатов не считались еще литературными произведениями, издавались только речи, носившие характер политических памфлетов. Во время революционного движения эта брошюрная литература вырастает и по размерам и по значению; среди множества эфемерных произведений нашлись такие, которые подобно «Филиппикам» Демосфена и летучим листкам Курье*, заняли прочное место

* Поль Луи Курье (1772—1825), французский политический памфлетист. (Прим. перев.)

в литературе благодаря выдающемуся положению их авторов и их собственным достоинствам. Так, политические речи Гая Лелия и Сципиона Эмилиана являются образцами превосходного латинского языка и благороднейшего патриотизма. Кипучие речи Гая Тития содержат меткую характеристику местных особенностей и современных нравов; из них многое заимствовала национальная комедия. Описание сенаторов-присяжных уже приводилось выше. Прежде всего следует упомянуть о многочисленных речах Гая Гракха; в его пламенных словах, как в зеркале, отражаются страстность и благородство, а также трагическая судьба этой выдающейся личности.

В области научной литературы сборник юридических заключений Марка Брута, изданный около 600 г., является интересной попыткой перенести на римскую почву обычную у греков обработку научного материала в форме диалога и путем инсценировки разговора определенных лиц в определенном месте и времени дать своему сочинению художественную полудраматическую форму. Между тем позднейшие ученые, в том числе уже филолог Стилон и юрист Сцевола, отбросили этот более поэтический, чем практический, метод как в общеобразовательных, так и в специальных науках. В этом быстром освобождении от оков художественной формы отражается растущее значение науки как таковой и преобладавший в Риме практический интерес к ней. Об общих гуманитарных науках, о грамматике или, вернее, филологии, о риторике и о философии уже говорилось выше, поскольку они стали теперь существенными частями нормального римского образования и отделились, таким образом, от специальных наук.

В области литературы расцветает латинская филология в тесной связи с давно укоренившейся филологической трактовкой греческой литературы. Выше уже говорилось о том, что в начале этого столетия латинские эпические поэты тоже нашли своих комментаторов и восстановителей подлинных текстов. Говорилось также о том, что не только сципионовский кружок прежде всего обращал внимание на чистоту языка, но что и виднейшие поэты, как Акций и Луцилий, занимались вопросами орфографии и грамматики. Одновременно мы встречаем отдельные попытки со стороны историков развить реальную филологию. Конечно, сочинения беспомощных летописцев этого времени, как, например, «О цензорах» Гемины и «О должностных лицах» Тудитана недалеко ушли от хроник. Интереснее, в качестве первой попытки использовать изучение древности для политических целей*, книги о государственных должностях, написанные другом Гая Гракха, Марком Юнием. Интересны также составленные в стихах дидакалии трагика Акция, которые можно считать первой по-

* Так, например, утверждение, что во времена царей квесторы выбирались гражданами, а не назначались царем, столь же неверно, сколь тенденциозно должно служить партийным целям.

пыткой литературной истории латинской драмы. Однако эти зачатки научного подхода к родному языку носят еще слишком дилетантский характер и живо напоминают немецкую орфографическую литературу времен Бодмера и Клопштока. Археологическим (в понимании древних авторов) исследованиям этой эпохи тоже следует отвести по справедливости скромное место.

Начало исследованиям в области латинского языка и латинской древности в духе александрийских учителей положил Луций Элий Стилон (около 650 г.). Он первый обратился к древнейшим памятникам латинского языка и написал комментарии к ритуальным песням салиев и к римскому городскому праву. Особенное внимание он уделял комедии VI столетия и первый составил список подлинных, по его мнению, пьес Плавта. Он старался, по греческому примеру, вскрыть историческое начало каждого отдельного явления и движения римской жизни, отыскать для каждого из них его «изобретателя», причем распространял свои исследования на весь летописный материал. Об успехе его у современников свидетельствует тот факт, что ему посвящены самые значительные поэтические и исторические произведения его эпохи: сатиры Луцилия и исторические работы Антипатра. Этот первый римский филолог определил и для будущего направление научных занятий своей нации, оставив в наследство своему ученику Варрону свой филологический и исторический метод.

Более подчиненную роль играла, понятно, литература по латинской риторике. Здесь ничего не оставалось делать, как писать руководства и сборники упражнений по образцу греческих руководств Герматора и других. Этим занимались школьные преподаватели отчасти в силу потребности, отчасти из тщеславия и ради заработка. Сохранилось одно из таких руководств к изучению ораторского искусства, составленное неизвестным автором во время диктатуры Суллы. Автор преподавал по тогдашнему обычаю одновременно латинскую литературу и латинскую риторiku и писал по обоим этим предметам. Его работа отличается сжатостью, ясным и точным изложением материала, а главное — известной самостоятельностью по отношению к греческим образцам. Хотя автор находится в полной зависимости от греков в отношении метода, он решительно и даже резко отвергает «весь ненужный хлам, привнесенный греками только для того, чтобы наука казалась более трудной для изучения». Неизвестный автор резко осуждает педантичную диалектику, «болтливую науку ораторского искусства»; лучшие знатоки ее так боятся двусмысленных выражений, что в конце концов не осмеливаются произнести даже свое собственное имя. Автор везде вполне сознательно избегает греческой школьной терминологии. Он предостерегает от чрезмерного преподавания и подчеркивает золотое правило, что учитель прежде всего должен приучать своих учеников самим себе помогать, равным образом он определенно признает, что школа — на втором плане, а жизнь —

на первом плане. В примерах, вполне самостоятельно подобранных, он дает отрывки тех судебных речей, которые в последние десятилетия вызывали сенсацию в кругах римской адвокатуры. Интересно, что оппозиция против крайностей эллинизма, направленная прежде против создания самостоятельной латинской риторики, теперь, когда она возникла, продолжалась в лоне самой этой риторики. Это придало римской риторике в теоретическом и практическом отношении больше достоинства сравнительно с греческой риторикой того времени и обеспечило ее большую пригодность для практических целей.

Философия не представлена еще в литературе, так как развитие национально-римской философии не вызывалось ни внутренней потребностью, ни внешними обстоятельствами. Нельзя установить с уверенностью, что в эту эпоху появились хотя бы латинские переводы популярных философских руководств. Кто занимался философией, тот читал и вел диспуты на греческом языке.

В области специальных наук успехи были ничтожны. Римляне умели хорошо обрабатывать землю и вести счетные книги, но для физических и математических исследований здесь не было почвы. Результаты пренебрежения к теории сказались на низком уровне врачебного искусства римлян и отчасти также их военных наук.

Из всех специальных наук процветала только юриспруденция. Мы не можем проследить ее внутреннее развитие с хронологической точностью. В общем сакральное право все более отодвигалось на задний план и в конце этого периода находилось примерно в таком же положении, в каком в настоящее время находится каноническое право. Ко времени Двенадцати таблиц не было еще того тонкого и глубокого понимания права, которое на место внешних признаков ставит внутренне действующие моменты, как, например, развитие понятия умысла и неосторожности, как видов вины, и институт предварительной защиты владения. Оно, однако, существовало уже во времена Цицерона и, вероятно, развилось главным образом в описываемую эпоху. Выше уже не раз говорилось о воздействии политических отношений на развитие права; это было не всегда полезно. Так, например, с учреждением суда центумвиров по делам о наследствах была введена коллегия присяжных также в области имущественного права, которая подобно уголовным комиссиям вместо того, чтобы просто применять закон, поставила себя над ним и подрывала правовые учреждения, прикрываясь так называемой справедливостью. Одним из последствий этого было неразумное правило, что каждый обойденный в завещании родственника, мог обращаться в суд с требованием отмены завещания, причем суд разрешал дело по своему усмотрению. Более точно можно проследить развитие юридической литературы. До сих пор она ограничивалась сборниками формул и объяснениями текста законов. В описываемый период возникла литература судебных заключений, примерно соответствующая нашим сборникам ре-

шений. В начале VII столетия начали записывать и выпускать в виде сборников юридические заключения; последние уже давно давались не только членами коллегии понтификов, но также любым гражданином, к которому обращались с вопросом; они давались на дому или на форуме и вокруг этих заключений уже возникли теоретические и полемические комментарии и характерные в правоведении постоянные контroversии. Первые такие сборники были выпущены Катонам Младшим (умер около 600 г.) и Марком Брутом (приблизительно в то же время). Кажется, уже эти сборники были разделены на отделы по разным вопросам*.

Вскоре затем перешли к систематическому изложению римского права. Начало этому положил великий понтифик Квинт Муций Сцевола (консул 659 г., умер в 672 г.), в семье которого правоведение было наследственным, так же как звание великого понтифика. Его восемнадцать книг «Гражданское право» охватывают с наибольшей полнотой положительный юридический материал: законодательные положения, решения и заключения, заимствованные автором частью из старых сборников, частью из устных традиций. Эти книги стали исходным пунктом и образцом систематических изложений римского права; точно так же резюмирующая работа Сцеволы «Дефиниции» (*droi*) послужила основой для юридических руководств и особенно для сборников юридических норм. Хотя это развитие права происходило, по существу, независимо от эллинизма, но в общем знакомство с философско-практическими схемами греков, несомненно, дало толчок более систематическому изложению правовой науки. Греческое влияние заметно уже в самом заглавии вышеупомянутой книги. Выше упоминалось, что в некоторых, преимущественно внешних, моментах римское правоведение находилось под влиянием стоической школы.

В области искусства наблюдаются еще менее отрадны явления. В архитектуре, скульптуре и живописи все более распространялось дилетантское самоуслаждение, а самостоятельное творчество скорее сделало шаг назад, чем вперед. Все более входит в обычай созерцать при пребывании в греческих местностях произведения искусства; в этом отношении имела решающее значение зима 670—671 г., которую армия Суллы провела на зимних квартирах в Малой Азии. Число знатоков искусства растет и в самой Италии. Прежде всего было обращено внимание на серебряную и бронзовую посуду. В начале рассматриваемой эпохи стали ценить не только греческие статуи, но и греческие картины. Первой картиной, публично выставленной в Риме, был «Вахх» Аристида; Луций Муммий извъял ее

* Книга Катона носила заглавие «*De iuris disciplina*» (*Gell.*, 13 20); книга Брута — «*De iure civili*» (*Cic.*, *pro Cluent.* 51, 141; *de or.* 2, 55, 223); о том, что это по существу были сборники заключений, свидетельствует Цицерон (*de or.* 2, 33, 142).

при продаже с торгов коринфской добычи, так как царь Аттал предлагал за нее до 6 тысяч денариев. Постройки становились все более великолепными, стали употреблять заморский мрамор, особенно гиметский (Cipollin), так как в это время италийские карьеры еще не разрабатывались. Великолепная колоннада, построенная на Марсовом поле завоевателем Македонии Квинтом Метеллом (консул 611 г.), вызывала восторг еще во времена империи; она окружала первый мраморный храм в Риме. Вскоре последовали другие подобные сооружения: Сципиона Назики (консул 616 г.) на Капитолии и Гнея Октавия (консул 626 г.) близ ристалища. Первым частным домом с мраморными колоннами был дом оратора Луция Красса (умер в 663 г.) на Палатине. Однако, где можно было, предпочитали грабить и покупать, вместо того чтобы создавать самим. Прискорбное свидетельство бедности римской архитектуры — она начала уже употреблять колонны из старых греческих храмов; так, например, Сулла украсил римский Капитолий колоннами, вывезенными из храма Зевса в Афинах. Все, что производилось в области искусства в самом Риме, было делом рук чужестранцев. Немногие римские художники этого времени, называемые источниками, были все без исключения греками из италийских или заморских стран. Так, например, архитектор Гермодор был уроженцем Саламина на Кипре; между прочим, он отстроил заново римские верфи и построил храм Юпитера Статора для Квинта Метелла (консул 611 г.) в сооруженной последним галерее и храм Марса в Фламиниевом цирке для Децима Брута (консул 616 г.). Уроженцем Великой Греции был скульптор Паситель (около 665 г.), который поставлял в римские храмы статуи богов из слоновой кости. Художник и философ Метродор был выписан в Рим из Афин написать картины для триумфа Луция Павла (587). Замечательно, что, хотя монеты этой эпохи отличаются большим разнообразием типов по сравнению с более ранними, они являются скорее шагом назад в отношении чеканки обреза.

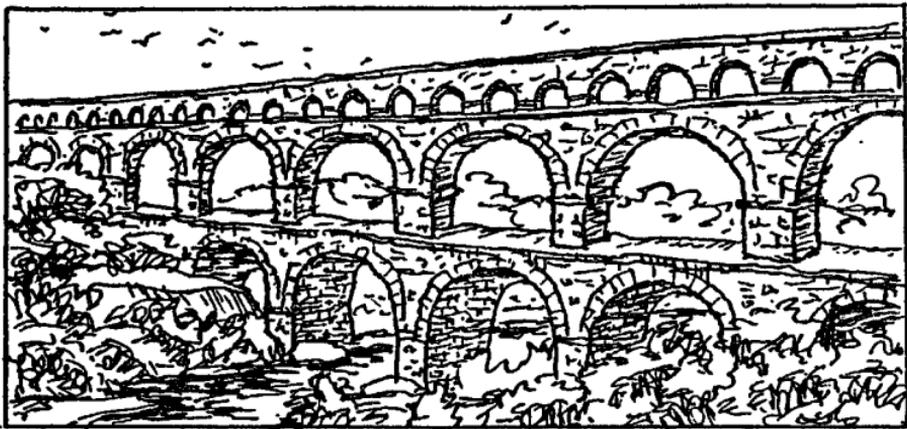
Наконец, музыка и танцы тоже были перенесены в Рим из Эллады исключительно в целях декоративной роскоши. Впрочем, эти виды чужеземного искусства не были новостью в Риме; государство с давних времен допускало к участию в публичных празднествах этрусских флейтистов и танцоров, а вольноотпущенники и низший класс римского народа и до того времени занимались этим промыслом. Новым было то, что греческие танцы и музыка стали необходимой принадлежностью обедов в знатных домах. Новостью была также школа танцев, в которой, как с возмущением описывает Сципион Эмилиан в одной из своих речей, больше пятисот мальчиков и девочек из престолярства попеременно с детьми должностных лиц и сановников обучались малопрстойным пляскам с кастаньетами, такого же рода песням и игре на греческих струнных инструментах,

считавшихся неприличными. Новостью было, что консуляр и великий понтифик Публий Сцевола (консул 621 г.) ловил на арене мячи с такой же ловкостью, с какой он решал у себя дома самые запутанные юридические вопросы. Еще большей новостью было то, что на устроенных Суллой празднествах знатные молодые римляне перед всем народом показывали свое жокейское искусство. Правительство пыталось выступить против этого. Так, например, в 639 г. цензоры запретили пользоваться другими музыкальными инструментами кроме простой флейты, издавна употреблявшейся в Лации. Но Рим не был Спартой. Слабое римское правительство такими запретами лишь сигнализировало зло и даже не пыталось положить ему конец строгим и последовательным применением этих запретов.

В заключение бросим взгляд на общую картину литературы и искусства Италии в период от смерти Энния до начала цicerоновской эпохи. В этой области мы тоже находим несомненный упадок творчества по сравнению с предыдущей эпохой. Высшие виды литературы, как то: эпос, трагедия, история, отмерли или пришли в упадок. Прозвешают только второстепенные формы: переводы, подражания комедии, построенной на интриге, фарс, брошюры в стихах и в прозе. Что касается брошюры в прозе, то в этой области литературы, над которой пронесся ураган революции, мы встречаем два величайших литературных таланта того времени — Гая Гракха и Гая Луцилия; оба они возвышались над толпой более или менее посредственных писателей так же, как в аналогичную эпоху французской литературы Курье и Беранже возвышались над массой самонадеянных ничтожеств. В области скульптуры и живописи творчество, и прежде чрезвычайно слабое, совершенно прекращается. Зато процветает пассивное наслаждение искусством и литературой. Как в области политики эпигоны того времени завладели и пользуются наследством отцов, так и в области искусства эпигоны являются прилежными посетителями театра, друзьями литераторов, знатоками искусства и еще чаще коллекционерами. Больше всего заслуживают внимания научные исследования, которые обнаруживают творческое напряжение в области права, в классической и реальной филологии. Начало этим наукам было положено в рассматриваемую эпоху; они, а также первые слабые подражания тепличной александрийской поэзии, уже возвещают эпоху римского александризма. Все произведения этой эпохи в сравнении с произведениями VI столетия более гладки, содержат меньше ошибок, более систематичны. Не без основания литераторы и друзья литературы этого времени смотрели на своих предшественников, как на неопытных новичков. Но если они осмеивали и хулили недостатки работ этих новичков, то даже самые одаренные из новых авторов не могли не сознавать, что юность нации миновала, и возможно, что у того или другого закрадывалась в душу тоска по милым заблуждениям молодости.

МОНАРХИИ
ВОЕННОЙ
ОСНОВАНИЕ
КНИГА ПЯТАЯ





Глава I

Марк Лепид и Квинт Серторий

Когда в 676 г. умер Сулла, восстановленная им олигархия безраздельно господствовала над Римским государством, но так как власть ее была основана на насилии, она и в дальнейшем нуждалась в насилии, для того чтобы дать отпор своим многочисленным тайным и явным врагам. Противником олигархии была не определенная партия с ясно выраженными целями и признанными вождями, а масса разнообразнейших элементов, объединявшихся вообще под именем партии популяров, но в действительности находившихся в оппозиции к установленному Суллой режиму по самым разнообразным причинам и с самыми разнообразными намерениями. В эту оппозицию входили сторонники положительного права, люди, не занимавшиеся политикой и ничего в ней не понимавшие; однако самоуправное обращение Суллы с жизнью и собственностью граждан внушало им ужас. Еще при жизни Суллы, когда всякая другая оппозиция должна была молчать, строгие юристы выступили против правителя. Так, судебные решения не признавали корнелиевых законов, лишавших различные италийские общины прав римского гражданства; далее суды постановляли, что лица, попавшие в плен или проданные в рабство во время революции, не перестали быть римскими гражданами. Затем к оппозиции принадлежали остатки старого либерального меньшинства сената. В прежние времена они добивались соглашения с партией реформ и с италиками, а теперь подобным же образом были склонны смягчить строго олигархический режим Суллы путем уступок популярам.

Далее здесь были сами популярны — искренние ограниченные, радикалы, поставившие на карту свое состояние и жизнь во имя партийной программы, для того чтобы после победы с горечью убедиться, что они боролись не за серьезное дело, а за торжество фразы. Прежде всего они стремились восстановить народный трибунал, хотя и не отмененный Суллой, но лишенный им важнейших полномочий. Не принося никакой практической пользы и будучи в действительности лишь пустым призраком, этот институт в глазах массы обладал тем большим, необъяснимым очарованием. Ведь даже более тысячи лет спустя имя народного трибуна вызвало в Риме революцию!

Сулланская реставрация также либо не удовлетворила, либо прямо нарушила политические или частные интересы крупных и влиятельных общественных групп. По этим причинам примыкало к оппозиции многочисленное и зажиточное население области между рекой По и Альпами, рассматривавшее предоставление ему латинского права в 665 г. лишь как отступное за отказ от полного права римского гражданства и представлявшее благодарную почву для агитации. Теми же мотивами руководствовались также влиятельные благодаря своему числу и богатству вольноотпущенники, особенно опасные вследствие их скопления в столице; они не могли забыть, что реставрация возвратила их к прежнему, практически ничтожному избирательному праву. Крупные финансисты, осторожные и присмирившие, по-прежнему таили в себе упорное недовольство и не менее упорную силу. Также недовольна была столичная чернь, для которой истинная свобода заключалась в бесплатной раздаче хлеба. Еще более глубокое раздражение затаили пострадавшие от сулланских конфискаций общины. Некоторые из них, как, например, жители Помпеи, вели вечную борьбу с поселенными Суллой в том же городе на отрезанной у них земле колонистами; другие, как арретинцы и волатерранцы, оставаясь еще фактическими владельцами своей территории, находились под дамокловым мечом объявленной римским народам конфискации или же, наконец, как это было в Этрурии, владели жалкое существование нищих в своих прежних домах, или скрывались в лесах, занимаясь разбоем. Наконец, глухое недовольство царило среди всех членов семейств и вольноотпущенников тех демократических вожakov, которые во время реставрации лишились жизни или переносили все бедствия жизни эмигрантов, отчасти скитаясь на мавретанском побережье, отчасти находясь при дворе или в армии Митридата. Согласно политическим понятиям того времени, обусловленным строгой обособленностью семейств, оставшиеся члены семьи считали делом чести* добиться для своих бежавших родственников права возвращения на родину, с умерших снять по крайней мере позор, тяго-

* Характерно, что один уважаемый преподаватель литературы, вольноотпущенник Стаберий Эрот, позволил детям объявленных вне закона слушать его лекции безвозмездно.

тевший на их памяти и на их детях, и выхлопотать последним возвращение отцовского имущества. Особенно дети проскрибированных, превращенные законодательством Суллы в политических париев, тем самым как бы официально приглашались к протесту против существующего строя.

Ко всем этим оппозиционным элементам добавлялась еще масса разоренных людей. Опустившиеся аристократы и простолюдины, потерявшие свое богатство в изысканных или низких кутежах; благородные господа, у которых не осталось ничего благородного, кроме долгов; бывшие солдаты Суллы, которые по воле правителя стали землевладельцами, но не земледельцами и, растратив первое наследство проскрибированных, мечтали о втором, — все они дожидались, чтобы было поднято знамя, призывающее к борьбе против существующих порядков, а что на нем будет написано, им было безразлично.

Так же неизбежно присоединялись к оппозиции все жаждавшие успеха и популярности таланты, как те, которым был закрыт доступ в замкнутый круг оптиматов или сделана была невозможной быстрая карьера и которые пытались поэтому насильно пробраться в эту фалангу и противопоставить свою популярность законам олигархической исключительности и старшинства, так и те, более опасные, честолюбие которых ставило себе иные, более высокие, цели, чем возможность управлять судьбами мира среди коллегальных интриг. На адвокатской трибуне, единственной допущенной Суллой арене легальной оппозиции, подобные претенденты еще при жизни диктатора выступали против реставрации с оружием формальной юриспруденции или меткого красноречия. Например, искусный оратор Марк Туллий Цицерон (род. 3 января 648 г.), сын землевладельца из Арпина, быстро составил себе имя своими иногда осторожными, иногда дерзкими выступлениями против властелина. Подобные стремления не были опасны, если противник хотел лишь добиться таким образом курульного кресла, чтобы затем успокоиться на этом до конца своих дней. Но если бы нашелся демократический деятель, которому недостаточно оказалось такого кресла, и Гай Гракх нашел бы продолжателя, то борьба не на жизнь, а на смерть была бы неизбежна. Однако пока никто еще не называл имени, носитель которого ставил бы себе такую высокую цель.

Такова была та оппозиция, с которой должно было бороться созданное Суллой олигархическое правительство, предоставленное самому себе после его смерти. Задача была сама по себе нелегка, но она еще более осложнялась другими социальными и политическими неурядицами этого времени. Чрезвычайно трудно было удержать военных начальников в провинциях в подчинении высшим гражданским властям или, не имея в своем распоряжении войск, справляться в столице с массой скопьявшегося там италийского и неиталийского сброда и рабов, которые в Риме фактически жили по большей части

на свободе. Сенат находился как бы в открытой крепости, подвергаемой угрозе со всех сторон, и серьезные бои были неминуемы. Но и подготовленные Суллой средства сопротивления были значительны и крепки; и хотя большая часть нации относилась явно отрицательно и даже враждебно к установленному Суллой правительству, оно все же могло бы долго выдержать за своими укреплениями напор сумбурной массы дезориентированной и неорганизованной оппозиции, лишенной вождя, не обладавшей ни общей целью, ни общими путями, распадавшейся на сотню фракций. Но чтобы удержаться, необходимо было обладать волей к победе и внести в дело обороны крепости хотя бы искру той энергии, с которой она была построена. Если же осаждаемые не желают защищаться, то бесполезны всякие валы и рвы, даже сооруженные лучшим мастером этого дела.

Таким образом, чем более все зависело от личности руководящих деятелей обеих сторон, тем хуже было то, что, собственно говоря, вождей не было ни в том, ни в другом лагере. Политика этого времени была всецело проникнута духом гетерий в самой худшей его форме.

Правда, это было не ново. Семейная замкнутость и кружковая обособленность, неотделимая от аристократического государственного строя, господствовала в Риме в течение столетий. Но всемогущей она стала лишь в эту эпоху, и принятые лишь теперь (впервые в 690 г.) репрессивные меры скорее лишь констатировали, нежели подавляли это зло. Вся знать, как демократически настроенная, так и сторонники олигархии, была объединена в разные гетерии. Остальная масса граждан, поскольку она вообще принимала регулярное участие в политической жизни, создавала такие же замкнутые и почти по-военному организованные союзы по избирательным округам. Естественными вожаками и рядовыми членами этих союзов были представители триб, «распределители раздач по округам» (*divisores tribuum*). В этих политических клубах покупалось все: прежде всего избирательные голоса, но также сенаторы и судьи, кулаки для устройства уличной свалки и вожаки шаек для руководства ею, только плата была различная в организациях аристократов и мелких людей. Гетерии решали исход выборов: они привлекали к суду, и они же руководили защитой; они нанимали видного адвоката; они же в случае надобности вели переговоры со спекулянтами, ведшими прибыльную оптовую торговлю судейскими голосами. Гетерии благодаря своим тесно спаянным бандам были господами на улицах столицы, а тем самым часто и в государстве. Все это совершалось согласно известным правилам и, так сказать, публично. Гетерии были организованы лучше, чем какая-либо отрасль государственного управления. Хотя, по обыкновению цивилизованных мошенников, об их преступной деятельности по молчаливому соглашению и не говорилось открыто, никто, однако, этого не скрывал, и видные адвокаты не стеснялись публично и ясно намекать на свою связь с гетериями их клиентов. Если и

находился где-либо человек, чуждый такого рода поступкам, но вместе с тем не чуждавшийся общественной жизни, то это наверное был, как Марк Катон, политический Дон-Кихот. Место партий и партийной борьбы заняли клубы и их конкуренция, а место правительства — интрига. Более чем двусмысленная личность, Публий Цетег, некогда один из самых горячих марианцев, перебежавший затем к Сулле и вошедший у него в милость, играл одну из влиятельных ролей в политических происках этого времени исключительно по своим качествам хитрого посредника между сенаторскими фракциями и знатока всех политических интриг; назначение на важнейшие командные посты решалось иногда его любовницей Прецией. Подобное падение было возможно лишь там, где никто из политических деятелей не возвышался над общим уровнем; каждый выдающийся талант отшел бы эту кружковщину, как паутину, но дело в том, что именно ни политических, ни военных талантов-то и не было.

Из людей старшего поколения после гражданских войн не осталось ни одного уважаемого деятеля, кроме проскользнувшего между партиями умного и красноречивого старика Луция Филиппа (консул 663 г.). Принадлежа прежде к популярам, он стал затем вождем враждебной сенату партии капиталистов и тесно связался с марианцами, но в конце концов достаточно рано перешел на сторону побеждавшей олигархии, чтобы получить от нее награду.

К людям следующего поколения принадлежали виднейшие руководители крайней аристократической партии — Квинт Метелл Пий (консул 674 г.), товарищ Суллы по опасностям и победам, Квинт Лутаций Катул, консул в год смерти Суллы (676), сын победителя под Верцеллами, и два более молодых офицера, братья Луций и Марк Лукуллы, сражавшиеся с отличием под начальством Суллы — первый в Азии, а второй в Италии. Что касается таких оптиматов, как Квинт Гортензий (640—704), имевший значение лишь в качестве адвоката, или как Децим Юний Брут (консул 677 г.), Мамерк Эмилий Лепид Ливиан (консул 677 г.) и других подобных ничтожеств, то лишь звучное аристократическое имя было их единственным достоинством. Но и первые четыре мало возвышались над средним уровнем аристократов того времени. Катул был, подобно своему отцу, высокообразованный человек и убежденный аристократ, но обладал лишь посредственными дарованиями и совсем не был солдатом. Метелл не только отличался безупречным характером, но был также способным и опытным офицером; благодаря этим крупным достоинствам, а не только вследствие родственных и коллегальных связей с Суллой, он был в 675 г., по окончании своего консульства, послан в Испанию, где опять начали шевелиться лузитане и римские эмигранты во главе с Квинтом Серторием. Способными офицерами были также оба Лукуллы, в особенности старший, весьма почтенный человек, соединявший выдающиеся военные дарования с серьезным литературным об-

разованием и писательскими наклонностями. Но в качестве государственных деятелей даже эти лучшие из аристократов были лишь немногим менее апатичны и близоруки, чем дюжинные сенаторы того времени. Перед лицом внешнего врага виднейшие из них доказали свои способности и храбрость, но никто из них не обнаружил желания и умения разрешить собственно политические задачи и как настоящий кормчий повести государственный корабль по бурному морю интриг и партийных раздоров. Их политическая мудрость сводилась к тому, что они искренно верили во всеспасающую олигархию и от души ненавидели и проклинали демагогию, так же как и всякую обоюбляющуюся единоличную власть. Их мелкое честолюбие удовлетворялось немногим. О Метелле в Испании рассказывают, что ему не только льстили весьма малогармонические стихи испанских дилетантов, но и то, что он позволил встречать себя всюду, где он появлялся, точно божество, раздачей вина и воскурением фимиама, а за столом давал низко парящим богиням победы венчать свою голову лаврами под раскаты театрального грома. Это так же мало достоверно, как и большинство исторических анекдотов, но и в такого рода сплетнях отражается измелъчавшее честолюбие поколения эпигонов. Даже лучшие из них были удовлетворены, добившись не власти и влияния, а консульства, триумфа и почетного места в сенате, и в тот момент, когда при здоровом честолюбии они лишь должны были бы начать подлинную службу своему отечеству и своей партии, они уже уходили на покой, чтобы кончить свои дни в царственной роскоши. Такие люди, как Метелл и Луций Лукулл, будучи полководцами, уделяли не большее внимание делу расширения Римского государства путем покорения все новых царей и народов, чем обогащению бесконечных меню римских гастрономов новыми африканскими и малоазийскими деликатесами, и загубили лучшую часть своей жизни в более или менее рафинированной праздности. Традиционная удача и индивидуальная покорность, на которых основан всякий олигархический режим, были потеряны пришедшей в упадок и искусственно восстановленной аристократией этого времени. Она принимала верность клике за патриотизм, тщеславие — за честолюбие, ограниченность — за последовательность. Если бы государственные учреждения Суллы были отданы на попечение таких людей, какие сидели в римской коллегии кардиналов или в венецианском Совете десяти, то вряд ли оппозиция сумела бы потрясти их так скоро; но с подобными защитниками каждое нападение представляло серьезную опасность.

Среди людей, не принадлежавших ни к безусловным сторонникам, ни к открытым противникам сулланской конституции, никто не привлекал на себя в такой мере внимание толпы, как молодой Гней Помпей, которому в момент смерти Суллы было лишь 28 лет (род. 29 сентября 648 г.). Эта популярность была несчастьем как для почитаемого, так и для его почитателей, но это было естественно. Здоро-

вый душой и телом, отличный гимнаст, еще в бытность обер-офицером состязавшийся со своими солдатами в прыжках, беге и поднятии тяжестей, выносливый и ловкий наездник и фехтовальщик, дерзкий командир добровольных отрядов, этот молодой человек стал императором и триумфатором в таком возрасте, когда для него еще закрыты были государственные должности и сенат. В глазах общественного мнения он занимал первое место после Суллы и получил даже от этого беспечного, отчасти признательного и отчасти иронизировавшего над ним правителя прозвание «Великого». К несчастью, дарования его совершенно не соответствовали этим неслыханным успехам. Это был неплохой и небездарный, но совершенно заурядный человек. Природа создала его хорошим вахмистром, а обстоятельства заставили его стать полководцем и государственным деятелем. Превосходный солдат, осторожный, храбрый и опытный, он, однако, и в качестве военного не обнаруживал никаких особых способностей; в качестве полководца же он, как и во всем остальном, отличался осторожностью, граничившей с трусостью, и, по возможности, наносил решительный удар, лишь обеспечив себе огромное превосходство над неприятелем. Обычным по тому времени было и его образование, но, будучи всецело солдатом, он не преминал, прибыв на Родос, по обязанности выслушать и одарить тамошних ораторов. Честность его была честностью богатого человека, разумно ведущего свое хозяйство на свои значительные унаследованные и приобретенные средства. Он не брезгал добыванием денег свойственными сенаторскому кругу средствами, но он был достаточно рассудителен и богат, чтобы не подвергать себя ради этого большим опасностям и не навлекать на себя бесчестие. Распространенные среди его современников пороки больше его собственной добродетели создали ему — относительно, правда, обоснованную — репутацию честности и бескорыстия. Его «честное лицо» почти вошло в пословицу; еще и после смерти он продолжал считаться достойным и нравственным человеком. В действительности он был хорошим соседом, не расширявшим по возмутительному обычаю сильных людей того времени своих владений за счет мелких соседей путем принудительных покупок или еще худшими средствами, а в семейной жизни он был привязан к своей жене и детям. Далее, ему делает честь, что он первый отказался от варварского обычая казнить неприятельских царей и полководцев после прохождения их в триумфе. Однако это не помешало ему развестись по приказу его господина и повелителя Суллы с любимой женой, потому что она принадлежала к объявленному вне закона роду, и с величайшим душевным спокойствием по знаку того же повелителя приказывать казнить в своем присутствии людей, помогавших ему в тяжелое время. Он не был жесток, как его упрекали, а — что, быть может, еще хуже — бесстрастен и холоден к добру и злу. В разгаре боя он смело смотрел в глаза врагу, а в мирной жизни это был застен-

чивый человек, у которого по малейшему поводу лицо заливалось краской; не чужд был смущения, когда ему приходилось говорить публично, и вообще был в обращении угловат, неповоротлив и неловок. При всем его надменном упрямстве он был, как часто бывает с людьми, подчеркивающими свою самостоятельность, послушным орудием в руках тех, кто умел к нему подойти, а именно его вольноотпущенников и клиентов, так как он не боялся, что они станут командовать им. Меньше всего он был государственным деятелем. Не отдававший себе отчета в своих целях, не умевший выбирать средства, близорукий и беспомощный в серьезных и несерьезных случаях, он скрывал свою нерешительность и неуверенность под торжественным молчанием и, считая себя очень тонким, лишь обманывал самого себя, когда хотел обмануть других. Благодаря занимаемому им военному посту и его связям в родном краю он почти без всяких усилий стал центром значительной и преданной ему партии, при помощи которой можно было бы совершать великие дела. Но Помпей был во всех отношениях не способен руководить партией и сплотить ее; если же она оставалась сплоченной, то это также происходило помимо него, в силу сложившихся обстоятельств. В этом, как и в других отношениях, он напоминает Мариа, но Марий с его мужички грубой, чувственно страстной натурой не был все же так невыносим, как этот самый скучный и неуклюжий из всех претендентов в великие люди. Политическое положение его было фальшиво. Став офицером Суллы, он был обязан поддерживать реставрированный порядок, но тем не менее опять оказался в оппозиции как лично против Суллы, так и против всего сенаторского правительства. Род Помпеев, едва лишь за 60 лет до этого внесенный в консульские списки, был в глазах аристократии еще отнюдь не полноценным, к тому же отец Помпея занимал очень неблагоприятную двойственную позицию по отношению к сенату, и сам он некогда находился в рядах сторонников Цинны, — об этом не говорили, но этого и не забывали. Выдающееся положение, достигнутое Помпеем при Сулле, в такой же мере привело его к внутреннему расхождению с аристократией, в какой он внешне был с нею связан. Та быстрота и легкость, с которой Помпей вознесся на вершину славы, вскружила голову этому недалекому человеку. Словно желая высмеять свою черствую прозаическую натуру параллелью с самым поэтическим из всех героев, он стал сравнивать себя с Александром Македонским и считал, что ему не пристало быть лишь одним из пятисот римских сенаторов. В действительности никто так не годился для роли одного из звеньев аристократического правительственного механизма, как он. Исполненная достоинства наружность Помпея, его торжественные манеры, его личная храбрость, его безупречная частная жизнь и отсутствие инициативы позволили бы ему — родился он на двести лет раньше — занять почетное место наряду с Квинтом Максимом и Публием Децием. Эта истинно оптиматс-

кая и истинно римская посредственность немало способствовала упрочению внутренней симпатии, всегда существовавшей между Помпеем и массой граждан и сенатом. Но даже и в его время для него нашлась бы ясно очерченная и почетная роль, если бы он согласился быть полководцем сената, для чего он был как бы создан. Но этого ему было недостаточно, и он оказался в ложном положении человека, желающего быть не тем, чем он может быть. Он всегда стремился к исключительному положению в государстве, а когда это положение представилось ему, он не мог решиться занять его. Он приходил в глубокое раздражение, когда люди и законы не склонялись безусловно перед его волей, но в то же время он со скромностью, и не только притворной, повсюду выступал в качестве одного из равноправных граждан и дрожал даже перед мыслью о нарушении закона. Таким образом, его бурная жизнь безрадостно протекала в постоянных внутренних противоречиях; он всегда был в конфликте с олигархией и вместе с тем оставался ее послушным слугой; всегда снедаемый честолюбием, он пугался своих собственных целей.

Так же мало, как Помпея, можно было считать безусловным сторонником олигархии и Марка Красса. Он был очень характерной фигурой для этой эпохи. Будучи лишь на несколько лет старше Помпея, он также принадлежал к кругу высшей римской аристократии, получил обычное для этой среды воспитание и, подобно Помпею, сражался с отличием в италийской войне. Уступая многим людям своего круга в интеллигентности, литературном образовании и военном таланте, он превосходил их своей чрезвычайной подвижностью и упорством, с которыми он боролся за то, чтобы всем обладать и повсюду пользоваться весом. Прежде всего он занялся спекуляциями и составил себе состояние покупкой имений во время революции. Но он не пренебрегал никаким способом приобретательства: он занимался постройками в столице в широком масштабе, но с большой осторожностью; он вступал в компанию со своими вольноотпущенниками в самых различных предприятиях; он занимался ростовщичеством в Риме и вне Рима, сам или через своих людей; он давал деньги займы своим коллегам по сенату и брал на себя выполнение за них работ или подкуп судебных коллегий. Он не был разборчив в средствах обогащения. Еще во время сулланских проскрипций было доказано, что он занимался фальсификацией списков, и с тех пор Сулла не пользовался более его услугами для государственных дел. Он не постеснялся принять наследство, хотя завещание, в котором значилось его имя, было явно подложно; он не возражал против того, что его управители насильственно или тайно прогоняли с земли мелких соседей своего господина. Впрочем, он избегал открытых столкновений с уголовным судом и вел как истинный финансист мешчански простой образ жизни. Таким путем Красс в короткий срок превратился из обыкновенного зажиточного сенатора в обладателя состояния, которое неза-

долго до его смерти по покрытии чрезвычайных расходов все еще оценивалось в 170 миллионов сестерциев. Он стал самым богатым римлянином, а тем самым и политической величиной. Если, по его выражению, тот, кто не мог на проценты со своего капитала содержать целую армию, не имел еще права называться богатым, то вместе с тем тот, кому это было по силам, едва ли оставался еще простым гражданином. И действительно, взоры Красса были обращены на более высокую цель, чем на обладание самой туго набитой кошницей в Риме. Он не жалел усилий, для того чтобы расширить свои связи. Каждого гражданина столицы он знал по имени. Ни одному просителю он не отказывал в помощи перед судом. Правда, природа не сделала его оратором: речь его была суха и однообразна, он был туг на ухо, но его настойчивость, не пугавшаяся даже самого скучного дела и не отвлекавшаяся никакими наслаждениями, преодолевала все препятствия. Он никогда не бывал неподготовленным, никогда не импровизировал и благодаря этому стал популярным и всегда готовым к услугам защитником, репутация которого не страдала оттого, что нелегко было найти дело, за которое он не взялся бы, и что он умел воздействовать на судей не только словом, но и связями, а в случае надобности и деньгами. Половина сенаторов была его должниками, а благодаря его обыкновению давать друзьям деньги в долг без процентов, но с уплатой по первому требованию, множество влиятельных людей оказались в зависимости от него, тем более что он, как истинный делец, не делал различия между партиями, повсюду поддерживал связи и охотно давал займы всякому, кто был кредитоспособен или полезен в каком-либо отношении. Самые смелые партийные вожаки, не стеснявшиеся нападать на кого угодно, остерегались ссоры с Крассом. Его сравнивали с быком, которого не следует дразнить. Ясно, что человек с таким характером и таким положением не мог стремиться к мелким целям, но в отличие от Помпея Красс как банкир отлично отдавал себе отчет, каковы были цели и средства его политических спекуляций. С тех пор как существовал Рим, капитал был там политической силой, но в это время золоту, как и булату, было все доступно. Если в революционную эпоху капиталистическая аристократия могла думать о свержении родовой олигархии, то и такой человек, как Красс, мог стремиться к чему-то более высокому, чем пучки розог и вышитый плащ триумфатора. В данный момент он был сторонником Суллы и сената, но он настолько был финансистом, что не связывался с определенной политической партией, стремясь лишь к своей личной выгоде. Почему бы Крассу, крупнейшему римскому богачу и интригану, который притом был не копящим деньги скупцом, а спекулянтom в крупнейшем масштабе, не спекулировать на приобретение короны? Быть может, ему было не по силам самому добиться этой цели, но ведь он провел в компании уже не одно крупное дело, — возможно, что и для этого предприятия найдется подходящий компаньон.

Было знамением времени, что посредственный оратор и офицер, политик, принимавший свою подвижность за энергию, а свою алчность за честолюбие, обладавший, в сущности, только колоссальным богатством и купеческим талантом завязывать связи, — что такой человек, опираясь на всемогущество котерий и интриг, мог считать себя равным первым полководцам и государственным деятелям эпохи, оспаривая у них высшую награду, манящую политическое честолюбие.

В рядах собственно оппозиции, как среди либеральных консерваторов, так и среди популяров, буря революции произвела ужасающие опустошения. У консерваторов остался только один видный деятель — Гай Котта (630 — около 681), друг и союзник Друза, подвергнутый за это в 663 г. ссылке и возвратившийся затем на родину благодаря победе Суллы. Он был умный человек и дельный адвокат, но значение его партии и его собственной личности не могло сулить ему ничего большего, кроме почетной второстепенной роли. Из молодых деятелей демократической партии обращал на себя взоры друзей и врагов 24-летний Гай Юлий Цезарь (род. 12 июля 652 г.*). Его родственные

* Годом рождения Цезаря считается обычно 654 г., потому что, по Светонию (Caes., 88), Плутарху (Caes., 69) и Аппиану (В. с., 2, 149), он умер (15 марта 710 г.) на 56-м году, с чем приблизительно согласуется имеющееся указание, что во время сулланских проскрипций (672) ему было 18 лет (*Vell.*, 2, 41), но в непримиримом противоречии с этим находится тот факт, что Цезарь был эдилом в 689 г., претором — в 692 г. и консулом — в 695 г., между тем как по закону эти должности можно было занимать не раньше, как на 37—38, 40—41, 43—44 году. Непонятно, как же Цезарь занимал все курульные магистратуры за два года до законного срока, и еще более странно, что об этом нет нигде никакого упоминания. Факты эти позволяют предположить, что так как днем рождения Цезаря, несомненно, было 12 июля, то родился он не в 654 г., а в 652 г., следовательно в 672 г. ему исполнилось 20 лет и умер он не на 56-м году, а 57 лет 8 месяцев. За это предположение говорит и то обстоятельство, которое странным образом приводилось в качестве аргумента против него, а именно что Цезарь «почти ребенком» (*paene puer*) был назначен Марием и Цинной фламинном Юпитера (*Vell.*, 2, 43). Марий умер в январе 668 г., когда Цезарю, по общепринятому счету, было 13 лет и 6 месяцев, так что он был не почти, а вполне еще ребенком и поэтому едва ли был пригоден для должности жреца. Если же он родился в июле 652 г., то ко времени смерти Мария ему шел шестнадцатый год, и с этим вполне согласуется как указание Веллея, так и общее правило, что гражданские должности нельзя было занимать до истечения отроческого возраста. Лишь при этом последнем предположении понятно, почему денарии, выпущенные Цезарем в начале гражданской войны, были помечены — вероятно, по числу его лет — цифрой LII, потому что, когда началась война, Цезарю по этому счислению было несколько более 50 лет. К тому же не будет такой большой смелостью, как кажется нам, привык-

связи с Марием и Цинной — сестра его отца была женой Мариа, а сам он был женат на дочери Цинны; смелый отказ едва вышедшего из отроческих лет молодого человека развестись по требованию диктатора со своей молодой женой Корнелией (как поступил в таком случае Помпей); дерзкое упорство, с которым он отстаивал свой пожалованный ему Марием, но отнятый Суллой жреческий сан; его блуждания во время угрожавшего ему, но отклоненного просьбами его родственников изгнания; его храбрость в сражениях у Митилены и в Киликии, которой никто не ожидал от изнеженного и почти по-женски щеголеватого юноши; даже предупреждения Суллы, что в этом «мальчишке в юбке» скрыт даже не один Марий, а несколько, — все это служило ему рекомендацией в глазах демократической партии.

Но с Цезарем можно было связывать только надежды на будущее, а все те люди, которые по своему возрасту и положению в государстве были бы уже теперь призваны к руководству партией и государством, либо умерли, либо находились в изгнании. Таким образом, во главе демократической партии за отсутствием подлинного вождя мог стать каждый, кому бы вздумалось изобразить из себя защитника поправленных народных прав. Благодаря этому руководство и досталось Марку Эмилию Лепиду, приверженцу Суллы, перешедшему в лагерь демократии из более чем двусмысленных побужде-

шим к правильным метрическим записям, уличить здесь наши источники в ошибке. Все четыре приведенных нами показания основаны, возможно, на одном и том же источнике и вообще не могут претендовать на большую достоверность, так как для древнейшего времени, до возникновения аста *diugna*, сведения о годах рождения даже самых известных и высокопоставленных римлян, как, например, Помпея, чрезвычайно шатки (ср. *Römisches Staatsrecht*, т. I, 3-е изд., стр. 570).

Наполеон III в своей книге «Жизнь Цезаря» (т. II, гл. I) выдвигает против этого то возражение, что, исходя из закона о старшинстве, следовало бы считать годом рождения Цезаря не 652, а 651 г. и что к тому же известны и другие случаи, когда закон этот не соблюдался. Однако первое возражение основано на недоразумении, так как пример Цицерона показывает, что закон требовал лишь, чтобы лицу, вступающему в должность консула, шел 43-й год, а не исполнился уже. Указываемые же исключения из этого правила по большей части оказываются неверными. Когда Тацит (Летопись, II, 22) говорит, что прежде при назначении на должности вовсе не принимался в соображение возраст и что консульство и диктатура поручались совершенно молодым людям, то он, конечно, имеет в виду, как признано всеми комментаторами, древнейший период, до издания законов о старшинстве, а именно консульство двадцатитрехлетнего Марка Валерия Корва и другие подобные случаи. Мнение, что Лукулл был избран на высшую должность до наступления законного возраста, неверно; Цицерон сообщает лишь (*Cicero*, рг. 1, 1), что на основании какого-то неизвестного нам

ний. Некогда ревностный оптимат, он принимал большое участие в покупке с аукциона имений изгнанников. Будучи наместником Сицилии, он так безжалостно ограбил эту провинцию, что ему грозила отдача под суд, и, чтобы избежать ее, он бросился в сторону оппозиции. Это означало для нее сомнительное приобретение. Правда, оппозиция приобретала известное имя, родовитого человека, горячего оратора на форуме, но Лепид был незначительной личностью, безрассудным человеком и не заслуживал первого места ни в сенате, ни в армии. Тем не менее оппозиция была ему рада, и новому вождю демократов удалось не только запугать своих врагов, так что они отказались от продолжения начатой кампании, но и добиться избрания в консулы на 676 г. Помимо награбленных в Сицилии богатств Лепиду помогло в этом и вздорное стремление Помпея показать при этом случае Сулле и его верным сторонникам, каким влиянием он пользуется. Так как к моменту смерти Суллы оппозиция опять нашла вождя в лице Лепида, так как этот вождь стал первым римским магистратом, то можно было наверное предвидеть близкую вспышку новой революции в столице.

Но еще ранее столичных демократов зашевелились демократические эмигранты в Испании. Душой этого движения был Квинт Серторий. Этот замечательный человек, уроженец Нурсии в земле сабинов, обладавший мягкой и даже нежной натурой, что доказывается

точно пункта закона Лукулл в награду за какое-то совершенное им деяние был освобожден от соблюдения двугодичного срока между занятием должностей эдила и претора; действительно, он был эдилом в 675 г., претором, вероятно, в 677 г., а консулом в 680 г. Что с Помпеем дело обстояло иначе, это совершенно ясно, но и относительно Помпея неоднократно определенно указывается (*Cicero, De imp. Pomp.*, 21, 62; *App.* 3, 88), что сенат постановил не применять к нему законов о старшинстве. Что это было сделано для Помпея, добивавшегося консульства в качестве увенчанного лаврами полководца и триумфатора, стоявшего во главе армии, а со времени своего союза с Крассом и во главе могущественной партии, — это настолько же понятно, насколько было бы в высшей степени поразительно, если бы то же самое было сделано для Цезаря, когда он выступал кандидатом на низшие должности, так как в это время он значил не многим более других политических новичков. Еще поразительнее, что встречаются упоминания о том вполне понятном исключении, а не об этом, более чем странном, хотя подобное упоминание было бы весьма естественно, в особенности по отношению к 21-летнему консулу Цезарю-сыну (ср., например, *App.*, 3, 88). Если же из этих неудачных примеров делается вывод, что «в Риме плохо соблюдали закон, когда речь шла о выдающихся людях», то вряд ли когда-нибудь высказывалось более ошибочное мнение о Риме и о римлянах. Все величие римской государственности, так же как и знаменитых римских полководцев и государственных деятелей, основано прежде всего на том, что закон распространялся и на них.

его почти мечтательной любовью к его матери Рее, вместе с тем отличался рыцарской храбростью, о чем свидетельствовали полученные им в кимврской, испанской и италийской войнах почетные рубцы. Совершенно не имея подготовки как оратор, он вызывал восхищение образованных адвокатов легкостью и меткостью своей речи. Во время революционной войны, которая велась демократами крайне жалко и бездарно, он имел случай блестяще обнаружить свои исключительные военные и политические дарования. По общему признанию, он был единственным демократическим военачальником, умевшим подготовить войну и руководить ею, и единственным политическим деятелем демократов, выступавшим против бессмысленных затей и жестокостей своей партии с энергией подлинного государственного человека. Испанские солдаты Сертория называли его новым Ганнибалом — и не только потому, что, подобно последнему, он лишился на войне глаза. Он действительно напоминал великого финикийца хитрым и в то же время мужественным способом ведения войны, редким талантом находить в самой войне средства для ее продолжения, ловкостью, с которой он вовлекал другие народы в свои интересы, заставляя их служить своим целям, выдержкой в счастье и несчастье, быстротой и изобретательностью в использовании своих побед и предотвращении последствий поражения. Вряд ли кто-либо из прежних или современных ему римских государственных деятелей был равен Серторию столь всесторонними дарованиями. После того как полководцы Сульы заставили его покинуть Испанию, он вел бродячую, полную приключений жизнь у испанских и африканских берегов, то вступая в союз, то ведя войну с водившимися и здесь киликийскими пиратами и вождями кочевых племен Ливии. Но и здесь его преследовала победоносная римская реставрация. Когда он осаждал Тингис (Танжер), на помощь местному царьку пришел из римской Африки отряд под начальством Пациэка, однако Серторий разбил его и занял Тингис.

Слух об этих военных подвигах римского беглеца широко разнесся повсюду. Лузитане, лишь внешним образом подчинившиеся римскому господству, а в действительности отстаивавшие свою независимость и ежегодно сражавшиеся с наместниками Дальней Испании, отправили посольство в Африку к Серторию, приглашая его к себе и предлагая ему принять командование их войском.

Серторий, служивший в Испании 20 лет назад под начальством Тита Дидия и знавший страну, решил принять это предложение и отправился на корабле в Испанию, оставив небольшой пост на мавретанском берегу (около 674 г.). Но в проливе, разделяющем Испанию и Африку, находилась римская эскадра, которой командовал Котта. Пробраться незаметно было невозможно, поэтому Серторий проложил себе путь силой и благополучно прибыл в Лузитанию. Его власть признали не больше 20 лузитанских общин, а «римлян» у него было

лишь 2 600 человек, значительную часть которых составляли перебежчики из армии Пациэка или африканцы, вооруженные по римскому образцу. Серторий понял, что задача заключалась в том, чтобы в добавление к этим нестройным шайкам партизан создать прочное ядро по-римски организованных и дисциплинированных войск. Для этого он, мобилизовав 4 тыс. пехотинцев и 700 всадников, усилил ими привезенный им отряд и с этим легионом и толпой испанских добровольцев выступил против римлян. В Дальней Испании командовал Луций Фуфидий, выслужившийся из унтер-офицеров в пропреторы благодаря своей безусловной, испытанной при проскрипциях, преданности Сулле. У Бетиса он был разбит наголову; 2 тыс. римлян легли на поле сражения. К наместнику соседней провинции Эбро Марку Домицию Кальвину были отправлены гонцы с просьбой остановить наступление войск Сертория.

Вскоре прибыл и опытный полководец Квинт Метелл, посланный Суллой в южную Испанию вместо неспособного Фуфидия (675). Но подавить восстание не удалось. Квестор Луций Гиртулей из армии Сертория не только уничтожил в провинции Эбро войско Кальвина, причем последний был убит, — этот же храбрый полководец разбил наголову и Луция Манлия, наместника Трансальпийской Галлии, перешедшего с тремя легионами Пиренеи, чтобы помочь своему коллеге. Манлию с небольшой частью его отряда едва удалось бежать в Илерду (Лерида), а оттуда в свою провинцию. Вдобавок во время этого перехода на него напали аквитанские племена, и он потерял весь свой обоз. В Дальней Испании Метелл проник в Лузитанскую область, но Серторию удалось во время осады Лонгобриги (близ устья Тахо) завлечь в ловушку один из его отрядов под командованием Аквина, заставив этим Метелла снять осаду и очистить Лузитанию. Серторий преследовал его, разбил у реки Анас (Гвадиана) отряд Тория, а самому неприятельскому главнокомандующему причинил большой урон партизанской войной. Метелл был методический и несколько тяжеловесный полководец, и его приводил в отчаяние этот противник, который упорно отказывался от решительного сражения, но прерывал ему снабжение и пути сообщения и постоянно производил на него налеты со всех сторон.

Необыкновенные успехи Сертория в обеих испанских провинциях имели тем большее значение, что они были достигнуты не только силой оружия и носили не только чисто военный характер. Эмигранты как таковые были не страшны; отдельные победы лузитан, одержанные под начальством того или иного чужеземного вождя, также не имели большого значения. Но Серторий, обладая верным политическим и патриотическим чутьем, повсюду, где это было возможно, выступал не как кондотьер, нанятый восставшими против Рима лузитанами, а как римский полководец и наместник Испании, в каком-то звании он и был туда послан прежним правительством. Он стал со-

здавать* из вожаков эмиграции сенат, который должен был состоять из трехсот членов и по римским формам вести дела и назначать должностных лиц. Свое войско он рассматривал как римское и замещал командные должности исключительно римлянами. По отношению к испанцам он был наместником, требовавшим от них солдат и прочей помощи на основании своих полномочий, но, в отличие от обычного деспотического управления римских наместников, он старался привязать провинциалов к Риму и к себе лично. Его рыцарская натура легко применялась к испанским нравам; родственный ей по духу замечательный чужеземец вызывал в испанской знати пылкое восхищение. По существовавшему здесь, так же как у кельтов и германцев, воинственному обычаю составлять дружину вождя, тысячи испанцев из самых знатных семейств поклялись быть верными до смерти своему римскому полководцу, и Серторий нашел в них более надежных товарищей по оружию, чем в своих соотечественниках и единомышленниках. Он не пренебрегал и тем, чтобы использовать суеверия примитивных испанских племен, в своих интересах выдавая свои военные планы за повеления Дианы, сообщаемые ему белой ланью этой богини. Правление его было во всем справедливо и мягко. Войска его — по крайней мере куда проникали его взоры и его рука — должны были соблюдать строжайшую дисциплину. Будучи вообще мягок в наказаниях, он был беспощаден при каждом преступлении, совершенном его солдатами в дружественной стране. Заботился он и о прочном улучшении положения провинциалов; он уменьшил дань и приказал солдатам строить себе на зиму бараки; таким образом, отпало тяжелое бремя постоя и был положен конец несказанным злоупотреблениям и мучениям. Для детей знатных испанцев была учреждена в Оске (Уэска) академия, где они получали обычное для римской молодежи образование, учились говорить по-латински и по-гречески и носить тогу. Целью этого замечательного мероприятия отнюдь не было только взять с союзников в наиболее мягкой форме заложников, необходимых в Испании, эта мера означала осуществление и развитие великой мысли Гая Гракха и демократической партии о постепенной романизации провинций. Здесь впервые была сделана попытка насадить римскую культуру не путем истребления старого населения и замены его итальянскими эмигрантами, а посредством романизации самих провинциалов. Римские оптиматы глумились над жалким эмигрантом, беглецом из итальянской армии, последним из разбойничьей шайки Карбона, но эти убогие насмешки обращались против них самих. Силы, посланные против Сертория, считая испанское ополчение, определялись в 120 тыс. человек пехоты, 2 тыс. стрелков из лука и пращников и 6 тыс. всадников, однако он не только устоял против этого

* Основы этой организации были заложены, очевидно, в 674, 675, 676 гг., но завершена она была, несомненно, в значительной части в позднейшее время.

огромного превосходства сил в ряде удачных сражений и побед, но и подчинил себе большую часть Испании. В Дальней Испании власть Метелла распространялась лишь на непосредственно занятую его войсками территорию; здесь все племена, имевшие эту возможность, стали на сторону Сертория. В Ближней Испании после побед Гиртулея не оставалось уже больше римского войска. Эмиссары Сертория исколесили всю Галлию; и здесь население начинало уже волноваться и собравшиеся шайки делали небезопасными альпийские проходы. Наконец, море в одинаковой мере принадлежало повстанцам и законному правительству, так как союзники первых, корсары, были почти так же могущественны в испанских водах, как и римский военный флот. Серторий устроил для них укрепленную базу на мысе Дианы (ныне Дения, между Валенсией и Аликанте), где они подстерегали римские суда, снабжавшие римские портовые города и армию, торговали с повстанцами, а также обеспечивали сношения их с Италией и Малой Азией. Эти всегда готовые к услугам посредники повсюду разносили искры пылающего пожара, что было в высшей степени тревожным явлением, особенно в такое время, когда повсеместно в Римском государстве накопилось столько горючего материала.

При таких обстоятельствах скоропостижно скончался Сулла (676). Пока жив был тот человек, по чьему слову каждую минуту готово было двинуться опытное и надежное войско ветеранов, олигархия могла еще считать почти неизбежный, казалось, захват испанских провинций эмигрантами, а также избрание главы оппозиции высшим римским магистратом лишь временными неудачами. По своей близорукости, хотя и не без некоторого основания, она могла надеяться, что либо оппозиция не посмеет вступить в открытую борьбу, или же, если она осмелится на это, двукратный спаситель олигархии вызовет ее и в третий раз. Теперь положение изменилось. Нетерпеливые столичные демократы, давно уже недовольные бесконечной медлительностью и воодушевленные блестящими известиями из Испании, настаивали на выступлении. Лепид, от которого в данное время зависело решение, согласился на это со всем рвением ренегата и свойственным лично ему легкомыслием. Одно время казалось, что от того факела, которым был зажжен погребальный костер Суллы, вспыхнет гражданская война, но влияние Помпея и настроение сулланских ветеранов заставили оппозицию дать спокойно пройти похоронам правителя. Тем более открыто начались затем приготовления к новой революции.

Римский форум опять ежедневно оглашался обвинениями против «карикатурного Ромула» и его прислужников. Диктатор еще не успел закрыть глаза, как Лепид и его приверженцы открыто объявили своей целью свержение сулланского государственного строя, возобновление раздач хлеба, восстановление народных трибунов в прежних правах, амнистию незаконно сосланных, возвращение конфис-

кованных земель. Теперь были завязаны сношения и с изгнанниками. Марк Перпенна, бывший во времена Цинны наместником Сицилии, появился в столице. К участию в движении были приглашены сыновья лиц, объявленных при Сулле государственными изменниками, на которых законы реставрации тяготели невыносимым гнетом, и вообще все видные сторонники Мария; многие из них, как, например, молодой Луций Цинна, присоединились к оппозиции, а другие последовали примеру Гая Цезаря, который, узнав о смерти Суллы и планах Лепида, возвратился, правда, из Азии в Рим, но, познакомившись поближе с характером вождя и движения, осторожно отстранился. В столице происходили за счет Лепида попойки и велась агитация в тавернах и публичных домах. Наконец, и среди недовольных этрусков замышлялся заговор против нового порядка*.

Все это происходило на глазах правительства. Консул Катул и более рассудительные из оптиматов настаивали на немедленном решительном вмешательстве, чтобы подавить восстание в зародыше, но дряблое большинство не могло решиться начать борьбу, а пытались как можно долее обманывать себя политикой компромиссов и уступок. Лепид сперва тоже вступил на этот путь и в меньшей мере, чем его коллега Катул, отвергал мысль о возвращении народным трибунам отнятых у них полномочий. Зато введенная Гракхом раздача хлеба была с ограничениями восстановлена. Согласно новому порядку, хлеб выдавался теперь не всем беднейшим гражданам, а — в отличие от семпрониева закона — лишь определенному числу — вероятно, 40 тыс. — в установленном Гракхом количестве, по 5 модиев** в месяц за 6 1/3 асса, что обходилось казначейству по крайней мере в 3 млн талеров^{3*} в год^{4*}.

* Последующее изложение основано, главным образом, на рассказе Лициниана, в котором, как ни отрывочен он как раз в этом месте, сообщаются важные сведения о восстании Лепида.

** Медимн — греческая мера сыпучих тел — равняется 52,53 литра. Медимн соответствовал 6 римским модиям, каждый модий равнялся приблизительно 8,75 литра (*Прим. ред.*).

^{3*} Талер равен приблизительно 3 маркам, или 1,2 золотого рубля. (*Прим. ред.*)

^{4*} Лициниан (изд. Пертца, стр. 23; боннское изд., стр. 42) под 676 г. сообщает [Lepidus] [le]gem frumentari [am] nullo resistente [argi]tus est, ut annon[ae] quinque modi popu[lo da]rentur».

Таким образом, закон консулов 681 г., Марка Теренция Лукулла и Гая Кассия Вара, о котором упоминает Цицерон (*In Verr.*, 3; 70, 136, 5, 21, 52) и на который ссылается и Саллюстий (*Hist.*, 3, 61, 19, изд. Дитча), не восстановил выдачу 5 шеффелей, а только обеспечил раздачу хлеба и, быть может, изменил некоторые частности, регулировав закупку хлеба в Сицилии. Несомненно, что семпрониевы законы позволяли каждому гражданину, постоянно проживавшему в Риме, пользоваться раздачей хлеба, но впоследствии раздачи хлеба были со-

Оппозиция, конечно, мало удовлетворенная этой полууступкой, но зато решительно ободренная ею, стала выступать в столице с еще большей дерзостью, а в Этрурии, этом очаге всех восстаний италийского пролетариата, началась уже гражданская война. Подвергнутые экспроприации жители Фезул с оружием в руках завладели отнятыми у них землями, причем было убито много поселенных там Суллой ветеранов. Получив это известие, сенат постановил послать туда обоих консулов, чтобы набрать войско и подавить восстание*.

Невозможно было поступить более неблагоприятно. Восстановив раздачу хлеба, сенат продемонстрировал перед лицом мятежников свое малодушие и свое беспокойство; он дал заведомому главе восстания армию только для того, чтобы избавиться от уличного шума; если же у обоих консулов была взята самая торжественная присяга, какую можно было придумать, в том что они не обратят доверенное им оружие друг против друга, то нужна была действительно демоническая закоснелость олигархической совести, для того чтобы воздвигнуть такой оплот против грозившего восстания. Конечно, Лепид вооружался в Этрурии не для сената, а для восстания, издевательски заявляя, что данная им клятва связывает его лишь до истечения года.

кращены, так как количество хлеба, потребное в месяц для римских граждан, составляло около 33 тыс. медимнов, т. е. 198 тыс. римских модиев (*Cicero, In Verr.*, 3, 30, 72); только около 40 тыс. граждан получали в то время хлеб, между тем как число постоянно проживавших в столице граждан наверное было гораздо значительнее. Этот порядок основан, вероятно, на законе Октавия, который вместо слишком щедрой семпрониевой ввел «умеренную, сносную для государства и необходимую для простого народа раздачу» (*Cicero, De off.*, 2, 21, 72; *Brut.*, 62, 222); это и есть, вероятно, упоминаемая Лицинианом «*lex frumentaria*». То, что Лепид пошел на такой компромисс, вполне соответствует его позиции по вопросу о восстановлении трибуната. Точно так же понятно, что демократия далеко не была удовлетворена этим регулированием раздачи хлеба (см. *Sallust.*, *Hist.* 1. с.). Сумма убытка определяется тем, что зерновой хлеб был тогда почти вдвое дороже; убыток был бы еще значительно больше, если бы вследствие пиратства или по другим причинам хлебные цены стали еще выше.

* Из отрывков Лициниана видно, что постановление сената «*uti Lepidus et Catulus decretis exercitibus maturrume profisicerentur*» (*Sallust.*, *Hist.*, 1, 14, изд. Дитча) следует понимать не в смысле посылки консулов до истечения срока их должности в их проконсульские провинции, для чего не было никакого основания, а в смысле командировки их в Этрурию против восставших фезуланцев, точно так же как во время войны с Катилиной был отправлен туда же консул Гай Антоний. Если у Саллюстия (*Hist.*, 1, 84, 4) Филипп говорит, что Лепид «*ob seditionem provincian cum exercitu adeptus est*», то это вполне согласно со сказанным выше, так как чрезвычайная консульская власть в Этрурии точно так же представляет собой *provincia*, как и ординарное проконсульское правление в Нарбоннской Галлии.

Сенат пустил в ход оракулы, для того, чтобы принудить его к возвращению, и поручил ему руководство предстоявшими консульскими выборами, но Лепид дал уклончивый ответ, и, в то время как гонцы ездил по этому делу взад и вперед и годичный срок его полномочий приходил к концу в переговорах о соглашении, его отряд вырос до размеров армии. Когда, наконец, в начале следующего (677) года Лепид получил категорический приказ сената немедленно вернуться, проконсул дерзко отказался и со своей стороны потребовал восстановления прежней власти трибунов и возвращения изгнанникам их гражданских прав и собственности, а также переизбрания его в консулы на текущий год, что означало бы установление тирании в законной форме. Это было объявление войны.

Сенатская партия могла рассчитывать, помимо сулланских ветеранов, чьим гражданским правам угрожал Лепид, на армию, собранную проконсулом Катуллом. По настоятельному увещанию наиболее прозорливых людей, в особенности Луция Филиппа, Катуллу и было поручено сенатом защищать столицу и дать отпор находившимся в Этрурии главным силам демократов. Гней Помпей был одновременно послан с другим отрядом в долину По, чтобы отнять у своего прежнего фаворита Лепида эту область, которую занимал подчиненный тому полководец Марк Брут. В то время как Помпей быстро выполнил это поручение и окружил неприятельского полководца в Мутине, Лепид появился перед столицей, чтобы, как некогда Марий, с боем захватить ее для революции. Правый берег Тибра был уже целиком в его власти, и ему даже удалось перейти через реку. Решительное сражение произошло на Марсовом поле, под самыми стенами города.

Однако Катулл победил; Лепид должен был отступить в Этрурию, а другой отряд под начальством сына Лепида Сципиона укрылся в крепость Альбу. Этим восстание, по существу, окончилось. Мутина сдалась Помпею; Брут, несмотря на обещанную ему охрану, был затем убит по приказу Помпея. Альба также была взята измором после долгой осады, и командующий был также казнен. Лепид, теснимый с обеих сторон Катуллом и Помпеем, дал еще бой на этрусском побережье для того лишь, чтобы обеспечить себе отступление, и отплыл затем из гавани Коза в Сардинию, откуда он надеялся отрезать столице подвоз и установить связь с испанскими повстанцами. Но наместник острова оказал ему энергичное сопротивление, и вскоре после высадки Лепид умер от чахотки (677), что положило конец войне в Сардинии. Часть его солдат разбежались. С ядром повстанческой армии и богатой казной бывший претор Марк Перпенна отправился в Лигурию, а оттуда в Испанию, к Серторию.

Итак, олигархия одержала победу над Лепидом; зато опасный оборот, который приняли военные действия с Серторием, заставил олигархию пойти на уступки, нарушавшие как букву сулланской кон-

ституции, так и ее дух. Было безусловно необходимо послать в Испанию сильную армию и способного полководца, и Помпей весьма ясно давал понять, что он желает или даже требует, чтобы это поручение было дано ему. Притязания Помпея были немалы. Достаточным злом было уже и то, что под давлением критических обстоятельств лепидовской революции этого тайного противника опять допустили до чрезвычайного военного поста; но еще опаснее было, нарушая все установленные Суллой правила должностной иерархии, поручить человеку, не занимавшему еще гражданской должности, одно из важнейших провинциальных наместничеств, и притом в таких условиях, когда о соблюдении законного годовичного срока нечего было и думать. Таким образом, олигархия, помимо того что она должна была считаться со своим полководцем Метеллом, имела основание серьезно воспротивиться этой новой попытке честолюбивого юноши увековечить свое исключительное положение, однако это было нелегко. Прежде всего, у нее совершенно не было подходящего человека для трудного поста полководца в Испании. Ни один из консулов этого года не обнаруживал желаний померяться с Серторием, и пришлось согласиться с заявлением Луция Филиппа в собрании сената, что никто из видных сенаторов не способен и не хочет командовать в серьезной войне. Возможно, что на это все же не обратили бы внимания и, по обычаю олигархов, за неимением способного кандидата предоставили бы эту должность какой-нибудь бесцветной личности, если бы Помпей только заявил желание получить командование, а не требовал его, стоя во главе целой армии. Он оставил уже без внимания указание Катугла распустить войско, и было по меньшей мере сомнительно, чтобы распоряжения сената нашли лучший прием, а последствий разрыва никто не мог предвидеть, — дело аристократии легко могло быть проиграно, если бы на весы был брошен меч известного полководца. Поэтому большинство решило пойти на уступки. Помпей получил проконсульскую власть и главное командование в Дальней Испании от сената, а не от народа, мнение которого, согласно конституции, следовало здесь спросить, поскольку речь шла о вручении высшей магистратуры частному лицу. Через 40 дней после назначения, летом 677 г., Помпей перешел через Альпы.

Прежде всего новый полководец нашел себе дело в стране кельтов. Здесь не вспыхнуло, правда, настоящее восстание, но во многих местах был серьезно нарушен порядок. Вследствие этого Помпей лишил самостоятельности кантоны вольков-арекомиков и гельвиев и подчинил их Массалии. Проложив новую дорогу через Коттийские Альпы (Мон-Женевр), он установил кратчайшее сообщение между долиной По и страной кельтов. На эту работу ушло все лето, и лишь поздней осенью Помпей перешел Пиренеи.

Тем временем Серторий не оставался праздным. Он отправил

Гиртулея в Дальнюю Испанию, чтобы держать под ударом Метелла, а свои усилия направил на обеспечение полной победы в Ближней провинции и на подготовку к борьбе с Помпеем. Отдельные кельтиберские города в этой провинции, признававшие еще власть Рима, подверглись нападению и были взяты один за другим; наконец, уже зимой, пала укрепленная Контребия (к юго-востоку от Сарагосы). Напрасно осажденные города посылали одного за другим гонцов к Помпею; никакие просьбы не могли заставить его изменить своей привычки медленного продвижения вперед.

За исключением приморских городов, которые защищал римский флот, и округов индигетов и лалетанов в северо-восточной оконечности Испании, где утвердился Помпей, когда он наконец перешел через Пиренеи, расположив свои неопытные еще войска на всю зиму бивуаком, чтобы приучить их к лишениям, вся Ближняя Испания к концу 677 г. зависела в силу договора или принуждения от Сертория, и область по верхнему и среднему Эбро оставалась с тех пор надежнейшей опорой его власти. Даже тревога, которую вызвали в армии повстанцев свежее римское войско и славное имя его полководца, имела для нее благодетельные последствия. Марк Перпенна, претендовавший до тех пор как равный по рангу Серторию на самостоятельное командование приведенным им из Лигурии войском, по получении известия о прибытии Помпея в Испанию должен был по требованию своих солдат подчиниться своему более даровитому коллеге.

Для предстоящей кампании 678 г. Серторий опять направил против Метелла отряд Гиртулея, между тем как Перпенна с сильным войском стал на нижнем течении Эбро, чтобы помешать Помпею перейти через эту реку, если он, как можно было ожидать, выступит в южном направлении, для того чтобы помочь Метеллу, и будет следовать вдоль берега, чтобы обеспечить снабжение своих войск. В помощь Перпенне был сперва назначен отряд Гая Геренния; в глубине страны, по верхнему Эбро, Серторий сам завершал дело подчинения отдельных, верных еще Риму, округов, готовый в то же время, в зависимости от обстоятельств, поспешить на помощь Перпенне или Гиртулею. И на этот раз он хотел избежать генерального сражения, изнуряя противника мелкими стычками и отрезая ему снабжение. Между тем Помпей, оттеснив Перпенну, перешел через Эбро и занял позицию у реки Палланции, возле Сагунта, недалеко от мыса Дианы, откуда серторианцы, как сказано было выше, поддерживали свои сношения с Италией и Востоком.

Теперь пора было появиться самому Серторию, чтобы противопоставить лучшим воинским качествам солдат противника численное превосходство своих войск и свой гений. Борьба была долгое время сосредоточена у города Лаврона (на реке Сукаре к югу от Валенсии), который стал на сторону Помпея и поэтому был осажден Серторием.

Помпей напрягал все усилия, чтобы добиться снятия осады; но после того, как несколько отдельных его частей подверглись нападению и были уничтожены, — как раз в тот момент, когда великий полководец считал, что он окружил серторианцев, и пригласил уже осажденных полюбоваться капитуляцией осаждавшей их армии, — все его маневры внезапно оказались расстроеными, и ему пришлось, чтобы не быть самому окруженным, наблюдать из своего лагеря занятие и сожжение союзного города и увод жителей его в Лузитанию. Это событие побудило ряд колебавшихся городов в средней и восточной Испании опять примкнуть к Серторию.

С бóльшим успехом сражался в это время Метелл. В упорном сражении под Италикой (недалеко от Севильи), на которое неосторожно решился Гиртулей и в котором оба полководца лично приняли участие в рукопашном бою, а Гиртулей был даже ранен, Метелл нанес ему поражение и заставил его очистить собственно римскую территорию и уйти в Лузитанию. Эта победа дала Метеллу возможность соединиться с Помпеем. На зимние квартиры (678—679) оба полководца расположились в Пиренеях. В ближайшую кампанию 679 г. они решили совместно атаковать врага на его позициях у Валенсии. Но пока приближался Метелл, Помпей, стремившийся загладить промах, сделанный им под Лавроном, и по возможности не делить ни с кем лавры победы, на которую надеялся, не дожидаясь его, дал бой главным силам неприятеля, и Серторий с радостью использовал возможность драться с Помпеем до прихода Метелла.

Обе армии встретились у реки Сукроны (Сукар); после жаркого боя Помпей потерпел поражение на правом фланге, а сам был тяжело ранен и вынесен с поля сражения. Правда, на левом фланге Афраний одержал победу и захватил лагерь серторианцев, но Серторий внезапно напал на него во время разграбления лагеря, так что и он вынужден был отступить. Если бы Серторий мог возобновить сражение на следующий день, армия Помпея, быть может, была бы уничтожена. Но тем временем подошел Метелл, смял выставленный против него отряд Перпенны и занял его лагерь; против обеих соединившихся армий невозможно было продолжать борьбу. Успехи Метелла, объединение сил неприятеля, внезапная остановка после победы вызвали смятение среди серторианцев, и — как нередко бывало с испанскими армиями — в результате этого оборота событий бóльшая часть серторианских солдат разбежалась. Однако этот упадок духа прошел так же быстро, как и появился; белая лань, представлявшая в глазах масс военные планы главнокомандующего, вскоре опять сделалась более популярной, чем когда-либо. Спустя короткое время Серторий выступил против римлян с новой армией в той же местности, к югу от Сагунта (Мурвиедро), упорно хранившего верность Риму, между тем как серторианские каперы затрудняли снабжение римлян морем и в

римском лагере стал уже ощущаться недостаток в продовольствии. Помпей со своей конницей был разбит Серторием, а зять его и квестор храбрый Луций Меммий был убит; зато Метелл одолел Перпенну и победоносно отразил нападение главной армии противника, причем сам он был ранен в рукопашной схватке. Армия Сертория после этого сражения опять рассеялась. Валенсия, занятая Гаем Гереннием, была взята и скрыта. Римляне могли теперь надеяться, что они покончили с упорным врагом. Серторианская армия исчезла, римские войска глубоко проникли внутрь страны и осаждали самого неприятельского полководца в крепости Клунии, на верхнем Дуэро. Но, в то время как они тщетно окружали эту горную твердыню, контингенты восставших общин собирались в других местах, а Серторий бежал из Клунии и еще до конца года снова стоял во главе армии. Римские полководцы опять должны были расположиться на зимние квартиры с безотрадной перспективой возобновления сизифовой работы. Для этого невозможно даже было избрать место в столь важной для сообщения с Италией и Востоком, но страшно опустошенной друзьями и недругами области Валенсии. Помпей повел сперва свои войска в область васконов (Бискайя)* и провел затем зиму у ваккеев (возле Вальядолида), а Метелл зимовал в Галлии.

Пять лет длилась уже война с Серторием, но ни с той, ни с другой стороны не предвиделось еще конца. Государству война причиняла неопиcуемый ущерб. Цвет италийской молодежи погибал в этих походах от изнурительных лишений. Государственная казна не только была лишена испанских доходов, но должна была еще посылать ежегодно в Испанию на уплату жалованья и снабжение находившихся там армий очень значительные суммы, которые почти невозможно было собрать. Испания, разумеется, пустела и беднела вследствие этой войны, ведшейся с таким ожесточением и часто приводившей к истреблению целых общин, а пышно расцветавшей там римской культуре был нанесен тяжелый удар. Даже города, стоявшие на стороне господствовавшей в Риме партии, переносили невыразимые бедствия; приморские города получали все необходимое при помощи римского флота, а положение верных Риму общин внутри страны было отчаянное. Почти такие же лишения переносила и галльская провинция, — отчасти от наборов в пехоту и конницу, от реквизиции денег и хлеба, отчасти же от тяжелого бремени зимних постоев, которое вследствие неурожая 680 г. стало совершенно невыносимым. Почти всем общинам приходилось искать помощи у

* Во вновь найденных отрывках Саллюстия, относящихся, по-видимому, к концу похода 75 г., об этом сказано: «Romanus [exer] citus (Помпей) frumenti gra[tia r]jemotus in Vasconesi... [it] emque Scrtorius mon... e, cuius in[terer]at, ne ei perinde Asiae [iter et Italiae intercluderetur]».

римских банкиров и принимать на себя непосильные долги. Как полководцы, так и солдаты вели войну неохотно. Полководцы натолкнулись на противника, значительно превосходившего их талантом, на утомительно упорное сопротивление, на войну, полную серьезных опасностей при далеко не блестящих и с трудом достигнутых победах. Утверждали, что Помпей носится с мыслью добиться отозвания из Испании и назначения на какой-либо более приятный военный пост в другом месте. Солдаты были также мало удовлетворены походом, в котором не на что было рассчитывать, кроме жестоких ударов и незначительной добычи, и где даже жалованье выплачивалось крайне неаккуратно. В конце 679 г. Помпей сообщал сенату, что уже в течение двух лет жалованье не выдается в срок и войско грозит распасться. Римское правительство могло бы, конечно, устранить большую часть этих бедствий, если бы оно решилось вести войну в Испании менее вяло или, лучше сказать, более охотно. Но в основном ни правительство, ни полководцы не были виновны в том, что такой исключительный гений, как Серторий, мог в этих чрезвычайно благоприятных для мятежа и пиратства местах вести малую войну целые годы, несмотря на численное и военное превосходство противника. Конца здесь не предвиделось, и, наоборот, казалось, что серторианский мятеж сольется с другими одновременными восстаниями, что еще более усилит его опасность. Как раз в то время велась на всех морях война с пиратами, в Италии — с восставшими рабами, в Македонии — с племенами, жившими на Нижнем Дунае, а на Востоке царь Митридат под влиянием успехов испанского восстания решил еще раз испытать военное счастье. Невозможно доказать, что Серторий вступил в связь с итальянскими и македонскими врагами Рима, хотя он, несомненно, поддерживал постоянные сношения с марианцами в Италии; зато с пиратами он еще раньше вступил в открытый союз, а с понтийским царем, с которым у него давно уже имелся контакт через посредство находившихся при дворе Митридата римских эмигрантов, он заключил теперь настоящий союзный договор. Серторий уступил здесь царю подвластные Риму малоазийские государства, — но не римскую провинцию Азию, — а помимо того обещал послать ему пригодного для командования его войсками офицера и известное число солдат, а царь обязывался ему передать 40 судов и 3 тыс. талантов. Мудрые политики столицы вспоминали уже о том времени, когда Италии угрожали с Востока и Запада Филипп и Ганнибал; поговаривали, что новый Ганнибал, завоевав так же, как его предшественник, Испанию своими собственными силами, сможет, подобно ему, прибыть в Италию с испанской армией, и притом раньше, чем Помпей, чтобы, по примеру финикийского полководца, призвать к оружию этрусков и самнитов против Рима.

Но это сравнение было более остроумно, чем правильно. Серторий далеко не был так силен, чтобы возобновить гигантское предприятие Ганнибала. Он погиб бы, покинув Испанию, так как все его успехи зависели от особенностей этой страны и ее народа, да и здесь ему все чаще и чаще приходилось отказываться от наступления. Его поразительное военное счастье не могло изменить качества его войск; испанское ополчение оставалось тем, чем оно было: непостоянное, как ветер и как морская волна, оно то вырастало до 150 тыс. человек, то опять превращалось в горсточку людей, а римские эмигранты были по-прежнему непокорны, высокомерны и упрямы. Те роды оружия, которые требуют продолжительного пребывания в строю, как прежде всего конница, были, конечно, представлены в его армии очень недостаточно. Война постепенно лишала его способнейших офицеров и кадровых ветеранов, и даже самые надежные общины, уставшие от притеснений римлян и злоупотреблений серторианских офицеров, стали обнаруживать признаки нетерпения и колебаться в своей верности. Замечательно, что Серторий, и в этом напомилавший Ганнибала, никогда не заблуждался относительно безнадёжности своего положения; он не пропускал ни одной возможности, чтобы добиться соглашения, и каждую минуту готов был отказаться от своей власти, если ему будет позволено мирно жить на родине. Но политическая ортодоксия не знает ни соглашения, ни примирения. Серторий не мог ни пойти назад, ни уклониться в сторону; он должен был следовать избранному им пути, как бы узок и опасен он ни становился.

Ходатайства Помпея, которым придало вес выступление Митридата на Востоке, имели в Риме успех. Он получил от сената необходимые ему деньги и подкрепления в виде двух свежих легионов. Весною 680 г. оба полководца опять приступили к делу и вновь перешли через Эбро. В результате боев на Сукаре и Гвадалавиаре восточная Испания была отнята у серторианцев; борьба сосредоточилась теперь на верхнем и среднем Эбро, возле Калагурриса, Оски и Илерды, служивших Серторию главными складами оружия. Метелл, более счастливый, чем Помпей, в прежних кампаниях, достиг и на этот раз важнейших успехов. Выступивший опять против него его старый противник Гиртулей был разбит наголову и пал в бою вместе со своим братом, — это была для серторианцев невозместимая потеря. Серторий, получивший известие об этом несчастье, когда он сам собирался напасть на противостоящего ему врага, заколол гонца, чтобы эта весть не вызвала уныния в его войсках, но долго скрывать ее было невозможно. Один город за другим сдавался римлянам. Метелл занял кельтиберские города Сегобригу (между Толедо и Куэнка) и Билбилис (у Калатайуда). Помпей осаждал Палланцию (Паленсия), к северу от Вальядолида, но Серторий выручил этот город и заставил Помпея отступить к расположению войск Метелла; оба они понесли чувстви-

тельные потери у Калагурриса (Калагорра на верхнем Эбро), куда устремился Серторий. Однако, уйдя на зимние квартиры — Помпей в Галлию, а Метелл в подчиненную ему провинцию, оба они имели право считать, что оставили за собой значительные успехи; большая часть инсургентов либо покорилась, либо была подчинена силой оружия. Подобным же образом протекала кампания следующего (681) года, когда Помпей медленно, но упорно сужал территорию восстания.

Поражение не преминуло сказаться на настроении повстанцев. Военные успехи Сертория, как было и с Ганнибалом, становились по необходимости все незначительнее, и его приверженцы начали сомневаться в его военном таланте; говорили, что он уже не тот, что он проводит целые дни в пирах или за кубком и растрчивает деньги и время. Количество дезертиров и отпадавших общин все возрастало. Скоро полководцу донесли о замыслах римских эмигрантов, направленных против его жизни; это было довольно правдоподобно, так как многие офицеры повстанческой армии, в особенности Перпенна, неохотно подчинились командованию Сертория, а римские наместники давно уже обещали амнистию и высокую денежную награду убийце неприятельского главнокомандующего. Вследствие этих доносов Серторий удалил из своей охраны римских солдат, заменив их избранными испанцами, а с заподозренными он расправился со страшной, но необходимой суровостью и, не спрашивая, вопреки своему обыкновению, совета, приговорил многих разоблаченных заговорщиков к смерти. Недовольные стали тогда говорить, что он теперь опаснее для друзей, нежели для врагов. Вскоре был раскрыт второй заговор в его собственном штабе; всем, на кого поступил донос, пришлось бежать или умереть, но не все были выданы, и остальные заговорщики — прежде всего Перпенна — увидели в этом лишь указание, что нужно торопиться.

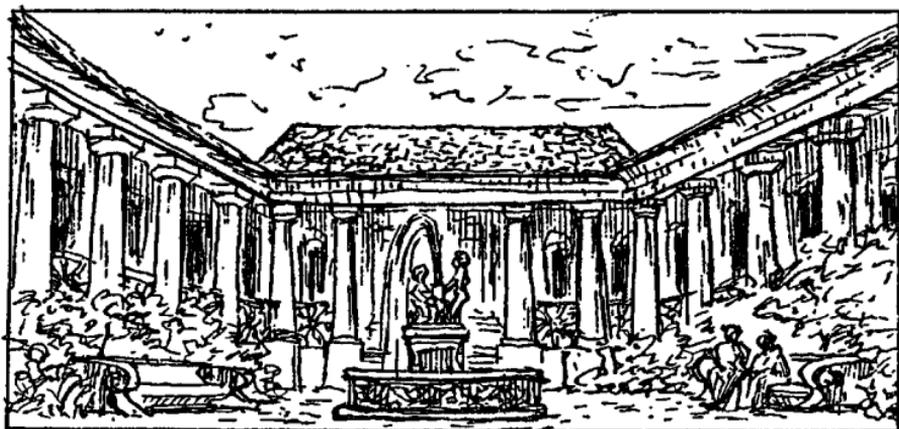
Дело было в главной квартире Сертория в Оске. По указанию Перпенны, полководцу было сообщено о блестящей победе, одержанной будто бы его войсками; на пир, устроенный Перпенной в честь этой победы, явился и Серторий, как обычно, в сопровождении испанского конвоя. Вопреки обыкновению серторианской главной квартиры, празднество скоро превратилось в вакханалию; за столом раздавались разгульные речи, и казалось, что некоторые из гостей ищут повода начать ссору. Серторий откинулся на своем ложе, как бы не желая слышать шума. Вдруг упала на пол чаша — это Перпенна подавал условный знак. Марк Антоний, сосед Сертория за столом, нанес ему первый удар, а когда раненый повернулся и пытался выпрямиться, убийца навалился на него, не давая ему встать, а остальные гости — все они были участниками заговора — бросились на борющихся и закололи безоружного полководца, которого кто-то держал за руки

(682). С ним погибли и верные его соратники. Так кончил свою жизнь один из крупнейших, если не самый крупный из всех людей, выдвинутых до той поры Римом, человек, который при более благоприятных обстоятельствах стал бы преобразователем своего отечества; он погиб благодаря измене той жалкой шайки эмигрантов, вести которую против родины было для него роковой необходимостью. История не любит Кориоланов; она не сделала исключения и для этого, самого великодушного, гениального и наиболее заслуживающего сочувствия из всех.

Убийцы хотели присвоить наследство убитого. После смерти Сертория Перпенна как старший из римских офицеров испанской армии претендовал на пост главнокомандующего. Ему подчинились, но недоверчиво и неохотно. Как ни роптали против Сертория при его жизни, смерть восстановила героя в его правах, и велико было негодование солдат, когда при чтении его завещания было названо в числе наследников также имя Перпенны. Часть солдат, в особенности лужитане, разбежались; оставшихся угнетало предчувствие, что со смертью Сертория военное счастье покинуло их. При первой же встрече с Помпеем плохо предводительствуемые и впавшие в уныние банды повстанцев были окончательно рассеяны, и в числе прочих офицеров был взят в плен также Перпенна. Жалкий человек хотел спасти свою жизнь выдачей переписки Сертория, которая скомпрометировала бы многих уважаемых людей в Италии; но Помпей приказал сжечь эти бумаги, не читая их, и передал Перпенну вместе с остальными вождями повстанцев палачу. Спасшиеся эмигранты рассеялись и бежали — большей частью в мавретанскую пустыню или к пиратам. Плотиев закон, горячо поддержанный молодым Цезарем, дал вскоре некоторым из них право вернуться на родину; но все участники убийства Сертория, за исключением лишь одного, умерли насильственной смертью. Оска и вообще большинство городов Ближней Испании, державшихся еще на стороне Сертория, открыли теперь добровольно свои ворота Помпею; лишь Уксаму (Осма), Клунию и Калагуррис пришлось брать силой. Обе испанские провинции были заново организованы; в Дальней Испании Метелл увеличил размер ежегодной дани для наиболее провинившихся общин, а в Ближней распорядился Помпей, назначая кары и награды; так, например, Калагуррис был лишен своей самостоятельности и подчинен Оске. Отряд серторианских солдат, собравшихся в Пиренеях, был принужден Помпеем к сдаче и поселен к северу от гор, близ Лугудуна (ныне Сен-Бертран, в департаменте Верхней Гаронны) под названием общины «сбежавшихся» (*convexae*). В горном проходе Пиренеев были воздвигнуты римские победные значки; в конце 683 г. Метелл и Помпей прошли со своим войском по улицам столицы, чтобы воздать отцу Юпитеру на Капитолии благодарность нации за победу над испанцами. Каза-

лось, что счастье Суллы, даже после его смерти, не покидало его креатуру и хранило его лучше, чем поставленная для этого неспособная и нерадивая стража. Итальянская оппозиция рассыпалась вследствие бездарности и чрезмерной поспешности ее вождя, а эмиграция — вследствие внутренних раздоров. Эти поражения в гораздо большей мере были результатом собственных ошибок и неполадок, чем плодом усилий противника, но тем не менее они знаменовали победу олигархии. Еще раз укрепились курульные кресла.





Глава II

Господство сулланской реставрации

Когда после подавления революции Цинны, угрожавшей самому существованию сената, реставрированное сенатское правительство получило возможность снова посвятить необходимое внимание внутренней и внешней безопасности государства, то оказалось, что имеется достаточно вопросов, решение которых не могло быть отложено, так как это нарушило бы важнейшие интересы и позволило бы тогдашним затруднениям превратиться в опасность для будущего. Не говоря уже о более серьезных осложнениях в Испании, было безусловно необходимо прочно усмирить фракийских и придунайских варваров, которых Сулла во время своего македонского похода мог только наказать, а также урегулировать вооруженной силой запутанные дела на северной границе греческого полуострова, а с другой стороны, нужно было решительно покончить с пиратами, господствовавшими повсюду, в особенности в восточных водах, и, наконец, внести порядок в нерешенные малоазийские вопросы. Мир, заключенный Суллой в 670 г. с понтийским царем Митридатом, повторением которого был в основном договор с Муреной 673 г., носил всецело характер временной меры, кое-как приспособленной к требованиям данного момента, а отношения между Римом и армянским царем Тиграном, с которым римляне фактически вели войну, совершенно не были затронуты этим миром. Тигран с пол-

ным основанием усмотрел в этом молчаливое разрешение подчинить своей власти римские владения в Азии. Если Рим не имел намерения отказаться от них, то ему необходимо было добром или силой добиться соглашения с новым могущественным властелином Азии.

После того как в предыдущей главе было описано связанное с действиями демократов движение в Италии и Испании и подавление его сенатским правительством, мы рассмотрим теперь внешнюю политику, которая велась, — а иногда и не велась, — установленным Суллой правительством.

Сильная рука Суллы видна еще в энергичных мероприятиях, в последние годы его правления почти одновременно принятых сенатом против серторянцев, против далматинцев и фракийцев и против киликийских пиратов.

На греко-иллирийский полуостров была отправлена экспедиция с целью покорить или хотя бы усмирить варварские племена, кочевавшие по всей стране от Черного до Адриатического моря; в особенности бессы (в Больших Балканах) слыли здесь, как говорили, даже среди разбойников, отъявленными разбойниками; второй задачей экспедиции было уничтожение скрывавшихся на далматинском побережье корсаров. По обыкновению, нападение было произведено из Далмации и Македонии одновременно, для чего в последней провинции была собрана армия из пяти легионов. Командовавший в Далмации бывший претор Гай Косконий исходил страну во всех направлениях и после двухлетней осады взял приступом крепость Салону. В Македонии проконсул Аппий Клавдий (676—678) пытался прежде всего завладеть нагорной областью на левом берегу реки Карасу, близ македонско-фракийской границы. С обеих сторон война велась со страшной жестокостью. Фракийцы разрушали завоеванные города и убивали пленных, а римляне платили им тем же. Но серьезных успехов достигнуто не было; тяжелые переходы и постоянные сражения с многочисленными и храбрыми горцами бесплодно опустошали ряды войска; сам полководец заболел и умер. Преемник его Гай Скрибоний Курион (679—681), натолкнувшись на ряд препятствий, в том числе на довольно значительное военное восстание, был вынужден отказаться от трудной экспедиции против фракийцев; вместо этого он направился к северной границе Македонии, где покорил более слабых дарданов (в Сербии) и дошел до Дуная.

Лишь смелый и даровитый Марк Лукулл (682—683), снова выступивший на Восток, разбил бессов в их горах, взял их крепость Ускудаму, или Филиппополь (Адрианополь), и заставил их подчиниться римскому господству. Царь одрисов Садала и греческие города на восточном побережье к северу и югу от Балканского хребта — Истрополь, Томы, Каллатис, Одесс (возле Варны), Месембрия и другие —

сделались зависимыми от Рима. Фракия, где римлянам до тех пор принадлежали почти одни только владения Атталидов на Херсонесе, стала теперь, правда, не очень покорной, частью провинции Македонии.

Однако гораздо больший ущерб, чем ограничивавшиеся все же небольшой частью государства разбойничьи набеги фракийцев и дарданов, причиняло как государству, так и отдельным лицам пиратство, которое непрерывно развивалось и приобретало все более прочную организацию.

Пираты господствовали на всем Средиземном море, так что Италия не могла ни вывозить свои продукты, ни ввозить хлеб из своих провинций. В Италии народ голодал, а в провинциях приостанавливали запашку вследствие недостатка сбыта. Ни одна денежная посылка, ни один путешественник не находились в безопасности, государственная казна терпела чувствительные потери. Множество почтенных римлян было захвачено корсарами и должно было откупаться значительными суммами, а некоторых из них пираты предпочли подвергнуть казни, сопровождая ее к тому же дикими шутками. Купцы и даже отправлявшиеся на Восток римские войска начали переносить свои поездки преимущественно на зиму, меньше боясь зимних бурь, чем пиратских судов, которые, впрочем, даже в это время года совсем не исчезали. Но как ни тяжела была морская блокада, ее все же легче было переносить, чем нападения на греческие и малоазийские острова и берега. Точно так же как в эпоху норманнов, флотилии корсаров причаливали к приморским городам и либо заставляли их откупаться большими суммами, либо осаждали и брали их штурмом. Если на глазах у Суллы, после заключения мира с Митридатом, были разграблены пиратами Самофракия, Клазомены, Самос и Яссос (670), то можно себе представить, что творилось там, где не было поблизости ни римского флота, ни римского войска. Пираты ограбили поочередно все древние богатые храмы на греческом и малоазийском побережье; из одной лишь Самофракии они вывезли, как передают, богатств на 1 тыс. талантов*. Аполлон, говорит один римский поэт того времени, стал так беден по милости пиратов, что, когда ласточка прилетает к нему в гости, он не может из всех своих сокровищ показать ей хотя бы щепотку золота. Насчитывалось более 400 местностей, занятых пиратами или обложенных контрибуцией, в том числе такие города, как Книд, Самос, Колофон; с многих некогда цветущих островов и портов выселилось все население, чтобы не быть увезенными пиратами. Даже и внутренние области не были уже безопасны от них; случалось, что они нападали на пункты, лежащие на расстоянии одного или двух дней пути от берега. Страшная задолженность, от ко-

* Талант равняется приблизительно 1,500 золотых рублей (*прим. ред.*).

торой изнемогали впоследствии все общины греческого Востока, ведет свое начало по большей части с этого злосчастного времени.

Весь характер пиратства совершенно изменился. Это уже не были дерзкие разбойники, вживавшиеся в критских водах, между Киреной и Пелопоннесом («Золотое море» на языке флибустьеров), свою дань на большом пути итало-восточной торговли рабами и предметами роскоши; это не были также вооруженные ловцы рабов, в равной мере занимавшиеся «войной, торговлей и морским разбоем»: это было государство корсаров со своеобразным духом солидарности, с прочной и весьма солидной организацией; они имели свое собственное отечество и начатки симмахии и, несомненно, также определенные политические цели. Эти флибустьеры называли себя киликийцами; на самом же деле на их судах встречались отчаянные искатели приключений всех национальностей: отпущенные наемные солдаты, вербовавшиеся на Крите, граждане разрушенных в Италии, Испании и Азии городов, солдаты и офицеры войск Фимбрии и Сертория, вообще опустившиеся люди всех наций, преследуемые беглецы всех потерпевших поражение партий, все, что было несчастно и смело, — а где не было горя и преступления в это страшное время? Это уже не была сбежавшаяся воровская банда, а замкнутое военное государство; национальность заменялась здесь масонской связью гонимых и злодеев, а преступление, как это нередко бывает, покрывалось самым высоким чувством товарищества. В это разнузданное время, когда трусость и неповиновение ослабили все социальные связи, законно существовавшие общественные союзы могли бы взять пример с этого незаконнорожденного государства, основанного на нужде и насилии; казалось, что только здесь сохранились еще безусловная солидарность, товарищеский дух, верность данному слову и признанным вождям, храбрость и ловкость. Если на знамени этого государства была написана месть гражданскому обществу, которое по праву или несправедливо исключило из своей среды его членов, то можно было поспорить, был ли этот лозунг намного хуже девиза италийской олигархии или восточного султанства, готовившихся, казалось, поделить мир между собой. Сами корсары считали себя по меньшей мере равноправными всякому законному государству. Множество рассказов, полных истинного духа флибустьеров, буйного веселья и бандитского рыцарства, сохранили следы их разбойничьей гордости и пышности и их воровского юмора. Они считали, что ведут правую войну со всем миром, и были горды этим; то, что они при этом приобретали, они называли не награбленным, а военной добычей, и так как пойманного пирата в любой римской гавани ожидала смерть на кресте, то они считали себя вправе казнить всех своих пленных. Их военнополитическая организация особенно упрочилась со времен войны с Митридатом. Их суда — по большей части «мышинные ладьи», т. е.

небольшие открытые быстроходные парусные барки, и лишь изредка двух- и трехпалубные корабли — плавали теперь, соединившись в настоящие эскадры, под командой адмиралов, барки которых блистали золотом и пурпуром. Ни один пиратский капитан не отказывал в просимой помощи товарищу, которому угрожала опасность, хотя бы он ему был совершенно незнаком; договор, заключенный с кем-нибудь из их среды, беспрекословно признавался всей шайкой, но и за причиненную кому-либо из них несправедливость мстили все. Настоящей родиной их было море от Геркулесовых столбов до сирийских и египетских вод; убежище же, в котором они нуждались на суше для себя и для своих плавающих домов, им гостеприимно предоставляли мавретанское и далматинское побережья, остров Крит, а прежде всего — богатый мысами и убежищами южный берег Малой Азии, господствовавший над главным путем морской торговли того времени и почти совершенно лишенный хозяина. Ликийский союз городов и памфилийские общины имели мало значения; существовавшей с 652 г. в Киликии римской базы было далеко не достаточно для господства над широко раскинувшимся побережьем. Сирийское владычество в Киликии всегда было лишь номинальным и недавно сменилось армянским, но новый властелин, как истинный «царь царей», совершенно не интересовался морем и охотно отдал его на разграбление киликийцам. Неудивительно поэтому, что пираты процветали здесь, как нигде более. Они не только обладали здесь повсюду на берегу сигнальными пунктами и стоянками, но и внутри страны, в отдаленнейших закоулках непроходимого и гористого ликийского, памфилийского и киликийского края, они соорудили себе в скалах замки, в которых скрывали, отправляясь в плавание, своих жен, детей и свои богатства, а в опасные времена и сами находили там приют. Особенно много таких пиратских замков было в дикой Киликии, леса которой доставляли пиратам превосходный материал для постройки судов; поэтому здесь находились также главнейшие их верфи и арсеналы. Неудивительно было, что это хорошо организованное военное государство создало себе прочную клиентелу среди предоставленных в значительной степени самим себе и пользовавшихся самоуправлением греческих приморских городов, которые вступали с пиратами в торговые сношения, заключая с ними форменные договоры как с дружественной державой и отвечая отказом на требование римских наместников выставить суда против них. Так, довольно значительный город Сиды в Памфилии разрешил пиратам строить суда на его верфях и продавать захваченных ими свободных людей на его рынке.

Такого рода пиратство было уже политической силой; за политическую силу оно и само выдавало себя и принималось другими, с тех пор как сирийский царь Трифон впервые использовал пиратов, чтобы утвердить свою власть. Пираты вступали в союз как с пон-

тийским царем Митридатом, так и с римской демократической эмиграцией; они давали бой флотам Суллы в восточных и западных водах. Некоторые пиратские князьки господствовали над целым рядом береговых пунктов. Невозможно сказать, до какой степени дошло внутреннеполитическое развитие этого плавающего государства; несомненно, однако, что в этом образовании заключался зародыш морской державы, которая начинала уже приобретать оседлость, и что при благоприятных условиях оно могло бы сложиться в настоящее государство.

Из сказанного ясно, — а отчасти мы говорили об этом еще раньше, — в какой мере римляне поддерживали — или, вернее, не поддерживали — порядок на «своем море». Господство Рима над провинциями состояло главным образом в военной опеке; за находившуюся в руках римлян защиту на суше и на море провинциалы обязаны были им налогам и водатями. Но никогда, кажется, опекун не обманывал так бесстыдно своих подопечных, как римская олигархия подвластные ей общины. Вместо того чтобы создать общий для всего римского государства флот и централизованную морскую полицию, сенат совершенно уничтожил единое верховное руководство морской полицией, без которого именно здесь нельзя было обойтись, и предоставил отдельным наместникам и каждому отдельному зависимому государству обороняться от пиратов, как оно захочет и сумеет. Вместо того чтобы содержать флот из общих средств Римского государства и оставшихся формально суверенными подчиненных государств, как обязались римляне, они запустили итальянский военный флот, довольствуясь реквизируемыми у отдельных торговых городов судами, а еще чаще организованной повсюду береговой охраной, причем в обоих случаях все расходы и тяготы ложились на подданных. Провинциалы могли считать себя счастливыми, если римский наместник действительно использовал реквизируемые для обороны побережья средства только для этой цели и если, как очень часто бывало, эти средства не назначались на уплату выкупа за захваченных пиратами знатных римлян. Если предпринимались разумные шаги, как, например, занятие Киликии в 652 г., то начинания эти во время осуществления фактически сводились на нет. Те римляне, которые не были целиком во власти ходячих ложных представлений о национальном величии, должны были желать, чтобы с ораторской трибуны на форуме были сняты корабельные носы, напоминавшие об одержанных в лучшие времена морских победах.

Сулла, имевший во время войны с Митридатом достаточную возможность убедиться, к каким опасностям приводит невнимание к флоту, предпринял все же ряд серьезных шагов для борьбы с этим злом. Назначенным им в Азии наместникам он оставил поручение снарядить в приморских городах флот против пиратов, но результаты

были невелики, так как Мурена предпочел начать войну с Митридатом, а наместник Киликии Гней Долабелла оказался совершенно неспособным.

Поэтому сенат решил в 675 г. послать в Киликию одного из консулов; жребий пал на энергичного Публия Сервилия. В кровавом бою он разбил флот пиратов и занялся затем разрушением тех городов на малоазийском побережье, которые служили им стоянками и торговыми базами.

Крепости могущественного пиратского князя Зеникета Олимп, Корик, Фаселида в восточной Ликии и Атталия в Памфилии были снесены, а сам Зеникет нашел смерть среди пожара замка Олимпа.

Затем Сервилий выступил против исавров, населявших в северо-западном уголке суровой Киликии, на северном склоне Тавра, покрытый роскошными дубовыми лесами лабиринт из круглых гор, скалистых ущелий и глубоко врезавшихся долин — область, где еще поныне сохранилась память о старых временах разбойников. Для того чтобы покорить эти исаврийские скалистые гнезда, последнее и надежнейшее убежище флибустьеров, Сервилий впервые перешел с римской армией через Тавр и взял вражеские крепости Ороанду и прежде всего Исавру, представлявшую собой идеальный разбойничий город, расположенный на вершине труднодоступного горного хребта и господствовавший над лежавшей у его подножья обширной равниной Икония. Эта закончившаяся лишь в 679 г. война, из которой Публий Сервилий вынес для себя и для своего потомства прозвание Исаврика, была не бесплодна; большое число корсаров и корсарских судов попало благодаря этой войне в руки римлян; Ликия, Памфилия, западная Киликия были опустошены, а области разрушенных городов присоединены к провинции Киликии. Но по самой природе вещей пиратство отнюдь не было уничтожено этими мероприятиями, а лишь удалилось в другие края, в особенности в старейшее пристанище средиземноморских пиратов — на остров Крит. Решительные результаты могли быть здесь достигнуты лишь широко и единообразно проведенными репрессивными мероприятиями или даже только путем создания постоянной морской полиции.

В многообразной связи с этой морской войной находилось положение на малоазийском материке. Напряженность отношений между Римом и понтийским и армянским царями не смягчалась, а, наоборот, все усиливалась.

С одной стороны, армянский царь Тигран проводил беспощадную завоевательную политику. Парфяне, государство которых, раздираемое и внутренними смутами, переживало в это время глубокий упадок, были оттеснены продолжительными войнами все далее и далее в глубь Азии. Из стран, расположенных между Арменией, Месопотамией и Ираном, Кордуэна (Северный Курдистан) и Мидия Ант-

ропатена (Азербайджан) были превращены из парфянских в армянские вассальные царства, а государство Ниневия (Мосул), или Адиабена, было также вынуждено, по крайней мере временно, признать свою зависимость от Армении. Армянское господство было утверждено также в Месопотамии, а именно в Низибисе и его области; лишь южная, по большей части пустынная часть страны не перешла, по видимому, окончательно во владение нового великого царя, и в частности Селевкия на Тигре не стала подвластной ему. Эдесское царство, или Осроэну, Тигран передал кочевому арабскому племени, переселенному им сюда из южной Месопотамии и ставшему здесь оседлым; благодаря этому он надеялся господствовать над переправой через Евфрат и над великим торговым путем*. Но Тигран отнюдь не ограничивал свои завоевания восточным берегом Евфрата.

Прежде всего, целью его атаки была Каппадокия; не способная оказать сопротивление, она получила от своего могущественного соседа сокрушительный удар. Тигран отделил от Каппадокии восточную область Мелитену и объединил ее с прилегавшей армянской провинцией Софеной, благодаря чему в его власти оказались переправа через Евфрат и великий малоазийско-армянский торговый путь. После смерти Суллы армяне вступили даже в собственно Каппадокию и увели в Армению жителей столичного города Мазака (впоследствии Кесарея) и одиннадцати других городов с греческим устройством.

Не большее сопротивление могло оказать новому великому царю совершенно распадавшееся царство Селевкидов. На юге, от египетской границы до Стратоновой Башни (Кесария), господствовал иудейский царь Александр Яннай, постепенно расширявший и утверждавший свое господство в борьбе с сирийскими, египетскими и арабскими соседями и независимыми городами. Крупнейшие города Сирии —

* Эдесское царство, основание которого местными хрониками относится к 620 г., перешло лишь через несколько лет после своего возникновения под власть арабской династии Абгара и Манна, которую мы застаем здесь позднее. Это обстоятельство находится, очевидно, в связи с поселением многих арабов в окрестностях Эдессы, Каллироэ и Карр Тиграном Великим (*Plin.*, Н. п., 5, 20, 85, 21, 86, 6, 28, 142); Плутарх (*Luc.*, 21) также рассказывает, что Тигран, преобразуя нравы кочующих арабов, поселил их поближе к своему царству, чтобы через их посредство завладеть торговлей. Это следует, вероятно, понимать в том смысле, что кочевники, привыкшие прокладывать через свои владения торговые пути и взимать на них транзитные пошлины (*Strabon*, 14, 748), служили царю чем-то вроде таможенных надсмотрщиков и должны были взимать пошлины для него и для себя у переправы через Евфрат. Эти «осроэнские арабы» (*Orei Arabes*), как называет их Иллиний, были, должно быть, теми арабами с горы Амана, которых покорил Афраний (*Plutarch*, *Pomp.*, 39).

Газа, Стратонова Башня, Птолемаида, Борейя — пытались добиться самостоятельности то в качестве свободных общин, то под властью так называемых тиранов; в особенности столица Антиохия была почти самостоятельна. Дамаск и ливанские долины подчинились набатейскому князю Арету из Петры, Наконец, в Киликии господствовали или пираты или римляне. И вот из-за этой распадавшейся на тысячи кусков короны князя из дома Селевкидов упорно продолжали вести борьбу друг с другом, как будто желая превратить царскую власть в посмешище и соблазн для всех. В то время как собственные подданные отшатнулись от этого рода, обреченного, подобно дому Лая, на вечные раздоры, Селевкиды заявляли притязания даже на египетский трон, ставший вакантным ввиду смерти не оставившего наследников царя Александра II. Вследствие этого царь Тигран стал распоряжаться здесь без стеснения. Он с легкостью покорил восточную Киликию, а граждане Сол и других городов были переселены в Армению, подобно населению Каппадокии. Верхняя Сирия, за исключением храбро защищавшегося города Селевкии у устья Оронта, и большая часть Финикии были также завоеваны армянами, а в 680 г. они заняли Птолемаиду и серьезно угрожали уже Иудее. Антиохия, старая столица Селевкидов, стала одной из резиденций армянского царя. Начиная еще с 671 г. — следующего после заключения мира между Суллой и Митридатом — Тигран называется в сирийских хрониках местным государем, а Киликия и Сирия являются армянской сатрапией, управляемой наместником царя царей Магадатом. Вернулись, казалось, времена ниневийских царей — Салманассаров и Санхерибов. Восточный деспотизм снова тяготел над торговым населением сирийского побережья, как некогда над Тиром и Сидоном; снова континентальные великие державы бросились на средиземноморские области; снова стояли у берегов Киликии и Сирии азиатские войска силой до полумиллиона воинов. Как некогда Салманассар и Навуходоносор переселяли иудеев в Вавилон, так и теперь жители пограничных областей новой державы — Кордуэны, Адиабены, Ассирии, Киликии, Каппадокии, в особенности граждане греческих или полугреческих городов, — должны были со всем своим имуществом, под угрозой конфискации того, что они оставят, переселяться в новую резиденцию — в один из тех гигантских городов, свидетельствующих более о ничтожестве народов, чем о величии властелина, которые словно из земли вырастали в странах Евфрата по властному слову нового султана при каждой смене монарха. Новый «город Тиграна», Тигранокерта, основанный в Южной Армении недалеко от месопотамской границы*, чтобы служить столицей для вновь присоединен-

* Город стоял не у Диарбекира, но между Диарбекиром и озером Ван, ближе к последнему, на Никефории, одном из северных притоков Тигра.

ных к Армении областей, стал, подобно Ниневии и Вавилону, городом с высокими стенами в 50 локтей, с дворцами, садами и парками — неизбежными спутниками султанизма. И в остальном новый властелин не отступал от ребяческих представлений пребывающего в вечном детстве Востока о царях с настоящей короной на голове. Повсюду, где он появлялся публично, Тигран выступал в роскошном одеянии преемника Дария и Ксеркса — в пурпуровом кафтане, наполовину белом и наполовину пурпуровом нижнем одеянии, длинных широких шароварах, высоком тюрбане и с царской повязкой на голове; где бы он ни проходил и где бы ни находился, ему раболепно прислуживали и сопровождали его четыре «царя».

Скромнее держал себя царь Митридат. Он воздерживался в Малой Азии от захватов и довольствовался тем, что не было ему запрещено никаким трактатом, — он упрочил свое господство на Черном море и старался постепенно привести в более определенную зависимость от себя те страны, которые отделяли Понтийское царство от Боспорского, где правил теперь под его верховной властью сын его Махар. Но и он направлял все свои усилия на то, чтобы улучшить свой флот и свое войско, стараясь в особенности вооружить и организовать армию по римскому образцу, в чем ему оказывали существенную помощь римские эмигранты, в большом числе проживавшие при его дворе.

Римляне несколько не были заинтересованы в том, чтобы еще больше быть втянутыми в восточные дела, чем это уже имело место. Это с поразительной ясностью обнаруживается прежде всего в том, что сенат не воспользовался представившейся в это время возможностью мирным путем поставить Египет под непосредственное господство Рима.

Законное потомство Птолема Лагида вымерло, когда поставленный Суллой после смерти Птолема Сотера II, прозванного Латиром, царь Александр II, сын Александра I, был убит спустя несколько дней после вступления своего на престол во время восстания в столице (673) и назначил в своем завещании* наследником римский народ. Правда,

* Спорный вопрос, было ли это поддельное или подлинное завещание составлено Александром I (ум. в 666 г.) или Александром II (ум. в 673 г.), решается обыкновенно в пользу первого предположения. Однако основания для этого недостаточны, ибо Цицерон (*De I. agr.*, 1, 4, 12, 15, 38, 16, 41) не говорит, что Египет достался римлянам именно в 666 г., а говорит, что это произошло в этом году или после; и если из того, что Александр I погиб на чужбине, а Александр II — в Александрии, делался тот вывод, что упомянутые в спорном завещании хранившиеся в Тире сокровища принадлежали первому из них, то при этом упускалось из виду, что Александр II был убит через 19 дней после своего прибытия в Египет (*Letronne, Inscr. de l'Égypte*, 2, 20),

подлинность этого документа была спорной; но он был признан сенатом, взыскавшим на основании его суммы, положенные в Тирс на имя умершего царя. Тем не менее сенат допустил, чтобы один из двух несомненно незаконных сыновей царя Латира — Птолемей XI, по прозванию Новый Дионис или Флейтист (Auletes), фактически завладел Египтом, а другой из них, Птолемей Кипрский, — Кипром; они, правда, не были формально призваны сенатом, но к ним также не обращались с требованием о передаче их владений Риму. Причина того, что сенат допускал продление этого неясного положения вещей, не отказываясь окончательно от Египта и Кипра, заключалась, несомненно, в значительной субсидии, которую эти, как бы выпросившие себе власть, цари постоянно выплачивали за это главарям римских партий. Однако соображения, побудившие сенат отказаться вообще от этого заманчивого приобретения, состояли также в том, что благодаря своеобразному положению и финансовой организации Египта назначенный туда наместник получил бы в свои руки такие денежные средства и морские силы и вообще независимую власть, что это совершенно не мирилось бы с недоверчивым и слабым правлением олигархии. С этой точки зрения и было разумно отказаться от непосредственного обладания областью Нила.

Труднее оправдать отказ сената от непосредственного вмешательства в малоазиатские и сирийские дела. Правда, римское правительство не признало армянского завоевателя царем Каппадокии и Сирии, но оно также ничего не сделало для того, чтобы вытеснить его оттуда, хотя война, поневоле начатая Римом в Киликии против пиратов в 676 г., и указывала на необходимость вмешательства в сирийские дела. Действительно, не отвечая на потерю Каппадокии и Сирии объявлением войны, римское правительство жертвовало не только опекаемыми им государствами, но и важнейшими основами своего могущества. Опасно было уже то, что оно принесло в жертву свои аванпосты в греческих поселениях и царствах на Тигре и Евфрате; но

когда казна его вполне могла еще находиться в Тире. Решающее значение имеет здесь, напротив, тот факт, что Александр II был последним подлинным Лагидом, так как при аналогичном приобретении Пергама, Кирены и Вифинии Рим всегда наследовал последнему отпрыску законного царского дома. Государственное право древности, по крайней мере, поскольку оно было обязательно для зависимых от Рима государств, по-видимому, признавало за правителем право располагать в своем завещании судьбой государства не безусловно, а лишь в случае отсутствия законных наследников (см. примечание Гутшмида к немецкому переводу «Истории Египта» С. Шарнера, т. II, стр. 17). Было ли это завещание подлинное или поддельное, решить невозможно, и вопрос этот не имеет существенного значения; особых причин предполагать здесь подделку не имеется.

когда оно позволило азиатам утвердиться на Средиземном море, представлявшем собой политическую базу Римского государства, то это было не доказательством миролюбия, а признанием того, что если олигархия и стала благодаря сулланской реставрации еще более олигархической, то она не стала умнее и энергичнее, а для мирового господства Рима это означало начало конца.

Но и противная сторона не хотела войны. Тигран не имел причин желать ее, так как Рим и без войны отдавал ему в жертву всех своих союзников. Митридат, который не был простым восточным деспотом и имел достаточную возможность испытать своих друзей и недругов в счастье и несчастье, отлично знал, что во второй войне с Римом он, вероятно, останется таким же одиноким, как и в первой, и что он не мог бы сделать ничего умнее, как сохранить мир и заниматься внутренним укреплением своего царства. Серьезность своих мирных заявлений он достаточно доказал при своем столкновении с Муреной; он продолжал избегать всего, что могло бы побудить римское правительство выйти из состояния пассивности.

Однако так же как первая война с Митридатом возникла, собственно, помимо желания обеих сторон, так и теперь противоположность интересов создала взаимное недоверие, в свою очередь вызвавшее обоюдные приготовления к обороне, которые сами собой привели, наконец, к открытому разрыву. Давно уже господствовавшее в римской политике недоверие к своей силе и способности к борьбе, понятное при отсутствии постоянного войска и при далеко не образцовом коллегиальном правлении, сделало как бы политической аксиомой продолжение всякой войны не только до поражения, но и до уничтожения противника. Поэтому в Риме с самого начала были так же не удовлетворены миром, заключенным Суллой с Митридатом, как некогда условиями, которые Сципион Африканский предоставил карфагенянам. Неоднократно высказывавшиеся опасения, что предстоит вторичное нападение понтийского царя, были в некоторой степени оправданы чрезвычайным сходством тогдашних обстоятельств с тем, что происходило двенадцатью годами раньше. Опасная гражданская война опять совпала с серьезными военными приготовлениями Митридата; фракийцы опять вторглись в Македонию, а пиратские суда усеяли все Средиземное море, опять ездили взад и вперед эмисары, как прежде между Митридатом и италиками, так теперь между римскими эмигрантами в Испании и эмигрантами, находившимися при дворе в Синопе. Еще в начале 677 г. в сенате было высказано мнение, что Митридат дожидается лишь гражданской войны в Италии, чтобы напасть на римскую Азию; римские армии в провинции Азии и в Киликии были усилены, чтобы они были готовы к возможным событиям.

С другой стороны, и Митридат следил за развитием римской по-

литики со все возрастающим беспокойством. Он должен был понимать, что война римлян с Тиграном, как ни боялся ее бессильный сенат, была в конце концов неизбежна и что ему также придется принять в ней участие. Попытка получить от римского сената все еще не заключенный в письменной форме мирный договор совпала со смутами лепидовой революции и не имела успеха. Митридат увидел в этом признак предстоящего возобновления войны. Прологом к ней казалась экспедиция против пиратов, косвенно задевавшая и их союзников — царей Востока. Еще подозрительнее были не оставленные Римом притязания на Египет и Кипр; характерно, что понтийский царь обручил обеих своих дочерей, Митридатиду и Ниссу, с двумя Птолемеями, которым сенат упорно отказывал в признании. Эмигранты настаивали на выступлении; Митридат послал под благовидным предлогом гонцов в главную квартиру Помпея, для того чтобы разведать о положении Сертория в Испании, а так как оно действительно было в то время внушительно, то позволяло царю надеяться, что ему придется бороться не против обеих римских партий, как в первую войну, а лишь против одной из них в союзе с другой. Более благоприятный момент едва ли был возможен, и в конце концов лучше было объявить самому войну, чем ждать ее объявления.

В это время (679 г.) умер вифинский царь Никомед III Филопатор. Будучи последним в роде, ибо сын его от Ниссы был или считался незаконнорожденным, он завещал свое царство римлянам, которые не замедлили завладеть этой прилежавшей к римской провинции и давно уже переполненной римскими чиновниками и купцами страной.

Одновременно была организована как провинция и Кирена, доставшаяся Риму еще в 658 г., и туда был послан римский наместник (679). Эти мероприятия, а также проводившаяся в то же время на южном берегу Малой Азии борьба против пиратов должны были тревожить понтийского царя: ведь присоединение Вифинии делало римлян его непосредственными соседями. Это, по-видимому, и побудило царя сделать решительный шаг: зимой 679—680 г. он объявил римлянам войну.

Митридат предпочел бы, чтобы эта тяжелая задача досталась не одному ему. Его ближайшим и естественным союзником был великий царь Тигран, но этот недалновидный человек отклонил предложение своего тестя, так что остались только повстанцы и пираты. Митридат не преминул вступить в сношения с теми и другими, послал сильные эскадры в Испанию и Крит. С Серторием он заключил настоящий договор, согласно которому Рим уступал царю Вифинию, Пафлагонию, Галатию и Каппадокию; правда, все эти приобретения нуждались еще в ратификации на поле сражения. Существенней была поддержка, оказанная царю испанским полководцем путем отправки

римских офицеров для командования его армиями и флотом. Наиболее энергичных из находившихся на Востоке эмигрантов, Луция Магия и Луция Фания, Серторий назначил своими представителями при синопском дворе. Помощь пришла и от пиратов; они явились в большом числе в Понтийское царство, и благодаря им, по-видимому, царю удалось создать внушительный как по количеству, так и по боеспособности судов военный флот. Главной опорой Митридата оставались его собственные военные силы, при помощи которых он надеялся захватить римские владения в Азии, прежде чем придут туда римляне. К тому же для понтийского нашествия открывались благоприятные перспективы ввиду нужды, вызванной в провинции Азии сулланским военным налогом, недовольства новой римской властью в Вифинии и тревожного положения в Киликии и Памфилии после недавно окончившейся опустошительной войны. Запасы были сделаны достаточные; у царя на складах имелось 2 млн медимнов зерна. Флот и войско были многочисленны и хорошо обучены, в особенности бастарнские наемники — отборные, способные померяться даже с италийскими легионерами солдаты. И на этот раз наступление было начато царем. Отряд под начальством Диофанта вступил в Каппадокию, чтобы занять там крепости и преградить римлянам путь в Понтийское царство; присланный Серторием полководец пропретор Марк Марий вместе с понтийским офицером Эвмахом отправился во Фригию, чтобы поднять восстание в римской провинции и на Тавре; главная же армия, насчитывавшая более 100 тыс. человек с 16 тыс. всадников и 100 боевых колесниц, под командованием Таксила и Гермocrates и верховным руководством самого царя, а также военный флот из 400 парусных судов во главе с Аристоником двинулись вдоль северного берега Малой Азии с целью занять Пафлагонию и Вифинию.

Римляне поручили ведение войны в первую очередь консулу 680 г. Луцию Лукуллу. В качестве наместника Азии и Киликии он был поставлен во главе находившихся в Малой Азии четырех легионов, а также зятого, доставленного им из Италии; с этой армией, состоявшей из 30 тыс. человек пехоты и 1 600 всадников, он должен был через Фригию вторгнуться в Понтийское царство. Коллега его Марк Котта с флотом и другим римским отрядом двинулся в Пропонтиду, чтобы прикрыть провинцию Азию и Вифинию. Наконец, было постановлено вооружить все берега, в особенности фракийский, которому прежде всего угрожал понтийский флот, а очистка всех морей и берегов от пиратов и их понтийских союзников в исключительном порядке была поручена одному магистрату, причем для этого был избран претор Марк Антоний, отец которого 30 лет назад впервые проучил киликийских корсаров. Помимо того, сенат предоставил в распоряжение Лукулла 72 млн сестерциев на постройку флота, от чего, однако, Лукулл отказался. Как видно из всего этого, римское правительство

поняло, что корень зла лежит в отсутствии внимания к флоту, и приняло против этого серьезные меры, по крайней мере насколько имели силу его декреты.

Итак, в 680 г. война началась во всех пунктах. Несчастьем для Митридата было то, что как раз в момент объявления им войны наступил поворот в серторианской войне, вследствие чего сразу же рухнула одна из главнейших его надежд, а римское правительство могло направить все свои силы на морскую и малоазийскую войну. Зато в Малой Азии Митридат использовал преимущества наступления и большую отдаленность римлян от непосредственного театра войны. Большое число малоазийских городов открыло свои ворота серторианскому пропретору, командовавшему в римской провинции Азии, а проживавшие там римские семьи были, так же как в 666 г., перебиты; писиды, исавры, киликийцы поднялись против римлян. В тот момент в угрожаемых пунктах не было римских войск. Правда, отдельные энергичные люди пытались своими силами положить конец этим волнениям провинциалов. Так, молодой Гай Цезарь, узнав об этих событиях, покинул Родос, где он находился для научных занятий, и с наскоком составленным отрядом отправился против мятежников; но такие отряды волонтеров не могли сделать многого. Если бы храбрый Дейотар, один из тетрархов проживавшего возле Пессинунта кельтского племени толистобогов, не стал на сторону римлян, успешно сражаясь с понтийскими полководцами, то Лукуллу пришлось бы прежде всего отнимать у противника внутреннюю часть римской провинции. Но и так драгоценное время ушло на успокоение страны и оттеснение неприятеля, и эта потеря времени нисколько не искупалась незначительными успехами, достигнутыми конницей Лукулла.

Еще хуже, чем во Фригии, складывались для римлян дела на северном берегу Малой Азии. Сильная армия и флот понтийского царя совершенно завладели здесь Вифинией, и римский консул Котта вынужден был укрыться со своим малочисленным войском и своими судами за стенами и в гавани Калхедона, где Митридат подвергнул их блокаде. Эта осада была, однако, выгодна для римлян тем, что если бы Котта задержал понтийскую армию под Калхедоном, а Лукулл также направился бы туда, то все вооруженные силы римлян могли бы соединиться у Калхедона, чтобы добиться решительного сражения здесь же, а не в непроходимой понтийской области. Лукулл действительно пошел на Калхедон, но Котта, желавший своими силами совершить подвиг еще до прибытия коллеги, приказал начальнику своего флота Публию Рутилию Нуду произвести вылазку, которая не только кончилась кровавым поражением римлян, но позволила также понтийцам напасть на гавань, прорвать преграждавшую ее цепь и поджечь все находившиеся в гавани римские военные суда, числом около 70. Получив возле реки Сангария известие об этом

несчастье, Лукулл стал двигаться быстрее, к великому неудовольствию своих солдат, которые считали, что им дела нет до Котты, и предпочитали грабить незащищенную страну, вместо того чтобы учить своих товарищей побеждать. Прибытие Лукулла отчасти улучшило положение; царь снял осаду Калхедона, но не вернулся в Понт, а двинулся к югу, в старую римскую провинцию, где расположился у Пропонтиды и Геллеспонта, занял Лампсак и начал осаду большого и богатого города Кизика.

Таким образом, Митридат все глубже заходил в тупик, который он сам же создал, вместо того чтобы использовать в борьбе против римлян отдаленность расстояний, что одно только могло обещать ему успех. Старая эллинская ловкость и деловитость сохранились в Кизике в такой чистоте, как лишь в немногих других местах; хотя граждане его и понесли большие потери судами и людьми в несчастном двойном сражении под Калхедоном, они оказывали, однако, мужественное сопротивление. Кизик расположен на острове у самого материка и был связан с ним мостом. Осаждавшие овладели горной цепью на материке, оканчивающейся у самого моста, и расположенным здесь предместьем, а также находящимися на самом острове знаменитыми Диндименскими высотами. Греческие инженеры приложили все свое искусство и на материке и на острове, чтобы сделать возможным штурм города. Но осажденные закрыли ночью брешь, которую понтийцам удалось, наконец, сделать, и все усилия царской армии оставались так же бесплодны, как и варварская угроза царя казнить перед стенами города всех пленных, если граждане его откажутся от сдачи. Жители Кизика храбро и удачно продолжали оборону; в ходе осады им чуть было не удалось взять в плен самого царя.

Между тем Лукулл занял очень сильную позицию в тылу понтийской армии, и, не имея, правда, возможности непосредственно прийти на помощь осажденному городу, он все же мог отрезать все сообщения неприятеля с суши. Огромная митридатова армия, доходившая вместе с обозом до 300 тыс. человек, не в силах была ни нанести удар, ни уйти, будучи стиснута между неприступным городом и неподвижным римским войском. Все снабжение ее производилось лишь с моря, на котором, к счастью для понтийцев, целиком господствовал их флот. Наступила, однако, зима; большая часть осадных сооружений была разрушена бурей; недостаток припасов и в особенности корма для лошадей становился невыносимым. Вьючные животные и обоз были под прикрытием большей части понтийской конницы отправлены обратно с приказом прокрасться или пробиться во что бы то ни стало. Однако Лукулл настиг их у реки Риндака, к востоку от Кизика, и весь отряд был перебит. Другой конный отряд, под начальством Митрофана и Луция Фанния, после долгих блужданий в западной части Малой Азии должен был вернуться в лагерь под

Кизиком. Голод и болезни производили страшные опустошения в рядах понтийского войска. С наступлением весны (681) осажденные удвоили свои усилия и захватили расположенные на Диндимоне окопы; царю оставалось лишь снять осаду и спасти при помощи своего флота то, что еще можно было спасти. Он отправился с флотом к Геллеспонту, но потерпел — частью при отплытии, а частью в пути — значительные потери вследствие бурной погоды. Войско под начальством Гермея и Мария двинулось туда же, чтобы сесть на суда в Лампсаке под защитой его стен. Вся кладь была брошена, так же как больные и раненые, которые были перебиты обозленными жителями Кизика. В пути, у переправы через реки Эзеп и Граник, Лукулл нанес понтийцам очень чувствительное поражение, но все же они достигли своей цели: понтийский флот увез остатки великой армии, а с ней и жителей Лампсака из сферы досягаемости римлян.

Благодаря своему продуманному и осмотрительному ведению войны Лукулл не только сумел исправить ошибки своего коллеги, но и рассеял без генерального сражения основную часть неприятельской армии — приблизительно 200 тыс. солдат. Если бы у него еще был флот, сгоревший в калхедонском порту, он уничтожил бы всю армию Митридата; теперь же эта разрушительная работа осталась незаконченной, и он должен был даже допустить, чтобы, несмотря на катастрофу под Кизиком, понтийский флот расположился в Пропонтиде и блокировал Перинф и Византий на европейском берегу. Приап на азиатской стороне был разграблен, а главная квартира царя была перенесена в вифинский порт Никомедию. Отборная понтийская эскадра из пятидесяти парусных судов с 10 тыс. избранных людей — в том числе Марк Марий и ядро римских эмигрантов — вышла даже в Эгейское море; говорили, что ей поручено высадить десант в Италии, чтобы вновь разжечь там гражданскую войну. Между тем стали прибывать суда, затребованные Лукуллом от азиатских общин после калхедонской катастрофы, и он снарядил эскадру на поиски вышедшего в Эгейское море неприятельского флота. Командование ею принял сам Лукулл, бывший опытным водителем флота. Возле Ахейского порта, между берегом Трояды и островом Тенедосом, он напал на тринадцать неприятельских пятивесельных судов, направлявшихся к Лемносу под начальством Исидора, и потопил их. У небольшого острова Ней Лукулл обнаружил понтийскую флотилию в тридцать два парусных судна, которые были вытащены на берег в этом мало посещаемом месте; он напал одновременно и на суда, и на рассеянный по острову экипаж и завладел всей эскадрой. Марк Марий и храбрейшие из римских эмигрантов нашли здесь смерть либо в бою, либо после него от руки палача. Весь эгейский флот Митридата был уничтожен Лукуллом. Тем временем Котта и легаты Лукулла — Воконий, Гай Валерий Триарий и Барба — продолжали войну в Вифинии с помо-

щью усилившегося благодаря подкреплениям из Италии войска и составленной в Азии эскадры. Барба занял внутри страны Пруссию на Олимпе и Никею, а Триарий — на побережье Апамею (прежняя Мирлея) и приморскую Пруссию (прежде Киос). После этого решено было начать совместный поход на Никомерию против самого Митридата. Царь, не попытавшись даже вступить в бой, укрылся на своих кораблях и отплыл на родину; но и это удалось ему лишь потому, что начальник римского флота Воконий, которому была поручена блокада Никомерии, прибыл слишком поздно. Правда, в пути царь занял благодаря измене значительный город Гераклею, но в этих водах шестьдесят его судов были потоплены, а остальные рассеяны бурей, и когда Митридат прибыл в Синоп, с ним почти никого не было. Наступление Митридата окончилось полным и отнюдь не почетным, по крайней мере для верховного руководителя, поражением понтийской армии и флота.

Теперь Лукулл в свою очередь перешел в наступление. Командование флотом было передано Триарию, и ему было поручено прежде всего заградить Геллеспонт и не пропускать возвращающиеся из Крита и Испании понтийские суда. Когда занялся осадой Гераклеи, а трудная задача снабжения была возложена на верных и энергичных галатских князей и на каппадокийского царя Ариобарзана. Сам Лукулл вступил осенью 681 г. в благодатный понтийский край, давно уже не знавший неприятельского нашествия. Митридат, решивший теперь ограничиться исключительно обороной, отступил, не дав сражения, от Синопы к Амису, а от Амиса — к Кабире (впоследствии Неокесарея, теперь Никсар) на реке Лике, притоке Ириса. Он довольствовался тем, что завлекал неприятеля все дальше в глубь страны и затруднял его снабжение и сообщение. Лукулл быстро следовал за ним, оставив в стороне Синоп; он перешел Галис, старую границу римской власти, и начал осаду цветущих городов Амиса, Евпатории (на Ирисе), Фемискиры (на реке Термодонте), пока, наконец, зима не положила конец переходам, но не блокаде городов. Солдаты Лукулла роптали на безостановочное движение вперед, не позволявшее им пожинать плоды их усилий, а также на продолжительные и тяжелые в суровое время года осадные операции. Но Лукулл не обращал внимания на подобные жалобы; с наступлением весны 682 г. он тотчас же пошел дальше на Кабиру, оставив у Амиса два легиона под начальством Луция Мурены. В течение зимы Митридат предпринимал новые попытки побудить армянского великого царя принять участие в войне; попытки эти, как и прежде, были безрезультатны или же привели к одним только пустым обещаниям. Еще меньше охоты вмешиваться в это безнадежное дело обнаружили парфяне. Тем временем, главным образом путем вербовок среди скифов, понтийцы снова собрали у Кабиры значительную армию под начальством Диофанта и

Таксила. Римское войско, состоявшее лишь из трех легионов и значительно уступавшее понтийскому численностью своей конницы, оказалось вынужденным избегать по возможности сражения в открытом поле и достигло Кабиры непроходимыми тропинками не без труда и потерь. Обе армии долго стояли друг против друга близ этого города. Борьба велась главным образом из-за снабжения, которое и у тех и у других было недостаточным. Митридат составил из ядра своей конницы и отборной пехоты летучий отряд под командованием Диофанта и Таксила, которому было поручено делать набеги между Ликом и Галисом и перехватывать римские транспорты припасов из Каппадокии. Однако Марк Фабий Адриан, военачальник из армии Лукулла, сопровождавший один из этих транспортов, не только разбил наголову подстерегавший его в горном проходе отряд, который хотел напасть на него, но, получив подкрепление из лагеря, нанес такое поражение всей армии Диофанта и Таксила, что она совершенно распалась. Невознаградимой потерей для царя была гибель его конницы, на которую он возлагал все свои надежды. Как только он получил в Кабире эту страшную весть от первых беглецов с поля сражения, — характерно, что это были сами разбитые генералы, — раньше еще, чем Лукулл узнал о победе, Митридат приказал немедленно отступать.

Однако решение царя с быстротой молнии распространилось среди его ближайшего окружения; видя поспешные сборы доверенных лиц царя, солдаты были также охвачены паническим страхом. Никто не хотел уйти последним; знатные и незнатные метались, как испуганная дичь, не слушаясь более никого, даже самого царя, который тоже был захвачен этой дикой суматохой. Узнав об этом смятении, Лукулл напал на понтийские полчища, которые дали себя перебить, почти не оказывая сопротивления. Если бы римские легионы сохранили дисциплину и сумели бы умерить свою алчность к добыче, то едва ли от них ушел бы хоть один человек, и даже сам царь, без сомнения, был бы захвачен в плен. С трудом удалось Митридату с несколькими спутниками бежать через горы, в Коману (недалеко от Токата и истоков Ириса), однако римский отряд под начальством Марка Помпея вскоре прогнал его оттуда и преследовал до границы его царства, которую он перешел у Талавры в Малой Армении в сопровождении всего лишь 2 тыс. всадников. В Армении Митридат нашел приют, но не более (конец 682 г.). Тигран приказал, правда, воздавать своему беглецу-тестю царские почести, но не пригласил его даже к своему двору, а держал в отдаленной пограничной местности, где он находился в своего рода почетном заточении.

Римские войска наводнили все Понтийское царство и Малую Армению, и вся низменность до самого Трапезунда покорилась победителю без сопротивления. Начальники царских сокровищниц также

сдались после некоторого колебания и выдали все хранившиеся там богатства. Так как женщины царского гарема, сестры царя и его многочисленные жены и наложницы, не могли бежать, то царь приказал одному из своих евнухов умертвить их всех в Фарнакее (Керасунт).

Упорное сопротивление оказывали лишь города. Правда, немногочисленные города внутренней части страны — Кабира, Амасия, Евпатория — скоро были заняты римлянами, но крупные приморские города — Аμισ и Синопа в Понте, Амастрида в Пафлагонии, Тиос и понтийская Гераклея в Вифинии — оборонялись с мужеством отчаяния, отчасти воодушевленные привязанностью к царю и охраняемому им греческому свободному городскому строю, а отчасти терроризированные шайками привезенных царем пиратов. Синопа и Гераклея отправляли даже суда против римлян, и синопская эскадра захватила римскую флотилию, которая везла с Таврического полуострова хлеб для армии Лукулла. Гераклея пала лишь после двухгодичной осады, после того как римский флот отрезал сообщения этого города с греческими городами на Таврическом полуострове и среди гарнизона возникла измена. Когда Аμισ не мог уже больше сопротивляться, гарнизон его поджег город и под прикрытием пожара сел на свои суда. В Синопе, обороной которой руководили смелый капитан пиратов Селевк и царский евнух Бакхид, гарнизон перед своим уходом разграбил дома и поджег суда, которые он не мог увести; хотя большая часть защитников города и успела сесть на суда, Лукулл все же умертвил здесь около 8 тыс. корсаров. Осада этих городов, продолжавшаяся больше двух лет после битвы под Кабирой, с 682 по 684 г., была по большей части поручена Лукуллом подчиненным ему военачальникам, между тем как сам он занимался урегулированием положения в провинции Азии, нуждавшегося в коренной реформе, которая и была произведена. Как ни любопытно с исторической точки зрения упорное сопротивление понтийских торговых городов победоносным римлянам, все же на первых порах результаты были ничтожны и дело Митридата было проиграно. Армянский великий царь, по крайней мере в данное время, нисколько не намеревался водворить его обратно в его царство. Римская эмиграция в Азии потеряла вследствие уничтожения эгейского флота лучших своих людей; многие из оставшихся, как, например, способные полководцы Луций Магий и Луций Фаний, заключили мир с Лукуллом, а со смертью Сертория, погибшего в год сражения под Кабирой, исчезла последняя надежда эмиграции. Собственные вооруженные силы Митридата были совершенно разгромлены, и одна за другой рушились и остальные опоры его могущества: Триарий напал у острова Тенедоса на возвращавшиеся с Крита и из Испании эскадры, состоявшие из 70 судов, и уничтожил их; даже сын Митридата Махар, наместник Боспорского царства, изменил отцу и в качестве самостоятельного князя Херсонеса Таврическо-

го заключил с римлянами отдельный договор о мире и дружбе (684). Сам же царь после далеко не славного сопротивления находился в далеком армянском горном замке как беглец из своего царства и почти пленник своего зятя. Хотя шайки корсаров держались еще на Крите, а беглецы из Амиса и Синопа укрывались на труднодоступном восточном берегу Черного моря, у санегов и лазов, искусное командование и разумная умеренность Лукулла, который удовлетворял справедливые жалобы провинциалов и назначал раскаявшихся эмигрантов офицерами в свою армию, — все это со сравнительно небольшими жертвами привело к освобождению Малой Азии от врага и уничтожению Понтийского царства, так что оно могло быть превращено из зависимого государства в римскую провинцию. Ожидавшаяся комиссия сената должна была вместе с главнокомандующим установить новую провинциальную организацию.

Однако отношения с Арменией не были еще урегулированы. Мы уже говорили о том, что объявление Римом войны Тиграну было бы вполне обоснованным и даже требовалось обстоятельствами. Лукулл, ближе знакомый с делами и обладавший большей широтой взгляда, чем римский сенат, ясно понимал необходимость отодвинуть Армению за Тигр и восстановить утраченное Римом господство на Средиземном море. В руководстве азиатскими делами он проявил себя достойным преемником своего учителя и друга Суллы. Эллинофил, каких немного было среди современных ему римлян, он не был равнодушен к обязательству, принятому на себя Римом вместе с наследием Александра: служить щитом и мечом греков на Востоке. Конечно, на Лукулла могли повлиять и убеждения личного характера: желание заслужить лавры и по ту сторону Евфрата, обида на армянского царя, опустившего в письме к нему титул императора, но было бы несправедливо объяснить мелочными и эгоистическими мотивами поступки, вполне объяснимые законными побуждениями. Но нечего было ожидать, чтобы боязливая, ленивая, плохо осведомленная и прежде всего постоянно нуждавшаяся в денежных средствах правительственная коллегия, не будучи к этому непосредственно вынуждена, взяла на себя инициативу такой сложной и дорогостоящей экспедиции. Около 682 г. законные представители династии Селевкидов, Антиох, по прозвищу Азиат, и его брат, отправились, побуждаемые благоприятным оборотом понтийской войны, в Рим, чтобы добиться римского вмешательства в Сирии, а вместе с тем и признания их притязаний на египетское наследство. Хотя последнее требование и не могло быть удовлетворено, но нельзя было найти более удобного момента и повода, для того чтобы начать давно уже ставшую необходимой войну против Тиграна. Однако сенат, признав обоих принцев законными царями Сирии, не мог все же решиться отдать приказ о вооруженном вмешательстве. Для того чтобы использовать благопри-

ятный случай и свести счеты с Арменией, Лукулл должен был начать войну на свой страх и риск, не дожидаясь распоряжения сената; и он, подобно Сулле, оказался вынужденным осуществлять то, что делалось им явно в интересах существующего правительства, не вместе с ним, а вопреки ему. Принятие решения облегчалось для него неясностью отношений Рима с Арменией, давно уже колебавшихся между войной и миром, что отчасти затушевывало самовольность его образа действий и представляло немало формальных предлогов для войны. Достаточно поводов для этого давало положение в Каппадокии и Сирии, и уже во время преследования понтийского царя римские войска вторглись на армянскую территорию. Но так как миссия Лукулла заключалась только в войне с Митридатом, то, для того чтобы связать с этим свое новое начинание, он предпочел послать одного из своих офицеров, Аппия Клавдия, к армянскому царю в Антиохию с требованием о выдаче Митридата, что, конечно, должно было привести к войне. Решение это было смело, в особенности при тогдашнем состоянии римской армии. Во время похода в Армению необходимо было держать сильные гарнизоны в обширном Понтийском царстве, так как в противном случае находящееся в Армении войско потеряло бы связь с родиной, и помимо того нетрудно было предвидеть вторжение Митридата в его прежние владения. Тридцатитысячной приблизительно армии, во главе которой Лукулл закончил войну с Митридатом, было совершенно недостаточно для выполнения этой двойной задачи.

При обыкновенных обстоятельствах полководец просил бы свое правительство о присылке второй армии и получил бы ее, но, так как Лукулл хотел, а в известной степени и должен был, начать войну помимо воли правительства, ему пришлось отказаться от этого и, хотя он зачислил в свое войско даже взятых в плен фракийских наемников понтийского царя, ему пришлось перенести войну за Евфрат, имея только два легиона, т. е. не более 15 тыс. человек. Это было, конечно, рискованно, но испытанная храбрость этой состоявшей сплошь из ветеранов армии могла хотя бы отчасти компенсировать их немногочисленность. Гораздо хуже было настроение солдат, с которыми Лукулл по своей барской манере слишком мало считался. Лукулл был способным военачальником и, по аристократическим меркам, честным и доброжелательным человеком, но он совершенно не был любим своими солдатами. Он был непопулярен как решительный сторонник олигархии, а также потому, что настойчиво преследовал страшное ростовщичество римских капиталистов в Малой Азии; непопулярен он был и вследствие работ и трудностей, которые он взваливал на солдат, и потому, что требовал от них строгой дисциплины и по возможности препятствовал разграблению ими греческих городов, но в то же время нагружал для себя сокровищами Восто-

ка множество телег и верблюдов; не любили его и за его утонченное аристократическое обращение, за греческие манеры и за склонность устраиваться удобно и роскошно, где это только было возможно. В нем не было ни следа того обаяния, которое создает личную связь между полководцем и солдатами. К тому же большая часть лучших его солдат имела все основания жаловаться на непомерное продление срока их службы. Двумя лучшими его легионами были те, которые в 668 г. Флакк и Фимбрия привели на Восток; и несмотря на то что недавно, после сражения под Кабирой, им было обещано заслуженное тринадцатью походами увольнение из армии, Лукулл повел их теперь за Евфрат, навстречу новой войне, размеров и исхода которой невозможно было предвидеть, — казалось, что с победителями под Кабирой хотели поступить хуже, чем с побежденными при Каннах. Было действительно более чем смело при такой слабости и плохом настроении войска начинать самому и, строго говоря, противозаконно, поход в далекую и незнакомую страну, полную бурных потоков и покрытых снегом гор и делавшую опасным всякое легкомысленное нападение уже благодаря одному своему громадному протяжению. В Риме неоднократно и не без основания выражали порицание Лукуллу за его образ действий; но при этом не следовало бы умалчивать о том, что смелое выступление полководца было вызвано прежде всего неспособностью правительства, что если не оправдывало, то все же извиняло его.

Уже миссия Аппия Клавдия имела целью не только создать дипломатический повод для войны, но и склонить в первую очередь князей и города Сирии к восстанию против армянского царя. Открытое нападение последовало весной 685 г. В течение зимы каппадокийский царь тайком приготовил транспортные суда, на которых римляне переправились через Евфрат у Мелитены, чтобы двинуться затем дальше, через Тавр, к Тигру. Перейдя Тигр близ Амида (Диарбекр), Лукулл направился к дороге, соединявшей построенную на южной границе Армении вторую столицу, Тигранокерту*, со старой резиденцией Артаксатой. «Царь царей», недавно возвратившийся из Сирии, отложив пока ввиду осложнений с римлянами осуществление своих завоевательных планов на Средиземном море, находился возле Тигранокерты. Он составлял план нападения на римскую Малую Азию че-

* Захау (*Sachau*, Ueber die Lage von Tigranokerta, Abh. der Berliner Akademie, 1880), исследовавший этот вопрос на месте, доказал, что Тигранокерта находилась в окрестностях Мардина, приблизительно в двух днях пути к западу от Низибиса, но предложенное им точное определение местонахождения этого города остается еще спорным. Зато против его изложения похода Лукулла говорит то обстоятельство, что по маршруту, принимаемому им, не может быть речи о переходе через Тигр.

рез Киликию и Ликаонию и рассуждал о том, очистят ли римляне Азию немедленно или же дадут ему предварительно сражение где-нибудь возле Эфеса, когда ему было доставлено известие о приближении Лукулла, который грозил отрезать ему сообщение с Артаксатой. Тигран велел удавить гонца, но тягостная действительность оставалось неизменной, и ему пришлось оставить новую столицу и отправиться во внутреннюю Армению, чтобы подготовиться здесь к войне с Римом, что до тех пор не было сделано. Митробарзан должен был сдерживать тем временем римлян имевшимися налицо войсками и наскоро созданными соседними кочевыми племенами. Но армия Митробарзана была рассеяна римским авангардом, а арабы — отрядом под начальством Секстилия. Лукулл вышел на дорогу, ведущую из Тигранокерты в Артаксату, и, в то время как на правом берегу Тигра римский отряд преследовал отступающего на север царя, Лукулл перешел на левый берег и подошел к Тигранокерте.

Непрестанный град стрел, которыми осажденные осыпали римское войско, и поджог осадных машин нефтью посвятили здесь римлян в новые опасности иранской войны; храбрый комендант Манкей удержал город, пока, наконец, на выручку столицы не пришла через северо-восточные горные проходы большая царская армия, набранная во всех частях обширного царства и в прилегающих доступных армянским вербовщикам областях. Испытанный в войнах Митридата Таксил советовал избегать сражения и, окружив небольшое римское войско конницей, взять его измором. Но когда царь увидел, что римский полководец, решившийся дать бой, не снимая для этого осады, выступает с 10 тыс. человек против в 20 раз сильнеего противника и дерзко переходит через реку, разделявшую оба войска; когда он смотрел, с одной стороны, на этот маленький отряд, «слишком большой для посольства, но слишком ничтожный для войска», а с другой стороны, на свои неисчислимые полчища, в которых народы с берегов Черного и Каспийского морей встречались с народами Средиземноморья и Персидского залива, причем лишь одни закованные в железо всадники с копьями были многочисленнее всего войска Лукулла, а в обученной по-римски пехоте также не было недостатка, — он решился немедленно принять предлагаемое противником сражение. Но пока армяне строились для боя, острый взор Лукулла заметил, что они упустили занять высоту, господствовавшую над позициями их конницы; он быстро двинулся с двумя когортами, чтобы занять ее, между тем как его немногочисленная конница фланговой атакой отвлекала внимание неприятеля от этого движения, а как только он достиг высоты, он повел свой небольшой отряд в тыл вражеской конницы. Она была совершенно рассеяна и бросилась на не совсем еще построившуюся пехоту, которая разбежалась, не вступив даже в бой. Сообщение победителя, что пали 100 тыс. армян и пятеро римлян и

что царь, сбросив тюрбан и диадему, неузнанный скрылся с несколькими всадниками, было выдержано в стиле его учителя Суллы, но тем не менее победа, одержанная 6 октября 685 г. под Тигранокертой, остается одной из самых результативных и блестящих в славной военной истории Рима.

Все области к югу от Тигра, отнятые у парфян или сирийцев, были стратегически потеряны для Армении и по большей части немедленно перешли во владение победителей. Начало положила сама вновь построенная вторая столица. Многочисленные принудительно поселенные в ней греки восстали против армянского гарнизона и открыли римскому войску ворота города, который был отдан солдатам на разграбление. Этот город был создан для новой великой державы и был уничтожен победителем вместе с ней. Армянский сатрап Магadat вывел уже из Киликии и Сирии все войска, чтобы усилить армию, набранную для выручки Тигранокерты. Лукулл вступил в Коммагену, самую северную область Сирии, и взял приступом ее главный город Самосату; до собственно Сирии он не дошел, но от династов и общин до самого Красного моря, от эллинов, сирийцев, иудеев, арабов приходили к римлянам послы приветствовать нового властелина. Даже князь Кордуэны, области, находившейся к востоку от Тигранокерты, подчинился Риму; но зато в Низибисе, а значит и в Месопотамии, утвердился брат Тиграна Гура. Лукулл выступал повсюду как покровитель эллинских государей и общин; в Коммагене он посадил на престол одного из привцев Селевкидова дома, Антиоха; Антиоха Азиата, вернувшегося после ухода армян в Антиохию, он признал сирийским царем; всех принудительно поселенных в Тигранокерте он отпустил на родину. Неисчислимы запасы и сокровища Тиграна — хлеба захвачено было 30 млн медимнов, денег в одной лишь Тигранокерте — 8 тыс. талантов — дали Лукуллу возможность покрыть военные расходы, не обременяя государственной казны, и выдать каждому из своих солдат, помимо обильного снабжения, вознаграждение в 800 денариев.

«Царь царей» был глубоко унижен. Это был слабохарактерный человек, высокомерный в удаче, впадавший в уныние при неудаче. Не вмешайся старый Митридат, между Тиграном и Лукуллом, вероятно, состоялось бы соглашение, на которое армянский царь имел все основания пойти ценой значительных жертв, а Лукулл — на сносных условиях. Митридат не принимал участия в боях под Тигранокертой. Освобожденный после 20-месячного заключения в середине 684 г. вследствие конфликта, возникшего между армянским царем и римлянами, он был послан с 10 тыс. армянских всадников в свое прежнее царство, чтобы угрожать сообщениям противника. Не успев еще здесь ничего сделать, он был вызван обратно, когда Тигран собирал все свои войска на выручку новой столицы, но, подойдя к Тигранокерте,

он встретил уже бежавшие с поля сражения полчища. Все — от царя до простого солдата — считали, что все потеряно. Если бы Тигран заключил теперь мир, для Митридата не только была бы утрачена последняя надежда на возвращение в свое царство, но выдача его, несомненно, была бы первым условием мира, и Тигран, конечно, поступил бы с ним не иначе, чем некогда Бокх с Югуртой. Поэтому Митридат приложил все усилия, чтобы воспрепятствовать такому обороту событий и склонить армянский двор к продолжению войны, в которой он не мог ничего потерять, но мог все выиграть; а при этом дворе бежавший из своего царства и лишенный престола старик обладал немалым влиянием. Это был еще стройный и сильный человек, несмотря на свои 60 лет вскакивавший на коня в полном вооружении, умевший постоять за себя в рукопашном бою наряду с лучшими бойцами. Дух его, казалось, был закален годами и судьбой; если в прежние времена он посылал вперед своих полководцев, не принимая непосредственного участия в войне, то теперь, в старости, он сам командовал и лично принимал участие в бою. Пережив в течение своего пятидесятилетнего царствования столько перемен счастья, он считал, что дело армянского царя отнюдь не потеряно вследствие поражения под Тигранокертой и что, более того, положение Лукулла очень затруднительно, а если не будет сейчас заключен мир и война будет вестись более разумно, оно даже станет в высшей степени опасным.

Умудренный опытом старик, годившийся почти в отцы армянскому царю и имевший теперь возможность оказывать на него личное воздействие, подчинил себе этого слабого человека своей энергией и добился того, что Тигран не только решил продолжать войну, но и поручил политическое и военное руководство ею ему самому. Война должна была теперь стать из войны правительств национально-азиатской войной — цари и народы Азии объединяются против могущественного и высокомерного Запада. Были сделаны величайшие усилия, чтобы примирить армян с парфянами и склонить их к совместной борьбе против Рима. По предложению Митридата, Тигран выразил готовность возратить Арсакиду Фраату, по прозвищу «Бог» (царствовал с 684 г.), завоеванные армянами области Месопотамию, Адиабену, «Большие долины» и заключить с ним договор о дружбе и союзе. Но после того, что произошло, это предложение едва ли могло рассчитывать на благоприятный прием; Фраат предпочел обеспечить себе границу по Евфрату соглашением с римлянами, а не с армянами и наблюдать со стороны, как будут уничтожать друг друга ненавистные соседи и неудобные иноземцы. У народов Востока Митридат имел больший успех, чем у царей. Нетрудно было изобразить эту войну национальной борьбой Востока с Западом, потому что такой она и была. Отлично можно было превратить ее и в религиозную войну, распространяя слухи, что целью лукуллова похода является овладе-

ние персидским храмом Нанеи, или Анаиты, в Элимаиде (нынешний Луристан), наиболее почитаемым и богатым святилищем евфратских стран*.

Толпами стекались отовсюду азиаты под знамена царей, призвавших их к защите Востока и его богов от безбожных чужеземцев. Но опыт показал, что простое скопление огромных полчищ не только безрезультатно, но делает также негодными действительно выносливые и боеспособные войска, к которым они присоединяются, вовлекая их в общее поражение. Митридат стремился прежде всего подготовить тот род войска, в котором Запад был наиболее слаб, а азиаты наиболее сильны, — конницу; она составляла половину вновь созданной им армии. Для службы в пехоте он тщательно выбирал из массы взятых или добровольно явившихся рекрутов наиболее пригодных людей и поручал их обучение своим понтийским офицерам. Однако значительная армия, вскоре стоявшая опять под знаменами армянского царя, назначалась не для того, чтобы померяться с римскими ветеранами на первом удобном поле сражения, а должна была ограничиться обороной и партизанской войной. Уже во время последнего похода в своем царстве Митридат постоянно отступал, избегая сражения; и на этот раз была принята подобная тактика, а театром войны была избрана собственно Армения, наследственное владение Тиграна; неприятель еще не коснулся этой области, а по своим природным условиям и благодаря патриотизму своего населения она отлично годилась для такой войны.

Положение Лукулла к началу 686 г. было затруднительно и ежедневно становилось все опаснее. Несмотря на его блестящие победы, в Риме вовсе не были им довольны. Сенат был оскорблен его самовольным образом действий; партия капиталистов, интересы которой были чувствительно задеты Лукуллом, пускала в ход все средства интриги и подкупа, чтобы добиться его отозвания. Римский форум ежедневно оглашался справедливыми и несправедливыми жалобами на безумно смелого, корыстолюбивого полководца, плохого римлянина и изменника. Вняв отчасти жалобам по поводу объединения в руках подобного человека столь безграничной власти — двух ординарных наместничеств и важного чрезвычайного командования, — сенат назначил в провинцию Азию одного из преторов, в провинцию

* Цицерон (*De imp. Pomp.*, 9, 23) едва ли имеет в виду что-либо другое, кроме богатого храма в Элимаиде, куда регулярно направлялись грабительские походы сирийских и парфянских царей (*Strabo*, 16, 744; *Polyb.*, 31, II; 1. Маккав, 6 и др.); вероятно, что он говорит именно об этом, известнейшем из всех; во всяком случае здесь не может быть речи о храме в Комане и вообще о каком-либо святилище в Понтийском царстве.

Киликию послал консула Квинта Марция Рекса с тремя вновь набранными легионами и ограничил полномочия Лукулла командованием против Митридата и Тиграна.

Раздававшиеся в Риме жалобы против полководца нашли опасный отголосок в лагерях на Ирисе и на Тигре, тем более что некоторые офицеры, в том числе и шурин Лукулла Публий Клодий, обрабатывали солдат в этом духе. Пущенный, несомненно, ими слух, что Лукулл предполагает теперь связать с понтийско-армянской войной еще поход против парфян, поддерживал недовольство солдат. Но в то время, как недовольство правительства и солдат грозило полководцу отозванием или мятежом, он, как азартный игрок, все увеличивал свою ставку и свою дерзость. Против парфян он, правда, не выступил, но когда Тигран не обнаружил готовности ни заключить мир, ни дать второе генеральное сражение, как желал бы Лукулл, он решил проникнуть из Тигранокерты через труднопроходимую горную область на восточном берегу озера Ван в долину восточного Евфрата (или Арзания, ныне Мурад-чай), а отсюда в долину Аракса, где на северном склоне Арарата находилась столица собственно Армении Артаксата с родовым замком и гаремом царя. Угрозой его наследственной резиденции Лукулл надеялся заставить Тиграна принять бой или в пути или хотя бы под Артаксатой. Однако у Тигранокерты было безусловно необходимо оставить отряд, и так как войско, назначенное для перехода, невозможно было больше сокращать, то Лукуллу оставалось лишь ослабить свои позиции в Понте, отозвав оттуда свои войска в Тигранокерту. Но главным затруднением было неудобное для военных предприятий короткое армянское лето. На армянском плоскогорье, находящемся на высоте 5 тыс. футов и даже более над уровнем моря, зерно в окрестностях Эрзерума дает ростки лишь в начале июня, а по окончании уборки урожая, в сентябре, сейчас же начинается зима; таким образом, нужно было прийти к Артаксате и закончить поход не больше чем в 4 месяца.

В середине лета 686 г. Лукулл выступил из Тигранокерты и, двигаясь, без сомнения, через Битлисский проход, а затем к западу, мимо озера Ван, достиг Мушского плоскогорья и Евфрата. Переход, сопровождавшийся постоянными утомительными стычками с неприятельской конницей, в особенности с верховыми стрелками из лука, совершался медленно, но без существенных препятствий, и переправа через Евфрат, серьезно защищавшаяся армянской конницей, была захвачена после удачного боя; показала себя и армянская пехота; но вовлечь ее в сражение не удалось. Таким образом, армия достигла собственно армянского плоскогорья и двинулась дальше в незнакомую страну; с ней не случилось никакого несчастья, но уже одно замедление похода условиями местности и конницей противника было весьма неприятно. Войско еще было далеко от Артаксаты, когда наступи-

ла зима, и, когда италийские солдаты увидели вокруг себя снег и лед, рухнула их военная дисциплина; слишком туго натянутый лук лопнул.

Ввиду вспыхнувшего мятежа Лукуллу пришлось отдать приказ об отступлении, которое было организовано им с обычным уменьем. Благополучно достигнув Месопотамии, где время года допускало еще продолжение военных действий, Лукулл перешел Тигр и бросился со всей массой своего войска на столицу армянской Месопотамии город Низибис. Армянский царь, помня урок Тигранокерты, предоставил город самому себе; несмотря на храбрую оборону, он был взят штурмом осаждающими в темную дождливую ночь; армия Лукулла нашла здесь не менее богатую добычу и не менее удобные зимние квартиры, чем год назад в Тигранокерте.

Но тем временем неприятельское наступление всей своей тяжестью обрушилось на оставшиеся в Понте и в Армении слабые римские отряды. В Армении Тигран заставил римского военачальника Луция Фанния, игравшего прежде роль посредника между Серторием и Митридатом, укрыться в крепости и осадил его там. Митридат вступил в Понтийское царство с 4 тыс. армянских и 4 тыс. собственных всадников и как освободитель и мститель призвал народ к восстанию против врагов отечества. Все примкнули к нему; рассеянных по стране римских солдат повсюду захватывали и убивали. Когда командовавший римскими войсками в Понте Адриан повел свои войска против Митридата, бывшие наемники царя и многочисленные обращенные в рабство понтийцы, следовавшие за войском, перешли на сторону неприятеля. Неравная борьба продолжалась целых два дня; только благодаря тому, что царя пришлось вывести с поля сражения после полученных им двух ран, римский полководец смог прервать почти проигранный бой и уйти с небольшим остатком своего войска в Кабиру. Случайно оказавшийся в этих местах другой из подчиненных Лукуллу военачальников, энергичный Триарий, сумел, правда, снова собрать отряд и выдержал удачное сражение с царем, но он был слишком слаб, чтобы изгнать его опять из Понтийского царства, и должен был помириться с тем, что царь расположился на зимние квартиры в Комане.

При таких обстоятельствах наступила весна 687 г. Сосредоточение армии в Низибисе, праздная жизнь на зимних квартирах, частые отлучки полководца — все это еще более усилило тем временем недисциплинированность войск. Они не только бурно требовали возвращения на родину, но было уже видно, что, если главнокомандующий откажется повести их обратно, они двинутся сами. Запасы были скудны: Фанний и Триарий обращались к главнокомандующему с настойчивыми просьбами оказать им помощь в их трудном положении. С тяжелым сердцем решился Лукулл уступить необхо-

димости; покинув Низибис и Тигранокерту и отказавшись от блестящих надежд, которые он возлагал на армянский поход, он вернулся на правый берег Евфрата. Фанния Лукулл выручил, но в Понт уже опоздал. Триарий, недостаточно сильный для сражения с Митридатом, занял укрепленную позицию у Газиуры (Турксал на реке Иресе, к западу от Токата), оставив свой обоз у Дадаса. Однако, когда Митридат осадил этот город, римские солдаты, беспокоясь о своих пожитках, заставили командующего покинуть безопасную позицию и дать царю сражение между Газиурой и Зелой (Зиллех) на Скотийских высотах.

Случилось то, что предвидел Триарий. Несмотря на отважное сопротивление, крыло, которым командовал сам царь, прорвало ряды римлян и оттеснило пехоту в глинистый овраг, где она не могла двинуться ни вперед, ни в сторону и была безжалостно изрублена. Одному римскому центуриону, поплатившемуся за это жизнью, удалось, правда, нанести царю почти смертельную рану, но поражение римлян было тем не менее полное. Захвачен был римский лагерь — ядро пехоты, почти все офицеры и унтер-офицеры были перебиты; непогребенные трупы остались на поле сражения, и когда Лукулл прибыл на правый берег Евфрата, он узнал о поражении не от своих, а по рассказам местного населения.

Одновременно с этим поражением в армии назревал мятеж. К этому времени прибыло из Рима известие, что народ решил уволить в отставку тех солдат, законный срок службы которых истек, т. е. фимбрианцев, и назначил одного из консулов текущего года главнокомандующим в Вифинии и Понте. Преемник Лукулла, консул Маний Ацилий Глабрион, высадился уже в Малой Азии. Демобилизация отважнейших и беспокойнейших легионов и отозвание главнокомандующего в связи с впечатлением, произведенным на армию поражением при Зеле, окончательно подорвали дисциплину войск в тот момент, когда полководец особенно в ней нуждался. Он стоял в Малой Армении, у Талавры, против понтийской армии, имевшей уже во главе с зятем Тиграна Митридатом Мидийским удачную кавалерийскую стычку с римлянами; туда же направлялись из Армении главные силы Тиграна. Лукулл послал за помощью к новому наместнику Киликии Квинту Марцию, который, направляясь в свою провинцию, только что прибыл в Ликаонию с тремя легионами. Когда Квинт Марций ответил, что его солдаты отказываются идти в Армению, Лукулл обратился к Глабриону с просьбой принять возложенное на него народом главное командование, но Глабрион обнаружил еще меньшее желание взяться за эту задачу, ставшую теперь такой трудной и опасной.

Лукулл был вынужден остаться главнокомандующим и, для того, чтобы ему не пришлось сражаться под Талаврой одновременно с ар-

мянами и понтийцами, приказал выступить против приближающегося армянского войска.

Солдаты повиновались приказу, но, придя к тому месту, где разветвлялись дороги в Армению и в Каппадокию, они свернули на последний путь и направились в провинцию Азию. Здесь фимбрианцы потребовали немедленного освобождения их от службы, и, хотя они отказались затем от этого требования по настойчивой просьбе главнокомандующего и других отрядов, они все же продолжали настаивать, что разойдутся, если с наступлением зимы не увидят перед собой врага. Так действительно и случилось. Митридат не только занял опять почти все свое царство, но конница его объездила и всю Каппадокию до самой Вифинии; царь Ариобарзан, одинаково безрезультатно просил о помощи и Квинта Марция, и Лукулла, и Глабриона. Это был странный, почти невероятный исход войны, веденной столь блестящим образом. Если принять во внимание только воинские успехи, то едва ли какой-либо другой римский генерал, обладая такими незначительными силами, совершил столько, как Лукулл; казалось, что талант и счастье Суллы были унаследованы его учеником. Если при данных условиях римская армия в целости вернулась из Армении в Малую Азию, то это было чудом военного искусства, которое, насколько мы можем судить, далеко превосходит отступление Ксенофонта и объясняется, конечно, прежде всего прочностью римской военной организации и негодностью восточной: во всяком случае этот поход обеспечивает руководителю его почетное место в кругу первоклассных военных дарований. Если же имя Лукулла обычно не упоминается в их числе, то причиной этого является, по-видимому, отчасти то, что до нас не дошло сколько-нибудь сносного военного описания его походов, отчасти же то, что повсюду, и прежде всего в военном деле, ценится лишь конечный результат, который в данном случае равнялся совершенному поражению. Из-за последнего неблагоприятного оборота событий, а главным образом, вследствие мятежа солдат были потеряны все достижения восьмилетней войны, и зимой 687—688 г. дела находились в таком же положении, как зимой 679—680 г. Не лучшие результаты, чем война на континенте, дала и морская война с пиратами, начавшаяся одновременно с первой и постоянно находившаяся с ней в тесной связи. Выше уже рассказывалось, что сенат принял в 680 г. правильное решение поручить очистку морей от корсаров одному адмиралу с правами главнокомандующего, а именно претору Марку Антонию. Но с самого начала была сделана ошибка в выборе начальника, или, вернее, те, кто провел эту целесообразную меру, не учли, что в сенате все персональные вопросы решались под влиянием Цетега и подобных партийных интересов. Далее, избранный адмирал не был обеспечен соответствующим его обширной задаче количеством денег и судов, так что своими тяжелыми

реквизициями он стал почти так же невыносим для дружественных провинциалов, как и корсары. Успехи были соответствующими. В кампанских водах флот Антония захватил несколько пиратских судов. С критянами же, вступившими с пиратами в дружбу и союз и резко отклонившими требование Антония отказаться от этого союза, дело дошло до сражения, и цепи, которые Антоний предусмотрительно держал в запасе на своих судах, чтобы заковывать пленных корсаров, послужили для того, чтобы приковать квестора и других римских пленных к мачтам захваченных пиратами римских судов, когда критские полководцы Ласфен и Панар с торжеством возвращались в Кидонию после морского сражения, данного ими римлянам близ их острова. Истратив своим легкомысленным ведением войны громадные суммы и ничего не достигнув, Антоний умер в 683 г. на Крите. Частью неудачный исход этой экспедиции, частью дороговизна постройки флота, частью же нерасположение олигархии к расширению компетенции должностных лиц были причиной того, что после фактического окончания экспедиции вследствие смерти Антония не был назначен новый адмирал и каждому наместнику было по-прежнему предоставлено заботиться о подавлении пиратства в своей провинции; таков был, например, построенный Лукуллом флот, действовавший в Эгейском море.

Что же касается критян, то даже это порочное поколение римлян сочло, что на бесчестье, нанесенное Риму при Кидонии, можно было ответить только объявлением им войны. Тем не менее критские послы, явившиеся в 684 г. в Рим с просьбой взять назад пленных и восстановить прежний союз, едва не добились положительного решения сената; на то, что вся корпорация считала позором, отдельный сенатор охотно соглашался за звонкую монету. Лишь после того как сенат постановил, что по займам критских послов у римских банкиров не могут быть предъявлены никакие иски, и тем самым лишил себя возможности быть подкупленным, был издан декрет о том, чтобы критские общины, если они хотят избежать войны, выдали Риму для надлежащего наказания помимо римских перебежчиков виновников совершенного при Кидонии преступления, вожаков Ласфена и Панара, а также все корабли и лодки, имевшие четыре или более весел, выставили 400 заложников и уплатили штраф в 4 тыс. талантов. Когда послы ответили, что они не уполномочены на принятие таких условий, одному из консулов следующего года было поручено по истечении срока его должности отправиться на Крит, чтобы получить требуемую компенсацию или же начать войну.

На основании этого решения в 685 г. появился в критских водах проконсул Квинт Метелл. Общины Крита во главе с крупнейшими городами — Гортиной, Кноссом, Кидонией — решили защищаться с оружием в руках, но не подчиняться непомерным требованиям Рима.

Критяне были народ бесчестный и развращенный, пиратство так же тесно срослось с их общественным и частным бытом, как разбойничество с общинным строем этолийцев; но они были похожи на этолийцев помимо других своих черт также и храбростью, и только эти два греческих государства вели борьбу за независимость мужественно и с честью. Возле Кидонии, где Метелл высадил свои три легиона, стояла готовая встретить его критская армия в 24 тыс. человек под начальством Ласфена и Панара. Произошло сражение в открытом поле, и победа после жестокой борьбы досталась римлянам. Несмотря на это, города, защищаемые своими стенами, не подчинялись римскому полководцу, и Метеллу пришлось осаждать один город за другим. Кидония, где укрылись остатки разбитой армии, после долгой осады была сдана Панаром, которому было обещано за это свободное отступление, а бежавшего из города Ласфена пришлось вторично осаждать в Кноссе. Когда же и эта крепость была близка к сдаче, он уничтожил свои сокровища и снова бежал в те места, которые, как Ликтос, Элевфера и другие, продолжали еще оборону. Прошло два года (686, 687), прежде чем Метелл стал господином всего острова и последний клочок свободной греческой земли перешел в руки всемогущих римлян; критские общины, раньше всех других греческих общин развившие у себя свободный городской строй и достигшие господства на море, были и последними из тех наполнявших некогда Средиземное море греческих приморских государств, которые были покорены римской континентальной державой. Были выполнены все требования закона, для того чтобы еще раз отпраздновать один из обычных пышных триумфов; род Метеллов мог с одинаковым правом присоединить к своим македонскому, нумидийскому, далматийскому, баlearскому титулам новый титул — «критского», а Рим обладал отныне еще одним славным именем.

Тем не менее никогда еще римляне не были так бессильны на Средиземном море, а корсары так могущественны, как в эти годы. Киликийские и критские пираты, которые в это время насчитывали до тысячи судов, имели все основания издеваться над «Исавриком» и «Критским» с их жалкими победами. Мы говорили уже о том, какое энергичное участие принимали пираты в митридатовой войне и как лучшие силы корсарского государства организовали упорное сопротивление понтийских портовых городов. Но государство это и на свой страх совершало не менее крупные дела. В 685 г. пират Афинодор почти на глазах эскадры Лукулла напал на остров Делос, разорил его прославленные святилища и храмы и увел все население в рабство. Остров Липара, возле Сицилии, платил пиратам установленную дань, чтобы быть избавленным от подобных нападений. Другой вождь пиратов, Гераклеон, уничтожил в 682 г. снаряженную против него в Сицилии эскадру и осмеливался с четырьмя только открытыми лод-

ками появляться в сиракузской гавани. Два года спустя его сотоварищ Пирганион высадился даже на берег в том же порту, укрепился там и посылал оттуда летучие отряды внутрь острова, пока римский наместник не заставил его, наконец, удалиться. Под конец все призывали к тому, что все провинции снаряжали эскадры и создавали береговую охрану или по крайней мере давали средства на то и на другое, и, несмотря на это, корсары появлялись и разграбляли провинции так же регулярно, как и римские наместники. Но дерзкие преступники не уважали уже теперь и священную почву самой Италии; из Кротона увезли сокровища храма Лакинской Геры; они высаживались в Брундизии, Мизене, Кайете, в этрусских портах и даже в самой Остии; уводили в плен виднейших римских офицеров, как, например, командующего флотом при киликийской армии и двух преторов со всей их свитой, с устрашающими топорами и прутьями и всеми знаками их достоинства; они похитили из виллы под Мизеном родную сестру римского адмирала Антония, посланного для искоренения пиратства; уничтожили в остийской гавани снаряженный против них под начальством одного из консулов римский флот. Ни латинский крестьянин, ни путник на Аппиевой дороге, ни знатный приезжий, лечившийся водами в Байях, тогдашнем «земном рае»; ни минуты не были отныне спокойны за свою жизнь и имущество; вся торговля и перевозки остановились; страшная дороговизна господствовала в Италии, особенно в столице, снабжавшейся хлебом из-за моря. Жалобы на невыносимые бедствия нередки как в наши дни, так и в истории; в данном случае подобная характеристика была бы вполне справедлива.

В предшествующем изложении шла речь о том, как осуществлял восстановленный Суллой сенат охрану границ в Македонии, попечение о зависимых государях Малой Азии и, наконец, морскую полицию; результаты были повсюду неудовлетворительны. Не лучшие успехи достигнуты были правительством и в другой, быть может, еще более важной задаче — наблюдении за провинциальным, и прежде всего италийским, пролетариатом. Язва невольничьего пролетариата подтачивала все государства древности, и притом тем сильнее, чем более пышен был их расцвет, так как сила и богатство государства при существовавших условиях неизбежно приводили к непропорциональному увеличению массы рабов. Естественно, что Рим страдал от этого больше, чем какое-либо другое государство древности. Еще в VI веке правительство должно было посылать войска против шаек беглых рабов-пастухов и рабов, занятых в сельском хозяйстве. Плантаторское хозяйство, все более и более насаждавшееся италийскими спекулянтами, до бесконечности усилило это опасное зло. В периоды кризисов времен Гракхов и Мария и в тесной связи с ними во многих пунктах Римского государства происходили восстания рабов, а в Си-

цилии они превратились даже в две кровавые войны (619—622 и 652—654). Десятилетие господства реставрации после смерти Суллы было золотой порой как для морских разбойников, так и для подобных им банд на суше, а прежде всего на италийском полуострове, где до тех пор существовал все же кое-какой порядок. О гражданском мире здесь едва ли могла быть теперь речь. Грабежи были повседневным явлением в столице и малонаселенных частях Италии, а убийства — частым. Против похищения чужих рабов, а также свободных людей был издан народным собранием, возможно в эту эпоху, особый закон, а для дел о насильственном захвате земельных участков в это же приблизительно время был введен особый суммарный процесс. Эти преступления должны были считаться особенно опасными, потому что хотя они и совершались обычно пролетариатом, но в качестве моральных виновников и участников в барышах в них принимало участие и большое число людей из высшего класса. Так, похищение людей и захват полей очень часто производились по наущению управляющих больших имений составлявшимися там, часто вооруженными, шайками рабов. Многие уважаемые лица не брезговали тем, что усердный надсмотрщик рабов приобретал для них, так же как Мефистофель достал Фаусту, липы Филемона. Как обстояли здесь дела, видно из того, что один из более честных оптиматов, Марк Лукулл, около 676 г., будучи главой правосудия в столице, ввел усиленное наказание за совершенные вооруженными бандами преступления против собственности*. Этой мерой имелось в виду заставить владельцев больших масс рабов строже наблюдать за ними под страхом конфискации их в судебном порядке. Но, начав грабить и убивать по поручению знатных людей, пролетарские и невольничьи массы легко могли продолжать это занятие на свой собственный счет; достаточно было искры, чтобы воспламенить этот горючий материал и превратить пролетариат в армию мятежников. Повод для этого скоро нашелся.

Состязания гладиаторов, ставшие теперь в Италии излюбленным народным развлечением, привели к возникновению — особенно в Капуе и ее окрестностях — множества заведений, где частью содержались под надзором, а частью обучались те рабы, которые должны были убивать или умереть на потеху самодержавного народа. Это были по большей части храбрые военнопленные, не забывшие, как они некогда сражались против римлян. Некоторые из этих отчаянных людей бежали в 681 г. из одной капуанской школы гладиаторов на Везувий. Во главе их стояли два кельта, носившие в качестве рабов имена Крикса и Эномая, и фракиец Спартак, являвшийся, быть может, от-

* Из этих постановлений и развилось понятие о грабеже как особом преступлении, тогда как по прежнему праву грабеж включался в понятие кражи.

прыском благородного рода Спартокидов, достигшего царских почестей как во Фракии, так и в Пантикапее. Он служил во вспомогательных фракийских частях римского войска, дезертировал, занимался разбоем в горах, снова был схвачен и должен был стать гладиатором. Набеги этой небольшой шайки, насчитывавшей сначала только 74 человека, но быстро увеличивавшейся благодаря наплыву рабов из окрестностей, вскоре сделались до того невыносимы для населения богатой Кампанской области, что после тщетных попыток защищаться собственными силами оно просило помощи у Рима. Наскоро собранный отряд из 3 тыс. человек под начальством Клодия Глабра появился у Везувия и занял подступы к нему, чтобы взять рабов измором. Но разбойники, несмотря на свое незначительное число и недостаточное вооружение, осмелились напасть на римские посты, спустившись по крутым склонам; жалкое римское ополчение, оказавшись неожиданно под ударом этой горсточки отчаянных людей, показало пятки и рассеялось во все стороны. Этот первый успех разбойников дал им оружие и усилил наплыв в их шайку. Хотя большая часть из них все еще была вооружена только заостренными дубинками, новый и более сильный отряд ополчения, отправленный из Рима в Кампанию, — два легиона под начальством претора Публия Вариния — застал их расположившимися лагерем на равнине почти как настоящее войско. Положение Вариния было затруднительно. Солдаты его, вынужденные стать бивуаком на виду у противника, сильно страдали от сырой осенней погоды и вызываемых ею болезней, но еще больше, чем эпидемия, опустошали их ряды трусость и неповиновение. В самом начале совершенно разбежалась одна из частей, причем бежавшие не вернулись в расположение главных сил римлян, а прямо пошли домой. Когда же дан был приказ двинуться против неприятельских укреплений и атаковать их, большая часть отряда отказалась выполнить это приказание. Тем не менее Вариний выступил против разбойничьей шайки с теми, кто остался в строю; однако он уже не застал ее на прежнем месте. Поднявшись совершенно бесшумно, она направилась к югу, в сторону Пицентии (Виченца, близ Амальфи); Вариний, правда, догнал ее здесь, но не мог помешать ей отступить через Силар в глубь Лукании, этой обетованной земли пастухов и разбойников. Вариний последовал за ними и туда, и здесь, наконец, презренные враги приняли бой. Все обстоятельства, при которых происходила битва, были неблагоприятны для римлян; солдаты, незадолго до того нетерпеливо требовавшие сражения, дрались все же плохо. Вариний был разбит наголову, его лошадь и знаки его достоинства вместе с римским лагерем достались неприятелю. Толпами стекались южноиталийские рабы, в особенности храбрые полудикие пастухи, под знамена этих неожиданных избавителей; по самым скромным подсчетам, число вооруженных мятежников дошло

до 40 тыс. Они быстро снова заняли только что очищенную Кампанию; римский отряд, оставшийся там под начальством вариниева квестора Гая Торания, был рассеян и уничтожен. Вся сельская часть Южной и Юго-западной Италии была в руках победоносных главарей разбойников; они захватили даже такие крупные города, как Консенция в области бруттиев, Фурии и Метапонт в Лукании, Нола и Нуцерия в Кампании, которым пришлось вытерпеть все зверства, какие способны учинить победоносные варвары над беззащитными культурными людьми, сбросившие цепи рабы — над своими прежними господами. Нужно ли говорить, что в подобной борьбе не соблюдались никакие законы и что это была скорее бойня, чем война? Хозяева на законном основании распинали каждого пойманного раба, а рабы также, конечно, убивали своих пленных или же, прибегая к издевательской форме мести, заставляли пленных римлян убивать друг друга в гладиаторских играх; это случилось, например, позднее с 300 пленными на поминках одного павшего в бою разбойничьего атамана. Все больше распространявшееся пламя восстания вызывало в Риме естественное беспокойство.

Решено было в следующем (682) году послать против этих страшных банд обоих консулов. Действительно, претору Квинту Аррию, находившемуся под начальством консула Луция Геллия, удалось настигнуть и уничтожить в Апулии у Гаргана кельтский отряд Крикса, отделившийся от остального разбойничьего войска и занимавшийся грабежом на собственный страх. Зато Спартак были одержаны блестящие победы в Апеннинах и Северной Италии, где он разбил консула Гнея Лентула, собиравшегося как раз окружить и захватить разбойников, затем его коллегу Геллия и недавнего победителя претора Аррия и, наконец, у Мутины — наместника Цизальпинской Галлии Гая Кассия (консула 681 г.) и претора Гнея Манлия. Плохо вооруженные банды рабов наводили ужас на легионы; цепь поражений напоминала первые годы войны с Ганнибалом.

Невозможно сказать, что случилось бы, если бы во главе этих победоносных отрядов стояли не беглые рабы-гладиаторы, а цари народов, населявших Овернские или Балканские горы; однако, несмотря на блестящие победы, движение оставалось лишь разбойничьим мятежом и потерпело поражение не столько вследствие превосходства сил его противников, сколько из-за внутренних раздоров и отсутствия плана. Если в прежних, сицилийских, войнах рабов замечательным образом была обнаружена сплоченность против общего врага, то в данном, итальянском, восстании она отсутствовала; причиной этого было, очевидно, то обстоятельство, что для сицилийских рабов объединявший их всех сиро-эллинизм служил как бы национальной связью, итальянские же рабы распались на две группы: эллино-варваров и кельто-германцев. Разногласия между кельтом Крик-

сом и фракийцем Спартак — Эномай погиб в одном из первых же сражений — и другие раздоры делали невозможным использование достигнутых успехов, и римляне были обязаны этому не одной своей победой. Но еще больший ущерб, чем недисциплинированность кельто-германцев, причинило движению отсутствие определенного плана и цели. Правда, Спартак, судя по тому немногому, что мы знаем об этом замечательном человеке, стоял в этом отношении выше своей партии. Наряду с военными дарованиями он обнаружил и незаурядный организаторский талант, а справедливость, с которой он управлял своим отрядом и распределял добычу, с самого начала обратила на него взоры толпы не меньше, чем его храбрость. Ощущая большой недостаток в коннице и оружии, он пытался создать обученные кавалерийские части, воспользовавшись захваченными в Нижней Италии табунами лошадей, а как только завладел фурийской гаванью, стал доставать железо и медь, без сомнения, через пиратов. Однако даже он не мог направить руководимые им дикие орды на достижение определенных конечных целей. Он охотно положил бы конец безумным кровавым вакханалиям, которые устраивали разбойники в занятых городах и из-за которых главным образом ни один итальянский город не соглашался вступить в союз с мятежниками, но повинование, оказывавшееся в сражениях разбойничьему вождю, продолжалось лишь до победы, и все его уговоры и просьбы были напрасны. После побед, одержанных в 682 г. в Апеннинах, войску рабов были открыты все пути. Спартак хотел будто бы перейти через Альпы, для того чтобы он сам и его люди смогли возвратиться на свою кельтскую или фракийскую родину. Если сведения эти верны, то они свидетельствуют о том, как мало победитель ценил свои успехи и свои силы. Так как войско его отказалось так скоро покинуть богатую Италию, Спартак повернул к Риму и подумывал, как передают, об осаде столицы. Но банды воспротивились этому, правда, отчаянно, но обдуманному предприятию; они заставили своего вождя, хотевшего быть полководцем, остаться атаманом разбойников и скитаться бесцельно по Италии, занимаясь грабежом. В Риме могли быть довольны таким оборотом дела, но все же положение было серьезно. Не было ни хороших солдат, ни опытных полководцев: Квинт Метелл и Гней Помпей находились в Испании, Марк Лукулл — во Фракии, Луций Лукулл — в Малой Азии, и римляне располагали лишь необученным ополчением и весьма посредственными офицерами. Главнокомандующим в Италии с чрезвычайными полномочиями был назначен претор Марк Красс, который не был, правда, выдающимся полководцем, но все же с честью сражался под начальством Суллы и, по крайней мере, обладал характером. В его распоряжение была предоставлена внушительная, если не по своим качествам, то численностью, армия из восьми легионов. Новый главнокомандующий начал

с того, что поступил по всей строгости законов военного времени с первым же отрядом, побросавшим оружие и разбежавшимся при столкновении с разбойниками, и приказал казнить каждого десятого, после чего легионы действительно несколько подтянулись. Спартак, потерпевший поражение в следующем сражении, отступил и пытался через Луканию пробраться в Регий.

В то время пираты господствовали не только в сицилийских водах, но и над сиракузской гаванью. Спартак хотел с помощью их лодок перебросить отряд в Сицилию, где рабы ждали только толчка, чтобы в третий раз начать восстание. Переход к Регию был совершен удачно, но корсары, напуганные, быть может, береговой охраной, созданной в Сицилии претором Гаем Верресом, а может быть, и подкупленные римлянами, получили у Спартака условленную плату, не оказав ему за это обещанной услуги. Тем временем Красс, следовавший за разбойничьим войском до устья Кратиса, видя, что солдаты его не дерутся как следует, заставил их, по примеру Сципиона под Нуманцией, построить укрепленный, подобно крепости, вал длиной в 7 миль*, отрезавший Бруттийский полуостров от остальной Италии**; таким образом, возвращавшемуся из Регия войску мятежников был прегражден путь и отрезано снабжение. Но темной зимней ночью Спартак прорвал неприятельские линии и весной 683 г.*** опять появился в Лукании, так что вся эта большая работа была напрасна. Красс начал отчаиваться в возможности выполнения своей задачи и требовал, чтобы сенат призвал в Италию на помощь ему армию Марка Лукулла из Македонии и Гнея Помпея из Ближней Испании.

Однако в этой крайней мере не было надобности. Все успехи разбойничьих банд были сведены на нет их заносчивостью и разногласиями. Кельты и германцы снова выступили из союза, главой и душой которого был фракиец Спартак, чтобы под начальством вождей их собственной национальности Ганника и Каста порознь идти под нож римлян. Однажды, у Луканского озера, они были спасены своевременным появлением Спартака; тогда они разбили свой лагерь вблизи его стоянки, но Крассу все же удалось отвлечь Спартака своей конницей и тем временем окружить кельтов и заставить их принять отдельный бой, в котором все они — как передают, 12 300 бойцов — пали,

* Немецкая миля — около 7 1/2 километра (*Трим. ред.*).

** Так как этот вал был равен 7 милям (*Sallust., Hist., 4, 19, изд. Дитча; Plutarch, Grass, 10*), то он был, очевидно, проведен не от Сколлация к Пиццо, а севернее, приблизительно у Кастровиллари и Кассано, через полуостров, имеющий здесь в ширину по прямой линии около 6 миль.

***Что Красс принял на себя верховное командование еще в 682 г., видно из устранения консулов (*Plutarch, Grass, 10*); что зима 682—683 г. была проведена обеими армиями у бруттийского вала, явствует из упоминания о «снежной ночи» (*Plutarch, ibid.*).

сражаясь храбро, не сходя с места и получив ранения спереди. После этого Спартак пытался уйти со своим отрядом в горы возле Петелии (у Стронголи в Калабрии) и жестоко разбил преследовавший его римский авангард. Однако эта победа больше повредила победителям, чем побежденным. Опыяненные успехом, разбойники отказались отступать дальше и заставили своего полководца повести их через Луканию в Апулию на последний, решительный бой. Перед сражением Спартак заколол своего коня; неразлучный со своими людьми в счастье и в несчастье, он показал им этим поступком, что ему, как и всем им, предстоит теперь победить или умереть. В сражении он боролся, как лев; два центуриона пали от его руки; будучи ранен, он на коленях отражал копьем напавших на него врагов. Так умер великий разбойничий атаман и с ним лучшие из его товарищей — смертью свободных людей и честных солдат (683).

После этой дорого обошедшейся победы войска, одержавшие ее, вместе с армией Помпея, прибывшей тем временем из Испании после победы над серторианцами, начали по всей Апулии и Лукании такую охоту за людьми, какой никогда еще не было до той поры, с целью затушить последнюю искру страшного пожара. Хотя в южных областях, где, например, в 683 г. был занят шайкой разбойников городишко Темпса, а также в жестоко пострадавшей от сулланских экспроприаций Этрурии далеко еще не был достигнут настоящий гражданский мир, он все же официально считался в Италии восстановленным. Позорно потерянные орлы были, по крайней мере, опять завоеваны, — только после победы над кельтами их было захвачено целых пять. Шесть тысяч крестов, на которых были распяты пленные рабы вдоль дороги из Капуи в Рим, свидетельствовали о восстановлении порядка и о новой победе признанного права над взбунтовавшейся живой собственностью.

Подведем теперь итог событиям, наполнившим десятилетие сулланской реставрации. Грозной опасности, которая неизбежно коснулась бы жизненных основ нации, не содержало в себе ни одно из внутренних или внешних движений этой эпохи — ни восстание Лепида, ни предприятия испанских эмигрантов, ни фракийско-македонская и малоазийская войны, ни мятежи пиратов и рабов, — тем не менее почти во всех этих конфликтах государству пришлось бороться за свое существование. Причина этого заключалась в том, что все задачи оставались неразрешенными, пока их можно еще было легко разрешить; пренебрежение простейшими мерами предосторожности привело к страшной разрухе и несчастьям и превратило зависимые классы и бессильных царей в равных по силе противников. Правда, демократическое движение и восстание рабов были подавлены, но характер этих побед был таков, что они не подняли духа победителя и не увеличили его мощи. Далекое не почетно было, что два самых слав-

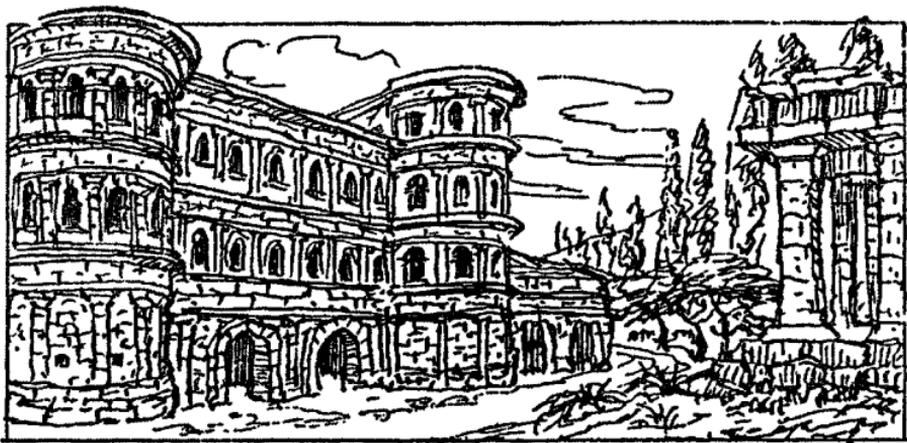
ных полководца правительственной партии в восьмилетней, отмеченной бóльшим числом поражений, чем побед, войне не сумели справиться с повстанческим вождем Серторием и что только кинжал его друзей решил серторианскую войну в пользу законного правительства. Что же касается рабов, то победа над ними не могла смыть того позора, что в течение ряда лет с ними пришлось бороться, как с равными. После войны с Ганнибалом прошло немного больше столетия, но краска стыда должна была броситься в лицо честного римлянина, когда он видел, до какого страшного упадка дошла нация с того великого времени. Тогда итальянские рабы стеной стояли против ветеранов Ганнибала, а теперь итальянские ополченцы разбежались от дубинок своих беглых рабов. Тогда каждый начальник отряда становился в случае нужды полководцем и сражался, хотя часто и неудачно, но всегда с честью, а теперь нелегко было найти среди всех видных офицеров хоть одного заурядного военачальника. Тогда правительство скорее отняло бы от плуга последнего крестьянина, чем отказалось бы от завоевания Греции и Испании, а теперь оно готово было пожертвовать обе эти давно приобретенные области, для того чтобы получить возможность обороняться на родине от восставших рабов. И Спартак, подобно Ганнибалу, прошел с войском через всю Италию, от реки По до Сицилийского пролива, разбил обоих консулов и угрожал Риму осадой; но то, для чего в борьбе с прежним Римом понадобился величайший полководец древности, в эту эпоху сумел выполнить смелый разбойничий атаман. Удивительно ли, что из этих побед над мятежниками и разбойниками не появились ростки новой жизни?

Но еще менее отрадны были результаты внешних войн. Правда, исход фракийско-македонской войны нельзя было назвать неблагоприятным, хотя он и не соответствовал значительным потерям людьми и деньгами. Зато в Малой Азии и в борьбе с пиратами правительство совершенно обанкротилось. Малоазийские походы закончились потерей всех сделанных в восьми кровавых кампаниях завоеваний, а война с пиратами привела к совершенному вытеснению римлян с «их моря». Некогда Рим в сознании своей непобедимости на суше распространил свое преобладание и на вторую стихию; теперь же огромное государство было бессильно на море и, казалось, собиралось лишиться господства и на материке, по крайней мере на азиатском. Объединенные в римской державе народности постепенно утрачивали все материальные преимущества государственной жизни: безопасность границ, беспрепятственность мирных сношений, покровительство законов, спокойное управление, точно благодетели-боги удалились на Олимп, предоставив грешную землю по должности к этому призванным или добровольным грабителям и мучителям. Этот упадок государства сознавался как общественное бедствие не только теми, кто

обладал политическими правами и гражданским чувством. Восстание пролетариата и набеги разбойников и пиратов, напоминающие нам времена неаполитанских Фердинандов, разносили сознание этого упадка в самые далекие уголки, в самые убогие хижины Италии; каждый, кто занимался торговлей или перевозкой или кто покупал хоть меру пшеницы, ощущал этот упадок как свое личное бедствие. На вопрос о виновниках этих непоправимых и беспримерных бедствий нетрудно было с полным правом назвать очень многих. Рабовладельцы, у которых вместо сердца был денежный кошель, недисциплинированные солдаты, то трусливые и бездарные, то безрассудно смелые полководцы, демагоги с форума, разжигавшие дурные страсти толпы, — на всех падала доля вины, да и кто не имел ее тогда? Все чувствовали, что эти бедствия, этот позор, эта разруха слишком велики, чтобы быть делом одного человека. Подобно тому как величие римского государства было создано не отдельными выдающимися личностями, а хорошо организованным гражданским обществом, так и упадок этого громадного здания был вызван не чьим-либо разрушительным гением, а всеобщей дезорганизацией. Подавляющее большинство граждан ни на что не годилось, и каждый рассыпавшийся камень способствовал разрушению всего здания. Так вся нация искупала общую вину! Несправедливо было делать правительство как наиболее осязаемое выражение государства ответственным за все его излечимые и неизлечимые недуги, но тем не менее верно, что правительство в огромной мере участвовало в общей вине. Так, например, малоазийская война, когда ни один из правителей не совершил крупных ошибок, а Лукулл держал себя хорошо, даже доблестно, по крайней мере как военный, с тем большей ясностью показала, что причины неудачи заключались во всей правительственной системе как таковой и в данном случае прежде всего в первоначальном отказе от защиты Каппадокии и Сирии и в ложном положении способного полководца при неспособной ни на какие энергичные решения правительственной коллегии. И в области морской полиции сенат сначала извратил при выполнении свой первоначальный правильный план о повсеместном преследовании пиратов, а затем совершенно отказался от него, чтобы опять по нелепой старой системе посылать легионы против этих «морских наездников». По этой системе и были предприняты походы Сервилия и Марция в Киликию и Метелла — на Крит, этой же системе следовал Триарий, приказав возвести вокруг острова Делоса стену для защиты его от пиратов. Подобные попытки обеспечить свое господство на море напоминают того персидского царя, который велел высечь море, чтобы сделать его покорным себе. Таким образом, нация имела основание обвинять в своем упадке прежде всего правительство реставрации. Не раз уже с восстановлением олигархии приходило столь неспособное правительство. Так было после па-

дения Гракхов, после свержения Мария и Сатурнина, но никогда еще оно не действовало так насильственно и вместе с тем слабо, так неправильно и пагубно. Но когда правительство не в состоянии править, оно перестает быть законным, и тот, у кого есть сила его свергнуть, имеет и право на это. Верно, к сожалению, что бездарное и преступное правительство может долгое время попирать ногами интересы и честь страны, прежде чем найдутся люди, которые обратят против этого правительства им же самим выкованное страшное оружие и которые захотят и сумеют использовать нравственное негодование лучших людей и бедственное положение масс, для того чтобы вызвать вполне законную в данном случае революцию. Но если игра со счастьем народов может быть забавна и беспрепятственно продолжаться долгое время, то это вместе с тем коварная игра, которая в свое время поглотит игроков; никто не станет пенять на топор, если он подрубит в корне дерево, носящее подобные плоды. Для римской олигархии наступило теперь это время. Понтийско-армянская война и вопрос о пиратах стали ближайшими причинами свержения сулланского режима и установления революционной военной диктатуры.





Глава III



Свержение олигархии и господство Помпея

Сулланская конституция все еще держалась непоколебимо. Буря, которую дерзнули поднять против нее Лепид и Серторий, была отражена с незначительным ущербом. Но правительство не сумело достроить это лишь наполовину законченное здание с той энергией, которая отличала его основателя. Характерно, что правительство не поделило земель, назначенных Суллой для раздела, но не парцелированных еще при нем самом, и не отказывалось совершенно от притязаний на эти земли. Оно позволяло прежним собственникам временно владеть ими, не оформляя их прав, и допустило даже самовольный захват отдельными лицами многих не розданных еще участков государственной земли по старой системе оккупации, которая была юридически и фактически отменена реформами Гракхов. Все, что было в установлениях Суллы безразлично или неудобно для оптиматов, игнорировалось или отменялось ими без колебаний; так было, например, с лишением целых общин права гражданства, с запрещением объединения новых крестьянских наделов, с рядом вольностей, предоставленных Суллой отдельным общинам, причем, конечно, суммы, уплаченные общинами за эти привилегии, им не возвращались. Однако, хотя эти нарушения установлений Суллы самим же правительством и поколебали фундамент этого здания, все же семпрониевы законы оставались в основном отмененными.

Не было, конечно, недостатка в людях, мечтавших о восстановлении гракховой конституции, как и в попытках достигнуть путем постепенных конституционных реформ того, чего Лепид и Серторий добивались революционным путем.

Еще под давлением агитации Лепида, после смерти Суллы (676), правительство согласилось восстановить отчасти раздачу хлеба, и оно продолжало делать все возможное, чтобы в этом насущном для столичного пролетариата вопросе пойти ему навстречу. Когда, несмотря на эти раздачи, высокие цены на хлеб, вызванные главным образом набегами пиратов, привели к страшной дороговизне, из-за которой в 679 г. в Риме произошли сильные уличные беспорядки, чрезвычайные закупки зерна в Сицилии за счет правительства помогли самой тяжелой нужде, а предложенный консулами 681 г. хлебный закон регулировал закупку сицилийского зерна и предоставил правительству средства для предупреждения подобных бедствий, правда, за счет провинциалов.

Но и другие пункты разногласий, носившие менее материальный характер, как восстановление власти трибунов в ее прежнем объеме и упразднение сенаторских судов, не переставали быть предметом демократической агитации, причем здесь правительство давало более энергичный отпор. Спор о полномочиях трибунов был начат еще в 678 г., тотчас после поражения Лепида, народным трибуном Луцием Сицинием — быть может, потомком носившего то же имя лица, впервые занимавшего эту должность более 400 лет до этого, но он потерпел неудачу ввиду сопротивления, оказанного ему деятельным консулом Гаем Курионом. В 680 г. Луций Квинкций возобновил агитацию по этому вопросу, но отказался от своего намерения благодаря влиянию консула Луция Лукулла. Через год с большим рвением пошел по его стопам Гай Лициний Макр, перенесший, что весьма характерно для эпохи, свою литературную эрудицию в политическую жизнь и под влиянием прочитанного им летописного рассказа советовавший гражданам уклониться от воинской повинности.

Вскоре стали раздаваться весьма обоснованные жалобы и на плохое отправление правосудия присяжными из сенаторов. Добиться осуждения ими сколько-нибудь влиятельного лица было почти невозможно. Мало того, что коллега — сам бывший или будущий обвиняемый — чувствовал сострадание к провинившемуся коллеге, продажность присяжных почти не составляла уже исключения. Многие сенаторы были изобличены в этом преступлении перед судом, на других, не менее виновных, показывали пальцами. Наиболее почтенные из оптиматов, как, например, Квинт Катул, признавали в публичном заседании сената, что жалобы эти вполне обоснованы. Некоторые особенно обратившие на себя внимание случаи неоднократно вынуждали сенат — например в 680 г. — обсуждать меры против продажности

присяжных, разумеется, лишь так долго, пока не утихал поднятый шум и дело можно было предать забвению. Результатом этого отсутствия правосудия было в особенности такое систематическое ограбление и притеснение провинциалов, в сравнении с которым даже прежние злодеяния казались сносными и умеренными. Кражи и грабежи были, так сказать, узаконены обычаем; комиссия по делам о вымогательствах стала чем-то вроде учреждения, где возвращавшиеся с наместничества сенаторы облагались налогом в пользу их оставшихся дома коллег. Но когда один почтенный сицилиец был заочно и без допроса приговорен наместником к смерти за то, что он отказался помочь ему совершить преступление, когда даже римские граждане, если они не были всадниками или сенаторами, должны были бояться в провинциях розог и секиры римского правителя и древнейшее достояние римской демократии — обеспеченность жизни и телесная неприкосновенность — стало попирается господствовавшей олигархией, тогда и народ на римском форуме начал прислушиваться к жалобам на правителей провинций и на несправедливых судей, на которых падала моральная ответственность за подобные преступления. Оппозиция, конечно, не преминула напасть на своих противников на почти единственной оставшейся ей почве — в суде. Так, молодой Гай Юлий Цезарь, также принимавший, насколько позволял его возраст, усердное участие в агитации за восстановление власти трибунов, в 677 г. привлек к суду одного из виднейших деятелей сулланской партии, консуляра Гнея Долабеллу, а в следующем году — другого сулланского офицера, Гая Антония; так, Марк Цицерон в 684 г. привлек к ответу Гая Верреса, одного из самых жалких ставленников Суллы, бывшего злейшим бичом провинциалов. Снова и снова изображались перед собравшейся толпой со всей цветистостью итальянского красноречия, со всей желчностью итальянского юмора картины мрачной эпохи проскрипций, ужасные страдания провинциалов, позорное состояние римского уголовного суда; покойный властитель и пережившие его клеветы беспощадно отдавались в жертву гневу и насмешкам толпы. Восстановление полной власти трибунов, с которой свобода, могущество и счастье государства и нации казались связанными древними священными чарами, возвращение «строгих» всаднических судов, возобновление упраздненной Суллой цензуры для чистки высшего государственного учреждения от гнилых и вредных элементов ежедневно громко требовались ораторами народной партии.

Однако от этого дело не менялось. Скандала и шумихи было достаточно, но настоящий успех все же нисколько не был достигнут тем, что правительство поносили по заслугам и даже сверх того. Материальная сила, пока дело не дошло еще до военного вмешательства, оставалась в руках столичного гражданства, но тот «народ», который толкался на улицах Рима, избирал на форуме должностных

лиц и творил законы, сам был ничуть не лучше правящего сената. Правда, правительство должно было считаться с толпой там, где речь шла о ее собственных кровных интересах, поэтому и был восстановлен хлебный закон Семпрония. Но нечего было думать о том, чтобы эти граждане серьезно отнеслись к какой-нибудь идее или целесообразной реформе. Справедливо применяли к римлянам того времени слова Демосфена об афинянах: эти люди очень ревностны, пока стоят вокруг ораторской трибуны и выслушивают предложения реформ, но, вернувшись домой, никто не думает уже больше о том, что слышал на площади. Как ни раздували пламя демократические агитаторы, все усилия их были напрасны, потому что не было горючего материала. Правительство знало это, и в крупнейших принципиальных вопросах оно не шло ни на какие уступки; самое большее, что оно согласилось сделать, было объявление амнистии лицам, эмигрировавшим с Лепидом (682). Все сделанные уступки прошли не столько под давлением демократов, сколько благодаря посредничеству умеренных аристократов, однако из двух законов, проведенных в 679 г. единственным оставшимся в живых вождем этой партии, Гаем Коттой, во время его консульства, один закон, касавшийся судов, был отменен уже в следующем году, а второй, упразднявший постановление Суллы, что лица, исполнявшие обязанности трибуна, лишаются права занимать другие магистратуры, но оставлявший в силе прочие ограничения, вызвал, как и все полумеры, лишь недовольство обеих сторон. Партия реформистски настроенных консерваторов, лишившаяся вскоре вследствие преждевременной смерти Котты (около 681 г.) своего виднейшего вождя, все более и более приходила в упадок, сдавленная с двух сторон все резче обнаруживавшимися крайними тенденциями. А из этих двух направлений партия правительства, как бы она ни была плоха и слаба, разумеется, была в более выгодном положении, чем равным образом плохая и слабая оппозиция.

Но это выгодное для правительства положение изменилось, когда резче обнаружились разногласия между ним и теми из его сторонников, стремления которых не ограничивались почетным креслом в сенате и аристократической циллой. В первую очередь к ним принадлежал Гней Помпей. Правда, и он был приверженцем Суллы, но мы уже раньше указали, что плохо он ладил со своей партией, так как происхождение его, его прошлое и его надежды создавали преграду между ним и нобилитетом, щитом и мечом которого он официально считался. Это расхождение бесповоротно усилилось по время испанских походов Помпея (677—683). Правительство назначило его в коллеги настоящему представителю аристократии Квинту Метеллу неохотно и не совсем добровольно, а он со своей стороны обвинял сенат — и не без основания — в том, что его небрежное или злонамеренное невнимание к испанским армиям было причиной их пораже-

ний и поставило на карту судьбу всей экспедиции. Вернувшись теперь победителем над явными и тайными врагами и стоя во главе закаленной в боях и преданной ему армии, он требовал земельных наделов для своих солдат, а себе — триумфа и консульства. Последние требования противоречили закону. Помпей, хотя и облакавшийся уже неоднократно в чрезвычайном порядке высшей должностной властью, не занимал еще ни одной ординарной магистратуры, он не был даже квестором и все еще не состоял членом сената, между тем как консулом мог быть лишь тот, кто прошел всю лестницу ординарных должностей, а на триумф имели право только лица, облеченные обычной верховной властью. По закону сенат имел право ответить на притязания Помпея на должность консула указанием, что ему нужно сначала стать квестором, а на его требование о триумфе — напоминанием о великом Сципионе, который при таких же обстоятельствах отказался от триумфа над Испанией. В отношении обещанной им своим солдатам земли Помпей в силу конституции также зависел от доброй воли сената. Но если бы даже сенат уступил, что не было невозможно при его слабости даже в гневе, и дал бы победоносному полководцу за его услуги в борьбе с демократическими вождями триумф и консульство, а его солдатам земельные наделы, то и в этом случае счастливейшей участью, которую олигархия могла бы приготовить 36-летнему полководцу, было почетное обезличенье в сенаторской бездеятельности среди длинного ряда отставных сенатских «императоров». На то, чего он, собственно, жаждал, — чтобы сенат добровольно поручил ему командование в войне с Митридатом, — ему нечего было и надеяться; в своих собственных правильно понятых интересах олигархия не могла допустить, чтобы он к своей африканской и европейской славе присоединил еще трофеи третьей части света; обильная добыча и легкие лавры на Востоке предоставлялись исключительно родовитым аристократом. Так как прославленный полководец не находил поддержки у господствовавшей олигархии, а для чисто личной, откровенно династической политики не настало еще время, да и вся личность Помпея не подходила для этого, то ему не оставалось другого выбора, как вступить в союз с демократами. Никакие интересы не связывали его с сулланским режимом; при более демократическом строе он мог бы преследовать свои личные цели так же хорошо, если не лучше. Зато он находил в демократической партии все то, что ему было нужно. Энергичные и ловкие вожаки ее были готовы и способны снять с неумелого и неповоротливого героя бремя политического руководства, но они все же были слишком ничтожны, чтобы суметь, или хотя бы захотеть оспаривать у него первую роль, в особенности же должность главнокомандующего. Даже наиболее выдающийся из них, Гай Цезарь, был лишь молодым человеком, который приобрел известность в гораздо большей мере своей отвагой во время

скитаний и своими долгами, чем своим пламенным демократическим красноречием, и он был бы очень польщен, если бы прославленный император позволил ему быть его политическим адъютантом. Популярность, — а люди такого склада, как Помпей, притязания которых превышают их способности, придают ей большее значение, чем они готовы сознаться самим себе, — должна была в значительной мере выпасть на долю молодого полководца, своим присоединением обеспечивавшего победу почти проигранного дела демократии. Награда же, которой он требовал для себя и своих солдат, досталась бы ему сама собой. Казалось, что с падением олигархии, ввиду полного отсутствия у оппозиции других значительных вождей, определение дальнейшего положения Помпея будет зависеть лишь от него одного. И едва ли можно было сомневаться в том, что переход на сторону оппозиции командующего только что вернувшейся из Испании победоносной армии, целиком стоявшей еще в Италии, должен был повлечь за собой падение существующего строя. Правительство и оппозиция были одинаково бессильны; поскольку же последняя боролась бы уже не одними лишь речами, так как победоносный полководец готов был поддержать ее требования своим мечом, правительство было бы, несомненно, побеждено — быть может, даже без боя.

Таким образом, обстоятельства принуждали обе стороны к коалиции. Правда, недостатка во взаимной личной антипатии не было; победоносный полководец не мог полюбить уличных ораторов, а последние еще менее были рады приветствовать убийцу Карбона и Брута как своего вождя; тем не менее политическая необходимость — по крайней мере на время — взяла верх над моральными соображениями.

Но демократы и Помпей не одни заключили свой союз. И Марк Красс был в таком же положении, как Помпей. И он был сторонником Суллы, но его политика была направлена прежде всего на личные цели, а вовсе не служила господствовавшей олигархии; и он находился теперь в Италии во главе сильной и победоносной армии, с помощью которой он только что подавил восстание рабов. Ему оставался выбор — либо соединиться с олигархией против коалиции, либо вступить в коалицию; он избрал последний путь, бесспорно, более надежный. При его колоссальном богатстве и влиянии, которым он пользовался в столичных клубах, он и всегда был бы ценным союзником, но при данных условиях переход единственной армии, которую сенат мог бы противопоставить войскам Помпея, на сторону агрессивной силы означал огромный успех. К тому же демократы, которым был не по душе союз с всесильным полководцем, были не прочь создать ему в лице Марка Красса противовес и, быть может, будущего соперника.

Так состоялась летом 683 г. первая коалиция между демократа-

ми, с одной стороны, и двумя сулланскими полководцами — Гнеем Помпеем и Марком Крассом — с другой. Оба они признали партийную программу демократов; за это им обещано было избрание в консулы на следующий год, а Помпею — также триумф и земельные наделы для его солдат. Крассу же как победителю Спартака — хотя бы часть торжественного въезда в столицу.

Против обеих италийских армий, крупных капиталистов и демократии, соединившихся для свержения сулланского режима, сенат мог выставить только вторую испанскую армию под начальством Квинта Метелла Пия. Но Сулла правильно предсказал, что сделанное им не случится вторично: Метелл, не имея никакой охоты впутываться в гражданскую войну, распустил своих солдат тотчас же после перехода через Альпы. Таким образом, олигархии оставалось лишь подчиниться неизбежному. Сенат дал необходимое для избрания Помпея в консулы и устройства триумфа разрешение. Красс и Помпей, не встретив никакого противодействия, были избраны в консулы на 684 г., между тем как их войска, якобы в ожидании триумфа, расположились лагерем под городом. Еще до вступления в должность в созданном народным трибуном Марком Лоллием Паликаном народном собрании Помпей открыто заявил, что будет поддерживать демократическую программу. Тем самым изменение конституции было в принципе решено.

К упразднению сулланских учреждений приступили со всем усердием. Прежде всего получила свое прежнее значение должность трибунов. Помпей в качестве консула сам внес закон о возвращении народным трибунам их традиционных полномочий, в том числе и законодательной инициативы, — странный дар из рук человека, который более, чем кто-либо из находившихся в живых, способствовал отнятию у народа его старых прав.

Что касается судов присяжных, то постановление Суллы, чтобы присяжные избирались из списка сенаторов, было отменено, но это отнюдь не означало простого восстановления всаднических судов. Согласно новому закону Аврелия, коллегии присяжных должны были состоять на одну треть из сенаторов и на две трети из лиц, обладавших всадническим цензом, причем половина последних должна была набираться из представителей триб или так называемых эрарных (казначейских) трибунов. Последнее новшество было дальнейшей уступкой демократам, так как теперь хотя бы треть присяжных по уголовным делам косвенным образом избиралась трибами. Если же сенаторы не были совершенно устранены из судов, то причиной этого, по видимому, были отчасти связи Красса с сенатом, а отчасти присоединение сенатской партии центра к коалиции, в связи с чем и закон этот был предложен братом ее недавно умершего вождя, претором Луцием Коттой.

Не менее важна была и отмена установленной Суллой в Азии системы налогового обложения, также относящаяся, вероятно, к этому году. Наместнику Азии Луцию Лукуллу было дано указание восстановить введенную Гаем Гракхом систему откупов, благодаря чему крупным капиталистам возвращался этот важный источник доходов и могущества.

Наконец, была восстановлена и цензура. На выборах в цензоры, назначенных новыми консулами вскоре после вступления их в должность, были избраны, в явную насмешку над сенатом, оба консула 682 г., Гней Лентул Клодиан и Луций Геллий, устраненные сенатом от командования за неумелое ведение войны против Спартака. Понятно, что эти люди пустили в ход все средства, чтобы угодить новым властителям и досадить сенату. Из списка сенаторов было исключено не менее восьмой части их, целых 64 сенатора, — неслыханная до сих пор цифра, в том числе Гай Антоний, обвинявшийся уже однажды, но безуспешно Гаем Цезарем, и консул 683 г. Публий Лентул Сура, а также, по-видимому, еще многие из ненавистных ставленников Суллы.

Таким образом, в 684 г. Рим в основном вернулся к порядкам, существовавшим до сулланской реставрации. Опять столичная чернь кормилась за счет государственной казны, т. е. за счет провинций; должность трибуна по-прежнему давала всякому демагогу законное право нарушить государственный порядок; денежная аристократия, державшая в своих руках откупа и судебный контроль над наместниками, снова выдвинулась на первое место наряду с правительством, могущественная, как никогда еще; сенаторы опять трепетали перед приговором присяжных из всаднического сословия и порицанием цензора. Система Суллы, основавшая единодержавие знати на политическом уничтожении торговой аристократии и демагогии, была совершенно разрушена. За исключением некоторых второстепенных постановлений, которые были отменены лишь позднее, как, например, возвращение жреческим коллегиям права кооптации, из всех общих мероприятий Суллы остались в силе, с одной стороны, те уступки, которые он сам нашел нужным сделать оппозиции, как предоставление всем италикам права римского гражданства, а с другой стороны, меры, не имевшие узко партийной тенденции: так что против них не возражали и рассудительные демократы, — сюда относились, между прочим, ограничение вольноотпущенников, регулирование компетенции должностных лиц и материальные изменения в уголовном праве.

Относительно персональных вопросов, возбужденных подобным государственным переворотом, коалиция была гораздо менее единодушна, чем в вопросах принципиального порядка. Демократы, разумеется, не удовлетворялись одним только общим признанием их про-

граммы и также требовали теперь реставрации, но в своем духе: реабилитации памяти их умерших единомышленников, наказания убийц, возвращения изгнанников, отмены тяготевшей над их детьми политической дискриминации, возвращения конфискованных Суллой имений, возмещения убытков из имущества наследников и сподвижников диктатора. Таковы должны были, конечно, быть логические последствия полной победы демократии, но победа коалиции 683 г. далеко не была таковой. Демократия дала свое имя и программу, а перешедшие на ее сторону офицеры, и прежде всего Помпей, дали силу для осуществления этой программы, но они ни за что не могли дать своего согласия на такую реакцию, которая не только потрясла бы существовавший порядок до самого основания, но и обратилась бы в конечном счете против них самих, — ведь свежа еще была память о людях, кровь которых была пролита Помпеем, и о том, какими средствами Красс положил основание своему огромному богатству. Поэтому понятно, что коалиция 683 г. ничего не сделала для того, чтобы отомстить за демократов или хотя бы для реабилитации их, но в то же время это свидетельствует о слабости демократии. Едва ли можно считать исключением взыскание еще не внесенных или прощенных Суллой покупателям платежей за приобретение конфискованных имений, состоявшееся на основании особого распоряжения цензора Лентула. Хотя эта мера чувствительно задевала личные интересы многих приверженцев Суллы, она, в сущности, только санкционировала произведенные Суллой конфискации.

Дело Суллы было уничтожено, но этим был скорее поставлен, а не решен вопрос о том, что будет дальше. Коалиция, связанная лишь общей целью свержения режима реставрации, распалась, если не формально, то по существу, как только эта цель была достигнута. По вопросу же, куда теперь перенесется центр тяжести власти, подготавлилось, казалось, столь же быстрое, как и насильственное решение. Армии Помпея и Красса все еще стояли у ворот города. Помпей обещал, правда, распустить своих солдат после триумфа (декабрь 683 г.), но не выполнил этого, первоначально для того чтобы благодаря давлению, которое оказывала на столицу и на сенат стоявшая под городом испанская армия, беспрепятственно завершить государственный переворот; в таком же положении была и армия Красса. Причина эта уже более не существовала, но армии все еще не были распущены. Дело принимало такой оборот, как будто один из вступивших в союз с демократией полководцев установит военную диктатуру и заключит в оковы как олигархов, так и демократов. Но этим лицом мог быть только Помпей, Красс с самого начала играл в коалиции подчиненную роль; он должен был предложить свое вхождение в коалицию и даже своим избранием в консулы он был обязан главным образом гордому заступничеству Помпея, Помпей, значительно более силь-

ный, бесспорно, был господином положения; стоило лишь ему выступить, и он, казалось, стал бы тем, чем его инстинктивно считала толпа, — неограниченным господином могущественнейшего государства цивилизованного мира. Масса раболепствующих теснилась уже вокруг будущего монарха. Более слабые противники его искали опоры в новой коалиции. Красс, движимый обострившейся старой завистью к своему младшему, но настолько превзошедшему его сопернику, сблизился с сенатом и старался привлечь на свою сторону столичную толпу беспримерной щедростью, как будто ослабленная при помощи самого же Красса олигархия и вечно неблагодарная чернь могли еще оказать какую-нибудь помощь против ветеранов испанской армии. Одно время казалось, что дело дойдет до сражения между армиями Помпея и Красса у ворот столицы.

Однако демократы своей рассудительностью и изворотливостью отвратили эту катастрофу. И их партия, так же как и сенат и Красс, была заинтересована в том, чтобы Помпей не провозгласил себя диктатором; но демократические вожди, зная собственную слабость и характер могущественного противника, пытались действовать добром. У Помпея были все качества для того, чтобы завладеть короной, кроме самого главного — царственной смелости. Мы уже прежде характеризовали этого человека с его стремлением быть в одно и то же время честным республиканцем и властелином Рима, с его бесхарактерностью и путанными понятиями, с его податливостью чужим влияниям, скрывавшейся под показной самостоятельностью. Это было первое испытание, которому подвергла его судьба; он его не выдержал.

Предлог, под которым Помпей отказывался распустить свою армию, состоял в том, что он не доверяет Крассу и поэтому не может первым распустить солдат. Демократы уговорили Красса пойти в этом отношении навстречу коллеге и протянуть ему руку к примирению на глазах у всех. Помпей же они и публично и тайком настойчиво убеждали к двум его заслугам — победе над врагом и установлению мира между партиями — присоединить еще третью и самую крупную — обеспечение отечеству внутреннего мира и устранение грозившей опасности гражданской войны. Для достижения желанной цели были пущены в ход все средства, которые только могли подействовать на тщеславного, неловкого, колеблющегося человека, — и дипломатическая лесть, и театральная аппарат патриотического воодушевления, но важнее всего было то, что вследствие своевременной уступчивости Красса дела сложились так, что Помпею оставался лишь выбор — либо объявить себя тираном Рима, либо подчиниться. Итак, он, наконец, уступил и согласился распустить войско. Он не мог уже желать командования в войне с Митридатом, на достижение которого он, несомненно, надеялся, когда его выбирали в консулы на 684 г.,

так как в кампанию 683 г. Лукулл, казалось, действительно покончил с этой войной; принять же предложенное ему сенатом на основании семпрониева закона проконсульство в провинции он считал ниже своего достоинства, в чем ему последовал и Красс. Таким образом, когда Помпей после роспуска своих солдат в последний день 684 г. сложил с себя консульство, он на первое время совершенно отошел от политики и заявил, что будет впредь жить как рядовой гражданин, удалясь от дел. Он держал себя так, что ему оставалось лишь захватить корону, а так как он этого не хотел, ему не оставалось ничего, кроме жалкой роли отказавшегося от престола претендента.

Уход с политической арены человека, которому при данных условиях принадлежало первое место, немедленно привел к установлению такого же отношения политических сил, какое существовало в эпоху Гракхов и Мария. Сулла только закрепил власть сената, но не он даровал ее ему; поэтому власть эта и после падения воздвигнутых Суллой оплотов оставалась сперва за сенатом, хотя конституция, на основании которой он правил, была в основном гракховой конституцией, проникнутой враждебным олигархии духом. Демократия добилась восстановления гракховой конституции, но без нового Гракха это было тело без головы, а то, что ни Помпей, ни Красс не могли долго служить этой головой, было очевидно, и последние события сделали это еще более ясным. Таким образом, демократическая оппозиция, не имея вождя, который взял бы кормило в свои руки, должна была пока довольствоваться тем, что мешала правительству и раздражала его на каждом шагу. Но наряду с олигархией и демократией теперь снова приобрела значение партия капиталистов, которая во время последнего кризиса была в союзе с демократами; теперь же ее усердно старались привлечь на свою сторону олигархи, чтобы противопоставить ее демократии. Окруженные искательством обеих сторон, денежные тузы не преминули использовать преимущества своего положения и добились возвращения им постановлением народного собрания единственной из их прежних привилегий, которой они еще не вернули себе, а именно, выделенных в театре для всаднического сословия четырнадцати скамей (687). Вообще они, не порывая решительно с демократией, все же более склонялись на сторону правительства. Сюда относятся уже сношения сената с Крассом и его клиентелой; но хорошие отношения между сенатом и денежной аристократией были, по-видимому, установлены главным образом благодаря устранению в 686 г. способнейшего из сенаторских полководцев Луция Лукулла по настоянию тяжко оскорбленных им капиталистов от управления столь важной для них провинцией Азией.

В то время как столичные партии продолжали свою обычную распрю, которая не могла привести ни к какому результату, события на Востоке шли тем роковым путем, который мы описали выше; эти-то

события и довели до кризиса колеблющуюся политику столичного города. И сухопутная и морская войны приняли на Востоке неблагоприятный оборот. В начале 687 г. понтийская армия римлян была уничтожена, отступавшая из Армении находилась в полном расстройстве, все завоевания были утрачены, море было в полной власти пиратов, а вследствие этого цены на хлеб в Италии возросли настолько, что опасались настоящего голода. Правда, причиной этих бедствий были, как мы видели, с одной стороны, ошибки полководцев, а именно полная неспособность адмирала Марка Антония и чрезмерная смелость дельного вообще Луция Лукулла; с другой стороны, и демократия своими происками нимало содействовала разложению римской армии в Армении. Тем не менее правительство было, конечно, огульно сделано ответственным за все, что натворило и оно само и другие; разгневанная голодная толпа ждала только случая, чтобы рассчитаться с сенатом.

Решительный кризис наступил. Олигархия, хотя униженная и обезоруженная, не была еще отвергнута, так как ведение государственных дел все еще находилось в руках сената, но она должна была пасть, как только противники захватят руководство этими делами, в особенности же верховное военное командование, в свои руки, — и это было теперь возможно. Если бы в комиции было внесено предложение относительно другого и лучшего способа ведения сухопутной и морской войн, то при данном настроении граждан сенат, вероятно, не мог бы помешать его осуществлению; вмешательство же народа в эти важнейшие вопросы управления означало бы фактически устранение сената и передачу управления государством вождям оппозиции. Связь событий снова отдавала решение в руки Помпея. Уже более двух лет прославленный полководец жил в столице как частное лицо. Голос его редко был слышен в сенате или на форуме; в сенате его встречали неохотно, и он не имел там влияния, а бурные выступления партий на форуме пугали его. Когда же он появлялся перед народом, его всегда сопровождала вся свита знатных и мелких клиентов, и именно его манера торжественно держаться в стороне импонировала толпе. Если бы он, окруженный не померкшим еще ореолом своих необычайных успехов, вызвался теперь пойти на Восток, ему, без сомнения, были бы охотно вручены гражданами все требуемые им военные и политические полномочия. Для олигархии, видевшей в военно-политической диктатуре свою верную гибель, а в самом Помпее со времен коалиции 683 г. — своего злейшего врага, это был бы сокрушительный удар, но и демократической партии это не могло быть приятно. Как ни желала она положить конец господству сената, если бы это произошло в такой форме, то это было бы не столько победой демократов, сколько личной победой их могущественного союзника, который легко мог стать для демократической партии гораздо более

опасным соперником, чем сенат. Опасность, счастливо избегнутая несколько лет назад благодаря роспуску испанской армии и отставке Помпея, возникла бы снова в усиленной степени, если бы Помпей стал теперь во главе восточной армии.

На этот раз Помпей решил вмешаться или допустил, по крайней мере, чтобы другие это сделали за него. В 687 г. было предложено два законопроекта, один из которых кроме давно уже требуемого демократами увольнения отслуживших свой срок солдат азиатской армии постановлял отозвание ее главнокомандующего Луция Лукулла и замену его одним из консулов текущего года, Гаем Пизоном или Манием Глабрионом, а другой повторял и развивал составленный семь лет назад самим сенатом план освобождения моря от пиратов. Согласно этому закону, сенат должен был избрать из числа консуляров полководца, которому вручалось главное командование на всем Средиземном море от Геркулесовых столбов до понтийского и сирийского побережий, на суше же ему подчинялась, параллельно с римскими наместниками, вся береговая полоса шириной в 10 миль. Должность эта обеспечивалась за ним на три года. Ему предоставлялось назначить генеральный штаб, какого Рим никогда еще не видал, — 25 военачальников senatorского звания с преторскими инсигниями и преторской властью и два казначея с полномочиями квесторов, причем все они назначались единоличной волей главнокомандующего. Ему разрешалось выставить до 120 тыс. человек пехоты, 4 тыс. конницы, 500 военных судов, и для этой цели ему было предоставлено неограниченное распоряжение средствами провинций и подвластных государств; помимо того, ему немедленно передавались все имеющиеся военные суда и значительное войско.

Государственная казна как в Риме, так и в провинциях, а также казна зависимых общин должны были всегда быть к его услугам, и, несмотря на мучительные финансовые затруднения, ему немедленно выдавались из государственной казны 144 миллиона сестерциев.

Ясно, что этими законопроектами, в особенности тем, который касался экспедиции против пиратов, низвергалась власть сената. Правда, избранные народом ординарные магистраты были тем самым и полководцами римской общины, а чрезвычайные магистраты для того, чтобы сделаться полководцами, нуждались, по крайней мере на строгом основании закона, в утверждении со стороны граждан, однако, на замещение отдельных военных постов народ по закону не имел влияния, и лишь по предложению сената или одного из должностных лиц, имевших право занимать командный пост, комиции вмешивались иногда в это дело и даже предоставляли специальные полномочия. С тех пор как существовала римская республика, решающее слово здесь фактически принадлежало сенату, и это право его с течением времени получило окончательное признание. Демократия, правда,

посягнула и на него, но даже в самом серьезном из всех имевших место до того времени случае, а именно при передаче командования в Африке Гаю Марию в 647 г., должностному лицу, имевшему по закону право быть главнокомандующим, волей народа была поручена лишь определенная экспедиция. Теперь же гражданство должно было возложить на удобное ему частное лицо не только чрезвычайную высшую должностную власть, но даже им самим определенные полномочия. То, что сенат должен был избрать это лицо из числа консуляров, было лишь формальной уступкой, так как выбор предоставлялся ему только потому, что он не был, собственно, выбором, и перед лицом бурной и возбужденной толпы сенат не мог передать главное командование на море и на побережье никому другому, кроме Помпея. Однако еще опаснее этого принципиального отрицания власти сената было ее фактическое упразднение вследствие учреждения новой должности с почти неограниченными военными и финансовыми полномочиями. В то время как должность главнокомандующего ограничивалась обычно годовичным сроком, определенной провинцией, точно указанными военными и финансовыми средствами, за новой чрезвычайной должностью с самого начала обеспечивался трехлетний срок, не исключавший, разумеется, возможности дальнейшего продления; ей подчинялась большая часть провинций и даже сама Италия, до того времени всегда свободная от военной власти; солдаты, корабли, государственная казна отдавались в ее почти неограниченное распоряжение. Даже только что упомянутый исконный принцип государственного права римской республики, в силу которого высшая военная и гражданская должностная власть не могла никому вручаться без согласия народа, был нарушен в пользу нового главнокомандующего. Так как закон вперед предоставлял 25 помощникам, которых он себе берет, звание и полномочие преторов*, то высшая

* Чрезвычайная должностная власть (*pro consule, pro praetore, pro quaestore*) могла возникнуть согласно римскому государственному праву двояким образом. Она либо возникала на основании принципа, господствовавшего относительно служебной деятельности за пределами городской черты, в силу которого служба продолжалась до законного срока, а должностная власть — до прибытия преемника; это и есть самый древний, простой и наиболее частный случай. Иногда же она возникала таким путем, что соответствующие органы, а именно комиции и позднее, вероятно, сенат, назначали высшее должностное лицо, не предусмотренное конституцией, причем, хотя лицо это и было равноправно ординарному магистрату, но чрезвычайный характер его полномочий отмечался тем, что оно называлось лишь «исполняющим должность» претора или консула. Сюда относятся также лица, назначенные нормальным путем на должность квесторов, но впоследствии наделенные в чрезвычайном порядке властью преторов или даже кон-

должность римской республики подчинялась вновь созданной власти, найти подходящее имя для которой предоставлялось будущему, но которая, по существу, содержала уже в себе монархию. Этим законопроектом было положено начало полнейшему перевороту в существующем порядке.

Меры эти, принятые человеком, только что давшим такое поразительное доказательство своей слабости и половинчатости, изумляют нас своей решительностью и энергией. Тем не менее легко понять, почему Помпей действовал теперь решительнее, чем во время своего консульства. На этот раз речь шла не о том, чтобы немедленно выступить в роли монарха, а только о подготовке монархии чрезвычайными военными мерами, которые — как ни революционны ни были по существу — могли все же быть осуществлены в рамках существующей конституции и сразу приводили Помпея к его старой цели — командованию в войне против Митридата и Тиграна. В пользу отделения военной власти от сената говорил и ряд соображений практического порядка. Помпей не мог, конечно, забыть, что план подавления пиратства, составленный в том же самом духе, потерпел неудачу несколько лет назад вследствие плохого выполнения его сенатом, что исход войны в Испании подвергался крайней опасности вследствие отсутствия заботы об армии со стороны сената и вследствие

сулов (*quaestores pro praetore* или *pro consule*); в этом звании отправился, например, в 679 г. в Кирену Публий Лентул Марцеллин (*Sallust.*, *Hist.*, 2, 39; изд. Дитча), Гней Пизон в 689 г. — в Ближнюю Испанию (*Sallust.*, *Cat.*, 19), Катон в 696 г. — на Кипр (*Vell.*, 2, 45). Или же, наконец, чрезвычайная должностная власть возникала из принадлежавшего высшему должностному лицу права делегировать свои полномочия. Оставляя свою область или не имея по другой причине возможности исполнять свои обязанности по должности, он имел право назначать себе заместителя, который назывался тогда *legatus pro praetore* (*Sallust.*, *Jug.* 36, 37, 38) или же, если выбор его падал на квестора, *quaestor pro praetore*. Равным образом высший магистрат имел право, если у него не было квестора, поручать исполнение его обязанностей одному из своих сотрудников, который назывался тогда *legatus pro quaestore*; это наименование впервые, кажется, встречается на македонских тетрадрахмах Суры, военачальника, подчиненного наместнику Македонии (665—667). Но это противоречило сущности делегированной власти, и поэтому древнейшее государственное право не допускало, чтобы высшее должностное лицо, если оно имело возможность беспрепятственно исполнять свою должность, тотчас же по вступлении в нее наделяло высшей должностной властью одного или нескольких из своих подчиненных. Таким образом, назначенные проконсулом Помпеем *legati pro praetore* представляли собой нововведение и напоминали уже тех легатов, которые играли такую большую роль в эпоху империи.

беспорядочности финансового хозяйства. Он не мог не знать, как отнесется к нему, отщепенцу партии Суллы, большая часть аристократии и какая судьба предстояла ему, если бы он согласился отправиться на Восток в качестве полководца правительства с обычными полномочиями. Понятно поэтому, что в качестве первого условия принятия им командования он потребовал предоставления ему независимо от сената положения, и граждане охотно согласились на это. Весьма вероятно также, что Помпея принудило на этот раз к более быстрому образу действия его окружение, недовольное, разумеется, его отступлением за два года перед тем. Законопроекты об отзывании Лукулла и об экспедиции против пиратов были предложены народным трибуном Авлом Габинием, разоренным и морально опустившимся человеком, но ловким посредником, смелым оратором и храбрым солдатом. Заверения Помпея, что он вовсе не желает поста главнокомандующего в войне с пиратами и жаждет лишь покоя и отдыха, были, конечно, не серьезны, но смелый и энергичный клиент его, находившийся в дружественных отношениях с Помпеем и его близкими, отлично понимавший и дела и людей, вероятно, оказал значительное влияние на решение своего недальновидного и беспомощного патрона.

Как ни недовольны были втайне вожаки демократов, они не могли, однако, открыто выступить против законопроекта. Проведению этого закона они, по всей вероятности, ничем не могли помешать, и противодействие их привело бы лишь к открытому разрыву с Помпеем, что заставило бы его либо сблизиться с олигархией, либо вести чисто личную политику, не считаясь с обеими партиями. Таким образом, демократам оставалось только сохранить и на этот раз свой союз с Помпеем — хотя и лишенный содержания — и воспользоваться случаем, чтобы окончательно свергнуть сенат и перейти из оппозиции в правительство, предоставив остальное будущему и отлично известной бесхарактерности Помпея. Поэтому их вожаки — претор Луций Квинкий, тот самый, что за семь лет перед тем добивался восстановления власти трибунов, и бывший квестор Гай Цезарь — и поддерживали законопроекты Габиния.

Привилегированные классы были вне себя, притом не только нобилитет, но и торговая аристократия, увидевшая в столь коренном государственном перевороте опасность и для предоставленных ей законом преимуществ и снова признавшая в сенате своего подлинного покровителя. Когда трибун Габиний после внесения своих предложений появился в сенате, отцы города едва не задушили его собственными руками, не сообразив в своем усердии, к каким невыгодным для них результатам привел бы подобный метод убеждения. Трибун бежал на форум и стал сзывать толпу на штурм здания сената, но заседание было вовремя прервано. Консул Пизон, предводитель оли-

гархической партии, случайно попавший в руки толпы, наверное сделался бы жертвой народной ярости, если бы подоспевший Габиний не выручил его, чтобы не рисковать своим верным успехом из-за ненужных пока злодеяний.

Между тем озлобление толпы не улеглось и находило все новую пищу в высоких ценах на хлеб и множестве совершенно нелепых иногда слухов, например, что Луций Лукулл не то отдал в Риме под проценты деньги, полученные им для ведения войны, не то пытался с помощью этих денег отвлечь претора Квинкция от народного дела, или же, что сенат собирается приготовить «второму Ромулу», как называли Помпея, участь первого*, и т. п.

Тем временем наступил день голосования. Тесной толпой стоял народ на форуме; все здания, откуда можно было видеть ораторскую трибуну, были покрыты людьми до самой крыши. Все коллеги Габиния обещали сенату воспользоваться своим правом интерцессии. Но перед лицом бушующей толпы все молчали, кроме одного лишь Луция Требеллия, давшего самому себе и сенату клятву скорее умереть, чем уступить. Но как только он заявил протест, Габиний прервал голосование своих законопроектов и предложил собравшемуся народу поступить с его сопротивлявшимся коллегой так же, как было поступлено некогда по предложению Тиберия Гракха с Октавием, т. е. немедленно лишить его должности. Голосование состоялось, и начался подсчет голосов; когда первые 17 триб, вотум которых был оглашен, высказались за принятие закона, так что следующий утвердительный голос давал ему большинство, Требеллий, забыв свою присягу, малодушно отказался от интерцессии. Напрасно пытался после этого трибун Отон добиться, чтобы было сохранено по крайней мере начало коллегиальности и чтобы вместо одного главнокомандующего было избрано два; напрасно престарелый Квинт Катул, самый уважаемый человек в сенате, напрягая свои последние силы, убеждал, чтобы подчиненные военачальники не назначались главнокомандующим, а избирались народом. Отон не мог даже заставить беснующую толпу выслушать его; Катул добился этого только благодаря благоразумной предупредительности Габиния, и толпа в почтительном молчании внимала словам старца, однако и они не имели влияния на нее. Предложения Габиния получили силу закона без всяких изменений и со всеми деталями, а дополнительные пожелания Помпея также были немедленно и целиком одобрены.

Большие надежды возлагали в Риме на выезжавших к месту своего назначения обоих полководцев, Помпея и Глабриона. Цены на хлеб понизились до обычного уровня тотчас же после принятия габиниевых законов; это доказывает, какие ожидания связывались с гран-

* Согласно преданию, царь Ромул был разорван на части сенаторами.

диозной экспедицией и ее славным вождем. Надежды эти, как мы увидим далее, не только осуществились, но были даже превзойдены; море было совершенно очищено от пиратов в три месяца. Со времен войны с Ганнибалом римское правительство не выступало во внешней политике с такой энергией; в противоположность слабому и бездарному правлению олигархии демократическо-военная оппозиция блестяще доказала, что ее призванием является взять в свои руки управление государством. Антипатриотические и неловкие попытки консула Пизона помешать мелочными препятствиями мероприятиям Помпея для истребления пиратов в Нарбоннской Галлии только увеличивали озлобление граждан против олигархии и популярность Помпея; лишь благодаря его личному вмешательству народное собрание не лишило консула должности.

Тем временем смута на азиатском материке еще более усилилась. Глабрион, который должен был принять от Лукулла главное командование в войне с Митридатом и Тиграном, оставался в Передней Азии; различными воззваниями он подстрекал солдат против Лукулла, но в должность главнокомандующего не вступал, так что Лукулл был вынужден оставаться на своем посту. Против Митридата, конечно, не было ничего предпринято, и понтийская конница безбоязненно и безнаказанно занималась грабежом в Вифинии и Каппадокии. Для борьбы с пиратами Помпей также был вынужден отправиться со своим войском в Малую Азию; естественно было бы передать ему и командование в понтийско-армянской войне, к чему он сам давно стремился. Но демократическая партия в Риме, разумеется, не разделяла стремлений своего полководца и не брала на себя инициативы в этом вопросе. Весьма вероятно, что демократы склонили Габиния не поручать Помпею сразу командования и в войне против Митридата и в войне с пиратами, а передать первый из этих постов Глабриону; и теперь они никак не могли желать усилить и закрепить навеки исключительное положение и без того чересчур могущественного полководца. Сам Помпей, по своему обыкновению, держался пассивно, и возможно, что он действительно вернулся бы домой по выполнении возложенного на него поручения, если бы не случилось происшествие, совершенно неожиданное для всех партий.

Гай Манилий, человек пустой и ничтожный, перессорился, будучи народным трибуном, и с аристократией и с демократией благодаря своим неудачным законопроектам. В надежде укрыться под крылышком могущественного полководца, если он добудет для него то, чего он, как было всем известно, горячо желал, но не решался требовать, Манилий обратился к гражданам с предложением отозвать наместника Глабриона из Вифинии и Понта, а Марция Рекса из Киликии и передать эти должности, а также ведение войны на Востоке, по-видимому, на неопределенное время и во всяком случае с обширнейшими

полномочиями на заключение мира и союзов проконсулу морей и побережья наряду с его прежней должностью (начало 688 г.). На этот раз обнаружилось с полной ясностью, как расшатан был римский конституционный механизм, с тех пор как инициатива законодательства была передана в руки любого ничтожного демагога, а вынесение решения — неразумной толпе, что распространялось также на важнейшие вопросы управления. Предложение Манилия не понравилось ни одной из политических партий, однако оно почти не встретило серьезного сопротивления. Демократические вожаки просто не смели возражать против законопроекта Манилия по тем же причинам, которые заставили их помириться с габиниевым законом; они затаили свое недовольство и свои опасения и высказывались публично в пользу демократического полководца. Умеренные оптиматы поддерживали предложение Манилия, потому что после габиниева закона всякое сопротивление было бесполезно, и дальновидные люди уже тогда понимали, что правильной политикой для сената является сближение с Помпеем, чтобы при неизбежном разрыве между ним и демократами перетянуть его на свою сторону. Наконец, люди неустойчивые благословляли день, когда и они, казалось, могли иметь свое мнение и соответственно действовать, не порывая ни с одной из партий. Характерно, что Марк Цицерон впервые выступил на политической ораторской трибуне с защитой законопроекта Манилия. Одни лишь строгие оптиматы во главе с Квинтом Катулом не скрывали своих взглядов и выступали против этого предложения. Разумеется, оно было принято таким большинством голосов, которое почти равнялось единогласному решению, и приобрело силу закона. Помпей получил благодаря этому помимо своих прежних обширных полномочий управление важнейшими малоазийскими провинциями, так что в пределах римских владений почти не оставалось клочка земли, который не был бы ему подвластен, и ему было поручено ведение войны, о которой, как о походе Александра, можно было сказать, где и когда она началась, но не видно было, где и когда она кончится. За все время существования Рима такая власть никогда еще не сосредоточивалась в руках одного человека.

Законы Габиния и Манилия завершили борьбу между сенатом и популярями, начатую за 67 лет до того законами Семпрония. Если благодаря семпрониевым законам революционная партия конституировалась как политическая оппозиция, то с принятием законов Габиния и Манилия она превратилась из оппозиционной партии в правительственную. Величествен был момент, когда после бесплодной интерцессии Октавия была пробита первая брешь в существовавшем государственном строе, но столь же знаменателен был и тот день, когда с отставкой Требеллия пал последний оплот сенатского режима. Это чувствовалось обеими сторонами, и даже сердца апатичных

сенаторов дрогнули в этой борьбе не на жизнь, а на смерть. Однако борьба за изменение конституции окончилась все же совершенно другим и гораздо более жалким образом, чем она началась. Начал революцию благородный во всех отношениях юноша, а закончена она была дерзкими интриганами и демагогами самого худшего пошиба. Если, с другой стороны, оптиматы начали с обдуманного сопротивления, упорно защищая даже безнадежные позиции, то кончили они первой попыткой применения кулачного права, хвастливой слабостью и позорным нарушением присяги. Теперь было достигнуто то, что некогда казалось смелой мечтой: сенат перестал править. Но если бы старики, видевшие еще первые бури революции, внимавшие словам Гракхов, сравнили то время с настоящим, они нашли бы, что все изменилось за это время — страна и граждане, государственное право и военная дисциплина, жизнь и нравы; и тот, кто стал бы сравнивать идеалы гракховых времен с их осуществлением, мог лишь с болью улыбнуться. Но подобные размышления были делом прошлого. В настоящем же и, вероятно, в будущем свержение аристократии должно было считаться совершившимся фактом. Олигархи были похожи на совершенно распавшуюся армию, рассеянные отряды которой могут еще служить подкреплением для другого войска, но сами не могут уже ни оказать сопротивления, ни дать самостоятельного боя. Но одновременно с окончанием старой борьбы подготавливалась и новая — борьба обеих сил, находившихся до того времени в союзе для свержения аристократического государственного строя: демократической оппозиции и приобретающей все большую силу военной власти. Исключительное положение Помпея уже после габиниева закона, а еще более после закона Манилия, было несовместимо с республиканским строем государства. Закон Габиния, как вполне справедливо заявляли уже тогда его противники, назначал Помпея не адмиралом, а правителем государства, и не без основания один хорошо знакомый с восточными порядками грек называет его «царем царей». Когда, вернувшись с Востока после новых побед, с возросшей славой и полной казной, с готовыми к борьбе и преданными ему войсками, он протянет руку к короне, — кто остановит его? Быть может, бывший консул Квинт Катул созовет сенаторов на борьбу против первого полководца эпохи и его испытанных легионов? Или новый эдил Гай Цезарь поднимет городскую чернь, взоры которой он только что тешил своими 320 парами гладиаторов в серебряных латах? Вскоре придется снова укрываться на скалах Капитолия, чтобы спасти свободу, восклицал Катул. Не его вина была, что буря пришла не с Востока, как он думал, и что судьба, исполняя его пророчество буквально, чем он сам предвидел, занесла губительную непогоду несколько лет спустя из страны кельтов.



Глава IV

Помпей на Востоке

Мы уже раньше видели, как печально обстояли дела римлян на суше и на море, когда в начале 687 г. Помпей принял на себя ведение войны против пиратов с почти неограниченными полномочиями. Он начал с того, что разделил всю огромную подвластную ему область на 30 округов, поручив каждый из них одному из подчиненных ему военачальников, чтобы вооружать там корабли и отряды, обследовать берега, захватывать пиратские корабли или загонять их в устроенную засаду. Сам же он в самом начале года вышел в море с лучшей частью имевшихся военных судов, среди которых и на этот раз выделялись родосские, и очистил в первую очередь сицилийские, африканские и сардинские воды, чтобы прежде всего сделать возможным подвоз хлеба из этих провинций в Италию. Об очищении испанского и галльского побережий заботились тем временем его подчиненные. Тогда-то именно консул Гай Пизон и попытался помешать из Рима набору войск, который производил в Нарбоннской провинции легат Помпея Марк Помпоний. Чтобы положить конец этой неумной попытке и вместе с тем удержать в рамках закона справедливое раздражение толпы против консула, Помпей на время опять появился в Риме. Когда по истечении 40 дней западная часть Средиземного моря сделалась свободной для судоходства, Помпей с шестьюдесятью лучшими своими судами отправился в восточные воды и прежде всего в древнейший и главнейший центр пиратства — к берегам Ликии и Киликии. При вести о приближении римского флота не только исчезли из открытого моря пиратские ладьи, но и сильные ликийские

крепости Антикраг и Краг сдались без серьезного сопротивления. Не столько страх, сколько благоразумная снисходительность Помпея открыла ему ворота этих почти неприступных морских крепостей. Предшественники его распинали всех пленных пиратов, он же без колебаний давал всем пощаду и с необыкновенной снисходительностью обращался особенно с простыми гребцами, находившимися на захваченных разбойничьих ладьях. Одни лишь отважные киликийские морские царьки решились с оружием в руках отстоять от римлян хотя бы свои собственные воды; укрыв своих детей и жен в горных замках Тавра, они поджидали римский флот у западной границы Киликии на высоте Коракезион. Но обладавшие превосходным личным составом и снабженные всеми военными материалами суда Помпея одержали здесь полную победу. После этого он беспрепятственно высадился и начал брать штурмом и разрушать горные замки корсаров, по-прежнему предлагая им самим, в награду за изъявление покорности, свободу и жизнь. Вскоре большинство из них отказалось от продолжения безнадежной борьбы в своих замках и горах и согласилось сдаться. Спустя 49 дней после появления Помпея в восточных водах Киликия была покорена и война окончена. Быстрое подавление пиратства было большим облегчением для римлян, но здесь не было никакого подвига: со средствами Римского государства, отпущенными столь щедро, корсары так же мало могли померяться, как объединившиеся воровские банды большого города с правильно организованной полицией. Наивно было праздновать подобную карательную экспедицию точно победу. Но если сравнить ее с многолетним существованием и беспредельным ежедневным ростом этого зла, то понятно, что поразительно быстрое истребление страшных пиратов произвело на общество огромное впечатление, тем более что это было первое испытание централизованного в одних руках управления, и партии с любопытством выжидали, окажется ли оно лучше коллегиального. Около 400 кораблей и лодок, в том числе 90 настоящих военных судов, были частью захвачены Помпеем, частью выданы ему; всего было уничтожено до 1 300 разбойничьих кораблей, и, кроме того, стали жертвой пламени обильно наполненные арсеналы и склады флибустьеров. Погибли около 10 тыс. пиратов, более 20 тыс. были захвачены живыми, а начальник морских сил стоявшей в Киликии римской армии Публий Клодий и множество других лиц, увезенных пиратами и отчасти считавшихся давно уже умершими, были освобождены Помпеем. Летом 687 г., спустя три месяца после начала кампании, торговля и все сношения потекли нормальным образом, и вместо прежнего голода в Италии царило изобилие.

Досадный инцидент на острове Крите несколько омрачил, однако, этот успех римского оружия. На Крите уже второй год находился Квинт Метелл, занимавшийся завершением достигнутого им уже в

основном покорения этого острова, когда в восточных водах появился Помпей. Возможность столкновения была налицо, так как на основании габиниева закона власть Помпея параллельно с властью Метелла распространялась на весь растянутый в длину, но нигде не достигающий более 20 миль в ширину остров. Однако Помпей был настолько деликатен, что не назначил на этот остров своего полководца. Но сопротивлявшиеся еще критские общины, видевшие, с какой жестокостью наказывал Метелл их покорённых соотечественников, и слыжавшие, какие мягкие условия предлагал Помпей сдававшимся ему областям южной части Малой Азии, предпочли отправить к нему послов с единогласным изъявлением своей покорности, которое и было принято им в Памфилии, где он находился в то время. Вместе с критскими послами он отправил своего легата Луция Октавия, чтобы уведомить Метелла о заключении договоров и чтобы принять города. Разумеется, это был не товарищеский образ действий, но формальное право было целиком на стороне Помпея, и Метелл поступил безусловно неправильно, когда он, не признавая договор критских городов с Помпеем, продолжал обращаться с ними как с врагами. Напрасны были протесты Октавия, напрасно он вызвал из Ахайи — так как сам он прибыл без войска — Луция Сизенну, стоявшего там с отрядом войск Помпея. Метелл, не обращая внимания ни на Октавия, ни на Сизенну, осадил Элевтерну и взял штурмом Лаппу, где захватил самого Октавия, который был затем с позором отпущен, взятые же вместе с ним критяне были казнены. Так дело дошло до настоящих боев между войсками Сизенны, во главе которых после его смерти стоял Октавий, и Метелла; даже после того, как войска его были отправлены обратно в Ахайю, Октавий продолжал войну совместно с критянином Аристионом, и Гиерапитна, где они оба укрылись, была взята Метеллом только после упорнейшего сопротивления.

Таким образом, ярый оптимат Метелл начал на собственный страх настоящую междоусобную войну против демократического главнокомандующего. Насколько расстроены были римские государственные дела, видно из того факта, что эти столкновения привели только к язвительной переписке между обоими полководцами, несколько лет спустя опять мирно и даже «по-дружески» восседавшими друг около друга в сенате.

Во время этих событий Помпей находился в Киликии, готовя, как казалось, на следующий год поход против критян или, скорее, против Метелла; на самом же деле он дожидался случая для вмешательства в страшно запутанные дела на малоазийском материке. Остатки армии Лукулла, уцелевшие после понесенных потерь и роспуска фимбриевых легионов, стояли в бездействии на верхнем Галисе, в области трокмеров у границы Понтийского царства. Главнокомандующим все еще оставался Лукулл, так как назначенный его

преемником Глабрион по-прежнему медлил в Передней Азии. Так же бездействовали три легиона, расположенные в Киликии под начальством Квинта Марция Рекса. Все Понтийское царство опять было во власти царя Митридата, жестоко наказывавшего за измену ему как отдельных лиц, так и общины, перешедшие на сторону Рима, например город Евпаторию. Серьезного наступления против римлян восточные цари не предпринимали, — потому ли, что это вообще не входило в их планы, или же потому, как утверждали иные, что высадка Помпея в Киликии побудила царей Митридата и Тиграна воздержаться от дальнейших действий. Быстрее, чем мог ожидать Помпей, закон Манилия осуществил его тайные надежды: Глабрион и Рекс были отозваны, а наместничества понтийско-вифинское и киликийское с расположенными там войсками, а также ведение войны с Понтом и Арменией, с правом по собственному усмотрению решать вопросы войны и мира и заключать союзы с восточными династиями были переданы Помпею. Рассчитывая на большие почести и богатую добычу, Помпей охотно отказался от намерения проучить раздражительного и ревниво оберегавшего свои скудные лавры оптимата, оставил поход на Крит и дальнейшее преследование пиратов и назначил свой флот для поддержки наступления, задуманного им против понтийского и армянского царей. Но за этой войной на суше он все же отнюдь не потерял из виду и пиратства, все еще поднимавшего голову. Прежде чем покинуть Азию (691), он распорядился привести в готовность корабли, необходимые для действий против пиратов; по его предложению подобная же мера была принята в следующем году и в Италии, и сенат ассигновал для этого средства. Берега по-прежнему охранялись конными отрядами и небольшими эскадрами. Если же пираты и не были совершенно истреблены, что доказывается походами на Кипр в 696 г. и в Египет в 699 г., о которых будет рассказано дальше, то все же после экспедиции Помпея они никогда уже не поднимали так голову и не могли в такой мере вытеснить римлян с моря, как это имело место в правление разложившейся олигархии.

Немногие месяцы, оставшиеся до начала малоазийского похода, были использованы новым главнокомандующим для напряженной работы по дипломатической и военной подготовке этой кампании. К Митридату были отправлены послы, но скорее с целью разведки, чем для серьезного посредничества. При понтийском дворе надеялись, что парфянский царь Фраат согласится примкнуть к понтийско-армянскому союзу ввиду недавних значительных успехов, одержанных союзниками над Римом. Для противодействия этому были отправлены в Ктесифон римские послы, которым оказались весьма полезны внутренние смуты, раздиравшие армянский царствующий дом. Сын царя Тиграна, носивший то же имя, что и отец, восстал против него, — потому ли, что не мог дождаться смерти старика, или

потому, что подозрительность отца, стоившая уже жизни многим из его братьев, указывала ему на открытое восстание как на единственную возможность спасения, побежденный отцом, он бежал с несколькими знатными армянами ко двору Арсакида и интриговал там против отца. Отчасти благодаря ему Фраат предпочел принять от римлян награду за вступление в союз, предлагавшуюся ему обеими сторонами, а именно гарантированное присоединение Месопотамии, и возобновил с Помпеем договор, заключенный им с Лукуллом относительно границы по Евфрату, согласившись даже на совместные с римлянами действия против Армении.

Еще больше, чем содействием союзу между римлянами и парфянами, младший Тигран повредил царям Тиграну и Митридату тем, что восстание его вызвало расхождение между ними самими. Армянский царь подозревал, что тесть был замешан в предприятии своего внука, — мать младшего Тиграна, Клеопатра, была дочерью Митридата, — и если это и не привело к открытому разрыву, то все же добрые отношения между обоими монархами были испорчены как раз в тот момент, когда они в них более всего нуждались. В то же время Помпей энергично занимался подготовкой к войне. Союзным и подвластным азиатским общинам было предложено выставить обязательный для них контингент. Были выпущены воззвания к отпущенным ветеранам из легионов Фимбрии, приглашавшие их снова вернуться под знамена, и значительная часть их благодаря посулам и имени Помпея действительно последовала этому призыву. Все силы, объединенные под начальством Помпея, доходили, не считая вспомогательных отрядов союзных народов, приблизительно до 40—50 тыс. человек*.

Весной 688 г. Помпей выступил в Галатию, чтобы принять командование войсками Лукулла и двинуться с ними в Понтийское царство, куда должны были последовать за ним и киликийские легионы. Оба полководца встретились в Данале, в области трокмеров, но примирение, которого надеялись добиться их друзья, не было достигнуто. Первоначальные любезности вскоре перешли в язвительное объяснение, а последнее — в бурный спор, и оба расстались еще большими врагами, чем до встречи. Так как Лукулл продолжал делать подарки и раздавать земли, точно все еще находился в должности главнокомандующего, Помпей объявил недействительными все распоряжения своего предшественника, сделанные после его прибытия; формально

* Помпей разделил между своими солдатами и офицерами в качестве награды 384 млн сестерциев (т. е. 16 тыс. талантов; *Appian*, *Mithr.*, 116); так как офицеры получили 100 млн (*Plin.*, *N. N.*, 37, 2, 16), а рядовые солдаты по 6 тыс. сестерциев каждый (*Plin.*, *Appian*), то даже ко времени триумфа в войске насчитывалось около 40 тыс. человек.

он имел это право, но морального такта по отношению к заслуженному и больше чем достаточно оскорбленному противнику у него нечего было искать.

Как только позволило время года, римские войска перешли понтийскую границу. Царь Митридат стоял здесь перед ними с 30 тыс. человек пехоты и 3 тыс. всадников. Покинутый своими союзниками и атакованный Римом с удвоенными силами и энергией, он предпринял попытку добиться мира, но о безусловном подчинении, которого требовал Помпей, он не хотел и слышать — ведь и самая неудачная война не могла для него кончиться хуже. Для того чтобы не предоставить свое войско, состоявшее по большей части из стрелков и конницы, страшному удару римской линейной пехоты, он медленно отступал, заставляя римлян следовать за ним в его зигзагообразных переходах, и всюду, где представлялся для этого случай, противопоставлял неприятельской коннице свою, более сильную, а также причинял римскому войску немало лишений, затрудняя его снабжение. Потеряв терпение, Помпей отказался наконец от преследования понтийской армии и, оставив царя, принялся за покорение страны. Он двинулся к верхнему Евфрату, перешел его и вступил в восточные провинции Понтийского царства. Однако и Митридат последовал за ним на левый берег Евфрата и, придя в анаитскую, или акилизенскую, область, преградил римлянам путь вблизи укрепленного и хорошо снабженного водой замка Дастейра, откуда он со своими легкими частями господствовал над равниной. Помпей, все еще ожидавший киликийских легионов и недостаточно сильный, чтобы удержаться без них в этих условиях, должен был отступить через Евфрат и искать защиты от конницы и стрелков Митридата в лесистой, пересеченной скалистыми ущельями и глубокими долинами понтийской Армении. Лишь по прибытии войск из Киликии, получив возможность возобновить наступление с превосходными силами, Помпей двинулся вперед, окружил царский лагерь цепью своих постов длиной почти в 4 мили и подвергнул его здесь настоящей блокаде, между тем как римские отряды обошли всю область.

Велики были бедствия в понтийском лагере, пришлось уже заколоть лошадей. Наконец, по истечении 45 дней Митридат приказал своим солдатам умертвить больных и раненых, которых он не мог спасти и не хотел предать в руки врага, и в величайшей тишине выступил ночью на восток. Помпей осторожно следовал за ним по незнакомой стране; они приближались уже к границе, разделявшей владения Митридата и Тиграна.

Когда римский полководец понял, что Митридат не хотел решать борьбу в своих владениях, а намеревался увлечь за собой врага в безграничные пространства Востока, он решил не допустить этого. Оба

войска стояли лагерем близко одно от другого. Во время полуденного отдыха римское войско поднялось, не замеченное неприятелем, обошло его и заняло высоты, лежащие несколько впереди и господствующие над ущельем, где должен был пройти противник на южном берегу реки Лик (Ешил-Ирмак), недалеко от нынешнего Эндереса, где впоследствии был построен Никополь. На следующее утро понтийцы выступили по обыкновению и, предполагая, что враг находится позади, расположились по окончании дневного перехода лагерем в той самой долине, высоты вокруг которой были заняты римлянами. Внезапно в ночной тишине раздался страшный боевой клич легионов, и со всех сторон на азиатские полчища посыпался град стрел. Солдаты, обоз, телеги, лошади, верблюды смешались в кучу, и, несмотря на темноту, ни одна стрела римлян не пропала даром. Когда все стрелы были истрачены, римляне бросились с высот на ставшие видимыми благодаря взошедшей тем временем луне совершенно незащитные понтийские отряды; кто не погиб от руки врага, был задавлен в страшной давке копытами лошадей или колесами телег. Это было последнее сражение, в котором престарелый царь боролся с римлянами. С тремя спутниками — двумя из своих всадников и наложницей, всегда сопровождавшей его в мужском платье и храбро сражавшейся рядом с ним, — он бежал в крепость Синорию, куда последовала за ним и часть верных ему людей. Он разделил между ними сбереженные им здесь сокровища — 6 тыс. талантов золотом, — добыл яду для них и для себя и поспешил с оставшимся при нем отрядом вверх по Евфрату, чтобы соединиться со своим союзником, армянским царем.

Однако и эта надежда оказалась тщетной: союз, на который рассчитывал Митридат, направляясь в Армению, уже более не существовал. Во время только что описанной войны между Митридатом и Помпеем парфянский царь, по настоянию римлян, а в еще большей мере по настоянию бежавшего армянского принца, вторгся с вооруженной силой во владения Тиграна и принудил его удалиться в неприступные горы. Парфянская армия начала даже осаду столичного города Артаксаты; но так как осада затягивалась, то царь Фраат удалился с большей частью своих войск, после чего Тигран разбил оставшийся парфянский отряд и армянских эмигрантов, которыми командовал его сын, и восстановил свою власть во всем царстве. Понятно, что при таких обстоятельствах царь был мало склонен воевать с победоносными римлянами, а еще меньше — жертвовать собой для Митридата, которому он доверял меньше, чем когда-либо, особенно с тех пор, как до него дошло известие, что его непокорный сын предполагает отправиться к своему деду. Поэтому он начал с римлянами переговоры о сепаратном мире, но, не дожидаясь заключения договора, он расторгнул союз с Митридатом. Прибыв на армянскую границу,

Митридат узнал, что царь Тигран назначил за его голову награду в 100 талантов, захватил его послов и выдал их римлянам.

Царство Митридата было в руках врагов, союзники его собирались помириться с ними, продолжать войну было невозможно, и он должен был считать себя счастливым, если ему удастся бежать на восточный или северный берег Черного моря, вытеснить из Боспорского царства своего непокорного сына Махара, вступившего в союз с римлянами, и найти на Меотиде новое поприще для своих замыслов. Итак, он направился к северу. Когда Митридат перешел старую границу Малой Азии, реку Фасис, Помпей временно приостановил преследование его, но, вместо того чтобы вернуться к истокам Евфрата, он направился в сторону, в область Аракса, чтобы покончить с Тиграном.

Помпой дошел до окрестностей Артаксаты (недалеко от Еревана), не встречая почти никакого сопротивления, и разбил свой лагерь в трех милях от этого города. Здесь к нему присоединился сын царя Тиграна, надеявшийся после низложения своего отца получить армянскую корону из рук римлян и поэтому всячески старавшийся помешать заключению договора между Тиграном и римлянами. Ввиду этого и армянский царь решился добиться мира любой ценой.

Верхом и без пурпуровой одежды, но украшенный царской повязкой и тюрбаном, он появился у входа в римский лагерь и потребовал, чтобы его отвели к главнокомандующему. Отдав по указанию ликторов своего коня и меч — таков был порядок в римском лагере, — Тигран, по варварскому обычаю, бросился в ноги проконсулу и положил в его руки в знак безусловного подчинения свою диадему и тиару. Помпей, крайне обрадованный легкой победой, поднял униженного царя царей, снова украсил его знаками его сана и продиктовал ему условия мира. Помимо уплаты 6 тыс. талантов в военную казну и подарка солдатам, из которого каждому досталось по 50 денариев, царь возвращал все свои завоевания — не только финикийские, сирийские, киликийские и каппадокийские владения, но также Софену и Кордуэну на правом берегу Евфрата; он снова был ограничен собственно Арменией, и его роли великого царя наступил конец. В одну лишь кампанию Помпей окончательно покорил двух могущественных царей — понтийского и армянского. В начале 688 г. ни одного римского солдата не было по ту сторону старой границы римских владений, а в конце этого года царь Митридат скитался изгнанником, без войска, в ущельях Кавказа, а царь Тигран занимал армянский трон уже не в качестве царя царей, а в роли римского вассала. Вся Малая Азия к западу от Евфрата безусловно повиновалась римлянам, победоносная армия расположилась на зимние квартиры к востоку от этой реки, на армянской территории, между верхним Евфратом и рекой Курой, из которой италики впервые напоили тогда своих коней.

Но в стране, куда вступили теперь римляне, их ожидала новая борьба. Храбрые народы среднего и восточного Кавказа с раздражением смотрели на расположившихся на их земле пришельцев с далекого Запада.

Здесь, на плодородном и многоводном плоскогорье нынешней Грузии, жили иберийцы — храбрый, хорошо организованный земледельческий народ, чьи родовые округа, управляемые старшинами, возделывали землю общинами, не допуская частной собственности отдельных крестьян. Народ и войско составляли одно целое; во главе народа стояли частью аристократические роды, из которых старейший всегда был царем всего иберийского народа, следующий за ним по старшинству — судьей и полководцем, частью — выдающиеся священнические роды, в обязанности которых прежде всего входило сохранение памяти о договорах, заключенных с другими народами, и наблюдение за их выполнением. Масса же несвободных людей считалась крепостными царя.

На гораздо более низкой ступени культуры находились восточные соседи иберийцев — альбанцы, или аланы, жившие на нижнем течении реки Куры до самого Каспийского моря. Народ преимущественно пастушеский; они пасли свои многочисленные стада на роскошных полях нынешнего Ширвана; немногие же пахотные поля возделывались древней деревянной сохой, не имевшей железного сошника. У них не было денежных знаков, и далее ста они не считали. Каждое из их племен, которых насчитывалось 26, имело своего вождя и говорило на своем особом наречии. Значительно превосходя иберийцев своей численностью, альбанцы далеко не могли сравниться с ними мужеством. Оба народа сражались, впрочем, одинаковым образом: они употребляли преимущественно стрелы и легкие метательные копья, которые они часто, подобно индейцам, бросали на врагов в лесных засадах из-за деревьев или с их вершин; у альбанцев было также большое число всадников, часть которых по мидийско-армянскому образцу носила тяжелые латы. Оба народа жили посреди своих полей и пастбищ в сохраненной ими с незапамятных времен полной независимости. Кавказские горы как будто для того и воздвигнуты природой между Европой и Азией, чтобы служить барьером против наплыва народов. Здесь встретило некогда преграду оружие как Кира, так и Александра; теперь храброе население этой твердыни готовилось защищать ее и против римлян.

Встревоженные известием, что римский полководец собирается следующей весной перейти горы и преследовать понтийского царя по ту сторону Кавказского хребта, — а Митридат, по имевшимся сведениям, зимовал в Диоскуриаде (Искурия, между Сухум-Калэ и Анаклией), на Черном море, — альбанцы под предводительством своего князя Ороиза в середине зимы 688/689 г. перешли Куру и напали на

римское войско, разделенное для удобства снабжения на три больших отряда под начальством Квинта Метелла Целера, Луция Флакка и самого Помпея. Но Целер, на которого пришелся главный удар, сопротивлялся храбро, а Помпей, справившись с направленным против него отрядом, преследовал разбитых повсюду варваров до самой Куры.

Иберийский царь Арток держался спокойно и обещал римлянам мир и дружбу, но Помпей, извещенный о том, что он тайно вооружается, чтобы напасть на римлян во время движения через кавказские горные проходы, появился весной 689 г., еще перед возобновлением преследования Митридата, под стенами обеих крепостей — Гармозики (Горумзихи, или Армази) и Севсаморы (Цумар), лежавших несколько выше нынешнего Тбилиси на расстоянии не более полумили друг от друга и господствовавших над долиной Куры и ее притока Арагвы, а тем самым и над единственным проходом, ведущим из Армении в Иберию. Арток, застигнутый неприятелем, прежде чем он успел опомниться, поспешно сжег мост через Куру и отступил внутрь страны, продолжая в то же время переговоры. Помпей занял крепости и перешел вслед за иберийцами на другой берег Куры, надеясь принудить их этим к немедленному подчинению. Но Арток отступал все дальше и дальше, и когда он, наконец, остановился у реки Пелора, он сделал это не для того, чтобы сдаться, а чтобы сразиться с римлянами. Но иберийские стрелки не смогли устоять перед натиском легионов, и, увидев, что римляне перешли и через Пелор, Арток подчинился условиям победителя и выдал своих детей в качестве заложников.

Согласно заранее составленному плану, Помпей двинулся теперь через Сарапанский проход из долины Куры в долину Фасиса, а затем вдоль реки к Черному морю, где близ берега Колхиды его ожидал уже флот под начальством Сервилия. Но несерьезна была мысль и почти химерична цель, во имя которой римский флот и войско были направлены к сказочному колхидскому берегу. Только что совершенный тяжелый поход среди незнакомых, по большей части враждебных народов был пустяком в сравнении с тем, что еще предстояло. Если бы действительно удалось провести войско от устья Фасиса до Крыма среди воинственных и бедных варварских племен, по негостеприимным и незнакомым водам, вдоль берега, где местами горы отвесно спускаются в море, так что пришлось бы посадить солдат на суда; если бы удалось совершить этот поход, более трудный, быть может, чем походы Александра и Ганнибала, то в лучшем случае, что было бы достигнуто этим такого, что могло вознаградить за все труды и опасности? Правда, война не могла считаться оконченной, пока находился еще в живых старый царь; но мог ли кто поручиться за то, что действительно удастся захватить ту царственную добычу,

ради которой затевалась эта беспримерная охота? Не лучше ли было бы отказаться от предприятия, обещавшего так мало выгод и так много опасностей, хотя бы даже Митридат благодаря этому получил возможность снова разжечь войну в Малой Азии? Правда, многочисленные голоса в армии и еще больше в столице требовали, чтобы главнокомандующий во что бы то ни стало продолжал преследование Митридата, но голоса эти принадлежали либо горячим смельчакам, либо тем коварным друзьям, которые хотели любой ценой удержать могущественного победителя вдали от столицы, запутав его в бесконечные предприятия на Востоке. Помпей был слишком опытным и рассудительным офицером, чтобы упрямо стремиться к продолжению столь необдуманного предприятия, рискуя своей славой и своим войском; восстание альбанцев в тылу римской армии послужило ему поводом, чтобы отказаться от дальнейшего преследования царя и начать возвращение. Флоту было приказано крейсировать в Черном море, прикрывая северный берег Малой Азии от всякого неприятельского вторжения, и строго блокировать Боспор Киммерийский под угрозой смертной казни для всех капитанов торговых судов, которые нарушили бы эту блокаду. Сухопутные же войска Помпей не без больших трудностей провел через Колхиду и Армению к нижнему течению Куры и далее через эту реку на альбанскую равнину.

В течение ряда дней римскому войску пришлось двигаться при палящем зное по маловодной степи, не встречая врага; лишь на левом берегу реки Абант (вероятно, та же река, которая называлась иначе Алазоний, а ныне Алазань) римлянам преградило путь альбанское войско, предводительствуемое братом царя Ороиза Козесом. Включая и подкрепления, выставленные населением закавказских степей, войско это насчитывало до 60 тыс. человек пехоты и 12 тыс. всадников; тем не менее альбанцы вряд ли дали бы бой, если бы они не предполагали, что им придется сражаться с одной лишь римской конницей; но всадники были только выстроены впереди, когда же они отступили, за ними оказалась скрытой римская пехота. После короткого боя войско варваров было рассеяно по лесам, которые Помпей приказал окружить и поджечь. После этого альбанцы согласились заключить мир, а остальные племена, жившие между Курой и Каспийским морем, следуя примеру более могущественных народов, также заключили договоры с римским полководцем. Альбанцы, иберийцы и вообще все народности, жившие на южном склоне Кавказских гор и возле них, вступили, хотя бы временно, в зависимые отношения к Риму. Если же в длинный список народов, покоренных Помпеем, были внесены также народы, жившие между Колхидой и Меотидой, — колхи, соаны, гениохи, язиги, ахейцы, даже далекие бастарны, — то здесь, очевидно, слово «покорение» понималось весьма неточно. Кавказ еще раз обнаружил свое всемирно-историческое значе-

ние; подобно персидским и греческим завоеваниям, и римское нашествие нашло здесь предел.

Таким образом, царь Митридат был предоставлен самому себе и своей судьбе. Как некогда его предок, основатель Понтийского государства, впервые вступил в свое будущее царство, спасаясь от лазутчиков Антигона и сопровождаемый только шестью всадниками, так и теперь его правнук должен был переступить пределы своего царства, оставив позади себя завоевания своих предков и свои собственные. Но никому судьба не посылала так часто и капризно то крупнейшие удачи, то страшные потери, как старому синопскому султану. Быстро и непредвиденно меняется счастье на Востоке. Теперь, на склоне лет, Митридат мог каждую перемену в своей жизни принимать с той мыслью, что она только подготавливает новый переворот и что единственное и постоянное в мире — это вечные колебания судьбы. Ведь римское господство по самой природе было невыносимо для народов Востока, а Митридат во всех своих достоинствах и недостатках был истинным восточным царем; при слабости режима, установленного римским сенатом в провинциях, и при постоянных раздорах римских политических партий, грозивших перейти в гражданскую войну, Митридат, если бы ему удалось дожидаться своего времени, мог бы и в третий раз восстановить свое владычество. Именно потому, что он продолжал надеяться и строить планы, пока в нем таилась жизнь, Митридат до конца своих дней оставался опасным для римлян, — и теперь этот бежавший из своей страны старик был не менее опасен, чем в то время, когда он выступил с войском в несколько сот тысяч человек, чтобы отнять у римлян Элладу и Македонию. В 689 г. неутомимый старик с невероятными трудностями прибыл отчасти сухим путем, а отчасти морем из Диоскуриады в Пантикапейское царство, сверг с престола благодаря своему авторитету и численности своей дружины своего отпавшего сына Махара и вынудил его лишиться себя жизни. Отсюда Митридат еще раз попытался вступить в переговоры с римлянами; он просил вернуть ему его отцовское царство и изъявлял согласие признать верховную власть Рима и платить дань как вассал. Но Помпей отказался предоставить царю положение, при котором он возобновил бы свою старую игру, и требовал капитуляции.

Но Митридат не собирался сдаваться врагу, а составлял все новые и более обширные планы. Используя спасенные им сокровища и все средства оставшихся у него областей, он снарядил новую армию в 36 тыс. человек, вооруженную и обученную по римскому образцу и состоявшую частью из рабов, а также военный флот. Как передавали, он намеревался двинуться на запад через Фракию, Македонию и Паннонию, увлечь за собой в качестве союзников скифов в сарматских степях и кельтов на Дунае и с этой лавиной ринуться на Италию. В

этом замысле находили нечто грандиозное и военный план понтийского царя сравнивали с походом Ганнибала, но мысль, являющаяся гениальной в гениальном уме, становится нелепой в уме извращенном. Предполагавшееся Митридатом нашествие восточных народов на Италию было просто смешно и представляло собой лишь порождение бессильно фантазирующего отчаяния. Благодаря осторожности и хладнокровию своего полководца римляне избежали авантюры, какой было бы преследование увлеченного химерой противника для отражения в далеком Крыму нападения, которому — если оно не заглохнет само собой — все же еще можно было бы дать отпор у подножия Альп. И действительно, в то время как Помпей, не обращая внимания на угрозы бессильного исполина, занимался устройством порядка в завоеванных областях, судьба престарелого царя исполнилась и без его содействия.

Непомерные вооружения Митридата вызвали сильнейшее брожение среди населения Боспорского царства, у которого сносили дома, отпрягали от плуга и закалывали волов, чтобы добыть бревна и жилы для сооружения машин. Неохотно собирались в безнадежный итальянский поход и солдаты. Митридат постоянно был окружен недоверием и изменой; он не обладал даром внушать своим подданным чувства любви и преданности. Если в прежние годы его превосходный полководец Архелай был вынужден искать защиты в римском лагере, если во время лукулловых походов его довереннейшие командиры Диокл, Феникс, даже наиболее известные римские эмигранты перешли на сторону неприятеля, то теперь, когда звезда его померкла и старый, больной, озлобленный султан был доступен только для своих евнухов, измена еще быстрее следовала за изменой.

Первым поднял знамя восстания Кастор, комендант крепости Фанагории (на азиатском берегу, против Керчи); он объявил город независимым и выдал римлянам находившихся в крепости сыновей Митридата. Между тем как восстание распространялось среди боспорских городов, Херсонес (недалеко от Севастополя), Феодосия (Каффа) и другие города последовали за фанагорийцами, царь дал волю своей недоверчивости и жестокости. По доносу презренных евнухов распинали на кресте самых приближенных к нему людей; даже собственные сыновья царя не могли считать себя в безопасности. Тот из них, который был любимцем отца и которого он, вероятно, назначал в преемники себе, Фарнак, решил стать во главе мятежников. Шпионы, посланные Митридатом, для того чтобы арестовать его, и войска, отправленные против него, перешли на его сторону; отряд итальянских перебежчиков, быть может, лучший во всем митридатовом войске и именно поэтому наименее расположенный участвовать в авантюрном и особенно опасном для перебежчиков походе в Италию, целиком присоединился к Фарнаку; остальная часть войска и флота по-

следовала их примеру. После того как страна и армия покинули царя, столичный город Пантикапей открыл свои ворота мятежникам и выдал им старого царя, запертого в своем дворце.

С высокой стены своей крепости он умолял сына оставить ему, по крайней мере, жизнь и не обагрять рук кровью отца; но просьба эта не к лицу была человеку, чьи собственные руки были запятнаны кровью матери и только что пролитой кровью его невинного сына Ксифара, и Фарнак превзошел бездушной жестокостью и бесчеловечностью даже своего отца. Так как смерть была неизбежна, то Митридат решил хотя бы умереть по-своему; его жены, наложница и дочери — в числе их юные невесты египетского и кипрского царей — все должны были вкусить горечь смерти и осушить кубок с ядом прежде, чем он сам принял его, а когда яд не подействовал достаточно быстро, он подставил шею наемнику кельту Бетуиту для смертельного удара. Так умер в 691 г. Митридат Евпатор, на 68-м году от рождения, на 57-м своего царствования, через 26 лет после того, как он впервые выступил в поход против римлян. Труп его, который Фарнак в доказательство своих заслуг и своей верности послал Помпею, был, по его распоряжению, похоронен в царской гробнице в Синопе.

Смерть Митридата была для римлян равносильна победе; гонцы, сообщившие полководцу об этой катастрофе, появились в римском лагере под Иерихоном увенчанные лаврами, как будто действительно возвещая победу. В его лице сошел в могилу могучий враг, самый сильный из всех, которых римляне когда-либо встречали на одряхлевшем Востоке. Толпа чутьем понимала это: как некогда Сципион ставил победу над Ганнибалом выше падения Карфагена, так и теперь покорение множества восточных племен и царя Армении было почти забыто за смертью Митридата, и при торжественном въезде Помпея в Рим ничто не привлекало так взоров толпы, как изображения, представлявшие царя Митридата беглецом, ведущим на поводу своего коня, а потом падавшим замертво среди трупов своих дочерей. Как бы ни судили мы об этом царе, он является замечательной, в полном смысле слова, всемирно-исторической фигурой. Он не был гениальным, вероятно, не был даже богато одаренным человеком, но он обладал весьма ценным даром — умением ненавидеть, и благодаря этой ненависти он, если не с успехом, то с честью вел в продолжение полувека неравную борьбу с превосходными силами врагов. Еще более, чем его индивидуальность; значительна та роль, которую возложила на него история. В качестве предшественника национальной реакции народов Востока против западных пришельцев он открыл новую фазу в борьбе между Востоком и Западом, и сознание, что со смертью его борьба эта вовсе не оканчивалась, а лишь начиналась, не покидало ни побежденных, ни победителей.

Между тем Помпей, завершив в 698 г. войны с народами Кавка-

за, вернулся в Понтийское царство и овладел там последними еще оказывавшими сопротивление замками, которые для прекращения разбойничества срыл, а имевшиеся при замках колодцы были засыпаны обломками скал. Отсюда он двинулся летом 690 г. в Сирию, чтобы привести там в порядок дела.

Трудно дать наглядное изображение той разрухи, которая господствовала тогда в этой стране. Правда, армянский наместник Магadat очистил в результате похода Лукулла в 685 г. эти владения, и даже Птолеми, как ни хотелось бы им возобновить попытки своих предков присоединить сирийское побережье к своей державе, остерегались, однако, раздражать римское правительство оккупацией Сирии, тем более что оно все еще не разрешило вопроса о своих более чем спорных правах на Египет, а сирийские властители неоднократно ходатайствовали о признании их законными наследниками угасшего дома Лагидов. Однако хотя наиболее крупные государства и воздерживались пока от вмешательства в сирийские дела, страна гораздо более страдала от бесконечных и бесцельных распрей князей, разбойничьих рыцарей и городов, чем она могла бы пострадать от большой войны.

Фактическими господами царства Селевкидов были в то время бедуины, евреи и набатеи. Негостеприимная, безводная и безлесная песчаная пустыня, простирающаяся от Аравийского полуострова до самого Евфрата и по ту сторону его, достигающая на западе Сирийских гор и узкой береговой полосы, а на востоке богатых низменностей Тигра и нижнего Евфрата, — эта азиатская Сахара является родиной сынов Измаила. С той поры, с какой ведет свое начало предание, мы видим там «бедавина», «сына пустыни», раскидывающего свои шатры, пасущего верблюдов или же охотящегося на своем быстроногом коне то за родовым врагом, то за странствующим купцом. Сперва благодаря покровительству царя Тиграна, который пользовался ими для осуществления своих торгово-политических планов, а затем благодаря полному безвластию в сирийской земле эти дети пустыни распространились по всей северной Сирии; те же племена, которые благодаря соседству цивилизованных сирийцев усвоили первые начатки общественного порядка, играли здесь фактически первую роль в политике. Наиболее выдающимися из этих эмиров были: Абгар, вождь арабского племени марданов, поселенного Тиграном возле Эдессы и Карр, в верхней Месопотамии; затем, к западу от Евфрата, — Сампсикерам, эмир арабов Гемесы (Гемс), между Дамаском и Антиохией, и владетель сильной крепости Аретузы; Азиз — глава другой орды, кочевавшей в той же местности; Алкавдоний — князь рамбеев, вступивший в сношения еще с Лукуллом, и многие другие.

Наряду с этими царьками кочевников повсюду появились смель-

чаки, соперничавшие с детьми пустыни и в благородном промысле разбойничества даже превосходившие их. Таков был Птолемей, сын Меннея, быть может могущественнейший из этих сирийских разбойничьих рыцарей и один из богатейших людей того времени, господствовавший над областью итуреев (нынешних друзов), в долинах Ливана и на побережье и над лежащей к северу от нее массийской равниной с городами Гелиуполем (Баальбек) и Халкисом и содержавший на свой счет 8 тыс. всадников; таковы же были Дионисий и Кипир, владельцы приморских городов Триполиса (Тарабл) и Библа (между Тараблом и Бейрутом), и еврей Сила в крепости Лизии, возле Апамен на Оронте.

Напротив, на юге Сирии иудейское племя готовилось, казалось, в это время консолидироваться в политическую силу. Благодаря благочестивой и смелой защите древней иудейской национальной религии, которой угрожал нивелирующий эллинизм сирийских царей, род Хасмонеев, или Маккавеев, не только достиг постепенно наследственной власти и царских почестей, но эти царственные первосвященники стали также совершать завоевания на севере, востоке и на юге. Когда умер храбрый Александр Яннай (675), иудейское царство распространялось к югу по всей стране филистимлян до египетской границы, к юго-востоку — до Набатейского царства Петры, от которого Яннай оторвал значительные пространства на правом берегу Иордана и Мертвого моря, а к северу через Самарию и Декаполис до Генисаретского озера; он собирался уже занять здесь Птолемаиду (Акко), чтобы завоеваниями дать отпор нападениям итуреев. Побережье от горы Кармел до Ринокуры, включая и крупный город Газу, принадлежало иудеям; только Аскалон был еще свободен, так что некогда почти отрезанная от моря страна их могла теперь считаться одним из очагов пиратства. Даровитые властители из династии Хасмонеев, вероятно, понесли бы свое оружие еще дальше (тем более, что нашествие армян, как раз в тот момент, когда они приближались к границам Иудеи, было устранено от этой области вмешательством Лукулла), если бы рост этого своеобразного воинственного государства священников не был остановлен в самом зародыше внутренними раздорами. Религиозная обособленность и дух национальной независимости, сочетание которых создало царство Маккавеев, вскоре снова разъединились и даже вступили в конфликт между собой.

Укрепившаяся во времена Маккавеев иудейская ортодоксия, или так называемое фарисейство, поставила себе практической целью создание независимой от светской власти иудейской общины из ортодоксов всех стран света; видимой точкой опоры этой общины должен был служить налог в пользу иерусалимского храма, которым

были обложены все правоверные иудеи, а также религиозные школы и духовные суды, каноническим же главой — великий иерусалимский синедрион, восстановленный в начале эпохи Маккавеев и напоминавший по своей компетенции римскую коллегия понтификов.

Против этой ортодоксии, косневшей в богословском скудомыслии и в мелочной ритуальной обрядности, выступила оппозиция, получившая название саддукеев. Оппозиция эта была частью догматической, так как эти новаторы признавали только священное писание, а «преданию законоучителей», т. е. канонической традиции, приписывали лишь роль авторитета, но не канонического источника*, частью же и политической оппозицией, поскольку они вместо фаталистического упования на мощную помощь бога Саваофа учили ждать спасения нации от оружия мира сего и в особенности от внутреннего и внешнего усиления давидова царства, восстановленного в славную эпоху Маккавеев. Ортодоксы находили опору в духовенстве и в народной массе и боролись против злых еретиков со всем беспощадным ожесточением, с которым благочестие всегда борется за обладание земными благами. Новаторы, напротив, опирались на интеллигенцию, которой уже коснулось влияние эллинизма, на войско, где служило много писидийских и киликийских наемников, и на наиболее энергичных царей, которые боролись здесь с церковной властью, как тысячелетие спустя Гогенштауфены боролись с папством. Яннай твердой рукой сдерживал духовенство; при его двух сыновьях дело дошло до гражданской и братоубийственной войны (685 г. и следующий), вследствие того что фарисеи восстали против властного Аристобула и пытались достигнуть своих целей при номинальном правлении брата его, добродушного и слабого Гиркана. Эта распря не только остановила еврейские завоевания, но и дала иноземным народам случай вмешаться и достигнуть в южной Сирии господствующего положения.

Это удалось прежде всего набатеям. Этот удивительный народ часто смешивался со своими восточными соседями, кочующими арабами, но более, чем подлинным сыном Измаила, он приходился сродни арамеям. Арамеи, или, как их называли на Западе, сирийцы,

* Так, например, саддукеи отвергли учение об ангелах и духах. Большинство известных нам пунктов расхождения между фарисеями и саддукеями касается второстепенных ритуальных, юридических и календарных вопросов. Характерно, что торжествующие фарисеи внесли в список праздничных и памятных дней нации те дни, когда они одержали верх в отдельных диспутах или вытеснили из синедриона его еретических членов.

выслали в весьма раннюю пору из своих древнейших поселений возле Вавилона, вероятно в торговых целях, колонистов к северной оконечности Арабского моря; это и были набатеи, жившие на Синайском полуострове между Суэским заливом и Аилой и в окрестностях Петры (Вади-Муса). В их портах обменивались товары Средиземного моря на индийские; великий южный караванный путь от Газы к устью Евфрата и Персидскому заливу вел через набатейскую столицу Петру, роскошные и поныне еще горные дворцы и гробницы которой яснее свидетельствуют о набатейской культуре, чем полузабытое предание. Вожаки фарисеев, которым, как и всякому духовенству, победа их партии была дороже независимости и целостности страны, просили набатейского царя Арета о помощи против Аристобула, за что они обещали возвратить ему все отторгнутые у него Яннаем земли. Тогда Арет вступил в еврейское царство с 50 тыс. войска и вместе с примкнувшими к нему фарисеями осадил царя Аристобула в его столице.

При господстве кулачного права и распрей во всей Сирии, от одного конца до другого, больше всего страдали, конечно, крупнейшие города, как Антиохия, Селевкия, Дамаск, граждане которых не могли свободно заниматься ни земледелием, ни морской или караванной торговлей. Население Библа и Берита не было в силах охранять свои поля и свои корабли от итуреев, которые из своих горных и приморских замков одинаково тревожили их и на суше и на море. Жители Дамаска пытались оградить себя от нападений итуреев и Птолемея, отдавшись под власть более далеких царей — набатейского или иудейского. В Антиохии Сампсикерам и Азиз вмешивались во внутренние распри граждан, и этот большой греческий город едва не сделался уже тогда резиденцией арабского эмира. Это положение напоминает периоды бескорольевья в средневековой Германии, когда Нюрнберг и Аугсбург находили защиту не в королевском суде и законе, а исключительно в своих городских стенах. Нетерпеливо ждали сирийские купцы той сильной руки, которая возвратила бы им мир и безопасность сношений.

Впрочем, недостатка в законном властителе в Сирии не было; их было даже целых двое или трое. Принца Антиоха из династии Селевкидов Лукулл посадил правителем самой северной сирийской области Коммагены. Антиох Азиат, притязания которого на сирийский престол были признаны как сенатом, так и Лукуллом, после ухода армян вступил в Антиохию и был провозглашен там царем. Соперником его выступил третий царевич из дома Селевкидов, Филипп, и многочисленное население Антиохии, почти столь же подвижное и склонное к оппозиции, как население Александрии, а также несколько соседних арабских эмиров вмешались в семейную рас-

прю, как бы нераздельную с господством Селевкидов. Удивительно ли, что легитимность стала для подданных предметом насмешки и отвращения и что так называемые законные цари имели в стране еще меньшее значение, чем мелкие князьки и разбойничьи рыцари.

Для того чтобы создать порядок в этом хаосе, не требовалось ни гениальных идей, ни приложений значительной силы, но зато нужно было ясное понимание интересов Рима и его подданных, а также энергичное и последовательное насаждение и укрепление учреждений, признанных для этого необходимыми. Сенатская политика легитимности достаточно уронила себя; полководец, достигший власти благодаря оппозиции, не должен был руководиться династическими соображениями, он должен был исключительно позаботиться только о том, чтобы ни распри претендентов, ни алчность соседей не лишили в будущем Сирийское царство римской опеки. Но для этого имелось только одно средство: Римское государство через посредство поставленного им сатрапа должно было энергично захватить власть, давно уже фактически выпущенную из рук царями правящей династии — более по их собственной вине, чем благодаря внешним обстоятельствам. Так и случилось. На просьбу Антиоха Эпифана признать его законным властелином Сирии Помпей ответил, что он даже по просьбе подданных не возвратил бы власти царю, который не умеет ни сохранить ее, ни править государством, и что тем более не сделает этого вопреки их явно выраженному желанию. Этим письмом римского проконсула династия Селевка была низвергнута с престола, занимавшегося ею в течение 260 лет. Антиох вскоре после этого погиб из-за коварства эмира Сампсикерама, в качестве клиента которого он играл в Антиохии роль властелина, и с тех пор больше не было речи об этих призрачных царях и их притязаниях.

Однако для утверждения нового римского режима и для внесения в запутанные дела хоть какого-нибудь порядка необходимо еще было вступить в Сирию с вооруженной силой и припугнуть или подавить посредством римских легионов всех нарушителей общественного порядка, размножившихся здесь во время многолетней анархии. Еще во время походов в Понтийском царстве и на Кавказе Помпей обратил свое внимание на сирийские дела и поручал отдельным лицам и отрядам вмешиваться там, где это было необходимо. Авл Габиний — тот самый, который, будучи народным трибуном, добился отправки Помпея на Восток, — еще в 689 г. двинулся к Тигру, а оттуда через Месопотамию в Сирию, для того чтобы урегулировать запутанные отношения в Иудее. Осажденный со всех сторон Дамаск был также занят Лоллием и Метеллом. Вслед за этим в Иудею прибыл другой адъютант Помпея, Марк Скавр, чтобы ула-

дить постоянно возникавшие там новые распри. Луций Афраний, командовавший римскими войсками в Армении во время кавказского похода Помпея, также направился в верхнюю Месопотамию из Кордуэны (северный Курдистан) и, благополучно совершив опасный переход через пустыню, благодаря активной поддержке поселенных в Каррах греков, покорил арабов в Осроэне. Затем к концу 690 г. Помпей сам прибыл в Сирию*, где он пробыл до лета следующего года, действуя решительно, чтобы раз навсегда привести дела в порядок. Восстанавливая тот строй, который существовал в Сирии в лучшие времена господства Селевкидов, он устранил все самочинные власти, потребовал от разбойничьих рыцарей сдачи их замков, удалил арабских шейхов обратно в их пустыни и окончательно урегулировал дела отдельных общин. Для того чтобы заставить повиноваться этим строгим приказам, были наготове легионы, помощь которых оказалась в особенности необходимой против дерзких разбойничьих рыцарей.

Повелитель Лидии Сила, властелин Триполиса Дионисий и Библа Кинир были захвачены в их замках и казнены, горные и приморские крепости итуреев были срыты; Птолемей, сын Меннея, из Халкиды должен был заплатить за свою свободу и власть выкуп в размере 1 тыс. талантов. В остальном распоряжения нового властителя встречали по большей части беспрекословное повиновение.

Одни только иудеи колебались. Оба отправленных раньше посредника — Габиний и Скавр, получившие, как передают, крупную взятку, высказались в споре двух братьев Гиркана и Аристубула в пользу последнего, а царя Арета побудили снять осаду Иерусалима и вернуться на родину, причем на обратном пути он еще был разбит Аристубулом. Но Помпей, прибыв в Сирию, отменил распоряжения своих подчиненных и приказал иудеям возвратиться к их прежнему государственному строю с первосвященником во главе, который был признан сенатом в 593 г., и отказаться как от царской власти, так и от завоеваний, сделанных царями из дома Хасмонеев. Отмена царской власти была исходатайствована фарисеями, отправившими к римскому полководцу депутацию из 200 выдающихся лиц. Они сделали

* Зимой 689/690 г. Помпей провел еще вблизи Каспийского моря (*Dio*, 37, 7). В 690 г. он сперва покорил последние оказывавшие еще сопротивление замки в Понтийском царстве и затем медленно двинулся к югу, устанавливая всюду порядок. Что устройство Сирии началось в 690 г., подтверждается тем, что с этого года начинается сирийская провинциальная эра, и, кроме того, указаниями Цицерона о Коммагене (*Ad Q. fr.*, 2. 12, 2; ср. *Dio*, 37, 7). Зимой 690/691 г. главная квартира Помпея находилась, по-видимому, в Антиохии (*Joseph*, 14,3, 1,2, где разъясняется напутанное Низе в «Hermes», II, 471).

это не в интересах своего народа, а скорее в интересах римлян, которые, по существу дела, должны были и здесь вернуться к старым порядкам Селевкидов и не могли допустить существования в пределах своей державы завоевательной силы, какой было государство Янная. Аристобул не мог решить, покориться ли неизбежному или испытать судьбу с оружием в руках; он то казался готовым подчиниться Помпею, то намеревался поднять против римлян национальную партию среди иудеев. Когда, наконец, он сдался неприятелю, так как легионы стояли уже у ворот столицы, более энергичная или более фанатичная часть его армии отказалась повиноваться приказу несвободного в своих действиях царя. Столица сдалась римлянам, но этот фанатический отряд с бесстрашным упорством защищал кругую храмовую скалу в течение трех месяцев; наконец, римляне ворвались во время субботнего отдыха осажденных и овладели святилищем; все зачинщики этого отчаянного сопротивления, не павшие еще под мечами римлян, были отданы в руки ликторов. Так кончилась последняя попытка отпора во вновь присоединенных к Римскому государству областях.

Помпей завершил дело, начатое Лукуллом: Вифиния, Понт и Сирия, бывшие до тех пор формально самостоятельными государствами, были присоединены к римским владениям. Лишь со свержением господства сената и приходом к власти партии Гракхов была, таким образом, осуществлена замена непрочной системы клиентства непосредственным господством над важнейшими зависимыми областями, хотя необходимость этой замены была осознана более ста лет назад. Римляне приобретали на Востоке новые границы, новых соседей, новых друзей и противников. В число зависимых от Рима государств вступали теперь Армянское царство — последний остаток обширных завоеваний Митридата Евпатора, ставшее под управлением его сына и убийцы Фарнака римским подвластным государством; один только город Фанагория, властитель которого Кастор подал сигнал к восстанию против Митридата, был признан за это римлянами свободным и независимым.

Лишь относительно набатеев нельзя было похвастать такими же успехами. Царь Арет, повинувшись требованиям римлян, покинул, правда, Иудею, но Дамаск все еще находился в его руках и в Набатейское царство не вступал еще ни один римский солдат. Для покорения набатеев, или, по крайней мере, для того, чтобы показать новым соседям в Аравии, что теперь на Оронте и на Иордане повелевают римские орлы и что прошло то время, когда Сирию как землю, не имевшую хозяина, мог облагать данью всякий желающий, Помпей предпринял в 691 г. поход против Петры. Будучи задержан восстанием в Иудее, вспыхнувшим во время этого похода, он, одна-

ко, охотно предоставил проведение нелегкой кампании против расположенной среди пустыни набатейской столицы своему преемнику Марку Скавру, который вскоре оказался вынужденным вернуться ни с чем*. Ему пришлось ограничиться борьбой с набатеями в пустыне на левом берегу Иордана, где он мог опереться на иудеев, но успехи его были все еще очень незначительны. Наконец, ловкому иудейскому министру идумеянину Антипатру удалось убедить царя Арета купить себе у римского наместника гарантию всех своих владений, включая и Дамаск, уплатив ему за это денежную сумму. Это и был тот мир, в честь которого были выбиты Скавром монеты, изображавшие Арета держащим верблюда за узду и протягивающим римлянам масличную ветвь, стоя на коленях.

Но гораздо важнее этих новых отношений римлян к Армении, Иберии, Боспорскому и Nabатейскому царствам было то обстоятельство, что благодаря оккупации Сирии они оказались непосредственными соседями парфянского государства. Если римская дипломатия была так уступчива по отношению к Фраату, когда Понтийское и Армянское царства были еще целы, если и Лукулл и Помпей так охотно признавали тогда его права на владение территорией по ту сторону Евфрата, то теперь отношения нового соседа с Арсакидами резко обострились, и, если бы не свойственное царям умение забывать свои ошибки, Фраат мог бы вспомнить теперь предупреждение Митридата, что своим союзом с Римом против родственных государств парфянский царь лишь готовит гибель им, а затем и самому себе. Союз римлян с парфянами привел к поражению Армении, но после ее падения Рим, верный своей политической традиции, выступил в новой роли и стал покровительствовать униженному врагу в ущерб могущественному союзнику. Это сказалось уже в демонстративном предпочтении, оказанном Помпеем Тиграну перед его сыном, союзником и зятем парфянского царя, но было уже прямым оскорблением, когда вскоре после этого младший Тигран был до приказания Помпея подвергнут заключению со своей семьей и не был освобожден даже после того, как Фраат ходатайствовал об этом перед находившимся с ним в союзе полководцем. Но Помпей не ограничился этим. Кордуэна, на

* Орозий (6, 6) и Дион (37, 15), следуя, несомненно Ливию, рассказывают о том, как Помпей дошел до Петры и даже взял этот город и достиг Красного моря, но, по Плутарху, Помпей тотчас же по получении известия о смерти Митридата, которое дошло до него во время наступления на Иерусалим, вернулся из Сирии в Понт (Ромп., 41, 42), что подтверждает Флор (1, 39) и Иосиф Флавий (14, 3, 3, 4). Если же царь Арет упоминается в реляциях как побежденный Помпеем, то для этого достаточно было его отступления из-под Иерусалима по настоянию Помпея.

которую заявляли притязания как Фраат, так и Тигран, была по приказанию Помпея занята римскими войсками в пользу Армении, а владевшие этой областью парфяне были изгнаны из нее, и римляне преследовали их до самой Арбелы в Адиабене, причем не были даже предварительно выслушаны объяснения ктесифонского правительства (689). Еще серьезнее было то, что римляне, по-видимому, нисколько не были склонны уважать установленную договорами границу по Евфрату. Римские отряды, направлявшиеся из Армении в Сирию, неоднократно пересекали Месопотамию; арабский эмир Абгар из Осроэны был принят в римские клиенты на поразительно выгодных условиях; наконец, Огур в верхней Месопотамии, приблизительно между Низибисом и Тигром, в 50 милях к востоку от находившейся на территории Коммагены переправы через Евфрат, был объявлен восточным пределом римского владычества, вероятно косвенного, так как большая и плодороднейшая северная часть Месопотамии, а также Кордуэна были отданы римлянами Армянскому царству. Таким образом, границей между римлянами и парфянами стала вместо Евфрата великая сирийско-месопотамская пустыня, да и то лишь временно. Парфянским послам, настаивавшим на соблюдении договоров относительно границы по Евфрату, которые, впрочем, были, по-видимому, заключены только в устной форме, Помпей дал двусмысленный ответ, что владения Рима простираются столь же далеко, как и его право. Комментарием к этому заявлению являлись сомнительные сношения между римским главнокомандующим и парфянскими сатрапами Мидии и даже отдаленной области Элимаиды (между Сузианой, Мидией и Персией, в нынешнем Луристане).*

Наместники этой последней, гористой, воинственной и отдаленной области всегда стремились достигнуть независимого от парфянского царя положения, и тем более оскорбительным и угрожающим

* Мнение это опирается на рассказ Плутарха (Ромр., 36), подтверждаемый изображением положения сатрапа Элимаиды у Страбона (16, 744). Если же в перечне побежденных Помпеем стран и царей указываются также Мидия и ее царь Дарий (*Diodor, fr. Vat., 140; Appian, Mithr., 117*), то это только прикрасы, как и рассказы о войне Помпея с мидянами (*Vell., 2, 40; Appian, Mithr., 106, 114*) и походе его в Экбатану (*Oros., 6, 5*), которая едва ли просто спутана здесь со сказочным одноименным городом на горе Кармел. Мы имеем здесь дело с теми несносными преувеличениями, которые порождены широковещательными и нарочито двусмысленными реляциями Помпея и превращают его набег на гетулов в поход к западному берегу Африки (*Plutarch, Romr., 38*), неудачную экспедицию против набатеев — в завоевание города Петры и третейское решение вопроса о границах Армении — в установление государственной границы Римской державы по ту сторону Низибиса.

по отношению к парфянскому правительству актом было принятие Помпеем предложенного ему этим династом выражение покорности. Не менее знаменательно было и то, что титул «царя царей», который римляне до сих пор признавали за парфянским царем, в официальных сношениях был теперь заменен ими простым царским титулом. Это было в большей степени угрозой, чем только нарушением этикета. С того времени, как Рим вступил во владение наследием Селевкидов, казалось, будто там собираются вернуться при удобном случае к тем старым порядкам, когда весь Иран и туранские страны были подвластны Антиохии и не было еще Парфянского царства, а только парфянская сатрапия. Ктесифонский двор имел бы, таким образом, достаточно причин, чтобы начать войну с Римом; прологом ее и казалась война, объявленная Фраатом в 690 г. Армении из-за вопроса о границе. Но он не решился все же открыто порвать с римлянами в тот момент, когда грозный полководец стоял со своей мощной армией на границах Парфянского царства. Когда Помпей прислал уполномоченных для мирного решения спора между парфянами и Арменией, Фраат принял навязанное ему посредничество римлян и примирился с тем, что римские арбитры присудили Кордуэну и северную Месопотамию армянам. Вскоре после этого дочь его с сыном и мужем украсили собой триумф римского полководца. Парфяне трепетали перед римским могуществом, и если они не были покорены римским оружием, как понтийцы и армяне, то это объяснялось, по-видимому, только тем, что они не отважились вступить в борьбу с Римом.

Помпею предстояло еще заняться внутренним устройством вновь приобретенных областей и по возможности ликвидировать последствия тринадцатилетней опустошительной войны. Организационная работа, начатая в Малой Азии Лукуллом и состоявшей при нем комиссией и на Крите — Метеллом, была окончательно завершена Помпеем. Римская провинция Азия, включавшая в себя Мизию, Лидию, Фригию, Карию и Ликию, превратилась из пограничной области в центральную; вновь были учреждены провинция Вифиния и Понт, образованная из всего бывшего царства Никомеда и западной части прежнего Понтийского государства до Галиса и по ту сторону его; провинция Киликия, существовавшая и раньше, но теперь расширенная соответственно своему названию и включавшая Памфилию и Исаврию; провинция Сирия и провинция Крит. Правда, вся эта масса земель далеко не представляла собой римской государственной территории в современном смысле этого слова. Форма и порядок управления в основном остались прежние, только место бывших монархов занял Рим. Как и прежде, эти азиатские страны состояли из пестрой смеси государственных владений фактически или юридически автономных городских округов, светских и духовных княжеств и царств, которые были более или менее предоставлены самим себе во всем,

что касалось внутреннего управления, а вообще зависели то в более мягкой, то в более строгой форме от римского правительства и его проконсулов, так же как раньше от великого царя и его сатрапов.

Первое место среди этих зависимых династов, по крайней мере по рангу, занимал царь Каппадокии; владения его были расширены до самого Евфрата еще Лукуллом, пожаловавшим ему Мелитену (возле Малатии), а затем и Помпеем, отдавшим ему на западной границе некоторые отрезанные от Киликии округа, от Кастабалы до Дербы близ Икония, а на восточной границе — назначавшуюся сперва для армянского принца Тиграна область Софену на левом берегу Евфрата, против Мелитены, так что важнейшая переправа через Евфрат была целиком в руках этого государя.

Небольшая область Коммагена, между Сирией и Каппадокией, со столичным городом Самосата (Самосат) осталась в качестве зависимого царства за упомянутым уже Селевкидом Антиохом*; ему же были отданы важная крепость Селевкия (близ Бираджика), господствовавшая над южной переправой через Евфрат, а также полоса земли на левом берегу Евфрата. Таким образом, было предусмотрено, чтобы две важнейшие переправы через Евфрат и противолежащие территории на восточном берегу его находились в руках двух вполне зависимых от Рима династов.

Наряду с царями Каппадокии и Коммагены, но далеко превосходя их действительной мощью, в Малой Азии господствовал еще новый царь, Дейотар. Один из тетрархов жившего в окрестностях Песинунта кельтского племени толистобогов, призванный Лукуллом и Помпеем вместе с прочими мелкими римскими клиентами в ряды армии, Дейотар, в противоположность бессильным восточным властителям, столь блестяще доказал в этих походах свою преданность и энергию, что римские полководцы присоединили под названием Малоармянского царства к его галатскому наследию и к его владениям в богатой области между Амисом и устьем Галиса восточную половину прежнего Понтийского царства с портовыми городами Фарнакией и Трапезундом и Понтийскую Армению вплоть до колхидской и великоармянской границы. Вскоре он увеличил свои и без того значительные владения присоединением области кельтов, трокмеров, властителей которых он вытеснил. Таким образом, незначительный вассал стал одним из могущественнейших династов Малой Азии, которому могла быть доверена охрана важного участка римской границы.

* Тот факт, что этот Антиох вел якобы войну с Помпеем (*Appian, Mithr.*, 106, 117), трудно согласовать с договором, заключенным им с Лукуллом (*Dio*, 36, 4) и с его беспрепятственным пребыванием у власти; по-видимому, война эта выдумана только на том основании, что Антиох Коммагенский числился среди покоренных Помпеем царей.

Вассалами меньшего значения были остальные многочисленные галатские тетрархи, один из которых, трокмерский князь Богодиатар, получил от Помпея в награду за храбрость, проявленную в войне с Митридатом, бывший понтийский пограничный город Митридатион; далее, к ним относятся: пафлагонский царь Аттал, ведший свой род от древнего правящего дома Пилеменидов; Аристарх и другие мелкие владетели в Колхиде; Таркондимот, властвовавший в долинах Амана, в восточной Киликии; Птолемей, сын Меннея, продолжавший господствовать в Халкисе на Ливане; набатейский царь Арет в качестве повелителя Дамаска; наконец, арабские эмиры в областях по обоим берегам Евфрата — Абгар в Осроэне, которого римляне всячески старались вовлечь в свою сферу интересов, чтобы воспользоваться им как форпостом против парфян, Сампсикерам в Эмесе, Алхавдоний, повелитель рамбеев, эмир Бостры.

Сюда следует отнести также владык духовного сана, которые на Востоке часто повелевали целыми областями; римляне благоразумно воздерживались поколебать столь прочный на этой родине фанатизма авторитет их или хотя бы только изъять сокровища из храмов. Таковы были верховный жрец богини-матери в Пессинунте; два первосвященника богини Ма в каппадокийской Комане (на верхнем Саросе) и в одноименном понтийском городе (Гюменек возле Токата); оба они в своем крае уступали могуществом одному только царю и даже в гораздо более позднее время имели обширные владения с собственной юрисдикцией и по 6 тыс. храмовых рабов; первосвященником в Комане Понтийской Помпей назначил Архелая, сына носившего то же имя полководца, перешедшего от Митридата к римлянам. К числу духовных владык относились также верховный жрец Зевса Веназийского в каппадокийском округе Моримена, доходы которого равнялись 15 талантам в год; «первосвященник и повелитель» той области суровой Киликии, где Тевкр, сын Аякса, построил храм Зевса, управление которым перешло по наследству к его потомкам; «первосвященник и народный вождь» евреев, которого Помпей, после того как он снес стены столицы и царские сокровищницы и крепости в стране, снова поставил во главе народа, сделав ему строгое предупреждение о необходимости соблюдать мир и отказаться от стремления к завоеваниям.

Рядом с этими светскими и духовными владетелями находились городские общины, которые были отчасти организованы в крупные союзы, пользовавшиеся относительной самостоятельностью, как, например, благоустроенный и не принимавший никогда участия в предприятиях пиратов союз 23 ликийских городов; с другой стороны, многочисленные разрозненные общины, даже те из них, которым было гарантировано самоуправление, фактически находились в полной зависимости от римских наместников.

Римляне поняли, что, являясь представителями эллинизма и приняв на себя задачу охранять и расширять границы царства Александра на Востоке, они должны были прежде всего заботиться о развитии городской жизни, так как если города всюду являются носителями культуры, то антагонизм между Востоком и Западом особенно сильно сказался в противоречии между восточной военно-деспотической феодальной иерархией и эллино-италийским промышленно-торговым городским бытом. Как ни мало стремились вообще Помпей и Лукулл к нивелировке всех отношений на Востоке и как ни был склонен Помпей критиковать и изменять в частностях распоряжения своего предшественника, оба они сходились в признании необходимости содействовать подъему городской жизни в Малой Азии и Сирии. Владения Кизика, энергичная оборона которого остановила первое наступление Митридата в последнюю войну, были значительно расширены Лукуллом. Понтийской Гераклее были возвращены ее территория и порты, несмотря на то что она упорно сопротивлялась римлянам, и варварское обращение Котты с этим несчастным городом вызвало резкое порицание в сенате. Лукулл глубоко и искренно сожалел о том, что судьба лишила его счастья спасти Синоп и Амис от разрушения понтийскими и римскими солдатами; он сделал, по крайней мере, все, что мог, чтобы восстановить эти города, расширил их территорию, снова заселил их частью прежними жителями, толпами возвращавшимися по его приглашению на любимую родину, частью новыми колонистами эллинского происхождения и заботился также о восстановлении разрушенных зданий. Помпей принимал меры в том же направлении, но в еще большем масштабе. После победы над пиратами он, вместо того чтобы, по примеру своих предшественников, казнить пленных, число которых превышало 20 тыс., поселил их частью в опустевших городах киликийской равнины, как Маллос, Адана, Эпифания, и особенно в Солах, получивших с тех пор название города Помпея (Помпейополь), частью — в Димах, в Ахайе и даже в Таренте. Эта колонизация страны пиратами многими осуждалась*, так как она в известной степени назначала как бы награду за преступления; в действительности же мероприятие это было вполне правильно как с политической, так и с нравственной точки зрения, ибо в условиях того времени пиратство было несколько отлучено от разбоя, и с пленными пиратами по справедливости следовало поступать по военным законам.

* К этому и относится, по-видимому, упрек Цицерона: «pirates immunes hebemus, socios vectigales» (De off., 3, 12, 49), поскольку эти колонии пиратов были, должно быть, освобождены Помпеем от обложения, между тем как известно, что зависимые от Рима провинциальные общины были обычно обязаны платить налоги.

Но прежде всего Помпей заботился о развитии городской жизни в новых римских провинциях. Мы указывали уже, как бедно было городами Понтийское царство; в большинстве округов Каппадокии даже спустя столетие не было городов, а существовали только горные крепости, служившие убежищем для земледельческого населения во время войны; то же самое было, вероятно, в эту пору и во всей восточной части Малой Азии, если не считать редких греческих колоний на побережье. Число городов, основанных Помпеем в этих странах, включая и киликийские поселения, равнялось, как сообщают источники, тридцати девяти, причем многие из них достигли высокой степени процветания. Важнейшими из этих городов в бывшем Понтийском царстве были: Никополь, «город победы», основанный на том месте, где Митридат потерпел последнее, решительное поражение, — лучший памятник богатому трофеями полководцу; Мегалополь (впоследствии Себастия, ныне Сивас), названный так по прозвищу Помпея Великого и расположенный на границе Каппадокии и Малой Армении; Зиела, где произошло несчастное для римлян сражение, — это поселение, возникшее вокруг находившегося там храма Анаиты и принадлежавшее до той поры верховному жрецу ее, получило от Помпея городское устройство и права; Диополь, прежняя Кабира, позднейшая Неокесария (Никсар), где также происходила одна из битв в минувшую войну; Магнополь, или Помпейополь, прежняя Евпатория, при слиянии Лика с Ирисом, первоначально построенная Митридатом, но разрушенная им за переход на сторону римлян; наконец, Неаполь, бывший Фаземон, между Амасией и Галисом. Основание большинства этих городов не было делом пришедших из далеких стран колонистов, а результатом сноса деревень и поселения их жителей за вновь построенными городскими стенами; только в Никополе Помпей поселил инвалидов и пожилых солдат из своей армии, предпочитавших немедленно создать себе здесь родной очаг, вместо того чтобы искать его позднее в Италии. Но и в других местах возникали по мановению властелина новые центры эллинской цивилизации. В Пафлагонии третий Помпейополь был построен на том месте, где войско Митридата одержало в 666 г. большую победу над вифинянами. В Каппадокии, пострадавшей от войны едва ли не больше, чем какая-либо другая область, Помпеем были восстановлены резиденция Мазака (позднее Кесария, нынешняя Кейсарие) и семь других поселений, и все они получили городские учреждения. В Киликии и Келесирии насчитывалось 20 основанных Помпеем городов. В оставленных иудеями округах по приказанию Помпея восстала из развалин Гадара в Декаполе и был вновь построен город Селевкида. Большая часть государственных земель на азиатском материке была, очевидно, использована Помпеем для этих новых поселений, между тем как на Крите, о котором он либо мало, либо вовсе не заботился, рим-

ские государственные владения по-прежнему оставались довольно обширными.

Не меньшее внимание, чем основанию новых городов, уделял Помпей делу устройства и поднятия существующих уже общин. Укоренившиеся злоупотребления и захваты были по возможности устранены, подробные, заботливо составленные для каждой отдельной области положения регулировали все частности их городского строя. Ряду крупнейших городов были предоставлены новые привилегии; автономию получили Антиохия на Оронте, самый значительный город римской Азии, лишь немногим уступавший египетской Александрии и городу Селевкии в Парфянском царстве, этому античному Багдаду; далее, соседний с Антиохией город Селевкия Пиерийская, награжденная таким образом за свое мужественное сопротивление Тиграну; затем Газа и все вообще города, освобожденные от иудейского господства; Митилена в Передней Азии, Фанагория на Черном море.

Таким образом, было завершено созидание Римского государства в Азии, живо напоминающее своими ленными царями и вассалами, своими жрецами, облеченными царской властью, и целым рядом свободных и полусвободных городов Священную Римскую империю германской нации. В нем не было ничего чудесного ни по преодоленным трудностям, ни по достигнутым результатам, несмотря на все громкие слова, которые в Риме аристократия расточала в пользу Лукулла, а шумная толпа — во славу Помпея. В особенности Помпей давал себя чествовать и сам себя восхвалял таким образом, что его можно было счесть еще более недалеким, чем он был на самом деле. Если Митилена соорудила ему памятник как своему основателю и освободителю, как тому, кто покончил с войнами, раздиравшими весь мир на суше и на море, то подобные почести не были, может быть, чрезмерны по отношению к победителю пиратов и государств Востока. Но римляне превзошли на этот раз греков. В триумфальных надписях Помпея говорилось о 12 млн покоренных душ и 1 358 завоеванных городах и замках — казалось, что количество должно было заменить качество, — и круг его побед раздвигался от Меотиды до Каспийского, а отсюда до Красного моря, причем он никогда не видал ни одного из этих трех морей; кроме того, если он и не говорил этого прямо, то все же давал толпе повод думать, что присоединение Сирии, которое несколько не было геройским подвигом, отдаст римской державе весь Восток вплоть до Бактрии и Индии, — в такой туманной дали исчезала в его сообщениях пограничная линия его восточных завоеваний. Демократическое раболепие, всегда успешно соперничающее с придворным, охотно поддавалось этому безвкусному обману. Ему недостаточно было пышного триумфального шествия, проследовавшего 28 и 29 сентября 693 г., в 46-ю годовщину дня рождения Помпея Великого, по улицам Рима и украшенного, не говоря

уже о всякого рода драгоценностях, знаками царского достоинства Митридата и присутствием детей трех могущественнейших царей Азии — Митридата, Тиграна и Фраата. Римляне наградили царскими почестями своего полководца, победившего 22 царя, и поднесли ему золотой венок и знаки достоинства пожизненной магистратуры. На вычеканенных в честь Помпея монетах изображен земной шар среди тройных лавров, принесенных из трех частей света, а над ним парит золотой венец, которым римский народ почтил победителя Африки, Испании и Азии. Неудивительно, что при таких ребяческих чествованиях раздавались голоса и в противоположном духе. В аристократическом римском обществе утверждали, что действительная заслуга покорения Востока принадлежит Лукуллу и что Помпей отправился в Азию лишь для того, чтобы вытеснить Лукулла и украсить свое чело лаврами, добытыми чужой рукой. И то и другое было ложно; не Помпей, а Глабрион был послан в Азию, чтобы сменить Лукулла, и, как ни храбро сражался Лукулл, однако, когда Помпей принял на себя верховное командование, римляне утратили уже все свои прежние завоевания и не владели ни одной пядью понтийской земли. Более попадали в цель насмешки римлян, не преминувших придать могущественному победителю вселенной в качестве клички имени покоренных им великих держав и называвших его то «победителем Салема», то «эмиром» («арабарх»), то «римским Сампсикерамом». Но беспристрастная оценка не может согласиться ни с указанными преувеличениями, ни с этими насмешками. Лукулл и Помпей, покоря Азию и создавая в ней порядок, не проявили себя ни героями, ни созидателями царств, а лишь проникательными и энергичными полководцами и наместниками. В качестве главнокомандующего Лукулл обнаружил незаурядные дарования и граничившую с отвагой самоуверенность, а Помпей — понимание военной обстановки и редкую осторожность, и едва ли какой-либо другой генерал при таких военных силах и таком независимом положении действовал с такой осмотрительностью, как Помпей на Востоке. Блестящие задачи как бы сами собой представлялись ему со всех сторон: он мог бы двинуться к Боспору Киммерийскому и Красному морю; у него были поводы к объявлению войны парфянам; восставшие области Египта приглашали его свергнуть с престола непризнанного Римом царя Птолемея и привести в исполнение завещание Александра. Но Помпей не пошел ни в Пантикапей, ни в Петру, ни в Ктесифон, ни в Александрию, — он срывал повсюду лишь те цветы, которые сами падали в его руки. Равным образом, он вступал во все свои сражения как на суше, так и на море, только обеспечив себе подавляющее превосходство сил. Если бы эта умеренность вытекала из строгого соблюдения данных ему инструкций, как утверждал Помпей, или даже из того убеждения, что римские завоевания должны же где-нибудь найти предел и что

дальнейшее расширение владений не принесет пользы государству, то она заслужила бы высшей похвалы, когда-либо произнесенной историей самому даровитому военачальнику; но сдержанность Помпея, без сомнения, была лишь результатом свойственного ему недостатка инициативы и уверенности в себе, хотя в данном случае эти недостатки оказались более выгодны для государства, чем противоположные качества его предшественника. Все же и Лукуллом и Помпеем были сделаны очень серьезные ошибки. Лукулл сам пожал и плоды их, так как его неосторожный образ действий лишил его всех результатов побед; Помпей же предоставил своим преемникам нести последствия его ложной политики относительно парфян. Он мог либо воевать с ними, если бы у него хватило на это смелости, либо жить с ними в мире и соблюдать, как он обещал, границу по Евфрату; но для первого образа действий он был слишком нерешителен, а для второго — слишком тщеславен и, таким образом, дошел до неумного коварства, путем невыносимых выпадов сделав невозможными добрососедские отношения, которых желал и не нарушал ктесифонский двор, а с другой стороны, давая врагу возможность выбрать время для разрыва и возмездия. Лукулл приобрел как правитель Азии более чем царское состояние; и Помпей также получил большие суммы наличными деньгами и еще большие — долговыми обязательствами от каппадокийского царя, от богатого города Антиохии и других владетелей и общин в награду за создание у них порядка. Подобные вымогательства стали в эту эпоху почти получившим силу обычая налогом, и оба полководца были доступны подкупу в вопросах второстепенного значения и по возможности брали деньги только с той партии, чьи интересы совпадали с римскими. Несмотря на это, управление этих двух людей можно признать по тем временам сравнительно хорошим и служившим прежде всего интересам Рима, а затем и провинциалов. Превращение клиентов в подданных, лучшее установление восточной границы, создание единообразного и сильного управления были выгодны и для правителей и для управляемых. Финансовые приобретения Рима были неисчислимы; новый имущественный налог, который должен был уплачиваться Риму всеми этими царями, жрецами и городами, за исключением отдельных, особо освобожденных общин, увеличил римские государственные доходы почти наполовину их прежней суммы. Правда, Азия тяжело пострадала. Помпей внес в государственную казну деньгами и драгоценностями 200 млн сестерциев и распределил между своими офицерами и солдатами 16 тыс. талантов; если прибавить сюда значительные суммы, привезенные Лукуллом, неофициальные вымогательства римских войск и собственно военные убытки, то станет понятным финансовое истощение страны. Налоговое обложение, введенное в Азии римлянами, само по себе было, может быть, не тяжелее налогов прежних прави-

телей, но оно составляло большое бремя для страны, потому что все сборы вывозились за границу и лишь небольшая часть их расходовалась в Азии. Во всяком случае налоговая система как в старых, так и во вновь приобретенных провинциях была основана на систематической эксплуатации этих областей в пользу Рима. Но ответственность за это гораздо меньше падает лично на полководцев, чем на столичные партии, с которыми они должны были считаться. Лукулл, например, энергично старался положить предел ростовщичеству римских капиталистов в Азии, и падение его в значительной мере было вызвано этим обстоятельством. Насколько Лукулл и Помпей желали восстановить пришедшие в упадок области, показывает та сторона их деятельности, где им не связывали рук соображения партийной политики, а именно их забота о малоазийских городах. Если даже спустя столетия развалины многих азиатских деревень напоминали об эпохе великой войны, то Синопа могла считать новую эру с года своего восстановления Лукуллом, а почти все значительные города внутренней части Понтийского царства могли с благодарностью поминать Помпея как своего основателя. Организация римской Азии Лукуллом и Помпеем, несмотря на все ее несомненные недостатки, должна быть признана в общем разумной и заслуживающей похвалы; как ни тяжки были связанные с ней злоупотребления, измученное население Азии должно было приветствовать ее уже потому, что она совпадала с установлением внутреннего и внешнего мира, от отсутствия которого оно так долго и тяжело страдало. Мир действительно господствовал на Востоке почти нерушимо до тех пор, пока только намеченная Помпеем со свойственной ему нерешительностью мысль о присоединении к римской державе областей к востоку от Евфрата не стала энергично, но неудачно проводиться новым триумвиратом римских властителей, вскоре после чего гражданская война вовлекла в свой роковой водоворот, подобно всем остальным, и восточные провинции. То обстоятельство, что в этот промежуток времени наместники Киликии принуждены были постоянно бороться с горными племенами Амана, а сирийские наместники — с кочевниками пустыни, причем в этой войне с бедуинами погибло немало римских войск, не имело дальнейших последствий. Более замечательно то упрямое сопротивление, которое оказывал завоевателям упорный иудейский народ. Частью сын низложенного царя Аристула Александр, частью сам Аристул, которому через некоторое время удалось бежать из плена, три раза поднимали в наместничество Авла Габиния (697—700) восстания против новых властителей, и поставленное римлянами правительство первосвященника Гиркана каждый раз бессильно падало. Не политические соображения, а непреодолимое отвращение восточного народа к противоестественному игу заставляло иудеев восставать против гнета. Так, последнее и опаснейшее из этих восстаний, толчком к которому

послужил вызванный египетским кризисом уход сирийской оккупационной армии, началось с убийства проживавших в Палестине римлян. Не без труда удалось энергичному наместнику спасти немногих римлян, избегших этой участи и укrywшихся на горе Гаризим, от осаждавших их там мятежников и подавить восстание после многих упорных боев и продолжительных осад. Затем было упразднено единоличное правление первосвященников, и Иудея, как некогда Македония, была разделена на пять самостоятельных округов, управляемых административными коллегиями из местных оптиматов; Самария и другие разрушенные иудеями города были восстановлены, чтобы создать противовес Иерусалиму, и, наконец, иудеи были обложены более тяжелой данью, чем остальные сирийские подданные Рима.

Нам остается бросить теперь взор на Египетское царство с прекрасным островом Кипром, последним остатком обширных завоеваний Лагидов. Египет был теперь единственным государством эллинского Востока, сохранившим независимость хотя бы по имени. Так же как раньше, когда персы завоевывали восточную половину Средиземного моря, Египет был их последним приобретением, так и теперь могущественные западные завоеватели больше всего медлили с присоединением этого богатой и своеобразной страны. Причиной этого, как было уже указано, являлся не страх перед сопротивлением Египта и не отсутствие удобного повода. Египет был приблизительно так же бессилен, как и Сирия, и еще в 673 г. с соблюдением всех законных форм уступлен Риму. Установившееся при александрийском дворе правление царской гвардии, назначавшей и свергавшей министров, а при случае и царей, бравшей для себя все, что ей нравилось, осаждавшей царя в его дворце, когда ей отказывали в повышении жалованья, было крайне непопулярно в стране, или, вернее, в столице, — так как страна с ее состоявшим из сельскохозяйственных рабов населением почти не принималась в расчет, — и, по крайней мере, одна из столичных партий желала присоединения Египта к Риму и предпринимала даже шаги в этом направлении.

Но чем меньше могли думать египетские цари о вооруженной борьбе с Римом, тем энергичнее действовало египетское золото против римских проектов аннексии, а благодаря своеобразной деспотически-коммунистической централизации египетского народного хозяйства доходы александрийского двора были почти равны римским, даже после увеличения последних Помпеем. К этому добавлялась еще ревнивая недоверчивость олигархии, не желавшей допустить, чтобы Египет был завоеван или управлялся одним лицом. Благодаря этому фактические властители Египта и Кипра могли путем подкупа руководящих лиц в сенате не только удерживать свои непрочные короны, но даже закрепить их за собой и купить у сената признание своих царских титулов. Но этим они еще не достигли цели. Формальное госу-

дарственное право требовало еще решения римского народа; пока оно не было вынесено, Птолемии зависели от каприза каждого демократического властителя, и им приходилось прибегать к подкупу другой римской партии, которая как более могущественная требовала более высокую цену.

Исход борьбы был неодинаков. Присоединение Кипра было в 696 г. постановлено народом, т. е. вождями демократов, причем в качестве официального повода для проведения этой оккупации в данное время указывалось на содействие, оказываемое киприотами пиратству. Марк Катон, которому его противники поручили выполнение этой меры, прибыл на остров без войска, в котором и не оказалось нужды. Царь принял яд, население покорилось неизбежному, не оказывая сопротивления, и было подчинено наместнику Киликии. Переполненная казна, в которой находилось около 7 тыс. талантов и которую столь же алчный, как и скупой царь не решался затратить на необходимые для спасения его короны взятки, досталась вместе с ней в руки римлян и наполнила весьма кстати пустые подвалы их казначейства.

Напротив, тому из братьев, который царствовал в Египте, удалось купить себе в 695 г. у новых владык Рима признание его постановлением народного собрания, что стоило ему, как говорили, 6 тыс. талантов. Однако население, давно уже недовольное этим отличным флейтистом, но плохим правителем и до крайности раздраженное окончательной потерей Кипра и невыносимо усилившимся вследствие сделок с римлянами налоговым бременем, выгнало его из страны.

Когда же царь, словно жалуясь на похищение у него купленного предмета, обратился к продавцам, они оказались настолько добросовестны, чтобы признать, что им, как честным коммерсантам, следует возвратить Птолемию его царство; стороны не могли только прийти к соглашению о том, кому должно достаться важное поручение занять Египет вооруженной силой и ожидаемые от этого доходы. Лишь когда триумвират снова был укреплен на совещании в Луке, был вместе с тем решен и этот вопрос, после того как Птолемей согласился уплатить еще 10 тыс. талантов; наместнику Сирии Авлу Габинию было приказано властителями принять необходимые меры для возвращения царя. Тем временем граждане Александрии возвели на престол старшую дочь изгнанного царя Беренику, а в супруги ей был дан один из духовных властителей римской Азии, первосвященник Команы Архелай, оказавшийся достаточно честолюбивым, чтобы рисковать своим обеспеченным и видным положением ради надежды вступить на трон Лагидов. Попытки его склонить на свою сторону римских властителей остались безуспешны, но он не утратил даже мысли, что ему придется бороться за свое новое царство против римлян с оружием в руках.

Габиний, не имевший формальных полномочий начать войну с Египтом, но получивший соответствующие указания от триумвиров, избрал поводом мнимую поддержку пиратства египтянами и строительство флота Архелаем и не медля двинулся к египетской границе (699). Переход через песчаную пустыню между Газой и Пелузием, где потерпела неудачу уже не одна попытка вторжения в Египет, был на этот раз совершен удачно, в особенности благодаря ловкости и проворству предводителя конницы Марка Антония. Пограничная крепость Пелузий была сдана без сопротивления находившимся там иудейским гарнизоном. За этим городом римляне встретились с египтянами и разбили их, причем опять отличился Антоний, после чего римское войско впервые достигло Нила. Здесь флот и армия египтян выстроились для последней, решительной борьбы, но римляне снова одержали верх, и сам Архелай со многими из своих сторонников нашел смерть в бою. Столица сдалась тотчас же после этого сражения, и это положило конец всякому сопротивлению. Несчастливая страна была предана в руки ее законного тирана; казни через повешение и обезглавливание, которыми Птолемей еще в Пелузий начал бы праздновать восстановление законной власти, если бы не благородное вмешательство Антония, пошли своим чередом, и прежде всего была отправлена отцом на плаху ни в чем не повинная дочь его. Уплата обещанного римским властителям вознаграждения не состоялась вследствие полной невозможности выжать требовавшиеся для этого огромные средства из истощенной страны, хотя у бедного народа и был отнят последний грош.

О поддержании же спокойствия в стране заботился оставленный в столице отряд римской пехоты и кельтской и германской конницы, сменивший туземную преторианскую гвардию и, впрочем, небезуспешно с ней соперничавший. Тем самым прежняя гегемония Рима над Египтом была превращена в непосредственную военную оккупацию, и номинальное сохранение национальной монархии являлось, таким образом, не столько льготой для страны, сколько двойным гнетом.





Глава V

Борьба партий во время отсутствия Помпея

С изданием закона Габиния столичные партии поменялись ролями. С того времени, как избранный демократией полководец взял в свои руки меч, его партия или те, кто к ней причислялся, были в столице всемогущи. Правда, аристократия все еще держалась сплоченно, и механизм комиций делал консулами только таких лиц, которые, по выражению демократов, еще в пеленках предназначены были для консульства; руководить выборами и сломить здесь влияние старых родов новые властители не сумели. Но, к сожалению, консульство, как раз в то время, когда удалось почти совершенно исключить из него «новых людей», стало бледнеть перед вновь восходившей звездой чрезвычайной военной власти. Аристократия чувствовала это, хотя и не признавалась в этом даже себе самой. Кроме Квинта Катула, который с заслуживающей уважения твердостью оставался до самой смерти (694) на своем нерадостном посту передового борца побежденной партии, в высших слоях нобилитета нельзя назвать ни одного оптимата, который с твердостью и мужеством защищал бы интересы аристократии. Даже самые даровитые и уважаемые ее представители, как Квинт Метелл Пий и Луций Лукулл, фактически в возможно приличной форме удалялись от дел на свои виллы, чтобы среди своих садов и библиотек, птичников и рыбных садков забыть, по возможности, о форуме и сенате. Еще в большей мере это отно-

сится к младшему поколению аристократии, которое либо совершенно погружалось в роскошь и литературные занятия, либо шло на встречу восходящему светилу.

Только один из более молодых аристократов, Марк Порций Катон (род. в 659 г.), составлял в этом отношении исключение. Этот человек, наделенный лучшими стремлениями и редким самоотвержением, был вместе с тем одним из самых причудливых и безотрадных явлений этой изобиловавшей всякими политическими гротесками эпохи. Честный и постоянный, серьезный в своих желаниях и поступках и полный привязанности к своему отечеству и его исконному государственному строю, но обладавший медлительным умом и лишенный страстей как чувственных, так и моральных, он мог бы, пожалуй, стать недурным государственным контролером. К несчастью, он рано подпал под власть фразы, и частью под влиянием риторического искусства стоиков, которые со своей отвлеченной пустотой и бессмысленной отрывистостью были тогда в ходу в аристократическом обществе, частью же подражая своему прадеду, повторить которого он считал своей особой задачей, он стал появляться среди многогрешной столицы в качестве образцового гражданина и зеркала добродетели, бранил, подобно старику Катону, свое время, ходил пешком, вместо того чтобы ездить верхом, не хотел брать процентов, отказывался от военных знаков отличия и делал почин в восстановлении доброго старого времени тем, что, по примеру царя Ромула, не носил рубахи. Странной карикатурой на своего предка, старого крестьянина, которого гнев и ненависть сделали оратором, который мастерски владел и мечом и плугом и со своим ограниченным, но оригинальным и здравым пониманием людей всегда проникал в суть дела, являлся этот молодой бесстрастный ученый, у которого постоянно была на устах школьная мудрость и которого всегда можно было видеть с книгой в руке, этот философ, ничего не понимавший ни в военном, ни в каком-либо другом ремесле и витавший в облаках отвлеченной моралистической философии. Тем не менее он достиг нравственного, а тем самым и политического значения. В то жалкое и трусливое время его мужество и его негативные добродетели импонировали массе; он имел даже подражателей; нашлись люди — видимо, они были ему под стать, — копировавшие этот живой философский шаблон и в свою очередь превращавшие его в карикатуру. На том же было основано и его политическое влияние. Так как он был единственным видным консерватором, обладавшим если не талантом и рассудительностью, то хоть мужеством и честностью, и всегда был готов рисковать собой, где нужно и где не нужно, то вскоре он стал признанным лидером партии оптиматов, хотя ни возраст, ни звание, ни ум его не давали ему права на это. Там, где упорство одного настойчивого человека могло решить дело, он добивался успеха, и в

частных вопросах, в особенности финансового порядка, его вмешательство часто было разумно; он никогда не пропускал заседания сената, и деятельность его в качестве квестора составила настоящую эпоху; до конца своей жизни он проверял во всех подробностях государственный бюджет и, конечно, находился вследствие этого в вечной войне с откупщиками налогов. Но все же у него не было ни одного из качеств настоящего государственного деятеля. Он был не способен даже понять какую-нибудь политическую задачу или политические отношения в целом; вся тактика его состояла в том, что он выступал против всего, что — действительно или только по его мнению — уклонялось от морально-политического катехизиса аристократии, вследствие чего он, разумеется, так же часто действовал на руку своим противникам, как и единомышленникам. Дон-Кихот аристократии, он доказал своей личностью и деятельностью, что если тогда существовала еще аристократия, то аристократическая политика была уже не чем иным, как химерой.

Продолжение борьбы с этой аристократией доставляло мало чести, но нападки демократов на побежденного врага, конечно, не прекращались. Свора популяров бросилась на рассеявшуюся знать, как обозная прислуга на захваченный лагерь, и от этой агитации пошли высокие пенистые волны по крайней мере по поверхности политической жизни. Толпа тем охотнее следовала агитации, что Гай Цезарь поддерживал в ней хорошее настроение безумной роскошью своих игр (689), где вся утварь, даже клетки диких зверей, были из массивного серебра, и вообще своей щедростью, не знавшей никаких границ именно потому, что она была целиком основана на долгах. Нападки на нобилитет были самого разнообразного рода. Обильный материал доставляли злоупотребления аристократического режима; либеральные или либеральничавшие чиновники и адвокаты, как Гай Корнелий, Авл Габиний, Марк Цицерон, продолжали систематически разоблачать самые отталкивающие и постыдные стороны правления оптиматов и предлагать законы для борьбы с ним. Сенату было предложено принимать иностранных послов в определенные дни, чтобы прекратить таким образом обычную проволочку аудиенций. По займам иноземных послов в Риме было запрещено предъявлять иски, так как это был единственный способ покончить с подкупом сенаторов, ставшим обычным явлением (687). Право сената допускать в известных случаях отклонения от действующих законов было ограничено (687), равно как и то злоупотребление, что каждый знатный римлянин, имевший частные дела в провинции, мог исходатайствовать себе от сената звание римского посла (691). Были усилены наказания за покупку голосов и махинации на выборах (687, 691), так как в особенности последнее злоупотребление крайне участилось вследствие попыток исключенных из сената лиц снова попасть в него благодаря

перевыборам. Было предписано законом, между тем как до тех пор это лишь подразумевалось, что судьи обязаны выносить решения соответственно тем нормам, которые они, по римскому обычаю, устанавливали, вступая в должность (687).

Но больше всего заботились о завершении демократической реставрации и осуществлении в соответствующей новым временам форме руководящих идей Гракховой эпохи. Избрание жрецов комициями, введенное Гнеем Домицием, но отмененное Суллой, было восстановлено в 691 г. законом народного трибуна Тита Лабiena. Охотно указывалось, что семпрониевы хлебные законы далеко еще не были восстановлены в полном объеме, но при этом умалчивали о том, что ввиду изменившихся обстоятельств при затруднительном положении государственных финансов и столь значительном увеличении числа полноправных римских граждан эта мера просто неосуществима.

В области между рекой По и Альпами велась усердная агитация за уравнивание в политических правах с италиками. Еще в 686 г. Гай Цезарь разъезжал там с этой целью из одного пункта в другой; в 689 г. Марк Красс, будучи цензором, собирался просто-напросто внести все население в списки граждан, что не удалось ему только из-за сопротивления его коллеги; эта попытка, видимо, регулярно повторялась и следующими цензорами. Как некогда Гракх и Флакк были патронами латинов, так и демократические вожаки этой эпохи выступали в роли защитников транспаданцев, и Гаю Пизону, консулу 687 г., пришлось горько раскаться в том, что он осмелился затронуть одного из этих клиентов Цезаря и Красса.

Напротив, те же самые вожди не обнаруживали ни малейшего желания выступить в защиту политического равноправия вольноотпущенников, и, когда народный трибун Гай Манилий провел в одном малолюдном собрании (31 декабря 687 г.) возобновление сульпициева закона об избирательном праве вольноотпущенников, он был полностью дезавуирован лидерами демократии; и с их согласия закон был кассирован сенатом на следующий же день после его принятия. Равным образом были в 689 г. изгнаны из столицы постановлением народного собрания все, кто не обладал правом римского или латинского гражданства. Таким образом, внутреннее противоречие гракховой политики, пытавшейся удовлетворить как стремление неполноправных быть принятыми в число привилегированных, так и желание последних сохранить свои привилегии, было унаследовано преемниками Гракхов: в то время как Цезарь и его приверженцы давали транспаданцам надежду на приобретение права римского гражданства, они соглашались на продолжение дискриминации вольноотпущенников и на варварское устранение конкуренции, которую греки и азиаты создавали в Италии своей промышленностью и торговлей самим италикам.

Характерен способ, которым демократы действовали в вопросе о восстановлении уголовной юрисдикции комиций. Сулла, собственно, не отменил ее, но фактически место комиций заступили комиссии присяжных по делам о государственной измене и убийствах, и о действительном восстановлении старого процесса, оказавшегося неудобным еще задолго до Суллы, не мог думать ни один разумный человек. Но так как считалось, что идея народного суверенитета требует по крайней мере принципиального признания за гражданством права на производство уголовного суда, то народный трибун Тит Лабий привлек в 691 г. старика, подозреваемого в убийстве за 38 лет до того народного трибуна Луция Сатурнина, к тому же чрезвычайному уголовному суду, при посредстве которого, если верить хронике, царь Тулл оправдал Горация, убившего свою сестру. Обвиняемым был некий Гай Рабирий, который если не убил Сатурнина, то по крайней мере выставлял напоказ его отрубленную голову в аристократических домах и вообще пользовался дурной славой среди апулийских землевладельцев за охоту на людей и другие кровавые деяния. Если не самому обвинителю, то более умным из людей, скрывавшимся за ним, вовсе не было желательно дать умереть на кресте этому жалкому человеку; поэтому они не препятствовали тому, что прежде всего сама формула обвинения была существенно смягчена сенатом, после чего созванное для суда над виновным народное собрание было под каким-то предлогом распущено противной партией, чем кончилось и все дело. Все же благодаря этому процессу оба устоя римской свободы — право обращения к суду народного собрания и неприкосновенность народных трибунов — были еще раз признаны действующим правом, и правовая основа демократии была наново укреплена.

С еще большей страстностью выступала демократическая реакция в вопросах личного порядка всюду, где она только могла или смела это сделать. Правда, благоразумие повелевало ей не настаивать на возвращении прежним владельцам конфискованных Суллой земель, так как это привело бы к расхождению с собственными союзниками и к борьбе с материальными интересами, с которой чисто доктринерская политика редко в состоянии справиться. С этим имущественным вопросом был слишком тесно связан и вопрос о возвращении эмигрантов, так что и его неудобно было касаться. Напротив, делались большие усилия для того, чтобы вернуть детям изгнанников отнятые у них политические права (691), и вожди сенатской партии подвергались непрерывным личным нападкам. Так, Гай Меммий затеял тенденциозный процесс против Марка Лукулла. Еще более знаменитому брату последнего пришлось три года ожидать у ворот столицы вполне заслуженного им триумфа (688—691). Подобным же образом были оскорблены Квинт Рекс и завоеватель Крита Квинт Метелл. Еще большее впечатление произвело то обстоятельство, что

молодой вождь демократов Гай Цезарь не только осмелился конкурировать на выборах в верховные понтифики с двумя наиболее уважаемыми деятелями аристократии, Квинтом Катуллом и Публием Сервилием, победителем исавров, но и одержал над ними верх в народном собрании (691). Наследникам Суллы, в особенности сыну его Фавсту, постоянно грозило требование о возврате растроченных будто бы правителем государственных денег. Поговаривали даже о возобновлении приостановленных в 664 г. демократических обвинений на основе закона Вария. Но всего энергичнее преследовались, конечно, судом личности, замешанные в расправах Суллы. Если квестор Марк Катон со своей неуклюжей честностью первый сделал почин в этом направлении, потребовав возвращения выданных за убийства наград как незаконно отчужденного у государства имущества (689), то неудивительно было, что в следующем (690) году Гай Цезарь в качестве председателя суда по делам об убийствах прямо объявил недействительной ту статью сулланских законов, которая объявляла безнаказанным убийство проскрибированного, и привлек к суду известнейших сыщиков Суллы — Луция Катилину, Луция Беллиена, Луция Лусция — и добился отчасти их осуждения.

В то же время стали называть публично бывшие так долго опальными имена героев и мучеников демократии и чествовать их память. Выше уже было рассказано, как произошла реабилитация Сатурнина благодаря процессу, возбужденному против его убийцы. Но совершенно иначе звучало имя Гая Мария, при произнесении которого некогда бились все сердца. Случилось так, что тот человек, которому Италия обязана спасением от северных варваров, был дядей нынешнего вождя демократии. Громко ликовала толпа, когда в 686 г. Гай Цезарь, вопреки всем запретам, осмелился при погребении вдовы Мария публично показать на форуме уважаемые черты героя. Когда же спустя три года (689) победные знаки, воздвигнутые на Капитолии Марием и снесенные по приказанию Суллы, неожиданно для всех снова заблестели однажды утром на прежнем месте золотом и мрамором, инвалиды афинской и кимврской войн обступили со слезами на глазах изображение любимого полководца, и перед лицом ликующей массы сенат не осмелился прикоснуться к трофеям, которые были восстановлены той же смелой рукой наперекор законам.

Однако хотя все эти козни и распри и производили так много шума, политическое значение их было очень невелико. Олигархия была побеждена, и демократия стояла у руля. Что самые мелкие и ничтожные личности торопились нанести еще один удар повергнутому на землю врагу, что демократы также имели свою юридическую основу и свой культ принципов, что их доктринеры не успокаивались, пока не были восстановлены целиком все народные привилегии, причем нередко становились смешными, как бывает со всеми легитими-

стами, — это было столь же понятно, как и несущественно. Вся агитация в общем была беспцельна; в ней обнаруживалась затруднительность для ее организаторов найти объект своей деятельности, поскольку она вращалась вокруг почти уже исчерпанных или второстепенных вопросов. Иначе не могло быть.

Демократы остались победителями в борьбе с аристократией, но они победили не сами, и им предстояло еще тяжелое испытание — расплата не с прежними врагами, а с всемогущим союзником, которому они в значительной мере были обязаны победой над аристократией и которому они теперь сами вручили беспрецедентную военную и политическую власть потому только, что не посмели отказать ему в ней. Проконсул Востока и морей был пока еще занят назначением и низложением царей; сколько ему потребуется для этого времени и когда он сочтет войну оконченной, этого никто не мог решить, кроме него самого, так как, подобно всему остальному, и время его возвращения в Италию, т. е. определение решающей минуты, зависело от него, а римским партиям оставалось только сидеть и ждать. Что касается оптиматов, то они сравнительно спокойно готовились к прибытию грозного полководца, так как при разрыве между Помпеем и демократией, приближение которого было ясно, они ничем не рисковали и могли только выиграть. Напротив, демократы ожидали этого события с мучительным страхом и пытались использовать время отсутствия Помпея для подведения контрмины против грозившего взрыва.

В этом стремлении демократы снова сходились с Крассом, которому, для того чтобы быть в состоянии противопоставить себя ненавистному и вызывавшему его зависть сопернику, ничего не оставалось, как опять заключить более тесный, чем прежде, союз с демократией. Еще во время первой коалиции Красс и Цезарь как самые слабые из ее участников были особенно близки друг к другу; общие интересы и общая опасность еще более укрепили связь между самым богатым из римлян и тем из них, кто был наиболее обременен долгами. В то самое время, когда демократы публично называли Помпея главой и гордостью своей партии и все свои стрелы направляли, казалось, против аристократии, они втихомолку готовились к борьбе с Помпеем. Эти попытки демократии предотвратить грозившую военную диктатуру имеют гораздо большее историческое значение, чем шумная и служившая по большей части только для маскировки агитация против знати. Правда, это происходило во мраке, на который дошедшие до нас сведения бросают только редкие лучи света, так как не только современники, но и потомки имели достаточно оснований накинуть покров на это дело. Но в общих чертах как ход, так и цель этих происков вполне ясны. Над военной силой можно было одержать верх только посредством другой военной силы. Демократы на-

меревались, по примеру Мария и Цинны, захватить в свои руки власть и затем поручить одному из своих вождей либо завоевание Египта, либо наместничество в Испании, либо другую ординарную или чрезвычайную магистратуру, чтобы найти в нем и в его войске противовес против Помпея с его армией. Для этого нужна была революция, направленная прежде всего против номинального правительства, а по существу против Помпея как кандидата в монархи*, и, начиная с издания законов Габиния и Манилия и вплоть до возвращения Помпея (688—692), в Риме не прекращались заговоры с целью произвести эту революцию. Столица была в крайнем напряжении. Подавленное настроение капиталистов, прекращение платежей, частые банкротства были предвестниками готовившегося переворота, который, казалось, должен был привести к совершенно новому отношению партий. Замысел демократов, направленный и против сената, и против Помпея, делал возможным соглашение между этими двумя. Демократия же, пытаясь противопоставить диктатуре Помпея диктатуру другого, более удобного ей человека, тем самым также приходила к военной власти и попадала из огня да в полымя; так принципиальный вопрос незаметно превратился в вопрос о лицах.

Революция, задуманная вождями демократии, должна была начаться свержением существующего правительства в результате восстания, которое вызовут, прежде всего в Риме, демократические заговорщики. Как низшие, так и высшие слои столичного общества по своему моральному состоянию давали для этого материал в ужасающем изобилии. Мы не будем опять рассказывать здесь, что представлял собой свободный и несвободный пролетариат столицы. Раздалось уже знаменательное слово, что только бедняк может быть представителем бедняков, — возникла, стало быть, мысль, что масса бедных может с таким же успехом, как и олигархия богатых, составить самостоятельную силу и, вместо того чтобы позволять тиранить себя, в свою очередь разыграть роль тирана. Подобные мысли находили отклик и в среде знатной молодежи. Светская столичная жизнь губила не только состояния, но и физические и духовные силы. Этот изящный мир надушенных локонов, подстрижен-

* Тому, кто окинет взором политическую жизнь того времени, не нужно особых доказательств, что конечной целью демократических махинаций 688 и следующих годов было свержение не сената, а Помпея. Впрочем, нет недостатка и в подобных доказательствах. Так, Саллюстий (*Catil.*, 39) говорит, что законы Габиния и Манилия нанесли смертельный удар демократии; точно так же имеются свидетельства, что заговор 688—689 гг. и рогация Сервилия были направлены именно против Помпея (*Sallust.*, *Catil.*, 19; *Val. Max.*, 6, 2, 4; *Cicero*, *De lege agr.*, 2, 17, 46). Наконец, отношение Красса к заговору достаточно ясно показывает, что он был направлен против Помпея.

ных бородок и модных манжет, как ни весело проводила здесь молодежь дни и ночи за танцами и игрой на цитре или за кубком вина, скрывал в себе страшную бездну нравственного и материального упадка, плохо или хорошо скрытого отчаяния и безумных или мошеннических замыслов. В этих кругах, не скрывая этого, вздыхали по временам Цинны с их проскрипциями, конфискациями и уничтожением долговых книг; было немало людей — и среди них встречались лица знатного происхождения и незаурядных дарований, — которые ожидали только сигнала, чтобы, подобно шайке разбойников, кинуться на гражданское общество и снова награть себе прокуренное состояние. Там, где есть уже шайка, за жожаками дело не станет, так и здесь скоро нашлись люди, пригодные для роли разбойничьих жожаков. Бывший претор Луций Катилина и квестор Гней Пизон выделялись среди своих товарищей не только знатностью происхождения и высоким званием. Они полностью сожгли за собой корабли и столько же импонировали сообщникам своей бессовестностью, как и своими способностями.

Прежде всего, Катилина был нечестивее всех в это нечестивое время. Его мошеннические проделки представляют материал для криминалиста, а не для историка; уже одна его внешность — бледное лицо, дикий взгляд, то вялая, то торопливая походка — обнаруживала его темное прошлое. Он был наделен в большой мере теми качествами, которые необходимы предводителю подобной банды: знакомство со всеми видами наслаждений и способность переносить лишения, храбрость, военные дарования, знание людей, энергия преступника и та страшная школа порока, которая умеет слабого привести к гибели, а из человека павшего воспитать преступника.

Людам, имевшим деньги и политическое влияние, нетрудно было составить из таких элементов заговор для ниспровержения существующего порядка. Катилина, Пизон и подобные им люди охотно соглашались на всякий план, суливший им возобновление проскрипций и уничтожение долговых книг; Катилина был к тому же в особой вражде с аристократией, которая не допускала избрания в консулы этого развращенного и опасного человека. Подобно тому как некогда в качестве агента Суллы он занимался во главе отряда кельтов охотой за проскрибированными и среди других заколол собственной рукой своего престарелого шурина, так и теперь он охотно обещал противной партии такого же рода услуги. Был основан тайный союз. Число принятых в него лиц превышало, как передают, 400 человек. Союз имел сторонников во всех областях и городах Италии; помимо того было ясно, что к восстанию, написавшему на своем знамени столь своевременный лозунг, как прощение долгов, и без зова примкнут многочисленные сторонники из рядов золотой молодежи.

В декабре 688 г. — так гласит предание — главари этого союза нашли, как им казалось, удобный повод для выступления. Оба консула, избранные на 689 г., Публий Корнелий Сулла и Публий Авроний Пет, незадолго до того были изобличены перед судом в подкупе избирателей и поэтому были на основании закона лишены права на занятие высшей должности. После этого оба они вступили в союз. Заговорщики решили насильственно доставить им консульство и таким образом завладеть верховной властью в государстве. В тот день, когда новые консулы должны были вступить в должность, 1 января 689 г., вооруженные мятежники предполагали захватить курию, перебить новых консулов и других намеченных лиц и после кассации судебного приговора, устранившего Суллу и Пета, провозгласить их консулами. Красс должен был стать тогда диктатором, а Цезарь — начальником конницы, без сомнения для того, чтобы собрать значительные военные силы, пока Помпей был занят на далеком Кавказе. Вожаки и рядовые были уже наняты и получили указания. Катилина ожидал в назначенный день вблизи места заседания сената условного сигнала, который должен был дать ему Цезарь по знаку Красса. Но он ждал тщетно; Красс отсутствовал в решающем заседании сената, и предполагавшееся восстание на этот раз не удалось. Подобный же, но только еще более обширный план убийств был задуман на 5 февраля, но и этот план не удался, потому что Катилина подал знак раньше, чем успели собраться нанятые бандиты. Между тем тайна стала разглашаться. Правительство не смело, правда, открыто выступать против заговорщиков, но дало охрану консулам, которые более всего подвергались опасности, и противопоставило шайке, нанятой заговорщиками, другую, оплачиваемую правительством. Для того чтобы избавиться от Пизона, было предложено отправить его в качестве квестора с преторскими полномочиями в Ближнюю Испанию, и Красс согласился на это в надежде воспользоваться благодаря ему средствами этой важной провинции для нужд восстания. Дальнейшие предложения были опротестованы трибунами.

Так гласит предание, основанное, очевидно, на правительственной версии; вопрос о достоверности его в отдельных подробностях за невозможностью какой-либо проверки должен быть оставлен открытым. Что касается главного, а именно участия в заговоре Цезаря и Красса, то, разумеется, свидетельство их политических противников не может считаться достаточным доказательством. Но явная их деятельность в этот период поразительно сходна с подпольной, приписываемой им этим рассказом. Попытка Красса, бывшего в этом году цензором, внести транспаданцев в список граждан была уже прямо-таки революционным актом. Еще замечательнее то обстоятельство, что при этом же случае Красс хотел занести Египет и Кипр

в список римских владений* и что Цезарь около того же времени (689 или 690 г.) выдвинул через трибунов перед народным собранием предложение послать его в Египет, для того чтобы снова посадить на престол изгнанного александрийцами царя Птолемея. Эти махинации подозрительно напоминают те обвинения, которые выдвигались противниками. Ничего определенного утверждать здесь нельзя, но очень велика вероятность того, что Красс и Цезарь составили план установления военной диктатуры во время отсутствия Помпея, что основой этой демократической военной власти должен был послужить Египет и, наконец, что попытка восстания 689 г. была затеяна именно для осуществления этих планов, а Катилина и Пизон были орудиями Красса и Цезаря.

На некоторое время заговор приостановился. При выборах на 690 г. Красс и Цезарь не возобновили своей попытки завладеть должностью консулов, чему, быть может, способствовало и то, что кандидатом на этот пост был в том году родственник вождя демократов Луций Цезарь, человек слабый и нередко служивший орудием в руках своего родственника. Между тем донесения из Азии показали, что необходимо торопиться. В Малой Азии и Армении порядок был уже создан. Хотя демократические стратеги и доказывали, что война с Митридатом может быть сочтена законченной, лишь когда он будет взят в плен, и что поэтому необходимо начать погоню за ним по всему побережью Черного моря, и прежде всего, не приближаться к Сирии, — Помпей, не обращая внимания на эту болтовню, направился в 690 г. из Армении в Сирию. Если Египет действительно должен был стать главной квартирой демократов, то нельзя было терять времени, в противном случае Помпей мог появиться там раньше Цезаря. Заговор 688 г., далеко не подавленный слабыми и робкими репрессивными мерами, возобновился с приближением консульских выборов на 691 г. Действующие лица были, вероятно, в основном те же, и план был подвергнут лишь небольшим изменениям. Руководители движения по-прежнему оставались в тени. В кандидаты на консульство они

* См. *Plutarch*, *Grass*, 13; *Cicero*, *De lege agr.*, 2, 17, 44. К этому же году (689) относится речь Цицерона «*De rege Alexandrino*», которую ошибочно датировали 698 г. Цицерон опровергает здесь, как ясно видно из сохранившихся отрывков, утверждение Красса, что на основании завещания царя Александра Египет стал римской собственностью. Этот юридический вопрос мог и должен был обсуждаться в 689 г., а в 698 г. благодаря закону Юлия от 695 г. он потерял уже всякое значение. К тому же в 698 г. речь шла не о том, кому принадлежит Египет, а о восстановлении на престоле изгнанного восстанием царя, и при этих точно нам известных переговорах Красс не играл никакой роли. Наконец, Цицерон после совещания в Луке отнюдь не имел возможности серьезно возражать кому-либо из триумвиров.

выставили на этот раз самого Катилину и Гая Антония, младшего сына оратора и брата полководца, приобретшего печальную славу еще с Крита. В Катилине заговорщики были уверены; Антоний же, бывший первоначально, как и Катилина, приверженцем Суллы и так же, как и он, привлеченный за это демократической партией к суду и исключенный из Сената, слабый, незначительный, совершенно непригодный к роли вождя и опустившийся человек, стал послушным орудием демократов ради обещанного консульства и связанных с ним выгод. Благодаря этим консулам вожаки заговора рассчитывали завладеть властью, захватить оставшихся в столице детей Помпея в качестве заложников и поднять Италию и провинции против Помпея. Гней Пизон, наместник Ближней Испании, должен был при первом известии о событиях в столице поднять знамя восстания. Связь с ним морским путем была невозможна, так как на море господствовал Помпей, но заговорщики полагались на транспаданцев, старых клиентов демократии, среди которых происходило страшное брожение и которые, разумеется, немедленно получили бы права римского гражданства, а также на различные кельтские племена*. Нити этого заговора доходили до самой Мавретании. Один из заговорщиков, крупный римский купец Публий Ситтий из Нуцерии, вынужденный вследствие денежных затруднений покинуть Италию, вооружил отряд отчаянных людей, набранных в Мавретании и Испании, и бродил с ним словно предводитель свободного отряда по Западной Африке, где у него были старые торговые связи.

Партия напрягала все свои силы для предвыборной борьбы. Красс и Цезарь пустили в ход деньги как собственные, так и занятые и связи, чтобы сделать Катилину и Антония консулами. Друзья Катилины прилагали все усилия, чтобы привести к кормилу власти человека, который обещал им магистратуру и греческие должности, дворцы и имения их противников, а прежде всего, освобождение от долгов и о котором было известно, что он сдержит свое слово. Аристократия была в большом затруднении, главным образом потому, что она не могла даже противопоставить демократам своих кандидатов. То, что подобный кандидат рисковал бы своей головой, было очевидно; прошли те времена, когда опасный пост привлекал граждан, теперь даже честолюбие умолкало перед страхом. Поэтому аристократия ограничилась слабой попыткой помешать избирательным злоупотреблениям изданием нового закона против подкупа избирателей, что, впрочем, не удалось из-за вмешательства одного из народных трибунов, и решила отдать свои голоса кандидату, который хотя и не был ей при-

* Ambrani, о которых идет речь у Светония (Caes., 9), не являются, очевидно, теми амбронями, которые называются Плутархом (Mag., 19) вместе с кимврами; скорее, это описка вместо *Arverni*.

ятен, но был по крайней мере безвреден. Это был Марк Цицерон, известный политический лицемер*, привыкший заигрывать то с демократами, то с Помпеем, то — несколько издали — с аристократами и служить защитником каждому влиятельному подсудимому без различия лица и партии, — даже Катилина был в числе его клиентов. Он не принадлежал, собственно, ни к какой партии или, что почти то же самое, был близок к партии материальных интересов, господствовавшей в судах и любившей его как красноречивого адвоката и остроумного собеседника. Он обладал достаточными связями в столице и других городах, чтобы иметь шансы на избрание наряду с кандидатами демократической партии, а так как за него голосовали и знать, хотя и неохотно, и приверженцы Помпея, то он и был избран значительным большинством. Оба кандидата демократов получили почти одинаковое число голосов, но Антоний, принадлежавший к более видной семье, собрал все же несколькими голосами больше, чем его соперник. Эта случайность помешала избранию Катилины и спасла Рим от второго Цинны. Несколько раньше был убит в Испании своим туземным конвоем Пизон, как говорили, по наущению его политического и личного врага Помпея**.

С одним только консулом Антонием заговорщики ничего не могли добиться. Цицерон уничтожил непрочную связь, соединившую Антония с заговором, еще прежде, чем оба они вступили в должность, отказавшись от установленного законом распределения консульских провинций по жребию и предоставив своему обремененному долгами коллеге доходное македонское наместничество. Таким образом, отпали существеннейшие предпосылки и этой попытки.

Тем временем события на Востоке принимали все более опасный для демократии оборот. Создание порядка в Сирии быстро продвигалось вперед; к Помпею поступали уже предложения из Египта вступить в эту страну и присоединить ее к римским владениям; можно было опасаться вскоре известия о занятии Помпеем долины Нила. Это и вызвало, по-видимому, попытку Цезаря добиться, чтобы он был послан народом в Египет для оказания помощи царю против его восставших подданных. Попытка эта не удалась, очевидно, вследствие нежелания как сильных, так и слабых предпринять что-либо

* Невозможно выразить это наивнее, чем то было сделано в сочинении, приписываемом его брату (*De pet. cons.*, 1, 5, 13, 51, 53; от 690 г.), сам же брат его вряд ли стал бы выражаться так откровенно. В качестве доказательства этого беспристрастные люди не без интереса прочтут вторую речь против Рулла, где «первый демократический консул» весьма забавным образом дурачит свою публику, поучая ее, что такое «истинная демократия».

** Уцелевшая надгробная надпись его гласит: «*Cn. Calpurnius Cn. f. Piso quaestor pro pr. ex. s. c. provinciam Hispaniam citeriorem optinuit.*»

противное интересам Помпея. Время прибытия Помпея, а тем самым и вероятная катастрофа все приближались; нужно было попытаться опять натянуть тот же лук, как часто ни обрывалась его тетива. В городе происходило глухое брожение; частые совещания вождей движения показывали, что опять что-то готовится.

В чем состояли эти приготовления, выяснилось, когда вступили в должность новые народные трибуны (10 декабря 690 г.) и когда один из них, Публий Сервилий Рулл, тотчас же предложил аграрный закон, который предоставил бы демократическим вожакам такое положение, какое занял Помпей благодаря законам Габиния и Манилия. Номинальной целью этого предложения было создание колоний в Италии, причем земля для этого не должна была приобретаться путем конфискации. Напротив, все существующие частные права получали гарантии, и даже незаконные захваты последнего времени превратились в полную собственность оккупантов. Только сданные в аренду государственные земли в Кампании подлежали разделу и колонизации, прочие же земли, назначенные для раздачи, правительство должно было покупать обычным путем. Чтобы добыть необходимые для этого средства, должны были поочередно продаваться все остальные италийские и в особенности внеиталийские государственные земли; здесь имелись в виду бывшие царские имения в Македонии, Херсонесе Фракийском, Вифинии, Понте, Кирене, далее, все городские владения в Испании, Африке, Сицилии, Элладе, Киликии, перешедшие в собственность Рима по праву войны. Кроме того, подлежало продаже все движимое и недвижимое имущество, приобретенное государством с 666 г., если оно не распорядилось им раньше. Это относилось, главным образом, к Египту и Кипру. Для той же цели подлежали обложению весьма высокими податями и десятинами все подвластные Риму общины за исключением городов латинского права и прочих вольных городов. Для покупки земли был назначен, наконец, и доход от новых провинциальных налогов начиная с 692 г., а также выручка со всей не распределенной еще законным путем добычи. Эти постановления относились к новым источникам налогов, открытым Помпеем на Востоке, и к государственным средствам, находившимся в руках Помпея или наследников Суллы. Осуществление этого мероприятия предполагалось поручить комиссии из десяти человек, наделенной собственной юрисдикцией и верховной властью; члены ее должны были оставаться в должности пять лет и набрать штат подчиненных им должностных лиц в 200 человек из всаднического сословия; членов комиссии надлежало избрать из лиц, которые сами выставят свою кандидатуру, причем, так же как на выборах жрецов, выборы должны были производиться лишь 17 округами, выделенными по жребию из общего числа 35. Не нужно было обладать большой проницательностью, чтобы понять, что из этой десятичленной

коллегии хотели создать такую же власть, какой обладал Помпей, но только несколько менее военного и более демократического характера. Судебную власть нужно было ей предоставить для решения египетского вопроса, а военную — для вооружений против Помпея. Условие, воспрещавшее избрание лица отсутствующего, устранило Помпея, а сокращение числа избирательных округов, равно как и манипуляция метания жребия, должны были облегчить руководство выборами в интересах демократов.

Однако попытка эта совершенно не достигла цели. Чернь, которой гораздо удобнее было получать хлеб из государственных складов под римскими арками, чем в поте лица своего заниматься обработкой земли, встретила предложение Рулла с полным равнодушием. Она быстро сообразила к тому же, что Помпей никогда не согласится на подобное столь оскорбительное для него во всех отношениях постановление и что плохи, видно, дела той партии, которая в мучительном страхе решается на такие неумеренные предложения. При таких обстоятельствах правительству нетрудно было отразить предложение Рулла. Новый консул, Цицерон, воспользовался случаем еще раз показать свой талант, чтобы нанести побежденной партии последний удар, и еще прежде, чем готовые воспользоваться своим правом интерцессии трибуны успели это сделать, сам автор предложения от него отказался (1 января 691 г.). Демократия ничего не приобрела, кроме нерадостного сознания, что масса из любви или страха все еще была верна Помпею и что каждое предложение, которое она сочтет направленным против Помпея, неминуемо будет отвергнуто. Утомленный всеми этими напрасными интригами и безрезультатными планами, Катилина решил добиться успеха и раз навсегда покончить с этим делом. В течение лета он все подготовил для того, чтобы начать гражданскую войну. Фезулы (Фиезоле), сильно укрепленный город в Этрурии, кишевший обедневшими людьми и заговорщиками, бывший пятнадцать лет назад очагом восстания Лепида, и на этот раз должен был стать главной квартирой мятежников. Туда направлялись деньги, которые давались в особенности замешанными в заговоре знатными столичными дамами; там набирали солдат и оружие; старый сулланский офицер Гай Манлий, человек храбрый и, как всякий ландскхнет, свободный от угрызений совести, временно принял на себя главное начальство. Подобные же приготовления, хотя и менее обширные, производились и в других пунктах Италии. Транс-паданцы так были возбуждены, что, казалось, только ждали сигнала для выступления. В бруттийской области, на восточном побережье Италии, в Капуе, где скопилось большое число невольников, готово было, казалось, разразиться второе восстание рабов, вроде спартаковского. Что-то готовилось и в столице; те, кто видел, как дерзко держались перед городским претором вызванные к нему должники, долж-

ны были вспомнить сцены, предшествовавшие убийству Азеллиона. Капиталисты находились в неопишемом страхе. Оказалось необходимым возобновить запрещение вывоза золота и серебра и установить надзор за главными портами. План заговорщиков состоял в том, чтобы при выборах консулов на 692 г., где Катилина опять выставил свою кандидатуру, убить руководящего выборами консула и всех неудобных соперников, во что бы то ни стало добиться избрания Катилины, направив даже в случае необходимости в столицу из Фезул и других сборных пунктов вооруженные отряды, чтобы с помощью их подавить сопротивление.

Цицерон, которого быстро и исчерпывающе осведомили о ходе заговора его шпионы и шпионки, заявил в назначенный для выборов день (20 октября) в собрании сената и в присутствии главных вожakov заговорщиков о наличии заговора. Катилина не нашел даже нужным отрицать это. Он дерзко ответил, что если выбор в консулы падет на него, то могущественная партия, не имеющая вождя, получит его для борьбы с незначительной партией, руководимой жалкими главарями. Однако за неимением осязательных доказательств существования заговора от боязливого сената можно было добиться только обычной предварительной санкции тех чрезвычайных мероприятий, которые должностные лица признают целесообразными (21 октября). Так приближалась избирательная борьба, на этот раз больше похожая на битву, чем на выборы, так как и Цицерон создал для себя вооруженную охрану из молодых людей купеческого происхождения, а 28 октября — день, на который выборы были перенесены сенатом, — вооруженные Цицероном люди заняли Марсово поле и полностью его контролировали. Заговорщикам не удалось ни убить руководившего выборами консула, ни повлиять в своем духе на исход выборов.

Тем временем гражданская война уже началась. 27 октября Гай Манлий водрузил в Фезулах орла, вокруг которого должна была собраться армия мятежников, — это был один из орлов Мария времен войны с кимврами — и призвал разбойников в горах и сельское население присоединиться к нему. Его возвания, следуя старым традициям популяров, требовали освобождения от угнетающего бремени долгов и смягчения долгового процесса, который, если оказывалось, что долги превышают состояние должника, влек за собой по закону лишение свободы. Казалось, что столичный сброд, выступая в роли преемника старого плебейского крестьянства и давая свои сражения под сенью славных орлов кимврской войны, хотел запятнать не только настоящее, но и прошлое Рима. Однако это выступление осталось изолированным, в других сборных пунктах заговорщики не пошли дальше накопления оружия и организации тайных собраний, так как у них не было энергичных вождей.

Это было счастьем для правительства, потому что хотя о пред-

стоящей гражданской войне довольно давно уже было известно, тем не менее собственная нерешительность и тяжеловесность заржавевшего административного механизма не позволяли правительству сделать какие-либо военные приготовления. Только теперь было призвано ополчение, и в различные части Италии были отправлены высшие офицеры, каждый из которых должен был подавить мятеж в порученном ему округе; вместе с тем из столицы были высланы рабы-гладиаторы и назначены патрули из опасения поджогов.

Положение Катилины было нелегкое. По его плану, выступление должно было состояться одновременно в столице и Этрурии в связи с консульскими выборами; неудача в Риме и вспышка восстания в Италии подвергали опасности как его лично, так и успех всего предприятия. После того как его приверженцы в Фезулах подняли оружие против правительства, ему нельзя было оставаться больше в Риме, а между тем ему не только крайне важно было склонить хоть теперь столичных заговорщиков к немедленному выступлению, но это должно было произойти еще прежде, чем он покинет Рим, — он слишком хорошо знал своих соперников, чтобы положиться на них. Наиболее видные из заговорщиков — Публий Лентул Сура, консул 683 г., исключенный затем из сената и ставший теперь претором, чтобы вновь вернуться туда, а также два бывших претора, Публий Автроний и Луций Кассий, были бездарные люди. Лентул был заурядный аристократ, хвастливый и с большими претензиями, но туго соображавший и нерешительный; Автроний ничем не выделялся, кроме своего громкого голоса; что же касается Луция Кассия, то никто не мог понять, каким образом такой тучный и простоватый человек оказался заговорщиком. Более способных из своих соучастников, как молодого сенатора Гая Цетегу и всадников Луция Статилия и Публия Габиния Капитона, Катилина не осмеливался поставить во главе заговора, так как и среди заговорщиков сохраняла силу традиционная социальная иерархия, и даже анархисты не считали возможным добиться торжества, если во главе их не будет стоять консуляр или по крайней мере бывший претор. Вследствие этого, как ни звала к себе армия мятежников своего предводителя и как ни опасно было для него оставаться долее в столице, Катилина решил, однако, остаться пока в Риме. Привыкнув импонировать робким противникам своей дерзостью и задором, он показывался в общественных местах, как на форуме, так и в сенате, и на сыпавшиеся там на него угрозы отвечал просьбой не доводить его до крайности, так как тот, у кого подожгли дом, вынужден тушить пожар развалинами. И действительно, ни частные лица, ни власти не решались трогать этого опасного человека. Один молодой аристократ вызвал его, правда, в суд по обвинению в насилии, но это не имело практического значения, так как все должно было решиться в другом месте, задолго до окончания этого процесса.

Замыслы Катилины не удались, однако, главным образом потому, что агенты правительства проникли в круг заговорщиков, так что оно всегда было осведомлено обо всех подробностях заговора. Когда, например, заговорщики появились перед укрепленным городом Пренесте (1 ноября), которым они надеялись завладеть путем неожиданного нападения, население оказалось уже предупрежденным и было вооружено. Подобным же образом не удалось и все остальное. Несмотря на всю свою смелость, Катилина нашел теперь нужным назначить свой отъезд на один из ближайших дней; но до этого в последнем собрании заговорщиков, ночью с 6 на 7 ноября, по его настоянию было решено еще до отъезда вождя убить консула Цицерона, главного противника заговора, и во избежание измены немедленно осуществить это постановление.

Ранним утром 7 ноября назначенные для этого убийцы действительно стучались в дом консула, но увидели, что стража усилена, и удалились сами — и на этот раз правительственные шпионы опередили заговорщиков. На следующий день (8 ноября) Цицерон созвал сенат. Катилина еще раз дерзнул появиться здесь и попытался защититься от гневных нападок консула, рассказавшего в его присутствии о событиях последних дней, но Катилину уже больше не слушали, и скамьи пустели близ того места, где он сидел.

Катилина покинул собрание и, согласно уговору, отправился в Этрурию, что он, впрочем, сделал бы, несомненно, и без этого происшествия. Здесь Катилина провозгласил себя консулом и занял выжидательную позицию, чтобы при первом известии о начале восстания в столице двинуть туда свои войска. Правительство объявило обоих вождях восстания, Катилину и Манлия, а также тех из их сторонников, которые не сложат оружие к известному дню, вне закона и созвало новое ополчение, но во главе войска, отправленного против Катилины, был поставлен консул Гай Антоний, человек, заведомо замешанный в заговоре и отличавшийся таким характером, что только от случая зависело, поведет ли он свои войска против Катилины или примкнет к нему. Казалось, что Антония кто-то сознательно хотел сделать вторым Лепидом. Равным образом против оставшихся в столице вожаков заговора было предпринято очень мало, хотя все указывали на них пальцами, и они вовсе не отказались от мысли поднять восстание в столице; напротив, план этого восстания был составлен Катилиной до отъезда его из Рима. Сигнал к нему должен был подать один из трибунов созывом народного собрания; следующей ночью Цетег должен был убрать с пути консула Цицерона, а Габиний и Статилий должны были поджечь город в 12 местах сразу; тем временем должно было подоспеть войско Катилины, с которым нужно было как можно скорее установить связь. Если бы помогли настойчивые увещания Цетега и Лентул, поставленный после отбытия Кати-

лины во главе заговорщиков, решился бы быстро нанести удар, заговор мог бы удался даже теперь. Но заговорщики были так же бездарны и трусливы, как и их противники. Проходили недели, а дело все не приближалось к развязке.

Наконец, решение было вызвано контрминой. Медлительный и склонный прикрывать свои упущения в том, что было самым срочным и необходимым, составлением обширных планов, направленных на отдаленные цели, Лентул вступил в сношения с находившимися в Риме депутатами кельтского племени аллоброгов; он пытался запутать в заговор этих представителей совершенно расшатанного общественного организма, к тому же лично обремененных долгами, и даже дал им при отъезде гонцов и письма к доверенным лицам. Аллоброги оставили Рим, но в ночь со 2 на 3 декабря они были задержаны римскими властями у самых городских ворот и все бумаги их были отобраны. Оказалось, что аллоброгские депутаты были шпионами римского правительства и вели переговоры только с тем, чтобы добыть для правительства необходимый ему материал против руководителей заговора. На следующее утро Цицерон в величайшей тайне издал распоряжение об аресте опаснейших вожаков, что и было исполнено относительно Лентула, Цетега, Габиния и Статилия, между тем как некоторые другие спаслись от ареста бегством. Виновность как арестованных, так и бежавших была вполне очевидна. Тотчас же после ареста сенату были представлены отобранные письма, печати и почерк которых арестованные не могли не признать, и были выслушаны показания заключенных и свидетелей. Вскоре обнаружилось дальнейшие доказательства их виновности: склады оружия в домах заговорщиков и часто повторяемые ими угрозы. Факт заговора был полностью доказан с соблюдением всех требований закона, и важнейшие документы были по распоряжению Цицерона немедленно опубликованы в летучих листках.

Заговор анархистов вызвал всеобщее озлобление. Олигархическая партия охотно использовала бы разоблачение его, для того чтобы свести счеты с демократами вообще и в особенности с Цезарем, но она уже была слишком слаба, чтобы суметь исполнить это и покончить с ними так же, как некогда с обоими Гракхами и Сатурнином, и этому желанию не суждено было исполниться. Столичная толпа были особенно возмущена поджогами, предполагавшимися заговорщиками. Купечество и вся партия материальных интересов поняли, конечно, что в этой войне должников с кредиторами речь шла об их существовании; молодежь этого круга в страшном возбуждении толпилась возле курии с оружием в руках, угрожая всем тайным и явным сторонникам Катилины. Заговор был, действительно, на время парализован; хотя некоторые зачинщики его и были еще, быть может, на свободе, все же весь штаб заговорщиков, те, которым было поручено

выполнение замысла, были либо захвачены, либо бежали; отряд же, собранный близ Фезул, не мог добиться больших результатов, не будучи поддержан восстанием в столице.

В сколько-нибудь благоустроенном обществе политическая сторона дела этим и была бы исчерпана, и дальнейшее ведение его перешло бы в руки военных властей и суда. Но Рим дошел уже до того, что правительство не было даже в состоянии содержать под надежной стражей нескольких видных аристократов. Рабы и вольноотпущенники Лентула и остальных заключенных волновались. Рассказывали о каких-то планах освобождения их силой из-под ареста, которому они были подвергнуты в их собственных домах. Благодаря анархическим проискам последних лет в Риме не было недостатка в вожаках шаек, бравших на себя по определенной таксе устройство бунтов и совершение насильственных актов. Наконец, Катилина был уведомлен о происшедшем и находился достаточно близко, чтобы решиться со своим отрядом на какой-либо смелый шаг. Невозможно решить, сколько было правды во всех этих слухах, но опасения были основательны, так как согласно конституции правительство не располагало в столице ни войсками, ни даже сколько-нибудь внушительной полицейской силой. Громко высказывалась мысль о предотвращении каких-либо попыток освобождения заключенных их немедленной казнью. С точки зрения закона это было невозможно. На основании освященного веками права провокации только народное собрание — и никакая другая власть — могло приговорить римского гражданина к смерти, а с тех пор как суд народного собрания превратился лишь в памятник старины, смертные приговоры больше не выносились. Цицерон охотно отклонил бы это опасное предложение; как ни безразличен был бы для него вопрос о праве, он отлично знал, что ему как адвокату полезно слыть либералом, и чувствовал мало желания навсегда запятнать себя этой кровью в глазах демократической партии. Но его близкие, в особенности его аристократка-жена, настаивали, чтобы он увенчал свои заслуги перед отечеством этим смелым поступком. Консул, как и все трусы, страшно боявшийся обнаружить свою трусость, а вместе с тем трепетавший перед огромной ответственностью, созвал сенат и предоставил ему решить вопрос о жизни и смерти четырех заключенных. Правда, это не имело никакого смысла, так как сенат на основании конституции еще меньше имел права вынести подобное решение, чем сам консул, и ответственность по закону все-таки падала на него, но когда же трусость была последовательна? Цезарь приложил все усилия, чтобы спасти заключенных. Речь его, полная угроз и намеков на будущую неизбежную месть демократии, произвела очень сильное впечатление. Хотя все консуляры и значительное большинство сенаторов высказались уже за казнь, многие из них, включая Цицерона, стали теперь склоняться к соблю-

дению законных форм. Но когда Катон как истый крючоктвор заподозрил защитников более мягкого решения в сообщничестве с заговорщиками и указал, что готовится освобождение заключенных посредством уличного бунта, ему удалось нагнать этим новый страх на колебавшихся и склонить большинство к немедленной казни преступников.

Исполнение этого постановления подлежало, разумеется, ведению консула, который добился его принятия. Поздним вечером 5 декабря заключенные были взяты из их прежних помещений и через форум, все еще переполненный народом, доставлены в тюрьму, где содержались приговоренные к смерти преступники. Это был сводчатый подвал 12 футов глубины, находившийся у подножия Капитолия и служивший прежде колодцем. Сам консул вел Лентула, остальных — преторы; все они были окружены сильной стражей, но ожидавшаяся попытка освобождения заговорщиков не состоялась. Никто не знал, ведут ли заключенных в более надежное место или на казнь. У дверей темницы они были переданы триумвирам, руководившим совершением казни, и при свете факелов задушены в подземелье. Консул ожидал за дверью окончания казни и потом на всю площадь провозгласил своим громким, всем хорошо знакомым голосом, обращаясь к стоявшей в молчании толпе: «Они умерли!» До самой глубокой ночи толпы людей двигались по улицам, восторженно приветствуя консула, в котором они видели человека, обеспечившего за ними обладание их домами и имуществом. Сенат назначил публичные благодарственные празднества, а виднейшие люди аристократии — Марк Катон и Квинт Катул — приветствовали виновника смертного приговора впервые произнесенным тогда именем «отца отечества».

Но это было страшное дело, тем более страшное, что оно казалось целому народу великим и заслуживающим похвалы. Никогда еще никакое государство не обнаруживало своей несостоятельности более жалким образом, чем это сделал Рим так хладнокровно принятым большинством правительства и одобренным общественным мнением решением поспешно казнить нескольких политических заключенных, которые хотя и подлежали по закону наказанию, но никак не лишению жизни, причем казнены они были только потому, что нельзя было доверять надежности тюрем и не было достаточно полицейских. Юмористической чертой, без которой редко обходятся исторические трагедии, было то, что этот акт самой грубой тирании был совершен самым невыдержанным и боязливым из всех римских государственных деятелей и что именно «первый демократический консул» был избран, чтобы разрушить оплот римской республиканской свободы — право обращения к суду народного собрания.

После того как заговор был подавлен в столице прежде, чем он успел вспыхнуть, оставалось еще покончить с восстанием в Этрурии.

Двухтысячный отряд, который застал там Катилина, успел вырасти в пять раз благодаря стекавшимся многочисленным волонтерам и состоял уже из двух довольно полных легионов, но только около четверти их состава было достаточно вооружено. Катилина укрылся с ними в горах, избегая сражения с войсками Антония, чтобы закончить организацию своих отрядов и выждать восстания в Риме. Но известие о неудаче его рассеяло и армию мятежников, множество менее скомпрометированных тотчас же вернулись домой. Оставшиеся более решительные или, вернее, отчаянные люди сделали попытку пробиться через апеннинские проходы в Галлию, но когда этот маленький отряд прибыл к подножию гор возле Пистории (Пистойя), он оказался между двумя армиями. Перед ним находился отряд Квинта Метелла, прибывший из Равенны и Аримина с целью занять северные склоны Апеннин, а позади него — армия Антония, который уступил наконец настояниям своих офицеров и согласился на зимний поход. Катилина был зажат с обеих сторон, припасы его подходили к концу; ему ничего не оставалось делать, как только броситься на ближайшего противника, т. е. на Антония. В узкой долине, пролежавшей между скалистыми горами, произошел бой между мятежниками и войсками Антония, который под каким-то предлогом передал командование на этот день храброму, поседевшему в боях офицеру Марку Петрею, чтобы по крайней мере не производить самому расправу со своими бывшими союзниками. Условия местности были таковы, что превосходство сил правительственной армии имело мало значения. Катилина, как и Петрей, поставил в передние ряды своих надежнейших солдат; пощады не давали никому, и никто не просил о ней. Долго продолжалась борьба, и с обеих сторон пало много храбрых людей. Катилина, отославший в самом начале боя своего коня и лошадей своих офицеров, доказал в этот день, что природа создала его для дел чрезвычайных и что он умел повелевать, как полководец, и сражаться, как солдат. Наконец, Петрей прорвал со своей гвардией центр противника и, опрокинув его, атаковал оба фланга, что и обеспечило победу. Трупы приверженцев Катилины — их насчитывали до 3 тыс. — рядами покрыли поле сражения; офицеры и сам командующий, видя, что все потеряно, искали себе смерти, бросившись на врага, и нашли ее (начало 692 г.). Антоний за эту победу получил от сената как бесчестящее клеймо титул императора, и новые благодарственные празднества показали, что и правительство и управляемые начали уже привыкать к гражданской войне.

Итак, заговор анархистов был подавлен в столице и в Италии кровавым насилием, о нем напоминали только уголовные процессы, опустошившие ряды приверженцев побежденной партии в Этрурии и в самом Риме, да еще разраставшиеся разбойничьи шайки вроде, например, той, которая составила из остатков войск Спартака и Кати-

лины и была уничтожена в 694 г. в области Фурий силой оружия. Нужно, однако, иметь в виду, что удар коснулся не одних только анархистов, сговорившихся поджечь столицу и сражавшихся при Пистории, но и всей демократической партии. Что эта партия, в особенности же Красс и Цезарь, была замешана здесь, так же как и в заговоре 688 г., должно считаться если не юридически, то исторически установленным фактом. Конечно, только партийным пристрастием могло рассматриваться, что Катул и другие главари сенатской партии уличали вождя демократов в сообщничестве с анархистским заговором, а также что он высказывался и голосовал в сенате против задуманного олигархией грубого и незаконного убийства, как доказательство его участия в планах Катилины. Но гораздо большее значение имеет ряд других фактов. Имеются определенные и неоспоримые свидетельства того, что именно Красс и Цезарь главнейшим образом поддерживали кандидатуру Катилины на должность консула. Когда Цезарь в 690 г. привлек к суду по делам об убийствах клеветов Суллы, он добился осуждения всех их, и только Катилина, самый виновный и опасный, был оправдан. В своих разоблачениях 3 декабря Цицерон не назвал, правда, в числе ставших ему известными заговорщиков обоих самых влиятельных лиц, но несомненно, что доносчики указывали не только на тех, относительно которых впоследствии производилось следствие, но, кроме того, и на «многих невинных», имена которых консул Цицерон счел нужным вычеркнуть из списка, и в позднейшие годы, когда он не имел уже больше причин скрывать истину, он прямо называл Цезаря в числе знавших о заговоре. Косвенное, но вполне ясное указание на их вину заключается и в том, что из четырех арестованных 3 декабря двое наименее опасных — Статилий и Габиний — были отданы под надзор сенаторов Цезаря и Красса; очевидно, этим хотели либо скомпрометировать их перед общественным мнением как соучастников заговора, если бы они дали им бежать, либо поссорить их с заговорщиками, дав повод считать их изменниками, если бы они действительно заперли заключенных. Характерна для положения дел следующая сцена, имевшая место в сенате. Тотчас после ареста Лентула и его сообщников агентами правительства был схвачен отправленный столичными заговорщиками к Катилине гонец, который дал в собрании сената исчерпывающие доказательства, так как ему было обещано, что он не будет подвергнут наказанию. Однако, когда он дошел до самой щекотливой части своего признания и заявил, что действовал по поручению Красса, сенаторы прервали его, и по предложению Цицерона было постановлено кассировать это показание, не производя дальнейшего расследования, а его самого, несмотря на обещанную ему амнистию, заключить в тюрьму, пока он не только откажется от своих показаний, но и назовет того, кто предострекнул его показывать ложно. Отсюда ясно, как

хорошо разбирался в обстановке тот, кто в ответ на предложение выступить против Красса сказал, что у него нет охоты раздражать быка среди стада. Ясно также и то, что сенаторское большинство во главе с Цицероном согласилось между собой не допускать разоблачений дальше известной границы. Но широкая публика не была так осторожна. Молодые люди, взявшиеся за оружие против поджигателей, были в особенности возмущены Цезарем; 5 декабря, когда он выходил из сената, они обратили свои мечи против него, и он едва не лишился жизни на том самом месте, где его поразил смертельный удар 17 лет спустя. Долгое время он не появлялся более в курии. Тот, кто беспристрастно рассмотрит весь ход заговора, не сможет преодолеть подозрения, что в течение всего этого времени за спиной Катилины стояли более могущественные люди, которые, пользуясь отсутствием достаточных доказательств, а также равнодушием и трусостью сенаторского большинства, только наполовину осведомленного и жадно хватавшегося за всякий повод к бездействию, сумели помешать серьезному выступлению властей против заговора, обеспечить вождю мятежников возможность беспрепятственного ухода и добились даже того, что объявление войны и отправка войск против мятежников практически почти означали посылку к ним вспомогательной армии. Если самый ход событий свидетельствует, таким образом, что нити заговора Катилины восходили гораздо выше его и Лентула, то, с другой стороны, показательно также, что гораздо позднее, когда Цезарь стоял во главе государства, он поддерживал тесную связь с единственным уцелевшим еще из приверженцев Катилины — мавретанским партизанским вождем Публием Ситтием, и что он смягчил долговое право совершенно в том духе, как того требовали воззвания Манлия.

Все эти улики достаточно говорят за себя; но даже если бы их не было, то безнадежное положение демократии по отношению к военной власти, грозно утверждавшейся рядом с ней со времени издания законов Габиния и Манилия, само по себе делает почти несомненным, что она, как всегда бывает в подобных случаях, искала последней опоры в тайных заговорах и в союзе с анархией. Обстоятельства очень напоминали эпоху Цинны. Помпей занимал на Востоке такое же положение, как некогда Сулла, а Красс и Цезарь стремились противопоставить ему в Италии силу, аналогичную той, какой обладали Марий и Цинна, но с тем чтобы использовать ее затем по возможности лучше их. Средством для этого должны были опять послужить террор и анархия, а Катилина был, бесспорно, самым подходящим человеком для таких дел. Разумеется, более почтенные из демократических вождей старались оставаться при этом в тени, предоставляя своим менее чистоплотным единомышленникам всю грязную работу, политические плоды которой они надеялись впоследствии присвоить себе. Когда же предприятие не удалось, то, конечно, высо-

копоставленные участники его приложили все усилия, чтобы скрыть свою прикосновенность к нему. И в более позднее время, когда бывший конспиратор сам стал мишенью для политических заговорщиков, на эти темные годы в жизни великого человека была именно поэтому наброшена еще более плотная завеса, и в этом духе писались даже специальные апологии его*.

Целых пять лет стоял уже Помпей во главе своей армии и флота, целых пять лет демократия составляла в Риме заговоры с целью его свержения. Результаты были неутешительны. Несмотря на все усилия, демократы не только ничего не добились, но понесли огромный материальный и моральный ущерб. Уже коалиция 683 г. должна была вызвать недовольство убежденных демократов, хотя демократия вступила тогда в союз только с двумя влиятельными людьми противной партии, которые к тому же признали ее программу. Теперь же демократическая партия действовала сообща с шайкой убийц и банкротов, причем почти все они были перебежчиками из аристократического лагеря, и, по крайней мере временно, приняла их программу, т. е. терроризм Цинны. Это вызвало отчуждение между демократией и партией материальных интересов, бывшей одним из главных элементов коалиции 683 г. и брошенной теперь в объятия оптиматов и вообще всякой силы, которая могла бы служить защитой от анархии. Даже столичная чернь, ничего не имевшая, правда, против уличных беспорядков, но все же находившая неудобным, чтобы поджигали дома, под крышей которых она живет, была несколько смущена. Примечательно, что именно в этом году (691) были полностью восстановлены семпрониевы законы, что было постановлено сенатом по предложению Катона. Очевидно, союз демократических вождей с анархистами создал преграду между ними и римским народом, и олигархия не без некоторого успеха стремилась углубить этот разрыв и привлечь массы на свою сторону. Наконец, все эти заговоры отчасти предупреди-

* Такой апологией является сочинение Саллюстия «Катилина», опубликованное автором, заведомым цезарианцем, после 708 г., либо по время единодержавия Цезаря, либо — что гораздо вероятнее — при втором триумvirате, и представляющее собой тенденциозный политический трактат, старающийся реабилитировать демократическую партию, на которую опиралась римская монархия, и снять с памяти Цезаря самое темное пятно, а также обелить по возможности дядю триумвира Марка Антония (ср., например, гл. 59 с Дионом Кассием, 37, 39). Точно так же «Югурта» Саллюстия должен, с одной стороны, показать все убожество олигархического режима, а с другой — возвеличить корифея демократии Гая Мария. То, что автору удалось замаскировать апологетический или обвинительный характер этих своих произведений, отнюдь не доказывает, что они не были написаны в интересах известной партии, а свидетельствует лишь, что они написаны хорошо.

ли, а отчасти озлобили Помпея; после всего случившегося, после того как сама демократия почти порвала связи, соединявшие ее с Помпеем, ей уже нечего было надеяться, как она имела основание ожидать в 684 г., что он не употребит свой меч для уничтожения демократической власти, которая его выдвинула и утверждению которой он сам способствовал. Таким образом, демократия была дискредитирована и ослаблена, но, что хуже всего, она стала смешной вследствие беспощадного разоблачения ее неспособности и бессилия. Она была сильна, когда дело шло об унижении свергнутого правительства и о подобных мелочах, но каждая ее попытка добиться какого-нибудь действительного политического успеха кончалась жалким фиаско. Отношение демократов к Помпею было столь же фальшиво, как и недостойно. Осыпая его похвалами и почестями, они в то же время плели против него одну за другой интриги, которые немедленно лопались сами собой, как мыльные пузыри. Проконсул Востока и морей, вместо того чтобы защищаться от этих происков, казалось, даже не замечал всей этой возни и одерживал победы над демократией, как Геркулес над пигмеями, сам того не замечая. Попытка разжечь гражданскую войну позорно провалилась; и если анархистская фракция обнаружила хотя бы некоторую энергию, то чистая демократия сумела, правда, нанять шайки, но не была в состоянии ни руководить ими, ни спасти их, ни умереть вместе с ними. Даже дряхлая от старости олигархия, которой придали силы перешедшие к ней из рядов демократии массы, и прежде всего сознание несомненного тождества в данном случае ее интересов с интересами Помпея, сумела побороть эту революционную попытку и одержать, таким образом, еще одну, последнюю победу над демократией.

Тем временем умер царь Митридат. В Малой Азии и Сирии был восстановлен порядок, возвращения Помпея в Италию можно было ожидать со дня на день. Развязка приближалась; но была ли еще нужда в каком-либо решении, когда с одной стороны стоял полководец, возвращавшийся в ореоле небывалой славы и могущества, а с другой стороны — беспримерно униженная и совершенно бессильная демократия? Красс собирался на кораблях искать пристанища со своей семьей и своим золотом где-нибудь на Востоке; даже Цезарь, несмотря на свою гибкую и энергичную натуру, считал, казалось, игру проигранной. В этом году (691) он и выставил свою кандидатуру на должность верховного понтифика; покидая утром в день выборов свой дом, он заявил, что, если и тут его постигнет неудача, он не переступит более через порог этого дома.



Глава VI

Отступление Помпея и коалиция претендентов

Когда Помпей, выполнив возложенные на него поручения, снова обратил свои взоры на родину, он во второй раз увидел царский венец у своих ног. Развитие римской государственности давно уже склонялось к подобной катастрофе; каждому беспристрастному наблюдателю было очевидно — и об этом говорилось тысячу раз, — что, если наступит конец господству аристократии, станет неизбежной монархия. Теперь сенат был низвергнут совместно гражданской либеральной оппозицией и военной силой, и все дело сводилось лишь к тому, чтобы найти для нового строя людей, названия и формы, довольно ясно, впрочем, намеченные частью демократическими, а частью военными элементами переворота. События последних пяти лет наложили как бы последний отпечаток на предстоявшее переустройство государства. Во вновь организованных азиатских провинциях, воздавших своему устройщику царские почести как преемнику Александра Великого и даже его фаворитов-вольноотпущенников принимавших словно принцев крови, — в этих провинциях Помпей заложил основу своего господства и вместе с тем нашел там богатство, войско и славу, в которых нуждался будущий монарх Римской державы. Заговор анархистов в Риме и связанная с ним гражданская война достаточно убедительно показали каждому, кто преследовал какие-либо политические или хотя бы лишь материальные интересы, что правитель-

ство, лишенное авторитета и распоряжения военными силами, каким был сенат, обрекало государство на недостойную и опасную тиранию политических авантюристов и что такое изменение государственного строя, которое теснее связало бы военную власть с правительством, было неотложной необходимостью, если только общественному порядку суждено было дальнейшее существование. Таким образом, на Востоке явился повелитель, а в Италии был готов престол; казалось, что 692 год будет последним годом республики и первым годом монархии.

Но этой цели невозможно было, разумеется, достигнуть без борьбы. Существовавший полтысячелетие государственный строй, при котором незначительный город на Тибре достиг беспримерного могущества и великолепия, пустил корни на неведомую глубину, и невозможно было предвидеть, до каких слоев будет потрясено гражданское общество попыткой свержения этого строя. Помпей из-за великой цели опередил ряд своих соперников в соревновании, но не отстранил их окончательно, и было вполне возможно, что все эти элементы вступят в союз для низвержения нового властелина, так что Помпею придется иметь дело с коалицией Квинта Катула и Марка Катона — с Марком Крассом, Гаем Цезарем и Титом Лабиемом. Трудно было, однако, представить себе менее благоприятные обстоятельства для этой неизбежной и, несомненно, серьезной борьбы. Весьма вероятно было, что под свежим впечатлением восстания Катилины на сторону правительства, обещавшего обеспечить устойчивый порядок, хотя бы за это даже пришлось пожертвовать свободой, станет вся умеренная партия, в особенности купечество, преданное только своим материальным интересам, но также и большая часть аристократии, которая, будучи лишена единства и политического будущего, должна была считать себя довольной, если ей благодаря временной сделке с властелином удастся обеспечить себе богатство, положение и влияние; возможно, что и часть демократии, тяжело потерпевшей от последних событий, согласилась бы ожидать осуществления хотя бы некоторых своих требований от поднятого ею на щит полководца. Но какова бы ни была вообще политика партий, что значила она в Италии — по крайней мере в ближайшее время — по сравнению с Помпеем и его победоносной армией? За двадцать лет до этого Сулла, заключив компромиссный мир с Митридатом, мог со своими пятью легионами произвести противоречащую естественному ходу вещей реставрацию, несмотря на противодействие вооружавшейся в течение многих лет либеральной партии, начиная с умеренных аристократов и либерального купечества и кончая анархистами. Задача Помпея была гораздо легче. Он возвращался, полностью и добросовестно выполнив на суше и на море все, что ему было поручено. Он мог надеяться, что не встретит серьезной оппозиции ни с чьей стороны,

кроме различных крайних партий, из которых каждая в отдельности ничего не могла сделать и которые, даже соединившись, были только коалицией различных кружков, недавно еще горячо враждовавших друг с другом и раздираемых глубокими внутренними разногласиями. Совершенно не готовые к борьбе, они не имели ни армии, ни вождя, ни организации в Италии, ни опоры в провинциях, но главное — у них не было полководца; едва ли был в их рядах хоть один видный военный, не говоря уже об офицере, который решился бы призвать граждан к борьбе против Помпея. Нужно было также учитывать, что революционный вулкан, беспрерывно пылавший уже 70 лет и питавшийся собственным пламенем, явно выгорал и начинал уже угасать. Было весьма сомнительно, удастся ли теперь поднять италиков на вооруженную борьбу за интересы партии, как это удалось еще Цинне и Карбону. Если бы Помпей выступил, что могло бы ему помешать произвести государственный переворот, как бы в силу естественной необходимости предначертанный органическим развитием римской государственности?

Помпей сумел удачно выбрать момент, добившись назначения своего на Восток; казалось, что он и дальше будет действовать таким же образом. Осенью 691 г. прибыл в столицу из лагеря Помпея Квинт Метелл Непот и выступил кандидатом в народные трибуны с явным намерением на этом посту провести Помпея в консулы на 693 г., а сперва добиться специального постановления народного собрания о передаче ему командования в войне с Катилиной. Возбуждение в Риме было огромное. Несомненно было, что Непот действовал по прямому или косвенному поручению Помпея; желание Помпея появиться в Италии в качестве полководца во главе своих азиатских легионов и принять на себя одновременно высшую военную и гражданскую власть было понято как дальнейший шаг его на пути к престолу, а миссия Непота — как полуофициальное провозглашение монархии.

Все зависело от того, как отнесутся к этим планам обе крупнейшие политические партии; от этого зависело и их будущее положение и вся будущность нации. Но прием, оказанный Непоту, был в свою очередь обусловлен тогдашними отношениями партий к Помпею, которые были весьма своеобразны. Помпей отправился на Восток в качестве полководца демократии. Он имел достаточно оснований быть недовольным Цезарем и его окружением, но открытого разрыва между ними не произошло. По-видимому, Помпей, находившийся вдали и занятый другими делами, а также совершенно лишенный способности разбираться в политической обстановке, не понимал — по крайней мере в то время — размера и значения ведшихся против него демократами интриг и, быть может, в своем высокомерии и недальновидности даже гордился тем, что игнорировал эту мышиную возню. К тому же демократы никогда не забывали соблюдать внешнее уваже-

ние к великому человеку, что при характере Помпея имело очень большое значение, и даже теперь (в 691 г.) осыпали его на основании особого народного постановления неслыханными почестями и наградами и притом — как он любил — без всякого требования с его стороны. Но если бы даже всего этого не было, Помпей в своих собственных правильно понятых интересах должен был, хотя бы по видимости, продолжать идти с популярями; демократия и монархия находятся в такой тесной связи, что Помпей, стремясь к короне, почти вынужден был по-прежнему выдавать себя за поборника народных прав. Если, с одной стороны, политические и личные причины, несмотря на все случившееся, способствовали сохранению прежней связи между Помпеем и вождями демократии, то с противной стороны ничего не было сделано, чтобы засыпать пропасть, которая отделяла Помпея от его бывших единомышленников из сулланской партии с момента перехода его в лагерь демократии. Его личные нелады с Метеллом и Лукуллом распространились и на их многочисленных и влиятельных сторонников. Мелочная, но именно поэтому особенно неприятная для такого мелочного характера оппозиция сената преследовала Помпея на протяжении всей его карьеры полководца. Он чувствовал себя глубоко оскорбленным тем, что сенат ничего не сделал для того, чтобы по заслугам, т. е. исключительным образом, почтить в нем исключительного человека. Наконец, нельзя упускать из виду и того, что аристократия была тогда опьянена своей недавней победой, а демократия — глубоко унижена, и что аристократией руководил твердолобый упрямец и полушут Катон, а демократией — изворотливый мастер интриги Цезарь.

При таких обстоятельствах прибыл эмиссар, посланный Помпеем. Аристократия не только рассматривала предложения, сделанные им в интересах Помпея, как объявление войны существующему строю; но она публично обнаруживала это свое отношение к ним и не считала нужным скрывать свои опасения и злобу. Марк Катон добился своего избрания в народные трибуны вместе с Непотом, для того чтобы бороться с этими предложениями, и резко отвергал неоднократные попытки Помпея вступить с ним в личные сношения. Понятно, что после этого Непот не видел причин щадить аристократию и, напротив, тем охотнее примкнул к демократам, когда они со своей обычной гибкостью подчинились необходимости и предпочли добровольно дать Помпею должность военачальника в Италии и консульство, чем быть вынужденными уступить силе оружия. Это сердечное согласие обнаружилось очень скоро. В декабре 691 г. Непот публично заявил о своем согласии с точкой зрения демократов, что постановленные недавно сенатским большинством казни являются противозаконными убийствами; что его господин смотрел на это дело не иначе, доказывается его многозначительным молчанием, когда Цицерон

послал ему обширное оправдательное сочинение. С другой стороны, первым актом Цезаря в должности претора было привлечение к ответу Квинта Катула за якобы растраченные им при восстановлении Капитолийского храма суммы, а окончание постройки, или, скорее, его освящение, Цезарь поручил Помпею. Это был очень искусный ход. Катул занимался строительством храма уже шестнадцатый год и, казалось, был не прочь до самой смерти оставаться в должности главного смотрителя капитолийских построек; выступление против этого злоупотребления в общественной работе, прикрытого репутацией знатного лица, которому она была поручена, было, по существу, вполне обосновано и имело большой успех. Так как это к тому же давало Помпею возможность заменить своим именем имя Катула в этом почетнейшем месте первого города мира, то ему, таким образом, предлагалось именно то, что он выше всего ценил и что вместе с тем ничего не стоило демократии — обильные, но бессодержательные почести; притом это крайне восстанавливало против Помпея аристократию, которая никак не могла отречься от своего лучшего представителя.

Тем временем Непот сделал уже гражданству свои предложения относительно Помпея. В день голосования Катон и его друг и коллега Квинт Минуций заявили свое veto. Когда Непот, не обращая на это внимания, продолжал оглашение предложения, дело дошло до настоящей рукопашной схватки. Катон и Минуций накинулись на своего коллегу и заставили его остановиться; вооруженный отряд освободил его и прогнал с форума аристократическую фракцию, но Катон и Минуций вернулись, сопровождаемые в свою очередь вооруженными людьми, и в конце концов удержали поле сражения за сторонниками правительства. Ободренный этой победой своей банды над противником, сенат постановил временно отстранить от должности трибуна Непота, а также претора Цезаря, оказывавшего ему посильную помощь при внесении законопроекта; сделанное в сенате предложение о смещении их было отведено Катоном больше вследствие его противозаконности, чем по нецелесообразности. Цезарь продолжал, однако, исправлять свою должность, не считаясь с постановлением об отстранении его, пока сенат не употребил против него силу. Как только это стало известно, перед его домом собралась толпа, предоставившая себя в его распоряжение; он имел теперь полную возможность начать уличную борьбу или по крайней мере снова выдвинуть предложения, сделанные Метеллом, и доставить Помпею желанное военное командование в Италии, но это не было в его интересах, и поэтому он уговорил толпу разойтись, после чего сенат отменил наложенное на него наказание. Непот покинул город немедленно после отстранения его от должности и отплыл в Азию, чтобы доложить Помпею о результатах своей миссии.

Помпей имел все основания быть довольным таким оборотом дел. Путь к престолу неизбежно вел через гражданскую войну, и благодаря неисправимой несуразности Катона он мог теперь начать ее с полным правом. После противозаконной казни приверженцев Катилины и неслыханного насилия над народным трибуном Метеллом Помпей мог вести эту войну одновременно и против аристократии в качестве защитника обоих устоев римской республиканской свободы, права провокации и неприкосновенности народного трибуната, и против банды Катилины — в качестве поборника порядка. Казалось почти невозможным, чтобы Помпей упустил этот случай и добровольно поставил себя вторично в такое же невыносимое положение, в каком он оказался благодаря роспуску своей армии в 684 г. и из которого его освободил лишь закон Габиния. Однако, как ни благоприятны были условия для того, чтобы венчать себя диадемой, как ни стремилась к этому его душа, когда нужно было сделать решительный шаг, ему опять изменяли рука и сердце. Этот человек, совершенно заурядный во всем, кроме своих притязаний, охотно поставил бы себя вне закона, если бы это можно было сделать, не покидая законной почвы. Это можно было предугадать уже по колебаниям его в Азии. Если бы он захотел, он легко мог бы еще в январе 692 г. появиться со своим флотом и войском в гавани Брундизия, где его встретил бы Непот. Промедление Помпея в Азии в течение всей зимы 691/692 г. имело то невыгодное для него последствие, что аристократия, ускорившая, конечно, по возможности поход против Катилины, справилась тем временем с его бандами, и тем самым был устранен удобнейший предлог для оставления в Италии азиатских легионов. Для человека, подобного Помпею, который за недостатком веры в себя и в свою звезду боязливо цеплялся в своей политической деятельности за формальное право и для которого предлог значил почти столько же, как и настоящий мотив, это обстоятельство имело серьезное значение. Помимо того он, вероятно, утешал себя тем, что, даже распустив свою армию, он не окончательно выпустит ее из рук и в случае необходимости скорее, чем всякий другой партийный вождь, сумеет собрать боеспособное войско, а также тем, что демократия в униженной позе лишь ожидает его знака, что с противодействием сената можно будет справиться и без армии, и еще другими подобными соображениями, в которых было как раз настолько правды, чтобы они могли показаться убедительными тому, кто хотел обмануть самого себя. Окончательное решение было, конечно, определено характером Помпея. Он принадлежал к числу людей, способных скорее на преступление, чем на нарушение дисциплины; настоящий солдат, он обладал всеми достоинствами и недостатками солдата. Выдающиеся личности уважают закон как нравственную необходимость, а заурядные — как традиционную, повседневную норму; именно поэтому военная дисципли-

лина, в которой более чем где-либо закон является как бы привычкой, сковывает каждого не обладающего твердой волей человека, точно каким-то волшебным заклинанием. Часто наблюдалось, что солдат, решившийся оказать неповиновение начальству, невольно возвращается в строй, как только раздается команда; этот инстинкт заставил колебаться Лафайета и Дюмурье в последнюю минуту перед нарушением присяги, и борьба с этим инстинктом была не по силам Помпею.

Осенью 692 г. Помпей отплыл в Италию. В то время как в столице все готовились к встрече нового монарха, пришло известие, что Помпей немедленно по прибытии в Брундизий распустил свои легионы и направился в столицу с незначительным конвоем. Если может считаться счастьем получить корону без труда, то ни одному смертному счастье не улыбалось так, как Помпею; но человеку, лишенному мужества, не поможет и милость богов.

Партии свободно вздохнули. Помпей вторично отступил; побежденные соперники могли теперь возобновить состязание, причем удивительнее всего было то, что и Помпей опять принимал в нем участие. В январе 693 г. он прибыл в Рим. Положение его было ложным, и за неловкие колебания его между партиями ему дали прозвище Гнея Цицерона. Он перессорился со всеми. Анархисты видели в нем противника, демократы — неудобного друга, Марк Красс — соперника, зажиточные слои — ненадежного покровителя, аристократия — явного врага*. Он все еще был могущественнейшим человеком в государстве; рассеянные по всей Италии преданные ему солдаты, влияние его в провинциях, в особенности на Востоке, его военная слава, огромное богатство — все это давало ему такое значение, как никому другому, однако вместо восторженной встречи, на которую он рассчитывал, он нашел лишь более чем холодный прием, и еще более холодно отнеслись в Риме к его притязаниям. Он требовал для себя, как он заявил уже через Непота, вторичного избрания в консулы, затем, разумеется, утверждения всех сделанных им на Востоке распоряжений и исполнения данного им своим солдатам обещания наделить их землей. Против этого возникла в сенате систематическая оппозиция, черпавшая свою силу преимущественно в личном раздражении Лукулла и Метелла Критского, в старой злобе Красса и добросовестной глупости Катона. Во вторичном консульстве, которого желал Помпей, ему было немедленно и категорически отказано. Равным

* Впечатление первой речи, с которой Помпей обратился к гражданам после своего возвращения, описывается Цицероном следующим образом (Ad Att., 1, 14): «*prima conitio Pompei non iucunda miseris (черни), inanis improbis (демократам), beatis (зажиточным) non grata, bonis (аристократам) non gravis; itaque frigebat*».

образом первая просьба, с которой обратился к сенату возвращавшийся полководец, а именно отсрочка выборов в консулы до прибытия его в столицу, была отвергнута. Еще менее можно было надеяться, чтобы сенат допустил изъятие из закона Суллы относительно переизбрания. Помпей требовал, конечно, утверждения в целом всех сделанных им в восточных провинциях распоряжений, но Лукулл добился отдельного обсуждения и голосования каждого мероприятия, что предоставляло простор для бесконечных придирок и множества отрицательных вотумов по отдельным вопросам. Обещание о наделении солдат азиатской армии землей было, правда, в основном утверждено сенатом, но вместе с тем распространено и на критские легионы Метелла и, что еще хуже, не было выполнено, так как государственная казна была пуста и сенат не был намерен употребить для этого государственные земли. Потеряв надежду побороть упорную и коварную оппозицию сената, Помпей обратился к гражданству. Но здесь он действовал еще более неловко. Демократические вожаки, хотя и не противились ему открыто, не имели, однако, никаких оснований считать его интересы своими и держались в стороне. Собственные же орудия Помпея, как, например, избранные благодаря его влиянию, а также его деньгам консулы Марк Пупий Пизон (693) и Луций Афраний (694), оказались людьми неумелыми и непригодными. Когда, наконец, народный трибун Луций Флавий предложил гражданству общий аграрный закон, предусматривавший наделение землей ветеранов Помпея, то это предложение, не поддержанное демократами и натолкнувшееся на открытое противодействие аристократов, не собрало большинства (начало 694 г.). Высокопоставленный полководец почти униженно добивался теперь расположения масс; так, по его инициативе были отменены италийские пошлины на основании предложенного претором Метеллом Непотом закона (694). Но роль демагога Помпей разыгрывал неумело и неудачно; это лишь уменьшало его престиж, и он не достигал того, чего хотел. Он окончательно запутался. Один из его противников, характеризуя политическое положение Помпея, сказал, что он пытается «в молчании сохранить свой вышитый плащ триумфатора». И действительно, ему оставалось только предаваться бессильному раздражению.

В это время представилась новая комбинация. Вождь демократической партии деятельно использовал в своих интересах политическое затишье, наступившее после отречения прежнего властелина. Когда Помпей вернулся из Азии, Цезарь значил лишь немногим больше Катилины: он был главой политической партии, превратившейся почти в организацию заговорщиков, и к тому же человеком разоренным. Но с тех пор, по окончании срока своей претуры (692), он стал наместником Дальней Испании и получил благодаря этому возмож-

ность, с одной стороны, уплатить свои долги, а с другой стороны, положить начало своей военной славе. Его старый друг и союзник Красс, надеявшийся найти в Цезаре опору против Помпея, которой он лишился в лице Пизона, согласился еще до отъезда его в провинцию освободить его от самой обременительной части долгов. Сам же Цезарь энергичным образом воспользовался своим непродолжительным пребыванием в Испании. Возвратившись оттуда в 694 г. с переполненными денежными сундуками и с обоснованными притязаниями на триумф в качестве императора, он стал добиваться консульства на следующий год, и когда сенат отказал ему в разрешении выставить свою кандидатуру заочно, немедленно отказался ради этой должности от чести триумфа. Демократия уже в течение ряда лет стремилась к передаче высшей магистратуры в руки одного из своих приверженцев, чтобы таким путем приобрести собственную военную силу. Люди вдумчивые, без различия взглядов, давно уже поняли, что спор партий может быть разрешен не гражданской борьбой, а только военной силой. Судьба коалиции между демократией и могущественными военными вождями, положившей конец господству сената, с неоспоримой ясностью доказала, что всякий такой союз в конечном счете сводится к подчинению гражданских элементов военным и что популярам, если они действительно хотят достигнуть власти, нужно не вступать в союз с чуждыми и даже враждебными им генералами, а сделать военачальниками своих собственных вождей. Направленные к этой цели попытки провести Катилину в консулы, приобрести военную базу в Испании или в Египте не удались; теперь же демократии представлялась возможность доставить своему важнейшему деятелю консульство и консульскую провинцию нормальным законным путем и добиться независимости от сомнительного и опасного союзника — Помпея, создав свою собственную демократическую армию.

Но чем настоятельнее становилось для демократии вступление на этот путь, не только самый надежный, но единственный, суливший серьезный успех, тем вернее она могла рассчитывать на решительное сопротивление своих политических противников. Все зависело от того, кто именно станет ей поперек пути. Аристократия сама по себе была не страшна; тем не менее недавнее дело Катилины показало, что и аристократия все же была на что-нибудь способна там, где ее более или менее открыто поддерживали представители материальных интересов и сторонники Помпея. Она сумела неоднократно воспрепятствовать избранию Катилины в консулы, и было несомненно, что она попытается точно так же поступить и с Цезарем. Но если бы даже Цезарь и был избран наперекор аристократии, то одного избрания было недостаточно. Ему нужно было хотя бы несколько лет беспрепятственной деятельности вне Италии, чтобы создать себе проч-

ную военную опору, но аристократия не упустит, конечно, в этот подготовительный период ни одного случая, чтобы помешать осуществлению его планов. Поэтому возникла мысль, не удастся ли опять изолировать аристократию, как было сделано в 683/684 г., и создать между демократами и их союзником Крассом, с одной стороны, и Помпеем и высшим финансовым миром — с другой, коалицию, опирающуюся на общие интересы. Однако для Помпея это означало бы политическое самоубийство. Все его значение в государстве было основано до сих пор на том, что он был единственным из партийных вождей, располагавшим вместе с тем легионами, хотя и распущенными в это время, но все же до известной степени бывшими в его распоряжении. План демократов заключался как раз в том, чтобы лишить его этого преимущества и создать ему военного соперника в лице их же собственного вождя. Он никак не мог согласиться на это, в особенности же на то требование, чтобы он сам помог стать главнокомандующим такому человеку, как Цезарь, который доставил ему достаточно хлопот, будучи простым политическим агитатором, и только что блестяще доказал в Испании свои военные способности. Но, с другой стороны, вследствие мелочной оппозиции сената и равнодушия масс к Помпею и его стремлениям, положение его, в особенности по отношению к его старым солдатам, стало настолько невыносимым и унижительным, что при его характере можно было надеяться на присоединение его к подобной коалиции ценой избавления от этого неприятного положения. Что же касается так называемой партии всадников, то она всегда была на стороне силы, и само собой разумелось, что она не заставит долго ждать себя, увидев, что Помпей и демократы снова заключили прочный союз. К тому же крупные финансисты опять находились в это время в сильнейшем конфликте с сенатом из-за весьма, впрочем, похвальной строгости Катона по отношению к откупщикам налогов.

Так была заключена летом 694 г. вторая коалиция. Цезарю было обеспечено избрание в консулы на следующий год, а затем — наместничество. Помпею обещали утверждение сделанных им на Востоке распоряжений и наделение солдат азиатской армии землей; всадникам Цезарь тоже посулил, что добьется для них у гражданства того, в чем им отказывал сенат; наконец, Красс, как неизбежный член коалиции, также считался участником союза, не получив, впрочем, за свое присоединение, от которого он не мог отказаться, никаких определенных обещаний. Коалиция 694 г. была заключена между теми же самыми элементами, даже теми же лицами, что и осенью 683 г.; однако насколько различно было положение партии тогда и теперь! Тогда демократия была только политической партией, а союзники ее — победоносными полководцами, стоявшими во главе своих армий; те-

перь же вождем демократов был увенчанный победой и исполненный обширных военных замыслов император, а союзниками их — отставные полководцы без армий. Тогда демократия победила в принципиальных вопросах и этой ценой уступила обоим своим союзникам высшие государственные должности; теперь она стала практичнее и оставляла высшую гражданскую и военную власть за собой, сделав союзникам уступки лишь по второстепенным вопросам, причем — что особенно характерно — не было даже уважено старое требование Помпея о вторичном консульстве. Тогда демократия отдавалась в руки своих союзников; теперь они должны были довериться ей. Все обстоятельства совершенно изменились, но больше всего изменился характер самой демократии. Правда, она с самого начала своего содержания в себе некоторую монархическую основу, но политическим идеалом, представлявшимся в более или менее ясных очертаниях ее лучшим умам, оставалась все же гражданская община, периклов государственный строй, в котором власть монарха основана на том, что он является благороднейшим и совершеннейшим представителем гражданства и лучшая часть народа признает его таковым. Цезарь также исходил из подобных воззрений, но это были идеальные понятия, которые могут, правда, воздействовать на действительность, но не могут быть целиком воплощены в жизнь. Ни простая гражданская власть, которой обладал Гай Гракх, ни вооружение демократической партии, которое, хотя и очень неудовлетворительным образом, пытался провести Цинна, не могли надолго сохранить за собой преобладание в Римском государстве; военная же машина, служащая не какой-либо партии, а своему полководцу, грубая власть кондотьеров, впервые выступившая на арену в качестве орудия реставрации, скоро обнаружила свое превосходство над всеми политическими партиями. Сам Цезарь имел возможность практически убедиться в этом в процессе партийной борьбы, и таким образом в нем созрел роковой замысел поставить эту военную машину на службу своим идеалам и создать путем насилия то гражданское общество, которое представлялось его умственному зору. С этим намерением заключил он в 683 г. союз с полководцами противной партии, приведший, несмотря на то, что они приняли демократическую программу, демократию и самого Цезаря на край гибели. С тем же намерением он сам выступил одиннадцать лет спустя в роли кондотьера. В обоих случаях это делалось с некоторой наивностью, с искренней верой в возможность основать свободное общество при помощи если не чужого, то хотя бы своего собственного меча. Нетрудно видеть, что эта надежда не оправдалась, так как тот, кто хочет заставить злого духа служить себе, становится в конце концов его слугой. Однако великие люди замечательны вовсе не тем, что они меньше всего ошибаются. Если же спу-

стя тысячелетия мы все еще благоговейно склоняемся перед тем, что хотел и сделал Цезарь, то причина этого не та, что он добивался короны и получил ее, — в чем, собственно, так же мало великого, как и в самой короне, — а та, что он никогда не забывал своего великого идеала свободного государства под главенством одного лишь лица и благодаря этому, даже достигнув монархической власти, не опустился до низкого царизма.

Объединившиеся партии без труда провели избрание Цезаря консулом на 695 г. Аристократам пришлось довольствоваться тем, что посредством исключительно дерзкого даже для этой эпохи глубочайшей коррупции подкупа избирателей, средства для которого были собраны среди всего господствовавшего сословия, удалось сделать коллегой Цезаря Марка Бибула, чья ограниченность и упрямство принимались в их среде за консервативную энергию. Если эти знатные господа не были вознаграждены за свои патриотические расходы, то это не было, конечно, виной Бибула.

Вступив в должность консула, Цезарь прежде всего предложил на обсуждение пожелания своих союзников, важнейшим из которых было наделение земель ветеранов азиатской армии. Составленный Цезарем для этой цели аграрный закон сохранял в общем основы внесенного годом раньше по предложению Помпея, но потерпевшего крушение законопроекта. Для раздачи назначались только италийские государственные земли, т. е., главным образом, область Капуи, а если этого окажется мало, и другие земли в Италии, которые должны были покупаться из доходов новых восточных провинций по оценке, обозначенной в цензовых списках. Таким образом, оставались неприкосновенными права всех земельных собственников и наследственных владельцев. Отдельные наделы были невелики. Наделению земель подлежали бедные граждане, имевшие не менее трех детей; опасный принцип, что отбытие военной службы даст право на земельный надел, не был выдвинут, но, что было вполне справедливо и делалось во все времена, старые солдаты, а также подлежавшие выселению временные арендаторы рекомендовались особенному вниманию раздавателей земель. Выполнение возлагалось на комиссию из 20 членов, в которую Цезарь категорически отказался быть избранным.

Оппозиции нелегко было выступать против этого предложения. Невозможно было на разумных основаниях отрицать, что государственная казна после учреждения провинций Понта и Сирии могла отказаться от арендных сумм, получаемых с Кампании; что изъятие из частного оборота одного из лучших округов Италии, особенно пригодного для мелкого землевладения, было недопустимо; наконец, что не давать Капуе муниципальных прав даже после того, как право гражданства было предоставлено всей Италии, столь же несправедливо,

как и смешно. Все предложение носило отпечаток умеренности, честности и солидности, с чем весьма искусно был соединен и демократичный партийный характер, так как в основном проект этот все же сводился к восстановлению основанной при Марии и упраздненной Суллой капуанской колонии. Форма, в которой были сделаны предложения Цезаря, также отличались возможной осторожностью. Проект аграрного закона, а также предложение об утверждении *in bloc* всех изданных Помпеем на Востоке распоряжений и петиция откупщиков налогов об уменьшении суммы откупа на одну треть были сперва внесены на рассмотрение сената, причем Цезарь согласился выслушать и обсудить всякого рода поправки. Коллегия имела теперь возможность убедиться, как глупо она поступила, толкнув Помпея и партию всадников в объятия противника благодаря своим отказам удовлетворить их требования. Быть может, это же тайное сознание вызвало со стороны родовитых сенаторов шумную, резко отличную от сдержанной манеры Цезаря оппозицию. Аграрный закон был просто отвергнут ими даже без обсуждения. Столь же немилостиво отнеслись они к постановлению относительно мероприятий Помпея в Азии. Что касается петиции откупщиков, то Катон, по дурному обычаю римского парламентаризма, пытался заговорить его до смерти, растянув свою речь до законного времени закрытия заседания; но когда Цезарь сделал вид, что велит арестовать строптивца, было отвергнуто и это предложение.

Разумеется, все предложения поступили все же на рассмотрение народного собрания. Цезарь мог теперь, не уклоняясь от истины, сказать народу, что сенат презрительно отклонил разумные и необходимые законопроекты, представленные ему в самой почтительной форме, только потому, что они исходили от демократического консула. Если он к этому добавлял, что аристократы составили заговор с целью добиться отклонения этих предложений, и обращался к гражданству, а в особенности к Помпею и к его бывшим солдатам, с призывом поддержать его в борьбе с коварством и насилием, то и это не было лишено основания. Аристократия во главе с недалеким упрямым Бибулом и стойким в своем ограниченном доктринерстве Катон действительно собирались довести дело до открытого насилия. На запрос Цезаря Помпею об отношении его к данному вопросу Помпей, вопреки своему обыкновению, категорически заявил, что если кто-либо осмелится обнажить меч, то и он возьмется за свой и уж, конечно, не оставит дома и щит; в таком же смысле высказался и Красс. Бывшим солдатам Помпея было дано указание в день голосования, которое больше всего касалось их самих, прибыть на форум в большом числе, спрятав оружие под одеждой.

Однако аристократия пустила в ход все средства, чтобы поме-

шать принятию предложений Цезаря. Каждый раз, когда Цезарь выступал перед народом, коллега его Бибул производил пресловутые политико-метеорологические наблюдения, прерывавшие все государственные дела, но Цезарь не обращал никакого внимания на небеса и продолжал отдаваться земному. Трибуны прибегли к интерцессии, Цезарь удовольствовался тем, что не обратил на это внимания. Бибул и Катон вбежали на ораторскую трибуну, обратились с речью к толпе и вызвали обычную драку. Цезарь велел служащим суда увести их с форума, позаботившись о том, чтобы с ними ничего не случилось, — в его же интересах было, чтобы политическая комедия только комедией и осталась.

Несмотря на все придирки и шумиху, поднятую аристократией, аграрный закон, предложение утвердить организационные мероприятия в Азии и льготы для откупщиков были одобрены народом, а избранная из 20 человек комиссия во главе с Помпеем и Крассом вступила в должность. Всеми своими усилиями помешать этому аристократия добилась лишь того, что ее слепая и злобная оппозиция еще теснее сплотила коалицию, а ее собственная энергия, которая вскоре понадобилась бы ей для более важного дела, была истрачена в этих, в сущности малозначительных, спорах. Аристократы поздравляли друг друга с проявленным героизмом, заявление Бибула, что он скорее умрет, нежели отступит, поведение Катона, который продолжал свою речь даже в руках полицейских, — все это считалось великими патриотическими подвигами; в остальном же все покорилось своей судьбе. Консул Бибул заперся в своем доме на весь остаток года, объявив повсюду о своем благочестивом намерении изучать небесные знамения во все дни текущего года, назначенные для народных собраний.

Коллеги его снова восхищались этим великим человеком, который, подобно тому как сказал Энний о старом Фабии, «спас отечество своей медлительностью», и стали следовать ему. Большинство из них, в том числе и Катон, не появлялись больше в сенате и, сидя в четырех стенах, сердились вместе со своим консулом на то, что вопреки политической астрономии история не останавливала своего шествия вперед. Публике эта пассивность консула и вообще всей аристократии казалась, естественно, своего рода политическим отречением, а коалиция была, конечно, очень довольна тем, что ей предоставляли почти беспрепятственно сделать дальнейшие шаги.

Важнейшим из этих шагов было регулирование будущего положения Цезаря. Согласно конституции, сенат еще до выборов новых консулов устанавливал функции консулов на второй год их службы. Предвидя возможность избрания Цезаря, сенат выбрал на 696 г. две провинции, где наместнику нечего было делать, кроме строительства дорог и других столь полезных работ. Конечно, этого нельзя было

допустить, и союзники условились, чтобы Цезарь решением народного собрания получил чрезвычайные полномочия, подобно тому как это было раз сделано законами Габиния и Манилия. Так как Цезарь публично заявил, что не внесет никакого предложения, касающегося его лично, то народный трибун Публий Ватиний взял на себя инициативу внести предложение гражданам, которые, разумеется, его беспрекословно одобрили. Таким образом, Цезарь получил наместничество в Цизальпинской Галлии и командование над тремя расположенными там легионами, испытанными уже в пограничных столкновениях под командованием Луция Афрания. Кроме того, его адъютантам дан был пропреторский ранг, который носили и помощники Помпея; должность эта была закреплена за Цезарем на 5 лет — на такой продолжительный срок никогда еще не назначались полководцы, полномочия которых ограничивались определенным сроком. Ядро населения его наместничества составляли транспаданцы, которые в надежде на получение права гражданства давно уже являлись клиентами римской демократической партии, в особенности Красса и Цезаря. Область его простиралась к югу до Арно и Рубикона и включала в себя Луку и Равенну. Затем к наместничеству Цезаря была присоединена еще Нарбоннская провинция с находившимся там римским легионом, что было постановлено, по предложению Помпея, сенатом, для того чтобы по крайней мере эти полномочия не были даны Цезарю чрезвычайным постановлением граждан. Этим было достигнуто все, что требовалось. Так как, согласно конституции, в собственно Италии не могли быть расположены никакие войска, то командующий легионами Северной Италии и Галлии тем самым господствовал в течение пяти лет над Италией и Римом; а кто властвует пять лет, тот властвует и пожизненно. Консульство Цезаря привело его к цели. Ясно, что новые властители не преминули, разумеется, поддерживать хорошее настроение толпы устройством игр и всевозможных увеселений и пользовались всяким случаем для того, чтобы наполнить свои кассы; так, например, постановление народного собрания, признававшее египетского царя законным монархом, было куплено им у коалиции за высокую цену; таким же образом приобретали себе различные привилегии и льготы другие династы и общины.

Прочность мероприятий коалиции казалась достаточно обеспеченной. Консульство по крайней мере на ближайший год было отдано в верные руки. Первоначально люди думали, что эта должность предназначается для Помпея или Красса, но власть имущие предпочли, чтобы консулами на 696 г. были избраны два хотя и второстепенных, но вполне надежных деятеля их партии — Авл Габиний, лучший из адъютантов Помпея, и Луций Пизон, человек лично менее значительный, но зато тесть Цезаря. Помпей принял на себя лично охрану Ита-

лии, где он во главе комиссии двадцати занимался осуществлением аграрного закона и наделил земельной собственностью в области Капуи около 20 тыс. граждан, преимущественно бывших солдат своей армии; опорой против столичной оппозиции служили ему североиталийские легионы Цезаря. На раскол среди самих властителей нечего было рассчитывать, по крайней мере в ближайшем будущем. Законы, изданные Цезарем во время его консульства, обеспечивали продолжение конфликта между Помпеем, заинтересованным в их сохранении не меньше Цезаря, и аристократией, вожди которой, в особенности Катон, упорно считали эти законы недействительными, что служило ручательством сохранения коалиции. К этому добавилось еще то, что и личные связи между ее вождями стали теснее. Цезарь честно и верно сдержал слово, данное им союзникам, выполнив все обещанное без мелочных придирок, и, например, аграрный закон, предложенный им в интересах Помпея, он защищал со всей ловкостью и энергией, как свое собственное дело. Помпей, умевший ценить прямоту характера и верность слову, благожелательно относился к тому, кто сразу вывел его из жалкой роли просителя, которую он разыгрывал целых три года. Частые и тесные сношения со столь неотразимо привлекательным человеком, как Цезарь, способствовали со своей стороны превращению этой связи, основанной на общих интересах, в дружеский союз. Результатом и гарантией этой дружбы, а вместе с тем и публичным недвусмысленным оповещением о вновь установленном совместном правлении был брак Помпея с единственной 23-летней дочерью Цезаря. Юлия, унаследовавшая обаятельность отца, принесла своему мужу, который был вдвое старше ее, семейное счастье, и народ, жаждавший после стольких бедствий и кризисов спокойствия и порядка, видел в этом брачном союзе залог мирного будущего.

Чем прочнее и теснее становился союз Цезаря с Помпеем, тем безнадежнее складывались дела аристократии. Она видела меч, висевший над ее головой, и достаточно знала Цезаря, чтобы не сомневаться, что он без колебания применит его в случае необходимости. «Нас теснят со всех сторон, — пишет один из аристократов, — из боязни смерти или изгнания мы уже отказались от «свободы», все вздыхают, но никто не осмеливается говорить». Большого союзники не могли требовать. Но если большинство аристократов и находилось в этом весьма удобном для коалиции настроении, то среди них не было все же недостатка в людях с горячей головой. Как только Цезарь сложил с себя консульство, некоторые из самых ярых аристократов — Луций Домиций и Гай Меммий — внесли в заседании сената предложение кассировать юлиевы законы. Конечно, это был глупый шаг, который был только на руку коалиции. Так как теперь уже сам Це-

зрь потребовал, чтобы сенат расследовал правомерность оспариваемых законов, то последнему ничего не оставалось, как подтвердить их полную легальность. Но власть имущие усмотрели в этом новый повод для того, чтобы примерно наказать самых видных и наиболее шумливых своих противников и таким образом убедиться, что остальная масса благоразумно продолжает лишь вздыхать и молчать. Сперва надеялись, что статья аграрного закона, требовавшая по обыкновению от всех сенаторов под угрозой лишения гражданских прав присяги этому закону, побудит самых ярких оппонентов последовать примеру Метелла Нумидийского и добровольно обречь себя на изгнание, отказавшись от присяги. Но сенаторы не обнаружили готовности к этому; даже суровый Катон решился присягнуть, и все его Санчо последовали за ним. Вторая, довольно недостойная попытка пригрозить вождям аристократии уголовным преследованием под предлогом подготовлявшегося ими будто бы покушения на Помпея, чтобы таким путем отправить их в изгнание, не удалась из-за неспособности исполнителей. Доносчик, некий Веттий, настолько преувеличивал и противоречил самому себе, а трибун Ватиний, руководивший этой грязной махинацией, так ясно обнаружил свою связь с Веттием, что последнего решили задушить в тюрьме, а все дело было прекращено. Однако при этом случае вожди коалиции достаточно убедились в полном разложении аристократии и безграничной трусости этих знатных господ. Даже такой человек, как Луций Лукулл, бросился в ноги Цезарю и публично заявил, что ввиду своего преклонного возраста он вынужден оставить общественную деятельность.

Таким образом, пришлось ограничиться небольшим числом жертв. Прежде всего важно было удалить Катона, который не скрывал своей уверенности в недействительности юлиевых законов и у которого дело не расходилось со словом. Не таков был, правда, Марк Цицерон, и его несколько не боялись; но демократическая партия, игравшая в коалиции первую роль, не могла после своего торжества оставить безнаказанными судебные убийства 5 декабря 691 г., которые она так громко и так справедливо порицала. Если бы хотели привлечь к ответственности действительных виновников этого рокового решения, то следовало бы, конечно, наказывать не слабохарактерного консула, а ту фракцию непримиримых аристократов, которая толкнула боязливого человека на эту расправу. Однако по закону ответственности подлежал сам консул, а не его советники. К тому же власти желали проявить снисходительность, призвав к ответу только консула и совершенно выгородив сенатскую коллегию, и поэтому в мотивировке направленного против Цицерона предложения постановление сената, на основании которого он распорядился произвести казнь, прямо называлось подложным. Даже относительно Цицерона

охотно обошлись бы без демонстративных актов, но он никак не мог заставить себя ни дать власть имущим требуемые гарантии, ни добровольно удалиться под каким-либо из представлявшихся ему благовидных предлогов, ни хотя бы молчать. Несмотря на все свое желание избежать всяких столкновений и на свой искренний страх, он не имел достаточной выдержки, для того чтобы соблюдать осторожность, словцо вырывалось у него, когда на язык его напрашивалась игривая острота или когда самонадеянность плебея-адвоката, доведенная до умопомрачения похвалами такого множества благородных особ, изливалась в размеренных периодах.

Проведение мероприятий против Катона и Цицерона было поручено беспутному и развратному, но не лишенному таланта и, главное, дерзкому Публию Клодию, который давно уже находился в злейшей вражде с Цицероном. Стремясь удовлетворить свою злобу и получить возможность выдвинуться в качестве демагога, он во время консульства Цезаря благодаря усыновлению быстро превратился из патриция в плебея и добился затем своего избрания в народные трибуны на 696 г. Для того чтобы оказать поддержку Клодию, проконсул Цезарь оставался в непосредственной близости от столицы, пока не был нанесен удар обеим жертвам. Согласно полученному заданию, Клодий предложил гражданам поручить Катону привести в порядок запутанные дела города Византия, а также занять Кипр, который вместе с Египтом был завещан Риму царем Александром II, но не откупился от римской аннексии, как это было сделано Египтом. То обстоятельство, что кипрский царь задолго до того лично оскорбил Клодия, также сыграло здесь роль. Что касается Цицерона, то Клодий предложил законопроект, согласно которому казнь гражданина без судебного приговора объявлялась преступлением, караемым изгнанием. Таким образом, Катон был удален путем возложения на него почетной миссии, а Цицерону была назначена возможно мягкая мера наказания, к тому же в предложении не было упомянуто его имя. Властители не могли, однако, отказать себе в удовольствии, с одной стороны, наказать человека, заведомо нерешительного и принадлежащего к разряду политических флюгеров, за проявленную им консервативную энергию, а с другой стороны, вручить чрезвычайное командование, учрежденное по постановлению народного собрания, ярому противнику таких мероприятий и вообще всякого вмешательства гражданства в дела управления; предложение о назначении Катона не без юмора было мотивировано тем, что чрезвычайная добродетельность этого человека делает его более всех других способным выполнить столь щекотливое поручение, как конфискация богатой казны кипрского царя, ничего не украв. Оба предложения носят отпечаток того снисходительного уважения и спокойной иронии, которые

вообще характеризуют отношение Цезаря к сенату. Сопrotивления они не встретили. Ни к чему, конечно, не привело ни то, что сенатское большинство, чтобы хоть как-нибудь выразить протест против осмеяния и осуждения его решения по делу о заговоре Катилины, публично облеклось в траурные одежды, ни то, что теперь, когда было уже поздно, сам Цицерон на коленях молил Помпея о пощаде; он должен был удалиться в изгнание еще прежде, чем был принят закон, делавший для него невозможным пребывание на родине (апрель 696 г.). Катон также не пожелал вызывать против себя более суровые меры отказом от возложенного на него поручения; он принял его и отплыл на Восток. Итак, ближайшие цели союзников были достигнуты, и Цезарь получил теперь возможность оставить Италию и посвятить себя более важным задачам.





Глава VII

Покорение Запада

Когда ход истории снова обращается от вызванной жалким политическим эгоизмом однообразной борьбы, ареной которой служили римская курия и улицы столицы, к предметам, более важным, чем вопрос о том, будет ли первый монарх Рима называться Гнеем, Гаем или Марком, уместно будет, стоя на пороге события, последствия которого и ныне еще определяют судьбы мира, оглянуться на минуту и выяснить, в какой исторической связи следует рассматривать завоевание римлянами нынешней Франции и первое соприкосновение их с народами Германии и Великобритании.

В силу того закона, что народ, сплоченный в государство и цивилизованный, растворяет в себе народности политически и культурно незрелые, — в силу этого закона, столь же непреложного, как физический закон тяготения, итальянская нация, единственная из народностей древнего мира сумевшая соединить высокое политическое развитие с высшей цивилизацией (причем последняя была, правда, весьма несовершенна и поверхностна), была призвана подчинить себе пришедшие в упадок греческие государства Востока и вытеснить на Западе через посредство своих колонистов народы, находившиеся на более низкой ступени культуры: ливийцев, иберов, кельтов, германцев. С таким же правом Англия покорила себе в Азии равноценную, но политически бессильную цивилизацию, облагородила обширные варварские страны в Америке и Австралии, наложив на них печать своей национальности, и продолжает там поныне эту деятельность. Пред-

посылка этой задачи — объединение Италии — была выполнена римской аристократией; сама же задача не была решена ею, и все внеиталийские завоевания всегда рассматривались ею либо как неизбежное зло, либо как не входящая в состав государства доходная статья. Невыдаемая слава римской демократии — или монархии (ибо то и другое совпадает) — основана на том, что она своевременно поняла и энергично осуществила эту высокую миссию. Все, что непреодолимая сила обстоятельств подготовила через посредство сената, помимо своей воли положившего основы будущего римского господства на Западе и на Востоке, все, что инстинктивно влекло римских эмигрантов в провинции, куда они являлись, правда, как бич, но в западных областях вместе с тем и как носители высшей культуры, — все это понял и начал осуществлять с ясностью и уверенностью, свойственными настоящему государственному человеку, основатель римской демократии Гай Гракх. Обе основные идеи новой политики — объединение всех эллинических владений Рима и колонизация неэллинических областей — были практически признаны еще в эпоху Гракхов, с присоединением царства Атталидов и заальпийскими завоеваниями Флакка; но победоносная реакция снова дала этим идеям заглухнуть. Римское государство оставалось нестройной массой земель без интенсивного заселения и надлежащих границ. Испания и греко-азиатские владения были отделены от метрополии обширными областями, одни лишь берега которых были едва подвластны Риму, на северном побережье Африки только в области Карфагена и Кирены имелись оккупированные римлянами островки; но и на подвластной Риму территории большие пространства, в особенности в Испании, принадлежали ему только номинально: правительство ровно ничего не делало для концентрации и округления римских владений, и упадок флота порвал, казалось, последнюю связь между отдаленными областями. Правда, демократия, как только ей удалось опять поднять голову, пыталась повести и внешнюю политику в духе Гракха; в особенности Марий носился с подобными идеями, но так как демократы приходили к власти лишь ненадолго, дело ограничивалось одними замыслами. Лишь когда с падением сулланского строя в 684 г. демократия действительно взяла бразды правления в свои руки, совершился переворот и в этой области. Прежде всего было восстановлено римское господство на Средиземном море, что было первым жизненным вопросом для такой державы, как римская. Присоединением понтийских и сирийских областей была затем обеспечена на востоке граница по Евфрату.

Оставалось еще расширить римские владения по ту сторону Альп как к северу, так и к западу и приобрести таким образом новую девственную почву для эллинской цивилизации и для далеко еще не слом-

ленной силы италийского племени. Эту задачу взял на себя Гай Цезарь. Было бы более чем ошибкой, было бы кощунством против мощно веющего в истории святого духа, если бы мы стали рассматривать Галлию только как место военных упражнений, где Цезарь готовил себя и свои легионы к предстоявшей гражданской войне. Хотя покорение Запада и было для Цезаря средством, приближавшим его к цели, поскольку в заальпийских войнах он положил начало своему дальнейшему могуществу, но привилегией гениального государственного деятеля является то, что его средства представляют собой в то же время самостоятельные цели. Конечно, Цезарю в интересах его партии нужна была военная власть, но он завоевал Галлию не как партийный политик. Прежде всего для Рима было политической необходимостью дать отпор постоянно грозившему нашествию германцев еще по ту сторону Альп и воздвигнуть там преграду, которая обеспечила бы мир Римской державе. Но и эта важная цель не была высшей и решающей, побудившей Цезаря завоевать Галлию. Когда старая родина стала тесна для римской общины и ей угрожала опасность захирения, завоевательная политика сената в Италии спасла ее от гибели. Теперь и италийская родина стала тесна; государство опять страдало от той же социальной неурядицы, принявшей лишь бóльшие ра*меры. Гениальная идея, грандиозная надежда увлекла Цезаря за Альпы: это была надежда и уверенность, что он приобретет там для своих сограждан новую безграничную родину и вторично возродит государство, поставив его на более широкую основу.

Уже тот поход, который был предпринят Цезарем в 693 г. в Дальней Испании, может быть в известной мере отнесен к предприятиям, направленным на покорение Запада. Хотя Испания давно уже повиновалась римлянам, западное ее побережье все еще оставалось независимым от них даже после похода Децима Брута против галлеков, а на северное римляне даже не вступали. Грабежи, которым оттуда непрерывно подвергались покоренные римлянами области, наносили немалый ущерб цивилизации и романизации Испании. Против них и был направлен поход Цезаря вдоль западного берега. Он перешел через примыкавшую к Тахо с севера цепь Герминийских гор (Сьерра де Эстрелья), одержав предварительно победу над местными жителями и частью переселив их в равнину, покорил область по обе стороны реки Дуэро и достиг северо-западной оконечности полуострова, где с помощью прибывшей из Гадеса флотилии занял Бригантий (Корунья). Этим самым обитатели берегов Атлантического океана, лузитане и галлеки, были вынуждены признать римское главенство; вместе с тем победитель позаботился и о том, чтобы уменьшением уплачиваемой Риму дани и приведением в порядок хозяйства общин облегчить положение подданных.

Если в этом военном и административном дебюте великого полководца и государственного деятеля сквозят уже те дарования и руководящие идеи, которые он обнаружил впоследствии на более широкой арене, то все же деятельность его на Иберийском полуострове была слишком кратковременна для того, чтобы пустить глубокие корни, тем более что ввиду своеобразных естественных и национальных условий только продолжительная упорная работа могла оказать здесь прочное влияние.

Более значительная роль в процессе романизации Запада была назначена области, простирающейся между Пиренеями и Рейном, Средиземным морем и Атлантическим океаном и по преимуществу называвшейся со времен Августа «страной кельтов», Галлией, хотя, собственно говоря, область, населенная кельтами, отчасти была менее обширна, а отчасти простиралась гораздо дальше, и хотя страна эта никогда не составляла национального, а до Августа и политического целого. Нелегко поэтому дать наглядную картину тех весьма разнообразных порядков, которые застал Цезарь по прибытии своем в эту страну в 696 г.

В области, прилегавшей к Средиземному морю, охватывавшей, приблизительно, к западу от Роны Лангедок, а к востоку Дофинэ и Прованс и бывшей уже в течение шестидесяти лет римской провинцией, римское оружие редко оставалось в бездействии со времени кимврской бури, коснувшейся и этого края. В 664 г. Гай Цецилий сражался с салиями у Акв Секстиевых; в 674 г. Гай Флакк по пути в Испанию боролся с другими кельтскими племенами. Когда во время войны с Серторием наместник Нарбоннской Галлии Гай Маллий, вынужденный поспешить на помощь своему коллеге по ту сторону Пиренеев, возвращался после поражения под Илердой (Лерида) и на обратном пути был вторично разбит западными соседями римской провинции, аквитанами (около 676 г.), это вызвало, по-видимому, общее восстание провинциалов между Пиренеями и Роной, а может быть, даже и за Роной, до самых Альп. Помпею пришлось с мечом в руке проложить себе дорогу в Испанию через восставшую Галлию; в наказание за мятеж он отдал в собственность массалиотам земли вольков-арекомиков и гельветов (департаменты Гард и Ардеш). Наместник Марк Фонтей (678—680) привел в исполнение это распоряжение и восстановил спокойствие в провинции, разбив воконтиев (департамент Дромы), защитив Массалию от повстанцев и освободив главный город провинции Нарбонн, осажденный ими. Но отчаяние и хозяйственная разруха, вызванные в Галлии бедствиями испанской войны и вообще официальными и неофициальными вымогательствами римлян, не дали стране успокоиться. В особенности наиболее отдаленный от Нарбонна кантон аллоброгов находился в постоянном брожении, о

котором свидетельствует предпринятое Гаем Пизоном в 688 г. «водворение мира» среди них, а также поведение в Риме аллоброгских послов во время заговора анархистов в 691 г. Брожение это перешло вскоре в открытое восстание (693). Катугнат, вождь аллоброгов, в этой вызванной отчаянием войне боролся вначале не без успеха, но был побежден у Солония наместником Гаем Помпотином после славного сопротивления.

Несмотря на все эти войны, границы римских владений не были значительно продвинуты вперед: Лугудун Конвенарум, где Помпей поселил остатки серторианской армии, Толоза, Виенна и Генава все еще оставались самыми отдаленными римскими населенными пунктами на западе и на севере. Но значение этих галльских владений для метрополии все возрастало.

Превосходный климат, похожий на итальянский, благоприятные почвенные условия, имеющие такое большое значение для торговли, обширный и богатый «хинтерланд» с его доходящими до самой Британии торговыми путями, удобные морские и сухопутные сообщения с родиной — все это вскоре придало южной части страны кельтов такое экономическое значение для Италии, какого не достигли в течение столетий гораздо более старые владения ее, как, например, испанские. И подобно тому как потерпевшие крушение римские политики искали в это время убежища преимущественно в Массалии, где они находили итальяскую образованность и итальяскую роскошь, так и добровольные эмигранты из Италии все более и более поселялись на Роне и на Гаронне. «Провинция Галлия, — говорится в одном рассказе об этой стране, написанном за десять лет до прибытия Цезаря, — полна купцов. Она кишит римскими гражданами. Ни один галл не совершает сделки без посредничества римлянина, каждый грош, переходящий в Галлии из одной руки в другую, проходит через счетные книги римских граждан». Из этого же описания видно, что в Галлии помимо нарбонских колонистов находилось и большое число римских сельских хозяев и скотоводов; при этом необходимо иметь в виду, что большая часть принадлежавших римлянам в провинциях земель, так же как это было в первые времена с английскими владениями в Северной Америке, находилась в руках знати, проживавшей в Италии, и упомянутые земледельцы и скотоводы были по большей части ее управителями, рабами или вольноотпущенниками.

Понятно, что при таких условиях римская культура быстро распространялась среди населения. Кельты не любили земледелия; однако новые властители заставили их променять меч на плуг, и весьма вероятно, что ожесточенное сопротивление аллоброгов было отчасти вызвано подобными постановлениями. В старые времена эллинизм подчинил себе до известной степени и эти страны. Элементами выс-

шей культуры, началом виноделия и разведения маслин, а также употреблением писемён* и чеканкой монет они обязаны были Массалии. Эллинская культура отнюдь не была вытеснена отсюда с приходом римлян; Массалия получила благодаря им больше влияния, чем утратила, и еще в римские времена галльские общины нанимали греческих врачей и раторов. Понятно, однако, что благодаря римлянам эллинизм на юге страны кельтов получил тот же характер, что и в Италии: чисто эллинская цивилизация уступила место смешанной латинско-греческой культуре, которая приобрела здесь вскоре множество прозелитов. Правда, «галлы в штанах», как называли в противоположность североиталийским «галлам в тоге» обитателей южной части страны кельтов, не были еще вполне романизованы, подобно последним, но они все же весьма заметно отличались уже от «длинноволосых галлов», населявших непокоренную северную часть страны. Распространявшаяся среди них поверхностная культура давала, правда, достаточно поводов для насмешек над их варварской латынью, и человека, подозреваемого в кельтском происхождении, римлянин не забывал попрекнуть «родственниками в штанах»; однако этой плохой латыни было достаточно, для того чтобы даже далекие аллоброги могли вступить в деловые сношения с римскими властями и без помощи переводчиков давать показания в римских судах.

Если, таким образом, кельтское и лигурийское население этих областей находилось на пути к утрате своей национальности и вместе с тем изнемогало и разорялось под невыносимым политическим и экономическим гнетом, о тяжести которого свидетельствует ряд безнадежных восстаний, то упадок местного населения шел здесь рука об руку с усвоением той высшей культуры, которую мы застаем в это время в Италии. Аквы Секстиевы, а еще более Нарбонн были крупными городами, которые можно поставить рядом с Беневентом и Капуей, а Массалия, самый благоустроенный, свободный, обороноспособнейший и могущественнейший из всех подчиненных Риму греческих городов со своим строго аристократическим управлением, на которое римские аристократы могли указывать как на образец хорошего городского устройства со своей значительной и еще порядочно расширенной римлянами областью и развитой торговлей, была по отношению к латинским городам Галлии тем же, чем в Италии Регий и Неаполь по отношению к Капуе и Беневенту.

Совсем другая картина открывалась по ту сторону римской границы. Великая кельтская нация, которую в южных областях начина-

* Так, например, в Везоне, в области воконтиев, была найдена надпись на кельтском языке, написанная обыкновенным греческим алфавитом. Она гласит: *σευαφορσ ουλλονεος ποουτιουσ νεαταυσατισ ειωρου βηλαρασιουσιν νεμητου*, последнее слово значит «священный».

ла уже вытеснять италийская иммиграция, жила к северу от Севенн, как и встарь, в полной свободе. Мы не впервые встречаемся с ней: с передовыми отрядами этого огромного племени и отделившимися от него группами италики боролись уже на Тибре и на По, в горах Кастилии и Каринтии и даже в далекой Малой Азии, но здесь впервые попало под их удары основное ядро его. При поселении своем в Средней Европе кельты оседали преимущественно в плодородных речных долинах и холмистых местностях нынешней Франции и в западной части Германии и Швейцарии, а отсюда заняли сперва южную часть Англии, а может быть, уже всю Великобританию и Ирландию*.

В большей мере, чем в какой-либо другой стране, они составляли здесь большую замкнутую географически народную массу. Несмотря на различия языка и нравов, в которых не было, разумеется, недостатка на такой обширной территории, тесные взаимные сношения, чувство духовной связи объединяли, по-видимому, народности от Роны и Гаронны до Рейна и Темзы. Что касается кельтов Испании и нынешней Австрии, то хотя они были территориально в известной мере связаны со своими соплеменниками, но громадные горные кряжи Пиренеев и Альп, а также происходившая здесь агрессия римлян и германцев гораздо более нарушали сношения и духовную связь с ними, чем узкий пролив мог разъединить континентальных и британских кельтов. К сожалению, мы лишены возможности проследить шаг за шагом ход внутреннего развития этого замечательного народа в главных местах его поселения и должны ограничиться общим очерком его культурно-исторического и политического положения в эпоху Цезаря.

Галлия, по свидетельству древних авторов, была довольно густо населена. На основании имеющихся данных можно предположить, что в бельгийских округах приходилось около 900 человек на квадратную милю — такое же отношение, как в нынешнем Уэльсе или Лифляндии, а в гельветском кантоне — около 1 100 человек**. Воз-

* На продолжавшееся долгое время переселение бельгийских кельтов в Британию указывают заимствованные у бельгийских округов названия английских племен по обоим берегам Темзы, как то: атребатов, белгов, даже британцев, причем последнее наименование было, по-видимому, перенесено с проживавшего на Сомме, возле Амьена, племени бриттонов сперва на один из округов Англии, а затем и на весь остров. Английская монета также была заимствована у белгов и первоначально была тождественна с их денежной системой.

** Первый контингент военнообязанных бельгийских кантонов за исключением ремов, т. е. области между Сенной и Шельдой и к востоку до Реймса и Андернаха площадью в 2 000—2 200 квадратных миль, исчисляется в 300 тыс. человек; на этом основании, если исходить из указываемого для белловаков отношения первого контингента ко все-

можно, что в округах, более цивилизованных, чем бельгийские, и менее гористых, чем гельветский, — например, у битуригов, арвернов, эдуев, — эта цифра была еще более высока. Занятие хлебопашеством было распространено в Галлии. Еще современников Цезаря поражало в прирейнском крае удобрение земли мергелем*, а древний кельтский обычай варить пиво из ячменя (*cevgesia*) также свидетельствует о раннем и повсеместном распространении культуры зерновых хлебов; однако занятие это не пользовалось уважением. Даже на цивилизованном юге считалось недостойным свободного кельта идти за плугом. Гораздо выше стояло у кельтов скотоводство, и римские помещики этой эпохи охотно пользовались в своем хозяйстве как кельтскими породами скота, так и храбрыми, ловкими в верховой езде и опытными в уходе за животными кельтскими рабами**. Ското-

му числу способных носить оружие мужчин, то число способных носить оружие белгов будет равняться 500 тыс., а все население — по крайней мере 2 млн Гельветы и ближайшие к ним народности насчитывали до своего выселения 336 тыс. человек; если предположить, что они тогда уже были вытеснены с правого берега Рейна, то размер их области может быть определен приблизительно в 300 квадратных миль. Решить вопрос, включены ли в цифру общего количества населения также и рабы, тем труднее, что мы не знаем, какую форму имело рабство у кельтов; то, что Цезарь (1, 4) рассказывает о рабах, крепостных и должниках Оргеторига, говорит, скорее, против причисления. Разумеется, всякая такая попытка заменить догадками то, чего больше всего недостает в древней истории, а именно статистические данные, должна приниматься с осторожностью, что поймет, конечно, читатель, не отвергая ее безусловно.

* «Когда я командовал отрядом в Трансальпинской Галлии, — рассказывает Скрофа у Варрона (*De r. r.* 1, 7, 8), — мне пришлось побывать в таких местах внутри страны, на Рейне, где не растет ни виноград, ни маслина, ни плодовые деревья, где поля удобряют белым мелом; там нет ни каменной, ни морской соли, а вместо нее употребляют соленые уголья различных сжигаемых деревьев». Эти сведения относятся, очевидно, к доцезаревой эпохе и к восточной части старой римской провинции, например к области аллоброгов; позднее Плиний подробно описывает галльско-британский способ искусственного удобрения (*Н. п.*, 17, 6, 42 и сл.).

** Хорошей породой отличаются в Италии галльские быки; особенно пригодны они для полевых работ; лигурийские же, напротив, никуда не годятся (*Varro, De r. r.*, 2, 5, 9). Правда, здесь говорится о Цизальпинской Галлии, но скотоводство сложилось здесь, несомненно, еще в кельтскую эпоху. «Галльских лошадок» (*Gallici canterii*) упоминает еще Плавт (*Aul.*, 3, 5, 21). «Не каждая раса годится для пастушеского дела; ни бастулы, ни турдулы (те и другие — в Андалузии) не пригодны для этого, а лучшими пастухами являются кельты, в особенности для верховых и вьючных животных (*iumenta*)» (*Varro, De r. r.*, 2, 10, 4).

водство преобладало в особенности в северных областях Галлии. Бретань была во времена Цезаря бедна хлебом. На северо-востоке густые леса, доходившие до самых Арденн, тянулись от Северного моря до Рейна, и на столь плодородных ныне полях Фландрии и Лотарингии менапийские и треверские пастухи пасли тогда в непроходимых дубовых лесах своих полудиких свиней. Подобно тому как в долине По откармливание свиней желудями было вытеснено выделкой шерсти и хлебопашеством благодаря римлянам, так и в равнинах Шельды и Мааса начало овцеводства и земледелия относится к римской эпохе. В Британии не знали еще молотбы хлеба, а в северной части страны совершенно отсутствовало земледелие, и единственным известным там способом землепользования было скотоводство. Разведением маслин и виноделием, приносившими массахотам большую прибыль, во времена Цезаря еще не занимались по ту сторону Севенн.

Галлы издавна отличались склонностью к устройству поселений; повсюду у них были открытые села, и в одном лишь гельветском кантоне их насчитывалось в 696 г. 400, не считая множества отдельных дворов. Не было недостатка и в укрепленных городах; их стены, в основание которых были положены фермы, поражали римлян как своей прочностью, так и затейливой кладкой бревен и камня, хотя в то же время в городах аллоброгов дома были построены только из дерева. Таких городов у гельветов было двенадцать и столько же у суссионнов. В более северных округах, например у нервиев, также были города, но население искало убежища во время войны скорее в болотах и лесах, чем за городскими стенами, а по ту сторону Темзы примитивные лесные засеки вполне заменяли города, служа во время войны единственным приютом для людей и стад.

В тесной связи со сравнительно значительным развитием городской жизни находятся оживленные сношения как сухим путем, так и водой. Повсюду имелись дороги и мосты. Речное судоходство, к которому такие реки, как Рона, Гаронна, Луара и Сена, как бы побуждали само собой, было весьма обширно, и речной флот очень вместителен. Но гораздо более замечательно морское судоходство кельтов. Кельты не только были, по-видимому, той нацией, которая впервые установила регулярное судоходство на Атлантическом океане, но у них достигло также замечательной высоты искусство судостроения и вождения судов. Судоходство средиземноморских народов долгое время ограничивалось лишь гребным флотом, что объясняется особенностями тех вод, где им приходилось плавать. Военные суда финикийцев, греков и римлян представляли собой весельные галеры, где паруса употреблялись только вре-

менами в помощь гребцам; одми лишь торговые суда были в эпоху наивысшего развития античной культуры подлинными парусными кораблями*. Галлы же во времена Цезаря, как и в более позднее время, пользовались для плавания по проливу особого рода переносными кожаными челнами, представлявшими собой, в сущности, надо полагать, обыкновенные весельные лодки. Но на западном берегу Галлии, у сантонов, пиктонов и в особенности у венетов, были большие, правда, неуклюжие корабли, приводившиеся в движение не веслами, а снабженные кожаными парусами и железными якорными цепями; эти суда они употребляли не только для торговых сношений с Британией, но и в морских сражениях. Таким образом, мы не только впервые встречаем здесь судоходство в открытом океане, но и то, что парусное судно тут также впервые заняло место весельной лодки — прогресс, которым не сумел, правда, воспользоваться умиравший древний мир и неисчислимые результаты которого лишь постепенно осуществляются новым культурным периодом.

При таких упорядоченных торговых сношениях между британским и галльским побережьями вполне понятны как наличие тесной политической связи между обитателями обеих сторон пролива, так и расцвет морской торговли и рыболовства. Кельтские жители Бретани ездили в Англию за оловом из рудников Корнуэльса и доставляли его речным путем и сушей через страну кельтов в Нарбонн и Массалию. Известие, что в эпоху Цезаря некоторые племена, жившие близ устьев Рейна, питались рыбой и птичьими яйцами, указывает, очевидно, на то, что здесь было очень распространено морское рыболовство и собиранье яиц морских птиц. Если свести воедино сохранившиеся разрозненные и скудные данные относительно торговли и сношений кельтов, то становится ясно, что пошлины, взимавшиеся в речных и морских портах, играли большую роль в бюджете отдельных округов, например у эдуев и венетов, и понятно, что главный бог этого народа должен был представляться ему покровителем дорог и торговли и вместе с тем изобретателем ремесел. Поэтому невозможно допустить, чтобы кельтская промышленность была незначительной. Цезарь отмечает чрезвычайную ловкость кельтов и замечательное умение их подражать любому образцу и выполнять любое указание. Однако ремесло их в большинстве отраслей не возвышалось, по-ви-

* На это указывает наименование торговых судов «круглыми» в противоположность военным, или «длинным», а также противопоставление «весельных судов» (ἐπικόμοι νῆες) «торговым судам» (ὄλικός; *Dionys*, 3, 44); экипаж торговых кораблей был ничтожен и составлял на самых больших судах не более 20 человек, между тем как на обыкновенной трехпалубной галере необходимо было иметь 170 гребцов (ср. *Movers*, *Die Phönizier*, 2, 3, 167 и сл.).

димому, над ординарным уровнем; процветавшее впоследствии в средней и северной Галлии производство льняных и шелковых тканей было введено лишь римлянами. Исключение — насколько нам известно, единственное — составляет обработка металлов. Нередко отлично выполненная и до сих пор не утратившая ковкости медная утварь, находящаяся в кельтских могилах, а также тщательно вычеканенные арвернские золотые монеты и поныне служат наглядным доказательством искусства кельтских медников и золотых дел мастеров; с этим согласуются свидетельства древних авторов, что римляне научились лужению от битуригов, а серебрению — от алезиев; оба эти изобретения, первое из которых неувидительно при торговле оловом, были сделаны, по-видимому, еще в эпоху кельтской независимости.

Рука об руку с искусством обработки металлов шла и техника добывания их, достигшая, особенно в железных рудниках на Луаре, такой высоты, что рудокопы играли выдающуюся роль при осаде городов. Распространенное среди римлян того времени мнение, будто Галлия была одной из наиболее богатых золотом стран мира, опровергается хорошо известными почвенными условиями и находками, обнаруженными в кельтских могилах, где золото встречается лишь в малых количествах и далеко не так часто, как при аналогичных находках в других, действительно являющихся родиной золота странах. Представление это было, вероятно, вызвано рассказами греческих путешественников и римских солдат о роскоши арвернских царей и о сокровищах толосских храмов, без сомнения, сильно преувеличенными. Тем не менее они не были совершенно лишены основания. Весьма возможно, что на дне и на берегах рек, берущих свое начало в Альпах и Пиренеях, в более примитивную эпоху, при невольничьем хозяйстве производились с успехом и в значительных размерах промывка и добывание золота, между тем как при нынешней стоимости рабочей силы это было бы не выгодно. Кроме того, торговые сношения Галлии, как это нередко бывает у полудивилизованных народов, могли содействовать накоплению мертвого капитала в виде запасов благородных металлов.

Заслуживает внимания низкий уровень изобразительного искусства, особенно резко бросающийся в глаза при механической ловкости в деле обработки металлов. Любовь к пестрым и блестящим украшениям указывает на отсутствие чувства изящного. Печальным доказательством этого являются галльские монеты с их то слишком упрощенными, то вычурными, но всегда детскими по замыслу и почти без исключения поразительно грубо выполненными изображениями. Быть может, нет другого подобного примера, чтобы чеканка монет, производившаяся в течение ряда столетий с некоторым техническим умением, ограничивалась в основном воспроизведением двух-трех греческих клейм, притом все более и более искажавшихся. Зато

поэзия высоко ценилась кельтами и тесно срослась с политическими и даже религиозными учреждениями нации; мы застаем расцвет духовной, а также придворной и странствующей поэзии. Не чуждо было кельтам и занятие естествознанием и философией, правда, в формах и рамках, указанных их богословием; к греческому гуманизму, где и в каком бы виде он им ни представлялся, они всегда были чрезвычайно восприимчивы. Грамотность была всеобщей, по крайней мере среди жрецов. В большинстве мест независимой Галлии, например у гельветов, пользовались во времена Цезаря преимущественно греческим алфавитом, только в самых южных округах ее вследствие сношений с романизованными кельтами тогда уже преобладал латинский шрифт, который мы встречаем, например, на арвернских монетах этой эпохи.

Политическое развитие кельтского народа представляет ряд весьма интересных явлений. Исходным пунктом государственного устройства является здесь, как и повсюду, племенной округ со своим князем, советом старейшин и собранием свободных, способных носить оружие людей, но своеобразие его заключается в том, что оно никогда не вышло за пределы этого окружного строя.

У греков и римлян основой политического единства очень рано вместо племенного округа стал город. Когда два округа объединялись за одними и теми же стенами, они превращались в одно политическое целое; когда часть граждан уходила за другие городские стены, то тем самым возникало обычно и новое государство, связанное с метрополией лишь узами пиегета, или самое большее — клиентелы. У кельтов, напротив, «гражданским коллективом» во все времена оставался клан; князь и его совет стоят во главе округа, а не какого-либо города, и высшей инстанцией в государстве является общее окружное собрание. Город имеет, как и на Востоке, только торговое и военное, но не политическое значение, поэтому даже такие значительные и обнесенные стенами галльские города, как Виенна и Генава, были в глазах греков и римлян лишь простыми селами. В эпоху Цезаря исконное устройство кланов сохранилось почти без изменения у островных кельтов и в северных округах на материке, высшая власть принадлежала сельской общине, князь был связан ее решениями во всех существенных вопросах, общинный совет был многочислен, в некоторых кланах он насчитывал до 600 членов, но имел, по-видимому, не большее значение, чем сенат при римских царях. Напротив, в более развитой южной части страны за одно или два поколения до Цезаря — дети последних королей были еще живы в его время — произошел переворот, упразднивший королевскую власть по крайней мере в крупнейших кланах — у арвернов, эдучев, секванов, и господство перешло здесь к знати.

Обратной стороной полного отсутствия у кельтов городской ци-

визации, о котором шла речь выше, было совершенное преобладание в их кланах противоположного полюса политического развития, — аристократии. Кельтская аристократия представляла собой, по-видимому, высшее дворянство, состоявшее, быть может, по большей части из членов королевских или бывших королевских фамилий, и замечательно, что вожди противоположных партий в одном и том же клане очень часто принадлежали к тому же самому роду. Эти знатные семейства соединяли в своих руках экономическое, военное и политическое главенство. Они монополизировали откупа государственных доходов. Они принуждали свободных членов общин, подавленных тяжестью налогов, брать у них ссуды, чтобы затем лишать их свободы — сперва фактически, как кредиторов, а затем и юридически, как крепостных. Они ввели у себя обычай составлять себе дружину, т. е. аристократия пользовалась привилегией окружать себя известным числом наемных всадников, так называемых «амбактов»*, составляя,

* Это достойное упоминания слово употреблялось у кельтов долины реки По еще, вероятно, в VI в. (от основания Рима), так как оно было известно уже Эллию, и лишь оттуда оно могло в столь раннюю пору перейти к италикам. Слово это, однако, не только кельтское, но и немецкое и составляет корень германского «Am», как и дружина была общим для кельтов и германцев учреждением. Большое историческое значение должно иметь выяснение вопроса, перешло ли это слово, а значит и явление, к кельтам от германцев или к германцам от кельтов. Если, как полагают обыкновенно, слово это было первоначально германское и обозначало сперва слугу, стоявшего во время сражения «против спины» своего господина (and — против; bak — спина), то это нельзя считать несовместимым с поразительно ранним появлением этого слова у кельтов. По всей видимости, право держать амбактов, т. е. δοῦλοι μίθωτοι, принадлежало кельтской аристократии не с самого начала, а развилось лишь постепенно в борьбе с древней королевской властью и с равноправием свободных общинников. Если поэтому амбакты были у кельтов не древненациональным, а относительно новым учреждением, то при тех отношениях, которые существовали между кельтами и германцами в течение веков и о которых речь будет идти в дальнейшем, не только возможно, но и вероятно, что кельты в Италии, как и в Галлии, брали в качестве таких наемных оруженосцев преимущественно германцев, и в таком случае наемные «швейцарцы» были бы на несколько тысячелетий древнее, чем это предполагают. Если то наименование, которым, быть может по примеру кельтов, римляне обозначали германцев как нацию — «Germani» было действительно кельтского происхождения, то это вполне согласуется с нашим предположением.

Правда, все эти догадки должны будут совершенно отпасть, если удастся удовлетворительно доказать происхождение слова ambactus из кельтского корня; так, например, Цейсс (*Zeuss, Gramm., 796*) выводит

таким образом, государство в государстве; опираясь на эту свою челядь, она не повиновалась ни законным властям, ни набору по округам и фактически разрушала существующий строй.

Если в каком-либо клане, где насчитывалось около 80 тыс. способных носить оружие, кто-нибудь из аристократов мог появиться на земском сходе с 10 тыс. амбактов, не считая крепостных и должников, то ясно, что подобное лицо было скорее независимым династом, чем гражданином своего клана. К тому же знатные семьи различных кланов были тесно связаны друг с другом, составляя благодаря бракам и сепаратным соглашениям как бы замкнутый союз, перед которым отдельные кланы были бессильны. Вследствие этого общины не были более в состоянии поддерживать общественный порядок и установилось полное господство кулачного права. Одни только зависимые люди находили еще защиту у своего господина, которого долг и расчет заставляли не давать своих клиентов в обиду; охрана же свободных людей была уже не по силам государству, и многие из них отдавались поэтому в зависимость какому-нибудь могущественному лицу. Общинное собрание лишилось своего политического значения. И даже княжеская власть, которая должна была бы положить предел чрезмерным притязаниям аристократии, не сумела устоять перед ней в Галлии, точно так же как и в Лации. Место короля заступил «блюститель законов» (вергобрет)*, который, подобно римским консулам, назначался только на один год. Поскольку округа сохраняли еще свое существование, они управлялись советами общин, власть в которых захватили, конечно, главари аристократии. Понятно, что при этих условиях в отдельных кланах происходило точно такое же брожение, какое происходило в Лации после устранения царей в течение столетий. В то время как аристократия различных общин заключила между собой враждебный общинной власти сепаратный союз, народ не переставал требовать восстановления королевской власти, и нередко кто-нибудь из выдающихся аристократов пытался, подобно Спурию Кассию в Риме, опираясь на массу населения, сломить могущество своего сословия и восстановить в свою пользу права монархии.

В то время как отдельные округа безнадежно хирели, сознание национального единства проявлялось с большой силой и стремилось различными способами найти себе форму и точку опоры. Если объединение всей кельтской знати в противоположность отдельным кон-

его, хотя и с сомнением, из *ambí* — «вокруг» и *ag, agege* — «двигающийся» или «двигаемый вокруг», т. е. провожатый, слуга. То обстоятельство, что слово это встречается также в качестве кельтского собственного имени (*Zeuss, 77*), а быть может, сохранилось и в камбрийском *amaeth* — крестьянин, рабочий (*Zeuss, 156*), не может помочь решению вопроса.

* От кельтских слов «*guerg*» — деятель и «*breth*» — суд.

федерациям округов и подрывало существовавший порядок, то, с другой стороны, оно пробуждало и поддерживало идею национальной связи. Такое же влияние оказывали и внешние нападения и постоянная потеря нацией ее владений в войнах с соседями. Как греки в войнах с персами, италики — с цизальпинскими кельтами, так и трансальпинские галлы осознали, по-видимому, в борьбе с Римом существование и силу национального единства. Среди распрей соперничавших кланов и феодальных дрязг громко раздавались голоса тех, кто готов был ради национальной независимости пожертвовать самостоятельностью отдельных округов и даже дворянскими привилегиями. Насколько популярна была оппозиция против иноземного господства, показали войны Цезаря, когда партия кельтских патриотов занимала такую же позицию, как немецкие патриоты в войнах с Наполеоном; об ее организации и распространении свидетельствует, между прочим, та быстрота, с которой, точно по телеграфу, передавались ее сообщения.

Глубина и сила кельтского национального самосознания были бы необъяснимы, если бы, несмотря на свою политическую раздробленность, кельтская нация не была издавна религиозно и даже богословски централизована. Кельтское духовенство, или, употребляя местное название, корпорация друидов, соединяло британские острова и всю Галлию, а быть может, и другие кельтские страны общей религиозно-национальной связью. Оно имело своего главу, избиравшегося самими священниками, свои школы, где культивировалась традиция, свои привилегии, в особенности свободу от налогов и военной службы, признававшиеся всеми кланами, ежегодные соборы, происходившие возле Шартра, в «центре кельтской земли», а главное — общину верующих, которые в своей строгой набожности и слепом повиновении духовенству не уступали, кажется, современным ирландцам. Понятно, что такое духовенство старалось захватить и отчасти захватило в свои руки и светскую власть. Там, где царей избирали на год, духовенство во время междуцарствия руководило выборами; оно с успехом присвоило себе право исключать из религиозного союза, а тем самым и из гражданского общества, отдельных лиц и даже целые общины; оно сумело подчинить себе гражданско-правовые тяжбы, в особенности споры о размежевании и о наследствах, опираясь же на свое право исключения из общины, а быть может, и на местный обычай, в силу которого для производившихся человеческих жертвоприношений избирались преимущественно преступники, оно развило обширную духовную юрисдикцию по уголовным делам, соперничавшую с судом королей и вергобретов; наконец, духовенство претендовало даже на решение вопросов войны и мира. Отсюда недалеко уже было до церковного государства с папой и соборами, с иммунитетами, отлучениями и духовными судами; но это церковное

государство не абстрагировалось, как позднейшее, от национальности, а было прежде всего национальным.

Однако, несмотря на то что в кельтских племенах с полной силой пробудилось сознание принадлежности к единому целому, этому народу не удалось найти точку опоры для политической централизации, какую нашла Италия в римской общине, а эллины и германцы — в македонских и франкских царях. Кельтское духовенство и знать, хотя они в известном смысле представляли и связывали нацию, тем не менее были, с одной стороны, неспособны объединить ее в силу своих сословных интересов, а с другой стороны, они были достаточно могущественны, чтобы не допустить осуществления национального единства одним из королей или племен.

Начинаний в этом направлении было немало; все они, как подсказывалось окружным устройством, шли по пути установления гегемонии. Сильный кантон принуждал более слабый подчиниться ему, так что ведущая община представляла другую во внешних сношениях и заключала за нее государственные договоры, а зависимый округ обязывался отбывать воинскую повинность и даже платить дань. Таким путем возник ряд сепаратных союзов, но одного руководящего племени для всей страны кельтов, союза всей нации, хотя бы слабого, не существовало. Как уже упоминалось, когда римляне начинали свои завоевания за Альпами, на севере страны существовал британско-бельгийский союз под руководством суэссионов, а в средней и южной Галлии — арвернская конфедерация, соперниками которой были эдуи, обладавшие более слабой клиентелой.

В эпоху Цезаря мы застаем еще такой союз у белгов в северо-западной Галлии, между Сеной и Рейном, но он не распространялся уже, как видно, на Британию; в нынешней Нормандии и Бретани существовал союз армориканских, т. е. приморских, округов; в средней, или собственно Галлии, как и прежде, боролись за гегемонию две партии, во главе которых стояли, с одной стороны, эдуи, а с другой стороны, секваны, сменившие ослабленных войнами с Римом арвернов. Эти различные конфедерации были независимы друг от друга. Ведущим государствам средней Галлии не удалось, по-видимому, распространить свое влияние на северо-восточную Галлию, да и на северо-западе они не сумели стать твердой ногой.

Стремление к национальной независимости находило в этих союзах округов известное удовлетворение, но они были во всех отношениях недостаточны. Связь между округами была весьма непрочна, колеблясь между союзом и гегемонией, а представительство целого, осуществлявшееся в мирное время союзным сходом и в военное — герцогом*, крайне слабо. Только бельгийская конфедерация была,

* Какое положение занимал такой союзный полководец по отношению к своему войску, видно из обвинения в государственной измене, выдвинутого против Верцингеторига (Caes., b. g., 7, 20).

должно быть, организована несколько прочнее, чему способствовал, быть может, национальный подъем, приведший к удачному отражению нашествия кимвров. Соперничество из-за гегемонии создавало в каждом союзе разрыв, который время не залечивало, а лишь углубляло, так как и победа одного из соперников не лишала его противника политического существования и оставляла ему возможность возобновить впоследствии борьбу, хотя бы даже он признал себя клиентом победителя. Соперничество могущественнейших округов создавало рознь не только между ними самими, оно сказывалось в каждом зависимом клане, в каждой деревне, часто даже в каждом доме, и каждый в отдельности становился на ту или другую сторону, в зависимости от своих личных интересов. Подобно тому как Эллада изнемогла не столько в борьбе Афин со Спартой, сколько из-за внутренних распрей афинской и лакедемонской партий в каждой зависимой общине и даже в самих Афинах, так и соперничество арвернов и эдуев, воспроизводившееся повсюду хотя бы и в незначительных масштабах, погубило кельтов.

Все эти политические и социальные условия отражались на обороноспособности нации. Преобладающим родом оружия была конница, но у белгов, а еще в большей мере на британских островах, наряду с ней достигли замечательного совершенства древненациональные боевые колесницы.

Эти многочисленные и храбрые отряды всадников и колесничных бойцов состояли из знати и ее челяди. Отличавшаяся истинно аристократической страстью к собакам и лошадям кельтская знать тратила большие средства, для того чтобы ездить на благородных конях иностранной породы. Воинственный дух этого дворянства характеризуется тем, что, когда раздавался призыв, все, кто только мог держаться на коне, даже старики, выступали в поход и, готовясь вступить в бой с презираемым врагом, клялись не возвращаться домой, если отряд их не прорвется хотя бы дважды через неприятельские ряды. Наемные дружинники были типичные ландскнехты, деморализованные и тупо равнодушные к чужой и собственной жизни; об этом свидетельствуют, как ни анекдотична их форма, рассказы о кельтском обычае устраивать шуточные состязания на рапирах во время званых обедов, а при случае — драться и всерьез, а также о существовавшем там обыкновении, оставляющем позади даже римские гладиаторские бои, — продавать себя на убой за известную денежную сумму или за несколько бочек вина и добровольно принимать смертельный удар на глазах всей толпы, растянувшись на щите.

В сравнении с этими всадниками пехота отступала на задний план. В основном она походила на те кельтские отряды, с которыми римляне боролись в Италии и Испании. Большой щит был в те времена главным средством обороны, что же касается оружия, то вместо меча

первое место занимало теперь длинное ударное копье. Когда несколько округов вели войну сообща, один клан стоял и сражался против другого. Нет никаких указаний на то, чтобы ополчение отдельного округа делилось на воинские части и составляло небольшие правильно построенные тактические единицы. Длинный обоз по-прежнему тащил за кельтским войском поклажу, а дорожные повозки служили ему скудной заменой укрепленного лагеря, который каждый вечер разбивали римляне. Имеются сведения о высоких качествах пехоты отдельных округов, например нервиев; замечательно, что у них не было рыцарства и что они, быть может, были даже не кельтским, а пришлым германским племенем. Вообще же кельтская пехота этого времени представляла собой мало пригодное для войны и неповоротливое ополчение, в особенности в южной части страны, где вместе с дикостью исчезала и храбрость. Кельт, говорит Цезарь, не смеет в бою взглянуть в глаза германцу. Еще более строгую оценку кельтской пехоты римский полководец дал тем, что никогда не употреблял ее вместе с римской, после того как узнал ее в своем первом походе.

Сравнивая то состояние, в каком застал кельтов Цезарь в Трансальпинской Галлии, с культурным уровнем кельтов в долине По за полтора столетия перед тем, нельзя не признать известного культурного прогресса. Тогда в войске преобладало превосходное в своем роде ополчение, теперь же первое место занимала конница. В то время кельты жили в открытых поселках, теперь поселения их были обнесены хорошо построенными стенами. Предметы, находимые в ломбардских могилах, в особенности медная и стеклянная утварь, далеко уступают находкам в северной Галлии. Надежнейшим критерием культурного роста является, быть может, чувство национальной солидарности; если о нем не было речи в войнах кельтов на территории нынешней Ломбардии, то оно живо проявилось в борьбе с Цезарем. Повидимому, кельтская нация, когда с ней столкнулся Цезарь, достигла уже предела предопределенного ей культурного развития и находилась на пути упадка. Цивилизация заальпийских кельтов эпохи Цезаря, несмотря на неполноту наших сведений о ней, представляет для нас много заслуживающих внимания и очень интересных черт; во многих отношениях она теснее примыкает к новой, чем к греко-римской культуре, благодаря своим парусным судам, рыцарству, церковному строю, а прежде всего своим, правда несовершенным, попыткам сделать опорой государства не город, а племя и его высшее выражение — нацию. Но именно потому, что мы застаем здесь кельтскую нацию на кульминационном пункте ее развития, перед нами тем ярче выступает меньшая степень ее моральной одаренности, или, что то же самое, меньшая способность ее к культуре. Она не смогла создать своими силами ни национального искусства, ни национального государства и дошла только до национальной религии и собственного дво-

рянства. Первоначальная наивная храбрость была утрачена, а воинское мужество, основанное на высшей морали и целесообразных установлениях и являющееся обычно результатом более высокой цивилизации, проявлялось лишь среди рыцарства и притом в очень извращенной форме. Настоящее варварство, правда, исчезло; прошло то время, когда самым жирным куском мяса кельты угощали храбрейшего из гостей, а тому из приглашенных, который почувствовал бы себя оскорбленным этим, предоставлялось вызвать на бой угощенного, и когда вместе с умершим вождем сжигали и его преданнейших дружинников. Однако человеческие жертвоприношения все еще продолжались, а та правовая норма, в силу которой нельзя было пытать свободного мужчину, но допускалась пытка свободной женщины наравне с пыткой рабов, бросает мрачный свет на положение женщины у кельтов даже в их культурную эпоху. Достоинства, свойственные первобытной эпохе жизни народов, были утрачены кельтами, но они не приобрели тех качеств, которые приносит с собой культура, если она глубоко проникает весь народ.

Таков был внутренний строй кельтской нации. Остается еще изобразить ее внешние сношения с соседями и показать, какую роль она играла в то время в могучем соревновании и борьбе народов, где сохранить достигнутое еще труднее, чем приобрести что-нибудь. У подножия Пиренеев отношения между народами давно уже складывались мирно, и миновали те времена, когда кельты теснили и отчасти вытеснили отсюда коренное иберийское население, т. е. басков.

Долины Пиренеев, а также горы Беарна и Гаскони и приморские степи к югу от Гаронны во времена Цезаря безраздельно принадлежали аквитанам, как называлось большое число мелких народностей иберийского происхождения, мало соприкасавшихся друг с другом и еще меньше с иноземцами; только самое устье Гаронны с важной гаванью Бурдигала (Бордо) принадлежало кельтскому племени битуригов-вивисков.

Гораздо большее значение имели сношения кельтов с римлянами и германцами. Мы не будем рассказывать снова, как римляне постепенно оттеснили кельтов, медленно продвигаясь вперед и заняв, наконец, всю береговую полосу между Альпами и Пиренеями, так что кельты были совершенно отрезаны от Италии, Испании и Средиземного моря, причем катастрофа эта была подготовлена за много столетий основанием греческой колонии у устья Роны. Необходимо, однако, напомнить о том, что кельты были вытеснены не только превосходством римского оружия, но в такой же мере и превосходством римской культуры, которой также, в конечном счете, весьма полезны были значительные зачатки греческой цивилизации в стране кельтов. И здесь торговля и мирные сношения, как это часто бывает, положили дорогу завоеванию. Кельты, как все северные народы, люби-

ли крепкие напитки; привычка их, подобно скифам, напиваться до опьянения неразбавленным благородным вином, вызывала у воздержанных южан удивление и отвращение, но торговец охотно ведет дела с подобными покупателями. Вскоре торговля со страной кельтов стала золотым дном для италийского купца; нередко жбан вина обменивался там на раба. И другие предметы роскоши, например италийские лошади, находили в Галлии выгодный сбыт. Случалось даже, что римские граждане приобретали землю по ту сторону римской границы и обрабатывали ее принятым в Италии способом. Так, например, имения римлян в кантоне сегусиавов (возле Лиона) упоминаются еще в 673 г. Несомненно, поэтому даже в свободной Галлии, например у арвернов, римский язык был известен еще до завоевания, хотя знание его распространялось, вероятно, на немногих, и даже со знатными людьми союзного племени эдуев римляне должны были объясняться через переводчиков. Подобному тому как продавцы виски и скваттеры начали оккупацию Северной Америки, так и эти римские виноторговцы и землевладельцы указывали путь будущему завоевателю Галлии. Как хорошо понималось это и противоположной стороной, видно из того, что одним из энергичнейших племен Галлии, нервиями, а также некоторыми германскими народностями были запрещены торговые сношения с римлянами.

Еще более стремительно, чем римляне со стороны Средиземного моря, наступали с Балтийского и Северного морей германцы — племя молодое, вышедшее из великой восточной колыбели народов и с юношеской силой, хотя, правда, и с юношеской грубостью, завоевывавшее себе место рядом со своими старшими братьями. Если народности этого племени, жившие на Рейне, как узипеты, тенктеры, сугамбры, убии, начинали уже в известной степени цивилизоваться и перестали, по крайней мере добровольно, менять места поселения, то все известия совпадают в том, что дальше, в глубине страны, земледелие имело мало значения и отдельные племена едва ли достигли прочной оседлости. Характерно, что в это время почти ни один из народов внутренней Германии не был известен западным соседям по имени его округа, а их знали лишь под общими наименованиями «свевов», т. е. кочевников, номадов, и «маркоманнов», т. е. пограничных бойцов*; названия эти вряд ли были уже во времена Цезаря именами

* Так, свевы Цезаря были, вероятно, хатты, но то же наименование, несомненно, давалось в эпоху Цезаря и еще гораздо позднее каждому германскому племени, которое можно было считать кочевым. Таким образом, если — что не подлежит сомнению — «царем свевов» у Мелы (3, 1) и Плиния (Н. п., 2, 67, 170) назван Ариовист, то отсюда вовсе не следует, что Ариовист был хатт. Упоминание о маркоманнах как об определенном народе не встречается до Маробода; весьма возможно,

округов, хотя они казались римлянам таковыми и впоследствии часто делались названиями округов. Самый сильный натиск этой великой нации пришелся на долю кельтов.

Борьба, которую вели, быть может, германцы с кельтами за обладание страной к востоку от Рейна, совершенно ускользает от наших взоров. Мы узнаем лишь, что к концу VII в. (от основания Рима) все земли до самого Рейна были утрачены кельтами, что бойи, которые, должно быть, жили некогда в Баварии и Богемии, скитались без пристанища, а Шварцвальд, населенный когда-то гельветами, если и не был занят находившимися поблизости германскими племенами, то представлял собой опустошенную и спорную пограничную область и тогда уже был тем, чем он назывался впоследствии: гельветской пустошью. Варварская стратегия германцев, ограждавших себя от вражеского нашествия опустошением соседней территории на несколько миль, получила здесь, по-видимому, применение в широчайшем масштабе.

Но германцы не остановились на Рейне. Грозно пронесшееся за пятьдесят лет до того по Паннонии, Галлии, Италии и Испании войско кимбров и тевтонов, ядро которого составляли германские племена, представляло собой, очевидно, лишь огромный разведывательный отряд. Многие германские племена уже приобрели постоянную оседлость к западу от Рейна, в особенности по нижнему течению его. Вторгнувшись как завоеватели, эти поселенцы продолжали требовать от своих галльских соседей, точно от подданных, заложников и взимать с них ежегодную дань. К ним относятся адуатуки, которые из обломка тевтонских орд превратились в значительное племя, а также ряд других народностей на Маасе, близ Льежа, объединенных впоследствии под названием тунгров; даже треверы (возле Трира) и нервии (в Геннегау) — две крупнейшие и могущественнейшие народности этой области — многими видными авторитетами обозначаются как германцы. Однако сведения эти нельзя считать вполне достоверными потому, что, как замечает Тацит относительно последних двух народов, в этих местах, по крайней мере в позднейшее время, считалось честью быть германского происхождения и не принадлежать к кельтской нации, не пользовавшейся особым уважением. Тем не менее население в области Шельды, Мааса и Мозеля, по-видимому, действительно в той или другой форме сильно смешалось с германскими элементами или по крайней мере подверглось их влиянию. Германские поселения были сами по себе, может быть, невелики, но они не

что до этого времени слово это не означало ничего, кроме того, что оно значит этимологически, т. е. стража границ или страны. Если Цезарь (1, 51) упоминает маркоманнов в числе народов, сражавшихся в войске Ариовиста, то он и в этом случае мог не понять чисто нарицательного названия, как он, бесспорно, сделал и со свевами.

были лишены значения, так как, несмотря на тот хаотический мрак, в котором проходят перед нами в это время народы на правом берегу Рейна, можно все же установить, что по следам этого авангарда готовились перейти через Рейн крупные германские массы. Трудно было ожидать, чтобы несчастная кельтская нация, которой с двух сторон грозило иноземное господство и которую раздирали внутренние распри, смогла еще подняться и спасти себя собственными силами. Вся история ее была историей расколов и вызванного ими упадка. Мог ли народ, не знавший в своем прошлом ни Марафона, ни Саламина, ни Ариции, ни Равдийских полей, народ, который даже в свою раннюю пору не сделал попытки соединенными усилиями уничтожить Массалию, мог ли он теперь, на закате своих дней, бороться со столь страшными врагами?

Чем меньше кельты, предоставленные самим себе, могли померяться с германцами, тем больше оснований имели римляне внимательно следить за несогласиями между этими двумя народами. Если возникшие отсюда осложнения не коснулись еще непосредственно их самих, то с исходом их были все же связаны важнейшие римские интересы. Понятно, что внутренние порядки кельтской нации быстро и основательно переплелись с ее внешними отношениями. Как в Греции лакедемонская партия соединилась против афинян с Персией, так и римляне с первого своего появления по ту сторону Альп нашли себе опору против арвернов, игравших тогда руководящую роль среди южных кельтов, в эдуях, их соперниках из-за гегемонии, и с помощью этих новых «братьев римского народа» не только подчинили себе аллоброгов и значительную часть зависевшей от арвернов территории, но и добились перехода гегемонии в оставшейся свободной Галлии от арвернов к эдуям. Но если национальности греков грозила опасность только с одной стороны, то кельты видели, что их теснят два врага, и естественно было, что они искали у одного из них защиты от другого и что если одна кельтская партия примыкала к римлянам, то противники ее вступали в союз с германцами. Легче всего это было сделать белгам, которые благодаря соседству и частым бракам с рейнскими германцами сблизились с ними и к тому же вследствие своего более низкого культурного уровня могли чувствовать себя по крайней мере столь же близкими чуждым им по национальности свевам, как и своим более образованным аллоброгским или гельветским соотечественникам. Но и южные кельты, у которых, как было уже сказано, во главе враждебной римлянам партии стоял теперь значительный округ секванов (близ Безансона), имели все основания призвать именно теперь германцев против римлян, грозивших прежде всего им; слабое правление сената и признаки готовившейся в Риме революции, которые не укрылись от кельтов, делали именно этот момент удобным для того, чтобы избавиться от римского влияния и унизить прежде всего их клиентов, эдуюв. Спор о таможенных сборах

на Соне, разделявшей владения эдуев и секванов, привел к разрыву между обоими округами, и в 683 г. германский князь Ариовист перешел через Рейн с 15 тыс. воинов в качестве наемника секванов.

Война продолжалась несколько лет с переменным счастьем; в общем результаты ее были неблагоприятны для эдуев. Вождь их Эпоредориг созвал, наконец, всех своих клиентов и двинулся против германцев со значительно превосходящими их силами. Однако германцы упорно избегали борьбы и скрывались в лесах и болотах. Лишь когда их кланы, утомленные ожиданием, начали приходить в расстройство и расходиться, германцы появились в открытом поле, и под Адмагетобригой Ариовист выиграл сражение, после которого остался на поле битвы цвет рыцарства эдуев. Эдуи, вынужденные этим поражением заключить мир на тех условиях, которые были поставлены победителем, должны были отказаться от гегемонии и вместе со всеми своими сторонниками стать клиентами секванов, а также обязались платить секванам, или, вернее, Ариовисту, дань, отдать детей самых знатных аристократов в качестве заложников и, наконец, клятвенно обещали не требовать возврата этих заложников и не добиваться вмешательства римлян. Мир этот был заключен, по-видимому, в 693 г.*

Честь и собственные интересы римлян побуждали их воспротивиться этому миру. Знатный эдуй Дивитиак, бывший вождем римской партии в своем клане и поэтому изгнанный теперь своими соотечественниками, лично отправился в Рим, чтобы просить о вмешательстве. Еще более серьезным предупреждением было восстание аллоброгов (693), соседей секванов, связанное, несомненно, с этими событиями. Наместникам Галлии были действительно даны указания оказать помощь эдуям; шла даже речь о том, чтобы послать за Альпы консулов с их армиями, но сенат, на рассмотрение которого были прежде всего представлены эти вопросы, увенчал и здесь громкие слова малыми делами: восстание аллоброгов было подавлено силой оружия, для эдуев же не только ничего не было сделано, но Ариовист был даже занесен в 695 г. в список дружественных римлянам властителей**.

* Прибытие Ариовиста в Галлию относится, по Цезарю (1, 36), к 683 г., а сражение под Адмагетобригой (а не Магетобригой, как обычно называют теперь это место на основании одной неправильной надписи), по Цезарю (1, 35) и Цицерону (*Ad Att.*, 1, 19) — к 693 г.

** Для того чтобы подобный образ действий не показался неправдоподобным и чтобы ему, пожалуй, не были приписаны более глубокие мотивы помимо политического невежества и лени, нужно вспомнить тот легкомысленный тон, в котором такой видный сенатор, как Цицерон, говорит в своей переписке об этих важных трансальпийских делах.

Германский вождь понял это, конечно, как отказ римлян от не занятой ими части страны кельтов; поэтому он начал устраиваться здесь, как дома, и приступил к организации в Галлии германского государства. Многочисленные отряды, приведенные им с собой, еще более многочисленные, прибывшие позднее с родины по его призыву, — полагают, что до 696 г. через Рейн перешло около 120 тыс. германцев, — всю эту огромную массу германских переселенцев, наводнявшую прекрасный Запад через открывшиеся перед ней шлюзы, он намеревался поселить здесь и основать на них свое господство над страной кельтов. Невозможно определить, как велики были созданные им на левом берегу Рейна германские поселения; без сомнения, они были обширны и еще обширней были его планы. Кельтов Ариовист рассматривал как совершенно покоренную им нацию, не делая никакого различия между отдельными округами. Даже секваны, в качестве наемного военачальника которых он перешел Рейн, должны были, точно и они были побежденные враги, уступить ему для его войска треть своей области — вероятно, занятый впоследствии трибоками верхний Эльзас, где надолго расположился Ариовист со своим войском. Однако и этого оказалось недостаточно, и у секванов была потребована затем еще треть их владений для прибывших позднее гарудов. Ариовист хотел, казалось, играть в Галлии роль Филиппа Македонского, стремясь стать господином не только над теми кельтами, которые симпатизировали германцам, но и над теми, которые были приверженцами Рима.

Появление в столь опасной близости могущественного германского властителя уже само по себе должно было вызвать у римлян серьезное беспокойство; оно представляло еще большую угрозу тем, что отнюдь не было единичным явлением. Проживавшие на правом берегу Рейна узипеты и тенктеры, выведенные из терпения постоянными опустошениями их владений дерзкими свевами, выступили за год до появления Цезаря в Галлии (695) из своих прежних поселений, чтобы искать себе других у устья Рейна. Они отняли уже у менапиев часть их владений, расположенную на правом берегу реки, и можно было предвидеть, что они сделают попытку утвердиться и на левом. Далее, между Кельном и Майнцем собирались отряды свевов и грозили появиться незваными гостями в противоположащем кельтском округе треверов. Наконец, и территория самого восточного кельтского клана, воинственных и многочисленных гельветов, подвергалась все более тяжким нашествиям германцев, так что гельветы, видимо и без того страдавшие от перенаселения вследствие обратного движения их поселенцев из утраченных ими областей к северу от Рейна и к тому же обреченные на полную изоляцию от своих соотечественников благодаря занятию Ариовистом области секванов, приняли отчаянное решение добровольно уступить германцам свою прежнюю тер-

риторию и искать к западу от Юры более обширных и плодородных земель, а вместе с тем по возможности добиться гегемонии во внутренней Галлии (подобный же план был еще во время нашествия кимвров задуман и начал выполняться некоторыми из их округов).

Раураки, владения которых (Базель и южный Эльзас) подвергались такой же опасности, а также остатки бойев, еще раньше принужденные германцами покинуть родину и теперь скитавшиеся без пристанища, и еще некоторые небольшие племена соединились с гельветами. Уже в 693 г. их летучие отряды перешли через Юру и доходили до самой римской провинции. Переселение не могло уже больше откладываться, и германские поселенцы неизбежно должны были тотчас вступить в покинутую ее защитниками область между Констанцским и Женевским озерами. Германские племена от верховьев Рейна до Атлантического океана пришли в движение, грозя всей линии Рейна. Это была минута, подобная той, когда алеманны и франки бросились на пришедшую в упадок империю цезарей. Казалось, что теперь кельтам суждено было испытать то, что полтысячелетия спустя пережили римляне.

При таких обстоятельствах новый наместник Гай Цезарь прибыл весной 696 г. в Нарбоннскую Галлию, которая постановлением сената была присоединена к его первоначальному проконсульству, обнимавшему Цизальпинскую Галлию вместе с Истрией и Далмацией. Должность его, порученная ему сперва на пять лет (до конца 700 г.), а затем в 699 г. — еще на пять лет (до конца 705 г.), давала ему право назначить десять подчиненных ему военачальников в звании пропреторов и — по крайней мере по его толкованию — пополнять свои легионы и даже создавать новые из проживавших во вверенной ему области, в особенности в Цизальпинской Галлии, многочисленных римских граждан.

Войско, принятое им под свое начальство в обеих провинциях, состояло из четырех хорошо обученных и опытных в военном деле легионов линейной пехоты — седьмого, восьмого, девятого и десятого, — т. е. не больше 24 тыс. человек, к которым, по обыкновению, присоединялись контингенты, набранные из подданных. Конница и легко вооруженные части были представлены всадниками из Испании, а также нумидийскими, критскими, балеарскими стрелками и пращниками. Штаб Цезаря, цвет столичной демократии, заключал в себе кроме многих никуда не годных знатных молодых людей и нескольких способных офицеров, например Публия Красса, младшего сына старого политического союзника Цезаря, и Тита Лабiena, который как верный адъютант последовал за вождем демократии с форумом на поле брани.

Определенных заданий Цезарь не получил; проникательному и храброму человеку они подсказывались обстоятельствами. И здесь

нужно было наверстать упущенное сенатом и прежде всего остановить поток германского нашествия. Как раз в это же время началось нашествие гельветов, тесно связанное с германским и подготовлявшееся в течение многих лет. Для того чтобы не оставить своих покинутых жилищ германцам и сделать самим себе отступление невозможным, гельветы сожгли свои города и села, и их длинные обозы, нагруженные женщинами, детьми и лучшей частью движимого имущества, стали со всех сторон прибывать к Леману, где они и их союзники условились встретиться 28 марта* 696 г. возле Генавы (Женева). По их собственному подсчету, вся эта масса народа состояла из 368 тыс. человек, из которых около четверти могли носить оружие. Так как Юрские горы, тянувшиеся от Рейна до Роны, почти совершенно закрывали с запада страну гельветов, а узкие ущелья их, будучи мало пригодны для прохода такого каравана, очень удобны для обороны, то вожди решили обойти их с юга и проложить себе дорогу на запад там, где Рона прорывает горные цепи между юго-восточной и самой высокой частью Юры и Савойскими горами, возле нынешнего Fort de l'Écluse. Но на правом берегу Роны утесы и обрывы так близко подступают здесь к реке, что остается лишь узкая тропинка, которую легко преградить, так что секваны, которым принадлежал этот берег, легко могли закрыть гельветам этот проход. Поэтому они предпочли перенравиться на левый, аллоброгский, берег Роны, несколько выше того места, где она прорвала горы, чтобы снова перейти, спустившись вниз по течению, на правую сторону там, где Рона вступает в равнину, и двинуться затем вперед, в равнинную западную Галлию, где они собирались поселиться в плодородном кантоне сентонов (Сентонж, долина реки Шаранты), на побережье Атлантического океана. Путь этот, поскольку он пролетал по левому берегу Роны, вел через римские владения, и Цезарь, вообще не намеревавшийся допустить утверждения гельветов в западной Галлии, твердо решил не допустить их прохода. Но из четырех его легионов три стояли далеко, близ Аквилей; хотя он и созвал поспешно ополчение Трансальпийской Галлии, казалось все же едва ли возможным помешать с таким ничтожным отрядом переправе несчетных кельтских орд через Рону на протяжении более чем трех миль — от ее истока из Женевского озера до того места, где она прорывает горы. Но путем переговоров с гельветами, которые охотно совершили бы переправу через реку и поход через владения аллоброгов мирным образом, Цезарь выиграл 15 дней, используя этот срок для уничтожения моста на Роне близ Генавы и устройства на южном берегу реки укреплений длиной почти

* По неисправленному календарю. Согласно же принятому исправлению, которое, однако, отнюдь не опирается здесь на вполне достоверные данные, этот день соответствует 23 апреля юлианского календаря.

в 4 мили, преграждавших путь врагу, — это было первое применение проводившейся впоследствии римлянами в столь широком масштабе системы военной охраны государственной границы путем цепи окопов, связанных между собой валами и рвами. Попытки гельветов переправиться на другой берег в челнах или вброд были на этой линии удачно отражены римлянами, и гельветам пришлось отказаться от переправы.

Напротив, враждебная римлянам партия кельтов, рассчитывавшая найти в гельветах мощную поддержку, в особенности эдуй Думнорнг, брат Дивициака, бывший в своем округе вождем национальной партии, подобно тому как брат его стоял во главе сторонников Рима, добилась согласия секванов на проход гельветов через юрские ущелья в их землю. Римляне не имели никакого правового основания помешать этому, но с гельветским походом для них были связаны иные и более высокие интересы, чем формальная неприкосновенность римской территории, — интересы, которые могли быть ограждены лишь в том случае, если бы Цезарь, вместо того чтобы ограничиться, как все назначенные сенатом наместники и даже сам Марий, скромной задачей охраны границ, переступил во главе значительной армии за тогдашнюю государственную границу. Цезарь был полководцем не сената, а государства; он не колебался. Прямо из Генавы он лично отправился в Италию и со свойственной ему быстротой привел оттуда расположенные там три легиона, а также два других, вновь набранных. Эти войска он объединил с отрядом, стоявшим близ Генавы, и со всеми этими силами перешел Рону.

Неожиданное появление его во владениях эдуй, разумеется, тотчас же привело там к власти римскую партию, что было не безразлично для организации снабжения. Гельветов Цезарь застал занятыми переправой через Сону и переходом из области секванов во владения эдуй. Та часть, которая оставалась еще на левом берегу Соны, а именно отряд тигуринов, была смята и уничтожена быстро наступавшими римлянами. Но основная масса находилась уже на правом берегу реки; Цезарь последовал за ней и совершил переправу, которую неуклюжий обоз гельветов не мог закончить в 20 дней, в 24 часа. Гельветы, которым этот переход римской армии через реку помешал продолжать их поход на запад, повернули на север, без сомнения предполагая, что Цезарь не осмелится следовать за ними далеко в глубь Галлии, и намереваясь снова обратиться к своей настоящей цели, лишь только он удалится от них. В продолжение 15 дней римское войско двигалось на расстоянии около одной мили от неприятеля, следуя за ним по пятам и дожидаясь благоприятной минуты, чтобы напасть на неприятельское войско при обещающих победу условиях и уничтожить его. Но эта минута не наступала. Как ни неповоротлив был караван гельветов, вожди их умели все же предупреждать нападение и

не только были обильно снабжены припасами, но подробно информировались своими шпионами обо всем, что делалось в римском лагере. Римляне же стали ощущать недостаток в самом необходимом, в особенности когда гелльветы удалились от Соны и подвоз рекой прекратился. Отсутствие обещанного едуями провианта, которым прежде всего и были вызваны эти затруднения, было тем более подозрительно, что оба войска все еще передвигались по их территории. Затем обнаружилась совершенная ненадежность многочисленной, насчитывающей до 4 тыс. лошадей римской конницы, что было, правда, понятно, так как она состояла почти исключительно из кельтского дворянства, а именно из всадников эдучей под начальством известного врага римлян Думнорига, которых Цезарь принял скорее как заложников, чем в качестве солдат. Были все основания думать, что поражение, нанесенное им значительно более слабой коннице гелльветов, было вызвано ими же самими и что именно они осведомляли неприятеля обо всем, что происходило в римском лагере. Положение Цезаря становилось опасным; с полной ясностью обнаружилось, что могла сделать партия кельтских патриотов даже у эдучей, несмотря на их официальный союз с Римом и на склонявшиеся к римской ориентации сепаратные интересы этого округа. Что же могло бы случиться, если бы римляне все дальше и дальше углублялись в эту возбужденную против них страну и удалились бы от своей коммуникационной линии?

В это время римляне проходили в небольшом расстоянии от главного города эдучей — Бибракте (Отэн). Цезарь решил силой завладеть этим важным пунктом, прежде чем продолжать поход в глубь страны, и весьма возможно, что он вообще намеревался отказаться от дальнейшего преследования и укрепиться в Бибракте. Но когда он, оставив преследование, направился к Бибракте, гелльветы решили, что римляне собираются бежать, и в свою очередь напали на них. Цезарь другого ничего и не хотел. Оба войска выстроились на двух параллельных рядах холмов. Кельты начали бой, рассеяли выдвинутую вперед римскую конницу и атаковали расположенные по склону холма римские легионы, но должны были отступить перед ветеранами Цезаря. Когда затем римляне, используя свой успех, спустились на равнину, кельты снова двинулись на них, а оставленный в резерве кельтский отряд одновременно напал на них с фланга. Против последнего был послан римский резерв, который оттеснил этот отряд от главной массы в сторону обоза, где он и был уничтожен. Главные силы гелльветов были, наконец, вынуждены отступить и двинулись в восточном направлении — противоположном тому, куда направлялся их поход. День этот положил конец мечтам гелльветов основать себе новую родину близ Атлантического океана, и гелльветы были предоставлены милости победителя. Римляне победили, но и для них это

был тяжелый день. Цезарь, имевший основания не совсем доверять своим офицерам, в самом начале сражения отослал всех их лошадей, для того чтобы войско его твердо уяснило себе необходимость держаться стойко. И действительно, если бы римляне проиграли это сражение, армия их была бы, вероятно, уничтожена. Римские войска были слишком изнурены, чтобы энергично преследовать побежденных; но вследствие заявления Цезаря, что он будет считать врагами римлян всех, кто окажет помощь гельветам, им отказывали во всякой поддержке всюду, где показывалась их разбитая армия, начиная с округа лингонов (возле Лангра), так что гельветы, лишенные снабжения и своей поклажи и обремененные массой небоеспособной обозной прислуги, должны были подчиниться римскому полководцу.

Участь побежденных была сравнительно легка. Эдуям было приказано уделить в своих владениях место безземельным бойам. Это поселение побежденных врагов среди могущественнейших кельтских округов имело почти такое же значение, как основание римской колонии. Гельветы и раураки, которых осталось немногим больше трети всей выселившейся массы, были, конечно, отосланы в их прежнюю область, которая была присоединена к римской провинции; население ее было допущено к союзу с Римом на выгодных условиях, чтобы под римским верховенством защищать на Рейне границу государства от германцев. Только юго-западная оконечность округа гельветов была занята римлянами, а расположенный здесь на красивом берегу Женевского озера древний кельтский город Новиодун (ныне Нион) был превращен впоследствии в римскую пограничную крепость *Iulia Equestris* («Юлиева колония всадников»)*.

Таким образом, грозившее нашествие германцев на верхнем Рейне было предупреждено, и вместе с тем была унижена враждебная римлянам кельтская партия. То же следовало сделать и на среднем Рейне, где германцы давно уже переправились на западный берег, и ежедневно увеличивалось их число, и где власть Ариовиста, соперничавшая в Галлии с римской, распространялась все далее. Предлог к разрыву найти было нетрудно. В сравнении с ярмом, которым грозил или уже наложил на них Ариовист, римское господство должно было казаться теперь большинству кельтов меньшим злом; меньшинство же, упорствовавшее в своей ненависти к римлянам, должно было, по крайней мере, замолчать.

Сход кельтских племен средней Галлии, устроенный под влия-

* Эпитет *Equestris* нужно понимать так же, как в названиях других колоний Цезаря обозначения *sextanorum*, *decimanorum* и т. д. Здесь получали земельные наделы кельтские или германские всадники Цезаря вместе, конечно, с правом римского или по крайней мере латинского гражданства.

нием римлян, обратился от имени кельтского народа к римскому проконсулу с просьбой о помощи против германцев. Цезарь согласился на это. По его предложению, эдуи приостановили платеж дани, следовавшей Ариовисту по договору, и потребовали возврата заложников. Когда же Ариовист напал на клиентов Рима вследствие этого нарушения договора, Цезарь выбрал это поводом для того, чтобы вступить с ним в непосредственные переговоры и потребовать от него кроме возврата заложников и обещания жить в мире с эдуями еще и обязательства не переводить больше германцев из-за Рейна. Германский полководец в полном сознании своего равноправного положения отвечал римскому, что северная Галлия покорилась ему по праву войны, точно так же как южная римлянам, и они не должны мешать ему облагать сборами своих подданных, как и он не препятствует римлянам взимать дань с аллоброгов. В дальнейших тайных переговорах выяснилось, что германскому князю хорошо известны римские дела; он упомянул о предложениях, сделанных ему из Рима, устранить Цезаря с пути и изъявил готовность помочь Цезарю достигнуть господства над Италией, если Цезарь предоставит ему северную Галлию; подобно тому как партийные распри кельтов открыли Ариовисту доступ в Галлию, так, казалось, ожидал он теперь укрепления своего господства от несогласий между римскими партиями. Уже много веков никто не разговаривал с римлянами таким языком совершенно равноправной державы, резко и настойчиво обнаруживающей свою самостоятельность. Когда римский полководец предложил германскому военачальнику явиться к нему лично, как делалось обычно с зависимыми князьками, Ариовист наотрез отказался прибыть. Поэтому нельзя было медлить, — Цезарь тотчас же двинулся против Ариовиста.

Панический страх овладел римским войском, в особенности офицерами, когда они узнали, что им придется встретиться с отборными германскими отрядами, 14 лет находящимися в походе; и в лагере Цезаря вследствие глубокого упадка римской морали и военной дисциплины дело едва не дошло до дезертирства и мятежа. Но главнокомандующий, объяснив, что в случае нужды он выступит против неприятеля с одним только десятым легионом, сумел этим призывом к воинской чести удержать под знаменами не только этот легион, но и другие полки, в которых проснулся дух соревнования, и вдохнул в войско часть своей энергии. Не дав им времени на раздумье, он быстрыми маршами повел их вперед и, удачно предупредив Ариовиста, занял столицу секванов Везонтион (Безансон). Личная встреча обоих полководцев, состоявшаяся по желанию Ариовиста, была для него, очевидно, лишь предлогом для попытки покушения на Цезаря; спор между обоими владыками Галлии мог быть разрешен только силой оружия. Борьба временно приостановилась. Оба войска стояли неда-

леко друг от друга в нижнем Эльзасе, приблизительно в районе Мюльгаузена, в расстоянии одной мили от Рейна*, пока Ариовисту не удалось пройти со своим значительно более сильным войском мимо римского лагеря, расположившись в его тылу и отрезав римлян от их базы и подвоза. Цезарь пытался выйти из этого затруднительного положения посредством сражения, но Ариовист от этого уклонился. Римскому полководцу оставалось лишь повторить, несмотря на незначительность своих сил, маневр противника и восстановить свои сообщения, приказав двум легионам пройти мимо неприятеля и занять позицию по ту сторону германского стана, в то время как четыре легиона остались в прежнем лагере. Ариовист, видя, что римляне разделили свои силы, пытался атаковать их меньший лагерь, но римляне отразили атаку.

Под впечатлением этого успеха было двинуто в бой все римское войско. Германцы также построились в боевом порядке, длинной линией, каждое племя само по себе; за ними, чтобы затруднить бегство, находились телеги с поклажей и с женщинами. Правое крыло римлян под предводительством самого Цезаря стремительно бросилось на врага и погнало его перед собой; то же самое удалось сделать и правому флангу германцев. Еще чаша весов не склонилась ни в ту, ни в другую сторону, но тактика резерва, как часто бывало в боях с варварами, и здесь решила исход борьбы в пользу римлян; их третья линия, своевременно высланная на помощь Публием Крассом, вос-

* Гелер (Göler, *Caesars Gall. Krieg*, 45 ff.) считает, что ему удалось обнаружить поле этой битвы под Сернэ, вблизи Мюльгаузена, что в общем согласно и с мнением Наполеона, который полагает, что сражение происходило возле Бельфора (*Precis*, 35). Предположение это, правда, не доказано, но оно согласуется с обстоятельствами, так как если Цезарю потребовалось семь дней на переход от Безансона до этой местности, то он сам объясняет это тем (1, 41), что сделал обход больше чем в 10 миль, чтобы избежать горных дорог; в пользу же того, что сражение происходило в 5, а не в 50 милях от Рейна, говорит основанное на столь же авторитетной традиции описание преследования, продолжавшегося до самого Рейна и происходившего, по-видимому, не несколько дней, а окончившегося в самый день битвы. Предложение Рюстова (*Rüstow, Einleitung zu Caesars Komm.*, 117) отнести поле сражения к верхнему течению Саара основано на недоразумении. Хлеб, ожидавшийся от секванов, левков, лингонов, они должны были доставить римскому войску не во время марша против Ариовиста, а перед выступлением на Безансон; это явствует из того, что Цезарь, указывая своим войскам на эти припасы, обнадеживал их еще предстоящей поставкой хлеба в пути. Из Безансона Цезарь господствовал над районом Лангра и Эпиналя, и, разумеется, ему легче было получать провиант отсюда, чем из истощенных округов, откуда он прибыл.

становила положение на левом фланге, что и обеспечило победу. Преследование германцев продолжалось на протяжении 10 миль от поля боя, до самого Рейна; лишь немногим, в том числе и Ариовисту, удалось спастись на правый берег (696). С таким блеском началось римское владычество на могучей реке, которую впервые увидели здесь италийские солдаты; одним удачным сражением была завоевана линия Рейна.

Судьба германских поселений на левом берегу Рейна была в руках Цезаря; победитель мог бы их уничтожить, но он этого не сделал. Соседние кельтские округа секванов, левков, медиоматриков были невоинственны и ненадежны; германские же переселенцы обещали стать не только храбрыми стражами границы, но и лучшими подданными Рима, так как с кельтами их разъединяла национальность, а с их зарейнскими сородичами — личная заинтересованность в сохранении новоприобретенных земель, и при своем изолированном положении они не могли быть верными центральной власти. Цезарь предпочел здесь, как и повсюду, побежденных врагов сомнительным друзьям; он оставил поселенным Ариовистом германцам — трибокам возле Страсбурга, неметам в районе Шпейера, вангионам близ Вормса — их новые поселения и поручил им охрану рейнской границы от их земляков*. Свевы же, угрожавшие на среднем Рейне владениям треверов, узнав о поражении Ариовиста, снова удалились во внутреннюю Германию, причем окрестные народности причинили им на обратном пути значительные потери.

Последствия этого похода были неисчислимы; они ощущались даже спустя тысячелетия. Рейн стал границей римской державы против германцев. В неспособной больше управляться самостоятельно Галлии римляне господствовали до той поры на южном побережье, а германцы попытались незадолго до того утвердиться на севере. Последние же события определили, что Галлия не только отчасти, но целиком подпадает под римское владычество и что естественная граница, образуемая могучей рекой, станет и границей политической. В лучшие времена свой сенат не знал покоя, пока Рим не распространил

* Таково, по-видимому, простейшее объяснение происхождения этих германских поселений. Что эти племена были поселены на среднем Рейне Ариовистом, представляется вероятным потому, что они сражались в рядах его войска (*Caes.*, 1, 51) и не упоминаются раньше; а то, что Цезарь оставил им их поселения, подтверждается заявлением его Ариовисту, что он готов оставить в Галлии проживающих уже там германцев (*Caes.*, 1, 35, 43), как и тем, что мы встречаем их позднее в этих местах. Цезарь не упоминает о распоряжениях, сделанных им после сражения относительно этих германских поселений потому, что он вообще умалчивает обо всех своих организационных мероприятиях в Галлии.

свое господство до естественных границ Италии — Альп, Средиземного моря и ближайших островов. Выросшее государство нуждалось в подобном же стратегическом окружении; но тогдашнее правительство предоставило это дело случаю и заботилось не о том, чтобы границы были пригодны для обороны, а лишь о том, чтобы ему самому не пришлось непосредственно их защищать. Чувствовалось, что теперь судьбы Рима стали управляться иным духом, иной рукой.

Фундамент будущего здания был возведен, но для того, чтобы достроить его и добиться полного признания римского господства галлами и рейнской границы германцами, недоставало еще многого. Правда, вся средняя Галлия, от римской границы до Шартра и Трира, беспрекословно подчинилась новому властителю, а на нижнем и среднем Рейне также нечего было пока опасаться нападения со стороны германцев. Только северные области — армориканские округа Бретани и Нормандии, а также могущественная конфедерация белгов не пострадали от ударов, нанесенных средней Галлии, и не видели основания подчиниться победителю Ариовиста. К тому же между белгами и зарейнскими германцами существовали, как было уже указано, тесные сношения, и близ устьев Рейна германские племена готовились переправиться через реку.

Вследствие этого весной 697 г. Цезарь двинулся со своим войском, состоявшим теперь уже из восьми легионов, против бельгийских округов. Памятуя храброе и успешное сопротивление, совокупными силами оказанное ими за 50 лет перед тем кимврам на границе своей страны, и подстрекаемые бежавшими к ним в большом числе патриотами из средней Галлии, белги выслали к южной границе конфедерации весь первый призыв своего ополчения, 300 тыс. вооруженных людей под предводительством короля суэссионов Гальбы, чтобы дать там отпор Цезарю. Только один округ могущественных ремов (возле Реймса) увидел в этом иноземном нашествии повод свергнуть с себя власть своих соседей — суэссионов, собираясь принять на себя в северной Галлии ту роль, которую в средней Галлии играли эдуи.

Войска римлян и белгов прибыли во владения ремов почти одновременно. Не решаясь вступить в бой с храбрым, в шесть раз превосходившим его силами врагом, Цезарь расположился лагерем к северу от реки Эн, недалеко от нынешнего Понтавера (Pontavert), между Реймсом и Ланом, на плоской возвышенности, которую частью река и болота, а частью рвы и редуты делали почти неприступной со всех сторон, и ограничивался тем, что оборонительными мерами отражал попытки белгов перейти через Эн и отрезать ему сообщения. Если он надеялся на то, что коалиция скоро распадется сама собой, то расчет его оказался правильным. Король Гальба был честный, всеми уважаемый человек, но руководство армией в 300 тыс. человек, находящейся на неприятельской территории, было ему не по силам. Войско

не двигалось с места, и припасы истощались; в лагерь союзников стали проникать недовольство и раздоры. Так, белловаков, равных по силе суэссионам и недовольных тем, что командование союзным войском досталось не им, невозможно было удержать, в особенности после того, как было получено известие, что эдуи в качестве союзников римлян готовятся к вторжению во владения белловаков. Решено было распустить армию и разойтись по домам, и если, стыда ради, все племена вместе с тем обязались совокупными силами поспешить на помощь тому округу, который первый подвергнется нападению, то это невыполнимое обязательство было лишь неудачной прикрасой жалкого распада союза. Это была катастрофа, живо напоминающая ту, которая произошла почти в том же месте в 1792 г.; и, подобно походу в Шампани, поражение это было тем тяжелее, что оно совершилось без боя. Плохое руководство наступавшей армией позволило римскому главнокомандующему преследовать ее как побежденную и уничтожить часть оставшихся до конца контингентов.

Но результаты победы этим не ограничились. Как только Цезарь вступил в западные кантоны белгов, они капитулировали один за другим почти без сопротивления: могущественные суэссионы (возле Суассона), их соперники белловаки (близ Бовэ, Beauvais), а также амбианы (около Амьена). Города открывали свои ворота при виде странных осадных машин и катящихся к их стенам башен; кто не хотел сдаваться иноземному владыке, искал прибежища по ту сторону моря, в Британии.

Живее было национальное чувство в восточных кантонах. Веромандуи (возле Арраса), атребаты (близ Сен-Квентина), германские адуатуки (около Намюра) и прежде всего нервии (в Геннегау) с их значительной клиентелой, численностью мало уступавшие суэссионам и белловакам и много превосходившие их храбростью и патриотической энергией, составили второй, более тесный союз и собрали свои войска в верховьях Самбры. Кельтские шпионы подробно осведомляли их о движениях римской армии; их знание местности, а также высокие стены, повсюду воздвигнутые в этих краях для преграждения пути конным шайкам разбойников, часто опустошавшим страну, позволяли союзникам скрывать большинство своих операций от взоров римлян. Когда римляне прибыли на Самбру, близ Бавэ (Bavay), и легионы стали разбивать лагерь на гребне левого берега, а конница и легкая пехота занялись разведкой на противоположных высотах, вся масса неприятельского ополчения внезапно обрушилась на последних и оттеснила их с холма к реке. В одно мгновение противник перешел и через реку и неустрашимо бросился на штурм высокого левого берега. Рывшим окопы легионерам едва оставалось время, чтобы сменить заступ на меч; солдатам, многие из которых были даже без шлемов, пришлось сражаться где кто стоял, без правильной боевой

линии, без плана, без настоящего руководства, так как вследствие неожиданности нападения и из-за пересеченной высокими изгородами местности отдельные части совершенно утратили всякую связь между собой. Вместо сражения происходил ряд нестройных стычек. Лабием с левым крылом опрокинул атребатов и преследовал их по ту сторону реки. Римский центр оттеснил веромандуев с горы. Но правое крыло, где находился сам главнокомандующий, было без труда обойдено нервиями благодаря их значительному численному превосходству, тем более что центр, увлекшись своим успехом, очистил около него место; даже полуготовый римский лагерь был занят нервиями; оба легиона, сжатые каждый порознь в тесный клубок, атакованные спереди и с флангов, лишённые большинства своих офицеров и лучших солдат, были, казалось, готовы рассеяться и быть изрубленными. Римский обоз и союзные войска бежали уже в разные стороны; кельтские конные части, как, например, контингент тревров, мчались с опущенными поводьями, чтобы непосредственно с поля сражения доставить домой желанную весть о понесенном римлянами поражении. Все было поставлено на карту. Сам главнокомандующий схватил щит и боролся в первых рядах; его пример и его все еще вдохновляющий призыв остановили поколебавшиеся ряды. Римлянам удалось расчистить себе место и восстановить хотя бы связь между обоими правофланговыми легионами, когда подоспела помощь — отчасти с крутого берега реки, куда прибыл тем временем вместе с обозом и римский арьергард, а отчасти с противоположной стороны, где Лабием успел проникнуть до неприятельского лагеря, овладел им и, заметив, наконец, опасность, грозившую на правом фланге, послал на помощь своему главнокомандующему победоносный десятый легион. Нервии, отрезанные от своих союзников и атакованные одновременно со всех сторон, обнаружили при этой перемене счастья тот же героизм, какой они проявили, когда считали уже себя победителями, и боролись до последнего человека, стоя на груде трупов своих воинов. По их собственному свидетельству, из 600 их старейшин только трое пережили этот день.

После этого страшного поражения нервиям, атребатам и веромандуям пришлось признать римское главенство. Адуатуки, прибывшие слишком поздно, чтобы принять участие в сражении на Самбре, пытались еще, правда, держаться в своем укрепленном городе на горе Фализ (у реки Мааса, возле Гюи), но вскоре сдались. Ночное нападение на расположенный перед городом римский лагерь, на которое они решились после капитуляции, потерпело неудачу, и это вероломство было жестоко наказано римлянами. Клиентела адуатуков, состоявшая из эбуронов (между Маасом и Рейном) и других мелких соседних племен, была объявлена римлянами независимой, а пленные адуатуки были массой проданы с молотка в пользу римской каз-

ны. Казалось, что судьба, постигшая кимбров, преследовала и этот последний их обломок. По отношению к остальным покоренным племенам Цезарь ограничился разоружением их и взятием заложников. Ремы стали, конечно, ведущим округом в области белгов, подобно эдуям в средней Галлии; даже в последней многие из враждебных эдуям кланов перешли в клиентелу ремов. Только отдаленные приморские кантоны моринов (Артуа) и менапиев (Фландрия и Брабант), а также населенная по большей части германцами область между Шельдой и Рейном остались на этот раз в стороне от римского нашествия и сохранили свою исконную свободу.

Очередь дошла и до армориканских округов. Еще осенью 697 г. туда был послан Публий Красс с римским отрядом. Он добился того, что венеты, занимавшие в судоходстве первое место среди всех кельтских округов, так как они обладали портами нынешнего департамента Морбиган и значительным флотом, вообще все прибрежные округа между Луарой и Сеной покорились римлянам и выставили заложников. Однако вскоре они раскаялись в этом. Когда следующей зимой (697/698 г.) в эти края прибыли римские офицеры для распределения хлебных поставок, они в свою очередь были захвачены венетами в качестве заложников. Примеру венетов тотчас последовали не только армориканские, но и сохранившие еще независимость приморские кантоны белгов. Там, где, как в некоторых нормандских округах, общинный совет отказывался примкнуть к восстанию, толпа убивала его членов и с удвоенным рвением примыкала к национальному движению. Все побережье от устья Луары до устьев Рейна поднялось против Рима; самые решительные патриоты из всех кельтских округов спешили туда, чтобы участвовать в великом деле освобождения; ожидалось восстание всей бельгийской конфедерации, помощь из Британии и переход германцев из-за Рейна.

Цезарь отправил Лабiena со всей конницей на Рейн, чтобы подавить брожение в области белгов и в случае необходимости воспрепятствовать переходу германцев через Рейн. Другой подчиненный Цезарю военачальник, Квинт Титурий Сабин, был послан с тремя легионами в Нормандию, где сосредоточивались главные силы мятежников. Но настоящим очагом восстания было могущественное и способное племя венетов; против него был направлен главный удар как с моря, так и с суши. Децим Брут повел флот, составленный частью из судов покоренных кельтских округов, а частью из римских галер, наскоро построенных на Луаре и снабженных гребцами из Нарбоннской провинции. Сам Цезарь вступил с главными силами своей пехоты в область венетов. Но они были подготовлены, умело и энергично используя преимущества, предоставляемые условиями местности в Бретани и обладанием значительным флотом. Страна была изрезана горами и бедна хлебом, города, расположенные большей частью на уте-

сах и мысах, соединялись с материком лишь неудобными тропинками; осада была так же тяжела для наступавшей с суши армии, как и снабжение ее, между тем как кельты на своих кораблях легко могли снабжать города всем необходимым и в крайнем случае обеспечить их эвакуацию. Легионы тратили время и силы на осаду венетских городов, чтобы видеть, как исчезали в конце концов существеннейшие плоды победы на неприятельских судах. Когда поэтому римский флот, задержанный бурями в устье Луары, прибыл, наконец, к бретанскому побережью, ему было предоставлено решить исход войны морским сражением.

Кельты, сознавая свое превосходство в этой стихии, повели свой флот против эскадры, предводительствуемой Брутом. Флот их, состоявший из 220 парусных судов, был не только гораздо больше римского; прочные парусные корабли их с высокими бортами и плоским дном были гораздо лучше приспособлены к могучим волнам Атлантического океана, чем низкие, легко построенные весельные галеры римлян с их острыми килями. Ни стрелы, ни абордажные мостки римлян не достигали высокой палубы неприятельских судов, а об их дубовые доски бессильно ударялись железные носы римских кораблей. Но римские матросы стали перерезать укрепленными на длинных шестах серпами канаты, связывающие реи с мачтами на неприятельских судах; реи и паруса падали, и так как это повреждение неприятель не умел быстро поправить, то корабль становился вследствие этого негодным, как нынешнее судно, если у него упадут мачты, и римским лодкам легко удавалось соединенными силами завладеть неподвижным неприятельским кораблем. Когда галлы увидели этот маневр, они попытались отплыть от берега, где они вступили в бой с римлянами, и уйти в открытое море, куда римские галеры не могли за ними последовать. Но, к их несчастью, внезапно наступил полнейший шторм, и огромный флот, на сооружение которого приморские округа употребили все свои силы, был почти целиком уничтожен римлянами. Таким образом, это морское сражение — по историческим данным, древнейшее из происходивших на Атлантическом океане, — несмотря на самые неблагоприятные обстоятельства, окончилось победой римлян благодаря вынужденной обстоятельствами удачной выдумке, как это было и за 200 лет перед тем в битве при Милах.

Результатом одержанной Брутом победы была капитуляция венетов и всей Бретани. Скорее с целью устрашить кельтскую нацию, показав ей теперь, после многократно проявленной кротости с побежденными, пример страшной суровости с упорно сопротивляющимися врагами, чем с намерением наказать ее за нарушение договора и пленение римских офицеров, Цезарь приказал казнить весь общинный совет и продать в рабство всех граждан венетского округа до послед-

него человека. Этой тяжелой участью, так же как своим умом и патриотизмом, венеты, больше, чем какой-либо другой из кельтских кланов, приобрели право на сочувствие потомства. Ополчению приморских государств, собранному на берегу канала, Сабин противопоставил ту же тактику, посредством которой Цезарь за год перед тем одержал верх над белгами на реке Эн. Он придерживался оборонительного положения, пока нетерпение и лишения не расстроили ряды кельтского ополчения; тогда он сумел, скрыв от неприятеля настроение и силы своего войска, увлечь его на необдуманый штурм римского лагеря и разбил его, после чего ополчение рассеялось и вся область до самой Сены покорилась римлянам.

Одни только морины и менапии упорно отказывались признать римское господство. Для того чтобы принудить их к этому Цезарь появился у их границы; но умудренные опытом своих соотечественников, они уклонились от сражения на границе своих владений и удалились в леса, в то время почти сплошь простиравшиеся от Арденн до Северного моря. Римляне пытались проложить себе дорогу через эти леса топором, нагромождая по обе стороны срубленные деревья как преграду против нападений неприятеля; но как ни смел был Цезарь, после нескольких дней тяжелого перехода он нашел лучшим, так как к тому же дело шло к зиме, дать приказ об отступлении, хотя лишь небольшая часть моринов была покорена, а могущественные менапии не были даже достигнуты. В следующем году (699), когда сам Цезарь был занят в Британии, большая часть его войска опять была послана против этих племен, но и эта экспедиция осталась в основном безуспешной. Тем не менее результатом последних походов было почти полное подчинение Галлии римскому господству. Если средняя Галлия была покорена почти без сопротивления, то благодаря походу 697 г. бельгийские, а в следующем году и приморские округа силой оружия были вынуждены признать господство римлян. Те большие надежды, с которыми кельтские патриоты начали последний поход, нигде не осуществились. Ни германцы, ни британцы не пришли к ним на помощь, а в Бельгии одного присутствия Лабие-на было достаточно, чтобы предупредить возобновление борьбы.

Объединяя с оружием в руках римские владения на Западе в одно сплошное целое, Цезарь не преминул установить сношения вновь покоренной страны, которая должна была заполнить интервал между Италией и Испанией, как с италийской родиной, так и с испанскими провинциями. Сообщения между Галлией и Италией были, правда, значительно облегчены проложенной Помпеем в 677 г. военной дорогой через Мон-Женевр, но с тех пор как вся Галлия стала подвластна римлянам, нужна была дорога, которая, начинаясь в долине реки По, пересекала бы гребень Альп не в западном, а в северном направлении, устанавливая более короткую связь между Италией и средней

Галлией. Торговцам давно уже служила для этой цели дорога, которая вела через Большой Сен-Бернар в Валлис и к Женевскому озеру. Чтобы завладеть этим путем, Цезарь еще осенью 697 г. приказал Сервию Гальбе занять Октодурум (Мартиньи) и покорить жителей Валлиса, что, конечно, было лишь замедлено храбрым сопротивлением этих горных народностей, но не могло быть избегнуто ими. Для дальнейшего установления связи с Испанией был отправлен в следующем году (698) в Аквитанию Публий Красс, которому было поручено принудить жившие там иберийские племена признать римское господство. Задача эта была нелегка, так как иберы были теснее сплочены, чем кельты, и лучше их умели учиться у своих врагов. Племена, жившие по ту сторону Пиренеев, в особенности храбрые кантабры, прислали подкрепление своим подвергшимся нападению сородичам. К ним прибыли опытные, обученные Серторием по римскому образцу офицеры, которые, по возможности, стали внедрять в значительном как своей численностью, так и мужеством аквитанском войске основы римского военного искусства, в особенности искусство устройства лагеря. Но превосходный военачальник, командовавший римлянами, сумел преодолеть все трудности и после нескольких упорных, но счастливо окончившихся сражений принудил к подчинению новому хозяину все народности от Гаронны до подножия Пиренеев.

Одна из целей, поставленных себе Цезарем, — покорение Галлии — была за некоторыми незначительными исключениями достигнута постольку, поскольку это вообще может быть сделано мечом. Но другая половина начатого Цезарем дела далеко еще не была завершена, и германцы отнюдь еще не были принуждены повсюду признать рейнскую границу. Как раз в то время, зимою 688/689 г., на нижнем течении реки, куда римляне еще не проникали, произошло новое нарушение границы.

Германские племена узипетов и тенктеров, о попытках которых перейти через Рейн во владения менапиев говорилось уже выше, переправились наконец на менапийских же судах, обманув бдительность противника мнимым отступлением. Это была громадная орда, состоявшая вместе с женщинами и детьми из 430 тыс. человек. Они находились еще, кажется, в окрестностях Нимветена и Клёве, но носились слухи, что, следуя призыву кельтской патриотической партии, они намеревались вступить внутрь Галлии; слух этот подтверждался тем, что их конные отряды появились уже на границе области треворов. Но когда к ним приблизился Цезарь со своими легионами, измученные переселенцы не жаждали, казалось, новой борьбы, а были расположены принять земли от римлян, чтобы мирно обрабатывать их под римским верховенством. Пока велись об этом переговоры, у римского главнокомандующего возникло подозрение, что германцы только хотят выиграть время, пока вернутся высланные ими конные

отряды. Трудно сказать, было это оправданно или нет, но еще более убежденный в этом после нападения, предпринятого, несмотря на существовавшее перемирие, неприятельским отрядом на его авангард, и раздраженный понесенными при этом чувствительными потерями, Цезарь решил отбросить всякие соображения международного права. Когда на следующее утро князя и старейшины германцев явились в римский лагерь просить прощения за предпринятое без их ведома нападение, они были задержаны, и римское войско внезапно напало на ничего не подозревавшую, лишенную вождей толпу. Это была скорее охота на людей, чем сражение. Кто не упал под мечом римлян, тонул в Рейне; только частям, отделенным во время нападения, удалось избежать этой кровавой бойни и вернуться обратно за Рейн, где сугамбры предоставили им пристанище в своих владениях, по-видимому, на реке Липпе. Образ действий Цезаря с германскими переселенцами встретил строгое и справедливое неодобрение со стороны сената, но, хотя и невозможно оправдать подобный поступок, он своим устрашающим влиянием положил конец нападениям германцев.

Цезарь нашел, однако, нужным пойти еще дальше и повести свои легионы за Рейн. Связей по ту сторону реки у него было достаточно. Германцы на тогдашней ступени их культуры были еще совершенно лишены национальной связи, а по части политической неурядицы, хотя и по другим причинам, они нисколько не уступали кельтам. Убии (на реках Зиг и Лан), наиболее цивилизованное из германских племен, были незадолго до того подчинены одним из могущественных свевских племен внутренней Германии и обязались платить ему дань; еще в 697 г. они через своих послов просили Цезаря избавить их, подобно галлам, от владычества свевов. Цезарь не собирался серьезно заняться этим делом, которое вовлекло бы его в бесконечные предприятия, но ему казалось целесообразным хотя бы показать римское оружие по ту сторону Рейна, для того чтобы воспрепятствовать появлению германского оружия в Галлии. Защита, которую нашли бежавшие узипеты и тенктеры у сугамбров, была подходящим предлогом для этого. По-видимому, между Кобленцом и Андернахом Цезарь построил свайный мост через Рейн и перевел свои легионы из владений треверов в землю убиев. Несколько небольших округов заявили о своем подчинении, но сугамбры, против которых поход прежде всего и был направлен, предпочли при приближении римского войска удалиться внутрь страны вместе со своими клиентами. Могущественное свевское племя, притеснявшее убиев, — очевидно, это было то, которое позднее получило имя хаттов, — точно так же очистило округа, примыкавшие к владениям убиев, и отвело негодное к войне население в безопасное место, между тем как всем способным носить оружие было приказано собраться в центре области. Римский полководец не имел ни повода, ни желания принять этот вызов; его цель, с

одной стороны, произвести рекогносцировку, а с другой — внушить походом за Рейн уважение к своей силе если не германцам, то хотя бы кельтам и своим собственным соотечественникам, была в основном достигнута. После 18-дневного пребывания на правом берегу Рейна он вернулся в Галлию и разрушил сооруженный им мост через Рейн (699).

Оставались еще островные кельты. При тесной связи, существовавшей между ними и кельтами на континенте и в особенности приморскими округами, понятно, что они участвовали в национальном сопротивлении и по крайней мере симпатизировали ему и предоставляли если не вооруженную поддержку противникам Цезаря, то хотя бы почетное убежище на своем защищенном морем острове каждому из них, который не чувствовал себя в безопасности на родине. Это не представляло пока непосредственной опасности, но в будущем она была несомненна, и римляне считали целесообразным, не предпринимая завоевания острова, придерживаться и здесь активной обороны и десантом на британском побережье показать островитянам, что рука римлян простирается и за канал. Уже первый военачальник, вступивший в Бретань, Публий Красс, переплыл оттуда на «Оловянные» (Сциллийские) острова у западной оконечности Англии (697). Летом 699 г. сам Цезарь с двумя только легионами переправился через Ламанш в самом-узком его месте*, берег оказался усеянным массой

* По существу дела, как и из определенных указаний Цезаря, ясно, что переправы Цезаря в Британию совершались из портов, находившихся между Кале и Булонью, на кентское побережье. Часто делались попытки определить место точнее, но это до сих пор не удалось, известно лишь, что в первое плавание пехота села на суда в одной гавани, а конница в другой, находившейся в 8 милях к востоку от первой (*Caes.*, 4, 22, 23, 28), и что второй раз отплытие состоялось из той гавани, которую Цезарь нашел более удобной, а именно из нигде более не упоминаемой Итской гавани, отстоявшей от британского берега на 30 миль (по *Цезарю*, 5, 2) или на 40 (равняется 320 стадиям, по *Страбону*, 4, 5, 2, который, несомненно, заимствует у Цезаря). На основании слов Цезаря (4, 21), что он избрал «кратчайшую переправу», можно полагать, что он плыл не через Ламанш, а через Па-де-Кале, но нельзя все же делать вывод, что он переправился по математически кратчайшей линии. Нужно быть верующим во вдохновение топографом, чтобы, обладая такими данными, самые достоверные из которых делаются почти непригодными из-за ошибочной передачи цифр, заниматься точным определением местности. Наиболее вероятно, что Итская гавань (относительно которой Страбон считает, по-видимому правильно, что оттуда в первое плавание переправилась пехота) находилась близ Амблетез, к западу от мыса Gris Nez, а гавань, откуда отплыла конница, — близ Экаль (*Wissant*), к западу от того же мыса; высадка же произошла, вероятно, к востоку от Дувра, близ Вольмеркэстля.

неприятельских войск, и он поплыл со своими кораблями дальше, но британские боевые колесницы двигались сухим путем так же скоро, как римские галеры на море, и лишь с величайшим трудом римским солдатам под охраной военных судов, расчищавших им путь посредством метательных машин и ручных орудий, удалось достигнуть берега в виду неприятеля частью вброд, частью на лодках. В первую минуту страха ближайшие деревни сдались, но вскоре островитяне увидели, что неприятель слаб и не решается удаляться от берега. Туземцы скрылись внутрь страны и возвращались только для того, чтобы угрожать лагерю; флот же, оставленный в открытом рейде, потерпел большие повреждения при первом постигшем его шквале. Пришлось ограничиться отражением нападений варваров, пока не удалось кое-как поправить корабли и возвратиться на них к галльским берегам, прежде чем наступило суровое время года.

Цезарь был так недоволен результатами этой легкомысленно и с недостаточными средствами предпринятой экспедиции, что тотчас же (зимой 699/700 г.) велел снарядить транспортный флот в 800 парусных судов и вторично отплыл к кентскому берегу весной 700 г., на этот раз с пятью легионами и 2 тыс. всадников. Перед этой грозной армадой военные силы бриттов, собранные и на сей раз на побережье, отступили, не решившись вступить в бой. Цезарь немедленно двинулся в глубь страны и после нескольких удачных сражений переправился через реку Стур; однако вопреки его воле ему пришлось остановиться, так как флот опять был наполовину уничтожен в открытом море бурями канала на рейде Дувра. Пока корабли вытаскивались на берег и делались обширные приготовления для ремонта, уходило драгоценное время, которое было мудро использовано кельтами.

Храбрый и осмотрительный князь Кассивелаун, повелевавший в нынешнем Миддлсексе и бывший прежде грозой всех кельтов к югу от Темзы, сделался теперь заступником и передовым борцом всей нации и стал во главе обороны страны. Он понял, что с кельтской пехотой ничего нельзя сделать против римской и что масса ополчения, затрудняющая снабжение и руководство, была лишь помехой для обороны. Поэтому он распустил его и удержал только боевые колесницы числом до 4 тыс., защитники которых, умевшие, прыгнув с колесницы, бороться пешими, могли подобно римской коннице найти двойное применение. Когда Цезарь снова был в состоянии продолжать свой путь, он нигде не нашел его прегражденным, но британские боевые колесницы постоянно двигались впереди и по обе стороны римского войска, производя эвакуацию страны, что при малом числе городов не представляло больших трудностей, препятствовали римлянам отделять от себя части и грозили их сообщениям. Римляне

переправились через Темзу, по-видимому, между Кингстоном и Брентфордом, несколько выше Лондона. Войско шло вперед, но дело, собственно, не двигалось с места; главнокомандующий не одержал ни одной победы, солдаты не имели добычи, и единственный действительный результат похода — покорение тринобантов (в нынешнем Эссексе) — был не столько следствием страха перед римлянами, сколько глубокой вражды этого племени к Кассивелауну. С каждым шагом вперед возрастала опасность. Нападение на римскую корабельную стоянку, произведенное кентскими князьками по приказанию Кассивелауна, было отбито, но оно настоятельно напомнило о необходимости возвращения. Взятие штурмом большой британской лесной засеки, где в руки римлян досталось множество скота, было сносным завершением бесцельного продвижения вперед и являлось подходящим предлогом для возвращения. Сам Кассивелаун был настолько умен, что не хотел доводить опасного врага до крайности, и обещал, как требовал Цезарь, не беспокоить тринобантов, платить дань и дать заложников. О выдаче оружия или оставлении римского гарнизона не было и речи; даже эти обещания, поскольку они касались будущего, вероятно, не давались и не принимались всерьез. Получив заложников, Цезарь вернулся к своим кораблям, а затем в Галлию. Если он надеялся завоевать на этот раз Британию, а таковы, действительно, были, по-видимому, его намерения, то план этот потерпел полную неудачу — отчасти вследствие мудрой оборонительной системы Кассивелауна, а прежде всего из-за непригодности италийского гребного флота для вод Северного моря, — так как известно, что условленная дань никогда не выплачивалась. Ближайшая же цель похода — лишить островных кельтов дерзкого сознания их полной безопасности и заставить их в их же личных интересах не делать больше британские острова очагом континентальной эмиграции — была, надо полагать, достигнута, по крайней мере впоследствии не раздавалось уже жалоб на подобное покровительство.

Дело отражения германского нашествия и покорения континентальных кельтов было завершено. Но часто бывает легче покорить свободную нацию, чем удержать в повиновении покоренную. Соперничество из-за гегемонии, вследствие которого еще больше, чем от римской агрессии, кельтский народ пришел в упадок, было до известной степени прекращено завоеванием Галлии, так как завоеватель взял гегемонию в свои собственные руки. Частные интересы отступили на задний план, под общим гнетом все снова почувствовали себя единым народом, и бесконечная ценность того, что было легкомысленно проиграно, — свободы и национальности — измерялась теперь бесконечностью тоски. Но было ли, в самом деле, слишком поздно? Со стыдом и гневом пришлось сознаться, что нация, насчи-

тывавшая по крайней мере миллион способных носить оружие мужчин, нация с древней и вполне заслуженной воинственной славой дала наложить на себя ярмо самое большее пятидесяти тысячам римлян. Покорение федерации средней Галлии, не нанесшей врагу ни одного удара, покорение бельгийского союза, который только собирался воевать, а с другой стороны, геройская гибель нервиев и венетов, умное и удачное сопротивление моринов и бриттов под предводительством Кассивелауна, все, что было сделано или упущено, что было достигнуто или не удалось, — все это разжигало умы патриотов, побуждая их к новым, по возможности более единодушным и успешным попыткам. В особенности среди кельтской знати господствовало брожение, ежеминутно грозившее перейти в общее восстание. Еще до второго похода в Британию, весной 700 г., Цезарь нашел необходимым лично отправиться к треверам, которые, скомпрометировав себя в 697 г. в сражении с нервиями, не появлялись больше на общеземских собраниях и завязали более чем подозрительные сношения с зарейнскими германцами. Цезарь ограничился тогда тем, что увез с собой в Британию в составе конного отряда треверов наиболее видных деятелей патриотической партии, в том числе Индутиомара; он делал все, что мог, чтобы не замечать заговора и не превратить его суровыми мерами в восстание. Только эдуй Думнориг, также числившийся кавалерийским офицером при назначавшейся в Британию армии, а в действительности бывший заложником, категорически отказался сесть на корабль и вместо этого уехал домой; Цезарь не мог не преследовать его как дезертира; посланный за Думноригом отряд достиг и убил его, так как он пытался оказать сопротивление (700). Убийство римлянами наиболее уважаемого рыцаря, принадлежавшего к самому могущественному и независимому из кельтских округов, было громовым ударом для всей кельтской знати. Все, кто придерживался подобных же взглядов — а таких было огромное большинство, — видели в этой катастрофе указание на то, что ожидало их самих. Если патриотизм и отчаяние побудили вождей кельтской аристократии к заговору, то теперь страх и чувство самосохранения заставили их нанести первый удар.

Зимой 700/701 г. за исключением одного легиона, находившегося в Бретани, и другого, стоявшего в очень беспокойном округе карнутов (близ Шартра), вся римская армия, насчитывавшая шесть легионов, была расположена во владениях белгов. Вследствие ограниченности запасов хлеба Цезарь назначил стоянки своих отрядов дальше друг от друга, чем он делал обычно, в шести различных лагерях в округах белловаков, амбианов, моринов, нервиев, ремов и эбуронов. Самый восточный и сильнейший из римских лагерей, находившийся во владениях эбуронов, должно быть, недалеко от позднейшей Адуа-

туки (ныне Тонгерн), состоял из одного легиона, которым командовал виднейший из генералов Цезаря, Квинт Титурий Сабин, и, кроме того, из различных отрядов силой с пол-легиона, под начальством храброго Луция Аврункулея Котты*. Этот лагерь был внезапно окружен ополчением эбуронов во главе с их королями Амбиоригом и Катуволком. Нападение было так неожиданно, что отсутствовавшие из лагеря солдаты не могли быть созваны и были захвачены врагами. Впрочем, опасность была вначале невелика, так как в припасах недостатка не было, а попытка эбуронов штурмовать лагерь лишь показала силу римских укреплений. Но король Амбиориг сообщил римскому военачальнику, что в тот же самый день все римские лагеря в Галлии подверглись такому же нападению и что римляне, несомненно, погибнут, если отдельные отряды не двинутся быстро на соединение друг с другом; что, в особенности Сабину, необходимо торопиться, так как против него идут и зарейнские германцы; и что сам он из дружбы к римлянам гарантирует им свободное отступление к ближайшему римскому лагерю, отделенному от них лишь двумя дневными переходами. Кое-что из этих заявлений казалось правдоподобным. Действительно, было невероятно, чтобы небольшой, особенно покровительствуемый римлянами округ эбуронов предпринял нападение самостоятельно, и при затруднительности сношений с другими отдаленными лагерями нельзя было презирать опасность нападения на римлян всей массы повстанцев, которая могла разбить их по частям. Тем не менее не подлежало никакому сомнению, что как долг, так и благоразумие предписывали отвергнуть предлагаемую врагом капитуляцию и остаться на порученном посту. На военном совете многие голоса, в том числе веский голос Луция Аврункулея Котты, отстаивали это мнение. Несмотря на это, Сабин решил принять предложение Амбиорига. Римское войско выступило на следующее утро, но в узкой лощине, на расстоянии почти полумили от лагеря, оно

* Котта хотя и не считался подчиненным Сабину, а был, подобно ему, легатом, был все же младшим и менее видным военачальником и в случае разногласия должен был, вероятно, подчиняться Сабину, — это видно как из прежней деятельности Сабина, так и из того, что всюду, где оба генерала называются вместе (*Caes.*, 4, 22, 37; 5, 24, 26, 52; 6, 32, но ср. 6, 37), имя Сабина всегда стоит впереди, а также из рассказа о самой катастрофе. Кроме того, невозможно предположить, чтобы Цезарь поставил во главе лагеря двух начальников с равными правами, не дав никаких указаний на случай разногласий между ними. К тому же эти пять когорт не составляли легиона (ср. 6, 32, 33), как и двенадцать когорт на рейнском мосту (6, 28; ср. 32, 33), а состояли, по-видимому, из отрядов других воинских частей, посланных для усиления этого лагеря как ближайшего к германцам.

было окружено эбуронами, преградившими все выходы. Римляне пытались проложить себе путь оружием, но эбуроны отказались вступить в рукопашный бой и довольствовались тем, что из своих неприступных позиций бросали ядра в густую массу римлян. Растерявшись и как бы ища помощи против измены у самого же изменника, Сабин потребовал свидания с Амбиоригом. Оно было ему дано, причем и он и все сопровождавшие его офицеры были сперва обезоружены, а потом убиты. После гибели полководца эбуроны бросились одновременно со всех сторон на изнуренных и впавших в отчаяние римлян и прорвали их ряды; большинство, в том числе раненый уже прежде Котта, нашли в этом бою смерть; небольшая часть, которой удалось вернуться в покинутый лагерь, бросилась в следующую ночь на собственные мечи. Весь отряд был уничтожен.

Успех этот, которого едва ли ожидали сами мятежники, настолько усилил брожение среди кельтских патриотов, что римляне не были больше уверены ни в одном округе, за исключением эдуюв и ремов, и восстание вспыхнуло в самых различных пунктах. Прежде всего эбуроны стремились использовать свою победу. Подкрепленные ополчением адуатуков, охотно воспользовавшихся случаем отомстить за зло, причиненное им Цезарем, и войском могущественных и не покоренных еще менапиев, они появились во владениях нервиев, которые тотчас же примкнули к ним, и вся эта масса, разросшаяся до 60 тыс. человек, двинулась на римский лагерь, находившийся в нервийском округе. Квинту Цицерону, командовавшему здесь, пришлось круто с его слабым отрядом, в особенности когда осаждающие, научившись у римлян, соорудили валы и рвы, навесы из щитов и подвижные башни и осыпали крытые соломой лагерные шалаши зажигательными снарядами и дротиками. Единственной надеждой осажденных был Цезарь, расположившийся на зимние квартиры с тремя легионами неподалеку отсюда, в районе Амьена. Для господствовавшего в стране кельтов настроения весьма характерно, что прошло много времени, прежде чем до главнокомандующего дошел хотя бы намек на катастрофу, постигшую Сабина, или на опасное положение Цицерона.

Наконец, одному из кельтских всадников удалось пробраться из лагеря Цицерона мимо неприятеля к Цезарю. Получив потрясающее известие, Цезарь немедленно выступил, правда, только с двумя слабыми легионами, в которых насчитывалось около 7 тыс. человек, и с 400 всадников. Тем не менее одной лишь вести о приближении Цезаря было достаточно, чтобы заставить мятежников снять осаду. И вовремя: в лагере Цицерона оставался невредимым разве только один человек из десяти. Цезарь, против которого обратилось теперь войско повстанцев, обманул противника насчет своей силы прежним спосо-

бом, так часто и успешно применявшимся им; неприятель отважился атаковать римский лагерь при самых неблагоприятных обстоятельствах и потерпел поражение.

Странно, но характерно для кельтов, что вследствие одного этого проигранного сражения, или, скорее, вследствие личного появления Цезаря на месте боя, столь победоносно начавшееся и широко распространившееся восстание внезапно и плачевно окончилось. Нервии, менапии, адуатуки, эбуроны отправились по домам. То же сделали и отряды приморских округов, собиравшиеся было напасть на легион, стоявший в Бретани. Треверы, вождь которых Индутьюмар главным образом и побудил эбуронов, клиентов могущественного соседнего округа, произвести нападение на Сабина, взяли за оружие после известия о катастрофе близ Адуатуки и вступили во владения ремов, чтобы напасть на легион, находившийся там под начальством Лабiena, но теперь и они прекратили борьбу. Цезарь охотно отложил до весны дальнейшие мероприятия против восставших округов, чтобы не подвергать свои измученные войска тягостям галльской зимы и чтобы появиться на арене борьбы, лишь когда уничтоженные пятнадцать когорт будут внушительным образом заменены набиравшимися по его распоряжению новыми тридцатью. Восстание тем временем развивалось далее, хотя до вооруженной борьбы дело пока не доходило. Главными центрами мятежников в средней Галлии были, с одной стороны, округа карнутов и их соседей сенонов (близ города Санс), которые изгнали из своей страны поставленного Цезарем короля, а с другой стороны, область треверов, пригласивших к участию в предстоявшей национальной войне всю кельтскую эмиграцию и зарейнских германцев и созвавших всех своих бойцов, чтобы с наступлением весны вторично вторгнуться во владения ремов, уничтожить отряд Лабiena и установить связь с повстанцами на Сене и Луаре. Депутаты этих трех округов отсутствовали на созванном Цезарем в средней Галлии собрании, что означало такое же открытое объявление войны, как нападение части бельгийских округов на лагерь Сабина и Цицерона.

Зима приближалась к концу, когда Цезарь выступил наконец против мятежников со своей значительно усилившейся тем временем армией. Попытки треверов концентрировать восстание не удалось; области, находившиеся в брожении, усмирялись одним вступлением в них римских войск, с теми же, где происходило открытое восстание, они расправлялись порознь. Прежде всего, сам Цезарь разбил нервиев. Та же участь постигла сенонов и карнутов. Даже менапии — единственный округ, не подчинившийся еще Риму, — были вынуждены направленным против них одновременно с трех сторон нападением отказаться от долгое время сохранявшейся за

ними свободы. Тем временем Лабием готовил подобную судьбу и треверам. Первое нападение их не достигло цели отчасти вследствие отказа ближайших к ним германских племен дать им наемников, а отчасти из-за того, что Индутиомар, душа всего движения, пал в стычке с конницей Лабиена. Однако треверы все же не отказывались от своих замыслов. Они появились перед Лабиемом со всей своей ратью и ждали следовавших за ними германцев, так как вербовщики их нашли у воинственных народов внутренней Германии, в особенности же, должно быть, у хаттов, лучший прием, чем у обитателей берегов Рейна. Но когда Лабием сделал вид, что хочет избежать боя и торопливо отступить, треверы атаковали римлян в самой неудобной местности еще до прибытия германцев и были совершенно разбиты. Явившимся слишком поздно германцам оставалось только скорее убираться, а области треверов — покориться. Власть снова досталась там главе римской партии, зятю Индутиомара Цингеторигу. После этих походов Цезаря против менапиев и Лабиена против треверов вся римская армия опять собралась во владениях последних. Чтобы отбить у германцев охоту приходить опять в Галлию, Цезарь еще раз переправился через Рейн с целью нанести по возможности решительный удар обременительным соседям; но так как хатты, верные своей испытанной тактике, готовились обороняться не на западной своей границе, а далеко в глубине страны, по видимому, возле Гарца, Цезарь немедленно возвратился, оставив лишь гарнизон на переправе через Рейн.

Итак, со всеми народностями, участвовавшими в восстании, были сведены счеты; уцелели одни только эбуроны, но они не были забыты. С тех пор как Цезарь узнал о катастрофе при Адуатуке, он носил траурную одежду и поклялся снять ее лишь тогда, когда отомстит за своих солдат, павших не в честном бою, а коварно убитых. Растерянные и беспомощные, оставались эбуроны в своих хижинах, видя, как соседние округа один за другим подчинялись римлянам, пока, наконец, римская конница из владений треверов вступила через Арденны в их страну. Эбуроны были настолько не подготовлены к этому нападению, что римляне едва не захватили короля Амбиорига в его собственном доме; лишь с трудом, в то время как его дружина жертвовала собой для него, спасся он в ближайший перелесок. За конницей последовали вскоре десять легионов. Вместе с тем окрестные народности были приглашены избивать объявленных вне закона эбуронов и грабить их страну вместе с римскими солдатами. Немало из них откликнулось на этот призыв; даже из-за Рейна прибыла смелая шайка сугамбских всадников, которая, впрочем, и с римлянами держала себя не лучше, чем с эбуронами, и едва не захватила дерзким набегом римский лагерь под Адуатукой. Участь эбуронов была ужасна. Как

ни скрывались они в лесах и болотах, охотников было больше, чем дичи. Некоторые, как престарелый король Катуволк, сами покончили с собой; только немногим удалось спасти свою жизнь и свободу, но в числе этих немногих был и тот, за кем прежде всего гонялись римляне, — король Амбиориг; всего только с четырьмя всадниками бежал он за Рейн. За этой расправой с самой преступной из всех областей последовали в других областях суды над отдельными лицами, обвинявшимися в государственной измене. Время кротости миновало. По приговору римского проконсула был обезглавлен ликторами уважаемый карнутский рыцарь Аккон (701), чем было положено торжественное начало господству розог и секир. Оппозиция замолкла; повсюду царило спокойствие. В конце 701 г. Цезарь, по обыкновению, отправился на зиму за Альпы, чтобы следить вблизи за становившимся все более запутанным положением в Риме.

Но тонкий политик на этот раз просчитался. Огонь был притушен, но не погашен. Удар, под которым пала голова Аккона, всколыхнул всю кельтскую знать. Положение дел в это время представляло больше шансов на успех, чем прежде. Минувшей зимой восстание не удалось только потому, что Цезарь лично появился на арене борьбы. Теперь же он находился далеко, так как предстоявшая гражданская война задерживала его на берегах По, и галльская армия римлян, стоявшая на верхней Сене, была лишена своего грозного главнокомандующего. Если бы теперь в Средней Галлии вспыхнуло всеобщее восстание, римское войско могло быть окружено со всех сторон, а почти не защищенная старая римская провинция наводнена кельтами, прежде чем Цезарь явился бы из-за Альп, если италийские затруднения не заставят его вообще позабыть о Галлии. Заговорщики из всех среднегалльских округов соединились; карнуты, больше всех затронутые казнью Аккона, вызвались выступить первыми.

В назначенный день, зимой 701/702 г., карнутские рыцари Гутруат и Конконнетодумн подали в Кенабе (Орлеан) сигнал к восстанию и перебили всех находившихся там римлян. Вся обширная страна кельтов была охвачена мощным движением; всюду зашевелились патриоты. Но ничто не взволновало так народ, как восстание арвернов.

Правительство этой области, некогда при своих королях занимавшей первое место в южной Галлии и даже после потери первенствующего положения, вызванного неудачной войной с Римом, оставшейся по-прежнему одной из богатейших, культурнейших и могущественнейших во всей Галлии, до той поры нерушимо хранило верность Риму. И теперь еще патриотическая партия составляла меньшинство в общинном совете; попытка получить от него согласие на присоединение к восстанию была бесплодна. Поэтому нападки патриотов были

обращены против общинного совета и существовавшего строя, тем более что изменение государственного устройства, поставившее у арвернов общинный совет вместо короля, последовало за победами римлян, и, вероятно, под их влиянием.

Вождь арвернских патриотов Верцингеториг, один из тех аристократов, какие встречались у кельтов, пользовавшийся в своей области и вне ее почти царскими почестями, к тому же человек представительный, храбрый и умный, покинул столицу и призвал крестьянство, столь же враждебное господствующей олигархии, как и римлянам, к восстановлению арвернской монархии и вместе с тем к войне с Римом. Толпа тотчас примкнула к нему. Восстановление престола Луэрия и Бетуита означало и объявление национальной войны против Рима. Единую установку, из-за отсутствия которой не удалось все прежние попытки кельтской нации свергнуть иноземное иго, она обрела теперь благодаря новоявленному арвернскому королю. Верцингеториг стал для континентальных кельтов тем, чем для островных был Кассивелаун. Массами властно овладело сознание, что только он и никто другой может спасти нацию. Скоро мятежом был охвачен весь запад от устья Гаронны до самой Сены, и Верцингеториг был признан здесь всеми округами в качестве главнокомандующего.

Там, где общинный совет чинил препятствия, народ принуждал его примкнуть к движению; только немногие округа, как, например, округ битуригов, позволили принудить себя к восстанию, но и это принуждение в действительности, быть может, было только видимостью. Менее благоприятную почву нашел мятеж в областях к востоку от верхней Луары. Все зависело здесь от эдуев, а они колебались. Патриотическая партия была очень сильна в этом округе, но старый антагонизм к игравшим руководящую роль арвернам, к большому вреду для восстания, ослаблял ее влияние, так как присоединение восточных кантонов, секванов и гельветов в свою очередь зависело от позиции эдуев, да и вообще им принадлежало решение в этой части Галлии.

В то время как мятежники старались, с одной стороны, склонить на свою сторону колебавшиеся еще кантоны, прежде всего эдуев, а с другой стороны, завладеть Нарбонном, — с этой целью Верцингеториг уже послал к реке Тарну корпус Луктерия, римский главнокомандующий внезапно, среди зимы, неожиданный как для друзей, так и для врагов, появился по сю сторону Альп. Быстро принял он не только необходимые меры для охраны старой провинции, но и послал через покрытые снегом Севенны отряд в область арвернов; но он не мог оставаться здесь, так как присоединение эдуев к кельтскому союзу ежеминутно могло отрезать его от армии, расположенной в районе Санса и Лангра. Тайком он отправился в Виенну, а оттуда, сопровож-

даемый лишь немногими всадниками, через область эдуев — к своим войскам. Надежды, побудившие заговорщиков к выступлению, не оправдались — в Италии был мир, а Цезарь опять стоял во главе своей армии.

Что же оставалось делать? Было бы глупостью предоставить при таких обстоятельствах решение дела оружию, которое уже вынесло свой беспепелляционный приговор. Столь же разумно было бы пытаться потрясти Альпы, швыряя в них камни, как поколебать легионы силой кельтских отрядов, будь они собраны громадными массами или же отдавались бы в жертву порознь, округ за округом. Поэтому Верцингеториг отказался от мысли нанести поражение римлянам. Он решил следовать такому же способу ведения войны, благодаря которому Кассивелаун спас островных кельтов. Римская пехота была непобедима, но конница Цезаря состояла почти исключительно из кельтской знати и фактически распалась благодаря массовому отложению. Мятежники, состоявшие, главным образом, из знатных кельтов, имели возможность достигнуть в этом роде оружия такого преобладания, что могли опустошать обширные области, сжигать города и села, уничтожать припасы, угрожать снабжению и сообщениям противника, который не в силах был серьезно помешать этому. Поэтому Верцингеториг устремил все свои усилия на умножение своей конницы и обычно связанных с ней при тогдашнем способе ведения боя пеших стрелков из лука. Многочисленные же, стеснявшие самих себя массы пешего ополчения он хотя и не отправил домой, но и не посылал их против врага и пытался постепенно привить им умение рыть окопы, совершать переходы, маневрировать, а также сознание, что назначение солдата не только в том, чтобы драться. Беря пример с врагов, он перенял римскую лагерную систему, на которой была основана вся тайна тактического превосходства римлян, так как благодаря ей каждый римский отряд соединял все преимущества крепостного гарнизона со всеми достоинствами наступательной армии*. Правда, эта тактика, вполне пригодная для бедной городами Британии и ее сурового, энергичного и в общем единодушного населения, не могла быть целиком перенесена в богатые области на Луаре с их дряблыми обитателями, находившимися в состоянии полного политического разложения. Верцингеториг добился по крайней мере того, что теперь уже

* Разумеется, это было возможно, только пока оружие, употреблявшееся для нападения, было рассчитано, главным образом, на то, чтобы рубить или колоть. В современной же войне, как превосходно разъяснил Наполеон I, система эта стала непригодной потому, что при нашем оружии, действующем издали, развернутая позиция лучше концентрированной. В эпоху Цезаря было наоборот.

не старались, как прежде, отстоять каждый город, вследствие чего не удавалось отстоять ни одного; решено было уничтожить еще до нападения те места, которые невозможно было удержать, а сильные крепости защищать совокупными усилиями. Наряду с этим арвернский король сделал все зависевшее от него, чтобы заставить всех служить национальному делу, воздействуя на трусов и нерадивых неумолимой строгостью, на колеблющихся — просьбами и увещаниями, на корыстолюбцев — подкупом, на отъявленных противников — насилем и стремясь принуждением или хитростью добиться того, чтобы знатный и незнатный сброд проявил хоть какой-нибудь патриотизм.

Еще до окончания зимы Верцингеториг напал на бойев, поселенных Цезарем во владениях эдуев, чтобы уничтожить этих почти единственных союзников Рима до прибытия Цезаря. Известие об этом нападении побудило и Цезаря выступить против мятежников немедленно, раньше, чем он, вероятно, имел в виду это сделать, оставив обоз и два легиона на зимних квартирах в Агединке (Санс). Серьезный недостаток в коннице и легкой пехоте он отчасти компенсировал привлечением германских наемников, которым вместо их собственных мелких и слабых лошадок предоставлены были италийские и испанские лошади, частью купленные, частью реквизированные у офицеров. Предав грабежу и пожару главный город карнутов Кенаб, подавший сигнал к восстанию, Цезарь двинулся через Луару в область битуригов. Этим он добился того, что Верцингеториг отказался от осады города бойев и в свою очередь отправился к битуригам. Здесь он впервые хотел применить новый способ ведения войны. По распоряжению Верцингеторига более 20 поселений битуригов запылали в один день; на такое же самоуничтожение обрек он и соседние округа, где могли бы появиться римские отряды. По его плану та же участь должна была постигнуть и богатую укрепленную столицу битуригов Аварик (Бурж); но большинство участников военного совета уступило просьбам коленопреклоненных битуригских властей и решило, напротив, энергично защищать город.

Таким образом, война сосредоточилась сперва возле Аварика. Верцингеториг поместил свою пехоту среди близких от города болот, в такой неприступной позиции, что она, даже не будучи прикрыта конницей, могла не бояться нападения легионов. Кельтская конница покрывала все дороги и препятствовала сообщениям. Город был занят сильным гарнизоном, и связь между ним и войском, находившимся вне его стен, была свободна. Положение Цезаря было очень трудно. Попытка принудить кельтскую пехоту к бою не удалась, она не двинулась со своей неприступной позиции. Как ни храбро сражались перед городом его солдаты, осажденные не уступали им в изобретательности и мужестве, и им едва не удалось поджечь осадные

машины противника. Вместе с тем становилось все труднее снабжать войско приблизительно в 60 тыс. человек в стране, опустошенной на далекое расстояние и наводненной превосходными силами неприятельской конницы. Незначительные запасы боев вскоре истощились; припасы, обещанные эдуюми, не были доставлены; хлеб был весь уже съеден, и солдаты питались исключительно мясным пайком. Тем не менее приближалась минута, когда город, как ни бесстрашно боролись его защитники, невозможно было больше оборонять. Еще возможно было в ночную тишь вывести войско и уничтожить город, прежде чем неприятель займет его. Верцингеториг и принял меры для этого, но жалобные вопли оставшихся женщин и детей в момент эвакуации возбудили внимание римлян; отступление не удалось.

На следующий день, мрачный и дождливый, римляне перелезли через стены и, обозленные упорным сопротивлением, не пощадили в захваченном городе никого, не обращая внимания ни на пол, ни на возраст. Богатые запасы, сделанные кельтами, пригодились изголодавшимся солдатам Цезаря. С занятием Аварика (весной 702 г.) была одержана первая победа над мятежниками, и на основании своего прежнего опыта Цезарь мог ожидать, что повстанческое войско распадется и ему придется усмирять только отдельные округа. Показавшись со всей своей армией в округе эдуев и принудив этой внушительной демонстрацией волновавшихся местных патриотов хоть временно сохранить спокойствие, Цезарь разделил свое войско на две части и отправил Лабиена назад в Агединк, поручив ему, соединившись с оставленными там войсками, во главе четырех легионов подавить прежде всего восстание в области карнутов и сенонов, которые и на этот раз были наиболее активны. Сам же Цезарь с остальными шестью легионами повернул к югу, готовясь перенести войну в арвернские горы, в собственные владения Верцингеторига.

Лабиен двинулся из Агединка вверх по левому берегу Сены, чтобы завладеть находившимся на одном из ее островов городом паризиев Лютецией (Париж) и из этой безопасной позиции, находившейся в самом центре восставшей области, подчинить себе всю страну. Однако за Мелодуном (Мелен) путь оказался прегражденным всем мятежным войском, выстроившимся здесь, среди неприступных болот, под предводительством престарелого Камулогена. Лабиен несколько отступил, переправился близ Мелодуна через Сену и беспрепятственно направился правым ее берегом к Лютеции; Камулоген велел сжечь этот город и уничтожить мосты, которые вели на левый берег, и занял в виду Лабиена такую позицию, что последний не мог ни заставить его принять сражение, ни совершить переправу на глазах у неприятельской армии.

Главная римская армия в свою очередь двинулась вниз по реке

Аллэ в арвернский округ. Верцингеториг пытался помешать переходу римлян на левый берег Аллэ, но Цезарь перехитрил его и спустя несколько дней стоял перед главным городом арвернов Герговией*. Но Верцингеториг, очевидно, еще в то время, когда стоял против Цезаря на берегу Аллэ, отправил в Герговию достаточные запасы, велел разбить для своего войска перед стенами города, расположенного на вершине довольно крутого холма, лагерь, окруженный крепкими каменными стенами. Находясь значительно впереди Цезаря, он раньше его прибыл в Герговию и ждал нападения в укрепленном лагере под крепостной стеной.

Цезарь со своей сравнительно слабой армией не мог ни вести правильную осаду, ни даже полностью заблокировать город. Он разбил свой лагерь у подножья занятой Верцингеторигом возвышенности и поневоле оставался таким же бездеятельным, как и его противник. Для мятежников было почти победой, что шествие Цезаря от триумфа к триумфу внезапно остановилось на Сене и на Аллэ. И действительно, последствия этой задержки почти равнялись для Цезаря поражению. Эдуи, все еще колебавшиеся, окончательно собирались примкнуть теперь к патриотической партии; отряд их, вызванный Цезарем под Герговию, под влиянием офицеров заявил в пути о своем присоединении к мятежникам; одновременно с этим в самом кантоне начали грабить и убивать проживавших там римлян. Цезарь двинулся с двумя третями осадной армии навстречу шедшему на Герговию отряду эдуев и принудил его своим внезапным появлением к номинальной покорности; однако отношения с эдуями были более чем когда-либо формальны и неустойчивы, и сохранение их было куплено слишком дорогой ценой, а именно той великой опасностью, которой подвергались оставшиеся под Герговией два легиона. И действительно, Верцингеториг, быстро и энергично используя отсутствие Цезаря, сделал на них нападение, едва не окончившееся поражением римлян и захватом их лагеря. Только благодаря своей исключительной быстроте действий Цезарь предупредил здесь катастрофу, подобную адуа-

* Местом, где находился этот город, считают обыкновенно возвышенность, лежавшую на расстоянии одного часа пути к югу от арвернской столицы Немета (нынешний Клермон) и до сих пор называемую Гергуа (Gergoie); как остатки грубых крепостных стен, обнаруженные при раскопках, так и сохранение этого имени, прослеженное по документам до X в., не оставляют никакого сомнения в правильности этого предположения, с которым согласуются и остальные указания Цезаря, например то, что он достаточно ясно называет Герговию главным городом арвернов (7,4). На этом основании следует думать, что арверны были вынуждены после поражения переселиться в ближний, менее укрепленный Намет.

тукской. Хотя эдуи и клялись теперь в верности, можно было, однако, предвидеть, что, если блокада и дальше будет безуспешна, они перейдут на сторону мятежников и заставят этим Цезаря отказаться от блокады, так как присоединение их к восстанию прервало бы связь между ним и Лабиемом и подвергло бы последнего при его изолированности величайшей опасности. Цезарь решил не допустить этого; как ни неприятно и даже опасно было отступить от Герговии, не доведя дела до конца, тем не менее лучше было отказаться от осады немедленно, раз уже это было необходимо, и, вторгнувшись в область эдуев, помешать во что бы то ни стало их открытому переходу на сторону врага. Но прежде чем начать это отступление, так мало соответствовавшее его природной быстроте действий и уверенности в себе, он предпринял еще одну последнюю попытку выйти из затруднительного положения путем блестящего успеха.

В то время как гарнизон Герговии занимался укреплением той стороны, откуда ожидали штурма, римский главнокомандующий решил внезапным нападением завладеть другим подъемом, менее удобным, но зато в данное время совершенно не защищенным. Штурмовые колонны римлян перебрались уже через лагерные стены и заняли ближайшие лагерные помещения, но тут всполошился весь гарнизон, и ввиду незначительности расстояния Цезарь нашел невозможным вторично пойти на штурм городских стен. Он дал знак к отступлению, но передние легионы в пылу победы не слышали или не хотели слышать приказа и неудержимо прорывались вперед к городской стене, а отдельные части — даже в самый город. Однако навстречу нападающим двигались все более густые массы; передние ряды падали, колонны останавливались; центурионы и легионеры боролись с самоотверженным героизмом, но все было тщетно; штурмующие были с большими потерями выгнаны из города к подножью горы, где выстроенные на равнине войска Цезаря встретили их и предупредили еще большее несчастье. Предполагавшееся занятие Герговии превратилось в поражение. Большое число раненых и убитых — насчитывалось до 700 павших солдат, в том числе 46 центурионов — составляло, однако, лишь меньшую часть постигшей римлян неудачи.

Положение Цезаря в Галлии определялось прежде всего его ореолом победителя, но этот-то ореол и начал теперь тускнеть. Уже бои под Авариком, тщетные попытки Цезаря заставить противника вступить в сражение, энергичная оборона города и почти случайный захват его римлянами — все это носило совсем иной отпечаток, чем прежние кельтские войны, и не только не лишило кельтов доверия к себе и к своему вождю, а скорее ободрило их. Новый способ ведения войны — противодействие врагу под охраной крепостей в укрепленных

лагерях — вполне оправдал себя как под Лютецией, так и под Герговией. Наконец, это поражение, впервые нанесенное кельтами самому Цезарю, увенчало успех и как бы подало сигнал к новой вспышке восстания.

Эдуи открыто порвали теперь с Цезарем и вступили в сношения с Верцингеторигом. Их контингент, находившийся при армии Цезаря, не только отделился от нее, но и захватил при этом в Новиодуне на Луаре склады римского войска, вследствие чего в руки мятежников достались кассы и кладовые, множество запасных лошадей и все взятые Цезарем заложники. Не менее важно было и то, что вслед за этими известиями начались волнения среди белгов, до той поры державшихся в стороне от всего движения.

Могущественный округ белловаков поднялся, чтобы напасть с тыла на отряд Лабиена, который стоял под Лютецией, имея против себя ополчение окрестных среднегалльских округов. Вооружаться стали вообще повсюду; мощный патриотический подъем увлек даже самых решительных сторонников Рима, пользовавшихся особым его покровительством, как, например, короля атребатов Коммия, получившего от римлян за свои услуги важные привилегии для своего округа, а также гегемонию над моринами. Нити восстания тянулись до старой римской провинции; мятежники, быть может, не без основания надеялись даже поднять против римлян и аллоброгов. За исключением лишь ремов и зависевших от них округов суэссионов, левков и лингонов, партикуляризм которых не ослабел даже при виде этого всеобщего энтузиазма, весь кельтский народ, от Пиренеев до Рейна, в первый и последний раз взялся за оружие, защищая свою свободу и национальность; напротив, замечательно, что все германские общины, в предшествующие войны стоявшие в первых рядах, на этот раз остались в стороне, и даже треверы и, как кажется, даже менапии не могли принять активного участия в национальной войне вследствие вражды с германцами.

В тяжелую и ответственную минуту, после отступления из-под Герговии и потери Новиодуна, состоялся в главной квартире Цезаря военный совет для обсуждения необходимых мероприятий. Многие голоса высказывались в пользу отхода за Севенны, в старую римскую провинцию, открытую теперь со всех сторон для нападения мятежников и крайне нуждающуюся в легионах, собственно для ее защиты и посланных Римом. Цезарь отверг эту робкую стратегию, подсказанную не положением вещей, а правительственными инструкциями и боязнью ответственности. Он ограничился набором ополчения из проживавших в провинции римлян; этому ополчению, по мере возможности, и была поручена охрана ее границ. Сам же он двинулся в противоположную сторону и ускоренными переходами направился

к Агединку, приказав и Лабиему отступить с возможной быстротой к этому городу.

Кельты пытались, конечно, помешать соединению обеих римских армий. Лабием мог бы, переправившись через Марну и двигаясь правым берегом Сены, достигнуть Агединка, где он оставил свои резервы и обоз, но он предпочел не предоставлять вторично кельтам зрелища отступления римских войск. Поэтому он, вместо Марны, перешел на глазах у обманутого врага через Сену и дал на левом ее берегу неприятельским ордам сражение, в котором одержал победу. В числе многих других остался на поле брани и кельтский полководец, престарелый Камулоген. Точно так же не удалось мятежникам задержать и Цезаря на Луаре. Он не дал им времени собрать большие силы и без труда рассеял отряды эдуев, которые он здесь застал. Таким образом, соединение обеих частей римской армии состоялось благополучно.

Тем временем мятежники совещались в Бибракте (Отэн), главном городе эдуев, о том, как дальше вести войну. Душой этих совещаний был опять Верцингеториг, который после победы под Герговией стал кумиром всей нации. Правда, партикуляризм не замолк и теперь; и в этот час смертельной борьбы народа эдуи заявили свои притязания на гегемонию и предложили народному собранию заменить Верцингеторига одним из своих вождей. Но представители страны не только отвергли это предложение и утвердили Верцингеторига главнокомандующим, но и приняли целиком его военный план. Это был в основном тот же план, которому он следовал под Авариком и Герговией. В качестве главного пункта новой позиции была избрана крепость Алезия (Alise Sainte-Reine, близ Семюра, в департаменте Кот Д'Ор*), в области мандубиев, и под стенами ее был также сооружен укрепленный лагерь. Здесь были накоплены огромные запасы; из Герговии сюда была отправлена армия, конница которой по постановлению народного собрания была доведена до 15 тыс. лошадей. Цезарь теперь во главе 10 легионов, соединившихся под Агединком, направился к Везонтиону, чтобы, находясь вблизи от обеспокоенной римской провинции, защитить ее от нападений, так как шайки мятежников в самом деле показались уже в области гельветов, на южном склоне Севенн. Алезия находилась почти на его пути; кельтская конница — единственный род войск, которым хотел бы пользоваться Верцингеториг, — напала в дороге на Цезаря, но, ко всеобщему удивлению,

* Недавно еще обсуждавшийся вопрос, не находилась ли Алезия на месте нынешнего Alaise (в 25 километрах южнее Безансона, департамент Дуб), всеми серьезными исследователями разрешается в отрицательном смысле.

была отражена его новыми германскими эскадронами и двинутой для их поддержки римской пехотой. Верцингеториг тем более спешил запереться в Алезии, и если Цезарь не хотел совершенно отказываться от наступательных действий, ему волей-неволей приходилось, в третий раз за эту кампанию, напасть со значительно слабейшими силами на армию, обладавшую огромными массами конницы и стоявшую под стенами хорошо защищенной и снабженной провиантом крепости.

Но если до этого времени с кельтами встречалась только часть римских легионов, то под Алезией была собрана вся армия Цезаря, а Верцингеторигу не удалось на этот раз, как под Авариком и Герговией, расставить свою пехоту под охраной крепостных стен и поддерживать сношения с внешним миром посредством своей конницы, препятствуя в то же время сношениям противника. Кельтская конница, обескураженная поражением, нанесенным ей презираемым противником, терпела неудачу в каждом столкновении с германскими всадниками Цезаря.

Линия валов осаждающих возвышалась на протяжении 2 миль вокруг всего города, включая и примыкавший к нему лагерь. Верцингеториг готовился к сражению под стенами города, но не к осаде в Алезии, — для армии его, насчитывавшей якобы до 80 тыс. человек пехоты и до 15 тыс. конницы, и для многочисленного населения города далеко не хватило бы в этом случае заготовленных припасов, как бы значительны они ни были. Верцингеторигу пришлось убедиться в том, что на этот раз военный план его пагубен для него самого и что он погибнет, если вся нация не поспешит на выручку своего осажденного полководца. Когда сомкнулось кольцо римлян вокруг Алезии, съестных припасов еще хватило бы на месяц и, может быть, даже несколько более; в последнюю минуту, пока путь еще был свободен хотя бы для всадников, Верцингеториг распустил всю свою конницу и вместе с тем обратился к вождям нации с призывом собрать все воинство и повести его на выручку Алезии. Сам же он, решив нести и личную ответственность за составленный им, но не удавшийся военный план, остался в крепости, чтобы в счастье и несчастье разделить судьбу своих воинов. В свою очередь Цезарь приготовился и осаждать и быть осажденным. Он устроил свою линию валов так, что ее можно было защищать и с внешней стороны, и запаса продовольствием на долгий срок.

Дни шли, уже в крепости не было ни одной меры хлеба, уже пришлось выселить несчастных горожан, которые нашли гибель между укреплениями кельтов и римлян, безжалостно прогоняемые теми и другими. Тогда-то в последнюю минуту показались за линиями Цезаря неисчислимые кельтско-бельгийские полчища, пришедшие на

выручку Алезии, якобы 250 тыс. человек пехоты и 8 тыс. всадников. От Ламанша до самых Северн мятежные области напрягли все силы для спасения ядра своих патриотов и избранного ими полководца; одни только белловаки заявили, что они согласны, правда, бороться против римлян, но только в пределах своей области.

Первый натиск, предпринятый против укрепленной линии римлян осажденными из Алезии и явившейся к ним на помощь армией с другой стороны, был отбит, но когда он был возобновлен после однодневной передышки, кельтам удалось в одном месте, где линия валов шла по склону горы и могла быть атакована с ее вершины, засыпать рвы и прогнать с вала его защитников. Тогда Лабием, направленный сюда Цезарем, собрал ближайшие когорты и бросился с четырьмя легионами на врага. На глазах у главнокомандующего, появившегося здесь в самую опасную минуту, штурм был отбит после отчаянной рукопашной схватки, а прибывшие с Цезарем конные части, напав на отступавших с тылу, довершили поражение. То была более чем великая победа; здесь безвозвратно решилась судьба не только Алезии, но и всего кельтского народа. Кельтское войско, совершенно деморализованное, разбежалось с поля битвы по домам.

Верцингеториг, быть может, даже теперь еще мог бы бежать или по крайней мере спасти себя крайним средством свободных людей; он этого не сделал, а заявил на военном совете, что, так как ему не удалось свергнуть господство иноземцев, он готов принести себя в жертву и, насколько возможно, принять на себя горькую участь, предстоящую нации. Так и случилось. Кельтские офицеры выдали торжественно выбранного всей нацией полководца врагу родины для соответствующего наказания. Сидя на коне и в полном военном убранстве появился король арвернов перед римским проконсулом и объехал вокруг собранного им трибунала; затем он отдал коня и оружие и молча опустил на ступенях у ног Цезаря (702).

Пять лет спустя он был, во время триумфа, проведен по улицам италийской столицы и как изменник римскому народу обезглавлен у подножия Капитолия, в то время как победитель на вершине его приносил благодарность богам. Подобно тому как после пасмурного дня солнце показывается в минуту заката, так судьба дарует погибающим народам последнего великого человека. Так стоит на исходе финикийской истории Ганнибал, на исходе кельтской — Верцингеториг. Ни один из них не мог спасти свой народ от иноземного господства, но они избавили его от позора бесславной гибели. Верцингеторигу, как и Ганнибалу, пришлось бороться не только с внешним врагом, но прежде всего с антинациональной оппозицией оскорбленных эгоистов и испуганных трусов, которая всегда свойственна выродившейся цивилизации, и Верцингеторигу обеспечивают место в истории не его

битвы, не осады, а то, что он сумел в своем лице дать средоточие и опору нации, распавшейся и погрязшей в партикуляризме. И вместе с тем едва ли существует более резкая противоположность, чем та, какую мы видим между трезвым гражданином финикийского торгового города, в течение пятидесяти лет с неизменной энергией стремившимся к одной и той же великой цели, и смелым королем страны кельтов, чьи громкие подвиги и великодушное самоотвержение совершились в течение одного короткого лета. Древний мир не знает другого подобного человека, рыцаря как по своим внутренним качествам, так и по внешнему виду. Но не рыцарем должен быть человек, а тем более государственный деятель. Не герой, а рыцарь с презрением отказался от бегства из Алезии, между тем как один он был важнее для народа, чем сто тысяч обыкновенных храбрых людей. Не герой, а рыцарь принес себя в жертву, между тем как эта жертва покрыла позором народ, который трусливо и бессмысленно при своем последнем издыхании назвал преступлением против насильника свою предсмертную всемирно-историческую борьбу. Насколько иначе поступал в подобных случаях Ганнибал! Невозможно расстаться с благородным арвернским королем, не отнесясь к нему сочувственно как к человеку и историческому деятелю; но для кельтского народа весьма характерно, что величайший его человек был все-таки только рыцарем.

Падение Алезии и капитуляция находившейся там армии были страшным ударом для кельтского восстания; однако столь же тяжкие удары поражали нацию и прежде, а борьба все-таки возобновлялась. Но потеря Верцингеторига была незаменима. С ним нация обрела единство, с ним же оно, казалось, снова исчезло. Не видно, чтобы мятежники сделали хотя бы попытку продолжить совместную оборону и назначить другого главнокомандующего; союз патриотов распался сам собой, и каждому клану было предоставлено по собственному усмотрению бороться или мириться с римлянами. Понятно, что стремление к миру взяло всюду верх. Цезарю также было выгодно скорее добиться конца. Из десяти лет его проконсульства прошло уже семь, а полномочия его на последний год оспаривались его политическими противниками в столице; таким образом, он мог рассчитывать с некоторой уверенностью только на два лета, и если его интересы и честь требовали, чтобы он передал своему преемнику вновь завоеванные земли в сколько-нибудь благоустроенном и мирном состоянии, то время для достижения этой цели было отмерено ему поистине скупо. Оказание милости побежденным было более необходимо для самого победителя, чем для них, и Цезарю нужно было благодарить свою счастливую звезду за то, что внутренний распад и неустойчивый характер кельтского народа помогли ему в этом деле. С теми областя-

ми, где существовала сильная римская партия, как, например, с двумя крупнейшими среднегалльскими кантонами, эдуев и арвернов, немедленно после падения Алезии были восстановлены прежние отношения, и даже пленные из этих кланов, числом до 20 тыс., были отпущены без выкупа, между тем как остальные пленные попадали в тяжелое рабство к победоносным легионерам. Подобно эдуям и арвернам большая часть галльских округов покорилась своей судьбе и без дальнейшего сопротивления переносила неизбежные кары. Но немало было и таких, которые по неразумному легкомыслию или тупому отчаянию упорно защищали проигранное дело, пока в их пределах не появились римские карательные отряды.

Подобные экспедиции были предприняты против битуригов и карнутов еще зимой 702/703 г. Более серьезное сопротивление оказали белловаки, за год перед тем отказавшиеся идти на выручку Алезии. Они как бы желали этим доказать, что в решительный день они отсутствовали по крайней мере не по недостатку мужества и любви к свободе. В этой борьбе приняли участие атребаты, амбианы, калеты и другие бельгийские округа; храбрый царь атребатов Коммий, которому римляне менее всего могли простить его присоединение к восстанию и на жизнь которого Лабиен организовал даже отвратительное коварное покушение, привел к белловакам 500 германских всадников, обнаруживших свои качества еще в прошлогоднем походе. Энергичный и талантливый белловак Коррей, которому пришлось руководить этой войной, вел ее так, как делал Верцингеториг, и с немалым успехом. Цезарь, несмотря на то, что он должен был постепенно ввести в дело большую часть своей армии, не смог заставить пехоту белловаков принять сражение или хотя бы помешать ей занять другие позиции, лучше защищенные от нападения его усилившегося войска; римская же конница, а именно кельтские контингенты, понесла значительные потери в ряде столкновений с конницей неприятеля, в особенности с германскими всадниками Коммия. Но после того как Коррей погиб в стычке с римскими фуражирами, сопротивление было сломлено и здесь; победитель предложил приемлемые условия, на которых белловаки со своими союзниками изъявили покорность. Треверы были приведены к повиновению Лабиеном, который еще раз прошел и опустошил при этом область опальных эбуронов. Так был положен конец сопротивлению бельгийского союза.

Еще одну, последнюю, попытку избавиться от римского господства предприняли приморские области в союзе со своими соседями на Луаре. Повстанческие отряды из андского, карнутакого и других прилегающих округов собрались на нижней Луаре и осадили в Лемоне (Пуатье) верного Риму короля пиктонов. Однако и здесь появились вскоре значительные римские силы; мятежники отказа-

лись от осады и удалились, желая перейти через Луару и оставить ее между собой и неприятелем; но на пути они были настигнуты и разбиты, после чего страна карнутов и остальные кантоны, в том числе и приморские области, заявили о своем подчинении римлянам. Соппротивление кончилось; разве какой-нибудь партизанский вождь поднимал еще в отдельных местах национальное знамя. Смелый Драппет и верный соратник Верцингеторига Луктерий собрали после распада армии мятежников на Луаре самых решительных людей и укрылись с ними в горной крепости Укселлодуне* (на реке Ло), которую им удалось обеспечить продовольствием ценой тяжелых боев, в которых они понесли большие потери. Несмотря на то что гарнизон остался без вождей, так как Драппет был взят в плен, а Луктерий был оттеснен от города, он держался до последней крайности; только когда появился сам Цезарь и по его распоряжению источник, откуда осажденные брали воду, был отведен в сторону посредством подземных каналов, крепость, последний оплот кельтов, пала. Чтобы отметить последних поборников дела свободы, Цезарь приказал отрубить руки всему гарнизону и в этом виде отпустить каждого солдата на родину. Королю Коммию, который все еще держался в районе Арраса и сражался там зимой 703/704 г. с римскими войсками, Цезарь, которому важно было прекратить в Галлии по крайней мере открытое сопротивление, предоставил возможность заключить мир, несмотря на то что этот озлобленный и, не без основания, недоверчивый человек упорно отказывался явиться лично в римский лагерь. Весьма вероятно, что и в неприступных округах северо-запада и северо-востока Цезарь также удовлетворился одним только номинальным подчинением, быть может, даже простым прекращением военных действий**.

Таким образом, всего лишь после восьмилетней борьбы (696—703) была покорена римлянами Галлия, т. е. вся страна к западу от Рейна и к северу от Пиренеев. Едва только год спустя после полного умиротворения страны, в начале 705 г., римские войска должны были вернуться за Альпы вследствие вспыхнувшей, наконец, в Италии гражданской войны, и в стране кельтов осталось только несколько слабых отрядов новобранцев. Несмотря на это, кельты не восставали больше против иноземного владычества, и, в то время когда во

* Место это указывают обыкновенно близ Капденака, недалеко от Фижака; недавно Гелер высказался в пользу Люзека, к западу от Кагора; последнее решение предлагалось уже и раньше.

** Разумеется, сам Цезарь об этом не упоминает, но ясный намек на это имеется у Саллюстия (Hist., 1, 9), хотя и он писал в цезарианском духе. Дальнейшим доказательством являются монеты.

всех старых провинциях Рима шла борьба против Цезаря, только вновь приобретенная область оставалась неизменно покорной своему победителю. Германцы также не возобновляли в течение этих критических для Цезаря годов своих попыток насильственно утвердиться на левом берегу Рейна. Равным образом и во время последующих кризисов дело не доходило в Галлии ни до нового национального восстания, ни до германского нашествия, хотя для этого и представлялись самые благоприятные возможности. Если же где-нибудь и вспыхивали беспорядки, как, например, восстание белловаков против римлян в 708 г., то эти движения были настолько разрозненны и лишены какой-нибудь связи с событиями в Италии, что были без труда подавлены римскими наместниками. Весьма вероятно, что этот мир, как было в течение ряда веков и в Испании, достигался тем, что самым отдаленным и наиболее проникнутым национальным чувством областям, как Бретани, шельдским округам, пиренейскому краю, дозволялось пока в той или иной форме фактически уклоняться от подчинения римлянам. Тем не менее здание, сооруженное Цезарем, несмотря на ограниченность времени, которое он мог уделить ему среди других еще более неотложных работ, несмотря на то что он оставил его недоделанным, выдержало испытание огнем, каким было для него отражение германского нашествия и покорение кельтов.

В административном отношении вновь приобретенные проконсулом Нарбоннской Галлии области были временно присоединены к Нарбоннской провинции. Лишь когда Цезарь сложил с себя эту должность (710), из завоеванных им земель были созданы два наместничества — собственно Галлия и Бельгия. Потеря отдельными округами их политической независимости вытекала из факта завоевания. Все они были обложены налогом в пользу Рима.

Но податная система эта была, конечно, не та, на основе которой родовая и финансовая аристократия эксплуатировала Азию; на каждую общину была здесь, как и в Испании, раз навсегда возложена определенная дань, сбор которой предоставлялся ей самой. Этим путем целых 40 миллионов сестерциев поступали ежегодно из Галлии в кассы римского правительства, которое за это принимало на себя расходы по охране рейнской границы. Разумеется, и те массы золота, которые были накоплены в храмах богов и в сокровищницах богатых, благодаря войне нашли себе дорогу в Рим. Если Цезарь тратил свое галльское золото во всем римском государстве и выбросил сразу на денежный рынок такие массы его, что цена золота по отношению к серебру упала на 25 %, то можно понять, какие суммы потеряла Галлия вследствие войны.

Прежний окружной строй с наследственными королями или фео-

дально-олигархической верхушкой, уцелел в основном и после завоевания; не была отменена и система клиентелы, в силу которой одни кантоны становились зависимыми от других, более могущественных, хотя, конечно, с утратой государственной самостоятельности эта система в значительной мере лишилась своего значения. Цезарь заботился лишь о том, чтобы, воспользовавшись существующей династической и феодальной рознью и борьбой за гегемонию, установить порядок, соответствующий интересам Рима, и поставить всюду у власти сторонников иноземного господства. Вообще Цезарь не жалел трудов, чтобы создать в Галлии римскую партию; приверженцам его были выданы щедрые награды деньгами и в особенности конфискованными землями, и благодаря его влиянию они становились членами общинных советов и занимали важнейшие должности в своих округах. Те округа, где имелась достаточно сильная и надежная римская партия, как ремы, эдуи, лингоны, получили в виде поощрения более свободное коммунальное устройство, так называемое союзное право, и им было оказано предпочтение при разрешении споров о гегемонии. С самого начала Цезарь щадил, по-видимому, национальный культ и его служителей; мы не находим у него и следа тех мер, которые принимались позднее римскими властителями против друидов; с этим, вероятно, связано то, что галльские войны Цезаря не носят, насколько нам известно, того характера религиозной войны, который так резко проявился впоследствии в британских войнах.

Если Цезарь оказывал побежденной нации всевозможное снисхождение и щадил ее национальные, политические и религиозные учреждения, поскольку это было совместимо с подчинением Риму, то это делалось не с тем, чтобы отказаться от основной идеи его завоеваний — романизации Галлии, а с тем, чтобы осуществить ее в возможно более мягкой форме. Он не ограничивался распространением на северную часть страны тех порядков, которые привели уже в значительной мере к романизации южной провинции, но как настоящий государственный человек оказывал содействие естественному развитию и старался сократить всегда мучительный переходный период. Не говоря уже о принятии многих знатных кельтов в число римских граждан и допущении, быть может, некоторых из них даже в сенат, по-видимому, благодаря Цезарю во многих галльских округах был введен латинский язык как официальный, вместо кельтского, хотя и с некоторыми ограничениями, а вместо национальной монетной системы была введена римская, причем право чеканки золотой монеты и денариев было оставлено за римскими властями, а разменная монета чеканилась отдельными округами, но только для обращения в пределах данного округа и по римскому образцу. Можно, конечно, смеяться над тем жаргоном, на котором стали отныне объясняться по

предписанию начальства обитатели берегов Луары и Сены*, но в этом ломаном языке скрывалось более блестящее будущее, чем в безукоризненной столичной латыни. Быть может, мероприятиями Цезаря объясняется и то, что кельтский окружной строй приблизился впоследствии к италийскому городскому устройству, и главный город округа, равно как и общинный совет стали занимать более выдающееся положение, чем было, вероятно, при первоначальных кельтских порядках. Насколько желательно было в военном и политическом отношении основать ряд заальпийских колоний, которые послужили бы опорой новой власти и исходными пунктами новой цивилизации, — этого никто не мог сознавать яснее, чем политический наследник Гая Гракха и Мария. Если же он ограничился тем, что поселил своих кельтских или германских всадников в Новиодуне и бойев в области эдуев (последнее поселение в войне с Верцингеторигом играло уже роль настоящей римской колонии), то это произошло лишь потому, что дальнейшие планы Цезаря не позволяли ему еще дать в руки своим легионам вместо меча плуг. О том, что он сделал в этом направлении для старой римской провинции в позднейшие годы, будет рассказано в своем месте; весьма вероятно, что он не распространил этих мероприятий на вновь завоеванные им области только вследствие недостатка времени.

Существованию кельтского народа наступил конец. Политическое крушение его стало фактом — об этом позаботился Цезарь, — а национальный распад его начался и неуклонно прогрессировал. Это была не случайная гибель, какую иногда готовит судьба даже способным к дальнейшему развитию народам, а заслуженная и в известной степени исторически необходимая катастрофа. Это доказывается уже ходом последней войны, будем ли мы рассматривать ее в целом или в частностях. Когда началось установление иноземного господства, ему оказывали энергичное сопротивление только отдельные области, да и то преимущественно германские или наполовину германские. Когда же иноземное господство было установлено, все попытки свергнуть его либо предпринимались крайне неразумно, либо — в большей мере, чем это допустимо, — были делом отдельных выдающихся представителей знати и поэтому немедленно и окончательно прекращались со смертью какого-нибудь Индутиомара, Камулогена, Верцингеторига, Коррея. Характерно, что осадная и малая война, в кото-

* Так, например, на одной монете, отчеканенной по распоряжению Вергобрета Лексовиев (Лизье, департамент Кальвадос), имеется следующая надпись: «Cisiambos Cattsos vercobreto; simissos publicos Lixovio». Надпись, местами неразборчивая, и невообразимо безобразный чекан этих монет вполне гармонируют с этим лепечущим языком.

рой обнаруживается обычно вся нравственная глубина народных войн, в кельтской войне всегда приводила лишь к самым жалким результатам. Каждая страница кельтской истории подтверждает суровые слова одного из немногих римлян, умевших не презирать так называемых варваров, что кельты смело бросают вызов будущей опасности, но присутствие духа изменяет им перед настоящей. В могучем вихре истории, беспощадно сокрушающем все народы, которые не окажутся как сталь твердыми и вместе с тем как сталь гибкими, подобная нация не могла долго существовать. Континентальные кельты заслуженно подверглись той же участи под властью римлян, которую их соплеменники на ирландском острове до наших дней переносят под властью саксов: раствориться в качестве фермента будущего развития в другой национальности, превосходившей их в государственном отношении. Расставаясь с этим своеобразным народом, можно еще напомнить, что в рассказах древних авторов о кельтах на Луаре и на Сене едва ли отсутствует хотя бы одна из тех характерных черт, по которым мы привыкли узнавать нынешних ирландцев. Мы встречаем здесь нерадивое отношение к сельскому хозяйству, любовь к пиррам и дракам, бахвальство (вспомним повешенный в священной роще арвернов после победы под Георговией меч Цезаря, на который с улыбкой смотрел в этом священном месте его мнимый прежний обладатель, приказавший заботливо оберегать это драгоценное достояние); речь, полную метафор и гипербол, намеков и причудливых оборотов; забавный юмор, примером которого является правило, что тому, кто прервет публичного оратора, полиция вырезает большую и заметную дыру в платье; любовь к песням и сказаниям о делах минувших дней и бесспорную ораторскую и литературную одаренность; любопытство — ни одного купца не пропускали, пока он не расскажет среди улицы все новости, которые он знает или не знает, — и безумное легкомыслие, с которым делались практические выводы из полученных таким образом сведений, вследствие чего в более благоустроенных кантонах путешественникам под угрозой строгой кары было запрещено сообщать непроверенные известия кому-либо, кроме общинных властей; детскую религиозность народа, видевшего в священнике отца и во всем спрашивавшего его совета; исключительную глубину национального чувства, благодаря чему все соотечественники почти как одна семья противостояли иностранцам; готовность восставать и составлять банды под руководством первого попавшегося вожака, а вместе с тем полнейшую неспособность сохранить непоколебимое мужество, чуждое как заносчивости, так и малодушия, подмечать подходящую минуту для нанесения удара или для выжидания, выработать какую-либо организацию, строгую военную и политическую дисциплину или хотя бы выносить ее. Всюду и во все времена

мы видим все ту же нацию, ленивую и поэтическую, неустойчивую и простосердечную, любопытную, легковверную, способную, но никуда не годную в политическом отношении; поэтому-то и судьба ее оставалась неизменно та же.

Гибель этого великого народа в результате заальпийских войн Цезаря не составляет, однако, важнейшего последствия этого грандиозного предприятия; положительный результат его гораздо значительнее отрицательного. Едва ли можно сомневаться в том, что, если бы сенатский режим продлил свое призрачное существование еще на несколько поколений, так называемое переселение народов произошло бы на четыреста лет раньше, чем это случилось, и притом в такое время, когда италийская цивилизация не утвердилась еще ни в Галлии, ни на Дунае, ни в Африке, ни в Испании. Благодаря тому, что великий римский полководец и государственный деятель усмотрел верным взглядом в германских племенах равноценного соперника греко-римского мира, что он сильной рукой установил даже в деталях новую систему активной обороны и учил защищать государственные границы реками или искусственными насыпями, поселять вдоль границы ближайшие варварские племена для отражения более отдаленных и пополнять римскую армию людьми, на вербованными во вражеских странах, — благодаря всему этому эллино-италийская культура получила необходимый срок, чтобы так же цивилизовать Запад, как был цивилизован ею Восток. Простые смертные видят плоды своих трудов; семя же, посеянное гениальным человеком, всходит медленно. Прошли века, прежде чем поняли, что Александр не только основал на Востоке эфемерное царство, но и принес в Азию эллинизм; опять прошли века, прежде чем стало ясно, что Цезарь не только завоевал для Рима новую провинцию, но и положил начало романизации западных стран. Только позднейшие потомки поняли смысл этих легкомысленных с военной точки зрения и сперва безуспешных походов в Англию и Германию. Благодаря им перед греко-римским миром открылось огромное множество новых народностей, о существовании и быте которых только моряки и купцы рассказывали до того времени немного правды и много небылиц. «Каждодневно, — так говорится в одном римском источнике, относящемся к маю 698 г., — письма и вести из Галлии сообщают нам незнакомые раньше имена народов, округов и стран». Это расширение исторического горизонта благодаря походам Цезаря по ту сторону Альп было таким же всемирно-историческим событием, как и открытие Америки европейцами. К узкому кругу средиземноморских государств добавились народы Средней и Северной Европы, жители берегов Балтийского и Северного морей; к старому миру присоединился новый, подвергающийся отныне его влиянию и в свою очередь влияющий на него. Уже

Ариовист едва не совершил того, что удалось впоследствии готу Теодориху. Если бы это случилось, то наша цивилизация вряд ли находилась бы в более тесной связи с греко-римской, чем с индийской или ассирийской. Цезарю мы обязаны тем, что между минувшим величием Эллады и Италии и гордым зданием новой истории перекинут мост, что Западная Европа стала романской, германская Европа — классической, что имена Фемистокла и Сципиона звучат для нас иначе, чем Ашоки и Салманассара, что Гомер и Софокл не привлекают, подобно Ведам и Калидасе, только литературных ботаников, а цветут в нашем собственном саду, и это дело Цезаря. Если творение его великого предшественника на Востоке было почти совершенно разрушено бурными потоками средневековья, то здание, воздвигнутое Цезарем, пережило тысячелетия, преобразовавшие для человечества религию и государство и передвинувшие даже центр тяжести нашей цивилизации, так что оно незыблемо стоит перед тем, что мы называем вечностью.

Чтобы закончить картину отношений Рима с народами Севера в эту эпоху, остается еще бросить взгляд на страну, простирающуюся к северу от италийского и греческого полуострова, от истоков Рейна до Черного моря. Историческое исследование не осветило, правда, могучей борьбы народов, которая, быть может, происходила в то время и там, и отдельные лучи света, проникающие в эту область, могут, подобно слабым проблескам среди глубокой тьмы, скорее сбить с пути, чем осветить его. Но историк обязан указывать и пробелы в истории народов; рядом с грандиозной оборонительной системой Цезаря он не должен пренебрегать и теми убогими мерами, посредством которых сенатские полководцы хотели защитить с этой стороны границы государства.

Северо-восточная Италия была по-прежнему предоставлена нападениям альпийских народностей. Стоявшее в 695 г. под Аквилеей сильное римское войско и триумф наместника Цизальпинской Галлии Луция Афрания дают основание заключить, что в это время состоялась экспедиция в Альпы. Быть может, вследствие этого мы вскоре увидим римлян в тесных сношениях с каким-то из королей нориков. Но и после этого Италия отнюдь не была обеспечена с этой стороны, что доказывается нападением альпийских варваров на цветущий город Тергест в 702 г., когда трансальпийское восстание принудило Цезаря удалить все войска из Верхней Италии.

Беспокойные народности иллирийского побережья также причиняли немало хлопот своим римским повелителям. Далматы, бывшие и прежде самым значительным народом в этом краю, до такой степени усилились благодаря союзу с соседями, что число их поселений с 20 возросло до 80. Когда они отказались вернуть либурнам захвачен-

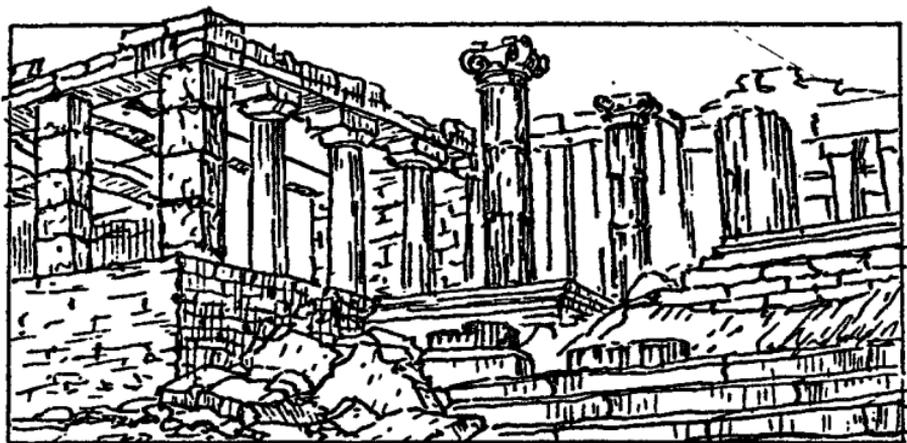
ный ими город Промону (недалеко от реки Керки), Цезарь после сражения при Фарсале отправил против них войска, но римляне потерпели неудачу, и вследствие этого Далматия стала на некоторое время очагом враждебной Цезарю партии, и его военачальникам оказывалось здесь энергичное сопротивление на море и на суше местным населением, соединившимся с помпеянами и морскими разбойниками.

Наконец, Македония, так же как Эпир и Эллада, опустела и пришла в упадок больше, чем какая-либо другая часть римского государства. Диррахий, Фессалоники, Византий поддерживали еще кое-какую торговлю и сношения; Афины привлекали путешественников и учащихся своим именем и своей философской школой; но в общем в некогда многолюдных городах и кишевших народом портах царила тишина кладбища. Но если греки не шевелились, то, напротив, жители неприступных македонских гор по-прежнему продолжали свои грабежи и распри; так, например, в 687—688 гг. агреи и долопы напали на этолийские города, а в 700 г. жившие в долинах Дрины пирусты — на южную Иллирию, Так же вело себя и население соседних областей. Правда, дарданы близ северной границы и фракийцы на востоке были усмирены римлянами в восьмилетней борьбе — с 676 по 683 г.; могущественнейший из фракийских властителей, повелитель древнего царства одрисов Котис, считался с тех пор в числе зависимых от Рима царей. Но тем не менее умиротворенная страна по-прежнему подвергалась нападениям с севера и востока. Наместник Гай Антоний был плохо принят как дарданами, так и племенами, жившими в нынешней Добрудже, нанесшими ему с помощью прибывших с левого берега Дуная страшных бастарнов тяжелое поражение (692—693) близ Истрополя (Истера, недалеко от Кюстендже). Счастливее сражался Гай Октавий против бессов и фракийцев (694). Напротив, дела Марка Пизона (697—698) как полководца шли весьма плохо, что было неудивительно, так как он за деньги делал для друзей и врагов, что они только хотели. Фракийские денделеты (на Стримоне) разграбили в его проконсульство всю Македонию и выставили свои посты на большой римской военной дороге, которая вела из Диррахия в Фессалонику, где жители приготовились уже вынести их осаду, тогда как римское войско стояло в провинции как будто лишь для того, чтобы смотреть, как горцы и соседние народности будут облагать поборами мирных подданных Рима.

Подобные нападения не могли, конечно, подвергнуть опасности римское владычество, а что касается стыда, то на это давно уже не обращали внимания. Но как раз в это время по ту сторону Дуная, в обширных степях Дакии, начинал слагаться в государство народ, который, казалось, должен был сыграть в истории иную роль, чем бес-

сы и дентелеты. В древние времена у гетов, или даков, выступил рядом с царем народа святой человек по имени Замолксис, который, изучив в долгих странствиях на чужбине пути и чудеса богов и в особенности премудрость египетских жрецов и греческих пифагорейцев, вернулся на родину, чтобы закончить свою жизнь благочестивым отшельником в одной из пещер «Святой горы». К нему имели доступ только царь и его служители, и при каждом важном предприятии он изрекал для царя, а через него и для народа, свои предсказания. Соотечественники смотрели на него сначала как на жреца высшего божества, а потом как на самого бога, подобно тому, как говорится о Моисее и Аароне, что бог поставил Аарона пророком, а богом пророка Моисея. Таким образом возникло постоянное учреждение: рядом с царем гетов стояло, по закону, такое божество, из уст которого исходило — или по крайней мере так казалось — все, что приказывал царь. Это своеобразное государственное устройство, где теократическая идея была подчинена абсолютной, по-видимому, царской власти, дала, очевидно, гетским царям относительно их подданных такое положение, какое занимали только арабские калифы; результатом этого было поразительное религиозно-политическое обновление нации, произведенное к этому времени гетским царем Бурбистой и богом Деке-неем. Народ, доведенный беспримерным пьянством до полнейшего нравственного и политического разложения, как бы совершенно преобразился под влиянием нового евангелия, проповедовавшего умеренность и мужество. Царь Бурбиста, опираясь на свои пуритански дисциплинированные и вдохновленные войска, основал в течение немногих лет могущественное государство, расстилавшееся по обоим берегам Дуная далеко на юг, до самой Фракии, Иллирии и страны нориков. Непосредственного соприкосновения с римлянами у него еще не было, и никто не мог сказать, что станет с этим странным государством, напоминавшим первые времена ислама, но, даже не будучи пророком, можно было предвидеть, что таким проконсулам, как Антоний и Пизон, окажется не по силам спорить с богами.





Глава VIII

Совместное господство Помпея и Цезаря

Из вождей демократии, которые со времени консульства Цезаря как бы официально признавались совместными властителями государства, правящими «триумвирами», первое место, согласно общественному мнению, принадлежало, несомненно, Помпею. Оптиматы прозвали его «частным диктатором»; перед ним Цицерон, хотя и напрасно, пал на колени; против него были направлены наиболее резкие сарказмы на уличных плакатах Бибула, ядовитейшие стрелы в речах ораторов оппозиционных салонов. Все это было в порядке вещей. Судя по имевшимся фактам, Помпей был бесспорно первым полководцем своего времени, а Цезарь — искусным партийным вождем и оратором; он обладал несомненными дарованиями, но отличался совершенно не воинственным, даже женственным характером. Такие отзывы о них были давно в ходу; нельзя было ожидать от знатной толпы, чтобы она думала о сути дела и отказалась от общепринятых тривиальных суждений из-за малоизвестных подвигов на берегах Тахо. В глазах всех Цезарю принадлежала в союзе лишь роль адъютанта, который исполняет для своего начальника то, что Флавий, Афраний и другие менее способные клеветы тщетно пытались выполнить. Даже его проконсульство, по-видимому, не изменило этого соотношения. Очень похожую роль принял на себя незадолго до того Афраний, но не приобрел вследствие этого особенного значения. В последние годы часто случалось, что многие провинции под-

чинялись одному наместнику и нередко гораздо более четырех легионов соединялось под одним командованием. Так как по ту сторону Альп снова стало спокойно и Ариовист был признан римлянами в качестве друга и соседа, то не было налицо угрозы сколько-нибудь серьезной войны. Сравнение того положения, которое Помпею создали законы Габиния — Манилия, а Цезарю — закон Ватиния, напрашивалось само собой; но это было не в пользу Цезаря. Помпей повелевал почти над всем римским государством, Цезарь же — над двумя провинциями. В безотчетном почти распоряжении Помпея находились и войска и казна государства; Цезарь же располагал лишь назначенными ему суммами и войском в 24 тыс. человек. Помпею было предоставлено самому определить время его удаления от дел; власть же Цезаря была обеспечена за ним, правда, надолго, но все же на определенный срок. Наконец, Помпею было поручено выполнение важнейших поручений и на море и на суше. Цезарь же был послан на Север для того, чтобы из Верхней Италии наблюдать за столицей и заботиться о том, чтобы Помпей мог над ней спокойно властвовать.

Когда, однако, Помпей, по воле коалиции, был поставлен повелителем столицы, он взялся за дело, превышавшее его силы. По части правления Помпей понимал не больше того, что укладывалось в понятие о пароле и о команде.

Волны столичного движения носили в себе зародыш будущих революций и остатки прежних; управлять без помощи вооруженной силы этим городом, во всех отношениях напоминающим Париж XIX в., было задачей бесконечно трудной, а для такого примерного солдата, угловатого и высокомерного, даже неразрешимой. Очень скоро он дошел до того, что враги и друзья, одинаково неудобные для него, могли в ущерб ему делать все, что им хотелось. После отъезда Цезаря из Рима коалиция, правда, властвовала еще над судьбами вселенной, но не над улицами столицы. Точно также и сенат, которому все еще номинально принадлежала некоторая роль в правлении, предоставлял делам в столице идти, как они хотели и могли. Он делал это отчасти потому, что та фракция этого учреждения, которая повиновалась коалиции, не имела никаких инструкций от своих властителей, и отчасти потому, что недовольная оппозиция из равнодушия или пессимизма отстранилась, а главным образом потому, что все это высокородное собрание начинало если не понимать, то чувствовать свое полнейшее бессилие. Таким образом, в данную минуту в Риме не было противодействующей силы какого бы то ни было правительства, не было настоящего авторитета.

Тянулось междуцарствие между уничтоженным аристократическим режимом и зарождавшимся военным владычеством, и если римская государственность более четко, чем какая-либо другая в древности или в новое время, построила все разнообразие политических фун-

кий и организаций, то и политическая дезорганизация, анархия, выступает в ней в незавидных и резких чертах. Это было странное совпадение: в те самые годы, когда по ту сторону Альп Цезарь совершал свое великое дело, в Риме исполнялся странный политический гротеск, какой едва ли представлялся когда-нибудь на сцене всемирной истории. Новый правитель государства вовсе не правил, а заперся в своем доме и втихомолку дулся. Прежнее, наполовину смещенное правительство в равной степени не управляло, а только вздыхало — то поодиночке в семейном кругу в своих виллах, то хором в курии. Часть граждан, дорожившая еще свободой и порядком, устала от этой дикой неразберихи, но, совершенно лишенная руководства и совета, проявляла жалкую пассивность, избегала не только всякой политической деятельности, но, насколько это было возможно, держалась в стороне от политического Содома. Наоборот, всевозможный уличный сброд никогда не переживал такого прекрасного времени, не имел таких веселых сборищ.

Число маленьких «великих» людей было легион. Демагогия окончательно превратилась в ремесло; не было недостатка и в орудиях производства, как, например, потертый плащ, дико взъерошенная борода, длинные развевающиеся волосы, низкий бас; нередко это ремесло было настоящим золотым дном. Для устройства шумных демонстраций были наготове испытаннейшие глотки театрального персонала*: греки и евреи, вольноотпущенники и рабы были постоянными посетителями общественных собраний и самыми громкими крикунами; даже когда дело доходило до голосования, часто лишь незначительное число голосующих состояло из граждан, имевших право голоса. «Скоро, — говорится в одном письме того времени, — мы можем ждать, что наши слуги будут голосовать против пошлины за отпуск на волю». Настоящей силой в эту пору были тесно спаянные и вооруженные шайки, сформированные знатными авантюристами из вооруженных рабов, отряды анархистов, состоящие из люмпена. Их вожди с самого начала большей частью были из партии популяров, но со времени удаления Цезаря, который один только умел импонировать демократии и руководить ею, в ней исчезло всякое подобие дисциплины, и каждый член партии придерживался своей собственной политики. Конечно, и теперь еще эти люди охотнее всего готовы были бороться под знаменем свободы; но, строго говоря, они не были настроены ни за демократию, ни против нее — они писали на своем знамени, сделавшемся для них необходимым, то благо народа, то интересы сената, то имя какого-нибудь вождя партии. Так, например, Клодий последовательно боролся (или только делал вид, что

* Цицерон упоминает об этом в речи за Сестия: «*cantorum convicio contiones celebrare*» (Pro Sest., 55, 118).

борется) то за господствующую демократию, то за сенат, то за Красса. Вожди шайки лишь в том оставались верны принятому направлению, что неумолимо преследовали своих личных врагов: Клодий — Цицерона, Милон — Клодия, тогда как мнения партии служили им только удобным поводом в этих личных ссорах. Так же легко было бы положить какофонию на ноты, как передать историю этого политического сумбура; да и нет никакого интереса перечислять все убийства, осады домов, поджоги и другие сцены разбоя, происходившие на улицах мирового города, и вычислять, как часто проходила вся шкала, начинавшаяся свистом и криком, переходящая к оплеванию и топтанию ногами, а затем к швырянию камней и звону мечей.

Первым актером в этом театре политического люмпена был тот самый Публий Клодий, которого, как уже было сказано выше, властители выдвигали против Катона, и Цицерона. Предоставленный самому себе, этот влиятельный, даровитый, энергичный и в своем роде действительно образцовый последователь партии, будучи народным трибуном (696), следовал крайней демократической политике: бесплатно раздавал гражданам зерно, ограничил право цензоров предавать порицанию безнравственных граждан, запретил магистратам стеснять религиозными формальностями работу механизма комиций, устранил ограничения права низших классов составлять союзы, установленные незадолго до этого (690), чтобы помешать образованию шаек, и восстановил закрытые тогда же «уличные клубы» (*collegia comitalicia*), которые представляли собой не что иное, как разделенную по улицам полувоенную организацию всего свободного или невольничьего пролетариата столицы. Когда к тому же дальнейший закон, который тоже задумал Клодий, чтобы в качестве претора внести его в 702 г., предоставил вольноотпущенникам и рабам, фактически пользовавшимся свободой, одинаковые права со свободными гражданами, — виновник всех этих смелых исправлений конституции мог объявить свой труд законченным и, как новый Нума в сфере свободы и равенства, мог пригласить близкую его сердцу чернь в воздвигнутый им на месте одного из пожарищ на Палатинском холме храм на торжественное богослужение по случаю наступления тысячетелного царства демократии, где роль верховного жреца должна была принадлежать ему. Понятно, что эти стремления к свободе не исключали спекуляции народными постановлениями: подобно Цезарю, его жалкий подражатель имел в своем распоряжении для продажи согражданам наместничества и другие крупные и мелкие должности, для покоренных же царей и городов — суверенные права государства.

Помпей смотрел на все это даже не пошевелившись. Если он сам не чувствовал, как сильно он компрометирует этим себя, то его противник хорошо понимал это. Клодий был так дерзок, что по очень незначительному вопросу — о выдаче пленного армянского принца —

он готов был вступить в открытую ссору с правителем Рима; разлад вскоре перешел в настоящую борьбу, которая обнаружила полную беспомощность Помпея. Глава государства умел только отвечать вождю партии его же собственным оружием, но делал это гораздо менее искусно. Если Клодий придирался к нему из-за армянского принца, то и он в свою очередь рассердил его тем, что вернул своего ненавистного Клодию человека, Цицерона, из изгнания, на которое он был осужден Клодием, и этим путем так удачно достиг цели, что превратил противника в непримиримого врага. Если Клодий со своими шайками делал небезопасными улицы столицы, то и победоносный полководец точно так же заставлял рабов и гладиаторов маршировать по улицам, — и в этих затеях генерал, конечно, должен был уступить демагогу, терпел поражение в уличных схватках, и Клодий вместе со своим клеветом Гаем Катонем почти постоянно держал его в осажденном положении в его же саду. Не менее замечательной подробностью этого оригинального представления было то, что во время ссоры и правитель и авантюрист, оба перегоняя друг друга, старались сносить расположение свергнутого правительства. Помпей допустил возвращение Цицерона отчасти в угоду сенату, Клодий же, наоборот, объявлял недействительными юлиевы законы и поручал Марку Вибулу официально подтвердить, что их принятие противоречит конституции!

Это клокотание страстей не могло, конечно, дать никакого положительного результата; его характерной чертой была именно до отращения смешная бесцельность. Даже такой гениальный человек, как Цезарь, должен был на деле убедиться, что демократические приемы отжили свой век и что демагогия уже больше не нужна, для того чтобы проложить ему путь к престолу. Когда и теперь еще, в пору междуцарствия, на пути от республики к монархии, какой-нибудь сорви-голова отваживался еще раз пощеголять мантией и посохом пророков, оставленными в покое даже самим Цезарем, и великие идеалы Гая Гракха, карикатурно искаженные, снова выступили на сцену, — все это было только историческим анахронизмом. Кучка людей, от которых исходила эта демократическая агитация, так мало походила на партию, что впоследствии, в минуту решительной борьбы, ей не удалось играть даже самой незначительной роли. Нельзя даже утверждать, что вследствие этого анархического положения дел в умах политически индифферентных граждан и пробудилось желание добиться образования сильного правительства, опирающегося на войско. Не говоря уже о том, что эту нейтральную часть граждан приходилось в большинстве случаев искать вне Рима и что таким образом она не соприкасалась со столичной кутерьмой, — те люди, на которых вообще могут действовать подобные мотивы, уже благодаря прежнему опыту, а именно заговору Катилины, стали убежденными

сторонниками сильной власти; настоящие же трусы гораздо больше боялись тяжелого кризиса, неразлучного с низвержением существующего строя, чем затыжки поверхностной по существу анархии в столице. Единственным результатом этой анархии, имеющим некоторое историческое значение, было тяжелое положение, в котором очутился Помпей благодаря нападкам клодиевых сторонников. Положение это ухудшалось из-за дальнейших действий самого Клодия.

Как ни мало ценил и понимал Помпей преимущества инициативы, изменение его отношений как к Клодию, так и к Цезарю заставило его на этот раз выйти из прежнего пассивного состояния. Неприятное и позорное положение, в которое его поставил Клодий, в конце концов должно было воспламенить гневом и ненавистью даже его ленивую натуру. Но гораздо важнее было изменение в его отношениях к Цезарю. Если из двух вступивших в союз властителей Помпей оказался совершенным банкротом в выполнении принятых на себя обязанностей, то Цезарь сумел сделать из предоставленной ему власти нечто новое, нечто далеко превышавшее все расчеты и опасения. Не спрашивая разрешения, Цезарь удвоил свою армию путем набора в своей южной провинции, преимущественно населенной римскими гражданами; вместо того чтобы из Северной Италии оберегать Рим, он со своим войском перешел Альпы, подавил в самом зародыше новый кимврский набег и за два года (696, 697) прошел с римскими войсками до Рейна и Ламанша. При наличии таких фактов оказалась бессильной даже аристократическая тактика игнорирования и умаления чужих успехов. Человек, которого называли неженкой, стал теперь настоящим кумиром войска, прославленным, увенчанным славой героем, чьи свежие лавры затмевали увядшие лавры Помпея, героем, которому, наконец, и сенат еще в 697 г. воздал обычные после счастливых походов почести в размерах более грандиозных, чем они когда-либо выпадали на долю Помпея. По отношению к своему прежнему адъютанту Помпей занял такое же положение, какое после принятия законов Габиния — Манилия Цезарь занял по отношению к нему. Теперь Цезарь был героем дня и повелителем могущественнейшей римской армии, а Помпей — лишь некогда знаменитым отставным полководцем. Между тестем и зятем дело еще, правда, не доходило до столкновения, и их хорошие отношения внешне не были испорчены, но каждый политический союз неминуемо подвергается внутреннему разложению, как только роли и сила его участников существенно изменяются. Если ссора с Клодием была только досадна, то в изменившемся положении Цезаря скрывалась серьезная опасность для Помпея; как некогда старался это сделать Цезарь со своими союзниками против него, так теперь сам Помпей вынужден был для успешных действий против Цезаря искать опоры в военной силе и, отказавшись от своего горделивого безвластия, выступить в качестве

претендента на какой-нибудь ответственный пост, который дал бы ему возможность быть на одном уровне с наместником обеих Галлий, с такой же, как у него, если не с большей, властью. Его положение и его тактика были совершенно те же, что у Цезаря во время войны с Митридатом. Чтобы уравновесить военную силу превосходившего его, но еще отдаленного противника приобретением равносильной должности, Помпей прежде всего нуждался в содействии официальной правительственной машины. За полтора года до этого она безусловно была в его распоряжении. Властители управляли тогда государством и при посредстве комиций, которые беспрекословно повиновались им, как настоящим хозяевам, и при помощи сильно запуганного Цезарем сената. Как представитель коалиции в Риме и признанный ее вождь, Помпей мог добиться от граждан и сената принятия любого выгодного ему постановления, даже если бы оно шло вразрез с интересами Цезаря. Однако благодаря несвоевременной ссоре с Клодием Помпей лишился господства над римскими улицами и уже не мог надеяться провести выгодное для него предложение в народном собрании. Не столь неблагоприятно для него было положение в сенате, но и здесь было сомнительно, чтобы после такой долгой и опасной пассивности Помпей мог настолько крепко держать в своих руках руководство большинством, чтобы провести то постановление, которое ему было нужно.

Но и само положение сената, или, скорее, вообще нобилитета, тем временем стало совершенно иным. В самом своем унижении сенат почерпнул свежие силы. При заключении коалиции 694 г. обнаружилось многое такое, что совсем еще не созрело для того, чтобы появиться при солнечном свете. Ссылка Катона и Цицерона, которую общественное мнение, несмотря на сдержанность властителей и их желание показать, что они сожалеют об этой мере, с непогрешимой верностью приписывало ее настоящим виновникам, а также родственные отношения Помпея и Цезаря слишком напоминали монархические декреты о высылке и фамильные связи. И широкая публика, державшаяся в стороне от политических событий, внимательно приглядывалась к выступавшим все отчетливее основам будущей монархии. Как только общество поняло, что Цезарь добивается не только изменения республиканского порядка, но что дело идет о том, быть или не быть республике, множество лучших людей, причислявших себя к партии популяров и считавших Цезаря своим главой, должны были неминуемо перейти в противоположный лагерь. Не в одних только салонах и виллах стоявшей у власти аристократии слышались толки о «трех династах», о «трехглавом чудовище». Консульские речи Цезаря слушала тесно сгрудившаяся толпа, но из ее среды не раздавалось возгласов одобрения, ни одна рука не поднималась для аплодисментов, когда демократический консул появлялся в театре. Когда же пуб-

лично появлялся кто-нибудь из клеветов властителей, раздавался свист, и даже почтенные люди аплодировали, когда актер произносил какую-нибудь антимонархическую сентенцию или делал намек, направленный против Помпея. Когда ожидалась высылка Цицерона, множество граждан — будто бы 20 тыс., — главным образом принадлежащих к среднему классу, по примеру сената, облачились в траур. «Нет ничего теперь более популярного, — говорится в одном письме того времени, — чем ненависть к партии популяров».

Властители стали намекать на то, что из-за этой оппозиции всадники могут лишиться своих отдельных мест в театре, а простой народ — хлебного пайка; после этого недовольные стали, может быть, несколько осторожнее в проявлении своей досады, но настроение осталось прежним. С большим успехом было использовано могущественное орудие — материальная заинтересованность. Золото Цезаря лилось рекой. Мнимые богачи с расстроеным состоянием, влиятельные, но стесненные в деньгах дамы, задолжавшие молодые аристократы, запутавшиеся в делах купцы и банкиры либо сами отправлялись в Галлию, чтобы зачерпнуть из самого источника, либо обращались к столичным агентам Цезаря; очень редко бывало, чтобы приличный по внешности проситель (Цезарь избегал сношений с окончательно опустившейся чернью) оставался неудовлетворенным. Известную пользу принесли и громадные постройки, предпринятые Цезарем на свой счет в столице; множество людей всех сословий — от консуляров до простых носильщиков — получили возможность заработка; таким же подспорьем были и несметные суммы, затрачиваемые на народные увеселения. Так же поступал и Помпей, но в более ограниченном масштабе; ему столица была обязана постройкой первого каменного театра, и он отпраздновал его открытие с неслыханным великолепием. Что подобные затраты до известной степени примирляли многих оппозиционно настроенных граждан, особенно в столице, само собой понятно, но несомненно и то, что ядро оппозиции и теперь оставалось недоступным этой системе подкупа. С каждым днем становилось все яснее, как глубоко внедрился в народе существующий государственный строй, как мало склонялись к монархии слои, стоящие дальше от партийных происков, — в особенности население сельских городов*, — и как мало они были расположены хотя бы терпеливо перенести монархический переворот.

Если бы Рим имел представительное правление, недовольство граждан, естественно, отразилось бы на результатах выборов и, раз проявившись, все возрастало бы; при данных же обстоятельствах сторонникам существующего государственного строя оставалось только подчиниться руководству сената, который, несмотря на состояние

* *Municipia rusticana*.

полного упадка, все еще был представителем и защитником законной республики. Положение дел, таким образом, привело к тому, что сенат именно теперь, когда он был низвергнут, увидел в своем распоряжении большую и более преданную ему армию, чем в то время, когда, величественный и могущественный, он сам сверг Гракхов и, опираясь на меч Суллы, возродил государство. Аристократия поняла это и снова зашевелилась. В эту минуту Марк Цицерон, дав обещание примкнуть в сенате к послушной властителям партии не только не участвовать больше в оппозиции, но по мере сил и возможности действовать в пользу властителей, получил от них разрешение вернуться. Хотя этим поступком Помпей как будто невзначай сделал уступку олигархии и прежде всего рассчитывал сыграть ловкую шутку с Клодием, а затем приобрести в красноречивом консуляре послушное оружие, ставшее более гибким от полученных им ударов, тем не менее это дало повод многим вспомнить о том, что если изгнание Цицерона было демонстрацией против сената, то его возвращение следует использовать для республиканских демонстраций. Оба консула, охраняемые, впрочем, от клодиевых приверженцев шайкой Тита Анния Милона, после соответствующего сенатского постановления в возможно более торжественной форме предложили гражданам разрешить консуляру Цицерону вернуться, а сенат просил всех преданных существующему государственному строю граждан непременно участвовать в голосовании. В назначенный для этого день (4 августа 697 г.) в Рим действительно собралось из сельских городов невиданное количество почтенных граждан. Проезд Цицерона от Брундизия до столицы дал повод к целому ряду таких же, не менее блестящих проявлений общественного мнения. Новый союз сената с верными конституции гражданами был, таким образом, как бы публично провозглашен, и последним был сделан смотр, поразительно удачные результаты которого немало способствовали поднятию упавшего духа аристократии. Беспомощность Помпея перед лицом этих дерзких демонстраций и недостойное, почти смешное положение, в котором он оказался по отношению к Клодию, лишили его и коалицию прежнего доверия. Та часть сената, которая была ей предана, деморализованная редкой неловкостью Помпея и предоставленная самой себе, не могла помешать республиканско-аристократической партии снова приобрести решающее значение в коллегии. Новая игра, затеянная этой партией, тогда (697 г.) еще не могла быть названа безнадежной, особенно в руках искусного и смелого игрока. Она имела теперь то, чего не доставало ей в течение целого столетия, — крепкую опору в народе; если бы она могла довериться ему и поверить в свои собственные силы, то могла бы самым кратким и почетным путем достигнуть цели. Почему бы ей не пойти против властителей с поднятым забралом? Почему бы какому-нибудь решительному и видному человеку, став во главе се-

ната, не упразднить чрезвычайной власти как незаконной и не призвать всех республиканцев Италии к оружию против тиранов и их сообщников? Этим путем можно было бы еще раз восстановить господство сената. Республиканцы, конечно, затеяли опасную игру, но, может быть, и здесь, как часто бывает, самое смелое решение было бы и самым разумным. Однако дряблая аристократия в то время вряд ли была еще способна принять такое простое и отважное решение. Был и другой путь, может быть, еще более верный, во всяком случае больше соответствующий свойствам и характеру этих сторонников существующего государственного строя: они могли добиваться того, чтобы разъединить обоих правителей и, опираясь на этот разлад, стать у кормила правления. Отношения между лицами, руководившими государством, изменились и ослабели с тех пор, как Цезарь властно выдвинулся рядом с Помпеем и заставил его добиваться новой власти; если бы ему удалось приобрести ее, возможно, что дело дошло бы тем или иным образом до разрыва между ними и до борьбы. Если бы во время этой борьбы Помпей остался один, в его поражении едва ли можно было сомневаться, и в этом случае по окончании борьбы конституционная партия оказалась бы подвластной не двум повелителям, а одному. Если бы нобилитет употребил против Цезаря то средство, опираясь на которое он сам одерживал до сих пор победы, и вступил в союз с его более слабым соперником, то с таким полководцем, как Помпей, с такой армией, как конституционная партия, победа, по всей вероятности, оказалась бы на их стороне, а после этой победы справиться с Помпеем, доказавшим свою политическую бездарность, было бы не очень трудно.

Обстоятельства привели к тому, что соглашение между Помпеем и республиканской партией стало близким для обеих сторон; вопрос о том, состоится ли это сближение, а также, как сложатся до тех пор совершенно не ясные отношения между обоими правителями и аристократией, должен был решиться, когда осенью 697 г. Помпей внес в сенат предложение облечь его чрезвычайными полномочиями.

Он мотивировал это тем же, на чем 11 лет назад основал свое могущество: он указал, что цены на хлеб в столице, так же как перед законом Габиния, чрезмерно поднялись. Были ли они искусственно подняты особыми махинациями, виновником которых Клодий называл то Помпея, то Цицерона (они же указывали на него), — неизвестно; все еще продолжавшееся пиратство, пустота государственной казны, небрежный и беспорядочный надзор правительства за подвозом хлеба — всего этого и без политических спекуляций было вполне достаточно для того, чтобы вызвать вздорожание хлеба в громадном городе, почти исключительно зависевшем от заморского импорта. В план Помпея входило получить от сената верховный надзор за хлебом и другим продовольствием на всей территории Римского госу-

дарства и с этой целью приобрести право, с одной стороны, неограниченно распоряжаться государственной казной, а с другой — руководить армией и флотом. Власть его должна была не только простирается на все Римское государство, но в каждой провинции ему должна была быть подчинена и власть наместника, одним словом, он задумывал улучшенное издание габиниева закона, к чему еще должно было присоединиться и главное руководство намечавшейся тогда войной с Египтом, так же как поход против Митридата был соединен с усмирением пиратов. Как ни усилилась в последние годы оппозиция против новых династов, когда этот вопрос поступил в сентябре 697 г. на обсуждение сената, большинство сенаторов находилось еще под впечатлением того страха, который нагнал на них Цезарь. Оно послушно приняло это предложение в принципе, следуя совету Марка Цицерона, который должен был дать в этом деле первое доказательство уступчивости, усвоенной им в изгнании. Однако при выработке подробностей в первоначальном плане, представленном народным трибуном Гаем Мессием, были сделаны существенные урезки. Помпею не было дано ни свободного распоряжения казной, ни собственных легионов и кораблей, ни власти над наместниками; для приведения в порядок столичного продовольствия ему только были даны на следующие пять лет значительные суммы, 15 адъютантов и полная проконсульская власть по всем продовольственным вопросам, причем этот декрет должен был быть утвержден гражданами. Чрезвычайно разнообразны были причины, способствовавшие изменению первоначального плана, почти равносильному его отклонению. Повлияло тут и нежелание раздражать Цезаря, так как наиболее трусливые не осмеливались назначить магистрата, который имел бы даже в Галлии не только равные, но даже большие полномочия, чем Цезарь; далее — тайная оппозиция старого врага и невольного союзника Помпея — Красса, которого Помпей считал, или, по крайней мере, называл главным виновником неудачи этого плана; отрицательное отношение республиканской оппозиции в сенате к каждому предложению, существенно или даже в принципе расширявшему власть правителей; наконец и прежде всего, неспособность Помпея, который даже тогда, когда он должен был бы действовать, не мог себя заставить действовать, а, наоборот, как всегда, прячась за свое инкогнито, предоставлял своим друзьям выполнять свои намерения, объявляя с обычной для него скромностью, что сам он довольствовался бы и меньшим. Неудивительно, что его поймали на слове и дали ему как можно меньше.

Несмотря на это, Помпей был рад и тому, что для него нашлась серьезная работа и в особенности приличный предлог, чтобы покинуть столицу; ему действительно удалось, хотя это тяжело отозвалось на провинциях, обеспечить ей обильный и дешевый подвоз. На-

стоящей же своей цели он все-таки не достиг — титул проконсула, который он имел право принимать во всех провинциях, оставался пустым звуком, пока в его распоряжении не было собственных войск.

Ввиду этого он вскоре внес в сенат второе предложение — чтобы ему было поручено вернуть на родину изгнанного египетского царя, если потребуется, силой оружия. Но чем яснее было, до какой степени он нуждался в помощи сената, тем неуступчивее и невнимательнее относились сенаторы к его просьбам. Прежде всего, в сивиллиных оракулах было открыто, что посылать римские войска в Египет безбожно; ввиду этого набожный сенат почти единогласно решил воздержаться от вооруженного вмешательства. Помпей был так унижен, что взял бы на себя поручение и без войска, но по своей неисправимой дипломатичности он и это заявление поручил своим друзьям; сам же и говорил и подавал голос за посылку другого сенатора. Конечно, сенат отверг это предложение, святотатственно подвергавшее опасности столь драгоценную для отечества жизнь. Окончательным результатом бесконечных переговоров было решение вообще не вмешиваться в египетские дела (январь 698 г.).

Повторяющиеся отказы, которые Помпей встречал со стороны сената и, что было еще хуже, должен был молча переносить, конечно, являлись в глазах широкой публики, откуда бы они ни исходили, победами республиканцев и поражениями правителей; волна республиканской оппозиции поэтому все усиливалась. Уже выборы на 698 г. были лишь отчасти благоприятны династам: выставленные Цезарем кандидаты в преторы Публий Ватиний и Гай Альфий были провалены, а два явных сторонника свергнутого правительства Гней Лентул Марцеллин и Гней Домиций Кальвин были избраны: первый — консулом, второй — претором. На 699 г. выступил кандидатом в консулы даже Луций Домиций Агенобарб, избранию которого трудно было помешать благодаря тому влиянию, которое он имел в столице, и громадному богатству, хотя было известно, что он не удовлетворится скрытой оппозицией. Комиции тоже бунтовали, а сенат их поддерживал. Он торжественно обсуждал заключение, данное по его требованию авторитетными этрусскими прорицателями по поводу некоторых знамений и чудесных явлений. Небесное откровение возвестило, что благодаря раздору в среде высших сословий вся власть над армией и финансами грозит перейти к одному властителю и что государство может утратить свободу; казалось, боги намекали именно на предложение Гая Мессия.

Вскоре после этого республиканцы спустились с небес на землю. Закон о территории Капуи и остальные законы, изданные Цезарем в его консульство, упорно объявлялись ими недействительными; еще в декабре 697 г. в сенате было заявлено, что их следует кассировать ввиду неправильности их формы. 6 апреля 698 г. в собрании сената

консуляр Цицерон предложил поставить 15 мая на обсуждение вопрос о раздаче земель в Кампании. Это было настоящим объявлением войны, тем более знаменательным, что оно исходило от одного из тех людей, которые только тогда обнаруживают свой настоящий образ мыслей, когда они знают, что это вполне безопасно. Аристократия, очевидно, считала, что наступило время борьбы, но не с Помпеем против Цезаря, а против тирании вообще. Нетрудно было догадаться, что произойдет после этого. Домиций не скрывал, что, став консулом, он намерен немедленно предложить гражданам отозвать Цезаря из Галлии. Аристократическая реставрация была в действии; нападка по вопросу о капуанской колонии нобилитет бросил вызов властителям.

Хотя Цезарь изо дня в день получал обстоятельные донесения о событиях в столице, а когда военные сообщения ему это сколько-нибудь позволяли, следил за ними еще внимательнее из своей южной провинции, он все-таки до этого момента открыто не вмешивался в них. Но теперь ему и его товарищам, а главным образом ему, объявляли войну; он должен был действовать и сделал это немедленно. Он как раз находился поблизости; аристократия даже не считала нужным подождать с разрывом, пока он снова не уйдет за Альпы. В начале апреля 698 г. Красс покинул столицу, чтобы договориться со своим более могущественным товарищем; Цезаря он застал в Равенне. Оттуда они оба отправились в Луку, где с ними встретился и Помпей, уехавший из Рима вскоре после Красса (11 апреля) под предлогом отправки хлебных транспортов из Сардинии и Африки. Наиболее известные приверженцы властителей, как, например, проконсул Ближней Испании Метелл Непот, пропретор Сардинии Аппий Клавдий и многие другие, последовали за ними; 120 ликторов, больше 200 сенаторов присутствовали на этом съезде; он представлял собой новый монархический сенат в противоположность республиканскому сенату. Во всех вопросах решающее слово принадлежало Цезарю. Он воспользовался этим, чтобы восстановить и укрепить существовавшее уже совместное правление, положив в его основу более равномерное распределение власти. Наиболее важные в военном отношении наместничества, находившиеся на одном уровне значимости с наместничеством в Галлии, были отданы его соправителям; наместничество в обеих Испаниях — Помпею, в Сирии — Крассу, причем эти должности должны были быть закреплены за ними народным постановлением на пять лет (700—704) и соответственным образом обставлены в военном и финансовом отношении. Цезарь же за это потребовал продления своих полномочий, истекавших в 700 г., до конца 705 г., а также права увеличить свое войско до 10 легионов и возложить на государственную казну уплату жалования самовольно набранным им войскам. Помпею и Крассу было обеспечено вторичное консульство

на следующий (699) год, пока они не отправятся в свои наместничества, а Цезарь пожелал после окончания срока своего наместничества в 706 г., когда истечет требуемый законом десятилетний промежуток между двумя консульствами, вторично получить в свои руки высшую власть. Тот военный оплот, в котором Помпей и Красс тем более нуждались для приведения в порядок столичных дел, тем более что первоначально назначенных для этого легионов Цезаря уже нельзя было отозвать из Трансальпинской Галлии, они нашли в легионах, которые обязаны были набрать для испанской и сирийской армий с тем, чтобы отправлять их из Италии в различные места назначения по своему усмотрению. Главнейшие вопросы, таким образом, были решены; второстепенные задачи, например установление тактики по отношению к столичной оппозиции, составление списка кандидатур на следующие годы и т. д., заняли не очень много времени. Личные счеты, мешавшие соглашению, с обычной легкостью были улажены великим мастером по части посредничества, который заставил сблизиться между собой самые противоположные элементы. Между Помпеем и Крассом, по крайней мере с виду, было установлено товарищеское соглашение. Даже Публию Клодию с его шайкой было приказано сидеть смиренно и впредь не беспокоить Помпея, что было вовсе не величайшим чудом великого чародея.

Обстоятельства показывают, что разрешение очередных вопросов произошло не благодаря компромиссу между самостоятельными и равноправно конкурирующими властителями, а только благодаря воле Цезаря. Помпей в Луке находился в положении беглеца, лишённого власти и просящего помощи у своего противника. Цезарь мог отвернуться от него и объявить коалицию расторгнутой или же пойти ему навстречу и дать союзу возможность существовать и дальше, — так или иначе Помпей был политически уничтожен. Если бы он в данном случае не порвал с Цезарем, то стал бы бессильным клеветником своего союзника. Если бы, наоборот, этот разрыв состоялся и (что мало вероятно) Помпей был бы еще в состоянии осуществить коалицию с аристократией, этот вынужденный и лишь в последнюю минуту заключенный союз противников был бы так мало опасен, что Цезарь вряд ли пошел бы на известные уже нам уступки, чтобы предотвратить заключение этого союза. Наконец, серьезное соперничество Красса с Цезарем было совершенно немыслимо. Трудно сказать, какие мотивы заставили Цезаря отказаться от первой роли и добровольно отдать своему сопернику то, в чем он ему отказал даже при заключении союза в 694 г., и чего тот с тех пор тщетно добивался помимо Цезаря, даже против его воли, с явным намерением вредить ему, — вторичное консульство и военную власть. Во всяком случае не один только Помпей был поставлен во главе войска, но и старинный его враг и давнишний союзник Цезаря Красс; и несомненно, Красс

получил свои большие военные полномочия только в противовес новой власти Помпея. Тем не менее Цезарь потерял бесконечно много, в то время как его соперник сменил безвластие на важный военный пост. Возможно, что Цезарь еще не вполне считал себя господином своих воинов, еще не мог повести их на борьбу с официальными властителями страны; поэтому-то ему было важно не допускать своего отозвания из Галлии, что заставило бы его сейчас же начать междоусобную войну; но решение вопроса, быть ли теперь гражданской войне или нет, зависело тогда гораздо больше от столичной оппозиции, чем от Помпея. Настоящей причиной того, что Цезарь не захотел открыто порвать с Помпеем, чтобы этим не одобрить оппозицию, могло быть именно это соображение, а не простое желание сделать ему ряд уступок. Могли тут повлиять и чисто личные мотивы; возможно, что Цезарь вспомнил, как сам когда-то стоял против Помпея, такой же беспомощный и лишенный власти, и был спасен от гибели только отступлением Помпея, вызванным, конечно, скорее слабостью его духа, чем великодушием; вероятно, Цезарь также боялся причинить боль любимой дочери, искренно любившей своего мужа, — его душе были доступны и такие чувства наряду со стремлениями государственного человека. Однако решающей причиной были все же соображения, касающиеся Галлии. Цезарь (в противоположность его биографам) смотрел на покорение Галлии не как на второстепенное предприятие, полезное ему для приобретения короны; в его глазах от этого зависели внешняя безопасность и внутренняя реорганизация отечества, одним словом, все будущее этого отечества. Для того, чтобы беспрепятственно завершить покорение этой страны и не брать в свои руки немедленно же трудное дело распутывания сложных обстоятельств в Италии, он, не раздумывая, отказался от своего превосходства над соперником и предоставил Помпею достаточную власть, чтобы справиться с сенатом и его сторонниками. Было бы большой политической ошибкой, если бы Цезарь не желал ничего, кроме возможности скорее стать римским монархом; но честолюбие этой редкой натуры не ограничивалось достижением такой ничтожной цели, как обладание короной. Он отдавал себе отчет в том, что он в силах выполнить одновременно две одинаково грандиозные работы: установить порядок во внутренних делах Италии, и приобрести и закрепить новую и девственную почву для итальянской цивилизации. Обе эти задачи, естественно, мешали одна другой: галльские завоевания Цезаря скорее препятствовали, чем помогали ему на пути к престолу. Горькие плоды принес ему замысел отсрочить до 706 г. итальянскую революцию, которую он мог произвести в 698 г. Но как государственный человек и полководец Цезарь был смелый игрок, который, полагаясь на себя и презирая противников, давал им в игре шаг вперед, иногда даже несколько.

Аристократии теперь нужно было показать на деле свою силу и так же отважно вести борьбу, как отважно она ее объявила. Но нет более плачевного зрелища, чем трусливые люди, вынужденные на свою беду принять твердое решение. Оказалось, что заранее ни о чем не позаботились; никому как будто и в голову не приходило, что Цезарь может оказать противодействие, что, наконец, Помпей и Красс могут опять с ним объединиться и даже теснее прежнего. Это кажется невероятным и может быть понято, только если приглядеться к личностям, руководившим в то время конституционной оппозицией в сенате. Катон был еще в отсутствии*; наиболее влиятельным членом в сенате был в ту пору Марк Бибул, герой пассивной оппозиции, самый упрямый и тупой из всех консуляров. За оружие взялись как будто лишь для того, чтобы отложить его в сторону чуть только противник взялся бы за меч; одной вести о совещаниях в Луке было достаточно, чтобы уничтожить даже мысль о серьезной оппозиции и вернуть массу трусливых людей, т. е. громадное большинство сената, к верноподданническим чувствам, утерянным ими в неудачный момент. О предполагавшемся рассмотрении вопроса о легальности юлиевых законов больше не было и речи; содержание легионов, самовольно организованных Цезарем, было по постановлению сената возложено на государственную казну; попытки отнять у Цезаря обе Галлии или хотя бы одну, сделанные при распределении проконсульских провинций на ближайший год, были отклонены большинством (конец мая 698 г.). Таким-то образом всенародно каялась сенатская коллегия. Смертельно напуганные своей смелостью, потихоньку являлись один за другим эти господа, чтобы мириться и обещать свое безусловное повиновение. Никто так быстро не сделал этого, как Марк Цицерон, который слишком поздно раскаялся в том, что нарушил слово, и о своем прошлом говорил в выражениях скорее метких, чем лестных**. Конечно, сопративители дали себя уговорить; никому не было отказано в прощении, так как ни для кого не стоило делать исключений. Чтобы убедиться в том, как внезапно изменилось настроение аристократических сфер после известия о решениях съезда в Луке,

* Катона еще не было в Риме, когда Цицерон 11 марта 698 г. произнес свою речь за Сестия (*Pro Sest.*, 28, 60) и когда вследствие постановлений совещания в Луке в сенате рассматривался вопрос о легионах Цезаря (*Plut.*, *Caes.*, 21); только в начале 699 г. мы снова видим его в сенате, и, так как он выехал зимой (*Plut.*, *Cat. min.*, 38), то, значит, он вернулся в Рим в конце 698 г. Он поэтому не мог в феврале 698 г. защищать Милона, как это ошибочно заключают из Аскония (стр. 35, 53).

** «*Me asinum germanum fuisse*» («Я был донодлиным ослом») (*Ad Att.*, 4, 5, 3).

достаточно сравнить выпущенные незадолго до этого брошюры Цицерона с новым сочинением, где он отрекался от прежних взглядов, подчеркивая свое раскаяние и благие намерения*.

Теперь правители могли наладить в италийских делах тот порядок, который им был желателен, и могли это сделать основательнее, чем когда-либо. Италия и столица действительно получили армию, хотя и не призванную еще к оружию; во главе ее стал один из правителей. Из тех войск, которые были набраны Крассом и Помпеем для Сирии и Испании, первые действительно отправились на Восток; обеими же испанскими провинциями, по приказу Помпея, управляли подчиненные ему военачальники с помощью стоявших там войск, а офицеров и солдат новых легионов, будто бы набранных для отсылки в Испанию, Помпей уволил в отпуск и остался с ними в Италии. Правда, противодействие общественного мнения возрастало по мере того, как массы все яснее стали понимать, что правители хотят покончить со старой конституцией и по возможности мягкими методами приспособить существующие формы правительства и администрации к условиям монархии; но вместе с тем все повиновались, потому что другого исхода не было. Важнейшие вопросы, главным образом те, которые относились к военному делу и внешним сношениям, разрешались без обсуждения в сенате то посредством народного постановления, то просто по усмотрению правителей. Решения, принятые в Луке, касавшиеся назначения высшего военного командования, были непосредственно внесены в народное собрание: относительно Галлии — Крассом и Помпеем, относительно Испании и Сирии — народным трибуном Гаем Требонием, и в прежнее время часто более значительные наместничества замещались по постановлению народного собрания. Что властители вовсе не нуждались в согласии правительства в вопросе об увеличении войск, ясно показал Цезарь; равным образом они мало задумывались, заимствуя друг у друга войска; так, например, Цезарь прибегнул к товарищеской помощи Помпея для галльской войны, Красс — к помощи Цезаря для парфянской войны. С транспаданцами, имевшими по существующему законодательству лишь латинские права, Цезарь во время своего управления фактически об-

* Этот характер имеет уцелевшая речь по вопросу о провинциях, назначавшихся консулам 699 г. Она была произнесена в конце мая 698 г.; противоположность ей составляют речи за Сестия и против Ватиния и по делу об отзыве, представленном этрусскими прорицателями, произнесенные в марте и апреле — в них аристократический режим превозносится изо всех сил, а с Цезарем оратор обходится очень пренебрежительно. Понятно, что Цицерон, по его собственному признанию (*Ad Att.*, 4, 5, 1), постыдился прислать даже своим ближайшим друзьям этот документ, свидетельствующий об его покорности.

ращался как с полноправными римскими гражданами*. Хотя в других случаях для внутреннего устройства вновь приобретаемых территорий учреждалась сенатская комиссия, Цезарь организовал свои обширные завоевания в Галлии исключительно по своему усмотрению и основал, например, без каких-либо особых полномочий, колонии граждан, как *Novum Comum* (Комо) с 5 тыс. колонистов. Пизон вел фракийскую войну, Габиний — египетскую, Красс — парфянскую, не спрашивая разрешения у сената, даже не отдавая ему, как это было принято, отчета; точно так же триумфы и другие почести разрешались и воздавались без всяких знаков внимания к сенату. Тут, по-видимому, сказывается не одно только пренебрежение к формальностям, которое тем труднее объяснить, что в большинстве случаев нельзя было и ждать противодействия со стороны сената. Вернее всего, тут был тонкий расчет — вытеснить сенат из военной сферы и высшей политики и ограничить его участие в правлении финансовыми вопросами и внутренними делами. Противники хорошо понимали это

* Прямых свидетельств об этом нет. Но чтобы Цезарь из латинских общин, т. е. из большей части своей провинции, вообще не набирал себе солдат, само по себе является невероятным и опровергается тем, что противная партия, умаляя значение набранного Цезарем войска, говорит о его солдатах как происходящих «большею частью родом из транспаданских колоний» (*Caesar*, В. с., 3, 87). Здесь, очевидно, подразумеваются латинские колонии Страбона (*Ascon.*, In *Pison.*, p. 3; *Sueton*, *Caes.*, 8). В галльской армии Цезаря мы не находим и следов существования латинских когорт, наоборот, по его собственному свидетельству, рекруты, набранные им в Цизальпинской Галлии, были причисляемы к легионам или прямо включались в них. Может быть, Цезарь соединял с представлением общиной рекрутов дарование ей гражданских прав, но гораздо вероятнее, что в этом отношении он скорее твердо держался точки зрения своей партии, которая не столько старалась доставить транспаданцам право римского гражданства, сколько считала это право уже принадлежащим им по закону (стр. 168); лишь так мог возникнуть слух, будто Цезарь сам ввел в транспаданских общинах римское муниципальное устройство (*Cicero*, *Ad Att.*, 5, 3, 2; *Ad fam.*, 8, 1, 2). Таким же образом объясняется, почему Гирций называет транспаданские города «колониями римских граждан» (В. г., 8, 24) и почему Цезарь относился к основанной им колонии Кома (*Comum*) как к колонии граждан (*Sueton*, *Caes.*, 28; *Strabo*, 5, 1, p. 213; *Plutarch*, *Caes.*, 29), тогда как умеренная партия аристократии признавала за этой общиной лишь то же право, как и в остальных транспаданских общинах, т. е. право латинское, крайняя же партия вообще отрицала законность дарованного переселенцам городского права и не признавала за жителями Кома и тех привилегий, которые были связаны с исполнением латинской муниципальной должности (*Cicero*, *Ad Att.*, 5, 11, 2; *Appian*, В. с., 2, 26). Ср. «Hermes», 16, 30.

и, как могли, протестовали против этих действий властителей путем сенатских постановлений и уголовных обвинений. В то время как властители отстранили сенат в главных вопросах, они и теперь прибегали к менее опасным для них народным собраниям, — были только приняты меры, чтобы хозяева улицы не чинили препятствий хозяевам государства; однако во многих случаях обходились и без этой пустой формальности и прибегали к явно автократическим формам. Униженный сенат должен был волей или неволей примириться со своим положением. Вождем послушного большинства был Марк Цицерон. Он годился для этой роли, так как обладал адвокатским умением находить для всего основания или по крайней мере слова; чисто цезаревская ирония проявилась в том, что тот самый человек, при помощи которого аристократия большей частью проводила свои демонстрации против властителей, был теперь поставлен во главе раболепного большинства. За свои непродолжительные попытки идти против течения он получил прощение после того, конечно, как убедились в полной его покорности. Очутившись как бы в роли заложника, его брат должен был взять место офицера в галльской армии, а его самого Помпей заставил принять второстепенный пост в своей армии, что давало ему возможность в любой момент выслать его. Хотя Клодию и было приказано впредь оставить Цицерона в покое, однако Цезарь так же мало был расположен уничтожить Клодия из-за Цицерона, как губить Цицерона в угоду Клодию; в главной квартире при Самаробриве, соперничая друг с другом, дежурили в передней великий спаситель отечества и не менее великий борец за свободу; недоставало, к сожалению, римского Аристофана, чтобы изобразить их обоих. Над головой Цицерона не только всегда был занесен бич, который уже однажды так больно поразил его, на него были наложены золотые оковы. При его запутанных финансах Цицерону очень на руку были беспроцентные ссуды Цезаря и участие в надзоре за тратой несметных сумм на его постройках; не одна бессмертная сенатская речь замирала на устах Цицерона при мысли об его обязанностях управителя делами Цезаря, который по окончании заседания мог предъявить к уплате свой вексель. Он дал себе слово — не говорить впредь о праве и чести, а стараться приобрести милость правителей и «быть гибким, как тонкий краешек уха». Им пользовались в тех случаях, когда он мог быть полезен, его пускали в ход как адвоката, и ему неоднократно приходилось по приказанию свыше защищать своих самых лютых врагов, и в особенности в сенате, где ему регулярно приходилось служить орудием династов и вносить предложения, «которым сочувствовали другие, но не он сам». Как признанный вождь послушного большинства он приобрел даже известное политическое значение. Такие же, как и к Цицерону, приемы применялись к дру-

гим членам правящей коллегии, на которых действовали запугивание, лесть и золото, и, таким образом, удавалось держать сенат в повиновении.

Однако уцелела еще одна фракция противников, оставшихся верными своим принципам, которых нельзя было ни запугать, ни склонить на свою сторону. Властители убедились, что исключительные меры, вроде тех, которые были применены к Катону и Цицерону, больше вредили, чем помогали делу, что лучше иметь неудобную республиканскую оппозицию, чем создавать из своих противников мучеников за республику. Поэтому Катону разрешено было вернуться (конец 698 г.), и он снова, часто с опасностью для жизни, в сенате и на форуме создавал оппозицию против правителей, которая, конечно, была очень похвальна, но в то же время, к сожалению, и очень смешна. Катону не помешали опять довести дело до потасовки на форуме по поводу предложений Требония и внести в сенат предложение выдать проконсула Цезаря узипетам и тенктерам за его вероломные действия против этих варваров. Стерпели и то, что Марк Фавоний, игравший при Катоне роль Санчо Пансы, после принятия сенатом решения содержать цезаревы легионы на государственный счет бросился к дверям курии и сообщил уличной толпе, что отечество в опасности; стерпели и то, что Фавоний в своем обычном шутовском тоне назвал белую повязку, которую Помпей носил на больной ноге, диадемой, перенесенной на другое место; и то, что консуляр Лентул Марцеллин в ответ на рукоплескания посоветовал собранию побольше пользоваться теперь правом выражать свое мнение, так как это еще не запрещено; и то, что народный трибун Гай Атей Капитон по случаю отбытия Красса в Сирию предал его, по всем правилам тогдашнего богословия, во власть злым духам. Все это были праздные демонстрации раздраженного меньшинства, но та небольшая партия, откуда исходило это раздражение, имела некоторое значение отчасти потому, что она оказывала поддержку и давала лозунг втайне назревавшей республиканской оппозиции, отчасти же потому, что и сенатское большинство, питавшее в основном такие же чувства по отношению к властителям, она толкала на отдельные оппозиционные решения. В самом деле, большинство чувствовало потребность хоть иногда, хоть во второстепенных вопросах дать волю скрытому недовольству и, как это бывает с людьми, вынужденными раболепствовать, срывать свое недовольство сильными врагами на врагах мелких. Где только было возможно, агентам властителей ставили палки в колеса; Габинию отказали в благодарственном празднестве (698), Пизон был отозван из провинции. Сенат облекся в траур, когда народный трибун Гай Катон задерживал начало выборов на 699 г. до тех пор, пока консул Марцеллин, принадлежавший к конституционной партии, не от-

казался от своего поста. Даже Цицерон, как покорно ни склонялся он перед властителями, выпустил столь же ядовитую, как и бестактную брошюру против тестя Цезаря Пизона. Но и оппозиционные бессильные выходы сенатского большинства и бесплодное противодействие меньшинства лишь яснее показывают, что власть, некогда перешедшая от граждан к сенату, теперь перешла от него к новым соправителям и что сенат представляет собой немногим больше, чем монархический государственный совет. «Ни один человек, — жаловались сторонники свергнутого правительства, — не имеет теперь значения, кроме трех правителей; они всемогущи и заботятся о том, чтобы никто в этом не сомневался; весь сенат точно переродился и повинуетя властителям, наше поколение не доживет до перемены к лучшему». Собственно говоря, это была уже не республика, а монархия.

Несмотря на то, что правители целиком держали в своих руках управление государством, все же была одна сфера политической жизни, до некоторой степени обособленная от управления в узком смысле слова, такая, которую обществу легче было отстаивать, а правителям труднее завоевать: выборы на ординарные должности и суд присяжных. Само собой понятно, что, не подчиняясь непосредственно политике, эти последние везде и особенно в Риме руководились тем духом, который господствовал в государстве. Выборы же должностных лиц в силу закона входили в сферу государственного управления; но в это время государство управлялось, главным образом, лицами, занимавшими экстраординарные магистратуры, и даже людьми без всякого ранга, к тому же высшие ординарные магистраты, если они принадлежали к антимонархической партии, не могли оказывать сколько-нибудь значительное влияние на правительственный механизм; ординарные должностные лица постепенно опускались до роли пешек, в чем с полным основанием признавались наиболее оппозиционные из них, называя себя безвластными статистами, и выборы их превратились в простую демонстрацию. После того как оппозиция, таким образом, была уже совершенно отстранена от настоящей арены борьбы, ее все еще можно было продолжать на выборах и судебных процессах. Правители не жалели усилий, чтобы и здесь остаться победителями. Еще в Луке они составили списки кандидатов для выборов на следующие годы и не оставили неиспользованными ни одного средства, чтобы провести намеченных ими людей. Прежде всего для целей избирательной агитации они щедро раздавали свои деньги. Ежегодно большое число солдат из армии Цезаря и Помпея получало отпуск для того, чтобы в Риме принять участие в голосовании. Цезарь старался, находясь вблизи от Рима, в Верхней Италии, руководить избирательной кампанией и охранять ее. Несмотря на это, цель была лишь отчасти достигнута. Хотя на 699 г., согласно решению,

принятому в Луке, были избраны в консулы Помпей и Красс и устранен единственный стойкий кандидат оппозиции Луций Домиций, однако и этого удалось добиться лишь путем открытого насилия; Катон был ранен, и, кроме того, имели место чрезвычайно неприятные столкновения. На следующих консульских выборах на 700 г., несмотря на все усилия правителей, был действительно избран Домиций, а Катон добился должности претора, между тем как за год до этого, к неудовольствию всех граждан, он был оттеснен клиентом Цезаря Ватинием. Во время выборов на 701 г. оппозиции удалось уличить наряду с другими кандидатами и ставленников правителей в таких недостойных махинациях на выборах, что правителям, скомпрометированным этим скандалом, пришлось от них отказаться. Эти постоянно повторяющиеся тяжелые поражения династов на избирательной арене можно было приписать отчасти невозможности управлять этим заржавевшим механизмом, трудности предугадать случайности выборов, оппозиционному настроению средних классов, а также часто вмешавшимся в дело и своеобразно нарушавшим партийные интересы частным соображениям; но главная причина была другая. В то время руководство выборами принадлежало, главным образом, различным клубам, где группировалась аристократия; система подкупов применялась там в широком масштабе и была отлично организована. Таким образом, та же аристократия, выразителем которой был сенат, верховодила и на выборах; но если в сенате она, негодуя, уступала, то здесь, закулисно, никому не обязанная отчетом, она действовала и голосовала безусловно против правителей. Строгий закон против избирательных махинаций клубов, который Красс как консул заставил утвердить народное собрание, разумеется, несколько не ослабил влияния нобилитета в этой сфере, и выборы, имевшие место в следующие годы, показали это.

Такие же трудности встречали правители со стороны судов присяжных. Решающее значение при тогдашнем их составе наряду с влиятельной и здесь сенатской знатью имел преимущественно средний класс. Установление высокого ценза для присяжных законом, предложенным Помпеем в 699 г., является ярким доказательством того, что главным центром оппозиции против правителей были, собственно говоря, средние слои и что высший финансовый круг и здесь, как везде, оказывался гораздо уступчивее среднего класса. Тем не менее республиканская партия еще не утратила здесь почвы и неустанно преследовала политико-уголовными обвинениями если не самих правителей, то их главных помощников. Эта судебная война велась тем оживленнее, что, по заведенному порядку, роль обвинителей принадлежала сенаторской молодежи, а в молодых людях было, конечно, больше республиканской страсти, свежих дарований и смелого задо-

ра, чем среди пожилых членов сословия. Конечно, суды не были свободны, и, когда правители придавали делу серьезное значение, суд, так же как сенат, не решался им перечить. Ни один из противников не вызывал против себя со стороны оппозиции такого свирепого преследования, почти вошедшего в поговорку, как Ватиний, самый дерзкий и ничтожный из всех ближайших приверженцев Цезаря; но стоило его господину приказать, и Ватиния оправдывали на всех процессах. В то же время обвинения людей, которые, как Гай Лициний Кальв и Гай Азиний Поллион, умели владеть мечом диалектики и бичом насмешки, не оставались бесплодными даже тогда, когда терпели неудачу. Не обходилось дело и без одиночных успехов. Конечно, большей частью эти победы были одержаны над второстепенными личностями, но таким путем был низвергнут и один из наиболее выдающихся и ненавистных приверженцев династов, бывший консул Габиний. В самом деле, непримиримая ненависть аристократии, которая не могла ему простить ни закона о ведении войны против пиратов, ни пренебрежительного отношения к сенату во время его наместничества в Сирии, объединилась против него с негодованием крупных финансистов, в ущерб которым он в Сирии защищал интересы провинциалов, и даже с неудовольствием Красса, рассерженного придирками Габиния при передаче провинции. Его единственным защитником от всех врагов был Помпей, в интересах которого было отстаивать во что бы то ни стало своего самого способного, самого смелого, самого верного адъютанта; но здесь, как везде, Помпей не умел воспользоваться своей властью и заступиться за своих клиентов так, как это делал Цезарь. В конце 700 г. присяжные признали Габиния виновным в вымогательстве и отправили его в изгнание.

Итак, в общем в сфере народных выборов и судов присяжных на долю правителей выпадала незавидная роль. Руководивших здесь деятелей не так легко было выявить и труднее было запугать или подкупить, чем непосредственных агентов правительства. Правители сталкивались здесь, в особенности на выборах, с напряженной силой замкнутой и сгруппировавшейся в кружки олигархии, с которой нельзя было управиться, даже свергнув ее правление, и которую тем более труднее сломить, чем больше она действует исподтишка. Они встречались, далее, в судах присяжных с недоброжелательством средних классов к новому монархическому строю и не могли устранить как это недоброжелательство, так и все порождаемые им затруднения. В обеих этих областях они потерпели ряд неудач; и хотя успехи оппозиции на выборах имели лишь значение демонстраций, потому что правители ведь фактически могли устранить каждого неугодного им магистрата, но уголовные наказания, применяемые оппозицией, лишали их полезных помощников. При сложившихся обстоятельствах пра-

вители не могли ни устранить народные выборы и суды присяжных, ни приобрести власть над ними, и оппозиция, как она ни была стеснена в этой области, в значительной степени удержала за собой полет битвы.

Еще труднее была борьба с оппозицией в той области, где она выступала тем энергичнее, чем больше ее оттесняли от непосредственной политической деятельности, а именно в области литературы. Уже оппозиция в суде была вместе с тем и даже главным образом оппозицией литературной, так как судебные речи постоянно опубликовывались и играли роль политических памфлетов. Еще быстрее и больнее уязвляли стрелы поэзии. Полная энергии аристократическая молодежь и еще более энергичный, может быть, средний класс сельских городов Италии успешно и ревностно вели войну памфлетами и эпиграммами. Плечом к плечу боролись в этой области выдающийся сын сенатора Гай Лициний Кальв (672—706), которого боялись как оратора, памфлетиста и искусного стихотворца, и муниципалы из Кремоны и Вероны — Марк Фурий Бибакул (652—691) и Квинт Валерий Катулл (667—около 700), изящные и меткие эпиграммы которых с быстротой молнии облетали Италию, безошибочно попадая в цель. В литературе того времени бесспорно господствует оппозиционный тон. Эта литература полна злобного презрения к «великому Цезарю», «единственному полководцу», любящему тестю и зятю, которые вместе взятые губят весь мир для того, чтобы дать своим распутным любимцам случай щеголять на улицах Рима, хвастая награбленным имуществом длинноволосых кельтов, при помощи добычи с далеких островов Запада устраивать роскошные пиры и на правах несметно богатых соперников вытеснять честную молодежь из сердец любимых девушек. В стихотворениях Катулла* и в других отрывках литературы того времени сказываются многие черты той гениальной личнопольтической ненависти, той республиканской агонии, задыхающейся в бешеном наслаждении или глубоком отчаянии, которая так мощно

* Дошедшее до нас собрание их полно намеков на события 699 и 700 гг. и, несомненно, было опубликовано в последний из этих двух годов; позднейшим событием, упоминаемым тут, является процесс Ватиния (август 700 г.). Свидетельство Иеронима, будто Катулл умер в 697/698 г., необходимо поэтому уточнить, перенеся дату на несколько лет дальше. Из выражения, что «Ватиний в свое консульство вступает в заговор», ошибочно заключали, что собрание стихотворений появилось лишь после ватиниева консульства (707); но из этого можно только вывести заключение, что, когда оно появилось, Ватиний уже мог рассчитывать в известное время стать консулом, а в 700 г. он уже имел полное основание так думать, потому что его имя, весьма вероятно, было включено в составленный в Луке список кандидатов (*Cicero, Ad Att.*, 4, 86, 2).

проявляется у Аристофана и Демосфена. По крайней мере наиболее пронизательный из трех правителей понял, что нельзя ни презирать эту оппозицию, ни уничтожить ее простым приказом. Цезарь по возможности старался лично привлечь на свою сторону самых крупных писателей. Уже Цицерон в значительной степени встретил снисходительное отношение со стороны Цезаря; наместник Галлии не пренебрег и примирением с Катуллом, происшедшим при посредстве отца Катулла, с которым Цезарь лично познакомился в Вероне; с молодым поэтом, только что осыпавшим могущественного полководца самыми ядовитыми и личными насмешками, он обошелся исключительно ласково. Цезарь проявил гениальность и в том, что перешел в сферу деятельности своих литературных противников; чтобы косвенно опровергнуть всевозможные нападки, он составил и опубликовал подробный отчет о войнах в Галлии, где в удачно придуманном наивном тоне рассказывается публике о необходимости ведения войны и о соответствии ее требованиям конституции. Но только свобода является поэтической и творческой силой; она одна, даже в жалкой карикатуре, даже в предсмертный час воодушевляет бодрые натуры. Все лучшие элементы литературы были и оставались антимонархическими; если сам Цезарь мог вступить на этот путь, не потерпев неудачи, то это объясняется лишь тем, что он все еще тогда лелеял грандиозную мечту о свободном народном государстве, которую он не мог передать ни своим противникам, ни своим приверженцам. Практическая политика безусловно была в распоряжении правителей, а литература — в руках республиканцев*.

* Следующее стихотворение Катулла (29) написано в 699 или 700 г., после экспедиции Цезаря в Британию и до смерти Юлии.

Кто это стерпит, кто не воспротивится,
Когда не вор, не гаер, не похабник он!
Своим добром зовет Мамурра Галлию,
Богатую и дальнюю Британию,
Распутный Цезарь — видишь и потворствуешь!

Так, значит, вор, и гаер, и похабник ты?
А тот надутый, сытый и лоснящийся,
Хозяйничает в спальнях у друзей своих,
Как голубок, как жеребец неезженный.
Распутный Цезарь — видишь и потворствуешь!
Так, значит, правда, гаер, вор, похабник ты?
Затем ли, император знаменитейший,
Ты покорил далекий остров Запада,
Чтоб эта ваша грыжа непотребная
За сотней — сотню расточал и тысячу?
Чудовищная щедрость, невозможная!
Еще ли мало раскидал, растратил он?

Необходимо было серьезно противодействовать этой, хотя и бесильной, но становившейся все более дерзкой и назойливой оппозиции. По-видимому, поводом к этому послужило обвинение Габиния (конец 700 г.). Правители сговорились о том, чтобы установить хотя бы временную диктатуру и с ее помощью провести новые принудительные меры, главным образом, в отношении выборов и судов присяжных. В качестве того из соправителей, которому прежде всего принадлежала власть в Риме и Италии, исполнение этого постановления взял на себя Помпей; поэтому оно и носило отпечаток свойственной ему тяжеловесности решений и действий и его странной неспособности сказать свое слово даже и там, где он хотел и мог приказывать. Уже в конце 700 г. — косвенно и не самим Помпеем — в сенат было внесено требование об установлении диктатуры. Поводом к этому было, очевидно, выдвинуто продолжавшееся в столице хозяйничанье клубов и шаек, которые подкупами и взятками оказывали безусловно чрезвычайно вредное давление на выборы и суды присяжных и сделали в них шумные столкновения постоянным явлением.

Сперва расхитил денежки отцовские,
Потом добычу с Понта и Иберскую.
(Поток золотоносный, знает Таг о ней)
Его ль страшиться Галлам и Британии?
Зачем с негодным нянчиться? Что может он
Еще как не мотать и не похабничать?
Неужели ж для того вы, победители,
Вы, тесть и зять, разбили землю вдребезги?

Мамурра — уроженец Формии, фаворит Цезаря и одно время офицер в его войске в Галлии, незадолго до появления этого стихотворения вернулся в столицу и, вероятно, был занят постройкой своего пресловутого, поражавшего расточительной роскошью мраморного дворца на Целийском холме. Понтийская добыча взята из Митилены, в осаде которой Цезарь принимал участие в 675 г. как офицер в армии наместника Вифинии и Понта; под иберийской добычей, вероятно, подразумеваются богатства, привезенные после наместничества Цезаря в Дальней Испании. Мамурра был, должно быть, тогда в главной квартире, как впоследствии это было в Галлии; слова же «добыча с Понта», вероятно, намекают на время войны Помпея с Митридатом, так как, по словам поэта, Мамурру обогатил не один лишь Цезарь. Невиннее этой ядовитой и болезненно принятой Цезарем насмешки является другое, почти одновременное стихотворение того же поэта (11), которое здесь также можно привести, так как его патетическое введение приводит затем к совсем уже не патетическому сюжету, остроумно высмеивая разных Габиниев, Антониев и т. д., неожиданно попавших из темных закоулков в штаб новых правителей. Нужно припомнить, что это написано было, когда Цезарь боролся на Рейне и Темзе и когда подго-

Нельзя не признать, что этот факт давал возможность правителям оправдать введенные ими исключительные меры. Понятно, однако, что даже раболепное большинство боялось утвердить то, чего не решался требовать сам будущий диктатор. Когда же беспримерная агитация во время выборов консулов на 701 г. вызвала неприятнейшие столкновения, выборы затянулись на год дольше назначенного срока и состоялись в июле 701 г. после семимесячного междуцарствия; Помпей увидел в этом удобный предлог, чтобы указать сенату на диктатуру как на единственное средство если не развязать, то разрубить узел; однако решительный приказ все-таки не был дан. Может быть, он еще долго не был бы дан, если бы на консульских выборах 702 г. против кандидатов, выдвинутых правителями и лично близко стоявших к Помпею и ему преданных — Квинта Метелла Сципиона и Публия Плавтия Гипсея, — не выступил наиболее отважный сторонник республиканской оппозиции Тит Анний Милон.

Одаренный физической храбростью, известным талантом к интриге, способностью делать долги, отличавшийся врожденной и тща-

товлялись экспедиции Красса против парфян, Габиния — в Египет. Поэт, ожидая от одного из правителей вакантного местечка для себя, дает двум из своих клиентов последние поручения перед отъездом:

Фурий ласковый и Аврелий верный!

Вы друзья Катуллу, хотя бы к Инду

Я ушел, где море бросает волны

На берег гулкий...

Иль в страну гиркан и арабов пышных,

К саксам и парфянам, стрелкам из лука,

Иль туда, где Нил Семиустый мутью

Хляби пятнает,

Перейду ли Альп ледяные кручи,

Где поставил знак знаменитый Цезарь,

Галльский Рейн увижу, иль дальних Бриттов

Страшное море.

Все, что пошлет, пережить со мною

Вы готовы. Что ж, передайте милой

На прощанье слов от меня немного,

Злых и последних,

Со своими пусть кобелями дружит!

По три сотни их обнимает сразу,

Никого душой не любя, но печень

Каждому руша.

Только о моей пусть любви забудет!

По ее вине иссушилось сердце,

Как степной цветок, проходящим плугом

Тронутый насмерть.

тельно культивируемой им в себе наглостью, Милон приобрел имя среди авантюристов того времени и рядом с Клодием был одним из самых известных людей, из-за чего между ними возникли смертельная вражда и соперничество. Так как уличный Ахилл был подкуплен правителями и с их согласия снова играл роль крайнего демократа, уличный Гектор, конечно, стал аристократом, а республиканская оппозиция, которая теперь могла бы заключить союз с самим Катилиной, если бы он предложил ей свои услуги, охотно признала Милона своим передовым бойцом во всех схватках. Действительно, немногие успехи, одержанные оппозицией на этом боевом поприще, были делом Милона и его вышколенной банды. Таким образом, Катон и его друзья поддерживали Милона в его домогательстве консульства; даже Цицерон не мог не оказать поддержку этому противнику своего врага, своему старому защитнику; а так как Милон не жалел ни денег, ни насилий, чтобы добиться избрания, оно оказалось обеспеченным. Для правителей это было бы не только новым чувствительным поражением, а настоящей опасностью; можно было заранее предвидеть, что отважный деятель оппозиционной партии не так легко допустит кассацию своего избрания, как Домиций и другие представители более приличной оппозиции.

И вот недалеко от столицы Ахилл и Гектор встретились случайно на Аппиевой дороге; между сопровождавшими их шайками произошла схватка, в которой сам Клодий был ранен мечом в плечо и принужден был укрыться в соседнем доме. Это произошло не по приказанию Милона, но ввиду того что дело зашло уже так далеко и все равно нужно было нести ответственность за происшедшее, Милон решил, что доведенное до конца преступление желательнее и даже менее опасно, чем совершенное лишь наполовину; поэтому он приказал своим людям вытащить Клодия из его убежища и убить его (13 января 702 г.).

Вожди улицы, принадлежавшие к партии правителей, народные трибуны Тит Мунаций Планк, Квинт Помпей Руф и Гай Саллюстий Крисп увидели в этом происшествии удобный повод, чтобы в интересах правителей помешать кандидатуре Милона и провести диктатуру Помпея. Подонки черни, главным образом вольноотпущенники и рабы, потеряли в лице Клодия своего патрона и будущего освободителя; поэтому было нетрудно вызвать желательное возбуждение умов. Когда на форуме торжественно было выставлено на трибуне окровавленное тело и когда были произнесены соответствующие моменту речи, начались беспорядки. В память великого освободителя решено было превратить в пылающий костер то помещение, где собиралась лицемерная аристократия; толпа отнесла тело Клодия в курию и подожгла ее. Затем она двинулась к дому Милона и осаждала его до тех пор, пока шайка Милона не прогнала нападающих тучами стрел. После этого толпа направилась к домам Помпея и его кандидатов на кон-

сульство; первого приветствовала диктатором, остальных консулами и, наконец, добралась до дома «междоуцаря» (interrex) Марка Лепида, на котором лежало руководство выборами. Так как он, следуя закону, не согласился по требованию шумной толпы немедленно же провозвести выборы, его продержали пять дней в осажденном положении.

Однако организаторы этих бурных выступлений переусердствовали. Их повелитель, конечно, решил использовать это выгодное обстоятельство, чтобы не только избавиться от Милона, но и захватить диктатуру в свои руки; все же он хотел ее получить не от толпы оборванцев, а от сената. Помпей стянул войска, чтобы подавить господствующую в столице и действительно невыносимую для всех анархию; в то же время он приказал выполнить то, о чем до сих пор просил, и сенат уступил. Ничтожной уверткой было назначение проконсула Помпея, по предложению Катона и Бибула, не диктатором, а «консулом без коллегии» (25-го числа високосного* месяца 702 г.), что было двойным противоречием**, имевшим целью не называть вещи своими именами, как некогда старая знать допустила предоставление плебейам не консульства, а «консульской власти».

Получив, таким образом, на законном основании полную власть, Помпей взялся за дело и стал еще сильнее действовать в клубах и судах присяжных против республиканской власти. Существующий порядок выборов был подтвержден особым законом, а другой закон, направленный против происков во время выборов, получивший обратную силу в отношении всех проступков этого рода, начиная с 684 г. усилил установленные наказания. Еще важнее было распоряжение, согласно которому наместничества, этот наиболее важный и доходный вид административной деятельности, могли даваться консулам и преторам не тотчас же после ухода их с должности, а лишь через пять лет; это распоряжение могло, конечно, вступить в силу лишь через четыре года, и потому на ближайшее время назначение наместников находилось в зависимости от специальных постановлений сената, т. е. фактически того лица или фракции, которые в то время господствовали в сенате.

Комиссии присяжных были сохранены и впредь, но право отвода было ограничено, и, что пожалуй еще важнее, была уничтожена свобода слова в суде, так как было установлено определенное число адвокатов и каждому дано определенное время для речи; старый обычай, допускаявший в пользу обвиняемого кроме фактических свидетеле-

* В этом году за январем, в котором было 29 дней, и февралем (23 дня) следовал високосный месяц с 28 днями, а затем март.

** «Консул» значит коллега, товарищ; консул же, который в то же время состоял и проконсулом, был, значит, и действительным консулом и исправляющим консульскую должность.

лей еще свидетелей, говоривших об его характере, — так называемые «восхвалители» (laudatores), был отменен. Послушный сенат по указанию Помпея признал, что схватка на Аппиевой дороге имела опасные для отечества последствия; в виде исключительной меры для расследования всех имеющих к ней отношение преступлений была создана особая комиссия, члены которой фактически были назначены самим Помпеем. Была также сделана попытка снова придать серьезное значение власти цензоров и с ее помощью очистить разложившееся гражданство от презренного сброда. Все эти меры проводились силой оружия. Ввиду заявления сената о том, что отечество в опасности, Помпей призвал к оружию всех военнообязанных в Италии и на всякий случай привел их к присяге. Прежде всего на Капитолии был поставлен надежный отряд; каждое оппозиционное выступление Помпей грозил усмирить посредством вооруженной силы, а во время процесса об убийстве Клодия, вопреки всем обычаям, поставил караул в помещении суда.

План восстановления цензуры провалился потому, что в рабочем сенатском большинстве никто не обладал достаточной нравственной силой и авторитетом, чтобы претендовать на такую должность. Зато Милон был осужден присяжными (8 апреля 702 г.), а кандидатура Катона на консульство 703 г. была сорвана. Оппозиция, проявлявшаяся в речах и памфлетах, новый порядок судопроизводства нанес такой удар, от которого она уже никогда не могла оправиться; опасное до этого времени судебное красноречие было, таким образом, вытеснено с политической арены и стало повиноваться монархии. Оппозиция, конечно, не исчезла ни из умов громадного большинства нации, ни из общественной жизни, — для этого нужно было бы не только ограничить народные выборы, суд присяжных и литературу, но и совершенно их уничтожить. Несмотря на все эти события, Помпей, по своей неловкости и несуразности, способствовал тому, что даже во время его диктатуры на долю республиканцев выпало несколько неприятных для него успехов. Тенденциозные меры, принимаемые правителями для усиления своей власти, разумеется, официально провозглашались необходимыми в интересах общественного спокойствия и порядка; заявлялось, что каждый гражданин, не желающий торжества анархии, должен сочувствовать этим мерам. Но эту пустую фикцию Помпей применял так серьезно, что назначил в особую комиссию по делу о последних беспорядках вместо своих надежных клеветов наиболее уважаемых представителей всех партий и даже Катона, употребив его влияние в суде, главным образом, в том смысле, чтобы поддерживать порядок и сделать как для своих приверженцев, так и для противников невозможным повторение привычных в судах того времени скандалов. Эта нейтральность правителя сказалась и в приговорах особого судебного присутствия. Присяжные не

посмели оправдать лишь самого Милона; но большинство второстепенных обвиняемых из рядов республиканской оппозиции были оправданы, между тем как без снисхождения подверглись осуждению те, кто в последних схватках был на стороне Клодия, а значит и правителей; среди них было немало ближайших друзей самого Помпея, даже его кандидат на консульство Гипсей и народные трибуны Планк и Руф, которые руководили уличной свалкой в его интересах. Если Помпей не помешал их осуждению, чтобы казаться независимым от какой-либо партии, то это было нелепостью, как и то, что в самых незначительных делах он нарушал свои же законы в угоду друзьям, выступив, например, в процессе Планка в качестве свидетеля о его характере, а некоторых особенно близких ему людей, например Метелла Сципиона, действительно спас от обвинительного приговора. Теперь, как и всегда, он добился обратного тому, чего хотел: стараясь одновременно исполнять обязанности беспристрастного правителя и главы партии, он не достигал ни той, ни другой цели; в общественном мнении он с полным основанием считался деспотическим правителем, а в глазах своих приверженцев — вождем, который не может или не хочет защищать своих людей.

Между тем, хотя республиканцы еще шевелились и притом, главным образом, благодаря промахам Помпея, хотя изредка отдельные удачи их и одобрялись, все же цель, которую поставил себе правитель, вводя диктатуру, была достигнута, узда крепче стянута, республиканская партия унижена и власть новой монархии упрочена. Народ начинал с ней свыкаться. Когда Помпей поправился после тяжелой болезни, его выздоровление было отпраздновано во всей Италии с проявлениями радости, обычными при таких обстоятельствах в монархических государствах. Правители были удовлетворены: уже 1 августа 702 г. Помпей сложил с себя диктаторскую власть и разделил консульство со своим клиентом Метеллом Сципионом.





Глава IX

Смерть Красса. Разрыв между соправителями

Одной из голов «трехглавого чудовища» долгое время считался Марк Красс, хотя он, собственно, не играл этой роли. Настоящим правителям, Помпею и Цезарю, он служил для установления равновесия, или, вернее сказать, он перетягивал весы на сторону Цезаря против Помпея. Эта роль лишнего коллеги была не очень почетна. Однако страстное честолюбие никогда не мешало Крассу преследовать личную выгоду. Он был купец и допускал, чтобы с ним торговались. Ему предлагали немного, но получить больше было невозможно, и при виде находившихся перед ним груд золота он старался забыть глодавшее его честолюбие и недовольство своим положением человека, столь близкого к власти и все же лишенного ее. Однако совещание в Луке изменило положение дел и для него; чтобы после таких значительных уступок сохранить и впредь перевес над Помпеем, Цезарь дал своему старому союзнику Крассу возможность достигнуть в Сирии посредством войны с парфянами того, чего достиг сам Цезарь благодаря войне в Галлии. Трудно было сказать, возбуждали ли эти новые перспективы больше алчность к золоту, сделавшуюся теперь для шестидесятилетнего старика второй натурой и все сильнее разгоравшуюся с каждым приобретенным им миллионом, или же, скорее, честолюбие, долго с трудом сдерживаемое в груди седовласого старца и теперь всплывшее в ней мрачным пламенем. Он

прибыл в Сирию еще в начале 700 г., не дождавшись даже окончания срока своего консульства для того, чтобы отправиться в путь. Полный торопливой страстности, он, казалось, хотел воспользоваться каждой минутой, чтобы вознаградить себя за потерянное время, прибавить к сокровищам Запада еще и сокровища Востока и добиться власти и славы военачальника так же быстро, как Цезарь, и без труда, как Помпей.

Между тем парфянская война уже началась. О нелояльном отношении Помпея к парфянам уже говорилось выше; он не считался с установленной договором границей по Евфрату и передал ряд парфянских областей Армении, ставшей теперь римским вассальным государством. Царь Фраат примирился с этим; однако после того как он был убит своими двумя сыновьями, Митридатом и Ородом, новый царь Митридат немедленно объявил войну царю Армении Артавазду, сыну незадолго до этого умершего Тиграна (приблизительно в 698 г.*). Это было вместе с тем объявлением войны Риму; поэтому, как только было подавлено восстание иудеев, способный и храбрый сирийский наместник Габиний тотчас же повел легионы за Евфрат. Тем временем в Парфянском царстве произошел переворот; местная знать во главе с юным смелым и даровитым великим визирем свергла царя Митридата и возвела на престол его брата Орода. Ввиду этого Митридат перешел на сторону римлян и отправился в лагерь Габиния. Все сулило предприятию римского наместника большой успех, как вдруг он получил приказ силой оружия водворить египетского царя в Александрии. Он должен был повиноваться. Надеясь скоро вернуться, он стал уговаривать просившего его о помощи низложенного царя Митридата начать тем временем войну на собственный страх и риск. Митридат сделал это и овладел Селевкией и Вавилоном, но Селевкию взял штурмом визирь, один из первых взобравшийся на городскую стену, а в Вавилоне голод заставил сдаться самого Митридата, после чего он был казнен по приказанию своего брата. Его смерть была большой потерей для римлян; но этим не кончилось брожение в Парфянском царстве, армянская война тоже еще продолжалась. После египетского похода Габиний уже собирался воспользоваться благоприятным случаем и возобновить парфянскую войну, но тут прибыл в Сирию Красс, унаследовавший вместе с властью все планы своего предшественника. Полный тщеславных надежд, он недооценивал трудностей похода и особенно силы сопротивления неприятельского войска, с уверенностью говорил не только о покорении парфян, но мысленно завоевал уже Бактрийское и Индийское царства.

* В феврале 698 г. Тигран был еще жив (*Cicero, Pro Sest.*, 27, 59), но Артавазд начал править еще до 700 г. (*Justin*, 42, 2, 4; *Plutarch*, *Crass*, 49).

Новый Александр, однако, не спешил. Прежде чем привести в исполнение свои грандиозные планы, он нашел достаточно времени для очень сложных и выгодных побочных операций; по приказанию Красса, из храма Деркеты в Гиераполе Бамбике, из храма Ягве в Иерусалиме и других богатых святилищ сирийской провинции были изъяты все богатства; от всех подданных требовалось выполнение воинской повинности или же, — еще лучше, денежный выкуп. Военные операции первого лета ограничились обширной разведкой в Месопотамии, римляне перешли Евфрат, разбили парфянского сатрапа близ Ихны (на реке Белике, к северу от Ракки) и заняли ближайшие города, в том числе Nikeforий (Ракка), после чего вернулись в Сирию, разместив всюду гарнизоны. До тех пор оставался нерешенным вопрос о том, идти ли в Парфянское царство окольным путем, через Армению, или же прямой дорогой, по Месопотамской пустыне. Первый путь, проходивший по гористым странам, управляемым союзниками Рима, был наиболее безопасен; царь Артавазд лично прибыл в главную римскую квартиру, чтобы отстаивать этот план похода. Но упомянутая рекогносцировка решила дело в пользу перехода через Месопотамию. Многочисленные цветущие греческие и полугреческие города на Евфрате и Тигре, в особенности мировой город Селевкия, относились безусловно враждебно к парфянскому господству; как некогда граждане Карр, так теперь все греческие города, с которыми римляне соприкасались, доказали на деле свою готовность свергнуть нестерпимое чужеземное иго и встретить римлян как избавителей, почти как соотечественников. Арабский князь Абгар, господствовавший в пустыне от Эдессы до Карр, а в силу этого и над прямой дорогой от Евфрата до Тигра, прибыл в лагерь римлян, чтобы лично заверить их в своей преданности. Парфяне же казались совершенно не подготовленными.

Переход через Евфрат произошел близ Бираджика (701 г.). Оттуда до Тигра можно было добраться двумя путями: либо войско должно было идти вниз по Евфрату до высот Селевкии, где Евфрат и Тигр находились друг от друга на расстоянии всего только нескольких миль, либо немедленно после переправы пересечь кратчайшей линией обширную Месопотамскую пустыню по направлению к Тигру. Первый путь вел прямо к парфянской столице Ктесифону, расположенной как раз против Селевкии на противоположном берегу Тигра; многие из участников римского военного совета подали свой веский голос за этот маршрут, в особенности квестор Гай Кассий Лонгин указывал на трудности похода через пустыню и на получаемые от римских гарнизонов с левого берега Евфрата тревожные известия о военных приготовлениях парфян.

Этому известию противоречило сообщение арабского князя Абгара о том, что парфяне очищают свои западные владения и что будто

бы они уже уложили свои сокровища и двинулись вперед, чтобы искать убежища у гирканов и скифов, и что настигнуть их можно, делая быстрые переходы по кратчайшему пути. Таким же быстрым маршем, вероятно, удастся догнать и уничтожить, по крайней мере, арьергард главной армии, предводительствуемой Силлаком и визирем, и завладеть богатой добычей. Эти сообщения дружественных бедуинов решили вопрос о направлении похода; римское войско, состоявшее из семи легионов, 4 тыс. всадников и стольких же стрелков и метателей копий, удалилось от Евфрата и углубилось в негостепримные равнины северной Месопотамии.

Врага нигде не было видно; только голод, жажда и бесконечная песчаная пустыня, казалось, сторожили у преддверия Востока. Наконец, после многодневного тяжелого перехода, недалеко от первой реки, через которую пришлось переправляться римскому войску, реки Балисс (Белик), показались первые неприятельские всадники. Абгар и его арабы были посланы на разведку; парфянские конные отряды отступили к реке и затем исчезли, преследуемые Абгаром и его воинами. Нетерпеливо ждали римляне его возвращения и более точных известий. Полководец надеялся встретиться, наконец, с вечно отступающим врагом; его сын, молодой и храбрый Публий, сражавшийся с большим успехом в Галлии под начальством Цезаря и отправленный им во главе кельтского конного отряда для участия в парфянской войне, был одушевлен бурным воинственным пылом. Не получая известий, римляне решили идти наудачу; был подан знак к выступлению, Балисс перейден; после краткого недостаточного отдыха безостановочным маршем двинулись дальше. Как вдруг раздались звуки парфянских литавр, со всех сторон развевались шелковые, шитые золотом знамена, под лучами жаркого полуденного солнца сверкали железные шлемы и латы; возле великого визиря стоял князь Абгар со своими бедуинами.

Слишком поздно поняли римляне, в какую ловушку они попали. Опытный взгляд визиря видел опасность и средства ее предотвратить. С восточной пехотой ничего нельзя было сделать против римской линейной пехоты; он избавился от всей этой массы, непригодной для генерального сражения, отправив ее против Армении под личным руководством царя Орода. Таким образом, он помешал царю Артавазду присоединить к войску Красса обещанные 10 тыс. всадников, отсутствие которых Красс теперь так сильно ощущал. Римской пехоте с ее неподражаемой тактикой визирь противопоставил другую тактику, совершенно противоположную. Его войско состояло исключительно из всадников; линейные отряды — из тяжелой конницы, вооруженной длинными копьями; солдаты и лошади были защищены чешуйчатыми панцирями или кожаными нагрудниками и повязками; остальная масса войск состояла из конных стрелков. Те же роды

войск у римлян значительно уступали парфянским как по численности, так и по качеству. Римская линейная пехота, превосходная в тесном бою, действуя на небольшом расстоянии метательным копьем и в рукопашной схватке мечом, не могла, однако, принудить к бою армию, состоявшую исключительно из конницы, а когда она это делала, то встречала в закованных в броню отрядах конных копейщиков равного, если не превосходящего противника. Перед лицом такого войска, как парфянское, римская армия была в стратегически невыгодном положении, так как конница владела путями сообщения; это положение было неудачно и в тактическом отношении, потому что всякое оружие, действующее на близком расстоянии, должно уступить оружию, действующему на далекое расстояние, если только дело не доходит до рукопашной борьбы. Сконцентрированность войск, на которой основывался римский способ ведения войны, усиливала опасность такого нападения; чем теснее спланивалась римская колонна, тем неотразимее был ее натиск, но тем легче попадали в цель метательные орудия. В обыкновенных условиях, когда надо было защищать города и принимать в расчет условия местности, никогда не могла вполне применяться тактика, при которой действует только одна конница против пехоты; но в Месопотамской пустыне, где войско, точно корабль в открытом море, не встречало в течение многодневного похода ни одного препятствия, ни одной стратегической точки опоры, этот способ ведения войны потому был так неотразим, что обстоятельства позволяли применять его здесь во всем его объеме, а значит, во всей его силе. Здесь все обстоятельства складывались против чужеземного пехотинца и в пользу местной конницы. Там, где тяжело вооруженный римский пехотинец с трудом тащился по песку или по степи и на своем бездорожном пути, отмеченном лишь далеко отстоящими друг от друга источниками, погибал от голода и еще больше от жажды, там парфянский всадник, с детства привыкший сидеть на своем быстром коне или верблюде, почти жить на нем, легко мчался по пустыне, трудности которой он давно уже научился уменьшать, а в случае необходимости и преодолевать. Здесь не шел дождь, который умерил бы нестерпимый зной и ослабил бы тетивы и ремни неприятельских стрелков и метателей копий; здесь, в глубоком песке, едва можно было выкопать рвы и насыпать валы для лагеря. Человеческая фантазия вряд ли могла бы придумать положение, в котором до такой степени все преимущества были бы на одной стороне, все невыгоды — на другой.

На вопрос, при каких обстоятельствах возникла у парфян эта новая тактика — первая национальная тактика, в своей природной обстановке превзошедшая римскую, — мы, к сожалению, можем ответить лишь предположениями. Конные копьеносцы и стрелки применялись на Востоке с очень древних времен и составляли ядро войска

еще при Кире и Дарии, но до этого времени этот род войск играл лишь второстепенную роль и употреблялся, главным образом, для прикрытия никуда не годной восточной пехоты. Парфянское войско вовсе не отличалось в этом случае от остальных восточных армий. Известны такие примеры, когда пехота составляла пять шестых всего войска. В походе же Красса конница впервые выступала самостоятельно, благодаря чему она и получала совершенно иное применение и иное значение. Неоспоримое превосходство римской пехоты в рукопашной схватке, по-видимому, надуумило противников Рима, совершенно чуждых друг другу, одновременно и с одинаковым успехом в самых противоположных частях света противопоставить ей конницу и борьбу на расстоянии. То, что вполне удалось Кассивелауну в Британии, отчасти — Верцингеторигу в Галлии, то, что до известной степени пытался сделать Митридат Евпатор, в большем масштабе и с большей полнотой выполнил визирь Орода; особенно полезно было то, что он нашел средство создать из тяжелой кавалерии боевую линию, из национального оружия — лука, которым в особенности в персидских областях владели в совершенстве, — дальнобойное оружие и, наконец, благодаря свойствам страны и народа осуществить свой гениальный замысел в полном его объеме. Здесь, где римское оружие, действовавшее только на близком расстоянии, и римская система концентрации сил впервые были побеждены оружием, действующим на расстоянии, и системой действия развернутым фронтом, подготовился тот переворот в военном деле, который окончательно завершился лишь с введением огнестрельного оружия.

При таких обстоятельствах, среди песчаной пустыни, в 6 милях к югу от Карр (Харан), где стоял римский гарнизон, а в северном направлении несколько ближе к Ихне, произошла первая битва между римлянами и парфянами. Римские стрелки были посланы вперед, но тотчас же отступили вследствие огромного превосходства сил и большей силы и дальности боя парфянских луков. Легионы, выстроенные по обе стороны густым каре из 12 когорт, несмотря на мнение более рассудительных офицеров, советовавших идти против врага по возможности развернутым строем, вскоре были окружены и осыпаны страшными стрелами, которыми парфянские воины, не целясь, попадали в римских солдат и на которые римляне не могли отвечать. Надежда, что неприятель растратит свои запасы стрел, исчезла при одном взгляде на бесконечный ряд нагруженных стрелами верблюдов. Все дальше распространялись парфяне. Для того чтобы натиск не превратился в окружение, Публий Красс с отборным корпусом, состоявшим из всадников, стрелков и линейной пехоты, двинулся для нападения. Неприятель действительно отказался от намерения замкнуть кольцо и отступил, преследуемый необузданным вождем римлян. Когда же увлеченный этой погоней корпус Публия окончательно по-

терял из виду главную армию, тяжелая конница сдержала его напор и налетевшие со всех сторон парфянские отряды опутали его точно сетью. Видя, в каком количестве и как бесполезно падали его солдаты, настигнутые стрелами конных стрелков, Публий в отчаянии бросился со своей незащищенной панцирями кельтской конницей на закованных в железо неприятельских всадников; напрасно совершало чудеса безграничное мужество его кельтов, хватавших копыя руками или прыгивавших с коней, чтобы закалывать врагов. Остатки корпуса, а с ними и раненный в правую руку вождь были оттеснены на небольшую возвышенность, где еще лучше могли служить мишенью неприятельским стрелкам. Месопотамские греки, хорошо знавшие местность, умоляли Публия уехать с ними и постараться таким образом спастись; но он не пожелал отделить свою судьбу от судьбы тех храбрцев, которых его безумная смелость обрекла на смерть, и приказал своему щитоносцу заколоть себя. Большинство офицеров, как и он, лишили себя жизни. Из всего отряда в 6 тыс. человек в плен было взято не больше 500; никому не удалось спастись. Тем временем атака главной армии была приостановлена, и все с большой охотой предались отдыху. Когда же отсутствие вестей о посланном вперед корпусе вывело войско из его обманчиво спокойного состояния и оно приблизилось к полю сражения, отцу поднесли на шесте голову сына, и опять начался страшный бой с главной армией, с той же яростью, с тем же однообразием. Невозможно было ни рассеять конницу, ни настигнуть стрелков; лишь наступление ночи положило конец истреблению. Если бы парфяне расположились бивуаком на поле битвы, ни одному человеку из римского войска не удалось бы спастись. Умея сражаться только верхом и поэтому боясь нападения, парфяне имели обыкновение не разбивать лагеря поблизости от неприятеля; насмешливо кричали они римлянам, что дарят еще одну ночь их полководцу, чтобы он мог оплакивать сына, и умчались, с тем чтобы вернуться на следующее утро и изловить распростертую на земле окровавленную дичь.

Римляне, конечно, не стали ждать их возвращения. Подчиненные Крассу военачальники Кассий и Октавий, видя, что Красс совершенно потерял голову, отдали приказ выступить немедленно и по возможности бесшумно всем людям, еще способным передвигаться, оставив позади раненых и пропавших без вести — около 4 тыс. человек, — для того чтобы самим искать убежища за стенами Карр. Остатки римского войска спаслись от казавшегося неизбежным уничтожения благодаря тому, что парфяне, вернувшись на следующий день, прежде всего стали искать и убивать отдельных оставшихся людей, между тем как население и гарнизон Карр, заблаговременно уведомленные о катастрофе беглецами, быстро двинулись навстречу разбитому войску. Об осаде Карр парфянские всадники, естественно, не

могли и думать. Римляне, однако, вскоре добровольно удалились; неизвестно, вынуждены они были это сделать из-за недостатка съестных припасов или малодушной поспешности главнокомандующего, которого солдаты безуспешно пытались сместить и заменить Кассием. Войско двинулось по направлению к армянским горам. Двигаясь ночью и отдыхая днем, Октавий с отрядом в 5 тыс. человек добрался до крепости Синнаки, находящейся всего лишь на расстоянии одного дня пути от спасительных высот, и освободил с опасностью для собственной жизни главнокомандующего, которого проводник сбил с пути и выдал врагу. Тогда к римскому лагерю подъехал визирь и от имени своего царя предложил римлянам мир и дружбу, а также личное свидание двух полководцев.

Совершенно деморализованное римское войско умоляло и, наконец, даже заставило своего полководца согласиться на это предложение. Визирь принял консуляра и его штаб с обычными почестями и опять предложил дружественный союз. Со справедливой горечью напомнив о судьбе договоров, заключенных с Помпеем и Лукуллом относительно границы по Евфрату, он требовал только, чтобы условия союза были немедленно изложены письменно. Подвели богато убранного иноходца, это был подарок царя римскому военачальнику; слуги визиря теснились вокруг Красса, торопясь посадить его на лошадь. Римским офицерам показалось, что они хотят овладеть особой главнокомандующего; Октавий, не имея при себе оружия, выхватил меч из ножен одного парфянина и заколол конюха. В поднявшейся после этого свалке были убиты все римские офицеры; престарелый главнокомандующий, не желая, подобно своему предку, попасть в руки врага в качестве живого трофея, искал смерти и нашел ее. Оставшиеся в лагере римляне, лишенные своего вождя, частью были взяты в плен, частью рассеялись. То, что было начато при Каррах, закончилось при Синнаке (9 июля 701 г.); обе эти даты заняли место наряду с годовщинами Аллии, Канн и Араузиона. Евфратская армия больше не существовала. Одному только конному отряду Гая Кассия, оттесненному от главной армии при выступлении из Карр, некоторым другим разрозненным группам и отдельным беглецам удалось спастись от парфян и бедуинов и поодиночке найти обратный путь в Сирию. Из более чем 40 тыс. римских легионеров, перешедших Евфрат, не вернулась и четверть; половина из них погибла, около 10 тыс. римских пленных, по парфянскому обычаю, были поселены победителями на крайнем северо-востоке их владений, в Мервском оазисе, в качестве обязанных воинской повинностью крепостных. Впервые с тех пор, как орлы стали водить легионы в бой, они сделались в этом году символом победы в руках иноплеменников, почти одновременно у одного из германских племен на Западе и у парфян на Востоке. К сожалению, до нас не дошли точные сведения о впечат-

лении, произведенном поражением римлян на Востоке; оно должно было быть длительным и сильным. Царь Ород как раз праздновал свадьбу своего сына Пакора с сестрой своего нового союзника, армянского царя Артавазда, когда прибыла от его визиря весть о победе и одновременно, по восточному обычаю, отрубленная голова Красса. Трапеза уже была окончена, труппа странствующих малоазийских актеров, очень многочисленных в то время и распространявших эллинскую поэзию и сценическое искусство далеко на Восток, как раз исполняла перед собравшимся двором «Вакханок» Еврипида. Актер, игравший роль Агавы, которая в припадке безумного, чисто дионисовского восторга разрывает на части своего собственного сына и возвращается с берегов Киферона, неся на жезле его голову, заменил ее окровавленной головой Красса и запел, к великой радости публики, состоявшей из полуэллинизированных варваров, известный напев:

Мы несем домой
Из далеких гор
Славную добычу,
Кровавую дичь.

Со времен Ахеменидов это была первая серьезная победа, одержанная Востоком над Западом; глубокий смысл заключался в том, что для празднования этой победы лучшее произведение западного мира, греческая трагедия, в этом страшном фарсе сама над собой издевалась устами своих павших представителей. Римское гражданство и гений Эллады одновременно начинали подпадать под власть султаннизма.

Эта катастрофа, страшная сама по себе, казалось, должна была стать страшной и по своим последствиям и потрясти основы римского могущества на Востоке. Мало того, что парфяне неограниченно господствовали теперь по ту сторону Евфрата, что Армения, еще до катастрофы с Крассом отпавшая от союза с Римом, вступила благодаря ей в клиентелу парфян, что верным гражданам Карр жестоко отомстил за их преданность римлянам поставленный над ними парфянами новый властелин, — один из вероломных путеводителей римлян, по имени Андромах, — парфяне серьезно готовились в свою очередь перейти границу Евфрата и с помощью армян и арабов изгнать римлян из Сирии. Иудеи и другие восточные народы не менее нетерпеливо ждали освобождения от римского владычества, чем эллины по ту сторону Евфрата ждали освобождения от парфян. Рим был накануне гражданской войны, нападение, предпринятое именно здесь, да еще в такую минуту, было бы очень опасно. Но, к счастью для Рима, у обеих воюющих сторон переменились вожди. Султан Ород был слишком обязан великодушному человеку, который надел на него царский венец и затем очистил страну от неприятеля, чтобы не поже-

лать избавиться от него при помощи палача. Его место как главнокомандующего войском в Сирии занял принц Пакор, сын царя, к которому ввиду его юности и неопытности был приставлен в качестве советника по военным делам князь Осак. С другой стороны, командование в Сирии вместо Красса перешло в руки рассудительного и энергичного квестора Гая Кассия.

Так как парфяне, — как некогда и Красс, — не торопились с нападением и отправили за Евфрат в 701 и 702 гг. лишь несколько слабых легучих отрядов, которые легко было отбросить назад, Кассию оставалось достаточно времени, чтобы несколько привести в порядок войско и при помощи верного приверженца римлян Ирода Антипатра усмирить иудеев, озлобленных разграблением храма, совершенным Крассом, и решившихся теперь взяться за оружие. Римское правительство имело бы достаточно времени, чтобы выслать свежие войска для обороны границ; это, однако, не было сделано ввиду первых судорог начинавшейся революции; когда, наконец, в 703 г. на Евфрате появилась сильная парфянская армия, Кассий по-прежнему мог противопоставить ей только два слабых легиона, составленных из остатков войска Красса. Конечно, с этими силами он не мог ни помешать переправе, ни защитить провинцию. Сирия была наводнена парфянами, и вся Передняя Азия дрогнула. Но парфяне не умели осаждать городов. Они не только отступили, ничего не добившись, от Антиохии, куда Кассий бросился со своими войсками, но на обратном пути попали в засаду, устроенную конницей Кассия, и были здесь разбиты римской пехотой; в числе убитых оказался сам князь Осак. Друзья и недруги поняли, что парфянская армия, руководимая заурядным полководцем, в обыкновенных условиях стояла не больше всякой другой восточной армии. Тем не менее наступление не было отменено. Зимой 703/704 г. Пакор еще стоял лагерем в Киррестике по эту сторону Евфрата, и новый наместник Сирии Марк Бибул, такой же ничтожный полководец, как и неспособный государственный человек, не сумел сделать ничего лучшего, как запереться в своих крепостях. Всюду ждали, что война вспыхнет с новой силой в 704 г. Но вместо того чтобы направить оружие против римлян, Пакор направил его против своего собственного отца и для этого даже вступил в соглашение с самим римским наместником. Это, конечно, не смыло пятна с римского щита и не восстановило значения Рима на Востоке, тем не менее парфянскому нашествию на Переднюю Азию наступил конец, и граница по Евфрату была сохранена, по крайней мере временно.

Между тем в Риме из клокотавшего революционного вулкана поднимались клубы одуряющего дыма. Дошло до того, что больше не находили ни одного солдата, ни одного денария для отражения национального врага Рима, и никто больше не думал о судьбах наро-

дов. К числу самых страшных знамений времени можно отнести то обстоятельство, что ужасающее национальное несчастье, происшедшее при Каррах и Синнаке, гораздо меньше волновало политиков того времени и заставляло их говорить об этом, чем жалкая свалка на Аппиевой дороге, во время которой несколько месяцев спустя после Красса погиб предводитель шайки Клодий; но это понятно и даже простительно. Разрыв между двумя повелителями, долгое время считавшийся неизбежным и даже очень близким, неудержимо теперь надвигался. Подобно кораблю в древнегреческом сказании, римская община была как бы между двух скал, стремившихся друг на друга. С минуты на минуту ожидая страшного столкновения, люди, сидящие в корабле, полные невыразимого ужаса, не спускали глаз с волн, поднимавшихся все выше и выше; в то время как даже незначительные близкие всплески привлекали к себе тысячи глаз, никто не смел смотреть по сторонам.

После того как на совещании в Луке в апреле 698 г. Цезарь сделал Помпею значительные уступки и благодаря этому установилось равновесие между обоими правителями, их отношения не были лишены внешних условий прочности, поскольку разделение по существу неделимой монархической власти может быть вообще прочно. Решились ли правители хоть временно поддерживать друг друга и без задних мыслей взаимно признавать свою равноправность, — это другой вопрос. Выше было уже указано, что Цезарь хотел этого, так как ценой уравнивания своих прав с Помпеем он выигрывал время, необходимое для покорения Галлии. Что касается Помпея, то вряд ли он когда-нибудь серьезно относился к принципу коллегиальности. Это была одна из тех мелких и ничтожных натур, по отношению к которым опасно проявлять великодушие; его ограниченному уму, без сомнения, казалось проявлением мудрости при первом же случае подставить ногу неохотно признанному сопернику; его низкая душа жаждала возможности отплатить за унижение, причиненное ему снисходительностью Цезаря. Но если Помпей по своей тупой и ленивой натуре, по-видимому, никогда не собирался дать Цезарю место рядом с собой, то намерение расторгнуть союз дошло до его сознания лишь постепенно. Публика, вообще лучше, чем он сам, понимавшая намерения и взгляды Помпея, не ошиблась относительно того, что во всяком случае со смертью прекрасной Юлии, умершей в цвете лет (осенью 700 г., вскоре за ней последовал в могилу и ее единственный ребенок), личная связь между ее отцом и мужем была порвана. Цезарь пытался восстановить разорванные судьбой родственные связи; он просил руки единственной дочери Помпея, а ему предложил в жены свою ближайшую родственницу, внучку сестры Октавию. Однако Помпей оставил свою дочь ее прежнему супругу Фаусту Сулле, сыну правителя, и сам женился на дочери Квинта Метелла Сципиона. Лич-

ный разрыв таким образом наступил. Помпей первый положил ему начало. Все ждали, что за этим немедленно последует и политический разрыв, но ошиблись; в общественных делах временно сохранялось еще коллегиальное соглашение. Причина заключалась в том, что Цезарь не хотел открыто порвать связь, пока покорение Галлии не станет совершившимся фактом; Помпей же — пока принятие диктатуры не отдаст целиком в его власть все правительственные функции и всю Италию. Странно и все же понятно, что правители в этом оказывали поддержку друг другу. После катастрофы при Адуатке Помпей заимообразно уступил Цезарю зимой 700 г. один из находившихся в отпуску италийских легионов, с другой стороны, Цезарь дал Помпею свое согласие и обещал нравственную поддержку в отношении репрессивных мер, принятых им против беспокойной республиканской оппозиции.

Лишь после того, как в начале 702 г. Помпей захватил в свои руки консульскую власть и влияние в столице, безусловно превышавшее влияние Цезаря, и когда все военнообязанные Италии присягнули ему, он решил как можно скорее открыто порвать с Цезарем. Это намерение проявилось достаточно ясно.

Если после свалки на Аппиевой дороге суд с беспощадной суровостью карал именно старых демократических приверженцев Цезаря, это еще могло считаться простой бестактностью. Если новый закон об избирательных махинациях, получивший обратную силу до 684 г., распространялся и на происшествия, сопровождавшие избрание Цезаря в консулы, то и это, может быть, было не больше чем бестактностью, хотя немало цезарианцев видело в этом определенное намерение. При всем желании нельзя было больше закрывать глаза, когда Помпей избрал себе в коллеги по консульству не своего прежнего тестя Цезаря, что надо было сделать по положению вещей и что требовалось неоднократно, а посадил возле себя целиком зависимого от него статиста, своего нового тестя Сципиона; еще меньше можно было обманываться, когда Помпей продлил себе срок наместничества в обеих Испаниях еще на пять лет, т. е. до 709 г., и вместе с тем добился выдачи из государственной казны значительной суммы на жалованье войскам, не только не выговорив для Цезаря такого же продления власти и такой же выдачи денег, а напротив, опубликовал новые постановления относительно замещения должности наместников, подготовлявшие отзывание Цезаря раньше установленного срока. Эти агрессивные выходки, несомненно, должны были подорвать положение Цезаря, чтобы затем низвергнуть его. Момент был как нельзя более благоприятный. Цезарь лишь потому сделал в Луке столько уступок Помпею, что Красс и его сирийская армия неизбежно перешли бы к Цезарю в случае разрыва с Помпеем, так как на Красса, глубоко враждебного Помпею со времен Суллы и почти так же давно лично и по-

литически связанного с Цезарем, на Красса, который по особенностям своего характера удовлетворился бы, в случае, если бы ему не удалось стать царем Рима, хотя бы ролью банкира нового римского царя, Цезарь мог вообще рассчитывать и ни в каком случае не опасался увидеть в нем союзника своих врагов. Июньская катастрофа 701 г., во время которой погибли в Сирии и армия и полководец, были поэтому тяжелым ударом и для Цезаря. Несколько месяцев спустя в Галлии, казавшейся окончательно покоренной, вспыхнуло национальное восстание, более сильное, чем когда-либо, и против Цезаря впервые выступил достойный соперник в лице арвернского царя Верцингеторига. Судьба опять повернулась лицом к Помпею. Красс умер, вся Галлия была охвачена восстанием, Помпей фактически стал диктатором Рима и повелителем сената, — чего только он мог бы добиться, если бы вместо того, чтобы вести сложную интригу против Цезаря, он просто заставил сенат или гражданство немедленно отозвать Цезаря из Галлии! Но Помпей никогда не умел использовать момент. Он ясно обнаружил свое стремление к разрыву; еще в 702 г. его поступки не позволяли в этом сомневаться, а весной 703 г. он уже открыто проявил намерение порвать отношения с Цезарем, но все не порывал их, и месяцы протекали один за другим совершенно безрезультатно.

Однако как ни медлил Помпей, благодаря стечению обстоятельств кризис безостановочно приближался. Предстоящая война не была борьбой между республикой и монархией, — вопрос об этом был решен за много лет до этого, — а борьбой между Цезарем и Помпеем из-за римской короны. Ни один из претендентов не считал для себя выгодным сказать решающее слово; этим он привлек бы в лагерь противника ту очень значительную часть граждан, которая хотела восстановления республики и верила в возможность ее существования. Старинные боевые лозунги Гракха и Друза, Цинны и Суллы хотя и устарели, хотя и стали бессодержательны, все еще годились в качестве призыва к борьбе между двумя полководцами, состязавшимися из-за единовластия; если в данное время Помпей и Цезарь и причисляли себя официально к так называемой партии популяров, никто не мог ни минуты сомневаться в том, что Цезарь поставит на своем знамени: народ и демократический прогресс, Помпей; аристократия и законный порядок.

Цезарь не имел выбора. С самого начала он был глубоко убежденным демократом; монархия, как он ее понимал, скорее внешне, чем по существу, отличалась от народного правления Гракха, вместе с тем он был государственным человеком со слишком возвышенными и серьезными взглядами, чтобы скрывать свои убеждения и бороться под каким-либо другим знаменем, кроме своего собственного. Непосредственная польза, которую давал ему избранный им девиз,

была незначительна, она заключалась, главным образом, в том, что избавляла Цезаря от неудобства называть царскую власть своим именем и этим ненавистным словом пугать массу безразличных людей и своих приверженцев. Реальной пользы демократические лозунги не приносили с тех пор, как Клодий опозорил и сделал смешными идеалы Гракхов, — где был тот сколько-нибудь значительный круг людей, который бы, за исключением транспаданцев, принял участие в борьбе благодаря этому боевому лозунгу?

Это определило бы роль Помпея в предстоящем состязании, если бы и без того не было вполне понятно, что он должен выступать в нем как полководец законной республики. Природа предназначила ему больше, чем кому-либо другому, роль члена аристократии, и лишь случайные и чисто эгоистические мотивы сделали его перебежчиком из аристократического лагеря в демократический. Если он теперь вернулся к своим сулланским традициям, то это было не только в порядке вещей, но и чрезвычайно полезно. Насколько устарели демократические боевые лозунги, настолько же сильно должно было быть действие консервативного лозунга, если он провозглашался подходящим для этого человеком. Может быть, большинство и во всяком случае основное ядро граждан принадлежало к конституционной партии; по своей численности и нравственной силе она вполне могла вмешаться в предстоящую борьбу претендентов энергичным, может быть, решающим образом. Ей недоставало только вождя. Марк Катон, ее глава в данную минуту, как мог, исполнял свои обязанности, ежедневно подвергая свою жизнь опасности и не имея даже, может быть, надежды на успех. Его верность долгу достойна уважения, но все же оставаться последним на потерянном посту похвально для солдата, а не для полководца. Он не умел ни организовать, ни своевременно увлечь в бой громадный резерв, организовавшийся как бы сам собой в Италии для поддержки партии свергнутого правительства; что же касается дела, от которого, в сущности, все зависело, — влияния на армию, — на это он по очень основательной причине никогда не претендовал. Если бы вместо этого человека, не умевшего быть ни вождем, ни полководцем, знамя существующего порядка было поднято человеком с политическим и военным значением Помпея, муниципалы Италии, несомненно, стекались бы к нему толпами, чтобы под этим знаменем бороться, правда, не за монарха Помпея, но во всяком случае против монарха Цезаря. К этому присоединялось еще одно обстоятельство, не менее важное. Помпей, как правило, даже приняв решение, не находил путей к его исполнению. Он сумел бы, может быть, вести войну, но ни в каком случае не мог бы ее объявить, зато партия Катона была неспособна вести войну, но способна и, главное, готова мотивировать борьбу против возникавшей монархии. Согласно намерениям Помпея, пока сам он держался бы в стороне и по сво-

ему обыкновению говорил бы то о своем желании отправиться в скором времени в свои испанские провинции, то о путешествии на Евфрат для принятия там начальства, — законное правительство, т. е. сенат, должно было порвать отношения с Цезарем, объявить ему войну и ведение ее поручить Помпею, который тогда, уступая общему желанию, собирался выступить как защитник конституции против демагогически-монархических происков, как честный человек и поборник существующего порядка — против кутил и анархистов, как законный полководец сената — против императора с улицы, чтобы еще раз спасти человечество. Таким образом, благодаря союзу с консерваторами Помпей получал как вторую армию вдобавок к своим личным сторонникам, так и подходящий лозунг для объявления войны; эти выгоды, правда, приобретались дорогой ценой соглашения с принципиальными противниками. Из бесчисленных неудобств, коренившихся в этой коалиции, выяснилось, прежде всего, одно, но очень серьезное обстоятельство, а именно то, что Помпей лишил себя возможности нанести удар Цезарю, когда и как ему захочется, и в этом важном вопросе оказывался в зависимости от всех случайностей и капризов аристократической корпорации.

Таким образом, республиканская оппозиция, которая в течение многих лет должна была довольствоваться ролью постороннего зрителя и едва смела время от времени посвистывать, теперь, благодаря предстоящему разрыву между правителями, снова очутилась на политической арене. Это был прежде всего кружок, сгруппировавшийся около Катона, т. е. те республиканцы, которые решили начать борьбу за республику и, во всяком случае, против монархии и чем скорее, тем лучше. Плачевный исход попытки 698 г. сразу показал им, что сами по себе они не в состоянии ни вести войну, ни даже вызвать ее; всем было известно, что хотя весь состав сената за немногими исключениями и был враждебен монархии, но большинство его хотело восстановить олигархическое правление, когда это можно будет сделать без риска, а до этого, конечно, было еще далеко. Имея перед собой, с одной стороны, правителей, с другой — это бессильное большинство, требовавшее прежде всего и во что бы то ни стало мира и больше всего не расположенное к решительному разрыву с тем или другим из правителей, партия Катона видела единственную возможность достигнуть восстановления старого порядка в союзе с менее опасным из правителей. Если бы Помпей высказался в пользу олигархической конституции и предложил бороться за нее против Цезаря, то республиканская оппозиция могла и даже должна была бы признать его своим полководцем и в союзе с ним заставить трусливое большинство объявить войну. Что Помпей не был серьезно предан конституции, ни для кого, конечно, не могло быть тайной; нерешительный, как и во всем, он, однако, далеко не сознавал так же ясно и твердо, как

Цезарь, что первым делом нового монарха должно быть основательное и окончательное избавление от всего олигархического хлама. Во всяком случае война способствовала бы образованию настоящего республиканского войска и республиканских полководцев, и после победы над Цезарем можно было бы приступить с более благоприятными шансами к устранению не только одного из монархов, но и возникавшей монархии. Ввиду отчаянного положения олигархии предложение Помпея соединиться с ней было для нее самым благоприятным исходом.

Заключение союза между Помпеем и партией Катона последовало сравнительно скоро. Еще во время диктатуры Помпея с обеих сторон произошло заметное сближение. Весь образ действий Помпея во время милонова кризиса, его резкий отказ предлагавшим ему диктатуру плебейм, определенно выраженное им намерение принять эту должность только от сената, его неумолимая строгость ко всевозможным нарушителям порядка и в особенности к крайним демократам, паразитическая предупредительность, с которой он относился к Катону и его единомышленникам, — все это настолько же должно было привлечь друзей порядка, как и оскорбить демократа Цезаря. С другой стороны, Катон и его приверженцы приняли с незначительными изменениями предложение передать диктатуру Помпею, вместо того чтобы с обычным ригоризмом бороться против него. Помпей получил единоличную консульскую власть прямо из рук Бибула и Катона. Если, таким образом, еще в начале 702 г. партия Катона и Помпей, негласно по крайней мере, были уже заодно, то союз мог считаться формально заключенным с тех пор, как во время консульских выборов на 703 г. сам Катон, правда, не был избран, зато выбор пал наряду с незначительным членом сенатского большинства на самого решительного приверженца Катона — Марка Клавдия Марцелла. Марцелл не был бурным энтузиастом, а еще меньше гением, но зато стойким и строгим аристократом, именно тем человеком, который мог объявить войну Цезарю, когда она должна была начаться. При существующих обстоятельствах этот выбор, особенно удивительный после репрессивных мер, непосредственно перед тем принятых против республиканской оппозиции, вряд ли мог произойти иначе, как с разрешения или по крайней мере молчаливого согласия тогдашнего правителя Рима. По обыкновению, медленно и тяжело, но неуклонно Помпей шел к разрыву.

Цезарь, наоборот, не имел намерения именно в это время порвать с Помпеем. Конечно, он не мог серьезно желать долгое время делить власть с каким-нибудь коллегой и меньше всего с таким ничтожным, как Помпей; без сомнения, он давно уже решил после покорения Галлии завладеть единоличной властью и в случае нужды добиться этого даже силой оружия. Но человек, подобный Цезарю, больше политик,

чем воин, — не мог не понимать, что наладить деятельность государственного организма силой оружия значило глубоко и надолго потрясти его, и поэтому он должен был стараться разрешить осложнения мирными средствами или по крайней мере без открытой междоусобной войны. Если же гражданская война все-таки была неизбежна, то Цезарь во всяком случае не мог желать, чтобы обстоятельства заставили его начать эту войну именно теперь, когда в Галлии восстание Верцингеторига снова сделало сомнительным все достигнутые результаты и непрерывно занимало его с зимы 701/702 г. до зимы 702/703 г. и когда Помпей вместе с враждебной ему конституционной партией повелевали в Италии. Поэтому-то он и старался поддерживать отношения с Помпеем и тем самым поддерживать и мир и, если это еще было возможно, мирным путем добиться обещанного ему еще в Луке консульства на 706 г. Если бы после окончательного завершения кельтских дел он был поставлен во главе государства законным путем, то, превосходя Помпея в качестве государственного человека гораздо больше, чем в качестве полководца, он мог спокойно рассчитывать на то, что ему без особого труда удастся вытеснить его из курии и с форума. Может быть, можно было устроить этому неповоротливому, нерешительному и заносчивому сопернику какую-нибудь почетную и значительную должность, sineкуру по его вкусу; неоднократные усилия Цезаря сохранить родство с Помпеем, быть может, и были направлены на то, чтобы подготовить такое решение вопроса и прекратить старинную распрю путем перехода власти к потомству обоих соперников. Республиканская оппозиция осталась бы тогда без вождя и, следовательно, сохранила бы спокойствие, а значит, сохранен был бы и мир. В случае, если бы это не удалось и если бы (что весьма вероятно) дело пришлось решить силой оружия, Цезарь как консул распоряжался бы в Риме послушным сенатским большинством, мог бы затруднить и даже, может быть, расстроить коалицию сторонников Помпея с республиканцами, и его позиция в такой войне была бы гораздо приличнее и выгоднее, чем если бы он теперь в качестве проконсула Галлии повел войско против сената и его полководца. Успех этого плана зависел от того, будет ли Помпей достаточно покладист, чтобы допустить Цезаря до обещанного ему в Луке консульства на 706 г.; даже если бы этот план не удался, Цезарю все-таки было полезно неоднократно и на деле подчеркивать свою уступчивость. Этим он, с одной стороны, выигрывал время, чтобы закончить войну в Галлии, а с другой — мог таким образом приписать противникам для всех ненавистную инициативу разрыва, тем самым почин в гражданской войне, что было очень важно для Цезаря как в отношении сенатского большинства и партии материальных интересов, так и в особенности в отношении его собственных солдат.

Сообразно с этим он и стал действовать. Разумеется, он начал

вооружаться; благодаря новому набору зимой 702/703 г. число его легионов, включая те, которые были взяты у Помпея, возросло до 11. Но вместе с тем он открыто и прямо одобрил образ действий Помпея во время диктатуры и достигнутое им восстановление порядка, отвергал как клевету предостережения услужливых друзей, считая для себя успехом, когда ему удавалось отсрочить катастрофу еще хотя бы на день, смотрел сквозь пальцы на все, чего можно было не замечать, переносил все, что можно было терпеть, непоколебимо держась только одного требования, чтобы по истечении срока его наместничества в 705 г. ему досталось вторичное консульство на 706 г., допускаемое республиканским государственным правом и обещанное ему Помпеем по особому договору.

Этот вопрос и стал теперь предметом начавшейся дипломатической войны. Если бы Цезарь был вынужден сложить с себя должность наместника еще до конца декабря 705 г. или отсрочить принятие службы в столице позже 1 января 706 г., если бы, таким образом, между наместничеством и консульством он оставался временно без должности — словом, был бы доступен преследованию со стороны уголовного суда, допускавшемуся по римскому праву лишь против лица, не находящегося в должности, в таком случае публика имела бы полное право предсказать ему судьбу Милона; Катон ведь давно уже готовился начать против него уголовное преследование, а Помпей был больше чем сомнительным защитником. Для достижения этой цели противники Цезаря имели одно очень простое средство.

По существующему избирательному порядку, каждый кандидат на консульство был обязан лично явиться до выборов, т. е. за полгода до вступления в должность, к руководившему выборами магистрату и потребовать внесения своего имени в официальный список кандидатов. При заключении договора в Луке считалось само собой понятным, что Цезарь будет избавлен от этой чисто формальной обязанности, от которой кандидаты часто освобождались; но декрета по этому вопросу еще не было, и, так как Помпей руководил теперь всем правительственным аппаратом, Цезарь в этом отношении зависел от своего соперника. По непонятной причине Помпей добровольно отказался от этой выгодной для себя позиции; с его согласия и во время его диктатуры (702 г.) особым законом, предложенным трибунами, Цезарь был освобожден от личного заявления о своей кандидатуре. Когда же вскоре после этого был установлен новый порядок выборов, обязательство для кандидатов записываться лично было вновь подтверждено, причем не делалось никаких исключений в пользу тех, которые были освобождены от этой обязанности предшествующими народными постановлениями; по формальному праву, привилегия, предоставленная Цезарю, аннулировалась позднейшим общим законом. Цезарь принес жалобу, и дополнительная статья была введена в

закон, но не утверждена особым постановлением народного собрания, так что это определение оказалось простой вставкой в уже существующий закон и могло считаться юридически недействительным. Итак, Помпей предпочел дать то, чего просто мог не давать, чтобы затем взять это обратно и, наконец, самым некорректным образом скрыть эту отмену.

Если все это должно было косвенно содействовать сокращению срока наместничества Цезаря, то изданное одновременно с этим положение о наместничествах уже прямо преследовало эту цель. Десять лет, на время которых постановлением, предложенным Помпеем сообща с Крассом, наместничество было гарантировано Цезарю, по принятому тогда летосчислению тянулись с 1 марта 695 г. до конца февраля 705 г. Так как, далее, по примеру прежних лет за проконсулом или пропретором оставалось право вступить в свою провинциальную должность немедленно по окончании срока консульства или преторства, то преемник Цезаря должен был избираться из городских должностных лиц не 704, а 705 г. и, следовательно, не мог вступить в должность раньше 1 января 706 г. Таким образом, Цезарь имел еще право сохранить власть в течение последних 10 месяцев 705 г. не на основании закона Помпея — Лициния, а согласно старинному правилу, по которому власть, данная на срок, удерживалась даже по истечении этого срока до прибытия преемника. С тех же пор как новый закон 702 г. призывал к постам наместников не тех преторов и консулов, которые выбывали из должности в том же году, а тех, которые выбыли за пять лет до этого или даже раньше, установив, таким образом, вместо практиковавшегося до этого непосредственного перехода от одной должности к другой определенный промежуток времени, — больше не было препятствий для немедленного замещения каждого, ставшего по закону вакантным наместничества другим способом, т. е. в данном случае можно было назначить в галльских провинциях смену командования не на 1 января 706 г., а на 1 марта 705 г. Жалкие попытки Помпея скрыть свои стремления и его коварство, колеблющееся то в ту, то в другую сторону, во всех этих распоряжениях причудливым образом соединяются с придирчивым формализмом и юридической ученостью конституционной партии. Задолго до того, когда можно было им воспользоваться, подготавливалось это административное оружие, и враги Цезаря приняли все меры как для того, чтобы путем присылки ему преемников заставить его сложить с себя власть до истечения срока, обеспеченного ему законом, изданным самим же Помпеем, т. е. до 1 марта 705 г., так и для того, чтобы иметь возможность признать недействительным голосование за него во время выборов на 706 г. Цезарь, не имея возможности помешать этим маневрам, молчал и предоставлял дело своему течению.

Происки конституционной партии все усиливались. Согласно обы-

чаю, сенат должен был обсуждать вопрос о наместничествах на 705 г., если они предназначались бывшим консулам, в начале 703 г., если же бывшим преторам, то в начале 704 г.; первое совещание дало и первый повод завести в сенате речь о назначении новых наместников для обеих Галлий, а вместе с тем и повод к открытому столкновению между представлявшей Помпея конституционной партией и приверженцами Цезаря в сенате. Консул Марк Марцелл предложил передать с 1 марта 705 г. двум консулярам, которых следовало наделить наместничествами, два наместнических поста, до тех пор управлявшихся проконсулом Гаем Цезарем. Долго сдерживавшееся озлобление прорвалось бурным потоком сквозь поднятые, наконец, шлюзы; во время этих переговоров было высказано все то, что накопилось к душе катонианцев против Цезаря. Для них было несомненно, что право заочно записываться на консульские выборы, предоставленное исключительным законом проконсулу Цезарю, отменялось позднейшим постановлением народного собрания и не могло быть допущено и в будущем. По их мнению, сенат должен был заставить этого магистрата немедленно распустить выслуживших свой срок солдат, так как покорение Галлии уже было закончено. Начатая же Цезарем в Верхней Италии раздача прав гражданства и основание колоний были признаны антиконституционными и недействительными; чтобы еще лучше разъяснить свое мнение, Марцелл приговорил одного видного члена совета цезаревой колонии в Коме к телесному наказанию, применявшемуся только к людям, не имевшим прав гражданства, тогда как если бы даже эта местность и не пользовалась правом полного гражданства, а только латинским правом, это лицо могло требовать для себя прав римского гражданина. Тогдашние представители интересов Цезаря, — главным из которых был Гай Вибий Панса, сын человека, проскрибированного Суллой, но все-таки сделавший политическую карьеру и бывший прежде военачальником в армии Цезаря, а в этом году ставший народным трибуном, — заявили в сенате, что как положение дел в Галлии, так и справедливость требуют не только не отзываться Цезаря раньше времени, а, напротив, оставить за ним командование наряду с консульством. Несомненно, они указывали на то, что несколько лет назад Помпей точно таким же образом соединял испанские наместничества с должностью консула, а в настоящее время главный надзор за продовольствием в столице соединяет с должностью испанского главнокомандующего, имея одновременно ту же должность и в Италии, где все население, способное носить оружие, принесло ему присягу и еще не освобождено от нее.

Таким образом, стороны высказались, но от этого дело не пошло быстрее. Сенатское большинство, предвидя разрыв, по целым месяцам не допускало созыва заседания, которое имело бы решающее значение; немало месяцев прошло еще из-за колебаний самого Помпея.

Наконец, он прервал свое молчание и все еще, конечно, сдержанно и неопределенно, но уже достаточно ясно пошел против своего прежнего союзника, став на сторону конституционной партии. Требование цезарианцев сосредоточить в руках их главы консульство и проконсульскую власть было кратко и резко отвергнуто; грубой и неуклюже Помпей добавил, что это предложение кажется ему не лучше, чем если бы сын заявил желание высечь отца. В принципе он настолько согласился с предложением Марцелла, что высказал свое намерение не позволить Цезарю непосредственно соединить консульство с проконсульством. Он дал, однако, понять, не высказавшись, впрочем, насчет этого достаточно определенно, что Цезарь, может быть, будет в крайнем случае допущен к выборам на 706 г. без личного заявления с его стороны и что за ним будет также оставлено и наместничество до 13 ноября 705 г. Прежде всего этот неисправимо колеблющийся человек согласился отсрочить назначение преемника Цезарю до марта 704 г., как этого требовали защитники Цезаря, вероятно, на основании одной из статей помпеево-лициниева закона, запрещавшего до начала последнего года цезаревой наместнической деятельности всякое обсуждение вопроса об его преемнике.

В этом смысле и было вынесено постановление сената (29 сентября 703 г.). Рассмотрение вопроса о замещении галльских наместничеств было назначено на 1 марта 704 г., но к роспуску войска Цезаря, как это было когда-то сделано народным постановлением относительно армии Лукулла, приступили настолько решительно, что его ветеранам было предложено за отпуском обращаться непосредственно в сенат. Защитники Цезаря добились, правда, насколько это разрешала конституция, кассации этих постановлений своим трибунским veto; однако Помпей очень определенно высказался в том смысле, что должностные лица обязаны безусловно повиноваться сенату и что интерцессия и другие такие же устаревшие формальности ничего не изменят в этом деле. Олигархическая партия, орудием которой стал теперь Помпей, довольно ясно проявляла намерение после какой-нибудь победы пересмотреть конституцию и устранить все, что напоминало о свободе народа; вероятно, по той же причине эта партия в своих нападках против Цезаря не хотела пользоваться комициями. Таким образом, союз Помпея с конституционной партией был формально провозглашен, приговор над Цезарем, очевидно, уже вынесен, и только не назначено время выступления. Все выборы на следующий год были проведены во враждебном ему духе.

Во время этих дипломатических приготовлений враждебной ему партии к войне Цезарю удалось справиться с галльским восстанием и восстановить мир во всех покоренных землях. Еще летом 703 г. под удобным предлогом охраны границ, но, по-видимому, с намерением показать, что легионы уже оказываются лишними в Галлии, он дви-

нул один из них в северную Италию. Если он не понимал этого раньше, то теперь, конечно, должен был сознавать, что ему неизбежно придется направить меч против своих сограждан. Цезарь все еще медлил; для него ведь было тем не менее очень важно еще на некоторое время оставить легионы в едва замирившей Галлии; хорошо зная крайне миролюбивое настроение сенатского большинства, он все еще не терял надежды удержать его от объявления войны, несмотря на давление, которое в этом отношении оказывал Помпей. Он не остановился даже перед большими жертвами, чтобы не вступать в настоящий момент открыто в конфликт с высшим правительственным учреждением. Когда сенат (весной 704 г.), по настоянию Помпея, обратился как к нему, так и к Цезарю с требованием дать по одному легиону для предстоящей парфянской войны и когда в силу этого постановления Помпей потребовал от Цезаря для отправки в Сирию легион, предоставленный им Цезарю много лет назад, Цезарь исполнил это двойное требование, так как невозможно было оспаривать ни своевременность этого сенатского постановления, ни справедливость требования Помпея; а Цезарю было важнее держаться в рамках закона и формальной лояльности, чем сохранить несколько тысяч солдат. Оба легиона прибыли немедленно и были переданы правительству, но, вместо того чтобы послать их на Евфрат, оно оставило их в Капуе в распоряжении Помпея, и публика опять имела случай сравнить явные старания Цезаря избежать разрыва с вероломными приготовлениями к войне его противников.

Для переговоров с сенатом Цезарю удалось подкупить не только одного из консулов того года, Луция Эмилия Павла, но, прежде всего, народного трибуна Гая Куриона, по-видимому, самого выдающегося из беспутных гениев этой эпохи*, человека неподражаемого по аристократическому изяществу плавной и остроумной речи, умению интриговать и той активности, которая сказывается в энергичных и развращенных натурах больше всего именно в моменты праздности, неподражаемого и по своей распушенности и по своему таланту делать долги — их определяли в 60 млн сестерциев — и по своей нравственной и политической беспринципности. Он уже раньше хотел продаться Цезарю, но получил отказ. Дарования, обнаруженные им с тех пор в нападениях на Цезаря, заставили этого последнего все-таки купить Куриона. Цена была высока, но товар стоил этих денег. В первые месяцы своего трибуната Курион разыгрывал роль независимого республиканца и поэтому громил как Цезаря, так и Помпея. Независимым, как казалось, положением, которое ему давала эта роль, он воспользовался с редким умением для того, чтобы, когда в марте 704 г. снова был поднят в сенате вопрос о замещении галльских на-

* «Homo ingeniosissime nequam» (Vellei, 2, 48).

местничеств на следующий год, целиком принять это постановление, но вместе с тем потребовать одновременного его распространения и на Помпея и его чрезвычайную власть.

Данные им разъяснения, что конституционного порядка можно добиться только устранением всех чрезвычайных должностей, что Помпей, получив проконсульство только из рук сената, еще гораздо меньше Цезаря мог отказать ему в повиновении, что одностороннее устранение одного из двух военачальников только увеличило бы опасность для конституции, — все это показалось вполне убедительным политическим недоучкам и широкой публике, и заявление Куриона о своем намерении помешать односторонним мероприятиям против Цезаря посредством veto, предоставленного ему конституцией, было встречено очень одобрительно как в сенате, так и вне его. Цезарь немедленно заявил полное согласие на предложение Куриона и вызвался во всякое время сложить с себя по требованию сената должность наместника и главнокомандующего, если только Помпей поступит точно так же; он мог сделать это, так как без звания италийско-испанского командующего Помпей уже не был бы страшен. Но, с другой стороны, по той же причине Помпей не мог не возражать; его требование, чтобы Цезарь сперва сложил с себя должность, после чего он уже последует его примеру, тем меньше удовлетворяло всех, что он не назначил даже определенного срока для своей отставки. Решение этого вопроса опять было отложено на несколько месяцев, Помпей и катонианцы, не доверяя сенатскому большинству, не смели поставить на голосование предложение Куриона. Цезарь воспользовался летним временем, чтобы убедиться в мирном настроении завоеванных им областей, сделать на Шельде смотр своим войскам и совершить триумфальное шествие по североиталийскому наместничеству, которое было ему безусловно предано; осень застала его в южном пограничном городе его провинции, Равенне.

Голосование предложения Куриона больше нельзя было откладывать: оно, наконец, состоялось и подтвердило полное поражение партии Помпея и Катона. 370 голосами против 20 сенат постановил немедленно пригласить проконсулов Испании и обеих Галлий сложить с себя полномочия; с непередаваемым ликованием встретили добрые римские граждане радостную весть о спасительном поступке Куриона. Помпей был отозван наравне с Цезарем, но, в то время как Цезарь готов был исполнить это приказание, Помпей наотрез отказался повиноваться. Председательствовавший консул Гай Марцелл, двоюродный брат Марка Марцелла, так же как и он принадлежавший к катоновой партии, обратился с горькой укоризненной речью к раболепному большинству; ведь досадно было оказаться разбитым в своем собственном стане, побежденным посреди фаланги трусов. Но разве можно было победить под руководством вождя, который, вместо того

чтобы кратко и определенно давать приказания сенаторам, на старости лет снова обучался у профессора ораторскому искусству, чтобы своим подновленным красноречием победить молодое, свежее и блестящее дарование Куриона?

Разбитая в сенате коалиция находилась в самом тяжелом положении. Фракция Катона решила довести дело до разрыва и увлечь за собой сенат; вместо этого она видела теперь, к своей большой досаде, как ее судно разбилось о подводный камень бесхарактерности большинства. Вожди ее должны были выслушивать со стороны Помпея самые горькие упреки; резко и вполне основательно указывал он на опасности мнимого мира, и хотя от него одного зависело быстро разрубить узел, его союзники отлично знали, что никогда этого не дождутся от него и что им самим придется положить конец, как они это обещали. После того как поборники конституции и сенатской власти объявили конституционные права граждан и народных трибунов пустой формальностью, они увидели, что теперь необходимо поступить таким же образом и с постановлениями самого сената и спасти законное правительство против его воли, так как оно отказалось от спасения. Это не было ни ново, ни случайно; как теперь Катон и его партия, так когда-то Сулла и Лукулл силой проводили каждое энергичное решение, принятое в интересах правительства; конституционная машина окончательно испортилась, сенат превратился в сломанное колесо, то и дело выходящее из колеи, как было в течение ряда веков с комициями.

Поговаривали о том (октябрь 704 г.), что Цезарь перевел четыре легиона из Трансальпинской Галлии в Цизальпинскую и разместил их около Плацентии. Хотя это перемещение вполне соответствовало полномочиям наместника, хотя Курион в сенате ясно доказал полную неосновательность этого слуха и хотя сенат большинством голосов отклонил предложение консула Гая Марцелла предписать Помпею выступить в поход против Цезаря, однако названный консул вместе с обоими консулами, выбранными на 705 г. из рядов катоновой партии, явились к Помпею, и эти три лица собственной властью предложили полководцу стать во главе обоих легионов, находившихся в Капуе, и по своему усмотрению призвать к оружию италийское ополчение. Трудно было придумать более противозаконные полномочия для объявления гражданской войны, но считаться с такими второстепенными соображениями было некогда; Помпей их принял. Начались военные приготовления, набор солдат. В декабре 704 г. Помпей покинул столицу, чтобы самому лично ускорить эти приготовления.

Цезарю удалось навязать своим противникам инициативу гражданской войны. Оставаясь на почве законности, он заставил Помпея объявить войну и притом не в качестве представителя законной власти, а в качестве полководца, выдвинутого явно революционным се-

натским меньшинством, терроризирующим большинство. Этот успех имел немалое значение, хотя массы инстинктивно понимали, что в этой войне дело идет не о формально юридических вопросах. Когда же война была объявлена, в интересы Цезаря входило как можно скорее довести дело до столкновения. Вооружения противника только начались, и даже столица еще не была занята войсками. Через 10—12 дней там могла оказаться армия, в три раза превосходящая армию Цезаря, стоявшую в Верхней Италии; было еще возможно захватить беззащитный Рим, даже, может быть, после быстрого зимнего похода завладеть всей Италией и отрезать противников от их важнейших резервов, прежде чем им удастся их использовать. Умный и энергичный Курион, сложивший с себя звание трибуна (9 декабря 704 г.), сейчас же отправился к Цезарю в Равенну, в ярких выражениях обрисовал перед своим господином создавшееся положение дел, но вряд ли нужно было убеждать Цезаря в том, что дальнейшие колебания только повредят делу. Не желая давать противникам повода к жалобам, он до этого момента не стягивал к Равенне войск и теперь должен был приказать всей своей армии немедленно выступить, но вынужден был ждать, пока к Равенне не подойдет хоть один близко стоящий легион. Тем временем он послал в Рим ультиматум, который был уже полезен потому, что своей уступчивостью еще больше компрометировал противников перед общественным мнением; кроме того, как будто проявляя нерешительность, он заставлял врагов с меньшей старательностью вести свои вооружения. В этом ультиматуме Цезарь отказывался от предъявленных им Помпею требований и со своей стороны предлагал в установленный сенатом срок сложить с себя наместничество в Трансальпинской Галлии и из десяти своих легионов распустить восемь; он заявил, что будет себя считать удовлетворенным, если сенат оставит ему наместничество в Цизальпинской Галлии и Иллирии с одним легионом или в одной лишь Цизальпинской Галлии с двумя легионами до окончания консульских выборов 706 г., а не до вступления в должность консула. Таким образом, он принимал те условия соглашения, которыми в начале переговоров готовы были довольствоваться и сенатская партия и даже сам Помпей. Цезарь даже выразил желание остаться частным лицом все время от избрания в консулы до вступления в должность. Трудно утверждать, делал ли Цезарь серьезно эти поразительные уступки, надеясь даже при этих условиях оказаться в выигрыше в борьбе с Помпеем, или же рассчитывал на то, что противная сторона уже так далеко зашла, что в этом проекте соглашения увидит доказательство того, что Цезарь просто увлекся смелой игрой, а не сделал еще большей ошибки, давая обещание, которое не собирался сдерживать; если же чудесным образом его предложение было бы принято, он сдержал бы слово.

Курион согласился еще раз отправиться в качестве представителя

своего господина в самое логовище льва. За три дня он промчался от Равенны до Рима; когда новые консулы Луций Лентул и Гай Марцелл младший* в первый раз собрали сенат 1 января 705 г., Курион передал собранию послание полководца сенату. Народные трибуны Марк Антоний, известный в скандальной городской хронике как ближайший друг Куриона и соучастник всех его безумств, но в то же время известный со времен египетских и галльских походов как блестящий кавалерийский офицер, и Квинт Кассий Лонгин, бывший когда-то квестором Помпея, соблюдавшие в отсутствие Куриона интересы Цезаря в Риме, заставили сенат немедленно прочесть послание. Серьезные и ясные выражения, в которых Цезарь указывал на опасность гражданской войны, на всеобщее желанье мира, на заносчивость Помпея и свою собственную уступчивость, неотразимая сила и правдивость его тона, условия соглашения, без сомнения, поразившие своей умеренностью даже приверженцев Помпея, открытое заявление, что теперь он в последний раз протягивает руку для примирения, произвели самое глубокое впечатление. Несмотря на страх перед солдатами Помпея, стекавшимися в столицу в большом количестве, в настроении большинства нельзя было сомневаться; опасно было бы дать ему проявиться. Консулы, пользуясь своим правом председателей, воспротивились голосованию снова выдвинутого Цезарем предложения одновременно обязать обоих наместников сложить с себя власть, а также всех затронутых его посланием планов примирения, как и внесенного Марком Целием Руфом и Марком Калпурнием предложению заставить Помпея немедленно уехать в Испанию. Даже предложение одного из самых решительных противников Цезаря, более дальновидного, чем его партия, Марка Марцелла, советовавшего отложить решение до тех пор, пока италийское ополчение не будет призвано и не защитит сенат, — даже это предложение не удалось проголосовать. Помпей поручил своему постоянному глашатаю Квинту Сципиону объявить, что он решил теперь или никогда взять на себя защиту сената и что он откажется от нее, если колебания будут продолжаться. Консул Лентул заявил без всяких оговорок, что, собственно, нет особой нужды в сенатском постановлении и что, если бы сенат хотел и дальше придерживаться своей раболопной политики, он сам начнет действовать и вместе со своими могущественными друзьями подготовит дальнейшие события. Терроризированное таким образом большинство исполнило то, что ему было приказано; оно постановило, что в назначенный и очень недалекий срок Цезарь должен передать Трансальпийскую Галлию Луцию Домицию Агенобар-

* Его не нужно смешивать с консулом 704 г., носящим то же имя; консул 704 г. был двоюродным братом, а консул 705 г. — родным братом Марка Марцелла, консула 703 г.

бу, а Цизальпинскую — Марку Сервилию Нониану; кроме того, он должен распустить войско, в противном же случае с ним поступят как с государственным изменником. Когда трибуны, стоявшие на стороне Цезаря, воспользовались своим правом интерцессии и протестовали против этого постановления, они не только подверглись в самой курии (как они по крайней мере утверждали) оскорблениям со стороны солдат Помпея, грозивших им мечами, и вынуждены были для спасения своей жизни бежать из столицы в невольничьей одежде, но, кроме того, окончательно запуганный сенат признал их вмешательство, формально вполне законное, революционной попыткой, объявил отечество в опасности и в обычных выражениях призвал граждан к оружию, поставив во главе вооружившихся преданных конституции магистратов (7 января 705 г.).

Но этого было уже достаточно. Когда Цезарь узнал от трибунов, бежавших в его лагерь и умолявших о защите, как были приняты в столице его предложения, он собрал солдат тринадцатого легиона, пришедшего тем временем с места своей стоянки в Тергесте (Триест) в Равенну, и объяснил им положение вещей. В блестящей речи, произнесенной в ту тяжелую минуту, когда вместе с его судьбой решались и судьбы мира, он проявил себя не только гениальным знатоком человеческих душ и властителем умов, не только щедрым военачальником и победоносным полководцем, обращавшимся к тем воинам, которые были им призваны и целых восемь лет с возрастающим энтузиазмом шли за его знаменем. Эту речь произнес энергичный и последовательный государственный человек, который в течение двадцати девяти лет отстаивал дело свободы как при благоприятных, так и при неблагоприятных условиях, несмотря на кинжалы убийц, палачей аристократии, мечи германцев, волны неведомого Океана, никогда не отступая и не колеблясь; тот самый человек, который уничтожил сулланскую конституцию, свергнул владычество сената, усилил и организовал во время борьбы по ту сторону Альп безоружную и беззащитную до этого демократию; он говорил не клондиевой публике, республиканский энтузиазм которой давно уже погас и превратился в пепел, а молодым бойцам, пришедшим из городов и сел Северной Италии, которые еще четко и ясно воспринимали грандиозную идею гражданской свободы, еще способны были бороться и умереть за свои идеалы; получившим революционным путем из рук Цезаря гражданские права для своей родины, в чем им отказывало правительство; обреченным в случае падения Цезаря на гибель под ударами топоров и розог, имевшим уже несомненное доказательство, с какой неумолимой жестокостью олигархия хотела применить карательные меры против транспаданцев. Перед такими-то слушателями изложил этот замечательный оратор положение вещей. Он говорил о той благодарности за завоевание Галлии, которую готовила знать ар-

мии и ее полководцу; о пренебрежительном упразднении комиций; о запуганности сенаѳа; о священной обязанности отстаивать с оружием в руках завоеванный предками у знати пятьсот лет назад народный трибунат, оказаться верными присяге, которую они принесли от имени всех будущих поколений, не боясь смерти, защищать грудь народных трибунов. Когда же он в качестве вождя и полководца популяров напомнил воинам народа, что попытки примирения ни к чему не привели, уступчивость доведена до крайности, и предложил солдатам следовать за ним в последний, неизбежный, решительный бой против ненавистной и презренной, предательской, неспособной и до смешного неисправимой знати, — не нашлось ни одного офицера, ни одного солдата, который не откликнулся бы на этот призыв. Выступление в поход было объявлено. Цезарь во главе авангарда перешел ручей, который отделял его провинцию от Италии и по ту сторону которого, согласно конституции, проконсул Галлии объявлялся вне закона. Вступая после девятилетнего отсутствия на родную землю, он тем самым вступил и на путь революции. «Жребий был брошен».





Глава X

Брундизий, Илерда, Фарсал и Тапе

Вопрос о том, кому из властителей быть единодержавным, должен был решиться силой оружия. Посмотрим, каково было соотношение сил Цезаря и Помпея к началу предстоящей войны.

Могущество Цезаря прежде всего было основано на совершенно неограниченной власти, которой он пользовался в своей партии. Если в этой власти смешивались идеи демократии и монархии, то это не было результатом случайной коалиции, которая легко могла распасться; в самой сущности демократии без представительства коренилось то обстоятельство, что и она и монархия находили в Цезаре свое высшее и предельное выражение. Поэтому и в политических и в военных вопросах Цезарю принадлежало решающее слово как в первой, так и во второй инстанции. Как бы высоко он ни ставил каждое годное для его целей орудие, оно все-таки всегда оставалось только орудием; в своей партии Цезарь не имел товарищей, он был окружен одними только военно-политическими адъютантами, которые, как правило, были выходцами из армии и как солдаты были вымуштрованы так, чтобы никогда не спрашивать о причинах и целях, а только беспрекословно повиноваться. Поэтому в решительную минуту, когда началась гражданская война, из всех солдат и офицеров Цезаря только один отказался ему повиноваться; и подтверждением нашего взгляда на отношение Цезаря к своим приверженцам служит то, что

этот человек был самым значительным из всех. Тит Лабием делил с Цезарем все трудности мрачных времен Катилины, весь блеск галльского победоносного шествия, всегда был независимым начальником своих частей, нередко стоял во главе половины армии; без сомнения, он был старшим, способнейшим и вернейшим адъютантом Цезаря, выше всех стоящим и пользовавшимся наибольшим почетом. Еще в 704 г. Цезарь передал ему командование над Цизальпинской Галлией отчасти потому, что хотел передать этот важный пост в надежные руки, отчасти для того, чтобы тем самым способствовать успеху консульской кандидатуры Лабиена. Но тут именно Лабием и вошел в сношения с противной партией; в начале военных действий в 705 г. он отправился на главную квартиру не Цезаря, а Помпея и в течение всей гражданской войны с беспримерным ожесточением боролся против своего старого друга и командира. Мы не имеем достаточных сведений о характере Лабиена и о подробностях его перехода на сторону другой партии; в основном мы видим здесь новое доказательство того, что вождь мог гораздо больше рассчитывать на своих низших офицеров, чем на маршалов. Судя по всему, Лабием был одним из таких людей, которые соединяют с военными талантами полную неспособность к государственной деятельности, и когда им придет в голову несчастная мысль заниматься политикой, иногда помимо своей воли, пускаются на безумные выходки; много таких трагикомических примеров дает история наполеоновских маршалов. Возможно, что Лабием считал себя вправе быть вторым главой демократии рядом с Цезарем; когда же его притязания были отвергнуты, перешел во вражеский лагерь. Тут впервые обнаружилась вредная сторона того порядка вещей, при котором Цезарь считал своих офицеров лишь не самостоятельными адъютантами, не давал выдвинуться из их рядов людям, способным командовать отдельной армией, а между тем благодаря вероятному распространению военных действий на все провинции обширного государства являлась настоятельная необходимость именно в таких людях. Этот ущерб компенсировался, однако, главным условием всякого успеха (приобретаемым только этой ценой) — единством высшего руководства.

Это единое руководство приобретало полную силу благодаря тому, что употреблялись годные для дела орудия. Здесь прежде всего следует обратить внимание на армию. В ней все еще насчитывалось 9 легионов пехоты, или, самое большее, 50 тыс. человек, которые, однако, уже побывали в деле и из которых две трети участвовали во всех походах против кельтов. Конница состояла из германских наемников и наемников, набранных среди населения Норика, пригодность и надежность их обнаружилась в войне с Верцингеторигом. Полная разнообразных случайностей восьмилетняя война против храбрых, хотя

в военном отношении и уступавшей италикам, кельтской народности дала Цезарю возможность организовать свою армию так, как только он один способен был организовать. Годность солдат предполагает физическое развитие; при наборе Цезарь больше обращал внимание на силу и ловкость рекрутов, чем на их материальные средства и нравственные свойства. Но пригодность армии, как всякой машины, основывается прежде всего на легкости и скорости движения: в готовности каждую минуту выступить в поход и в быстроте марша солдаты Цезаря достигли редкого и никем не превзойденного совершенства. Отвага ставилась, конечно, выше всего: Цезарь с небывальым умением владел искусством возбуждать воинственное соревнование и корпоративный дух, так что предпочтение, оказываемое отдельным солдатам или целым отрядам, даже в глазах отстающих являлось как бы иерархией, с неизбежностью создававшейся храбростью. Цезарь отучил своих людей от страха тем, что в случаях, когда это можно было сделать без серьезного риска, вовсе не сообщал им о предстоящей битве и совершенно неожиданно вел их на врага. Наряду с храбростью ценилось и повиновение. Солдат должен был исполнять то, что ему приказывали, не спрашивая ни о причинах, ни о намерениях; иногда в сущности бесцельные трудности возлагались на него исключительно как упражнение в тяжелом искусстве слепого повиновения. Дисциплина была строгая, но не тяжелая; она применялась без послаблений, когда войско стояло перед врагом; в другое время, особенно после победы, строгость уменьшалась; если примерному в других отношениях солдату приходило в голову надушиться или украсить себя красивым оружием или каким-нибудь другим убранством, если он попадался даже в грубых выходках или очень серьезных проступках, не касавшихся, однако, военного дела, это пошлое франтовство и эти проступки сходили ему с рук; полководец был глух к жалобам провинциалов. Но попытки бунта никогда не прощались ни зачинщикам, ни всему отряду. Настоящему солдату, однако, недостаточно было быть способным, храбрым, послушным, он должен был охотно, по доброй воле проявлять эти добродетели. Только гениальные натуры могут своим примером, надеждами и прежде всего сознанием полезности данного предприятия заставить одушевленную машину, которой они управляют, с радостным увлечением нести тягости службы. Если офицер, требуя от своих солдат храбрости, должен был вместе с ним идти навстречу опасности, то Цезарь как полководец имел случай вынимать меч из ножен и сражаться наравне с лучшими воинами; что касается активности и способности преодолевать трудности, то он брал их на себя гораздо больше, чем требовал этого от солдат. Цезарь заботился о том, чтобы победа, приносящая больше всего выгод полководцу, была связана с осуществлением лич-

ных надежд и для воинов. Уже говорилось о том, в какой степени Цезарь умел воодушевлять солдат во имя демократии — насколько прозаические времена позволяли вообще одушевляться чем бы то ни было — и как он выставил в качестве одной из целей борьбы политическое уравнение Транспаданской области, родины большинства его солдат, с Италией в тесном смысле слова. Само собой разумеется, не обходилось дело и без наград материальных как чрезвычайных — за выдающиеся военные подвиги, так и обыкновенных, дававшихся каждому хорошему солдату; офицеры получали наделы; воины — подарки, а на случай триумфа обещались богатые дары. Но Цезарь, как настоящий вождь, прежде всего умел пробуждать в каждом большом или малом винтике грандиозной машины сознание целесообразности своего применения. Обыкновенный человек предназначен служить, он не прочь быть орудием, если чувствует, что им управляет рука мастера. Всюду и везде постоянно озирает полководец орлиным взглядом свое войско, награждая и наказывая беспристрастно и справедливо, указывая направление деятельности, ведущей к общему благу; и никогда не делалось экспериментов, стоивших пота и крови даже самых ничтожных из смертных, но если это нужно было, они должны были проявлять самоотверженность, отдавать даже свою жизнь. Не позволяя отдельным личностям вникать в суть дела, Цезарь позволял им догадываться о военных и политических обстоятельствах, чтобы солдаты видели в нем полководца и государственного человека и даже идеализировали его. Он отнюдь не обращался с солдатами как с равными себе, но как с людьми, которые имеют право требовать, чтобы им говорили правду, и которые способны переносить ее, должны верить обещаниям и уверениям полководца, не допускать возможности обмана и не верить слухам; он смотрел на них как на старых боевых товарищей; не было из них ни одного, которого бы полководец не знал по имени, с которым у него не установилось бы во время походов тех или иных личных отношений, как с добрыми приятелями, с которыми он болтал со свойственной ему оживленностью как с людьми, находящимися под его защитой, с людьми, которых за услуги он считал нужным вознаградить, за смерть или оскорбление которых считал своим священным долгом отомстить. Может быть, никогда еще не было армии, которая была бы именно такой, какой армия должна быть: вполне годной для своего назначения и податливой машиной в руках мастера, передающего ей свою собственную силу напряжения. Солдаты Цезаря чувствовали (да оно так и было), что могут бороться с врагом, который в десять раз сильнее их; нельзя при этом не вспомнить, что при тогдашней римской военной тактике, рассчитанной на рукопашную схватку и особенно на бой мечами, опытный римский солдат имел гораздо больше преимуществ перед нович-

ком, чем это бывает теперь*. Но еще больше, чем эта спокойная храбрость, противников поражала несокрушимая и трогательная преданность солдат Цезаря своему полководцу. Беспрецедентным в истории фактом является то, что, когда полководец предложил своей армии участвовать с ним в гражданской войне, ни один римский офицер (за исключением только Лабiena), ни один римский солдат не покинул его. Расчеты противников на побеги солдат расстроились так же позорно, как попытка рассеять его войско, подобно войску Лукулла; даже и сам Лабиев появился в лагере Помпея, правда, с целой толпой кельтских и германских всадников, но без единого легионера. Солдаты как будто желали показать, что эта война так же является их делом, как делом их полководца: они сговорились между собой жалование, которое Цезарь в начале гражданской войны обещал удвоить, не брать до окончания военных действий и до тех пор поддерживать немущих товарищей из своих собственных средств; кроме того, каждый унтер-офицер вооружил и содержал на свой счет одного всадника.

Если Цезарь в данный момент и обладал всем необходимым — неограниченным политическим и военным могуществом, надежной, боеспособной армией, то сфера его владычества охватывала лишь очень ограниченное пространство. Оно опиралось, главным образом, на верхнеиталийскую провинцию. Эта область не только была самой населенной в Италии, она, кроме того, была предана делу демократии, как своему собственному. О господствовавшем в ней настроении свидетельствует поведение отряда новобранцев в Опитергии (Oderzo, в тревизской делегации): в начале войны в иллирийских водах их жалкую лодку окружили неприятельские военные корабли; в течение целого дня, до захода солнца, они подвергались обстрелу, но не сдавались; те же, которые не погибли от руки врага, ночью лишили себя жизни. Ясно, что можно было ждать от такого народа. Как раньше он дал Цезарю возможность больше чем удвоить свою первоначальную армию, так теперь, как только в начале гражданской войны был

* Пленный центурион из десятого легиона Цезаря заявил неприятельскому главнокомандующему, что он согласен с десятью своими людьми вступить в бой с лучшей неприятельской когортой (500 человек) (Bell. Afric., 45). «При древнем способе ведения войны, — говорит Наполеон I, — сражение состояло из ряда поединков, в устах современного солдата было бы хвастовством то, что у этого центуриона является правдой». О воинском духе, которым была проникнута армия Цезаря, свидетельствуют приложенные к его мемуарам отчеты об африканской и второй испанской войнах: автором первого был, по-видимому, второстепенный офицер, а второй отчет представляет собой значительный лагерный дневник.

объявлен солдатский набор, явилось множество рекрутов. В самой же Италии влияние Цезаря нельзя было сравнить с влиянием его противников. Благодаря ловкому маневру ему удалось очернить катонскую партию и убедить в правоте своего дела тех, кто искал предлога для того, чтобы со спокойной совестью оставаться нейтральным, как сенатское большинство, или перейти на его сторону, как это сделали его солдаты и транспаданцы, но масса граждан не дала ввести себя в заблуждение и, когда главнокомандующий Галлии повел свои легионы к Риму, несмотря на все формальные юридические разъяснения, увидела в Катоне и Помпее защитников законной республики, в Цезаре — демократического узурпатора. Все ждали от племянника Марии, зятя Цинны, союзника Катилины повторения ужасов Марии и Цинны, осуществления задуманных Катилиной Сатурналий анархии; и хотя благодаря этому Цезарь во всяком случае приобрел союзников — политические эмигранты тотчас же массами отдали себя в его распоряжение, потерянные люди увидели в нем своего избавителя, самые низшие слои столичной и провинциальной черни стали волноваться при известии об его приближении, — такие друзья были все же опаснее врагов.

В провинциях и в зависимых государствах Цезарь еще меньше пользовался влиянием, чем в Италии. Трансальпинская Галлия до Рейна и Ламанша была, правда, ему покорна, колонисты в Нарбонне и другие поселившиеся в этих местах римские граждане были ему преданы; но даже в Нарбоннской провинции конституционная партия имела много приверженцев, и в предстоящей гражданской войне вновь завоеванные области являлись для Цезаря скорее помехой, чем преимуществом, так как в этой войне он с полным основанием не пускал в дело кельтской пехоты, всадниками же пользовался очень редко. В остальных провинциях и в соседних, вполне или наполовину независимых государствах Цезарь, разумеется, тоже пытался приобрести для себя опору, делал щедрые подарки князьям, во многих городах приказал возводить большие сооружения и даже в крайнем случае оказывал финансовую и военную помощь; однако в целом, что было естественно, он достиг немногого, и единственное, что еще имело для него какое-нибудь значение, были его связи с германскими кельтскими владетелями в областях вдоль Рейна и Дуная и особенно с царем Норика Вокционом, важные потому, что у него производилась вербовка всадников.

Если Цезарь начал борьбу лишь в качестве главнокомандующего Галлии, без других вспомогательных средств, кроме способных помощников, верной армии и преданной провинции, то Помпей начал войну как фактический глава Римской республики, в полном обладании всеми средствами, которыми могло располагать законное правительство обширного Римского государства. Но хотя его поло-

жение в политическом и военном отношении было гораздо внушительнее, оно было зато гораздо менее ясно и прочно. Единство верховного руководства, само собой вытекавшее из положения Цезаря, противоречило сущности коалиции; и хотя Помпей был достаточно проникнут солдатским духом, чтобы понимать необходимость этого единоличного командования, пытался убедить в этом коалицию и потребовал, чтобы сенат назначил его единственным и неограниченным главнокомандующим сухопутными и морскими военными силами, все же он не мог отстранить сенат и лишить его подавляющего влияния на политическое руководство делами, а также возможности случайного и поэтому особенно вредного вмешательства в высшие военные распоряжения. Воспоминание о двадцатилетней войне между Помпеем и конституционной партией, которая велась с обеих сторон отравленным оружием, ясное, но старательно скрываемое с обеих сторон сознание, что ближайшим последствием победы будет разрыв между Помпеем и сенатом, вполне обоснованная их взаимная ненависть, слишком большое число почтенных, выдающихся и влиятельных людей в рядах аристократии, умственное и нравственное ничтожество почти всех участников дела — все эти причины вызывали у противников Цезаря недоброжелательное отношение к совместным действиям, даже противодействие им, что являлось чрезвычайно невыгодным контрастом по сравнению с дружной, сплоченной деятельностью противоположной партии.

Хотя, таким образом, невыгоды союза двух врагов против третьего в небывалой степени ощущались противниками Цезаря, коалиция все-таки оставалась еще очень внушительной силой. На море она господствовала неограниченно; все гавани, военные корабли, все материалы, принадлежавшие флоту, были в ее распоряжении. Обе испанские провинции — такая же опора власти, как у Цезаря обе Галлии, — были преданы своему повелителю, и управление ими находилось в руках дельных и надежных людей. Точно так же и в остальных провинциях — за исключением, конечно, обеих Галлий — должности наместников и военачальников в последние годы под влиянием Помпея и сенатского меньшинства были замещены верными людьми. Зависимые государства вполне и решительно стали на сторону Помпея, против Цезаря. Наиболее значительные властители и города в различные периоды его разнообразной деятельности вступили с Помпеем в близкие личные отношения. Так, в войне против сторонников Марии он был союзником царей Нумидии и Мавретании и восстановил на престоле первого из них; в войне с Митридатом кроме множества других мелких светских и духовных княжеств он воссоздал царства Боспорское, Армянское и Каппадокийское и учредил Галатское царство Дейотара, по его инициативе был предпринят египетский поход, стараниями его адъютантов снова было упрочено господство

Лагидов. Даже город Массалия, находившийся в цезаревой провинции и получивший от своего наместника некоторые льготы, был обязан Помпею еще со времени серторианской войны значительным расширением территории; кроме того, правившая в Массалии олигархия, естественно, находилась в союзе с олигархией Рима, еще более скрепленном многообразными связями. Эти личные соображения и связи, а также слава победителя трех частей света, которая в этих отдаленных краях государства значительно затушевывала известность завоевателя Галлии, все же вредили здесь Цезарю, пожалуй, меньше, чем разгаданные и в этих краях взгляды и намерения наследника идей Гая Гракха относительно воссоединения зависимых государств и полезности колонизации провинций.

Из всех зависимых от Рима династов ни одному так не угрожала эта опасность, как нумидийскому царю Юбе. Много лет назад, еще при жизни своего отца Гиемпсала, он имел чрезвычайно резкое личное столкновение с Цезарем, кроме того, тот же Курион, который занимал чуть не первое место среди адъютантов Цезаря, предложил римскому гражданству присоединить нумидийское государство. Если дело должно было дойти до вмешательства независимых соседних стран в римскую гражданскую войну, то единственное действительно могущественное парфянское государство благодаря соглашению между Пакором и Бибулом фактически вступило уже в союз с аристократической партией, тогда как Цезарь был слишком хорошим римлянином, чтобы из партийных соображений объединиться с победителями своего друга Красса.

Что касается Италии, то, как уже говорилось, большинство граждан было настроено против Цезаря; прежде всего, конечно, аристократия с очень значительной группой ее приверженцев, но не меньше того и высшая финансовая знать, которая не могла надеяться удержать при коренном преобразовании государства свои небеспристрастные суды присяжных и монополию денежных вымогательств. Так же враждебны демократии были и мелкие капиталисты, землевладельцы и вообще все классы населения, которым было что терять, но, конечно, в этих слоях населения обычные заботы о ближайших платежах, о посевах и жатвах вытесняли все остальные соображения.

Армия, которой располагал Помпей, состояла, главным образом, из испанских войск, а именно из семи привычных к войне и во всех отношениях надежных легионов, к которым надо еще прибавить отряды войск, стоявших в Сирии, Азии, Македонии, Африке, Сицилии и других местах, конечно, слабые и очень разбросанные. В Италии же стояли лишь два готовых к выступлению легиона, которые незадолго перед этим были переданы Помпею Цезарем; их численность не превышала 7 тыс. человек, а надежность была более чем сомнительна, так как, набранные в Цизальпинской Галлии и к тому же ста-

рые сподвижники Цезаря, они были чрезвычайно недовольны той грубой интригой, с помощью которой их заставили перейти в другой лагерь, и с тоскливым чувством вспоминали о своем полководце, который великодушно высплатил перед выступлением в поход награды, обещанные каждому солдату в отдельности в случае триумфа. Но, не говоря о том, что с наступлением весны испанские войска могли прибыть в Италию сухим путем через Галлию или по морю, можно было еще призвать из отпуска воинов трех легионов, набранных в 699 г., а также призванных в 702 г. италийских ополченцев. Считая все эти войска, общая численность военных сил, находившихся в распоряжении Помпея, не считая семи легионов в Испании, а также войск, разбросанных по другим провинциям, составляла в одной только Италии около десяти легионов*, или около 60 тыс. человек, так что не было преувеличением, когда Помпей говорил, что ему стоит только ударить ногой о землю, чтобы она покрылась вооруженными людьми. Конечно, нужно было время, хотя и непродолжительное, для того чтобы произвести мобилизацию этих войск. Все необходимые для этого приготовления были в полном ходу и были приняты меры для производства новых наборов, назначенных сенатом ввиду начала гражданской войны. Непосредственно после решительного постановления сената (7 января 705 г.) в середине зимы наиболее видные члены аристократии отправились в различные местности, для того чтобы ускорить созыв рекрутов и приготовление оружия. Ощущался большой недостаток в коннице, так как в этом отношении установилась привычка целиком полагаться на провинции, а именно на кельтские контингенты. Чтобы сделать по крайней мере почин, были взяты из школы в Капуе 300 гладиаторов, принадлежавших Цезарю, и обучены верховой езде; но это мероприятие было встречено настолько неодобрительно, что Помпею пришлось распустить этот отряд и взамен его набрать 300 всадников из конных пастухов, невольников из Апулии. В государственной казне было, по обыкновению, пусто; недостаток в деньгах старались пополнить из средств общинных касс и даже из храмовых сокровищ муниципиев.

При таких обстоятельствах в начале января 705 г. началась война. Из войск, вполне готовых к походу, у Цезаря было не больше одного легиона, 5 тыс. человек пехоты и 300 всадников, находившихся у Равенны, которая отстояла из Рима по шоссе на расстоянии приблизительно 50 миль. Помпей же располагал двумя слабыми легионами, 7 тыс. человек пехоты с небольшим отрядом всадников. Эти

* Эта цифра была названа самим Помпеем (*Caesar*, В. с., 1, 6); с этим вполне согласуется то обстоятельство, что он потерял в Италии около шестидесяти когорт (30 тыс. человек) и 25 тыс. человек переправил в Грецию (*Caesar*, В. с.; 3, 10).

войска под начальством Аппия Клавдия стояли у Луцерии, откуда тоже по шоссированной дороге можно было почти во столько же времени достигнуть столицы. Прочие войска Цезаря, не считая не привыкших еще к строю только что сформированных отрядов рекрутов, стояли частью на Сене и Луаре, частью в Бельгии, в то время как италийские резервы Помпея уже подходили со всех сторон на сборные пункты, гораздо раньше того момента, когда в Италию мог вступить авангард трансальпинской армии Цезаря; здесь могло собраться несравненно более значительное войско, готовое его встретить. Казалось безумием выступить с небольшим отрядом, напоминающим отряд Катилины, к тому же лишенным резервов, против численно превосходящей его армии, увеличивающейся ежечасно, с даровитым полководцем во главе; но если это было безумием, то одним из тех, которыми прославился Ганнибал. Если бы начало войны оттянулось до весны, испанские войска Помпея перешли бы в наступление в Трансальпинской Галлии, а италийские его отряды — в Цизальпинской провинции, и Помпей, как тактик стоявший на одном уровне с Цезарем, но превосходивший его опытностью, был бы в такой правильно развертывающейся войне страшным противником. Теперь же его, может быть, можно было застигнуть врасплох неожиданным нападением, так как он привык медленно оперировать массами войск; а то, что не могло напугать тринадцатый легион Цезаря после тяжкого опыта войны в Галлии и январского похода в области беллавоков — именно внезапность войны и тягости зимних переходов, должно было расстроить помпееву армию, состоявшую из прежних цезаревых солдат и плохо обученных новобранцев, среди которых только начинали наводить порядок.

Таким образом, Цезарь вступил в Италию*. Две шоссированные дороги вели тогда из Романьи на юг: Эмилиева — Кассиева, которая проходила из Бононии через Апеннины в Арреций и Рим, и Попилиева — Фламиниева, которая вела из Равенны по берегу Адриатического моря до Фанума и, разделяясь там, шла в западном направлении через Фурийский проход в Рим, в южном же — в Анкону и дальше в Апулию. По первой дороге Марк Антоний достиг Арреция, по второй наступал сам Цезарь. Они нигде не встречали сопротивления: аристократические офицеры-вербовщики, в сущности, не были военными, массы рекрутов не были солдатами, жители городов только и

* Постановление сената было вынесено 7 января; 18-го же в Риме уже в течение нескольких дней было известно о переходе Цезаря через Рубикон (*Cicero, Ad Att., 7, 10, 9, 4*). Гонцу необходимо было для перехода из Рима в Равенну не меньше трех дней. Таким образом, выступление армии Цезаря произошло 12 января (по исправленному календарю 24 ноября 704 г.).

были озабочены тем, как бы не подвергнуться осаде. Когда Курион с 1500 воинами подошел к Игувию, где были собраны тысячи две умбрийских новобранцев под начальством претора Квинта Минуция Терма, при одном известии о приближении неприятеля полководец и солдаты спаслись бегством. То же повторялось повсюду. Цезарь мог идти на Рим, к которому его всадники уже приблизились в Арреции на расстоянии 28 миль, или же идти против легионов, стоявших в Луцерии. Он выбрал последнее.

Растерянность враждебной партии была безгранична. Помпей получил в Риме известие о приближении Цезаря; сначала он как будто намеревался защищать столицу, но, когда была получена весть о наступлении Цезаря на Пиценскую область и о первых его успехах, он оставил мысль об обороне и приказал очистить город. Панический страх, увеличившийся из-за ложного слуха, будто бы конница Цезаря уже показала у городских ворот, охватил весь аристократический мир. Сенаторы, которым было объявлено, что каждый остающийся в столице будет считаться сообщником бунтовщика Цезаря, толпами бросились за городские ворота. Сами консулы так растерялись, что даже не позаботились о том, чтобы спрятать казну в безопасное место; когда же Помпей потребовал, чтобы они ее вывезли, так как для этого было еще достаточно времени, они ему велели передать, что для этого он сначала должен занять Пицен. Никто не знал, что предпринять; в Теане Сидицинском (23 января) состоялось заседание военного совета; Помпей, Лабие и оба консула присутствовали на нем. Прежде всего нужно было обсудить мирные предложения Цезаря; даже теперь он выразил готовность тотчас же распустить свое войско, передать свои провинции указанным преемникам и в законном порядке добиваться консульства, если Помпей отправится в Испанию, а Италия будет разоружена. Ответ был следующий: если он тотчас же вернется в свою провинцию, разоружение Италии и отъезд Помпея будут осуществлены путем сенатского постановления, которое будет вынесено в столице в предусмотренной законом форме; может быть, этот ответ и не был неуклюжим обманом и действительно направлен был к тому, чтобы принять предложения Цезаря, во всяком случае этим были достигнуты обратные результаты. Личное свидание с Помпеем, которого хотел Цезарь, было отклонено Помпеем, и он должен был его отклонить, чтобы еще больше не возбудить недоверие конституционной партии возможностью коалиции с Цезарем. Относительно ведения войны в Теане было решено, что Помпей возьмет на себя начальство над войсками, стоящими у Луцерии, на которые возлагались все надежды, несмотря на их ненадежность; с ними Помпей должен вступить в родной ему и Лабиеву Пицен, лично призвать к оружию ополчение (как он сделал это 35 лет тому назад) и во главе

верных ему пиценских войск и опытных цезаревых солдат остановить наступление врага.

Все зависело от того, продержится ли Пиценская область до того момента, когда подойдет Помпей, чтобы защитить ее. Но Цезарь, соединившись со своей армией, уже вступал в ее пределы, двигаясь по прибрежной дороге через Анкону. И здесь вооружение шло полным ходом; в самом северном пиценском городе — Ауксиме — стоял довольно значительный отряд новобранцев под начальством Публия Аттия Вара. По просьбе муниципалитета Вар очистил город, прежде чем появился Цезарь; горсть цезаревых солдат, догнавших отряд Вара недалеко за Ауксимом, полностью рассеяла его после непродолжительного сражения — это была первая битва в эту войну. Точно так же вскоре после этого Гай Луцилий Гирр с 3 тыс. человек очистил Камерин, а Публий Лентул Спинтер с 5 тыс. солдат — Аскул. Преданные Помпею войска большей частью покорно покинули свои дома и вслед за полководцем перешли границу; но сама область уже была потеряна, когда туда прибыл посланный Помпеем для ее защиты Луций Вибуллий Руф, незнатный сенатор, но понимающий свое дело военный; он должен был довольствоваться тем, что отобрал у неумелых вербовщиков уцелевшие 6—7 тыс. рекрутов и повел их к ближайшему сборному пункту.

Это был Корфиний, центр рекрутского набора альбанской, марсийской и пелигнийской территории; сосредоточенная здесь масса рекрутов, приблизительно 15 тыс. человек, составляла контингент наиболее воинственной и надежной области в Италии, ядро сформировавшегося войска конституционной партии. Когда сюда прибыл Вибуллий, Цезарь был еще в нескольких днях пути от города; ничто не мешало, согласно инструкциям Помпея, немедленно выступить в поход и повести уцелевших пиценских солдат, а также собранных в Корфинии рекрутов к главной армии в Апулию, но в Корфинии командовал предполагаемый преемник Цезаря по наместничеству Трансальпинской Галлии, Луций Домиций, один из самых ограниченных и упрямых представителей римской аристократии. Он не только сам не исполнил приказания Помпея, но помешал Вибуллию двинуться с пиценским ополчением в Апулию. Он был настолько убежден в том, что Помпей медлит только из упрямства и непременно явится на выручку, что почти не приготовился к осаде и даже не стянул в Корфиний отрядов новобранцев, размещенных по окрестным городам. Помпей, однако, не явился и если он мог воспользоваться своими двумя ненадежными легионами как поддержкой для пиценского ополчения, то ни в каком уже случае не мог с ними одними дать битву Цезарю. Спустя несколько дней (14 февраля) прибыл Цезарь. К его войскам присоединились в Пицене двенадцатый, а перед Корфинием восьмой из трансальпинских легионов; кроме того, из пленных

и добровольно перешедших на сторону Цезаря отрядов Помпея, а также из набранных повсюду рекрутов было образовано три новых легиона, так что у Корфиния Цезарь оказался во главе армии в 40 тыс. солдат, половина которых имела опыт в военном деле. Пока Домиций еще надеялся на прибытие Помпея, он приказывал защищать город, но, когда письма Помпея разочаровали его, он решил не оставаться больше в этой безнадежной позиции, чем оказал бы величайшую услугу своей партии, и даже не капитулировать, а, объявив солдатам о скором прибытии подкреплений, вместе с аристократическими офицерами в следующую же ночь бежать из города. Но даже этот недостойный план он не сумел привести в исполнение. Его поведение выдало его; часть войск взбунтовалась; марсийские рекруты, которые считали своего полководца неспособным на такую низость, хотели даже бороться с бунтовщиками, но затем и они убедились в справедливости обвинения, и тогда вся масса солдат захватила штаб и вместе с ним и со всем городом сдалась Цезарю (20 февраля). После этого, как только показались конные патрули Цезаря, сложили оружие трехтысячный отряд в Альбе и 1500 рекрутов, собранных в Таррацине; третий отряд в Сульмоне, состоявший из 3500 человек, еще раньше вынужден был сдаться.

Как только Цезарь завладел Пиценом, Помпей решил, что Италия для него потеряна; теперь он только хотел отсрочить посадку на суда, чтобы спасти из своих войск то, что еще можно было спасти, и стал поэтому медленно подвигаться к ближайшему портовому городу — Брундизию. Здесь собрались оба легиона из Люцерии и те рекруты, которых Помпей мог наскоро собрать в обезлюдевшей Апулии, равно как и войска, набранные консулами и другими уполномоченными в Кампании и спешно приведенные в Брундизий. Туда же направилось много политических эмигрантов, в том числе именитейшие сенаторы со своими семьями. Посадка на суда началась, но запасных судов оказалось недостаточно, чтобы перевезти всех за один раз — до 25 тыс. человек.

Ничего другого не оставалось, как разделить войско на две части. Наиболее значительная часть была отправлена в первую очередь (4 марта), с меньшей же, приблизительно 10 тыс. человек, Помпей решил остаться в Брундизии и ждать возвращения флота; как ни желательно было, на случай новой попытки завоевать Италию, удержать в своих руках Брундизий, никто не мог настолько полагаться на свои силы, чтобы долго держаться против Цезаря. Тем временем Цезарь появился перед Брундизием; осада началась. Цезарь прежде всего пытался запретить вход в гавань при помощи плотин и плавучих мостов, чтобы не впустить возвращающийся флот; однако Помпей приказал вооружить находившиеся в гавани торговые суда и сумел до тех пор мешать полной блокаде порта, пока не явился флот и не увез в

Грецию войска, выведенные Помпеем из города, несмотря на бдительность осаждавших и враждебное настроение городских жителей (17 марта). Из-за отсутствия флота не удалась ни осада, ни дальнейшее преследование. За время своего двухмесячного похода, не дав ни одного серьезного сражения, Цезарь так ослабил армию Помпея, состоящую из десяти легионов, что лишь меньшая ее часть с великим трудом бежала за море, и весь италийский полуостров со столицей, государственной казной и всеми накопленными в Риме запасами очутился во власти победителя. Не без основания жаловалась разбитая партия на ужасающую быстроту действия, предусмотрительность и энергию «чудовища».

Несмотря на все это, трудно было сказать, выиграл ли Цезарь или проиграл от завоевания Италии. С точки зрения военной у противников действительно были отняты и приспособлены к потребностям Цезаря многие вспомогательные средства; уже весной 705 г. благодаря произведенным всюду массовым рекрутским наборам его армия насчитывала, кроме прежних девяти легионов, значительное число новых, составленных из рекрутов. С другой стороны, явилась потребность не только оставить теперь в Италии оккупационный корпус, но также принять меры против задуманной господствовавшим на море противником морской блокады и против голода, который в связи с этим замыслом угрожал в особенности столице; всем этим еще больше усложнялась военная задача Цезаря, и без того достаточно сложная. В финансовом отношении имело значение, конечно, то, что Цезарю удалось завладеть наличными средствами столицы — 4135 фунтов золота и 900 тыс. фунтов серебра, но главный источник дохода столицы — дань с Востока — был в руках врагов, и при все возраставших потребностях армии, а также благодаря новым обязательствам по отношению к нуждающемуся населению столицы найденные Цезарем крупные суммы растаяли так быстро, что он был вынужден прибегнуть к частному кредиту, а так как казалось невозможным долго продержаться и при его помощи, всем стало ясно, что остается еще только одно средство — обширные конфискации.

Еще более серьезные затруднения подготовлялись теми политическими условиями, в которых очутился Цезарь, завоевав Италию. В собственнических классах всеобщей была боязнь анархического переворота. Враги и друзья видели в Цезаре второго Катилину; Помпей был убежден — или по крайней мере так говорил, — что только невозможность уплатить долги заставила Цезаря начать гражданскую войну.

Это, конечно, был абсурд; но прошлое Цезаря действительно производило далеко не благоприятное впечатление; еще меньше уверенности внушала окружавшая его свита. Личности, пользовавшиеся самой скверной репутацией, вроде Квинта Гортензия, Гая Куриона,

Марка Антония — пасынка Лентула, приверженца Катилины, казненного по приказанию Цицерона, играли тут первую роль. Высшие и самые ответственные посты поручались людям, которые давно уже перестали даже считать свои долги. Все видели, как ставленники Цезаря не только содержат танцовщиц, — это делали и другие, — но появлялись публично с подобными потаскухами. Удивительно ли, что люди серьезные и чуждые политических партий ждали амнистии для всех бежавших преступников, упразднения долговых книг, многочисленных приказов о конфискациях, изгнаниях и убийствах, даже разграбления Рима галльской солдатчиной? Но в этом отношении «чудовище» обмануло ожидания своих врагов и друзей.

Как только был занят первый италийский город Аримин, Цезарь запретил солдатам показываться вооруженными внутри городских стен; италийские города были охранены от всяких злоупотреблений и насилии, независимо от того, дружелюбно или враждебно они встретили Цезаря. Когда взбунтовавшийся гарнизон поздно вечером сдал Корфиний, Цезарь, вопреки всем военным предосторожностям, отложил занятие города до утра только для того, чтобы не подвергать граждан опасности вступления в него ночью раздраженных солдат. Из числа пленных рядовые, которых считали политически индифферентными, зачислялись в армию Цезаря, офицеров же не только щадили, но, не вынуждая у них никаких обещаний, отпускали на свободу, невзирая на лица, а то, на что они заявляли притязания, как на свою частную собственность, выдавалось им без особо придирчивых расследований правильности этих заявлений. Так обошлись даже с Луцием Домицием, даже Лабиеву были отосланы в неприятельский лагерь оставленные им деньги и вещи. Несмотря на тяжелое финансовое положение, были пощажены имения как отсутствующих, так и оставшихся противников; Цезарь даже предпочитал брать займы у друзей, чем прибегать к взиманию формально правильного, но на деле устаревшего поземельного налога, что восстановило бы против него класс собственников. Победитель считал, что его победа разрешила лишь половину задачи, да и то не самую трудную; залог устойчивости успеха, по его собственному признанию, он видел лишь в безусловном помиловании побежденных, и поэтому во время всего похода от Равенны до Брундизия неустанно возобновлял попытки добиться личного свидания и приемлемого соглашения с Помпеем. Но если раньше аристократия и слышать не хотела о каком-нибудь примирении, то неожиданная и позорная эмиграция довела ее гнев до безумия; дикая жажда мести охватила побежденных и являлась странным контрастом с примирительным настроением победителя.

Известия, регулярно доставляемые из лагеря эмигрантов оставшимся в Италии друзьям, были переполнены проектами конфискаций и проскрипций, очищения сената и государства; по сравнению с

ними реставрация Суллы казалась детской забавой, и даже умеренные сторонники той же партии с ужасом прислушивались к ним.

Безумная страсть бессилия и мудрая умеренность власти возымели свое действие. Та масса людей, для которых материальные интересы были выше политических, бросилась в объятия Цезаря. Итальянские города превозносили до небес «прямодушие, умеренность, мудрость» победителя, и даже противники допускали, что эти восхваления искренни. Высшие финансовые сферы, откупщики налогов и присяжные после крушения, постигшего конституционную партию в Италии, не имели особого желания довериться впредь тем же кормчим; капиталы опять вышли наружу, и «богатые люди приступили опять к своей ежедневной работе ведения долговых книг». Даже значительное большинство сенаторов (правда, только по численности, так как среди них было очень мало знатнейших и виднейших членов сената), вопреки приказаниям Помпея и консулов, остались в Италии, частью даже в самой столице, и примирились с режимом Цезаря. Кротость Цезаря, искусно рассчитанная, несмотря на ее кажущуюся неумеренность, достигла цели; непомерный страх анархии, охвативший состоятельные классы, был в известной степени ослаблен. Для будущего это был, конечно, огромный выигрыш: избежать анархии и рассеять не менее опасный страх перед ней было существенным условием будущего переустройства государства.

Но в данный момент мягкость Цезаря была для него опаснее, чем могло бы быть возобновление безумств Цинны и Катилины; она не превратила врагов в друзей, а друзей сделала врагами. Сторонники Цезаря из катилинариев роптали, потому что нельзя было ни убивать, ни грабить; от этих смелых, отчаянных и частью даже даровитых людей можно было ждать самых рискованных выходов.

Республиканцев же всех оттенков милость победителя не могла ни примирить, ни обратить на иной путь. Согласно кредо катоновой партии, ее обязанности по отношению к тому, что она называла отечеством, освобождали ее от всяких других соображений; даже тот, кто обязан был Цезарю свободой и сохранением жизни, имел право и даже был обязан поднять против него оружие или по крайней мере участвовать в заговоре против него. Более умеренные фракции конституционной партии, правда, проявляли готовность принять из рук нового монарха мир и безопасность, но, несмотря на это, они не переставали от всего сердца проклинать монархию и монарха. Чем яснее выступало изменение конституции, тем определеннее проявлялось в сознании значительного большинства граждан республиканское настроение как в столице, более возбужденной в политическом отношении, так и вне ее в энергичном сельском и городском населении Италии. Правы были поэтому сторонники конституции, находившиеся в Риме, когда они извещали своих единомышленников-эмигрантов, что

на родине как все сословия, так и отдельные личности настроены в пользу Помпея. Тяжелое настроение всех этих кругов еще усиливалось тем моральным давлением, которое оказывали на массу спокойных и безразлично настроенных людей их более решительные и знатные единомышленники в качестве эмигрантов. Честный человек испытывал угрызения совести, потому что он остался в Италии; полуаристократ считал, что приравнивал себя к плебеям, если не последовал за Домициями и Метеллами в изгнание и если заседал в цезаревом сенате вместе с ничтожествами. Мягкость победителя придавала этой безмолвной оппозиции усиленное политическое значение; так как Цезарь воздерживался от террора, его тайные враги считали для себя безопасным проявлять на деле свое отрицательное отношение к его правлению.

Очень скоро Цезарю пришлось убедиться в этом на примере сената. Цезарь начал борьбу, чтобы освободить терроризированный сенат от его поработителей; это и было приведено в исполнение. Он хотел теперь, чтобы сенат одобрил все, что произошло, хотел получить от сената полномочия на продолжение войны. С этой целью, когда Цезарь появился перед столицей (в конце марта), народные трибуны, принадлежавшие к его партии, созвали сенат (1 апреля). Собрание было довольно многочисленное, но даже из оставшихся в Италии сенаторов самые именитые все-таки не явились; не явился даже бывший глава раболопного большинства Марк Цицерон и тесть Цезаря Луций Пизон, а что было еще хуже, даже и собравшиеся сенаторы не были расположены принять предложения Цезаря. Когда Цезарь заговорил о полномочиях на продолжение войны, один из двух присутствующих консуляров, Сервий Сульпиций Руф, очень боязливый от природы и желавший себе мирной кончины в собственной постели, сказал, что заслуга Цезаря перед отечеством была бы велика, если бы он отказался от мысли перенести войну в Испанию и Грецию. Когда же Цезарь обратился к сенату с просьбой передать по крайней мере его мирные предложения Помпею, против этого, правда, не было возражений, но угрозы эмигрантов до того напугали нейтральных людей, что никто не решился передать весть о мире. Нежелание аристократии помочь установлению трона монарха и та же апатичность высокого собрания, благодаря которой незадолго до этого Цезарь расстроил легальное назначение Помпея главнокомандующим в гражданской войне, помешали осуществлению такого же желания со стороны Цезаря. За этим пошли и другие препятствия. Цезарь, желая каким-либо способом урегулировать свое положение, хотел, чтобы его назначили диктатором; это ему не удалось, так как согласно конституции диктатор мог быть назначен только одним из консулов, а попытка подкупить консула Лентула, имевшая, несомненно, шансы на успех ввиду его финансовых затруднений, не удалась. Народный

трибун Луций Метелл заявил протест против всех действий проконсула, и, когда люди Цезаря пришли, чтобы опустошить государственную казну, сделал вид, что собирается ее отстоять ценой своей жизни. Цезарю необходимо было поделкатнее отстранить этого неуязвимого человека; впрочем, он и теперь остался верен своему решению воздержаться от всяких насильственных мер. Сенату же Цезарь объявил (как незадолго до этого сделала и конституционная партия), что действительно был намерен урегулировать положение дел законным путем и при помощи высшего государственного учреждения; но раз ему в помощи отказывают, он обойдется и без нее.

Не считаясь больше ни с сенатом, ни с формальностями государственного права, он передал временное заведование столицей претору Марку Эмилию Лепиду как городскому префекту и предписал меры, необходимые как для управления повинующимися ему областями, так и для продолжения войны. Даже среди грохота исполинской войны, даже несмотря на заманчивость щедрых обещаний Цезаря на столичную массу произвело глубокое впечатление то обстоятельство, что впервые в свободном Риме монарх единовластно распоряжался всем и его солдаты взламывали двери казначейства. Но миновали уже те времена, когда настроения и ощущения массы определяли ход событий; теперь решали дело легионы, и никто не заботился особенно о том, будет ли больше или меньше тяжелых ощущений.

Цезарь спешил возобновить войну. Своими прежними успехами он до сих пор был обязан наступлению и впредь решил держаться такой же тактики. Положение его противника было странное. Когда первоначальный план одновременно повести наступление из Италии и Испании на обе Галлии был расстроен наступлением самого Цезаря, Помпей собирался покинуть Италию и отправиться в Испанию, где его позиция была очень сильна. Войско состояло из семи легионов; в нем было много ветеранов Помпея, а многолетние бои в лузитанских горах закалили и солдат и офицеров. В числе полководцев был Марк Варрон, правда, только знаменитый ученый, но, кроме того, и верный приверженец Помпея; однако Луций Афраний с отличием сражался на Востоке и в Альпах, а Марк Петрей, победитель Катилины, был так же бесстрашен, как и даровит. Если в Дальней Испании у Цезаря еще осталось несколько приверженцев со времен его наместничества, то более важная область на реке Эбро была связана узами уважения и благодарности со знаменитым полководцем, который за двадцать лет до этого стоял во главе ее во время серторианской войны, а по окончании войны дал провинции новое устройство. После италийского разгрома Помпею ничего не оставалось лучшего, как отправиться туда с остатками войска и стать во главе соединенных сил против Цезаря. К несчастью, в надежде на то, что ему удастся спасти свои войска, стоявшие в Корфинии, он так долго оставался в

Апулии, что вынужден был избрать местом посадки войск на суда не кампанские гавани, а Брундизий. Почему, господствуя на море и в Сицилии, он не вернулся к первоначальному плану, трудно сказать; может быть, аристократия по своей недалёковидности и недоверчивости не проявила желанья доверить свою судьбу испанским войскам и населению, но важно то, что Помпей остался на Востоке, и Цезарь мог по своему выбору повести наступление прежде всего против армии, организовавшейся в Греции под личным руководством Помпея, или же против готовых уже к бою войск подчиненных ему полководцев в Испании. Он решился на последнее и, когда италийская кампания приближалась к концу, принял меры, чтобы собрать на низовьях Роны девять лучших своих легионов и 6 тыс. всадников, — частью поодиночке выбранных им самим в кельтских округах, частью же германских наемников, — а также некоторое число иберийских и лигурийских стрелков.

Но именно в этой области стали развивать энергичную деятельность и его противники. Назначенный по воле сената наместником Трансальпинской Галлии вместо Цезаря Луций Домиций, как только он был отпущен Цезарем на свободу из Корфиния, отправился со своим отрядом и в сопровождении помпеева доверенного лица Луция Вибуллия Руфа в Массалию и действительно убедил ее стать на сторону Помпея и даже помешать проходу цезаревых войск. Из испанской армии два наименее надежных легиона остались в Дальней провинции под начальством Варрона; зато пять лучших легионов, подкрепленных 40 тыс. человек испанской пехоты, — частью кельтиберийских линейных войск, частью лузитанских и других легко вооруженных отрядов — и 5 тыс. испанских всадников под начальством Афрания и Петрея двинулись по приказанию Помпея, переданному Вибуллием, чтобы преградить врагу переход через Пиренеи.

В это время Цезарь лично прибыл в Галлию и, ввиду того что приготовления к осаде Массалии еще задерживали его здесь, послал значительную часть собранных им на Роне войск — шесть легионов и конницу — по большому шоссе, которое вело через Нарбонн (Нарбонна) в Роде (Розас), чтобы поспеть к Пиренеям раньше неприятеля. Это ему удалось вполне; когда Афраний и Петрей прибыли к горным проходам, они обнаружили, что те уже были заняты войсками Цезаря. После потери линии Пиренеев они заняли позицию между горами и рекой Эбро у Илерды (Лерида). Этот город лежит в 4 милях к северу от Эбро, на правом берегу его притока Сикориса (Сегры), который можно было перейти только по одному крепкому мосту у самой Илерды. К югу от Илерды горы, расположенные вдоль левого берега Эбро, подходят довольно близко к городу; на севере, по обеим сторонам Сикориса, находится равнина, над которой возвышается холм, где и построен город. Для армии, которая должна была выдержать осаду,

эта позиция была превосходна, но оборона Испании после неудавшегося занятия Пиренеев могла серьезно возобновиться лишь за Эбро, а так как не было обеспечено сообщение между Илердой и Эбро и через эту реку не было моста, отступление от временной позиции к настоящей оборонительной линии не было достаточно защищено. Цезарианцы заняли прочное положение выше Илерды, в дельте, которую образует река Сикорис и сливающаяся с ней ниже Илерды Цинга (Синка), но нападение было предпринято только тогда, когда в лагерь приехал Цезарь (23 июня). Под стенами города борьба с обеих сторон шла с одинаковым ожесточением и храбростью, а также с переменным успехом; цезарианцам не удалось достигнуть цели — занять прочную позицию между помпеевым лагерем и городом и захватить каменный мост; сообщаться с Галлией они могли только при помощи двух мостов, которые они наскоро перекинули через Сикорис в 4 или 5 милях выше Илерды, так как у самого города река становится уже слишком широкой для такого моста.

Когда с наступлением оттепели началось половодье, вода снесла эти временные мосты. Так как не было судов, чтобы переправиться через широко разлившиеся реки и при таких обстоятельствах нечего было и думать о восстановлении переправы, движение армии Цезаря было ограничено узким пространством между Цингой и Сикорисом, на левый берег Сикориса и дороги, по которым армия сообщалась с Галлией и Италией, почти без всякой обороны были отданы помпеянам, которые перешли реку частью по городскому мосту, частью переплыли ее, по лузиатанскому обычаю, на бурдюках. Это было незадолго до жатвы; старый хлеб был почти весь съеден, новый еще не собран, а узкая полоса земли между двумя потоками была уже использована. В лагере начался настоящий голод — за меру пшеницы платили 300 денариев, начались серьезные болезни, а на левом берегу в это время накапливался провиант и самые разнообразные запасы, кроме того, прибывали всевозможные подкрепления: присланные из Галлии конница и стрелки, находившиеся в отпуске офицеры и солдаты, возвращающиеся партизанские отряды, всего до 6 тыс. человек, на которых помпеянцы напали с превосходными силами, отбросив их в горы с большими потерями. Цезарианцы вынуждены были смотреть на неравный бой, стоя на правом берегу и не имея возможности что-либо предпринять. Пути сообщения цезаревой армии были в руках помпеевых войск; внезапно в Италии перестали получать известия из Испании; тревожные слухи, которые начали распространяться благодаря этому, не были далеки от истины. Если бы помпеянцы с умением и выдержкой использовали свои успехи, им, несомненно, удалось бы захватить армию, оттесненную на левый берег Сикориса, которая едва способна была защищаться, или отбросить ее в Галлию и так прочно занять этот берег, чтобы без их ведома ни один человек

не мог переправиться через реку. И та и другая возможность была упущена; часть цезаревых войск была действительно отброшена с потерями, но не уничтожена и окончательно не вытеснена, и никто не мешал цезарианцам переправиться через реку.

На этом Цезарь и построил свой план. Он приказал изготовить в лагере переносные лодки из легких досок и прутьев с кожаной обшивкой наподобие тех, которые употреблялись у британцев на Ламанше, а позднее у саксов, и переправить их на колесах к тем местам, где прежде стояли мосты. На этих утлых челноках добрались до другого берега и, когда оказалось, что он не защищен, без особого труда восстановили мосты; вслед за этим был очищен путь и доставлен в лагерь нетерпеливо ожидаемый провиант. Таким образом, удачная мысль Цезаря спасла войско от страшной опасности, которой оно подвергалось. Цезарева конница, своими качествами превосходившая неприятельскую, тотчас же стала объезжать по всем направлениям местности, расположенные на левом берегу Сикориса. Многие крупные испанские общины между Пиренеями и Эбро, — Оска, Тарракон, Дертоса и другие, — некоторые даже к югу от Эбро, начинали переходить на сторону Цезаря.

Благодаря действиям цезарианских отрядов и переходу прилегающих общин на сторону Цезаря, снабжение армии Помпея очень сократилось; помпеянцы, наконец, решили отступить за линию Эбро и поспешно перебросить понтонный мост через реку, ниже впадения Сикориса. Цезарь пытался отрезать неприятелю отступление за Эбро и задержать его в Илерде; но пока в руках помпеянцев был илердский мост, а сам Цезарь не мог пройти ни бродом, ни по мосту, его армия не имела возможности разделиться и идти по обоим берегам реки, чтобы окружить Илерду. Его солдаты поэтому днем и ночью рыли окопы, отводным каналом хотели довести воду в реке до такого уровня, чтобы пехота могла перейти ее вброд. Но приготовления помпеянцев к переходу через Эбро окончились раньше, чем приготовления солдат Цезаря к блокаде Илерды; когда враги начали переходить по готовому уже мосту на левый берег Сикориса, по направлению к Эбро, отводные каналы цезарианцев, по мнению полководца, все еще были недостаточно глубоки, чтобы пехота могла бродом перейти реку; только коннице было приказано перейти реку и идти по пятам за врагом, по возможности задерживать его и причинять ему вред.

Но когда на рассвете легионы Цезаря увидели неприятельские колонны, отступавшие еще с полуночи, они верным инстинктом опытных ветеранов поняли стратегическое значение этого отступления, заставлявшего их следовать за врагом в отдаленные, непроходимые края, наводненные неприятельскими отрядами; по просьбе самих легионов полководец решил переправить через реку и пехоту; хотя вода доходила людям до плеч, переправа произошла без несчастий.

Однако время едва не было упущено. Если бы помпеева армия успела пройти равнину и вступила бы в горы, невозможно было бы помешать ее отступлению за Эбро. Несмотря на постоянные нападения неприятельской конницы, чрезвычайно замедлявшей движение помпеянцев, измученные переходом, они решили отказаться от своего первоначального плана — в тот же день пройти всю равнину, — остановились и расположились лагерем. Здесь их нагнала пехота Цезаря, которая вечером и ночью тоже расположилась лагерем недалеко от них; задуманный помпеянами ночной поход был отменен из боязни нападений со стороны неприятельской конницы. И на следующий день обе армии простояли без движения, стараясь только исследовать местность.

На третий день рано утром пехота Цезаря выступила, чтобы, пройдя через лишённые путей горы, находившиеся в стороне от дороги, обойти позицию противника и отрезать ему сообщение с Эбро. Помпеевы начальники не сразу догадались о цели этого странного похода, который, как им вначале казалось, вел обратно к лагерю под Илердой. Когда же они, наконец, все поняли, то, бросив лагерь и обоз, быстрым маршем двинулись вперед по главной дороге, чтобы занять прибрежный хребет раньше цезарианцев. Оказалось, что они уже опоздали, — на большой дороге стояли массы неприятельских войск. Отчаянная попытка помпеянцев по крутым склонам найти другой путь к Эбро была предотвращена конницей Цезаря, которая окружила посланные для этого лузитанские войска и совершенно разбила их. Если бы дело дошло до сражения между павшей духом армией Помпея, за которой двигалась неприятельская конница, а впереди которой находилась пехота, и цезарианцами, исход боя не подлежал бы сомнению; поводов для столкновений было много, однако Цезарь не воспользовался ими, не без труда сдерживая своих нетерпеливо рвавшихся в бой и уверенных в победе солдат. В стратегическом отношении помпеева армия и без того была потеряна. Цезарь не хотел ослабить свою армию бесполезным кровопролитием и еще усилить и без того острый характер междоусобия. После того как помпеянцев удалось отрезать от Эбро, солдаты обеих армий стали брататься и вести переговоры о сдаче; условия, поставленные помпеянами, — пощадить офицеров — были приняты Цезарем, как вдруг Петрей со своей охраной из рабов и испанцев подкрался к парламентарам и приказал убить цезарианцев, которых ему удалось захватить. Несмотря на это, Цезарь отослал обратно пришедших к нему в лагерь помпеевых солдат, не причинив им никакого вреда, и по-прежнему продолжал искать возможности мирного исхода. Илерда, где у помпеянцев оставался еще гарнизон и значительные запасы, была целью их похода; но, имея впереди неприятеля, а между собой и крепостью реку Сикорис, они шли, не приближаясь к цели. Их конница до того была запу-

гана, что пришлось ее поместить в центре пехоты, поставив легионы в арьергарде; доставка воды и фуража становилась все затруднительнее; уже приходилось закалывать вьючный скот, так как нечем было его кормить. Наконец, блуждавшая армия оказалась совершенно отрезанной — сзади был Сикорис, впереди неприятельское войско, окопавшееся рвами и валами. Помпеянцы пытались переправиться через реку, но германская конница Цезаря и легкая пехота опередили ее и заняли противоположный берег.

Никакая храбрость и верность присяге не могли отсрочить неизбежную капитуляцию (2 августа 705 г.). Цезарь не только даровал жизнь офицерам и солдатам, не только оставил им их имущество, не только отдал им все, что у них было отнято (за что он лично решил компенсировать солдат), но обещал старым легионерам Помпея, что никто из них не будет вынужден против своего желания вступить в армию Цезаря, между тем как взятые в плен в Италии новобранцы были насильно зачислены в его войско. Он требовал только, чтобы каждый из них сдал оружие и вернулся на родину. Согласно с этим, солдаты родом из Испании — около трети всей армии — были отпущены сейчас же, а уроженцы Италии — на границе Трансальпинской и Цизальпинской Галлии.

После уничтожения этой армии Ближняя Испания сама отдалась во власть победителя; в Дальней же, где от имени Помпея командовал Марк Варрон, этот начальник, получив известие о катастрофе под Илердой, счел более благоразумным удалиться в островной город Гадес и спрятать там значительные суммы денег, полученные от конфискации сокровищ храмов и имущества богатых цезарианцев, а также укрыть там значительный флот, снаряженный им, и два вверенных ему легиона. Но при первом же известии о приближении Цезаря важнейшие города этой провинции, издавна преданной Цезарю, высказались за него и либо изгоняли помпеевы гарнизоны, либо принуждали их к отпадению; так сделали Кордуба, Кармон и даже Гадес. Один из легионов самовольно выступил в Гиспалис и вместе с этим городом перешел на сторону Цезаря. Когда же Италика, наконец, заперла ворота перед Варроном, он решил капитулировать.

Почти в то же время сдалась и Массалия. Массалиоты с редкой энергией не только выдержали осаду, но и на море могли помериться с Цезарем, — ведь это была их родная стихия, к тому же они имели основание надеяться, что получают сильную поддержку от Помпея, который один господствовал на море. Но подчиненный Цезарю полководец, опытный Децим Брут, тот самый, который одержал первую победу над венетами на океане, сумел быстро снарядить флот и, несмотря на стойкий отпор неприятельского флотского экипажа, состоящего частью из альбикских наемников массалиотов, частью — из пастухов-рабов Домиция, одержал победу над сильным массалиотс-

ким флотом при помощи своих храбрых матросов, набранных из легионеров; большую часть судов он или потопил или захватил в качестве добычи. Когда после этого небольшая помпеева эскадра под начальством Луция Насидия, шедшая с Востока мимо Сицилии и Сардинии, пришла в гавань Массалии, жители города возобновили борьбу на море и вместе с кораблями Насидия двинулись против Брута. Если бы во время этого сражения, происшедшего близ высот Тавроиса (Ла-Сиота — к востоку от Марселя), корабли Насидия сражались с таким же отчаянным мужеством, какое проявили в этот день суда массалиотов, неизвестно, какой был бы еще исход, но бегство насидиевых судов решило сражение в пользу Брута. Остатки помпеева флота бежали в Испанию. Осажденные были окончательно вытеснены с моря. На суше, где осаду вел Гай Требоний, был оказан и дальше самый решительный отпор; но, несмотря на частые вылазки альбикских наемников и искусное применение большого числа имевшегося в запасе оружия, работы осаждавших подошли к самым стенам, и одна из башен упала. Массалиоты заявили, что отказываются от обороны, но хотят сдаться самому Цезарю, и потому просили начальников римского войска приостановить осадные работы до прибытия Цезаря. Требоний имел приказание от Цезаря по возможности щадить город и потому согласился на перемирие. Но так как массалиоты воспользовались им для вероломной вылазки, во время которой они сожгли половину римских укреплений, оставленных почти без надзора, борьба возобновилась с еще большим озлоблением. Искусный римский полководец с изумительной быстротой восстановил уничтоженные неприятелем башни и плотину. Вскоре массалиоты снова были окружены со всех сторон.

Когда Цезарь, возвращаясь после покорения Испании, появился возле Массалии, город был доведен до крайности неприятельскими нападениями, голодом и повальными болезнями; во второй раз, и теперь уже всерьез, Массалия готова была сдаться на любых условиях. Один только Домиций, помня, как злоупотребил он милостью победителя, на лодке прокрался между рядами римских кораблей, чтобы найти третье поле сражения для удовлетворения своей непримиримой ненависти. Солдаты Цезаря поклялись перерезать все мужское население вероломного города и бурно требовали, чтобы полководец подал знак к грабежу. Но Цезарь и здесь не терял из виду великую задачу упрочения эллино-италийской цивилизации на Западе и не допустил повторения сцен разрушения Коринфа. Массалия, — из всех некогда многочисленных свободных и могучих на море городов старых ионийских мореходов, наиболее отдаленный от общей родины, сумевший дольше всех сохранить у себя быт эллинских мореходов во всей его первоначальной свежести и чистоте и в то же время последний греческий город, который еще боролся на море, — Массалия

лия все же принуждена была выдать победителю свои склады оружия и запасы флота, утратила часть своей территории и свои привилегии, но сохранила все же свободу и национальность; хотя и стесненная в материальном отношении, она осталась и впредь таким же центром эллинской культуры в далекой кельтской стране, получившей теперь новое историческое значение.

В то время как как в западных областях после многих тяжелых препятствий война, наконец, завершилась в пользу Цезаря, Испания и Массалия были покорены и вся главная неприятельская армия до последнего человека была взята в плен, произошла развязка и на втором театре войны, где Цезарь счел нужным тотчас же после завоевания Италии начать наступление. Мы уже говорили, что помпеянцы собирались взять Италию измором. Средства для этого у них были под руками. Они бесспорно господствовали на море и везде, в Гадесе, Утике, Мессане, в особенности же на Востоке, прилагали большие усилия, чтобы увеличить свой флот; кроме того, они располагали всеми провинциями, из которых столица получала продовольствие: Сардинией и Корсикой — благодаря Марку Котте, Сицилией — благодаря Марку Катону, Африкой — при помощи самочинного главнокомандующего Тита Аттия Вара и его союзника царя нумидийского Юбы. Цезарю было совершенно необходимо расстроить эти планы врага и отнять у него хлебородные провинции. Квинт Валерий был послан с легионом в Сардинию и заставил наместника Помпея очистить остров. Еще более важное предприятие — завоевание Сицилии и Африки — было поручено молодому Гаю Куриону, которому помогал в этом искусный и опытный в военном деле Гай Каниний Ребил. Сицилию он занял даже не обнажив оружия; Катон, не имевший настоящей армии и вовсе не военный человек, очистил остров, со своей обычной добросовестностью посоветовав населению не компрометировать себя бесполезным сопротивлением. Курион оставил для защиты этого острова, имеющего такое важное значение для столицы, половину своих войск и отплыл с остальными двумя легионами и 500 всадниками в Африку.

Он мог ждать здесь серьезного сопротивления; кроме значительной и в своем роде искусной армии Юбы наместник Вар образовал два легиона из живших в Африке римлян и выставил, кроме того, небольшую эскадру из десяти парусных судов. Но при помощи своего более сильного флота Курион беспрепятственно произвел высадку между Гадруметом, где стоял один неприятельский легион и военные суда, и Утикой, перед которой стоял второй легион под начальством самого Вара. Курион двинулся против последнего и расположился лагерем вблизи Утики, на том самом месте, где за полтора столетия перед тем Сципион Старший стал впервые на зимние квартиры в Африке. Цезарь, принужденный удержать свои лучшие войс-

ка для войны в Испании, должен был образовать свою африкано-сицилийскую армию, главным образом из отнятых у неприятеля легионов, взятых в плен при Корфинии; офицеры помпеевой армии в Африке, частью служившие прежде в побежденных при Корфинии легионах, пробовали всякими способами заставить своих прежних солдат, воевавших теперь против них, вспомнить о своей старой присяге. Но Цезарь не ошибся в выборе своего наместника.

Курион сумел не только руководить движениями войска и флота, но и приобрести личное влияние на солдат; продовольствие они получали обильное, сражения все без исключения были удачны. Когда Вар, предполагая, что войскам Куриона недостает только случая, чтобы перейти на его сторону, решил дать сражение, главным образом для того, чтобы предоставить им этот случай, результат не оправдал его ожиданий. Вдохновленные горячей речью своего молодого вождя, всадники Куриона обратили в бегство неприятельскую конницу и на глазах у обеих армий перерезали всю легкую пехоту, выступившую в бой вместе с кавалерией. Ободренные этим успехом и личным примером Куриона, легионы перешли труднопроходимое ущелье, разделявшее обе линии, и начали наступление, которого помпеянцы не ожидали; они постыдно бежали в свой лагерь, но ночью ушли и оттуда. Победа была столь полная, что Курион тотчас же приступил к осаде Утики. Но когда тем временем пришло известие о том, что Юба со своим войском идет на выручку, Курион решил — как это сделал некогда Сципион при появлении Сифакса — снять осаду и отойти в прежний сципионов лагерь, пока не придут подкрепления из Сицилии. Вслед за этим пришла другая весть: из-за нападения соседних властителей царь Юба вынужден был повернуть обратно со всем своим войском, послав на помощь осажденным лишь небольшой отряд под начальством Сабурры. Курион, по своей горячности лишь неохотно решившийся остановиться, тотчас же снова пошел вперед, чтобы сразиться с Сабуррой раньше, чем тот успеет соединиться с гарнизоном Утики.

Коннице Куриона, выступившей еще вечером, удалось внезапно напасть ночью на отряд Сабурры у Баграда и нанести ему немалый вред; получив известие об этой победе, Курион ускорил движение пехоты, чтобы с ее помощью завершить поражение врага. Вскоре на склонах гор, спускающихся к Баграду, появился отряд Сабурры, сражавшийся с римскими всадниками; подошедшие легионы окончательно оттеснили его в долину. Но тут военное счастье изменило Куриону. Сабурра не был, как предполагали его противники, лишен резервов; он находился на расстоянии не больше одной мили от главных сил нумидийского войска. Лучшие отряды нумидийской пехоты и 2 тыс. галльских и испанских всадников появились на поле сражения, чтобы поддержать Сабурру, а сам царь с главными силами и 16

слонами уже был недалеко. После ночного перехода и горячей схватки римских всадников осталось немногим больше 200 человек, и они и пехота были до крайности утомлены всеми передрыганиями и боями; в широкой равнине, куда они дали себя заманить, их со всех сторон окружили все увеличивающиеся массы неприятеля. Напрасно Курион пытался затеять рукопашный бой; ливийские всадники, по своему обыкновению, подавались назад, когда на них наступал римский отряд, и преследовали его, когда он поворачивал обратно. Напрасно старался Курион снова овладеть высотами; они были заняты, и путь к ним прегражден неприятельской конницей. Все было потеряно. Пехота была истреблена целиком. Из конницы лишь немногим удалось пробиться. Курион мог бы спастись, но он не в силах был и думать о том, чтобы явиться к своему повелителю без вверенного ему войска, и умер с оружием в руках. Даже воины, оставшиеся в лагере под Утикой, и флотский экипаж, который мог легко добраться до Сицилии, под впечатлением неожиданной страшной катастрофы на следующий же день сдались Вару (август или сентябрь 705 г.).

Так окончилась предпринятая по приказанию Цезаря африканосицилийская экспедиция. Но она достигла своей цели в том отношении, что с занятием Сицилии вместе с Сардинией были удовлетворены по крайней мере самые насущные потребности столицы. С неудавшимся завоеванием Африки, из которого победившая сторона все равно не могла бы извлечь в будущем никакой существенной пользы, с потерей двух ненадежных легионов еще можно было бы примириться. Но незаменимой утратой для Цезаря и даже для Рима была преждевременная смерть Куриона. Не без причины доверил Цезарь важнейший самостоятельный пост неопытному в военном деле и известному своей развратной жизнью молодому человеку: в этом пламенном юноше была искорка цезарева гения. И он, как Цезарь, осушил до дна чашу удовольствий; и он не потому стал государственным человеком, что был воином, а, наоборот, меч вложила ему в руки политическая деятельность; и его тактика была основана на возможно быстром применении незначительных военных сил; его красноречие точно так же не щеголяло округлостью периодов, но было отражением глубоко прочувствованной мысли; его характер также отличался легкостью, даже легкомыслием, привлекательной откровенностью и способностью наслаждаться минутой. Если, как говорит о нем его полководец, юношеская горячность и высокая отвага толкнули его на неосторожные поступки, и если он, слишком гордый, чтобы получить прощение за извинительный промах, искал смерти, то и в истории Цезаря нет недостатка в минутах такой же неосторожности и такой же гордости. Можно только пожалеть о том, что такой богато одаренной натуре не было дано перебродить и сберечь себя для

следующего поколения, такого скудного талантами и так быстро подпавшего страшному господству посредственностей.

Можно говорить лишь предположительно о том, какое влияние эти военные события 705 г. имели на общий план кампании, составленный Помпеем, о том, какая роль после потери Италии предназначалась в этом плане главным отрядам Помпея на Западе. Тогда говорили, будто бы он хотел двинуться через Африку и Мавретанию на помощь своей армии, сражавшейся в Испании, но это был лишь фантастический и, несомненно, совершенно несостоятельный слух, распространившийся в лагере под Илердой. Гораздо вероятнее, что Помпей даже после потери Италии все еще сохранил свой первоначальный план — напасть на Цезаря в Цизальпинской и Трансальпинской Галлии, с обеих сторон, и в то же время замышлял комбинированное нападение из Испании и Македонии. Вероятно, испанская армия должна была так долго держаться оборонительной тактики в Пиренеях, пока армия, организовавшаяся в это время в Македонии, не будет готова к выступлению; после этого они двинулись бы одновременно и, смотря по обстоятельствам, соединились бы на Роне или на По; а флот в то же время попытался бы отвоевать собственно Италию. В связи с этим предположением Цезарь, по-видимому, прежде всего стал готовиться встретить нападение на Италию. Один из его лучших офицеров, народный трибун Марк Антоний, командовал здесь в качестве пропретора. Юго-восточные гавани — Сипонт, Брундизий, Тарент, — где в первую очередь можно было ожидать попытки десанта, получили гарнизон из трех легионов. Кроме того, Квинт Гортензий, беспутный сын известного оратора, собрал флот в Тирренском море, а Публий Долабелла — другой флот, в Адриатическом море, и обе эскадры частью поддерживали оборону, частью должны были быть пущены в дело при предстоявшей отправке войск в Грецию. На случай, если Помпей попытается проникнуть в Италию сухим путем, Марк Лициний Красс, старший сын старого товарища Цезаря, должен был руководить обороной Цизальпинской Галлии, а младший брат Марка Антония, Гай, — обороной Иллирии.

Предполагаемое нападение, однако, заставило себя долго ждать. Лишь поздним летом в Иллирии дело дошло до схваток. Тут наместник Цезаря Гай Антоний стоял со своими двумя легионами на острове Курикта (Веглия, в Кварнерском заливе), адмирал Цезаря Публий Долабелла с 40 судами — в узком проливе между этим островом и материком. На последнюю эскадру напали предводители помпеева флота в Адриатическом море: Марк Октавий — с греческой частью флота, а Луций Скрибоний Либон — с иллирийской эскадрой; они уничтожили все суда Долабеллы и со всех сторон окружили Антония на острове. На выручку ему прибыли из Италии корпус под начальством Базила и Салюстия и эскадра Гортензия из Тирренского моря,

но ни тот, ни другой ничего не могли сделать с неприятельским флотом, значительно превосходившим их силами. Легионы Антония пришлось предоставить их участи. Припасы приходили к концу, войска стали недисциплинированы и взбунтовались; за исключением нескольких отрядов, когорным удалось на плотках добраться до материка, весь корпус, еще насчитывавший пятнадцать когорт, сложил оружие и был перевезен в Македонию на судах Либона, где его хотели зачислить в ряды помпеевой армии, в то время как Октавий остался на месте, чтобы закончить покорение иллирийского побережья, теперь совершенно свободного от войск. Далматы, могущественнейший народ в этом крае, который воевал с Цезарем еще во время его наместничества, расположенный на острове крупный город Исса (Лисса) и другие районы стали на сторону Помпея; но приверженцы Цезаря держались в Салонах (Спалато) и Лиссе (Алессии) и в первом из этих городов не только отважно выдержали осаду, но, доведенные до крайности, сделали даже вылазку с таким успехом, что Октавий снял осаду и отплыл в Диррахий, чтобы там перезимовать.

Эта удача, выпавшая в Иллирии на долю помпеева флота, сама по себе немаловажная, однако, мало повлияла на общий ход кампании; микроскопически ничтожным является этот результат, когда вспомнишь, что все сухопутные и морские силы, находившиеся под главным начальством Помпея, в течение всего этого богатого событиями 705 г. ограничились этой единственной победой и что с Востока, где находился полководец, сенат, вторая большая армия и главные силы флота, где были также сосредоточены огромные военные запасы и еще бóльшие финансовые средства противников Цезаря, ничего не было предпринято в решительную минуту борьбы на Западе. Расстроенное состояние разбросанных в восточной части государства вооруженных сил, привычка полководца сражаться не иначе, как обладая превосходством военных сил, его неповоротливость и мягкотелость и, наконец, непрочность коалиции, — все это может если не извинить, то отчасти объяснить бездеятельность сухопутной армии; но для того, чтобы понять, как флот, который, неограниченно господствуя на Средиземном море, ничего не сделал для того, чтобы повлиять на ход событий, ничем не помог ни Испании, ни верным массалиотам, не содействовал ни обороне Сардинии, Сицилии, Африки, ни занятию Италии, ни даже прекращению снабжения ее продовольствием, — нам нужно было бы иметь более полное представление о господствовавшем в лагере Помпея смущении и разладе. Этому соответствовали и общие итоги кампании. Двойное наступление Цезаря на Испанию, Сицилию и Африку вполне удалось в первом направлении, во втором — лишь отчасти; напротив, замысел Помпея вызвать голод в Италии был в основном расстроен завоеванием Сицилии, а общий план его кампании совершенно нарушен вследствие

уничтожения испанской армии; в Италии же была применена на деле лишь незначительная часть оборонительных приготовлений Цезаря. Несмотря на чувствительные потери в Африке и Иллирии, Цезарь несомненно и решительно вышел победителем из этого года войны.

Хотя с Востока ничем не сумели помешать покорению Запада Цезарем, там все-таки использовали столь незавидным образом приобретенную передышку для упрочения положения в политическом и военном отношении.

Главным сборным пунктом противников Цезаря была Македония. Туда отправился сам Помпей и масса брундизийских эмигрантов; туда же прибыли и остальные беглецы с Запада: Марк Катон из Сицилии, Луций Домиций из Массалии, в особенности же масса лучших офицеров и солдат рассеянной армии из Испании со своими вождями Афранием и Варроном во главе. В Италии среди аристократов уход в эмиграцию стал не только делом чести, но и модой, в особенности когда пришли вести о критическом положении Цезаря под Илердой. Кроме того, постепенно прибыло довольно много умеренных сторонников партии и политических двурушников, даже сам Марк Цицерон убедился, наконец, в том, что он еще не выполнит своих гражданских обязанностей, если только напишет рассуждение на тему об истинном согласии людей. Эмигрантский сенат в Фессалониках, где временно водворился официальный Рим, насчитывал до 200 членов (в том числе много маститых старцев, причем почти все консуляры), но, конечно, все это были лишь эмигранты. И этот римский Кобленц жалким образом отражал большие притязания и ничтожные достижения высшего римского света, его несвоевременные воспоминания и еще более неуместные жалобы, его превратные политические идеи и финансовые затруднения. Не так уже важно было, что в момент, когда старое здание рушилось, эти люди мучительно старались оберегать обветшалые и заржавевшие украшения конституции: в конце концов было просто смешно, когда у этих знатных господ появились угрызения совести из-за того, что вдали от священной территории родного города они называют свое собрание сенатом, и поэтому они стали осторожно называть себя «советом трехсот»*, или когда

* Так как по формальному праву «законное собрание сената», так же как и «законный суд» могли происходить лишь в самом городе или внутри той черты, за которую не могли переступить изгнанники, то собрание, представлявшее сенат при африканской армии, назвало себя «советом трехсот» (Bell. Afric., 88, 90; *Appian*, 2, 95) не потому, что он состоял из трехсот человек, но потому, что таково было в древности число сенаторов. Весьма вероятно, что это собрание было усилено некоторыми именитыми всадниками; но когда Плутарх (*Cato min.*, 59, 61) называет эти триста человек итальянскими крупными торговцами, то он просто не понимает своего источника (Bell. Afric., 90). Подобным же образом был, по-видимому, организован квазисенат уже в Фессалониках.

были предприняты обширные исследования в области государственного права, для того чтобы выяснить, может ли куриатный закон быть принятым в ином месте, кроме города Рима.

Гораздо хуже было равнодушие умеренных и злобная ограниченность крайних. Первых нельзя было заставить ни действовать, ни молчать; когда от них определенным образом требовали содействия общему благу, они со свойственной слабым людям непоследовательностью смотрели на каждое такое требование как на злостную попытку еще больше их скомпрометировать, и не исполняли приказание или делали это чрезвычайно неохотно. Со своим запоздалым умничаньем и желанием доказать невыполнимость того, что им предлагается делать, они всегда являлись помехой для тех, кто действовал. Их обычное занятие состояло в том, чтобы разбирать каждое крупное и мелкое событие, осмеивать или оплакивать его и своим равнодушием и безнадежностью ослаблять настроение масс и лишать их бодрости.

Но если здесь проявлялась пассивность слабости, то гипертрофия активности в полном блеске проявилась у крайних. Они не скрывали ни от кого, что предварительным условием каких бы то ни было мирных переговоров должна быть передача головы Цезаря; каждая попытка примирения, которую он и теперь еще неоднократно делал, совершенно отвергалась и даже не рассматривалась; ими пользовались лишь для того, чтобы коварно лишать жизни людей, исполнявших поручения противника. Само собой разумеется, что явные сторонники Цезаря все без исключения платили за это жизнью и имуществом, но и людям, более или менее нейтральным, было немногим лучше. Луций Домиций, герой Корфиния, чрезвычайно серьезно внес в военный совет предложение поручить тем сенаторам, которые сражались в рядах помпеевой армии, решить путем голосования судьбу всех, кто остался нейтральным или, очутившись в эмиграции, не вступил в армию, и, смотря по их поступкам, оправдать их, наказать денежной пеней или даже лишить жизни и имущества. Другой из этих крайних представил Помпею жалобу на Луция Афрания за недостаточную защиту Испании, прямо обвиняя его в подкупности и измене. Для этих людей, насквозь пропитанных республиканским духом, политическая теория играла роль почти религиозного исповедания; поэтому они ненавидели умеренных членов своей партии и Помпея с его окружением, может быть, еще больше, чем своих открытых врагов, ненавидели той тупой ненавистью, которая свойственна ортодоксальным богословам; эти люди, главным образом, и были виновниками тех многочисленных и ожесточенных распрей, которые раздирали армию и сенат эмигрантов. Они не ограничивались только словами. Мак Бибул, Тит Лабийен и другие представители той же группы осуществляли свою теорию на практике и массами казнили всех офи-

церов и солдат армии Цезаря, попадавших им в руки, — это, конечно, не ослабляло энергии цезаревых войск в борьбе. Когда во время отсутствия Цезаря в Италии контрреволюционный переворот в пользу сторонников конституции все же не состоялся, хотя все для этого было готово, то, по уверениям более благоразумных противников Цезаря, причина этого заключалась, главным образом, в том, что все боялись неукротимого бешенства крайних республиканцев, которое разразилось бы после реставрации. Лучшие люди в лагере Помпея приходили в отчаяние от этой безумной оргии. Помпей, сам храбрый воин, щадил пленных, насколько мог и смел; но он был слишком малодушен и притом находился в слишком неопределенном положении, чтобы помешать этим ужасам и даже преследовать их, на что он имел право как главнокомандующий. Гораздо энергичнее попытался сдержать этот разгул жестокости единственный человек, вступивший в борьбу, следуя по крайней мере моральным побуждениям, — Марк Катон; он добился того, что эмигрантский сенат особым декретом запретил грабить подчиненные города и убивать граждан иначе, как во время боя. Таких же взглядов придерживался и даровитый Марк Марцелл. Конечно, никто лучше Катона и Марцелла не знал, что крайняя партия в случае необходимости приводила в исполнение свои спасительные замыслы вопреки всем сенатским постановлениям. Но если в данный момент, когда еще следовало соблюдать правила благоразумия, нельзя было укротить бешенство крайних, то после победы можно было ждать такого террора, от которого, содрогаясь, отвернулись бы даже Марий и Сулла; становится понятным, почему Катон, по собственному признанию, боялся победы своей партии еще больше, чем ее поражения.

Военными приготовлениями в македонском лагере руководил главнокомандующий Помпей. Его всегда трудное и стесненное положение еще больше ухудшилось из-за несчастных событий 705 г. В глазах его приверженцев вина падала, главным образом, на него. Это было несправедливо во многих отношениях. Значительную часть понесенных неудач надо было отнести за счет бездарности и непокорности низших военачальников, в особенности консула Лентула и Луция Домиция. С той минуты, как Помпей стал во главе армии, он руководил ею мужественно и искусно и во всяком случае спас от гибели крупные силы; было бы несправедливо ставить ему в упрек, что он не мог сравниться с признанным всеми выдающимся гением Цезаря. Тем не менее успех решал дело. Уповая на своего полководца Помпея, конституционная партия порвала с Цезарем; гибельные последствия этого разрыва были, конечно, приписаны тому же Помпею и, хотя вследствие явной неспособности всех остальных военачальников не было сделано ни одной попытки сменить главнокомандующего, доверие к нему все же пошатнулось. К этим последствиям пере-

несенных поражений присоединилось еще вредное влияние эмиграции. Среди прибывавших беглецов были, правда, хорошие солдаты и способные офицеры, в особенности из прежней испанской армии; но число людей, приехавших сюда, чтобы служить и сражаться, было так же незначительно, как страшно велико было число аристократических генералов, называвших себя с таким же правом, как Помпей, проконсулами и императорами, и число знатных господ, более или менее неохотно состоявших на действительной военной службе. Они занесли в лагерь столичный образ жизни, что не принесло пользы войскам. Палатки подобных господ напоминали изящные беседки; стены были украшены ветками, пол нарядно покрыт свежей травой; на столе стояла серебряная утварь, и нередко даже среди бела дня кубок переходил из рук в руки. Эти изящные воины представляли резкий контраст с неприхотливыми бойцами Цезаря и с ужасом отворачивались от черного хлеба, который те употребляли в пищу, заменяя его в случае необходимости даже кореньями и клянясь скорее грызть древесную кору, чем отступить от врага. Если, далее, неизбежная зависимость от коллегияльного, лично ему враждебного учреждения уже сама по себе стесняла деятельность Помпея, то затруднение это усилилось в значительной степени, когда эмигрантский сенат стал заседать чуть не в самой главной квартире и весь яд эмиграции стал изливаться на этих сенатских заседаниях. Не было ни одной выдающейся личности, которая могла бы противопоставить себя всем этим нелепостям. Сам Помпей был для этого слишком ничтожен в умственном отношении, слишком нерешителен, неповоротлив и скрытен. Марк Катон имел бы по крайней мере необходимый для этого моральный авторитет, и он готов был поддержать Помпея своим авторитетом, но, вместо того чтобы призвать его на помощь, Помпей с ревнивой недоверчивостью отстранил его и предпочел передать, например, начальство над флотом, имевшее такое важное значение, неспособному во всех отношениях Бибулу, а не Катону.

Если Помпей и выполнял свои политические функции со своей обычной бессмысленностью и продолжал портить то, что уже было испорчено, то он зато с похвальным рвением взялся за выполнение своей обязанности — организации значительных, но расстроенных военных сил своей партии.

Ядро их состояло из привезенных им из Италии войск, которые по присоединении к ним иллирийских военнопленных и проживавших в Греции римлян составили пять легионов. Три других легиона прибыли с Востока — два сирийских, составленных из остатков армии Красса, и один, составленный из двух слабых легионов, до этого стоявших в Киликии. Ничто не мешало Помпею вывести эти несшие гарнизонную службу войска из провинции, так как, с одной стороны, помпеянцы имели соглашение с парфянами и даже могли бы заклю-

чить с ними союз, если бы только Помпей с негодованием не отказался внести требуемую за это плату, а именно уступить присоединенную им к Римскому государству сирийскую область, с другой стороны, план Цезаря послать в Сирию два легиона и опять поднять иудеев с помощью находившегося в Риме в плену их царя Аристобула был расстроен отчасти из-за смерти Аристобула, отчасти по другим причинам. Далее, был составлен легион из поселенных на Крите и в Македонии выслуживших срок солдат, а из малоазийских римлян было составлено еще два легиона. К этому присоединилось 2 тыс. добровольцев из остатков испанских кадровых отрядов и из других подобных же источников и, наконец, контингенты римских подданных. Подобно Цезарю, и Помпей не хотел набирать из них пехоту; только для защиты берегов было создано эпирское, этолийское и фракийское ополчение, и, кроме того, в состав легко вооруженных войск было принято 3 тыс. греческих и малоазийских стрелков и 1 200 метателей копий.

Конница же состояла, кроме гвардии нобилей, образовавшейся из молодых римских аристократов, более знатной, чем ценной в военном отношении, и конного отряда, сформированного Помпеем из апулийских пастухов-невольников, — исключительно из вспомогательных отрядов, выставленных подданными и клиентами Рима. Ядро ее составляли кельты, частью из александрийского гарнизона, частью из отряда царя Дейотара, несмотря на свой преклонный возраст лично прибывшего во главе своей конницы, и контингента, выставленного остальными галатскими династами. К ним были присоединены превосходные фракийские всадники, отчасти приведенные их князьями Садалой и Раскупоридом, отчасти на вербованные Помпеем в македонской провинции; затем каппадокийская конница; конные стрелки, присланные коммагенским царем Антиохом; ополчение армян, живших по сю сторону Евфрата под начальством Таксила; предводительствуемое Мегабатом армянское ополчение из-за Евфрата и присланные царем Юбой нумидийские отряды — вся масса этой конницы доходила до 7 тыс. человек.

Очень значителен, наконец, был и флот Помпея. Он состоял отчасти из привезенных им из Брундизия или впоследствии построенных римских судов, отчасти из военных кораблей египетского царя, колхидских властителей, киликийского династа Таркондимота, городов Тира, Родоса, Афин, Керкиры и вообще всех азиатских и греческих приморских государств, насчитывал до 500 парусных судов, из которых римские составляли пятую часть. В Диррахии были заготовлены громадные запасы зерна и военных материалов. Военная касса была полна, так как помпеянцы владели главными источниками государственных доходов и пользовались денежными средствами подчиненных им властителей, знатных сенаторов, откупщиков податей и

вообще всего римского и неримского населения в районе их власти. На защиту Римской республики было пущено в ход все, что в Африке, Египте, Македонии, Греции, Передней Азии и Сирии в состоянии были собрать законное правительство и столь прославленная масса подвластных Помпею царей и народов; если в Италии говорили, что Помпей вооружает против Рима гетов, колхидян и армян, если в лагере его называли «царем царей», то это едва ли можно было назвать преувеличением. Он стоял во главе армии в 7 тыс. всадников и одиннадцати легионов, из которых, правда, лишь пять могли считаться опытными в военном деле, и флота в 500 парусных судов. Настроение солдат, о продовольствии и жаловании которых Помпей достаточно заботился и которым в случае победы были обещаны блестящие награды, было вообще хорошее, во многих и притом в лучших отрядах — даже превосходное; однако большая часть армии все-таки состояла из вновь набранных частей войск, формирование и обучение которых хотя и велось очень усердно, но все же требовало необходимого времени. Военные силы Помпея вообще были внушительны, но вместе с тем представляли собой довольно пеструю смесь.

По плану главнокомандующего, войско и флот должны были окончательно соединиться на берегах и в водах Эпира зимой 705/706 г.; адмирал Бибул тоже прибыл со 110 кораблями в свою новую главную квартиру в Керкиру. Сухопутное же войско, главная стоянка которого находилась летом в Берее на Галиакмоне, еще оставалось позади; масса войска медленно двигалась к будущей главной квартире, к Диррахию, по большой дороге, ведущей от Фессалоник к западному берегу; два легиона, которые вел Метелл Сципион из Сирии, стояли еще близ Пергама в Малой Азии на зимних квартирах и ожидалось в Европе лишь к весне. Никто не торопился. Эпирские гавани пока были защищены кроме флота только гражданским ополчением и контингентами соседних округов.

Таким образом, Цезарь мог вести в Македонии наступательную войну, несмотря на вспыхнувшую тем временем войну в Испании; он-то по крайней мере не медлил. Давно уже стянул он военные и транспортные суда в Брундизий и после капитуляции испанской армии и падения Массалии направил туда большую часть использованных кадровых войск. Правда, неслыханные усилия, которых Цезарь требовал от солдат, опустошили ряды больше, чем это делали сражения, и мятеж, вспыхнувший в одном из четырех старших легионов, а именно в девятом, во время перехода через Плацентию, был опасным признаком распространявшегося в армии настроения; однако присутствие духа Цезаря и его личный авторитет побороли это препятствие, и с этой стороны ничто не мешало отплытию. Но та помеха, о которую еще в марте 705 г. разбилось преследование Помпея — недостаток в кораблях, — грозила расстроить и эту экспедицию. Во-

енные корабли, которые Цезарь приказал соорудить в галльских, сицилийских и италийских гаванях, не были еще готовы или по крайней мере не были доставлены; его адриатическая эскадра погибла за год до этого при Курикте, в Брундизии он застал не больше двенадцати военных кораблей и едва достаточное число транспортных судов, для того чтобы сразу перевезти третью часть его назначенной для Греции армии, состоявшей из двенадцати легионов и 10 тыс. всадников. Сильный неприятельский флот господствовал на Адриатическом море и в особенности над всеми континентальными и островными гаванями восточного побережья. При таких обстоятельствах невольно возникает вопрос, почему Цезарь не избрал вместо морского пути сухопутный переход через Иллирию, который избавил бы его от всех опасностей, угрожавших ему со стороны флота, и к тому же для его отрядов, прибывших большей частью из Галлии, этот путь был короче дороги через Брундизий. Правда иллирийские области были несказанно бедны и суровы по своей природе; но вскоре после этого по ним все-таки проходили другие армии, и это препятствие вряд ли казалось непреодолимым завоевателю Галлии. Может быть, он опасался, что во время трудного иллирийского перехода Помпей перевезет все свои боевые силы через Адриатическое море, благодаря чему роли внезапно изменились бы и Цезарь мог очутиться в Македонии, а Помпей — в Италии, хотя, впрочем, такой быстрой перемены едва ли можно было ожидать от неповоротливого соперника Цезаря. Может быть, Цезарь решил выбрать морской путь, предполагая, что флот его тем временем достигнет солидных размеров; когда же он по возвращении из Испании убедился в настоящем положении вещей на Адриатическом море, было, может быть, уже поздно изменить план похода. Возможно также (если вспомнить всегда энергично стремившуюся к решению натуру Цезаря, то позволительно считать это вполне вероятным), эпирский берег, который пока еще не был занят, но через несколько дней должен был принадлежать врагу, неотразимо звал его смелым движением опять расстроить все планы противника. Как бы то ни было, но 4 января 706 г.* Цезарь с шестью легионами, значительно поредевшими от всевозможных невзгод и болезней, и 600 всадниками отплыл из Брундизия к берегу Эпира. Экспедиция эта может быть поставлена наряду с безумно смелым британским походом; однако по крайней мере начало ее было удачно.

Посреди Акрокеравнских (Химарских) скал в мало посещаемом рейде Палеассы (Палясса) был достигнут берег. Транспортные суда видны были как из Орикской гавани (Авлонской бухты), где стояла эскадра Помпея, состоявшая из восемнадцати кораблей, так и из главной квартиры неприятельского флота близ Керкиры; но в первом месте

* По исправленному календарю 5 ноября 705 г.

помпеянцы считали себя слишком слабыми, во втором они не были готовы к отплытию, и первый транспорт беспрепятственно высадился. В то время как корабли немедленно отплыли обратно за вторым транспортом, Цезарь в тот же вечер перешел через Акрокеравнские горы.

Первые успехи его были так же велики, как и удивление врагов. Эпирское ополчение нигде не оказало сопротивления; важные портовые города Орик и Аполлония вместе со многими мелкими пунктами были заняты; Диррахий, избранный помпеянами в качестве главного военного центра и наполненный всевозможными припасами, но слабо защищенный, подвергся величайшей опасности.

Дальнейшее продолжение похода не соответствовало, однако, его блестящему началу. Удвоенным напряжением сил Бибулу удалось несколько исправить свою первоначальную оплошность. Он не только захватил около тридцати возвращавшихся транспортных судов, которые были сожжены по его приказанию вместе со всем, что на них находилось, но и организовал вдоль всего занятого Цезарем побережья, от острова Сазона (Сазено) до керкирских гаваней, самую бдительную сторожевую службу, как ни затруднена она была суровым временем года и необходимостью доставлять сторожевым судам все необходимое, даже дрова и воду, из Керкиры; преемник его Либон — Бибул вскоре умер от чрезмерного напряжения сил — блокировал даже одно время брундизийскую гавань, пока, наконец, недостаток в воде не прогнал его с маленького острова, на котором он укрепился. Военачальники Цезаря не могли доставить своему главнокомандующему второй транспорт войск. Взять Диррахий ему тоже не удалось. Помпей, узнав от одного из эмиссаров Цезаря о его приготовлениях к высадке на эпирском берегу и ускоривший вследствие этого переход, как раз вовремя занял этот важный военный пункт.

Положение Цезаря было критическое. Хотя он и занял Эпир, насколько позволяли его незначительные военные силы, снабжение оставалось все-таки затруднительным и необеспеченным, между тем как враги, обладая диррахийскими складами и господствуя на море, имели обилие во всем. Со своим войском, немногим превышавшим 20 тыс. человек, он не мог дать сражения армии Помпея, по крайней мере вдвое более многочисленной, а должен был считать для себя счастьем, что Помпей действовал методически и, вместо того чтобы немедленно заставить Цезаря сразиться с ним, расположился на зимних квартирах между Диррахием и Аполлонией на правом берегу Апса, как раз напротив Цезаря, стоявшего на левом берегу, с тем чтобы весной, после прибытия легионов из Пергама, победить врага непреодолимым превосходством сил. Так проходили месяцы. Если наступление лучшего времени года, которое должно было дать врагу возможность получить значительное подкрепление и свободно пользо-

ваться своим флотом, застало бы Цезаря все в том же положении, то стиснутый со своим небольшим отрядом в эпирских скалах между сухопутным войском, которое было втрое сильнее его, и громадным флотом, он был бы, по-видимому, обречен, а зима уже подходила к концу. Все надежды возлагались все еще на транспортный флот; едва ли можно было ожидать, чтобы ему удалось проскользнуть и прорваться через блокаду; но после первого смелого натиска необходим был и второй, такой же отважный поступок. Насколько самому Цезарю его положение казалось отчаянным, видно из его решения отправиться (так как его суда все не прибывали) одному на рыбацкой барке по Адриатическому морю в Брундизий, чтобы привести флот; это не было приведено в исполнение, потому что не нашлось ни одного моряка, который согласился бы на такое отчаянное путешествие.

Но личного появления Цезаря не понадобилось, чтобы убедить преданного воина, командовавшего в Италии, Марка Антония, сделать эту попытку для спасения своего начальника. Вторично отплыл из Брундизия транспортный флот с четырьмя легионами и 800 всадниками, и сильный южный ветер помог ему счастливо миновать галеры Либона. Но тот же ветер, который спас флот, помешал ему причалить, как было приказано, к аполлонийскому берегу и заставил его, миновав лагерь Цезаря и Помпея, высадиться к северу от Диррахия, недалеко от Лисса, города, который, к счастью, был еще на стороне Цезаря.

Когда флот плыл мимо диррахийской гавани, родосские галеры стали преследовать его, и едва только корабли Антония вступили в лисскую гавань, как перед ней появилась неприятельская эскадра. Но как раз в эту минуту ветер внезапно переменял направление и отбросил гнавшиеся за флотом галеры снова в открытое море, а отчасти на скалистый берег. По счастливой случайности высадка второго транспорта тоже удалась. Антоний и Цезарь все еще стояли друг против друга на расстоянии четырех дневных переходов, отдаленные Диррахием и всей неприятельской армией; но Антоний благополучно совершил опасное движение вокруг Диррахия через ущелья Грабских Балкан и соединился на правом берегу Апса с Цезарем, вышедшим ему навстречу. Помпей, тщетно пытавшийся помешать соединению двух неприятельских армий и заставить корпус Антония сразиться отдельно, занял новую позицию близ Аспарагия на реке Генузе (Ушкомобин), протекавшей параллельно Апсу между ним и городом Диррахием, и здесь снова остался неподвижен. Цезарь чувствовал себя теперь достаточно сильным, чтобы дать сражение; но Помпей на это не соглашался. Зато Цезарю удалось обмануть противника и со своим быстро двигавшимся войском броситься незаметно между неприятельским лагерем и крепостью Диррахия, на которую он опирался, подобно тому как это было при Илерде. Грабийский хребет, проходя-

щий с востока на запад и оканчивающийся близ Адриатического моря узким Диррахийским мысом, имеет в юго-западном направлении, в 3 милях на восток от Диррахия, боковую ветвь, которая, описав дугу, также тянется к морю, причем главная и боковая ветви горного кряжа замыкают маленькую равнину, расположенную близ утеса на морском берегу. Здесь Помпей расположился лагерем, и, хотя армия Цезаря преграждала ему сухопутную дорогу к Диррахию, он благодаря своему флоту все время имел непрерывные сношения с городом, удобно и обильно снабжался оттуда всем необходимым, в то время как у цезарианцев, несмотря на отправку сильных отрядов внутрь страны и на все старания полководца организовать систему подвоза и регулярное продовольствие войска, запасы были более чем скудны; мясо, ячмень и даже корни зачастую должны были заменить привычную пшеницу.

Так как флегматичный противник упорно оставался пассивным, Цезарь решил занять окружные высоты, окаймлявшие занятую Помпеем приморскую равнину, чтобы по крайней мере задержать превосходящую его силами неприятельскую конницу и действовать свободнее против Диррахия, а если будет возможно, заставить противника либо дать сражение, либо уйти. Почти половина войск Цезаря была отправлена в глубь страны; казалось просто безумием с оставшимся войском начать осаду вдвое большей армии, опиравшейся на море и на флот. Тем не менее ветераны Цезаря ценой несказанных усилий окружили лагерь Помпея цепью постов длиной в 3 $\frac{1}{2}$ мили и, как некогда перед Алезией, присоединили к этой внутренней линии еще вторую, внешнюю, чтобы оградить себя от нападений из Диррахия и от вполне возможной опасности быть обойденными с помощью флота. Помпей неоднократно нападал на отдельные укрепления, чтобы таким образом прорвать неприятельскую линию, но помешать блокаде посредством сражения он не пытался, а предпочел соорудить в свою очередь несколько укреплений вокруг своего собственного лагеря и соединить их между собой линией окопов. С обеих сторон делались усилия выдвинуть окопы как можно дальше вперед, но ввиду постоянных стычек земляные работы подвигались очень медленно. Вместе с тем на противоположной от цезарева лагеря стороне шла борьба с гарнизоном Диррахия; Цезарь надеялся завладеть крепостью, завязав связи внутри ее, но в этом ему помешал неприятельский флот. Непрерывно шла борьба в самых противоположных пунктах — в самый горячий день в шести местах одновременно. Обыкновенно в этих стычках испытанная храбрость цезарианцев одерживала верх, так, например, одна когорта держалась однажды в своем укреплении в продолжение многих часов против четырех легионов, пока, наконец, не прибыло подкрепление. Серьезного результата не достигла ни одна сторона, тем не менее последствия блокады постепенно стали тяжело

ощущаться помпеянами. Отвод потоков, изливавшихся с высот на равнину, заставил их удовлетвориться скудной и плохой колодезной водой. Еще чувствительнее был недостаток корма для вьючных животных и лошадей, недостаток, который не мог быть вполне устранен даже флотом; животные гибли в большом количестве; мало толку было и от того, что лошадей перевезли на судах в Диррахий, так как и здесь они не находили достаточно корма.

Помпей больше не мог откладывать попытку выйти из своего неприятного положения ударом, направленным против врага. В это время кельтские перебежчики сообщили ему, что неприятель не укрепил берег поперечным валом между двумя рядами своих укреплений, отдаленных друг от друга на 600 футов; на этом Помпей и основал свой план. В то время как внутренняя линия цезаревых укреплений была атакована легионами из лагеря, а внешняя — легкими войсками, посаженными на корабли и причалившими по ту сторону неприятельских окопов, третий отряд высадился между обеими линиями и напал с тылу на их защитников, которые и без того были достаточно заняты. Ближайшее к морю укрепление было захвачено, гарнизон бежал в диком смятении; начальнику следующей линии скопов Марку Антонию с трудом удалось ее отстоять и временно остановить натиск помпеянцев; но, помимо значительных потерь, наружное укрепление у моря осталось в руках врага, и линия была прорвана.

Тем энергичнее воспользовался Цезарь представившимся вскоре случаем атаковать главными силами пехоты неосторожно отделившийся легион Помпея. Однако атакованные храбро сопротивлялись, и правый фланг Цезаря вместе с конницей сбился с пути в местности, много раз служившей лагерем для различных отрядов и испещренной вкривь и вкось валами и рвами; вместо того чтобы поддержать левый фланг в атаке на легион Помпея, он попал в узкую траншею, которая вела от одного из прежних лагерей к реке. Таким образом, Помпей, поспешивший с пятью легионами на помощь своим войскам, наткнулся на два крыла неприятельского войска, совершенно разъединенные; одно из них было в безвыходном положении. Когда солдаты Цезаря увидели приближающихся врагов, их охватил панический страх, все обратилось в дикое бегство; и если дело ограничилось потерей тысячи лучших солдат и армия Цезаря не потерпела полного поражения, то этим она была обязана только тому, что и Помпей не мог свободно действовать на изрытой местности и, кроме того, опасаясь военной хитрости, сдерживал сначала свои войска.

Но все же это были тяжкие дни. Цезарь не только понес очень чувствительные потери и лишился своих укреплений — результата четырехмесячной гигантской работы, — но благодаря последним боям он был отброшен к тому же самому пункту, с которого начал. От

моря он был оттеснен решительнее, чем когда-либо, после того как старший сын Помпея Гней частью сжег, частью увел после смелого нападения немногие военные суда Цезаря, стоявшие в гавани Орика, а вскоре после того поджег и оставшийся в Лиссе транспортный флот; вследствие этого Цезарь лишился всякой возможности получить морем из Брундизия дальнейшие подкрепления. Многочисленная конница Помпея, избавленная теперь от стеснявших ее оков, распространилась по окрестностям и грозила сделать невозможным для Цезаря и без того трудное снабжение войска продовольствием. Смелая попытка Цезаря — не имея кораблей, пойти в наступление против господствующего на море, поддерживаемого флотом врага потерпела полную неудачу. До сих пор он находился перед неприступной оборонительной позицией неприятеля и не в состоянии был направить сильный удар ни против Диррахия, ни против неприятельского войска, теперь же от Помпея зависело при самых благоприятных условиях перейти в наступление на противника, и без того стесненного в средствах продовольствия. В войне намечался поворот. До этого времени Помпей, по-видимому, играл в военную игру без твердого плана и организовывал оборону в связи с каждым направленным против него нападением; порицать его за это нельзя было, так как проволочка в войне давала ему возможность обучать своих рекрутов, стягивать резервы и все больше развивать превосходство своего флота на Адриатическом море.

Поражение под Диррахием, правда, не имело тех последствий, которых не без основания ждал от него Помпей: немедленного и полного распада армии вследствие голода и мятежей не допустила необычайная военная энергия ветеранов Цезаря. Цезарь был разбит не только тактически, но и стратегически. Однако все же казалось, что только от противника зависит пожать полностью плоды своей победы, доведя до конца преследование.

Помпей победил, он мог теперь перейти в наступление, и он на это решился. Ему представлялось три различных пути, чтобы сделать свою победу плодотворной; первый и самый простой состоял в том, чтобы не отставать от побежденной армии и преследовать ее в случае отступления. Далее, Помпей мог оставить в Греции Цезаря с его отборными отрядами и, как это было уже давно подготовлено им, отплыть с главной армией в Италию, где настроение умов было решительно антимонархическое и где военные силы Цезаря после отправки лучших войск и их храброго и надежного начальника к греческой армии были очень незначительны. Победитель мог, наконец, направиться и внутрь страны, соединиться с легионами Метелла Сципиона и попытаться захватить стоявшие там войска Цезаря, который немедленно по прибытии второго транспорта частью отправил сильные отряды в Этолию и Фессалию добывать продовольствие для ар-

мии, частью двинул по Эгнатиевой дороге в сторону Македонии отряд в два легиона под начальством Гнея Домиция Кальвина, который должен был преградить путь корпусу Сципиона, приближавшемуся по той же дороге из Фессалоник, и по возможности разбить его отдельно. Уже Кальвин и Метелл подошли друг к другу на расстоянии немногих миль, как вдруг Сципион неожиданно направился к югу и, быстро перейдя через Галиакмон (Ядша-Карасу) и оставив там свой обоз под надзором Марка Фавония, вторгся в Фессалию, для того чтобы с превосходными силами атаковать занятый покорением страны вновь набранный легион Цезаря во главе с Луцием Кассием Лонгином. Лонгин отступил через горы в Амбракию к отряду, посланному Цезарем в Этолию под начальством Гнея Кальвизия Сабина; и Сципион мог только преследовать его своей фракийской конницей, так как Кальвин угрожал его резервам, оставленным близ Галиакмона под предводительством Фавония, готовя им ту же участь, которую Сципион замышлял приготовить Лонгину. Таким образом, Кальвин и Сципион снова встретились близ Галиакмона и долго стояли здесь друг против друга.

Помпей мог выбрать один из этих планов. Цезарю же не оставалось выбора. После упомянутого выше неудачного сражения он начал отступление к Аполлонии; Помпей последовал за ним. Переход от Диррахия к Аполлонии по трудной, перерезанной многими реками дороге был нелегкой задачей для разбитой армии, преследуемой неприятелем, тем не менее искусное руководство ее полководца и парализующая способность солдат к трудным переходам заставили Помпея через четыре дня прекратить преследование как совершенно бесполезное. Теперь он должен был выбрать между италийской экспедицией и походом внутрь страны. Как ни выгоден и соблазнителен был первый план, сколько голосов ни высказывалось за него, Помпей все-таки предпочел не жертвовать корпусом Сципиона, тем более что этим походом он надеялся захватить отряд Кальвина. Кальвин стоял в это время на Эгнатиевой дороге близ Гераклеи Линкестидской, между Помпеем и Сципионом, и после того как Цезарь отступил к Аполлонии, находился дальше от него, чем от главного войска Помпея, и к тому же был в полном неведении и о том, что совершилось при Диррахии, и о своем собственном положении, так как после диррахийских успехов вся страна склонилась на сторону Помпея и гонцы Цезаря всюду были задержаны. Только когда главные силы неприятеля приблизились к нему на расстояние нескольких часов пути, Кальвин узнал от самих неприятельских аванпостов о положении вещей. Тем временем Цезарь беспрепятственно достиг Аполлонии. Немедленно после диррахийской катастрофы он решил по возможности перенести борьбу с побережья внутрь страны, чтобы устранить решающую причину неудачи своих прежних усилий, а именно неприятель-

кий флот. Поход в Аполлонию имел только одну цель — доставить раненым безопасный приют там, где находились склады Цезаря, и выплатить солдатам содержание. Как только это было сделано, Цезарь двинулся в Фессалию, оставив гарнизоны в Аполлонии, Орике и Лиссе. В Фессалию же двинулся и корпус Кальвина; здесь Цезарь мог легче, чем в Эпире, получить те подкрепления, которые прибывали из Италии — теперь уже сухим путем через Иллирию, — а именно два легиона под предводительством Квинта Корнифиция. Поднимаясь по трудным тропам долины Аоя и перейдя через горную цепь, отделяющую Эпир от Фессалии, Цезарь достиг Пенея; туда же был направлен и Кальвин; соединение двух армий произошло, таким образом, кратчайшим путем, наименее доступным для нападений неприятеля. Оно состоялось близ Эгиния, недалеко от истоков Пенея. Первый фессалийский город, перед которым появилось соединенное теперь войско Цезаря, Гомфы, запер перед ним свои ворота; он был быстро взят штурмом и предан разграблению; испуганные этим, остальные города Фессалии покорялись, как только перед их стенами появлялись легионы Цезаря. За этими переходами и сражениями и благодаря, правда, не очень обильным, запасам, имевшимся в области, прилегавшей к Пенею, исчезли последние следы и воспоминания пережитых тяжелых дней. Таким образом, диррахийские победы доставили победителям немного прямых результатов. Помпей с его громоздкой армией и многочисленной конницей не мог последовать в горы за своим быстро двигавшимся врагом; как Цезарь, так и Кальвин спаслись от преследования и, соединившись, находились в полной безопасности в Фессалии. Может быть, самое лучшее для Помпея было бы без дальнейшего промедления отправиться теперь со своими главными силами морем в Италию, где успех едва ли был сомнителен. Однако на первое время только часть флота двинулась к Сицилии и Италии. В лагере коалиции дело с Цезарем считали окончательно решенным боями при Диррахии; оставалось только пожинать плоды победы, т. е. встретить и захватить разбитую армию. Место прежней осторожной сдержанности заняла заносчивость, еще меньше оправдываемая обстоятельствами; никто не обращал внимания на то, что преследование, собственно, не удалось, что надо было готовиться к тому, чтобы встретить в Фессалии вполне отдохнувшую и реорганизованную армию, что было далеко не безопасно, удалившись от моря и отказавшись от поддержки со стороны флота, следовать за противником к выбранному им полю сражения. Было решено сразиться с Цезарем во что бы то ни стало и для этого настигнуть его как можно скорее и возможно более удобным путем. Катон взял из себя начальство в Диррахии, где находился гарнизон из восемнадцати когорт, и в Керкире, где было оставлено триста военных судов. Помпей и Сципион направились к нижнему Пенею: первый двинулся, по-ви-

димому, по Эгнатиевой дороге до Пеллы, а оттуда — по большой дороге на юг, второй же — от Галиакмона через олимпийские проходы, и они встретились близ Лариссы.

К югу от Лариссы, на равнине, расстилающейся между Киноскефальскими холмами и Офрисским горным хребтом и пересекаемой притоком Пеней Энпеем, стоял Цезарь на левом берегу этой реки, близ города Фарсала; против него на правом берегу Энпеея, на склонах Киноскефальских высот, разбил свой лагерь Помпей*. Армия

* Точно определить местонахождение поля битвы очень трудно. Аппиан (2, 75) положительно указывает его между [Новым] Фарсалом (нынешней Ферсалой) и Энпеем. Из двух рек, которые одни только имеют здесь некоторое значение и, без сомнения, назывались в древности Апиданом и Энпеем, именно Софадитиа и Ферсалита, первая берет свое начало на Фавмакских горах (Домоко) и Долопских высотах, вторая же — на Офрисе, и один только Ферсалит протекает близ Фарсала; но так как, по Страбону (9, стр. 432), Энпеей берет начало на Отрисе и течет около Фарсала, то Ферсалит был с полным правом признан Ликом (*Leake, Northern Greece, 4, 320*) за Энпеей, и мнение, которого держится Гелер, что Ферсалит назывался в древности Апиданом, оказывается несостоятельным. С этим совпадают все древние свидетельства относительно обеих рек; только, конечно, необходимо принять вместе с Ликом, что река Блоко, вливающаяся в Пеней и образовавшаяся из соединения Ферсалита с Софадитиком, называлась у древних, как и сам Софидитик, Апиданом; это мнение, впрочем, тем естественнее, что именно Софадитик, а не Ферсалит, постоянно наполнен водой (*Leake, 4, 321*). Итак, древний Фарсал, от которого сражение получило свое имя, находился, вероятно, между Ферсалой и рекой Ферсалитом. Если принять это, то битва должна была происходить на левом берегу Ферсалита, а именно так, что помпеянцы, стоя лицом к Фарсалу, упирались правым крылом в реку (*Caesar, B. c., 3, 83; Frontinus, Strat., 2, 3, 22*). Но лагерь помпеянцев не мог находиться здесь, а только на склоне Киноскефальских высот, на правом берегу Энпеея, с одной стороны, потому что они преградили Цезарю путь к Скотуссе, а с другой — потому, что линия отступления их, очевидно, тянулась к Лариссе по горам, господствовавшим над лагерем; если бы они, как думает Лик (4, 482), расположились лагерем к востоку от Фарсала, на левом берегу Энпеея, то они никак не могли бы направиться к северу через этот поток, именно здесь глубоко врезавшийся в берега (*Leake, 4, 469*), и Помпей вместо Лариссы должен был бы бежать к Ламии. Помпеянцы разбили поэтому, вероятно, свой лагерь на левом берегу Ферсалита и переправились через реку как для того, чтобы сразиться, так и для того, чтобы после битвы снова вернуться в свой лагерь, после чего они поднялись вверх по склонам Краннона и Скотуссы, которые над последним пунктом оканчиваются Кипоскефальскими высотами. В этом не было ничего невозможного. Энпеей — узкий, мед-

Помпея была вся в сборе, а Цезарь все еще ждал отправленного им перед этим в Этолию и Фессалию, теперь же стоявшего в Греции отряда почти в два легиона, под начальством Квинта Фуфия Калена, и высланных к нему сухим путем из Италии двух легионов Корнифия, уже прибывших в Иллирию. Войско Помпея, состоявшее из одиннадцати легионов, или 47 тыс. человек и 7 тыс. лошадей, превосходило войско Цезаря пехотой почти в два раза, конницей же в семь раз; лишения и бои так уменьшили отряды Цезаря, что в его восьми легионах насчитывалось не больше 22 тыс. человек в полной боевой готовности, т. е. даже не половина обычного состава. Победоносная армия Помпея, располагавшая многочисленной конницей и хорошими складами, имела припасов вволю, в то время как войско Цезаря едва держалось на ногах от голода и надеялось на улучшение продовольствия лишь после сбора нового урожая. Настроение солдат Помпея, которые познакомились с войной во время последней кампании и научились доверять своему вождю, было самое бодрое; все соображения военной практики указывали на необходимость для Помпея больше не медлить с решительной битвой, раз уже его войско стояло в Фессалии против Цезаря. Но еще больше этих доводов влияло в военном совете свойственное эмигрантам нетерпение многих знатных офицеров и людей, сопровождавших войско. Со времени диррахийских событий эти господа смотрели на торжество своей партии как на решенное дело; они уже горячо спорили о замещении цезаревой должности верховного понтифика, и в Рим посылались поручения относительно найма домов близ форума ввиду предстоящих выборов. Когда Помпей высказал опасение относительно переправы через отделявший оба войска поток, перейти через который Цезарь не решился со своим значительно более слабым войском, это вызвало сильное него-

ленно текущий поток, в котором Лик нашел в ноябре 2 фута глубины и который часто совершенно высыхает в жаркое время года (*Leake*, 1, 448 и 4, 472; ср. *Lucan*, 6, 373); битва же происходила в самый разгар лета. Далее, войска до битвы стояли друг от друга на расстоянии трех четвертей мили (*Appian*, В. с., 2, 65), так что помпеянцы могли сделать все свои приготовления и даже обеспечить мостами сношения со своим лагерем. Если бы сражение окончилось полным поражением, то отступление к реке и за нее не могло бы, конечно, произойти, и, без сомнения, по этой причине Помпей неохотно решился сразиться здесь. Дальше всего отстоявшее от базы отступления левое крыло помпеянцев, действительно, почувствовало это; но отступление, по крайней мере центра и правого крыла, произошло не с такой поспешностью, которая была бы невозможна при данных условиях. Цезарь и списавшие у него авторы умалчивают о переправе через реку, так как это слишком рельефно показало бы боевой пыл помпеянцев и без того, впрочем, ясно выступающий во всем рассказе, и вместе с тем и благоприятные для них моменты отступления.

дование; стали говорить о том, что Помпей медлит дать сражение только потому, что желает подольше властвовать над столькими консулярами и преториями и увековечить свою роль Агамемнона. Помпей уступил, и Цезарь, который, считав, что дело не дойдет до битвы, только что задумал план обхода неприятельской армии и с этой целью собирался направиться к Скотуссе, тоже выстроил свои легионы для боя, видя, что помпеянцы готовятся сразиться с ним на его берегу. Таким образом, почти на том же поле брани, где за полтораста лет до этого римляне положили начало своему господству на Востоке, 9 августа 706 г. произошла битва при Фарсале. Правое крыло Помпея упиралось в Энипей; перед ним стоял Цезарь, опираясь левым крылом в изрытую неровностями местность, расстилавшуюся вдоль Энипея; два остальных фланга противника были выдвинуты на равнину и каждый прикрыт конницей и легковооруженными отрядами. Помпей имел намерение держать свою пехоту в оборонительном положении, конницей же, наоборот, рассеять стоявший перед ней слабый конный отряд неприятеля, перемешанный, по германскому обычаю, с легкой пехотой, после чего атаковать с тыла правое крыло Цезаря. Его пехота храбро выдержала первый натиск неприятельской пехоты, и борьба остановилась на этом. Лабием также рассеял неприятельскую конницу после мужественного, но короткого сопротивления и двинулся налево, чтобы обойти пехоту. Но Цезарь, предвидя поражение своей конницы, выстроил позади нее на угрожаемом пункте правого крыла около 2 тыс. своих лучших легионеров. Когда неприятельские всадники, гнавшие перед собой конницу Цезаря, примчались к линии фронта и хотели обогнуть ее, они неожиданно наскочили на этот отборный отряд, неустрашимо двигавшийся на них, и, быстро придя в смятение от внезапного и непривычного для них нападения пехоты, умчались с поля сражения, опустив поводья*. Побе-

* В связи с этим находится известное указание Цезаря своим солдатам — колоть врага прямо в лицо. Пехота, наперекор всем правилам действовавшая здесь наступательно против конницы, добраться до которой мечом не было никакой возможности, не должна была метать свои копья, а, наоборот, употреблять их в борьбе с врагом как ручное оружие и для более успешной обороны ударять ими вверх (*Plutarch, Rom., 69, 71; Caesar, 45; Appian, 2, 76, 78; Flor., 13; Oros., 6, 15; ошибочно у Frontin, 4, 732*). Анекдотическое извращение этой инструкции в том смысле, будто бы всадники Помпея должны были быть доведены до бегства боязнью получить ранения в лицо и будто бы они, действительно, ускакали, «держа руки перед глазами» (Плутарх), отпадает само собой, так как оно имело бы основание лишь в том случае, если бы конница Помпея состояла, главным образом, из аристократической молодежи Рима, из «изящных танцоров»; а это неверно. Очень возможно, что лагерное остроумие дало это нелепое, но забавное толкование простому и целесообразному приказу.

доносные легионеры изрубили отданных им в жертву неприятельских стрелков, после чего двинулись к левому флангу врага и в свою очередь стали его обходить. Одновременно с этим остававшийся до этого в резерве третий отряд Цезаря по всему фронту перешел в наступление. Неожиданное поражение лучшей части армии Помпея подняло дух противника и, наоборот, сломило храбрость помпеянской армии, а главное — ее полководца. Когда Помпей, с самого начала не доверявший своей пехоте, увидел бегство конницы, он немедленно уехал с поля сражения обратно в лагерь, не дождавшись даже исхода начатой Цезарем общей атаки. Его легионы дрогнули и начали отступать через реку к лагерю, что, конечно, не могло произойти без больших потерь.

Таким образом, сражение было проиграно, и погиб не один храбрый солдат; но главные силы армии еще были целы, а положение Помпея было менее опасно, чем положение Цезаря после поражения при Диррахии. Но если среди превратностей судьбы Цезарь научился понимать, что счастье иногда на время покидает даже своих любимцев, чтобы снова быть завоеванным ими, то Помпей до этой минуты знал счастье только как постоянно верную ему богиню и отчаялся в себе и в нем, как только оно его покинуло; если в могучей натуре Цезаря отчаяние только еще больше развивало его огромные силы, то мелкая душа Помпея под гнетом отчаяния опустилась в бездонную пропасть уныния. Как некогда, во время войны с Серторием, он готов был, бросив доверенный ему пост, бежать перед оказавшимся более сильным противником, так и теперь, увидев отступавшие за реку легионы, он сбросил с себя роковой пояс полководца и ускакал по ближайшей дороге к морю, чтобы там найти для себя судно. Его армия, деморализованная и оставшаяся без вожда (хотя Помпей и признал Сципиона своим товарищем по командованию армией, все-таки он был главнокомандующим только по имени), надеялась спрятаться за лагерными валами, но Цезарь и здесь не оставил ее в покое; упорное сопротивление римской и фракийской лагерной стражи было сломлено, и вся масса вынуждена в беспорядке подняться на высоты Краннона и Скотуссы, у подножья которых был разбит лагерь. Двигаясь по этим высотам, армия старалась снова достигнуть Лариссы, но войска Цезаря, невзирая ни на добычу, ни на усталость, двигаясь по лучшим дорогам в глубь равнины, преградили беглецам путь; а когда поздно вечером помпеянцы сделали привал, их преследователи сумели провести линию укреплений, преградивших отступавшему войску доступ к единственному находившемуся поблизости ручью. Так кончился день фарсальского сражения. Неприятельская армия была не только разбита, но и уничтожена. Пятнадцать тысяч помпеянцев, убитых и раненых, осталось на поле брани, в то время как цезарианцы недосчитались всего только 200 человек; оставшаяся еще сплочен-

ной масса войска, около 20 тыс. человек, на другое утро после битвы сложила оружие; лишь отдельные отряды, в которых были, правда, самые выдающиеся из офицеров, искали убежища в горах; из одиннадцати неприятельских орлов девять были переданы Цезарю. В день битвы Цезарь, напоминая солдатам о том, что они должны видеть во врагах своих сограждан, обращался с пленными не так, как Бибул и Лабие; однако и он нашел нужным теперь применить строгость. Простые солдаты были зачислены в армию; лица высшего сословия наказаны денежным штрафом и конфискацией имущества; пленные же сенаторы и знатные всадники, за немногими исключениями, были приговорены к смертной казни. Время милосердия миновало; чем дольше тянулась гражданская война, тем безнадежнее и непримиримее она становилась.

Прошло некоторое время, прежде чем удалось учесть последствия дня 9 августа 706 г. Бесспорнее всего было то, что на сторону Цезаря перешли все, кто держался партии, разбитой при Фарсале, только потому, что она была самой могущественной; поражение было такое решительное, что победителю достались все те, кто не хотел или не должен был бороться за проигранное дело.

Все цари, народности и города, составлявшие до тех пор клиентелу Помпея, отзывали теперь свои морские и сухопутные силы и отказались принимать у себя беглецов из разбитой партии. Так поступили Египет, Кирена, сирийские, финикийские, киликийские и малоазийские общины, Родос, Афины и вообще весь Восток. Боспорский царь Фарнак довел свое усердие до того, что после известия о фарсальской битве завладел не только городом Фанагорией, который за много лет до этого Помпей объявил независимым, и владениями признанных им колхидских властителей, но и Малоармянским царством, дарованным Помпеем царю Дейотару. Почти единственным исключением среди этого всеобщего подчинения был маленький городок Могара, который заставил цезарианцев штурмовать его и взять с бою, да еще нумидийский царь Юба, который уже давно, и в особенности после победы над Курионом, мог ожидать со стороны Цезаря отнятия своего государства и вследствие этого должен был, конечно, худо ли, хорошо ли, держаться побежденной партии.

Подобно тому как зависимые общины подчинились победителю при Фарсале, так и прихвостни конституционной партии, все те, которые участвовали в деле скрепя сердце, или же, как Марк Цицерон и его присные, вертелись вокруг аристократии, как ведьмы на шабаше, — все они явились, чтобы заключить мир с новым единодержавным властителем, который со своим снисходительным пренебрежением охотно и вежливо удовлетворил эту просьбу. Но ядро побежденной партии не шло на уступки. Аристократия была разбита, но аристократы никак не могли перейти на сторону монархии. Самые

высшие проявления человеческого духа преходящи; религия, некогда истинная, может сделаться ложью; когда-то благотворный государственный строй становится тяжким злом; но евангелие, даже отжившее, все еще находит последователей, и если подобная вера не может двигать горами, как вера в животворящую истину, она, тем не менее, останется верной себе до окончательной гибели и не исчезнет из мира живых до тех пор, пока не увлечет за собой своих последних жрецов и граждан и пока новое поколение, освобожденное от этих форм минувшего и разрушающегося прошлого, не будет царить над обновленным миром. Так было и в Риме. Хотя аристократическое правление и опустилось в бездну вырождения, оно все же некогда было величественной политической системой; священный огонь, благодаря которому была завоевана Италия и побежден Ганнибал, все еще тлел, хотя тускло и глухо, в римской знати, поскольку она вообще еще существовала, и делал невозможным искреннее ее соглашение между представителями старого режима и новым монархом. Большая часть конституционной партии подчинилась, по крайней мере внешним образом, новому порядку и признала монархию настолько, что приняла милости от Цезаря и удалилась, насколько это было возможно, в частную жизнь, что, конечно, желалось по большей части не без задней мысли сберечь себя таким образом для будущего переворота. Так поступали, главным образом, менее выдающиеся члены партии, однако к этим рассудительным людям следует отнести и талантливого Марка Марцелла, того самого, который вызвал разрыв с Цезарем и теперь добровольно удалился на Лесбос. Но у большинства истой аристократии страсти были сильнее холодного рассудка, в чем, конечно, большую роль играло самообольщение относительно возможности успеха и боязнь неизбежной мести победителя.

Никто, вероятно, не понимал положения дел с такой мучительной ясностью, не чувствуя ни страха, ни надежды для себя, как Марк Катон. Вполне убежденный в том, что после битвы при Илерде и Фарсале монархия стала неизбежной, и обладавший достаточной нравственной силой, чтобы осознать эту горькую истину и поступить сообразно с ней, он несколько заколебался, не зная, должна ли вообще конституционная партия продолжать войну, которая неизбежно потребует во имя проигранного дела жертв от многих людей, не знавших, ради чего они должны их приносить. Но когда он решил и дальше продолжать борьбу против монархии не ради победы, а для того чтобы подготовить себе более скорую и почетную гибель, то он старался по крайней мере не вовлекать в эту войну никого, кто мог бы пережить падение республики и ужиться с монархией. Пока республика только подвергалась опасности, он думал, что есть у кого-то право и обязанность заставлять даже равнодушных и дурных граждан принимать участие в борьбе, теперь было бы бессмысленно и

жестоко заставить отдельных лиц гибнуть вместе с погибшей республикой. Он не только сам отпускал каждого, кто выражал желание вернуться в Италию, но когда самый необузданный из диких сторонников партии, Гней Помпей сын, требовал казни этих людей, а главное Цицерона, этому благодаря своему авторитету помешал только Катон.

Не хотел мира и Помпей. Если бы он был человеком, заслуживающим чести занимать пост, который ему был поручен, он бы понимал, что человеку, стремившемуся к короне, немислимо войти в колею обыденной жизни, и для того, кто оступился, уже нет места на земле. Но Помпей едва ли был слишком горд, чтобы просить милости, в которой победитель по своему великодушию, может быть, и не отказал бы ему, — вернее, что он был слишком ничтожен для этого. Потому ли, что он не мог решиться довериться Цезарю, или потому, что по своей неясной и нерешительной натуре он, как только сгладилось первое непосредственное впечатление от фарсальской битвы, снова стал надеяться на успех, Помпей решил продолжать борьбу и после фарсальского поля битвы стал искать себе другое.

Таким образом, как ни старался Цезарь с помощью ума и умеренности смягчить гнев своих противников и уменьшить их число, борьба тем не менее продолжалась. Руководившие ею люди почти все участвовали в битве при Фарсале, и хотя, кроме Луция Домиция Агенобарба, убитого во время бегства, все без исключения спаслись, они были рассеяны во все стороны, почему им и не удалось сговориться относительно общего плана для продолжения похода. Большинство из них частью по пустынным македонским и иллирийским горам, частью с помощью флота достигло Керкиры, где Марк Катон командовал оставшимся там резервом. Здесь под председательством Катона состоялось нечто вроде военного совета, на котором присутствовали Метелл Сципион, Тит Лабиев, Луций Афраний, Гней Помпей младший и другие, но, с одной стороны, отсутствие главнокомандующего и мучительная неизвестность относительно его судьбы, с другой — внутренний разлад в самой партии помешали принятию общего решения, и в заключение каждый пошел по тому пути, который казался ему лучшим для него самого или для общего дела. Среди многочисленных соломинок, за которые можно было ухватиться, трудно было указать, которая из них сулит больше шансов на спасение.

Македония и Греция были утрачены благодаря фарсальской битве. Впрочем, Катон, очистивший Диррахий при первом известии о фарсальском поражении, еще на некоторое время удержал для конституционной партии Керкиру, а Рутилий Луп — Пелопоннес. Был момент, когда казалось, что помпеянцы собираются обороняться в Патрах на Пелопоннесе, но достаточно было одного слуха о прибли-

жении Калена, чтобы они исчезли отсюда. Так же мало усилий было сделано и для удержания Керкиры.

• На итальянском и сицилийском побережьях эскадра Помпея, посланная туда после диррахийских побед, действовала с немалым успехом против гаваней Брундизия, Мессаны и Вибона; в Мессане даже был сожжен весь снаряжавшийся там флот Цезаря; но действовавшие здесь суда, большей частью малоазийские и сирийские, были отозваны обратно своими общинами после фарсальского поражения, так что экспедиция сама собой закончилась. В Малой Азии и Сирии в этот момент не было войск ни той, ни другой партии за исключением боспорской армии Фарнака, которая, будто бы защищая интересы Цезаря, заняла ряд областей его противников.

В Египте, правда, еще находилось значительное римское войско, образованное из оставленных Габинием отрядов, с того времени пополнявшихся итальянскими бродягами и всяким сбродом из сирийских и киликийских разбойничьих шаек; но было само собой понятно и вскоре подтвердилось официально отозванием египетских судов, что александрийский двор не имел намерения держаться побежденной партии или же отдать в ее распоряжение свои военные силы.

Несколько более благоприятные шансы на успех имели побежденные на Западе. В Испании среди населения симпатии к Помпею были так сильны, что цезарианцы даже были принуждены отказаться от задуманного ими оттуда нападения на Африку, и восстание казалось неизбежным, как только на полуострове появится какой-нибудь выдающийся вождь.

В Африке же коалиция, или, вернее, настоящий властелин Африки, нумидийский царь Юба, беспрепятственно вооружался с осени 705 г. Если поэтому весь Восток был утрачен коалицией из-за битвы при Фарсале, то, наоборот, в Испании она могла, по всей вероятности, — а в Африке даже наверное, — продолжать войну с достоинством, так как принять помощь против сограждан-революционеров от издавна подвластного римской общине нумидийского царя, конечно, было для римлян мучительным унижением, но не государственной изменой. Тот же, для кого в этой отчаянной борьбе не существовало больше ни чести, ни права, мог, объявив себя вне закона, начать разбойничью борьбу, или, вступив в союз с независимыми соседними государствами, вовлечь во внутреннюю распрю врагов отечества, или же, наконец, признав монархию на словах, добиваться восстановления законной республики с помощью кинжала убийцы.

Побежденные отмежились от новой монархии, — это было естественным и наиболее правильным выражением отчаянного положения. Горы и в особенности море служили тогда, как и с незапамятных времен, убежищем для всяких преступлений и для людей, бежавших от невыносимой нищеты и несправедливости. Сторонникам Помпея

и республиканцам легко могла прийти мысль вести войну в горах и на море против вытеснившей их цезаревой монархии и в особенности в обширных размерах возобновить пиратство с более правильной организацией и с определенной целью. Даже после отозвания пришедших с Востока эскадр они еще располагали очень значительным собственным флотом, тогда как Цезарь по-прежнему почти не имел военных судов; их связи с далматами, в собственных интересах восставшими против Цезаря, их господство над важнейшими морями и портовыми городами обещали морской войне, особенно войне в малом масштабе, благоприятнейшие результаты. Так же как некогда травля Суллой демократов кончилась восстанием Сертория, которое сначала было пиратской, потом разбойничьей войной и, наконец, превратилось в очень серьезную борьбу, так и теперь, если бы у катоновой аристократии или у сторонников Помпея было столько же одушевления и огня, как у маррианской демократии, и если бы в ее рядах оказался настоящий властитель морей, на непокоренном еще море могло бы сложиться независимое от монархии Цезаря и, может быть, способное померяться с ней государство.

Более резкого порицания во всех отношениях заслуживает мысль вовлечь в римскую войну независимое соседнее государство и при его помощи произвести контрреволюцию: закон и совесть осуждают перебежчика строже, чем разбойника, и для победоносной разбойничьей шайки обратный путь к свободному и благоустроенному государству легче, чем для эмиграции, которой удастся вернуться при помощи врага родной страны. Впрочем, было мало вероятно, чтобы разгромленная партия таким путем могла произвести реставрацию. Единственным государством, в котором эмиграция могла искать опоры, было парфянское; однако было очень сомнительно, захочет ли оно чужое дело считать своим, и совершенно невероятно, что оно сможет отстоять его против Цезаря. Пора республиканских заговоров еще не наступила.

В то время как остатки разгромленной партии беспомощно отдавали себя на произвол судьбы, и даже люди, решившиеся продолжать борьбу, сами не знали, где и как ее вести, Цезарь, как всегда, быстро решая и действуя, отложил все в сторону, чтобы преследовать Помпея, единственного из своих противников, которого он уважал как полководца, зная, что если он возьмет его в плен, то этим парализует действия половины его противников, и притом наиболее опасных. С небольшим отрядом переправился он через Геллеспонт (его барка наткнулась здесь на неприятельский флот, направлявшийся в Черное море, и взяла в плен весь экипаж, ошеломленный вестью о фарсальской битве) и, когда необходимые приготовления были сделаны, поспешил за Помпеем на Восток. После фарсальской битвы Помпей отправился на Лесбос, взял свою жену и второго сына Секста

и двинулся дальше, мимо Малой Азии, в Киликию, а оттуда к Кипру. Он мог бы проехать к своим приверженцам в Керкиру или Африку; но антипатия к аристократическим союзникам и мысль о приеме, который его там ожидал после фарсальского сражения и особенно после его позорного бегства, по-видимому, заставили его идти своей дорогой и скорее искать покровительства у парфянского царя, чем защиты у Катона. В то время как он собирал у откупщиков податей и у купцов деньги и невольников и вооружал 2 тыс. рабов, он получил известие, что Антиохия высказалась за Цезаря и что путь к парфянам уже несвободен. Тогда он изменил свой план и поплыл на судах в Египет, где в войске служило много его прежних солдат и где положение дел и большие средства страны давали время и возможность заняться реорганизацией армии.

В Египте после смерти Птолемея Авлета (в мае 703 г.) на престол, по воле отца, совместно и как супруги вступили его дети, 16-летняя Клеопатра и 10-летний Птолемей Дионис; вскоре после этого брат — или, вернее, его опекун Потин — изгнал сестру из государства и заставил ее искать убежища в Сирии, где она принимала меры, чтобы вернуться в отцовское царство. Птолемей и Потин со всей египетской армией стояли при Пелузии, чтобы защитить восточную границу от Клеопатры; в это время Помпей был на море у Казийского мыса и послал просить у царя разрешения высадиться. Египетский двор, давно уже знавший о фарсальской катастрофе, хотел было отвергнуть просьбу Помпея, но гофмейстер царя Теодот указал на то, что Помпей благодаря своим связям в египетской армии может вызвать в ней восстание и что было бы гораздо вернее и удобнее по отношению к Цезарю воспользоваться этим случаем и убить Помпея. Такими политическими соображениями охотно руководствовались государственные деятели эллинского мира. Генерал царских войск Ахилла и несколько бывших солдат Помпея на лодке подплыли к кораблю Помпея и предложили ему навестить царя и, так как фарватер стал мелок, перейти в их лодку.

Когда Помпей высаживался с корабля в лодку, военный трибун Луций Септимий заколол его сзади на глазах у жены и сына, которые принуждены были смотреть с палубы на убийство, не имея возможности ни спасти Помпея, ни отомстить за него (28 сентября 706 г.). В тот самый день в который за тридцать лет до этого, торжествуя свою победу над Митрадатом, Помпей вступил в столицу, окончил жизнь в пустынных степях негостеприимного казийского побережья от руки одного из своих прежних солдат этот человек, слывший на протяжении целой человеческой жизни великим и много лет повелевавший Римом. Судьба только потому в течение тридцати лет с демоническим постоянством давала этому хорошему офицеру, скудно, однако, одаренному в умственном и нравственном отношении, возможность

разрешать все блестящие задачи без труда, только потому позволяла ему срывать лавры, насажденные и возвращенные другими, только потому давала ему в руки все условия для достижения высшей власти, что хотела показать образец ложного величия, подобного которому не встретишь больше во всей истории. Из всех жалких ролей, выпадающих на долю человека, самая жалкая та, в которой он кажется гораздо сильнее, чем это есть в действительности; такова уж судьба монархии, — вряд ли на протяжении тысячи лет в народе найдется хоть один человек, который был бы не только по имени, но и на деле царь. Эта жалкая роль неразлучна с монархией. Если это противоречие между кажущимся и действительным никогда, может быть, так резко не проявлялось, как у Помпея, то невольно приходит в голову, что в известном смысле Помпей начинает собой ряд римских монархов.

Когда Цезарь, следуя по пятам Помпея, прибыл в александрийский порт, все уже было конечно. Глубоко потрясенный, отвернулся Цезарь, когда убийца принес ему на корабль голову человека, который был его зятем и долгое время товарищем по власти, которого он собирался захватить живым в Египте. Ответ на вопрос, что сделал бы Цезарь с пленным Помпеем, мы не могли получить из-за кинжала торопливого убийцы; но если человеколюбие, для которого было место в великой душе Цезаря наряду с честолюбием, и заставило бы его пощадить бывшего друга, его личные интересы требовали, чтобы Помпей не был устранен рукой палача. В течение двадцати лет Помпей был признанным властелином Рима; так глубоко укоренившееся владычество не исчезает со смертью властителя. Смерть Помпея не привела к разложению в рядах помпеянцев, но вместо престарелого, неспособного и уставшего вождя дала им двух руководителей в лице его сыновей Гнея и Секста, которые были молоды и подвижны, а второй, несомненно, даже талантлив. Ко вновь основанной наследственной монархии присосались, как паразиты, наследственные претенденты, и было очень сомнительно, выиграл ли или проиграл Цезарь при этой смене личностей.

Цезарю больше ничего было делать в Египте; и римляне и египтяне ждали, что он тотчас же уедет, чтобы взяться за покорение Африки и огромную организационную работу, предстоявшую ему после победы. Но Цезарь остался верен своей привычке. Очутившись в этой далекой стране, он тотчас же занялся окончательным регулированием местных отношений; он был твердо уверен, что ему ничего ждать противодействия ни со стороны римского гарнизона, ни со стороны двора, к тому же он нуждался в деньгах. Высадившись в Александрии с двумя сопровождавшими его легионами, сократившимися до 3 200 человек, и 800 кельтскими и германскими всадниками, Цезарь расположился в царском дворце и стал собирать необходимые ему

денежные суммы и решать вопрос о египетском престолонаследии, не обращая внимания на дерзкое замечание Потина, что за этими мелочами он может упустить свои собственные важные дела. С египтянами он поступал при этом справедливо и даже снисходительно. Хотя поддержка, оказанная ими Помпею, давала Цезарю право обложить их военной контрибуцией, изнуренная страна была избавлена от этого; отказавшись от того, что оставалось недоплаченным из суммы, выговоренной в 695 г. и с того времени внесенной лишь наполовину, он потребовал с египтян уплаты 10 млн денариев. Обеим воюющим сторонам было приказано немедленно прекратить военные действия и явиться для расследования и решения спора перед третьей римской трибуной. Они повиновались; царственный отрок находился уже во дворце, туда же прибыла и Клеопатра. На основании завещания Авлета Цезарь присудил Египетское царство обоим супругам, Клеопатре и Птолемию Дионису, и по собственному побуждению, Кипрское царство — второй египетской царственной линии, младшим детям Авлета, Арсиное и Птолемию младшему, отменив при этом постановление о присоединении этой страны к Риму.

Между тем втихомолку готовилось буря. Александрия, как и Рим, была мировым городом, едва ли уступавшим италийской столице численностью населения и далеко превосходившим ее деятельным торговым духом, развитием ремесел, интересом к наукам и искусству. Граждане обладали живым национальным самосознанием и если не политическим чутьем, то беспокойным характером, благодаря которому они так же бодро и регулярно участвовали в уличных схватках, как парижане. Легко себе представить их ощущения, когда они увидели, как римский полководец распоряжается в резиденции Лагидов, как их цари ищут правосудия в его трибунале. Потин и царственный отрок, конечно, очень недовольные как напоминанием о старых долгах, так и вмешательством в распри из-за престола, которое могло окончиться и действительно окончилось в пользу Клеопатры, демонстративно отправили сокровища храмов и золотую столовую утварь царя на монетный двор, чтобы отчеканить из них монеты и удовлетворить требования римлян. С глубокой горечью смотрели египтяне, суеверные и набожные, гордившиеся прославленной роскошью своего двора как своим собственным достоянием, на голые стены своих храмов и деревянные сосуды на столе своего царя. Оккупационное римское войско, в значительной мере утратившее свою национальность благодаря долгому пребыванию в Египте и многочисленным бракам, заключенным между солдатами и египетскими девушками, и к тому же насчитывавшее в своих рядах множество старых воинов Помпея и беглых италийских преступников и рабов, также негодовало на Цезаря, по приказу которого оно должно было прервать свои действия на сирийской границе, и на горсточку его надменных легио-

неров. Уже смятение, начавшееся в толпе, когда высадился Цезарь и римские секиры были внесены в древний царский дворец, а также многочисленные убийства его солдат, совершенные из-за угла среди города, показали Цезарю, какой страшной опасности он подвергался вместе со своей небольшой свитой среди этой озлобленной толпы. Уехать было очень трудно из-за северо-западных ветров, дувших в это время года; к тому же попытка посадки на корабли могла послужить сигналом к восстанию; вообще Цезарь не привык уходить, не окончив дела. Он немедленно вытребовал подкрепления из Малой Азии, а до их прибытия проявлял полное спокойствие. Казалось, никогда не жилось веселее в его лагере, чем во время этого отдыха в Александрии; красивая и остроумная Клеопатра не скупилась расточать свои чары, особенно по отношению к своему судье, но и Цезарь как будто ценил больше всех своих завоеваний победу над красивыми женщинами. Все это было веселым прологом к очень серьезным событиям. Стоявшая в Египте римская оккупационная армия внезапно появилась в Александрии под предводительством Ахиллы и, как оказалось впоследствии, по тайному приказанию царя и его опекуна. Как только граждане увидели, что войско приближалось для того, чтобы напасть на Цезаря, они немедленно присоединились к солдатам.

С присутствием духа, до известной степени оправдывающим и его прежнюю безумную отвагу, Цезарь быстро собрал свой рассеянный отряд, завладел царем и его министрами, укрепился в царском дворце и соседнем театре и, не имея времени отправить в безопасное место расположенный как раз против театра военный флот, велел его сжечь и занять с помощью флотилии лодок господствовавший над гаванью остров Фарос с его маяком. Таким образом, была приобретена, хотя и ограниченная, оборонительная линия, и оставался открытым путь для доставки припасов и подкреплений. Вместе с тем был дан приказ малоазийскому наместнику, а также ближайшим подвластным Риму областям — Сирии, Nabatee, Криту и Родосу, — как можно скорее послать войска и суда в Египет. Восстание, во главе которого стала принцесса Арсиноя и ее доверенный евнух Ганимед, тем временем охватило Египет и большую часть столицы, на улицах которой происходили ежедневные схватки. Однако ни Цезарю не удавалось добраться до находившегося за городом пресноводного Мареотийского озера, где он мог бы запастись водой и фуражом, ни александрийцам завладеть осажденными и лишить их питьевой воды. Когда нильские каналы в части города, занятой Цезарем, были испорчены притоком туда морской воды, неожиданно была найдена пресная вода в колодцах, вырытых у берега. Так как одолеть Цезаря со стороны материка было невозможно, осаждавшие направили все усилия на то, чтобы уничтожить его флот и отрезать его от моря, откуда подвозились к нему припасы. Остров, на котором находился маяк, и плоти-

на, соединявшая его с материком, разделяли гавань на западную и восточную половины, сообщавшиеся друг с другом посредством двух полукруглых отверстий плотины. Цезарь владел островом и восточной гаванью, плотина же и западная гавань были во власти граждан, и так как александрийский флот был сожжен, суда Цезаря беспрепятственно прибывали и отплывали обратно. Александрийцы, тщетно пытавшиеся ввести брандеры из западной гавани в восточную, снарядили затем при помощи остатков своего арсенала небольшую эскадру и преградили путь судам Цезаря в ту минуту, когда они вводили на буксире транспортный флот с легионом, прибывшим из Малой Азии; тем не менее превосходные родосские матросы Цезаря одержали верх над врагом. Вскоре после этого, однако, граждане захватили остров с маяком* и заперли для больших судов узкий и каменистый вход в восточную гавань, так что флот Цезаря принужден был стоять на открытом рейде против восточной гавани, и судьба его сообщений с морем висела на волоске. Флот Цезаря, несколько раз подвергавшийся на этом рейде нападениям превосходивших его морских сил врага, не мог ни избежать неравного боя, так как потеря острова Фароса закрыла ему вход во внутреннюю гавань, ни выйти в открытое море, так как, лишившись рейда, Цезарь был бы совершенно отрезан от моря. Если храбрые легионеры, поддерживаемые опытными родосскими матросами, до сих пор решали все сражения в пользу Цезаря, то александрийцы тоже объявляли и усиливали с неутомимой выдержкой вооружения своего флота. Осажденные принуждены были сражаться, когда только это было угодно осаждавшим, и если бы первые хоть раз были побеждены, Цезарь был бы окружен и, вероятно, погиб бы. Нужно было по меньшей мере сделать попытку овладеть Фаросом. Двойное нападение, сделанное со стороны гавани на лодках, а со стороны моря на военных судах, действительно, не только возвратило Цезарю остров, но отдало ему и нижнюю часть плотины; только у второго отверстия ее Цезарь приказал остановиться и преградить в этом месте плотину со стороны города посредством поперечного вала. Но в то время, когда у крайних окопов завязалась горячая схватка, римские войска оставили незанятой нижнюю часть плотины, примыкающую к острову. Незаметно высадился тут отряд египтян, напал сзади на собравшихся на плотине у поперечного вала римских солдат и матросов и погнал их в диком беспорядке к морю. Часть из них подобрала римские корабли, но большинство утонуло. Около 400 солдат и еще большее число матросов погибли в этот день; сам пол-

* Рассказ о потере этого острова пропущен, вероятно, из-за пробела в Bell. Alex., 12, так как вначале остров был во власти Цезаря (В. с., 3, 112; Bell. Alex., 8). Плотина, вероятно, все время была в руках неприятеля, так как Цезарь сообщался с островом только на судах.

ководец, разделивший участь своих людей, должен был вплавь добраться до своего корабля, а когда переполненное судно пошло ко дну, перебрался на другой корабль. Но как ни чувствительна была понесенная потеря, она была в значительной степени компенсирована захватом Фароса, который вместе с плотиной, до первого отверстия в ней, оставался во власти Цезаря.

Наконец, прибыли долгожданные подкрепления. Митридат Пергамский, опытный воин школы Митридата Евпатора, побочным сыном которого он себя называл, вел по сухому пути из Сирии армию, составленную из разнообразных элементов: из итуреев ливанского князя, бедуинов Ямвлиха, сына Сампсикерама, иудеев во главе с министром Антипатром, — вообще из контингентов мелких владельцев и общин Киликии и Сирии. Из Пелузия, которым Митридату удалось завладеть в день прибытия, он продвинулся по большой дороге к Мемфису, чтобы избежать пересеченной местности на нильской дельте и перейти Нил до его разветвления; при этом его войско не раз получало поддержку со стороны иудеев, в большом количестве поселившихся в этой части Египта. Египтяне, во главе которых стоял теперь молодой царь Птолемей, отпущенный Цезарем к его народу в напрасной надежде ослабить при его помощи восстание, выслали войска к Нилу, чтобы задержать Митридата на противоположном берегу реки. Это войско еще по ту сторону Мемфиса, у так называемого иудейского лагеря, между Онием и Гелиополем, встретилось с неприятелем; но Митридат, привыкший маневрировать и защищаться по римскому образцу, после удачных схваток перешел на другой берег реки у Мемфиса, Цезарь же, как только получил известие о прибытии подкреплений, направил часть своих войск на судах к краю Мареотидского озера, на запад от Александрии, и обошел вокруг него, затем двинулся берегом Нила навстречу приближающемуся Митридату. Обе армии соединились, и неприятель даже не попытался помешать этому.

Цезарь вступил в дельту, куда тем временем отошел царь, и, несмотря на глубокий канал, находившийся перед фронтом египтян, отбросил их авангард с первого же натиска и вслед за этим начал штурмовать египетский лагерь, расположенный у подножия возвышенности между Нилом, отделенным от нее только узкой дорогой и трудно проходимыми болотами. Цезарь приказал войскам ринуться одновременно с фронта и сбоку по дороге у Нила на лагерь и во время этого штурма незаметно повел третий отряд на возвышенность за лагерь. Победа была полная; лагерь был взят; те египтяне, которые не погибли под ударами неприятельских мечей, утонули, пытаясь доплыть до судов нильского флота. В одной из лодок, переполненных народом и пошедших ко дну, был молодой царь, погибший в волнах родной реки.

Прямо с поля битвы Цезарь двинулся со стороны материка, во главе своей конницы, в занятую египтянами часть столицы. В траурных одеждах, держа в руках изображения своих богов, встретили его враги, моля о мире; его же сторонники, увидев, что он победоносно возвращается не с той стороны, откуда он ушел, встретили его с безграничным ликованием. Судьба города, который осмелился помешать приведению в исполнение планов властителя вселенной и едва не довел его до гибели, была в руках Цезаря, но, как настоящий правитель, он не был злопамятен и обошелся с александрийцами так же, как с массалиотами. Цезарь указал гражданам на их сильно разоренный город, лишившийся, в то время когда горел флот, и хлебных запасов, и знаменитой библиотеки, и других важнейших зданий; он убеждал жителей впредь заняться исключительно искусством и ремеслами и стараться залечить раны, которые они сами себе нанесли; он довольствовался тем, что признал за проживавшими в Александрии иудеями такие же права, какими пользовалось греческое население города, а вместо прежней римской оккупационной армии, повиновавшейся, по крайней мере на словах, египетским царям, оставил в Александрии настоящий римский гарнизон, состоявший из двух уже находившихся здесь легионов и третьего, прибывшего позже из Сирии; во главе этого гарнизона был поставлен лично назначенный Цезарем начальник. На этот ответственный пост был умышленно избран человек, происхождение которого не позволяло ему злоупотреблять своей властью, — Руфион, опытный воин, но сын вольноотпущенника. Правление Египтом под главенством Рима было вверено Клеопатре и ее младшему брату Птолемею. Для того чтобы принцесса Арсиноя не могла давать повода к восстанию египтянам, которые как истые дети Востока были преданы династии, но совершенно равнодушны к отдельным ее представителям, она была отвезена в Италию; Кипр снова стал частью римской провинции Киликии.

Александрийское восстание, столь незначительное, хотя и имевшее лишь малую связь со всемирно-историческими событиями, совершавшимися в то время в Римском государстве, тем не менее имело для них важное значение, так как заставило того человека, который был всем в государстве, без которого ничто не могло ни идти вперед, ни быть как-нибудь решенным, на время от октября 706 г. до марта 707 г. оставить в стороне свои ближайшие задачи, для того чтобы вместе с иудеями и бедуинами бороться против черни большого города. Последствия единоличного режима начинали сказываться. Монархия установилась, но везде господствовала ужасная сумятица, а монарх был далеко. Точно так же как и помпеянцы, сторонники Цезаря оставались в эту минуту без высшего руководства; все зависело от одаренности отдельных военачальников и еще чаще от случая.

Ко времени отъезда Цезаря в Египет в Малой Азии уже не оказа-

лось больше врагов. Тем временем наместник Цезаря в этой стране даровитый Гней Домиций Кальвин получил приказание снова отнять у царя Фарнака все, что он самовольно захватил у союзников Помпея. Ввиду того что Фарнак, такой же упрямый и надменный деспот, как его отец, упорно не соглашался очистить Малую Армению, ничего иного не оставалось, как пойти против него. Кальвин должен был из трех оставленных ему легионов, образованных из фарсальских военнопленных, два отправить в Египет; он пополнил эту брешь легионом, наскоро собранным из поселившихся в Понте римлян, и двумя легионами Дейотара, обученными по римскому образцу, и после этого вступил в Малую Армению. Но боспорское войско, испытанное в многочисленных боях с жителями берегов Черного моря, оказалось храбрее войска Кальвина.

В сражении под Никополем понтийское ополчение Кальвина было уничтожено, а галатские легионы разбежались; один только старший римский легион сумел пробиться без значительных потерь. Вместо завоевания Малой Армении Кальвин не мог даже помешать Фарнаку снова завладеть своими понтийскими «наследственными» владениями и излить на их жителей, в особенности на несчастных амисцев, все свое страшное султанское своеволие (зима 706/707 г.). Когда же Цезарь сам прибыл в Малую Азию и велел ему сказать, что услуга, лично оказанная ему Фарнаком, не оказавшим помощи Помпею, не может быть принята в расчет по сравнению с тем вредом, который он нанес государству, и что, прежде чем вести какие-либо переговоры, он должен очистить понтийскую провинцию и возвратить все присвоенное им, Фарнак изъявил готовность повиноваться; но, хорошо зная, как важно для Цезаря отправиться на Запад, он не делал никаких серьезных приготовлений к очищению территории. Но он не знал, что Цезарь всегда доводил до конца все то, что начинал.

Не тратя времени на переговоры, Цезарь собрал приведенный им из Александрии легион и войско Кальвина и Дейотара и двинулся к лагерю Фарнака при Зеле. Когда боспорцы заметили его приближение, они смело прошли через глубокое горное ущелье, прикрывавшее их фронт, и, взобравшись на холм, напали на римлян. Цезаревы воины еще были заняты устройством лагеря, и на мгновение их ряды поколебались; однако привычные к войне ветераны быстро собрались и подали сигнал к общему наступлению и полной победе (2 августа 707 г.). Война была окончена в пять дней, — в то время когда дорог был каждый час, эта была необычайная удача.

Преследование царя, вернувшегося в свои владения через Синоп, Цезарь поручил сводному брату Фарнака, храброму Митридату Пергамскому, который в награду за услуги, оказанные им в Египте, получил вместо Фарнака боспорский царский венец. В остальном сирийские и малоазийские дела были улажены мирным путем: союзни-

ки Цезаря получили богатые награды, союзников же Помпея отпускали на свободу с выговором или денежной пеней; одному только, могущественнейшему из всех клиентов Помпея, Дейотару, снова пришлось ограничиться своей небольшой наследственной областью, округом племени толистобогов. Вместо него Малая Армения была отдана каппадокийскому царю Ариобарзану, а захваченная Дейотаром трокмерская тетрархия — новому властелину Боспора, происходившему с отцовской стороны из понтийского, а с материнской из галатского царского рода.

В Иллирии также происходили во время пребывания Цезаря в Египте очень серьезные события. Далматийское побережье уже в течение многих веков было больным местом Римского государства, а население его находилось во вражде с Цезарем еще со времен боев под Диррахием; в стране было множество бежавших туда еще с фессалийской войны помпеянцев. Однако Квинт Корнифиций с пришедшими из Италии легионами сумел держать в повиновении как жителей страны, так и беглецов и вместе с тем выполнить трудное в этих диких местах задание снабжения войска продовольствием. Даже когда способный Марк Октавий, победитель при Курикте, появился в этих водах с частью помпеева флота, чтобы руководить на море и на суше войной против Цезаря, Корнифиций, опираясь на корабли и на гавань ядестинов (Зара), не только сумел удержаться, но даже выиграл несколько сражений на море с флотом противника. Но, когда зимой 706/707 г. новый иллирийский наместник Авл Габиний, возвращенный Цезарем из ссылки, прибыл в Иллирию сухим путем с пятнадцатью когортами и 3 тыс. всадников, вся система ведения войны изменилась. Вместо того чтобы, как его предшественник, ограничиться малой войной, этот смелый, деятельный человек немедленно предпринял, несмотря на суровое время года, экспедицию в горы со всем своим войском. Однако неблагоприятная погода, трудность добывания продовольствия и мужественное сопротивление далматов изнурили войска; Габиний должен был начать отступление, был застигнут далматами, постыдно разбит и с трудом добрался с жалкими остатками своей значительной армии до Салон, где он вскоре после этого и умер. Большинство иллирийских приморских городов после этого сдалось флоту Октавия; те же, кто держал сторону Цезаря, как, например, Салоны и Эпидавр (Ragusa Vecchia), были так стеснены на море флотом, а на суше варварами, что капитуляция находящихся в Салонах остатков войска казалась уже недалекой. Тогда комендант брундизийских складов, энергичный Публий Ватний, велел, за неимением военных судов, снабдить корабельными носами обыкновенные лодки и посадить на них солдат, выпущенных из лазаретов, и с этим импровизированным военным флотом близ острова Тавриса (Торкола, между Лесиной и Курцолой) дал флоту Октавия, значи-

тельно превосходившему его силами, сражение, в котором, как это нередко бывает, мужество предводителя и солдат вознаградило за все недостатки судов, и цезарианцы одержали блестящую победу. Марк Октавий покинул эти воды и удалился в Африку весной 707 г. Далматы оборонялись еще, правда, с большим упорством в течение многих лет, но это было уже не что иное, как местная горная война. Когда Цезарь вернулся из Египта, энергичный его помощник уже устранил грозившую Иллирии опасность.

Тем серьезнее были дела в Африке, где с начала гражданской войны конституционная партия господствовала неограниченно и где власть ее постоянно усиливалась. До фарсальской битвы здесь, собственно, правил царь Юба; он одержал верх над Курионом, и вся сила войска заключалась в его легкой коннице и бесчисленных стрелках; наместник Помпея Вар играл рядом с ним такую второстепенную роль, что был вынужден даже выдать царю сдавшихся ему солдат Куриона и смотреть на то, как их казнили или ссылали внутрь Нумидии. Все это изменилось со времени фарсальского сражения. О бегстве к парфянам не думал, кроме самого Помпея, ни один из выдающихся членов разгромленной партии. Так же мало попыток делалось и к тому, чтобы удержать соединенными силами власть на море; экспедиция Марка Октавия в иллирийских водах оставалась одиночным явлением и не имела прочного успеха. Значительное большинство как республиканцев, так и помпеянцев направилось к Африке, — единственному месту, где еще возможна была достойная и законная борьба против узурпатора. Там мало-помалу объединились остатки армии, разбитой при Фарсале, гарнизонные войска из Диррахия, Керкиры и Пелопоннеса и остатки иллирийского флота; туда же прибыл второй главнокомандующий Метелл Сципион, оба сына Помпея, Гней и Секст, политический вождь республиканцев Марк Катон, храбрые военачальники Лабиев, Афраний, Петрей, Октавий и другие. Хотя силы эмиграции уменьшились, ее фанатизм, напротив, насколько это было возможно, увеличился. Не только пленных, но даже и парламентариев Цезаря продолжали убивать, а царь Юба, в котором озлобление сторонника партии сливалось с яростью полуварвара-африканца, установил правило, чтобы во всякой общине, подозреваемой в симпатиях к неприятелю, город сжигался, а граждане предавались истреблению, и, действительно, применил эту теорию на практике по отношению к некоторым местностям, как, например, к злосчастной Ваге близ Гадрумета. Если главному городу провинции, цветущей Утике, на которую, как некогда на Карфаген, давно уже завистливо поглядывали нумидийские цари, не пришлось испытать подобного же обращения со стороны царя Юбы, и относительно его граждан, не без основания обвиняемых в симпатии к Цезарю, ограничились одними мерами предосторожности, то этим они были обязаны только энергичному вмешательству Катона.

Так как ни сам Цезарь, ни кто-либо из его наместников не принимали ровно ничего против Африки, то коалиция имела достаточно времени для того, чтобы реорганизоваться в военном и политическом отношении. Прежде всего необходимо было снова заместить освободившуюся со смертью Помпея должность главнокомандующего. Царь Юба непрочь был удержать то положение, которое он занимал в Африке до битвы при Фарсале; вообще он выступал уже не как клиент Рима, а как равноправный союзник или, пожалуй, даже как покровитель, позволял себе чеканить римские серебряные монеты со своим именем и гербом, заявлял даже притязания на исключительное право носить в лагере пурпуровую одежду и требовал от римских военачальников, чтобы они сняли с себя пурпуровую одежду полководца. Наконец, и Метелл Сципион требовал для себя поста главнокомандующего на том основании, что Помпей, конечно, больше по родственному, чем по военным соображениям признавал его во время фессалийского похода равным себе. Те же требования заявил и Вар, самозванный наместник Африки, на том основании, что война должна была вестись в его провинции; армия, наконец, требовала себе в вожди пропретора Марка Катона. Очевидно, она была права. Катон был единственным человеком, обладавшим необходимой для этой тяжелой службы преданностью, энергией и авторитетом; конечно, он не был воином, но было несравненно лучше назначить главнокомандующим человека без всякой военной подготовки, который сумеет вести себя скромно и даст возможность действовать подчиненным ему полководцам, чем офицера с неиспытанными способностями, как Вар, или, что еще хуже, человека, заведомо неспособного, как, например, Метелл Сципион. Тем не менее выбор все-таки под конец пал именно на Сципиона, и Катон в значительной степени повлиял на это решение. Случилось это не потому, что Катон не чувствовал в себе достаточно силы для выполнения этой задачи или что его мелкое самолюбие больше удовлетворялось отказом от должности, чем принятием ее; еще меньше потому, что он любил и уважал Сципиона, с которым он, наоборот, был в личной вражде и который при своей заведомой неспособности приобретал всюду некоторое значение только благодаря родственным связям с Помпеем; случилось это исключительно потому, что Катон со своим закоренелым юридическим формализмом скорее готов был погубить республику на законном основании, чем спасти ее незаконным образом. Когда после фарсальской битвы он встретился в Керкире с Марком Цицероном, который со времени своего киликийского наместничества был генералом, он вызвался передать ему по праву, как высшему офицеру, должность главнокомандующего в Керкире и своей готовностью довел несчастного адвоката, тысячу раз проклинавшего свои аманские лавры, почти до отчаяния и вместе с тем удивил всех мало-мальски рассудительных людей. Теми же принципами руководствовался он и теперь,

когда от этого зависело нечто более важное. Катон решал вопрос о том, кто должен занять пост главнокомандующего, как будто дело шло о пашне близ Тускула, и присудил должность Сципиону. Этим решением устранялись как его собственная кандидатура, так и притязания Вара. Но вместе с тем он же, и только он один, энергично протестовал против притязаний царя Юбы и дал ему почувствовать, что римская аристократия идет к нему не как просительница, как она обращалась к парфянскому властелину, чтобы искать поддержки, а повелительно требуя этой поддержки от подданного. При тогдашнем положении военных сил в Африке Юба поневоле был принужден понизить голос, хотя все-таки ему удалось добиться от слабовольного Сципиона, чтобы уплата жалования его войску была возложена на римскую казну и чтобы в случае победы ему была обеспечена уступка провинции Африки.

Рядом с новым главнокомандующим снова выступил сенат «трехсот», избравший местом своих заседаний Утику и пополнивший свои поредевшие ряды принятием в свой состав самых влиятельных и зажиточных лиц из сословия всадников. Главным образом, благодаря рвению Катона вооружения производились чрезвычайно энергично, и все годные к ношению оружия, даже вольноотпущенники и ливийцы, вербовались в легионы, благодаря чему все силы до того были отвлечены от хлебопашества, что большая часть полей оставалась невозделанной, но вместе с тем, конечно, были достигнуты громадные результаты в военном отношении. В тяжелой пехоте насчитывалось четырнадцать легионов, из которых два уже были выставлены Варом, восемь других — составлены частью из беглецов, частью из провинциальных рекрутов, а четыре, вооруженные по римскому образцу, принадлежали царю Юбе. Тяжелая конница, состоявшая из кельтов и германцев, прибывших с Лабиемом, и всевозможных набранных туда людей, насчитывала, помимо конного отряда Юбы, вооруженного по римскому образцу, 1600 человек. Легкие отряды состояли из бесчисленных масс нумидийцев, скакавших на неоседланных лошадях и вооруженных одними только метательными копьями, из некоторого числа конных стрелков и огромных полчищ пеших стрелков. Кроме того, было еще налицо 120 слонов Юбы и предводительствуемый Публием Варом и Марком Октавием флот из 55 парусных судов. Мучительному недостатку в деньгах отчасти помог налог, которым обложил себя сенат и который оказался тем прибыльнее, что в сенат были приглашены богатейшие африканские капиталисты. Хлеб и другие припасы были скоплены в громадных количествах в пригодных к обороне крепостях, и вместе с тем все запасы были по возможности увезены из открытых пунктов. Отсутствие Цезаря, дурное настроение его легионов, брожение в Испании и Италии постепенно подняли дух его противников, и воспоминания о фарсальской битве начали мало-помалу уступать новым надеждам на победу.

Время, потерянное Цезарем в Египте, нигде не отзывалось так тяжело, как здесь. Если бы он двинулся в Африку непосредственно после смерти Помпея, то застал бы там слабое, дезорганизованное, испуганное войско и полнейшую анархию среди его вождей, между тем как теперь, в особенности благодаря энергии Катона, в Африке стояло войско, по численности равное тому, которое было разбито при Фарсале, с видными вождями и законным главным начальством.

Казалось, африканская экспедиция Цезаря родилась под особенной несчастливой звездой. Еще до своего отплытия в Египет Цезарь сделал распоряжения относительно начала африканской войны и подготовки к ней в Испании и Италии, но из этого ничего не вышло, кроме бед. На основании приказа Цезаря наместник южной испанской провинции Квинт Кассий Лонгин должен был переправиться в Африку с четырьмя легионами, привлечь там на свою сторону царя западной Мавретании Богуда* и двинуться вместе с ним против Нумидии и Африки. Но войско, предназначенное для отправки в Африку, насчитывало в своих рядах множество прирожденных испанцев и целых два бывших легиона Помпея; помпеянские симпатии господствовали и в армии и в провинции, и неумелый тиранический образ действия цезарева наместника не мог ослабить этого настроения. Волнение переросло в настоящее восстание; отдельные отряды войск и города высказывались за или против наместника; дело уже дошло до того, что восставшие против цезарева наместника открыто водрузили знамя Помпея; старший сын Помпея Гней, желая воспользоваться этим счастливым оборотом событий, отплыл из Африки в Испанию, и толь-

* Политическое деление северо-западной Африки этого времени покрыто мраком неизвестности. После югуртийской войны мавретанский царь Бокх властвовал, вероятно, в нынешнем Марокко и Алжире, от Западного моря до гавани Сальды. Не имевшие с самого начала ничего общего с мавретанскими властителями повелители Тингиса (Танжер), о которых упоминается и прежде (*Plutarch, Sert.*, 9) и к числу которых принадлежали, вероятно, упомянутая Саллюстием Лептаста (*Hist.*, 3, 31, изд. Kritz) и цицеронов Мастанез (*In Vat.*, 5, 12), были, может быть, независимы до известной степени или даже признавали Бокха своим сюзереном, подобно тому как и Сифакс повелевал над многими властителями (*Appian, Pun.*, 10), а в то же самое время в соседней Нумидии Цирта принадлежала Массиниссе, однако, вероятно, под главенством Юбы (*Appian, B. c.*, 4, 54). Около 672 г. на месте Бокха мы застаем какого-то царя Бокуда или Богуда, вероятно, сына Бокха (*Oros*, 5, 21, 14). Начиная с 705 г. государство это является разделенным между царем Богудом, владевшим западной его частью, и царем Бокхом, владевшим восточной половиной; к этой эпохе относится разделение Мавретании на царство Богуда, или Тингисское государство, и на царство Бокха, или Иольское (Цезарея) (*Plin.*, II, п., 5, 2, 19. ср. *Bell. Afr.* 23).

ко осуждение действий наместника влиятельными цезарианцами и вмешательство правителя северной провинции вовремя успели подавить восстание. Гней Помпей, потерявший время в тщетных попытках занять прочное положение в Мавретании, прибыл слишком поздно; Гай Требоний, которого Цезарь после своего возвращения с Востока послал в Испанию вручить Кассия (осень 707 г.), везде встретил беспрекословное повиновение. Но, разумеется, благодаря этим волнениям из Испании ничего не было предпринято, что могло бы помешать республиканцам упрочиться в Африке; из-за столкновения с Лонгином западно-мавретанский царь Богуд, который стоял на стороне Цезаря и мог бы по крайней мере чем-нибудь препятствовать царю Юбе, был отозван в Испанию вместе со своими войсками.

Еще серьезнее были волнения среди войск, собранных по приказанию Цезаря и южной Италии для переправы в Африку. Это были большей частью старые легионы, которые помогли Цезарю упрочить трон в Галлии, Испании, Фессалии. Победы не улучшили настроения этих войск, а долгий отдых в Нижней Италии совершенно его испортил. Почти нечеловеческие требования, которые к ним предъявлял полководец и последствия которых достаточно ярко проявились в страшном опустошении их рядов, создали недовольство даже в этих железных людях, — и нужно было только время и отдых, чтобы привести умы в брожение. Единственный импонировавший им человек целый год был далеко, точно совсем исчез, начальствовавшие над ними люди гораздо больше боялись своих солдат, чем солдаты их, и спускали этим покорителям вселенной грубое насилие над хозяевами на постоях и вообще всякое нарушение дисциплины. Когда было получено приказание отплыть в Сицилию и солдаты должны были променять привольное житье в Кампании на третий поход, по-видимому, не уступавший ни испанскому, ни фессалийскому по тревогам и лишениям, сдерживающая их узда, давно уже ослабевшая и теперь неожиданно слишком натянутая, порвалась. Легионы отказались повиноваться, пока им не выплатят обещанных подарков, и прогнали присланных Цезарем офицеров насмешливыми речами и камнями. Попытка потушить начавшееся восстание увеличением обещанных сумм не только не имела успеха, но привела к тому, что солдаты массами двинулись, чтобы в самой столице заставить полководца выполнить обещание; некоторые из офицеров, пытавшиеся дорогой удержать мятежные шайки, были убиты. Опасность принимала страшные размеры. Цезарь приказал немногим оставшимся в городе войскам занять ворота, чтобы предотвратить, по крайней мере в минуту первого натиска, грабеж, которого можно было опасаться, и внезапно появился среди бушующих солдат с вопросом, чего они хотят. Ему закричали в ответ: «Отставки!» Она им была дана в тот же миг. Относительно подарков, прибавил Цезарь, обещанных солдатам в случае триумфа, а также по делу о земельных участках, которых он им не

обещал, но все-таки предназначил им, пусть обратятся к нему с заявлением в тот день, когда он будет праздновать триумф вместе с другими солдатами; в самом же триумфе они, конечно, участвовать не смогут, так как были отпущены раньше триумфа. К такому решению массы не были подготовлены; убежденные в том, что Цезарь не сможет обойтись без них в своем африканском походе, солдаты требовали отставки только для того, чтобы в случае отказа поставить свои условия. Они наполовину усомнились уже в своей незаменимости и были слишком беспомощны, чтобы уступить и направить неудачные переговоры на правильный путь. Как люди они чувствовали себя притыженными верностью своему слову, которую проявил император по отношению к изменившим присяге солдатам, и тем великодушным, с которым он готов был им дать больше того, что раньше обещал; как воинов их глубоко потрясло то, что полководец указал им на необходимость присутствовать на триумфе их товарищей в качестве посторонних зрителей и при этом не называл их больше «товарищами», а «гражданами», и этим обращением, так странно звучавшим в его устах, одним ударом уничтожил все их славное военное прошлое, наконец, они находились под обаянием этого неотразимо сильного человека. Безмолвно стояли солдаты некоторое время, они колебались — и вдруг со всех сторон раздались крики людей, просивших, чтобы главнокомандующий вернул им милость, дал им снова право называться воинами Цезаря. Цезарь исполнил их просьбу, но заставил их долго просить об этом: зачинщикам мятежа была, однако, сбавлена треть их триумфальных наград. История не знает другого такого же великого и психологически ловкого маневра, который бы удался в такой мере.

Волнения эти все-таки имели в том отношении вредное влияние на поход, что значительно задержали его начало. Когда Цезарь прибыл в гавань Лилибея, назначенную для посадки войск на суда, десять легионов, намеченных для отправки в Африку, еще не находились здесь в полном сборе, и наиболее испытанные войска далеко еще не все прибыли. Тем не менее, как только пришло шесть легионов, в том числе пять вновь сформированных, а также прибыли необходимые военные и транспортные суда, Цезарь вышел с ними в море (25 декабря 707 г. по неисправленному календарю, около 8 октября — по юлианскому счислению). Неприятельский флот, который вынужден был из-за бурь, господствовавших во время равноденствия, пристать к берегу у острова Эгимура перед Карфагенской бухтой, не помешал переезду; но те же бури разбросали суда Цезаря по всем направлениям, и, когда Цезарь недалеко от Гадрумета (Суза) нашел возможным высадиться, он мог высадить на берег не больше 3 тыс. человек, большей частью рекрутов, и 150 всадников. Попытка завладеть Гадруметом, занятым неприятелем, не удалась, зато Цезарю удалось завладеть двумя гаванями, расположенными недалеко одна

от другой: Руспиной (Монастырь у Сузы) и Малым Лептисом. Здесь Цезарь окопался, но его позиция была так ненадежна, что он оставил всадников на кораблях, да и сами суда должны были быть готовы к отплытию и снабжены водой, чтобы он имел возможность, как только на него нападут превосходные силы противника, тотчас же сесть на корабли и уйти в море. В этом не оказалось надобности, потому что как раз вовремя прибыли разбросанные бурей суда (3 января 708 г.). На другой же день после этого Цезарь, войско которого благодаря мерам, принятым помпеянами, страдало из-за недостатка хлеба, двинулся с тремя легионами внутрь страны, но недалеко от Руспины на марше подвергся нападению отряда во главе с Лабиемом, который хотел оттеснить Цезаря от берега.

Так как у Лабиена была только конница и стрелки, а у Цезаря — почти исключительно линейная пехота, легионы очень скоро были окружены и стали жертвой врага, не имея возможности ни отвечать ему, ни успешно напасть на него. Развернув фронт, Цезарь, правда, освободил фланги и смелым нападением спас честь оружия, но отступление все же было неизбежно, и, если бы Руспина не была так близко, мавретанские копыя, может быть, повторили бы то ужасное дело, которое сделали парфянские стрелы при Каррах. Цезарь, которому этот день показал все трудности предстоящей войны, не хотел больше подвергать нападению своих неопытных солдат, смущенных новой для них формой боя, и выжидал прибытия легионов, составленных из ветеранов.

Свободное до их прибытия время было употреблено на то, чтобы хоть сколько-нибудь уравновесить подавляющее превосходство врагов в применении дальнобойного оружия. Годные для этого люди были перечислены из флота в ряды легкой кавалерии или же стали стрелками в пехоте, но это мало помогло делу. Несколько больше пользы принесли диверсии, предпринятые Цезарем. Удалось поднять против Юбы и вооружить гетульские пастушеские племена, кочевавшие на южном склоне Большого Атласа, близ Сахары. Даже до них дошли потрясения времен Мария и Суллы, а их недовольство Помпеем, который тогда подчинил их нумидийским царям, расположило их в пользу преемника могущественного Мария, о котором у них осталась добрая память еще со времен югуртийской войны. Мавретанские цари — Богуд в Тингисе, Бокх в Иоле — были естественными соперниками Юбы и частью уже давно находились в союзе с Цезарем. Наконец, в пограничной области между владениями Юбы и Бокха блуждал со своими людьми последний из катилинариев, тот самый Публий Ситтий из Нуцерии, который за 18 лет до этого превратился из обанкротившегося италийского купца в предводителя мавретанского отряда партизан и с тех пор составил себе имя во время ливийских смут и организовал свои военные силы. Бокх и Ситтий соединились, вторглись в Нумидию, заняли значительный город Цир-

ту; их нападение, а также натиск гетулов заставили царя Юбу отправить часть войск к южной и западной границе своих владений; но и в это время положение Цезаря все еще оставалось довольно неблагоприятным. Его армия была зажата на пространстве одной квадратной мили; хотя флот и доставлял хлеб, но недостаток в фураже ощущался конницей Цезаря так же остро, как помпеевыми всадниками при Дирахии. Легкие отряды неприятеля, несмотря на все усилия Цезаря, настолько превосходили его собственные, что казалось почти невозможным повести наступление внутрь страны даже с ветеранами. Если бы Сципион отступил и оставил прибрежные города на произвол судьбы, он, может быть, одержал бы победу вроде тех, которые были одержаны визирем Орода над Крассом, Юбой над Курионом, или же в крайнем случае затянул бы войну до бесконечности. Такой план кампании подсказывала самая элементарная сообразительность; даже Катон, совсем уже не стратег, советовал руководствоваться им и даже вызвался переправить один отряд в Италию и призвать там к оружию республиканцев, что при господствовавшем в стране смятении могло иметь успех. Но Катон мог только советовать, а не приказывать; главнокомандующий Сципион решил, что войну надо вести в прибрежной полосе. Это решение было неправильно не только потому, что благодаря ему был оставлен военный план, обещавший несомненный успех, но и потому, что местность, в которой предстояло вести войну, находилась в опасном брожении, а армия, которую хотели противопоставить Цезарю, была в значительной степени ненадежна. Страшно строгий набор, захват продовольствия, опустошение более мелких поселений, вообще сознание, что становишься жертвой чужого и уже проигранного дела, раздражали местное население против римских республиканцев, затеявших на африканской почве свою последнюю отчаянную борьбу; террор, применявшийся ими против всех общин, которые можно было заподозрить хотя бы только в равнодушии, довел это недовольство до степени страшнейшей ненависти. Африканские города везде, где это было возможно, переходили на сторону Цезаря; между гетулами и ливийцами, которые в большом числе служили в легких войсках и даже в легионах, начались побегі. Но Сципион настаивал на своем плане с упрямством, свойственным неразумию, вышел со всем своим войском из Утики, направился к занятым Цезарем городам Руспине и Малому Лептису, занял к северу от них Гадрумет, к югу — Тапс (у мыса Râs Dimâs) сильными гарнизонами и вместе с Юбой, также явившимся к Руспине с теми из своих войск, которые не были отвлечены защитой границ, неоднократно вызывал неприятеля на бой. Но Цезарь решил дожидаться прибытия легионов своих ветеранов. Когда они, наконец, прибыли и появились на поле битвы, у Сципиона и Юбы пропало желание сражаться в открытом поле; Цезарь же ввиду превосходства сил неприятельской конницы не имел средства заставить их сделать это. В пере-

ходах и мелких стычках в окрестностях Руспины и Тапса, которые имели целью обнаружить засады, устраиваемые, по местному обычаю, в подземных зернохранилищах («силосах»), и расширить линии постов, прошло почти два месяца. Цезарь, которого неприятельская конница заставляла держаться на высотах или защищать свои фланги линиями окопов, постепенно приучил во время этой трудной войны, исхода которой не было видно, своих солдат к боевым приемам неприятеля. Друзья и недруги не узнавали полководца, всегда такого порывистого, в предусмотрительном инструкторе, который заботливо обучал своих людей, нередко делая это лично, и были сбиты с толку этим великим мастерством, которое оставалось верным себе и в медлительности и при быстром ударе.

Наконец, Цезарь, собрав свои последние подкрепления, обратился против Тапса. Как уже было сказано, Сципион сильно укрепил этот город и допустил этим ошибку, — он дал противнику ясную цель для нападения; к первому промаху он вскоре присоединил второй, еще менее простительный, а именно: для спасения Тапса он дал сражение, давно ожидаемое Цезарем и с полным основанием отклонявшееся до сих пор Сципионом, на такой почве, где решение дела переходило в руки линейной пехоты. Легионы Сципиона и Юбы продвинулись к самому берегу против лагеря Цезаря, передние ряды — совсем готовые к бою, задние — занятые разбивкой укрепленного лагеря. Одновременно с этим гарнизон Тапса готовил вылазку. Для отражения ее было достаточно сторожевых постов Цезаря. Привычные к бою легионы его, верно оценив врага уже по неудачной расстановке его сил и плохо сомкнутым частям, заставили трубить атаку, прежде чем главнокомандующий подал знак к наступлению, пока неприятель еще занят был рытьем окопов, и двинулись по всей линии. Впереди всех был сам Цезарь, который, видя, что войско идет вперед, не ожидая его приказаний, устремился на врагов во главе его. Правое крыло, стоявшее впереди остальных отрядов, отбросило посредством метательных ядер и стрел находившуюся перед ним линию слонов на войско неприятеля (это было последнее большое сражение, в котором были пущены в дело эти животные). Прикрытие было изрублено, левое крыло врага разбито и вся линия смята. Поражение было тем более сокрушительным, что новый лагерь разбитой армии еще не был готов, старый же находился на большом расстоянии; оба лагеря были заняты один за другим почти без сопротивления. Вся масса разбитого войска побросала оружие и просила пощады; но солдаты Цезаря были уже не те, которые воздержались от боя при Илерде и честно щадили беззащитных при Фарсале. Привычка к междоусобиям и озлобление, оставшееся у них после мятежа, страшным образом проявились на поле битвы при Тапсе. Если гидра, против которой приходилось бороться, получала все новые силы, если войско перебрасывалось из Италии в Испанию, из Испании — в Македонию, из Македо-

нии — в Африку, если страстно желанный покой никак не наступал, то солдаты искали, и не без основания, причину этого в несвоевременной мягкости Цезаря. Они поклялись вознаградить себя за то, что упустил из виду полководец, и оставались глухи к мольбам безоружных сограждан и к приказаниям Цезаря и высших офицеров. Пятьдесят тысяч трупов, покрывавших поле битвы при Тапсе, — в числе которых были многие офицеры Цезаря, известные как тайные противники новой монархии и приколотые при случае своими же, — свидетельствовали о том, какими средствами солдат добывает себе отдых. Победоносная же армия насчитывала не больше 50 убитых (6 апреля 708 г.).

После битвы при Тапсе борьба также не имела продолжения в Африке, как полтора года назад на Востоке после фарсальского поражения. Катон в качестве коменданта Утики созвал сенат, изложил перед ним состояние оборонительных средств и предоставил собранию решить, следует ли покориться или защищаться до последнего человека, но при этом просил только об одном — принять решение и действовать не каждому за себя, а всем заодно. Более мужественное решение нашло немало защитников; было предложено особым законом объявить свободными рабов, способных носить оружие, что было отвергнуто Катоном как незаконное нарушение права собственности, вместо чего он предложил издать патриотическое воззвание к работодателям. Но этот порыв решимости вскоре замолк в собрании, большей частью составленном из африканских оптовых торговцев, и решено было сдаться. Когда вслед за тем Фауст Сулла, сын регента, и Луций Афраний прибыли с поля битвы в Утику с сильным отрядом конницы, Катон сделал еще попытку отстоять с их помощью город, но с негодованием отверг их требование позволить им прежде всего заколоть ненадежных граждан Утики и предпочел отдать без сопротивления в руки монарха последний оплот республиканцев, чем подобной резней осквернить республику при ее издыхании. После того как он — частью собственным авторитетом, частью щедрыми приношениями — по возможности сдерживал ярость солдат против несчастных жителей Утики и с трогательной заботливостью доставлял, насколько это было в его власти, тем, кто не хотел довериться милосердию Цезаря, средства к бегству, тем же, кто хотел оставаться, возможность капитулировать на сколько-нибудь сносных условиях, — после того как он убедился, что не может больше принести пользы, он счел себя вправе сложить с себя власть, удалился в свою опочивальню и вонзил себе меч в грудь.

Из остальных вождей спаслись немногие. Бежавшие из Тапса всадники наткнулись на отряды Ситтия и были изрублены или взяты в плен; их вожди, Афраний и Фауст, были выданы Цезарю, и так как он не казнил их немедленно, были убиты его ветеранами во время волнений. Главнокомандующий Метелл Сципион с флотом разгром-

ленной партии очутился во власти крейсерских судов Ситтия и заколол себя, когда его хотели схватить. Царь Юба, приготовившийся к такому же исходу, решил покончить с собой царственным, как ему казалось, образом: он приказал соорудить на площади своего города Замы громадный костер, который вместе с его телом должен был поглотить все его сокровища и трупы всех граждан города. Но жители города не имели никакого желания служить декорацией при погребальном торжестве африканского Сарданапала и закрыли ворота перед царем, когда он, спасаясь бегством с поля сражения, появился у стен города в сопровождении Марка Петрея. Одна из одичавших в шумном и причудливом наслаждении жизнью натур, который в состоянии превратить для себя даже смерть в пьяное пиршество, Юба направился вместе со своим спутником на одну из своих вилл, велел приготовить обильную трапезу и по окончании ее предложил Петрею смертельный поединок. Победитель Катилины принял роковой удар от руки царя, и вслед за этим Юба приказал заколоть себя одному из своих рабов. Немногие выдающиеся люди, которым удалось спастись, например Лабие и Секст Помпей, последовали за старшим братом Секста в Испанию и, как некогда Серторий, в горах и водах этой все еще полунезависимой страны искали последнее убежище как разбойники и пираты.

Цезарь мог теперь беспрепятственно привести в порядок африканские дела. Царство Массиниссы было упразднено, как это предлагал еще Курион. Восточная его часть, или округ Ситифиса, была присоединена к владениям восточномавретанского царя Бокха; верный Богуд, царь тингисский, также был щедро одарен. Цирту (Константина) и прилегающую полосу земли, которой до тех пор владели под главенством Юбы князь Массинисса и его сын Арабион, получил кондотьер Публий Ситтий, который должен был поселить тут своих полуримских солдат*, в то же время этот округ, — как и вся бóльшая и плодороднейшая часть прежнего Нумидийского царства, — был под именем «Новой Африки» присоединен к старой провинции Африке, и защита прибрежной территории от кочующих племен пустыни, порученная республикой одному из подвластных царей, была возложена новым монархом на само Римское государство.

Борьба, предпринятая Помпеем и республиканцами против Цезаря, кончилась, спустя четыре года, подлым торжеством нового властителя. Монархия, правда, была упрочена не на полях битв при Фарсале и при Тапсе; она вела свою историю с той минуты, когда Помпей

* Надписи в названной местности сохранили многочисленные указания на эту колонизацию. Имя Ситтиен встречается в них чрезвычайно часто; африканская местность Милев, став римской, носила название *colonia Sarniensis* (С. I. L., VIII, 1094), очевидно, произведенное от нунцирийского речного божества Сарна (*Sueton.*, *Rhet.*, 4).

и Цезарь общими силами основали свое совместное господство и свергли прежнее аристократическое правление. Но все-таки лишь кровавое крещение 9 августа 706 г. и 6 апреля 708 г. придало новой монархии устойчивость и формальное признание и устранило совместное правление, противоречащее сущности единодержавия. Восстания претендентов и республиканские заговоры могли возникать и потом, вызывая новые потрясения, может быть, даже новые революции и реставрации, но продержавшаяся без перерыва в течение полутысячелетия традиция свободной республики была прервана, и на всем пространстве обширного Римского государства законной силой совершившегося факта утверждена монархия.

Конституционная борьба окончилась, и что ей действительно пришел конец, доказал Марк Катон, бросившись на свой меч. Он уже много лет был вождем в борьбе законной республики против ее притеснителей; он продолжал эту борьбу даже тогда, когда в нем самом уже давно угасла надежда на победу. Но теперь сама борьба стала невозможна; республика, основанная Марком Брутом, умерла и никогда не могла больше возродиться; что же оставалось делать на этом свете республиканцам? Сокровище было похищено, страже больше нечего было делать, — кто же стал бы ее порицать за то, что она вернулась домой? В смерти Катона гораздо больше благородства и в особенности смысла, чем в его жизни. Катон меньше всего может быть назван великим человеком; но при всей недалекости, превратности взглядов, утомительной надоедливости и фальшивых фразах, которые сделали его и для того времени, да и навеки, идеалом тупого республиканизма и любимцем тех, кто им спекулирует, он все-таки был единственным человеком, сумевшим во время этой агонии с честью и отвагой быть представителем великой, но обреченной на крушение системы. Катон играл более крупную историческую роль, чем многие люди, далеко превосходившие его в умственном отношении, потому что перед незатейливой истиной даже самая мудрая ложь чувствует себя глубоко бессильной и потому еще, что все величие и доблесть человеческой природы обуславливается в конце концов все-таки не мудростью, а честностью. Глубокое и трагическое значение его смерти усиливается еще тем обстоятельством, что сам он был безумен; именно потому, что Дон-Кихот — безумец, он и делается трагической личностью. Потрясающее впечатление выносишь, видя, что на мировой сцене, где волновалось и действовало столько великих и мудрых мужей, эпилог был предоставлен глупцу. Но он погиб не даром. Это был ужасающе резкий протест республики против монархии, когда последний республиканец сходил со сцены в ту минуту, когда появился первый монарх: то был протест, который разорвал, как паутину, всю мнимую законность, которой Цезарь облек свою монархию, и обличил во всей его лицемерной лживости тот лозунг

примирения партий, под чьей эгидой возникло господство нового властителя. Непримируемая война, которую в течение нескольких столетий, от Кассия и Брута до Тразея и Тацита и даже значительно позже, вел призрак легитимной республики против монархии Цезаря, — эта война заговорщиков и литераторов является тем наследством, которое умирающий Катон оставил своему врагу. Всю свою горделивую, риторически трансцендентальную, строгую, безнадежную и до гроба неизменную линию поведения эта республиканская оппозиция восприняла от Катона и непосредственно после его смерти начала почитать, как святого, того человека, который при жизни часто служил поводом к насмешкам. Но величайшим из этих выражений почета было то невольное уважение, которое оказал ему Цезарь, отступив только для Катона от пренебрежительной мягкости, с которой привык обращаться со своими противниками, помпеянами и республиканцами, и преследуя Катона даже за гробом той энергичной ненавистью, какую испытывают обыкновенно практические государственные люди к тем столь же опасным, сколь и недостижимым врагам, которые противодействуют им в области идеалов.





Глава XI

Старая республика и новая монархия

Новому монарху Рима, впервые властвовавшему над всей областью римско-эллинской цивилизации, Гаю Юлию Цезарю, шел 56-й год (род. 12 июля 652 г.), когда сражение при Тапсе, последнее звено в длинной цепи важных по своим последствиям побед, передало в его руки решение судеб мира. У немногих людей подвергалась такому испытанию вся сила их способностей, как у этого единственного в своем роде творческого гения, рожденного Римом, последнего представителя древнего мира, по чьей стезе надлежало пойти отныне этому миру вплоть до самого его крушения. Он был потомком одной из древнейших знатных семей Лация, возводившей свою родословную к героям «Илиады» и царям Рима, даже к общей обоим народам Венере-Афродите. И детские и юношеские годы его прошли так, как они проходили у всей знатной молодежи того времени. И он вкусил от чаши модных наслаждений и пену и осадок; и он ораторствовал и декламировал; от безделья занимался литературой и писал стихи, вел разнообразные любовные интриги и был посвящен во все таинства тогдашней парикмахерской и туалетной мудрости, как в еще более таинственное искусство — всегда брать займы и никогда не платить долгов. Но гибкая сталь этой природы устояла даже при такой рассеянной и пустой жизни: Цезарь сохранил и физическое здоровье, и силу духа, и чуткость сердца. В верховой езде и фехтовании он мог поспо-

ритель с любым из своих воинов, а умение плавать спасло ему жизнь под Александрией; невероятная быстрота его поездок, обыкновенно предпринимаемых ночью для сбережения времени и составляющих настоящую противоположность торжественной медлительности, с которой Помпей продвигался из одного места в другое, возбуждала удивление его современников и была далеко не последней причиной его успехов. Каковы были его физические свойства, таков был он и духом. Его удивительная наблюдательность сказывалась в ясности и выполнимости всех его приказаний, даже там, где он распоряжался заочно. Его память была беспримерна, и он отличался способностью вести несколько дел в одно время и с одинаковой уверенностью. Дженгльмен, гениальный человек и монарх, он не лишен был и сердца; всю свою жизнь он сохранил искреннейшее уважение к своей достойной матери Аврелии (отец его умер рано), к своим женам, и особенно к своей дочери Юлии он питал самую искреннюю привязанность, которая не осталась без влияния и на политические отношения. С наиболее дельными и выдающимися людьми своего времени, высокого и низкого ранга, он поддерживал прекрасные отношения обоюдной верности, применяясь к характеру каждого. Он никогда не покидал своих сторонников так малодушно и бесчувственно, как Помпей, и не из одного только расчета, и в хорошие, и в дурные времена неуклонно держал сторону друзей, и многие из них, как, например, Авл Гирций и Гай Матий, прекрасно засвидетельствовали свою преданность ему даже после его смерти! Если в столь гармонически организованной натуре какая-либо сторона может вообще считаться особенно характерной, то это полное отсутствие в Цезаре всякой идеологии и всего фантастического. Само собой разумеется, что Цезарь был человеком страстным, так как без страстности немислима гениальность; но страсти никогда не одерживали над ним верх. И он был молод в свое время, и песни, любовь и вино занимали место в его бьющей ключом жизни, но никогда они не проникали в самые сокровенные недра его существа. Литература занимала его долго и серьезно; но, если Александру не давала спать мысль о гомеровском Ахилле, то Цезарь в часы бессонницы занимался склонениями латинских существительных и спряжениями глаголов. Он писал стихи, как это делали в то время все, но они были слабы; зато его интересовали астрономические и естественнонаучные вопросы. Если вино и было и оставалось всегда для Александра средством разгонять заботы, то трезвый римлянин совершенно избегал его, лишь только прошла бурная пора юности. Как бывает со всеми, кого в молодости озаряла вся прелесть женской любви, лучи ее остались на нем постоянно; даже в позднейшие годы он имел любовные приключения и успех у женщин, и в нем всегда оставалась некоторая фатоватость манер, или, вернее, ра-

достное сознание собственной мужественно красивой внешности. Тщательно прикрывал он лавровым венком, в котором в позднейшие годы появлялся публично, сильно огорчавшую его лысину и, без сомнения, отдал бы не одну из своих побед, если бы он мог этой ценой получить обратно свои юношеские кудри. Но как охотно, даже будучи уже монархом, он ни ухаживал за женщинами, они были для него только игрушкой, и он не давал им приобрести ни малейшего влияния над собой; даже столь известные отношения его к царице Клеопатре были завязаны только с тем, чтобы замаскировать слабый пункт в его политическом положении. Цезарь был до мозга костей реалистом и человеком рассудка, и все, что он предпринимал или делал, было проникнуто и поддержано той гениальной трезвостью, которая составляет его глубочайшую своеобразность. Ей он был обязан своим умением жить действительностью, не сбиваясь с пути из-за воспоминаний или ожиданий; ей же — своей способностью действовать во всякое время всей совокупностью своих сил и обращать всю свою гениальность даже на ничтожнейшее и второстепеннейшее предприятие; той многосторонностью, с которой он охватывал все и управлял всем, что разум в силах понять, а воля — вынудить; той уверенной легкостью, с которой он слагал свои периоды или составлял планы кампании; ей обязан был той замечательной веселостью, которая не изменяла ему ни в хорошие, ни в худые минуты; ей же, наконец, обязан он был совершенной самостоятельностью, которая не давала взять над ним верх никакому любимцу или любовнице, даже никакому другу. Но из этой же ясности ума проистекало и то, что Цезарь никогда не строил себе иллюзий относительно силы судьбы и могущества человека; покрывала, деликатно скрывающего от людей недостатки их деятельности, для него не существовало. Как ни умно составлял он свои планы и обдумывал все шансы, его тем не менее никогда не покидало сознание, что во всем от счастья, т. е. случая, зависит главное; и с этим, быть может, связано то, что он так часто бросал вызов судьбе и в особенности с отважным равнодушием неоднократно рисковал собой. Подобно тому как рассудочные люди по преимуществу предаются азартной игре, так и в рационализме Цезаря был пункт, в котором он до известной степени соприкасался с мистицизмом.

Из подобных задатков мог сложиться только государственный человек. Цезарь и был с самой ранней молодости государственным человеком в полнейшем смысле этого слова, и цель его была самая высокая из всех, к которым человеку дано стремиться, именно — политическое, военное, умственное и нравственное возрождение глубоко павшей римской нации и нации эллинской, тесно связанной с римской, но еще глубже павшей. Судовья школа тридцатилетнего опыта

изменила его воззрения на средства для достижения этой цели, цель же оставалась все та же и в эпоху безнадежного унижения и в эпоху беспредельного могущества, в то время, когда он как демагог и заговорщик подкрадывался к ней темными путями, и тогда, когда он как лицо, разделявшее с другими высшую власть, а вслед за тем и как монарх работал над своим делом на глазах у всех, при полном дневном свете. Все мероприятия, исходившие от него в разные времена и прочно сохранившиеся, целесообразно укладываются в его великий план. Поэтому не следовало бы говорить об отдельных достижениях Цезаря, так как он не создавал, собственно, ничего в отдельности. Справедливо превозносят Цезаря как оратора за его здоровое красноречие, делавшее смешным всякое адвокатское искусство и согревавшее и освещавшее все ясным пламенем. Справедливо удивляемся мы в Цезаре-писателе неподражаемой простоте композиции, единственной в своем роде чистоте и красоте языка. С полным основанием величайшие знатоки военного дела во все времена восхваляли Цезаря как полководца, который всегда умел, не стесняясь, как другие, рутинной и традицией, находить те способы ведения войны, которые в данном случае должны были обеспечить победу над врагом и которые, стало быть, были тут единственно верными; они удивлялись его умению с уверенностью предвидящего ума найти для каждой цели соответствующий способ ее достижения; они помнили, как иногда после поражения он, подобно Вильгельму Оранскому, снова был готов к бою и неизбежно заканчивал войну победой, как он в совершенстве, никогда никем не превзойденный, умел руководить теми пружинами в ведении войны, применением которых военный гений и отличается от рядового исполнительного военачальника, а именно быстрым движением масс, и находил гарантию победы не в громадном скоплении боевых сил, но в быстроте их движений, не в долгих приготовлениях, но в стремительных безумно смелых операциях, даже с недостаточными средствами. Но все эти достоинства являются у Цезаря лишь второстепенными; он действительно был великим оратором, писателем и полководцем, но всем этим он стал только потому, что был в полном смысле слова государственным человеком. Солдат играл в нем побочную роль, и одним из существеннейших его отличий от Александра, Ганнибала и Наполеона служило то, что исходным пунктом политической деятельности был для него не офицер, но демагог. По его первоначальному плану, он надеялся достигнуть цели, подобно Периклу и Гаю Гракху, без применения оружия, и в течение восемнадцати лет он в качестве вождя популяров вращался в атмосфере чисто политических планов и интриг, до тех пор пока, помимо своей воли убедившись в необходимости искать опоры в военной силе, уже будучи сорока лет, стал во главе армии. Таким образом, стано-

вится понятным, почему и впоследствии он все еще оставался гораздо более государственным человеком, чем военачальником, точно так же как Кромвель, который тоже преобразился из вождя оппозиции в военного вождя и демократического короля и который вообще, как ни мало, по-видимому, сходства между главой пуритан и распущенным римлянином, по своей карьере, целям и успехам, быть может, стоит ближе к Цезарю, чем все другие государственные деятели. Даже в его способе ведения войны легко узнать импровизированного полководца: в предприятиях Наполеона против Египта и Англии столь же ясно замечается артиллерийский поручик, выслужившийся в полководцы, как и в подобных начинаниях Цезаря виден демагог, превратившийся в военачальника. Опытный офицер вряд ли решился бы ради политических целей, не слишком настоятельных, отодвигать в сторону основательнейшие военные соображения в такой степени, как это зачастую делал Цезарь; самым поразительным примером была в этом отношении его высадка в Эпире. Отдельные его действия заслуживают поэтому с военной точки зрения порицания; но то, что теряет при этом Цезарь как полководец, выигрывает государственный человек. Задача государственного деятеля, обладающего гением Цезаря, всеобъемлюща; когда он брался за самые разнообразные дела, не имевшие между собой связи, то все они без исключения сходились в одной великой цели, которой он служил с безусловной преданностью и последовательностью; и никогда из разнообразных сторон и направлений его великой деятельности он не отдавал ничему предпочтения. Будучи великим мастером в военном деле, он из государственных соображений употреблял самые крайние усилия, чтобы предотвратить гражданскую войну, а когда она тем не менее началась, — чтобы не пожинать кровавых лавров. Основатель военной монархии, он с энергией, беспрецедентной в истории, не дал возникнуть ни иерархии маршалов, ни правлению преторианцев. Если он и отдавал предпочтение какой-нибудь стороне гражданских заслуг перед военными успехами, то это были науки и мирные искусства. Полнейшая гармония составляет замечательнейшую особенность его деятельности как государственного человека. Действительно, все условия для достижения этого труднейшего из всех человеческих достоинств были соединены в Цезаре. Реалист до мозга костей, он не смущался образами прошлого и священными традициями; в политике он не признавал ничего, кроме живой действительности и законов разума, точно так же как в качестве знатока грамматики он отвергал историческо-антикварные исследования и не признавал ничего, кроме живого, устного языка, с одной стороны, и законов симметрии — с другой. Властелин по природе, он управлял умами, подобно тому как ветер гонит тучи, иставлял самые разнородные натуры подчиняться его воле: скромного

гражданина и грубого унтер-офицера, знатных римских дам и царственных красавиц Египта и Мавретании, блестящего кавалерийского генерала и расчетливого банкира. Его организаторский талант достоин удивления; никогда ни один государственный человек не спланивал так тесно своих единомышленников и никогда ни один полководец не формировал с такой энергией свою армию из непослушных и сопротивляющихся элементов и не держал их так крепко в своих руках, как Цезарь своих союзников и свои легионы; ни один правитель не оценивал никогда орудия своей власти таким верным взглядом и не отводил каждому из них подобающее ему место. Он был монархом, но никогда не разыгрывал из себя царя. Даже в качестве неограниченного властелина Рима он оставался в действиях своих вождем партии; податливый и гибкий, любезный и приятный в беседе, приветливый со всяким, казалось, он только желал быть первым среди равных. Цезарь тщательно избегал ошибки, свойственной стольким людям, равным ему в остальном, и никогда не вносил в политику командного тона; сколько поводов ни давали ему к этому неприязненные отношения его к сенату, он никогда не прибегал к насилию, каким было 18 брюмера. Цезарь был монархом, но никогда не туманили ему голову тиранические поползновения. Быть может, он — единственный из орудий господних, который ни в малом ни в великом не действовал никогда по своему влечению или капризу, а всегда, без исключения, так, как того требовал долг правителя; быть может, один он, оглянувшись на свою прошлую жизнь, мог пожалеть об ошибках в расчетах, но не оплакивать промахов, совершенных под влиянием страстей. Во всей жизни Цезаря нет ничего такого, что могло бы сколько-нибудь сравниться с теми поэтически чувственными вспышками, как умерщвление Клита* или сожжение Персеполя, в которых история обвиняет его великого предшественника на Востоке. Наконец, он — единственный, быть может, из тех орудий господних, который до конца своей карьеры сохранил необходимый государственному человеку такт в оценке возможного и невозможного и не потерпел неудачи в выполнении той задачи, которая является труднейшей для грандиозно сформированных натур, именно задачи осознать, достигнув вершин успеха, его естественные пределы. Он совершал то, что было возможно, и никогда не пренебрегал возможным благом из-за стремления к несбыточному совершенству, никог-

* Если отношения его к Лаберию, о которых повествует известный пролог, приводятся как пример тиранических капризов Цезаря, то это свидетельствует о полном непонимании иронии как самой ситуации, так и поэта, не говоря о наивности, с которой на стихотворца, охотно прикармливающего свой гонорар, смотрят, как на мученика.

да не считал недостойным себя облегчить хоть паллиативными средствами неизлечимые страдания. Но там, где он признавал, что судьба произнесла свой приговор, он всегда повиновался. Александр с реки Гифасис, Наполеон из Москвы вернулись обратно потому, что были к этому вынуждены, и проклинали судьбу за то, что она даже своим любимцам дарует лишь ограниченные успехи. Цезарь добровольно отступил на Рейне и Темзе, и даже на Дунае и Евфрате он задумывал не фантастические планы покорения вселенной, а только разумное регулирование границ.

Таков был этот исключительный человек, дать портрет которого кажется так легко, а на деле — так бесконечно трудно. Вся натура его отличалась поразительной ясностью, и предание сохранило о нем более обширные и живые сведения, чем о ком-либо из других великих людей древности. Подобную личность можно было понять глубже или поверхностнее, но всегда только в одном смысле; всякому не вполне тенденциозному исследователю величественный образ Цезаря представлялся в тех же самых основных чертах, и тем не менее никому еще не удалось передать этот образ вполне наглядно. Тайна этого заключается в законченности его образа. С человеческой и исторической точки зрения Цезарь стоит на той примиряющей линии, где великие контрасты бытия взаимно уничтожаются. Одаренный огромной творческой силой и вместе с тем пронизательнейшим умом, уже не юноша летами, но еще не старик, с громадной силой воли и выполнения, проникнутый республиканскими идеалами и вместе с тем рожденный быть царем; римлянин в глубочайших недрах своего я и вместе с тем призванный примирить и слить внутренним и внешним образом римское и эллинское развитие — таков был Цезарь, этот цельный и законченный человек. Поэтому у него более, чем у какой бы то ни было другой исторической личности, чувствуется недостаток так называемых характеристических черт, которые, в сущности, представляют собой не что иное, как отклонения от нормального человеческого развития. То, что бросается в глаза при первом поверхностном взгляде, является при ближайшем рассмотрении не индивидуальной чертой, но свойством культурной эпохи или национальности; так, юношеские похождения общи всем его современникам такого же общественного положения и дарований, а его непоэтическая, а, напротив, логическая натура отражает в себе природные свойства римлян вообще. Цельностью человеческой природы Цезаря объясняется и то, что он в высокой степени находился под влиянием времени и места; безотносительной человечности не существует, и живой человек не может не находиться под известным влиянием национальных отличий и определенного культурного движения. И Цезарь именно потому был цельным человеком, что он более, чем кто-либо, занял место в цент-

ре современных ему движений и с беспримерной полнотой совмещал в себе отличительную особенность римского народа, — реальную, как бы буржуазную деловитость; так и его эллинизм уже, собственно, давно глубоко слился с италийской национальностью. Но в этом также заключается и трудность, можно даже сказать невозможность отчетливо изобразить Цезаря. Как художник может изобразить все, кроме совершеннейшей красоты, так и историк, встречая совершенство один какой-нибудь раз в тысячелетие, может только замолкнуть при созерцании этого явления. Можно, конечно, назвать это явление по имени, но оно дает нам только отрицательное представление об отсутствии недостатков; тайна природы, соединяющей в совершеннейших своих проявлениях типическое с индивидуальным, невыразима. Нам остается только считать счастливыми тех, кто созерцал это совершенство, и отгадывать его в том отблеске, который вечно почует на всех делах, созданных этим великим характером. Но и они носят на себе отпечаток времени. Римский деятель не только стал рядом с своим юным греческим предшественником как равный, но и превосходил его; мир же тем временем одряхлел, и его юное сияние потускнело. Деятельность Цезаря не является более, как у Александра, радостным движением вперед в неизмеримую даль; он созидал на развалинах и из развалин и доволен был тем, когда мог сколько-нибудь сносно и прочно основаться в раз избранной им широкой, но все же ограниченной сфере. Поэтому тонкое поэтическое чувство народов не останавливалось на этом непоэтическом римлянине, тогда как, напротив, сын Филиппа окружен всем ярким блеском поэзии, пестрыми, радужными красками саги. Но с таким же правом государственная жизнь народов в течение тысячелетий снова направляется на те пути, которые проложил Цезарь, и если народы, властвующие над миром, и теперь зовут его именем величайших из своих монархов, то в этом содержится глубокое и в то же время, к сожалению, граничащее с упреком напоминание.

Для того чтобы покончить с прежними, во всех отношениях гибельными условиями жизни и обновить государственный организм, необходимо было прежде всего фактически успокоить страну и очистить почву от развалин, покрывавших ее везде со времени последней катастрофы. Цезарь исходил при этом из принципа примирения прежних партий, или, вернее сказать, — так как о действительном соглашении непримиримых принципов не может быть речи, — из того положения, что арена борьбы, на которой до тех пор боролись нобилитет и популяры, должна быть очищена обеими сторонами и что обе они должны сойтись на почве нового монархического строя. Поэтому прежде всего все застарелые распри республиканского прошлого сочтены были навсегда поконченными. В то время как Цезарь приказал

снова восстановить статуи Суллы, разрушенные столичной чернью при известии о фарсальской битве, чем признал, что об этом великом человеке может судить лишь история, он отменил последние, еще бывшие в силе последствия его чрезвычайных распоряжений, возвратил из изгнания людей, высланных еще со времени подготовительной стадии смут Цинны и Сертория, и возвратил детям лиц, лишенных Суллой прав, утраченное ими пассивное избирательное право. Точно так же были восстановлены в своих правах те, которые к последней катастрофе лишены были места в сенате или права гражданства по приговору цензоров или вследствие политического процесса, в особенности по обвинениям, основанным на исключительном законе 702 г. Остались, как это и следовало, и впредь обесчещенными те, которые за деньги убивали проскрибированных, и самый отважный кондотьер сенатской партии Милон был изъят из общей амнистии.

Гораздо труднее упорядочения этих дел, в сущности, уже отошедших в прошлое, было установление отношений к партиям, стоявшим в данную минуту друг против друга, к собственной демократической партии приверженцев Цезаря и к низверженной аристократии. Понятно, что приверженцы Цезаря еще менее были согласны с его образом действий после победы, чем аристократия, и не хотели отвечать на его призыв отречься от старых воззрений своей партии. Сам Цезарь, конечно, желал того же самого, о чем мечтал и Гай Гракх, но намерения цезарианцев не были более сходны со стремлениями друзей Гракха. Римская партия популяров все сильнее склонялась от реформы к революции, от революции к анархии, от анархии к войне против собственности; она чувствовала память о временах террора и украшала могилу Катилины цветами и венками, как некогда делала это с могилой Гракхов; она стала под знамя Цезаря, лишь ожидая от него того, что не мог доставить ей Катилина. Когда же вскоре выяснилось, что Цезарь нимало не расположен стать душеприказчиком Катилины, что неаккуратные должники могут от него ожидать в лучшем случае лишь облегчения платежей и смягчения судебного процесса, то громко раздался раздраженный вопрос: в чью же пользу одержала свою победу народная партия, разве не в пользу народа? И знатная и незнатная чернь этого сорта, преисполненная досады на неудачу политико-экономических сатурналий, начала заигрывать с помпеянцами, и затем, во время почти двухлетнего отсутствия Цезаря из Италии (с января 706 до осени 707 г.), затевала одну гражданскую войну за другой.

Претор Марк Целий Руф, хороший аристократ и плохой плательщик долгов, обладавший кое-какими способностями и большим образованием и в качестве резкого и ловкого оратора бывший до тех пор в сенате и на форуме одним из усерднейших борцов за Цезаря, внес,

без всякого указания свыше, в народное собрание проект закона, который предоставлял должникам шестилетний мораторий без процентов, а когда ему воспрепятствовали в этом, представил другое предложение, которое уже прямо кассировало все претензии, основанные на займе или текущей плате за квартиру; после этого цезарев сенат сместил его с должности. То была как раз пора перед фарсальской битвой, и в великой борьбе чаша весов, казалось, склонилась уже на сторону помпеянцев; Руф вошел в союз со старым сенаторским вождем уличных банд Милоном, и оба они затеяли контрреволюцию, которая выставила на своем знамени, с одной стороны, республиканскую конституцию, а с другой — кассацию всех денежных претензий и освобождение рабов. Милон оставил место своей ссылки, Массалию, и призвал к оружию в окрестностях Фурий помпеянцев и пастухов-рабов; Руф делал приготовления к тому, чтобы с помощью вооруженных рабов завладеть городом Капуей. Но последний план был открыт перед его выполнением и отражен капуанской гражданской милицией; Квинт Педий, вступивший в Фурийскую область с одним легионом, рассеял хозяйничавшую там шайку; гибель обоих вождей положила конец этому скандалу (706).

Несмотря на это в следующий затем год (707) нашелся другой безумец, народный трибун Публий Долабелла, столь же опутанный делами, но гораздо менее одаренный, чем его предшественник, чей законопроект о долговых претензиях и квартирной плате он снова внес на рассмотрение и опять начал со своим коллегой Луцием Требеллием (уже в последний раз) демагогическую войну. Немало было жарких схваток между вооруженными шайками обеих сторон, и много было уличного шума, пока, наконец, главнокомандующий в Италии Марк Антоний не прибегнул к военной силе, а вскоре после этого возвращение Цезаря с Востока совершенно положило конец этому безумному предприятию. Цезарь так мало придавал значения этим безрассудным попыткам подогреть катилинарские проекты, что сам терпел присутствие Долабеллы в Италии и даже спустя несколько времени снова стал оказывать ему милость. Против такого сброда, которому нет дела ни до каких политических вопросов, но которого занимает единственно борьба против собственности, достаточно, как и против разбойничьих шаек, уже самого существования сильного правительства; и Цезарь был слишком велик и слишком благоразумен, для того чтобы спекулировать на том страхе, которым трусливые люди в Италии были проникнуты перед этими коммунистами того времени, и чтобы приобрести, таким образом, своей монархии ложную популярность.

Если Цезарь, таким образом, мог предоставить и предоставил прежнюю демократическую партию процессу разложения, уже дос-

тигшему крайнего предела, то, напротив, по отношению к гораздо более жизнеспособной бывшей аристократической партии он должен был, искусно сочетая репрессивные меры с предупредительностью, не прямо добиться развала (это могло бы сделать лишь время), но подготовить его и начать. Из естественного чувства приличия Цезарь не захотел еще более раздражать разбитую партию пустыми оскорблениями и не праздновал своего триумфа над побежденными согражданами*. Он часто и всегда с уважением упоминал о Помпее и при восстановлении здания сената снова велел воздвигнуть на месте, избранном для этого еще прежде, статую Помпея, ниспровергнутую народом. Политические преследования Цезарь после своей победы старался свести к возможному минимуму. По поводу многочисленных сношений, которые конституционная партия имела с номинальными цезарианцами, не было произведено следствия; Цезарь, не читая, бросил в огонь целые кипы бумаг, найденных в неприятельских главных квартирах при Фарсале и Тапсе, и избавил себя и страну от политических процессов против лиц, подозреваемых в государственной измене. Далее, остались ненаказанными все рядовые солдаты, последовавшие на борьбу против Цезаря за своими римскими или провинциальными офицерами. Исключение было сделано только относительно тех римских граждан, которые поступили на службу к нумидийскому царю Юбе; их имущество было конфисковано в наказание за государственную измену. Офицерам побежденной партии Цезарь также даровал неограниченное помилование еще до окончания испанского похода 705 г.; однако он вскоре убедился в том, что в этом случае зашел слишком далеко и что устранение по крайней мере вожаков было неизбежно. С той поры он принял за правило, что тот, кто служил в качестве офицера в неприятельском войске после илердской капитуляции или заседал в сенате у врагов, терял свое состояние и свои политические права в случае, если доживал до конца борьбы, и изгонялся навсегда из Италии; имущество же тех, которые не дожили до конца борьбы, во всяком случае доставалось государству. Те же лица, которые уже были раз помилованы Цезарем и опять попадались в неприятельских рядах, подвергались смертной казни. Постановления эти смягчались, однако, в значительной степени на практике. Смертные приговоры приведены были в действительности в исполнение лишь над немногими из многочисленных рецидивистов. При конфискации имущества павших не только выплачивались, что было

* Даже триумф, последовавший за битвой при Мунде, о которой будет рассказано далее, касался только лузитан, служивших в побежденном войске.

справедливо, все числившиеся за ними долги, но даже детям умерших оставлялась часть отцовского состояния. Из тех же, наконец, которых на основании изложенного выше порядка постигало изгнание и конфискация имущества, немалое число было немедленно помиловано, или же (как было, например, с африканскими крупными торговцами, насильно завербованными в число членов сената в Утике) они отделялись денежными пенями. Но и остальным, почти без исключения, возвращались свобода и имущество, если только они скрепя сердце обращались к Цезарю с просьбой об этом; иным, не хотевшим сделать этого, как, например, консуляру Марку Марцеллу, помилование даровано было и без просьбы, и, наконец, в 710 г. была дана общая амнистия всем, еще не возвращенным на родину.

Республиканская оппозиция охотно приняла амнистию, но не примирилась с новым строем. Недовольство новым порядком вещей и раздражение против непривычного властелина были всеобщими. Не было, правда, случая к открытому политическому сопротивлению, — едва ли имело значение то, что, когда встал вопрос о титуле, некоторые оппозиционные трибуны стяжали себе венец республиканских мучеников своим демонстративным протестом против тех, которые называли Цезаря царем; но тем определеннее выражался республиканизм в виде оппозиционного настроения и подпольной агитации и происков. Ни одна рука не поднималась, когда император появлялся публично. Массами появлялись прокламации на стенах, и дождем сыпались насмешки в стихах, полных желчной и меткой народной сатиры против новой монархии. Если комедиант отваживался на республиканский намек, то его приветствовали громкими аплодисментами. Восхваление и превозношение Катона сделалось модной темой для составителей оппозиционных брошюр, и писания их находили для себя публику тем более признательную, что и литература не была уже свободна. Правда, Цезарь и теперь еще боролся с республиканцами в их собственной сфере; сам он и более даровитые из его приближенных отвечали на катоновскую литературу антикатоновской, и между республиканскими и цезарианскими публицистами шла из-за умершего героя Утики борьба, подобная борьбе троянцев и эллинов из-за трупа Патрокла; но понятно, что в этой борьбе, где судьей являлась вполне республикански настроенная публика, цезарианцы занимали невыгодную позицию. Ничего не оставалось делать, как только терроризировать писателей, вследствие чего такие известные в литературе и опасные люди, как, например, Публий Нигидий Фигул и Авл Цецина с большими затруднениями, чем остальные, получили позволение возвратиться из изгнания в Италию; те же из оппозиционных писателей, которых

терпели в Италии, были фактически поставлены под опеку цензуры, сковывавшей их тем более тягостно, что мера наказания была совершенно произвольна*. Подпольная агитация и интриги разбитых партий против новой монархии будут описаны в другой связи; здесь же достаточно будет сказать, что восстания республиканцев и претендентов беспрерывно подготовлялись на всем пространстве Римской державы, что пламя гражданской войны, раздуваемое то помпьянцами, то республиканцами, снова разгоралось в различных местах, в столице же заговоры против жизни властителя были постоянным явлением; но Цезарь ни разу не увидел в этом повода окружить себя на долгое время телохранителями и обыкновенно довольствовался тем, что официально оповещал народ об обнаруженных заговорах. Но хотя Цезарь и относился ко всем делам, касавшимся его личной безопасности, с равнодушной беспечностью, он не мог, однако, скрыть серьезной опасности, грозившей со стороны этой массы недовольных не только ему, но и его делу.

Если, несмотря на предостережения и настояния своих друзей и не заблуждаясь относительно непримиримости даже помилованных противников, Цезарь с поразительным хладнокровием оставался верен своей привычке прощать великому множеству своих врагов, то в этом сказались не рыцарское великодушие горделивой натуры, не чувствительная кротость мягкого характера, но верный политический расчет, что в таком случае побежденные партии быстрее растворятся в государстве и с меньшим вредом для него, чем если бы он пытался искоренить их объявлением вне закона или удалить их из государства путем ссылки. Для своих высоких целей Цезарь не мог обойтись без конституционной партии, которая заключала в себе не только аристократию, но и все свободолюбивые национально мыслящие элементы среди италийского гражданства; для своих планов обновления дряхлеющего государства он нуждался в массе людей талантливых, образованных и пользовавшихся уважением, либо унаследованным от предков, либо благоприобретенным, которых насчитывала эта партия; именно в этом смысле он мог сказать, что помилование противников есть лучшая награда победителю. Таким-то образом, хотя виднейшие вожди разгромленных партий и были устранены, но второстепенным и третьестепенным деятелям и в особенности молодому поколению не был закрыт путь к полному прощению, хотя в то же время не дозволялось им и будировать в пассивной оппозиции; напротив, посредством более или менее осторожного принуждения их побуждали

* Желая сравнить стесненное положение писателей в старину и в новое время могут использовать для этого письмо Цицины (*Cicero*, 6, 7).

к активному участию в работах правительства и к принятию почестей и должностей. Как для Генриха IV и Вильгельма Оранского, так и для Цезаря величайшие затруднения начались лишь после победы. Каждый революционный победитель узнает на опыте, что если он не останется, подобно Цинне и Сулле, вождем партии, а подобно Цезарю, Генриху IV и Вильгельму Оранскому захочет поставить на место неизбежно односторонней программы своей партии общее благосостояние, то тотчас же все партии, и его собственная и побежденная, соединятся против нового победителя, и тем скорее, чем лучше и яснее он поймет свое новое призвание. Приверженцы конституции и помпеянцы, хотя и рассыпались на словах в преданности Цезарю, однако роптали про себя или на монархию или же по крайней мере на династию. Опустившаяся демократия, поняв, что цели Цезаря совершенно не сходны с ее собственными, открыто бунтовала против него; даже личные сторонники Цезаря ворчали, видя, как их вождь основывает вместо царства кондотьеров предоставляющую всем равные права монархию и как приходившиеся на их долю барыши уменьшались вследствие присоединения к ним и побежденных. Такой порядок в государстве не был приемлем ни для одной партии, и его приходилось одинаково насильно навязывать и друзьям, и противникам. Лично положение Цезаря в данную минуту было в известном смысле опаснее, чем до его победы, но то, что он терял, выигрывало государство. Уничтожая партии и не только шадя их членов, но допуская к занятию должностей каждого даровитого человека или просто члена хорошего рода, невзирая на его политическое прошлое, он не только приобрел для своего великого дела все наличные в государстве работоспособные силы, но добровольное или же вынужденное участие членов всех партий в этой работе незаметно переводило всю нацию на новую, приготовленную для нее почву. Если это примирение партий в данную минуту имело лишь внешний характер и если они в настоящий момент гораздо менее сходились в преданности новому порядку вещей, чем в ненависти к Цезарю, то это не вводило его в заблуждение. Он хорошо знал, что в таком внешнем соединении расхождения неизбежно притупляются и что только таким путем государственный человек в состоянии ускорить действие времени, которое одно могло бы окончательно примирить все эти распри, похоронив старое поколение. Еще менее интересовался Цезарь тем, кто ненавидит его или замышляет против него убийство. Как всякий истинно государственный человек, он служил своему народу не из-за награды, даже не из-за его любви, а жертвовал расположением современников ради счастья людей будущего, а главное, ради права иметь возможность спасти и обновить свой народ.

Пытаясь рассказать, как совершился в отдельности переход от

старых порядков к новым, мы прежде всего должны напомнить, что Цезарь явился не для того, чтобы начать, а чтобы закончить. План новой, соответствующей требованиям времени политики, давно уже намеченный Гаем Гракхом, проводился его приверженцами и последователями с большим или меньшим талантом и счастьем, но без колебаний. Цезарь, бывший с первых шагов своих и как бы в силу наследственного права главой партии популяров, высоко держал ее знамя в течение тридцати лет, никогда не меняя и не скрывая своих убеждений; он оставался демократом даже тогда, когда сделался монархом. Если он принял наследство своей партии без ограничений, за исключением, конечно, извращений, допущенных Катилиной и Клодием, питая к аристократии и к подлинным аристократам сильнейшую, даже личную, вражду, неизменно придерживаясь всех основных идей римской демократии, — именно облегчения положения должников, необходимости заморской колонизации, постепенного уравнивания правовых различий, существовавших между различными группами подданных государства, освобождения исполнительной власти от контроля сената — то и его монархия так мало расходилась с демократией, что казалось, будто последняя получила свое осуществление и завершение именно благодаря первой. В самом деле, эта монархия не была восточной деспотией милостью божией, а такой монархией, какую хотел основать Гай Гракх и какую основали Перикл и Кромвель, т. е. представительством народа в лице его доверенного, облеченного высшей и неограниченной властью. Таким образом, идеи, лежавшие в основе дела Цезаря, не были в сущности новыми; но за ним остается их осуществление, что в конце концов является всегда самым важным; за ним же — грандиозность совершенного, которое, быть может, привело бы в изумление даже гениального составителя плана, если бы он мог все это видеть, и которое, смотря по степени понимания человеческого и исторического величия, наполняло и вечно будет наполнять все более и более глубоким волнением и изумлением каждого, кто созерцал его в живой действительности или в зеркале истории, к какой бы исторической эпохе или политической партии он ни принадлежал.

Здесь будет уместно категорически заявить о том, что историк всегда молчаливо предполагает, и протестовать против привычки, свойственной как недомыслию, так и низости, именно против привычки, отделяя историческую похвалу и порицание от конкретных условий, пользоваться ими как ходячими фразами и превращать в данном случае суждение о Цезаре в суждение о так называемом цезаризме вообще. История минувших веков должна, конечно, быть наставницей для нашего времени, но не в том пошлом смысле, будто для решения вопросов настоящего достаточно просто перелистать рас-

сказы о прошлом, чтобы найти там все симптомы и средства для политического диагноза и искусства прописывать рецепты. Нет, история минувшего поучительна лишь постольку, поскольку в ней открываются путем наблюдений над более древними культурами органические условия цивилизации вообще, повсюду одинаковые основные силы и всюду различные сочетания их, поскольку вместо бессмысленного подражания она, напротив, направляет и одушевляет нас к самостоятельному дальнейшему творчеству. В этом смысле история Цезаря и римского цезаризма при всем непревзойденном величии ее главного героя, при всей исторической необходимости самого дела является поистине более резкой критикой современной автократии, чем все, что могло бы быть написано человеческой рукой. На основании того же закона природы, в силу которого ничтожнейший организм несравненно выше самой художественной машины, каждая, даже самая несовершенная форма правления, дающая простор свободному самоопределению большинства граждан, несравненно выше гениальнейшего и гуманнейшего абсолютизма, так как первая способна к развитию, следовательно, жизненна, второй же остается, чем он был, и, следовательно, мертв. Этот закон природы нашел себе подтверждение и на примере римской абсолютной военной монархии, и притом подтверждение тем более полное, что благодаря гениальному импульсу ее творца и отсутствию каких-либо существенных осложнений за пределами страны эта монархия сложилась в более чистом и свободном виде, чем какое-либо другое подобное государство. Начиная с Цезаря, как это видно будет из нашего дальнейшего изложения и как давно уже было показано Гиббоном, римский строй держался только внешним образом и расширялся лишь механически, внутренне засыхая и отмирая окончательно вместе со своим основателем. Если при начале автократического режима и прежде всего в самой душе Цезаря господствовала полная надежда мечта о слиянии свободного демократического строя с абсолютной монархией, то уже царствование высокоодаренных императоров юлиевой династии устрашающим образом доказало, что невозможно соединить в одном сосуде огонь и воду. Дело Цезаря было необходимо и благотворно не потому, что оно само по себе приносило или даже могло лишь принести благоденствие, а потому, что при античной народной организации, построенной на рабстве и совершенно чуждой республиканско-конституционного представительства, и рядом с законным городским строем, превратившимся за пять веков существования в олигархический абсолютизм, неограниченная военная монархия являлась логически необходимым завершением постройки и наименьшим злом. Когда в Виргинии и Каролине рабовладельческая аристократия доведет дело до того, до чего довели единомышленники ее в Риме времен

Суллы, тогда и там цезаризм найдет себе оправдание перед судом истории*, там, где он водворяется при других исторических условиях, он кажется нам карикатурой и узурпацией. История не согласится отнять у настоящего Цезаря часть подобающих ему почестей потому только, что подобный приговор, вынесенный дурным цезарям, может ввести в заблуждение наивных людей и дать злобе пищу ко лжи и обману. История — та же Библия, и если она, подобно Библии, не может помешать тому, чтобы глупцы понимали ее ложно и чтобы дьявол ссылался на нее при случае, то и она, подобно Библии же, будет в состоянии вынести и то и другое и все компенсировать.

Положение нового главы государства формально определяется прежде всего как диктатура. Цезарь принял на себя диктатуру впервые по возвращении из Испании в 705 г., но снова сложил ее с себя через несколько дней и совершил столь важный поход 706 г. просто в звании консула, это была та должность, из-за замещения которой, главным образом, вспыхнула гражданская война. Осенью того же года, после битвы при Фарсале, Цезарь снова вернулся к диктатуре и добился того, чтобы она была вторично передана ему как годичная должность, сначала на неопределенное время; с первого же января 709 г. — в виде годичной должности после битвы при Тапсе — на 10 лет, а вслед за тем, в январе или феврале 710 г.*, — пожизненно, так что под конец он перестал вспоминать о срочности своей должности и формально выразил ее пожизненность в своем новом титуле *dictator perpetuus* (пожизненный диктатор). Эта диктатура, как первая — эфемерная, так и вторая — прочная, не была диктатурой старинной конституции, а высшей экстраординарной должностью по типу установлений Суллы, только по имени схожей со старинной диктатурой. Это была должность, полномочия которой определялись не конституционными распоряжениями, касающимися высшей единоличной власти, а особым решением народного собрания, а именно постановлением, что носитель этой власти получает специальное поручение составить проекты законов и преобразовать государственный строй, а для этого получает и юридически неограниченные полномочия, упраздняющие

* Когда эти строки были написаны, в 1857 г., нельзя еще было предвидеть, как скоро благодаря самой страшной борьбе и самой славной победе, когда-либо занесенной в летописи человечества, оно будет избавлено от этого тяжкого испытания и ему навсегда будет обеспечена безусловная, самоопределяющаяся свобода, надолго ограничить которую не в силах будет никакой местный цезаризм.

** 26 января 710 г. Цезарь называется еще *dictator III*, т. е. диктатор в четвертый раз (на триумфальной таблице); 15 февраля того же года он уже был *dictator perpetuus*, т. е. пожизненный диктатор (*Cicero, Philipp.*, 2, 34, 87) (ср. *Mommsen, Römisches Staatsrecht*, Bd. 2, 3 Aufl., S. 716).

республиканское разделение властей. Если случается, что диктатору поручается еще особыми актами право решать вопрос о войне и мире, не спрашивая мнения ни сената, ни народа, а также право самостоятельно располагать войском и казной и назначать провинциальных наместников, то это является лишь применением этого общего правила к частному случаю; даже такие функции, которые находились вне компетенции магистратов и даже государственных властей вообще, Цезарь мог присвоить себе, не совершая правонарушений; с его стороны является настоящей уступкой, что он отказался от назначения магистратов помимо комиций и ограничился по отношению к некоторому числу преторов и низших властей тем, что присвоил себе существенно связывавшее избирателей право предложения кандидатов; точно так же он добился особого народного постановления, которое уполномочивало его назначать новых патрициев, что вообще не допускалось существовавшими обычаями.

Рядом с такой диктатурой не оставалось, в сущности, и места для других должностей. Цезарь никогда не брал на себя цензуры* как таковой, но в широких размерах пользовался правами цензоров, именно важнейшими из них, — правом назначения сенаторов. Консульство он часто отправлял параллельно с диктатурой, однажды даже занимал пост консула без коллеги, но вовсе не желал надолго закрепить его за собой и никогда не давал хода предложениям принять его на пять или даже на десять лет подряд. Главный надзор за культом Цезарю не приходилось вновь принимать на себя, так как он уже был верховным понтификом. Понятно, что ему выпало на долю и звание члена коллегии авгуров, да и вообще множество старинных и новых почестей, как, например, титул отца отечества, наименование месяца, в котором он родился, его именем, сохранившееся до сих пор (июль), и другие выражения зарождавшегося придворного тона, превратившегося под конец в пошлое обоготворение. Заслуживают внимания лишь два нововведения, а именно, что Цезарь, во-первых, в отношении особой личной неприкосновенности был приравнен к народным трибунам, и, во-вторых, что наименование его императором было навсегда закреплено за его личностью и стало его титулом наравне с прочими обозначениями его должностей**.

* При подыскании формулы для диктатуры, по-видимому, было ясно указано на «исправление нравов»; но соответствующей должности Цезарь никогда не занимал (см. *Mommsen, Römisches Staatsrecht, Bd. 2, 3 Aufl., S. 705*).

** Цезарь всегда носит наименование *imperator* без цифры, обозначающей повторение, и притом всегда на первом месте после имени (см. *Mommsen, Römisches Staatsrecht, Bd. 2, 3 Aufl., S. 767, Anm. 1*).

Для вдумчивого наблюдателя не нужны доказательства того, что Цезарь имел в виду ввести в государстве верховную власть и не на несколько лишь лет или на неопределенный срок в качестве персональной должности подобно регентству Суллы, а как основной и постоянный орган; не нужно также доказывать, что для этого нового учреждения он приискал и соответствующее простое наименование, потому что почти столь же ошибочно было бы создавать слова, лишённые содержания, как и оставлять полноту власти без всякого наименования. Конечно, в такую переходную эпоху преходящие и постоянные учреждения не вполне ясно отличаются одни от других, и благоговение клеветников перед своим повелителем, предупреждавшее каждое его мановение, осыпало его целым дождем неприятных ему самому противных декретов и постановлений, выражающих ему доверие и воздающих ему почести, и поэтому нелегко выяснить, какую окончательную формулу Цезарь имел в виду. Новая монархия менее всего могла быть увязана с консульством уже в силу коллегиальности, трудно отделимой от этой должности; и Цезарь очевидно заботился о том, чтобы превратить эту, доколе высшую должность в пустой титул, и впоследствии, когда он принял ее на себя, он не удержал ее в течение года, но до истечения срока передал второстепенным личностям. Диктатура на деле выступала все чаще и определеннее на первый план, но, вероятно, лишь потому, что Цезарь хотел использовать ее в том смысле, который она имела издавна в конституционном механизме, т. е. как чрезвычайная власть для преодоления чрезвычайных же кризисов. Она мало годилась быть выражением новой монархии, так как за ней уже закрепилась репутация исключительного и непопулярного учреждения, и от представителя демократии вряд ли можно было ожидать, чтобы он избрал для прочного учреждения ту самую форму, которую гениальнейший боец противной партии создал для своих целей.

Несравненно более подходит для обозначения монархии новое звание императора уже потому, что в этом значении оно является новым* и для введения его не видно было никакого внешнего повода. Новое вино не должно быть влито в старые меха; для нового дела придумано было и новое наименование, и в нем совмещено самым выразительным образом то, что с меньшей определенностью было сформулировано демократической партией еще в законе Габиния как сущность власти ее верховного вождя: сосредоточение и пожизненное сохранение правительственной власти (*imperium*) в руках народ-

* Во времена республики титул императора, обозначающий победоносного полководца, слался с окончанием похода; как постоянное наименование он является впервые лишь у Цезаря.

ного вождя, независимого от сената. Точно так же и на цезаревых монетах, особенно последнего времени, мы встречаем наряду со званием диктатора преимущественно императорский титул, а в законе Цезаря о политических преступлениях монарх обозначен прямо под этим наименованием.

Последующее же время, хотя и не сразу, закрепило за монархией императорский титул. Для того чтобы придать этому новому сану как демократическую, так и религиозную санкцию, Цезарь имел, вероятно, в виду соединить с ним раз навсегда, с одной стороны, власть трибуна, а с другой — должность верховного понтифика. Не подлежит сомнению, что новая организация не ограничивалась только жизнью ее учредителя; но ему не удалось, однако, разрешить особенно трудный вопрос о престолонаследии, и остается неразъясненным, имел ли он в виду установление какой-нибудь формы для избрания преемника, как это было в первоначальный царский период, или же намеревался установить пожизненность и наследственность высшей власти, как впоследствии утверждал его приемный сын*. Не лишено вероятия, что он имел в виду в известной степени соединить обе системы и регулировать наследование, как это сделали Кромвель и Наполеон, признав, что преемником властителя является его сын; если же у него сына нет или он не признает его достойным престола, наследника назначает по свободному выбору и путем усыновления сам властитель.

С точки зрения государственного права новая власть императора походила на то положение, какое занимали консулы или проконсулы за чертой города, так что в ней совмещались прежде всего военное командование, а затем высшая судебная, а стало быть, и административная власть**.

* То обстоятельство, что при жизни Цезаря верховная власть, равно как и понтификат, были обеспечены в наследственном порядке посредством формального законодательного акта за его нисходящим потомством, прямым или же приемным, выставлялось Цезарем-сыном (Октавианом) как доказательство его права на власть. По состоянию дошедшей до нас традиции существование подобного закона или сенатского постановления должно быть решительно отвергнуто; остается все-таки возможным, что Цезарь мог иметь в виду издание такого закона (см. *Mommsen, Römisches Staatsrecht, Bd. 2, 3 Aufl., S. 767, 1106*).

** Распространенное мнение, видящее во власти императора только пожизненное звание имперского главнокомандующего, не оправдывается ни значением этого слова, ни объяснением его древними авторами. *Imperium* означает повелевающую власть, *imperator* — обладателя ее; эти слова, равно, как и соответствующие греческие выражения *κράτος*, *αὐτοκράτωρ* имеют так мало отношения к чисто военным делам, что

Но власть императора в качественном отношении и потому уже превосходила власть консулов и проконсулов, что не была ограничена ни временем, ни местом, была пожизненной и притом распространялась на самую столицу*, что император не был стеснен, подобно консулу, сотрудничеством имевшего одинаковую с ним власть коллеги и что перед императором не имели силы все введенные на протяжении многих лет ограничения первоначальной высшей правительственной власти, как, например, обязательство допускать провокацию и считаться с представлением сената.

Одним словом, — эта новая власть императора была не чем иным, как восстановленной царской властью древнейшей эпохи, так как именно эти ограничения в отношении времени и места пользования властью, коллегиальность и в известных случаях сотрудничество сената или общины и отличали консула от царя. В новой монархии вряд ли есть хоть одна черта, которой мы не нашли бы в древней: соединение высшей военной, судебной и административной власти в руках госу-

наиболее характерной чертой римской правительственной власти, там, где она является в наибольшей полноте, служит то, что она совмещает в себе, как нечто неделимое, и войну, и судебный процесс, т. е. военную и гражданскую верховно-повелевающую власть. Совершенно верно говорит Дион (53, 17; ср. 43, 44, 52, 41), что звание императора было принято государями «для указания на полноту своей власти, в отличие от царского или диктаторского титула (πρός δήλωσιν τῆς αὐτοτελοῦς, σφῶν ἐξουσίας ἀντί τῆς τοῦ βασιλέως τοῦ τε δικτάτορος ἐκκλησίᾳς); потому что эти древнейшие титулы исчезли на словах, в самой же сущности звание императора дает те же самые прерогативы (τό δὲ δῆπερ ἔργον αὐτῶν τῆ τοῦ ὑποκράτορος προσήγορία βεβαίουνται), например, право набирать воинов, назначать налоги, объявлять войну и заключать мир, пользоваться высшей властью над гражданами и иными личностями в государстве и вне его и каждого из них везде наказывать смертью или другой карой и вообще присваивать себе права, связанные с высшей властью в древнейшую пору». Трудно, конечно, сказать яснее, что *imperator* — не что иное, как синоним слова *rex*, точно так же как значения слов *imperator* и *reges* совпадают.

* Когда Август, учреждая принципат, снова восстановил *caesaris imperium*, то при этом была сделана оговорка, что он должен быть ограничен и в территориальном отношении, а отчасти и во времени; проконсульская власть императоров, которая есть не что иное, как этот *imperium*, не должна была применяться к Риму и Италии (*Mommsen, Römisches Staatsrecht, Bd. 2, 8, 3 Aufl., S. 854*). На этом моменте основано существенное различие империи Цезаря и принципата Августа, а с другой стороны, на несовершенном и в принципе и еще более на деле осуществлении этого ограничения основано реальное сходство обоих учреждений.

даря; признание его религиозным главой народа; право издавать приказы, имеющие обязательную силу; низведение сената до значения государственного совета; возрождение патрициата и городской префектуры. Но еще поразительнее этих аналогий внутреннее родство монархии Сервия Туллия с монархией Цезаря; если древние цари римские при всем их полномочии были все-таки повелителями свободной общины и к тому же являлись заступниками простого народа от обид со стороны патрициата, то и Цезарь ставил себе задачей не упразднить свободу, но осуществить ее, и прежде всего сломить невыносимый гнет аристократии. Нас не должно также удивлять, что Цезарь, всего менее бывший политическим антикваром, обратил свои взоры за полтысячелетия назад, для того чтобы найти образец для своего нового государства. Так как высшая власть в Римском государстве во все времена оставалась, в сущности, царской властью и ограничена была лишь некоторыми специальными законами, то и самая идея царской власти вовсе не утратилась совершенно. Во время республики к ней возвращались на практике в самые различные эпохи и с различных сторон — и в учреждении власти децемвиров, и в диктатуре Суллы и самого Цезаря. С известной логической необходимостью везде, где сказывалась потребность в исключительных полномочиях, выдвигался в противоположность обыкновенной власти неограниченный империй, который именно и был не чем иным, как царской властью. Наконец, и внешние соображения рекомендовали вернуться к древнему царскому образу правления. Человечество с несказанным трудом принимает нововведения и поэтому относится к сложившимся уже формам как к священному наследию. Поэтому и Цезарь так же сознательно пошел по стопам Сервия Туллия, как впоследствии это сделал Карл Великий по отношению к нему самому и как Наполеон, по крайней мере, старался опереться на пример Карла Великого. Он не делал этого окольными путями или тайно, а, напротив, подобно своим преемникам, по возможности открыто, так как целью этого подражания было найти ясную национальную и популярную формулу для нового государственного строя. С древних времен на Капитолии стояли статуи тех семи царей, о которых упоминает традиционная история Рима; Цезарь приказал соорудить рядом с ними восьмую статую, свою собственную. Он появлялся публично в облачении древних царей Альбы. В его новом законе о политических преступлениях главное отступление от закона Суллы заключалось в том, что рядом с народом и на одной линии с ним поставлен был и император как живое и олицетворенное воплощение народа. В формуле, принятой для политической присяги, к Юпитеру и к пенатам римского народа присоединен был и гений императора. По представлению, господствовавшему во всем древнем мире, внешним призна-

ком монархии служило изображение монарха на монетах; с 710 г. на монетах Римского государства появилась голова Цезаря. Таким образом, нельзя было по крайней мере жаловаться на то, что Цезарь оставлял публику в неизвестности относительно значения своей роли. Он как можно формальнее и определеннее выступал не только как монарх, но именно как римский царь. Возможно даже, хотя это и не вполне правдоподобно и, во всяком случае, имеет только второстепенное значение, что он предполагал называть свою присвоенную по должности власть не новым именем императора, а просто древним царским именем.* Еще при жизни его многие из его врагов и даже друзей были того мнения, что он имеет намерение заставить открыто провозгласить себя римским царем; некоторые из его самых ревностных приверженцев давали ему в разное время и разными путями возможность надеть на себя корону; всего театральнее сделал это Марк Антоний, который в качестве консула предложил Цезарю корону перед лицом всего народа (15 февраля 710 г.). Но Цезарь отклонял все эти предложения. Если он вместе с тем преследовал и тех, которые пользовались этими событиями для целей республиканской оппозиции, то из этого отнюдь еще не следует заключать, что его отказ не был серьезен. Те же, которые думают, что предложения эти делались

* Относительно этого вопроса можно спорить; что же касается мнения, будто Цезарь хотел управлять римлянами в качестве императора, неримлянами же в качестве царя, то это должно быть просто отвергнуто. Мнение это основано единственно на рассказе о том, что в сенатском заседании, во время которого был убит Цезарь, один из жрецов-прорицателей, Луций Котта, должен был будто бы сообщить изречение Сивиллы, предсказывавшей, что парфяне могут быть побеждены только «царем» и что вследствие этого Цезарю должна была быть предложена царская власть над римскими провинциями. Рассказ этот, действительно, переходил из уст в уста непосредственно после смерти Цезаря. Но он не только не встречается нигде даже косвенного подтверждения, но прямо называется ложным у современника Цезаря Цицерона (*De div.*, 2, 54, 119) и сообщается позднейшими историками, в особенности Светонием (79) и Дионом (44, 15), только как слух, за который они отнюдь не ручаются. Рассказ этот не становится более правдоподобным оттого, что Плутарх (*Vrut.*, 60, 64; *Caes.*, 10) и Аппиан (*B. c.*, 2, 110) повторяют его, первый, по своему обыкновению, в виде анекдота, второй как факт. Рассказ этот не только не доказан, но и не состоятелен по внутреннему содержанию. Если даже оставить в стороне, что Цезарь обладал слишком большим умом и политическим тактом, для того чтобы, по примеру олигархов, решать важные государственные вопросы с помощью махинаций оракулов, то он ни в каком случае не мог желать формально и юридически дробить то самое государство, которое он хотел во всем нивелировать.

по его требованию, для того чтобы приучить толпу к непривычному зрелищу римской короны, совершенно не понимают громадной силы той идейной оппозиции, с которой приходилось считаться Цезарю и которая не могла сделаться уступчивее от такого явного признания Цезарем ее правоты, а, напротив, только стала бы благодаря этому на более твердую почву. Одно только испрошенное рвение горячих приверженцев могло дать повод к этим сценам; возможно и то, что Цезарь допустил или даже подстроил эту сцену с Антонием, для того чтобы своим отказом от царского титула, последовавшим перед глазами всего гражданства и занесенным по его личному приказу в государственные записи, — так что от этого отказа нелегко было отступить, — покончить возможно эффектным образом с этой дожучливой сплетней. Всего вероятнее, что Цезарь, хорошо понимавший как цену ходячей формулы, так и антипатию толпы, более относившуюся к названию, чем к самой сути дела, решился избегать слова «царь», над которым издревле тяготело какое-то проклятие и которое современным ему римлянам казалось более подходящим для восточных деспотов, чем для их же собственного Нумы и Сервия, и решился усвоить себе всю сущность царской власти при титуле императора.

Во всяком случае, как бы ни мыслить себе в окончательной форме его титул, властелин уже был налицо, и немедленно стал складываться и двор с неизбежной пышностью, неизбежным отсутствием вкуса и пустотой. Цезарь появлялся публично не в обрамленном красной полосой консульском одеянии, а в пурпуровом, считавшемся в древности царским, и принимал, сидя на своем золотом седалище и не вставая с него, торжественное шествие сената. Празднества в честь дня его рождения, побед и принесения им обетов наполняли собой календарь. Когда Цезарь приезжал в столицу, навстречу ему выходили толпами на далекое расстояние его знатнейшие слуги. Близость к нему получила такое значение, что плата за квартиры в городском квартале, где жил он, значительно поднялась. Так как очень многие добивались у него аудиенции, то личные сношения с Цезарем были настолько затруднены, что даже с приближенными он зачастую принужден был сноситься письменно, и знатнейшие люди должны были по целым часам ждать в его передней. Яснее, чем того желал сам Цезарь, все чувствовали, что они приходили уже не к согражданину.

Появился и монархический патрициат, который представлял странную смесь старого с новым и складывался под влиянием мысли о необходимости вытеснить олигархическую знать царской, нобилей — патрициями. Класс патрициев, хотя и без существенных сословных привилегий, все еще существовал в виде замкнутой юнкерской корпорации, но, не имея права принимать в свой состав новые роды, он все более и более вымирал на протяжении столетий. В эпоху Цезаря су-

ществовало не более пятнадцати или шестнадцати патрицианских родов. Цезарь, сам происходивший из патрицианского рода, добился народного постановления, которое предоставляло императору право пожалования в патриции, и создал в противовес республиканской знати новую аристократию патрициев, представлявшую самое счастливое сочетание всех условий, необходимых для монархической аристократии, именно обаяние седой старины, полнейшую зависимость от правительства и совершеннейшее личное ничтожество. Новая власть проявляла свое влияние во всех направлениях.

При таком действительно неограниченном монархе едва ли могла быть речь о конституции, а еще менее о дальнейшем существовании прежнего республиканского строя, покоившегося на законном сотрудничестве гражданства, сената и отдельных должностных лиц. Цезарь весьма определенно вернулся к традициям царской эпохи; собрания граждан остались тем, чем они были и во времена царей, т. е. они являлись рядом с царем и вместе с ним высшим и последним выражением верховной народной воли; сенат был возвращен к своему первоначальному назначению — давать государю советы по его требованию, наконец, сам государь снова сосредоточил в своем лице всю совокупность правительственной власти, так что рядом с ним не было другого самостоятельного должностного лица, как и при царях древнейшей эпохи.

Что касается законодательства, то в этом отношении демократический монарх твердо держался древнего положения римского государственного права, в силу которого один только народ, вместе с созвавшим его царем, мог разрешать общественные дела, и всегда подкреплял свои важнейшие постановления народным голосованием. Невозможно было, конечно, вдохнуть в так называемые комиции того времени ту независимую силу и морально-государственный авторитет, который заключался в вотуме древних совещаний вооруженных людей; участие граждан в деле законодательства, весьма ограниченное при старой конституции, но все же активное и живое, сделалось при новом порядке в практическом отношении пустым звуком. Для этого не требовалось даже особых ограничительных мероприятий против комиций; многолетний опыт показал, что с такой чисто формальной верховной властью могло удобно ужиться каждое правительство, как олигархия, так и монарх. Лишь поскольку эти цезаревы комиции служили для сохранения принципа народного суверенитета и для энергичного протеста против султанизма, постольку они были важным звеном в правительственной системе Цезаря и имели, правда косвенным образом, практическое значение.

Но рядом с этим (и это не только ясно само по себе, но и определенно доказано) было вновь вызвано к жизни еще самим Цезарем,

а не его преемниками, и другое положение древнейшего государственного права, гласившее, что то, что приказано высшим или, вернее, единственным должностным лицом, имеет безусловную силу, пока лицо это остается в своем звании, что право издавать закон принадлежит, правда, сообща царю и гражданам, но что царские постановления имеют одинаковую с законом силу по крайней мере до удаления лица, их издавшего.

Если демократический монарх по крайней мере формально признавал участие народа в верховной власти, то он отнюдь не имел намерения разделять свою власть с прежним правительством, т. е. сенатской коллегией. Сенат Цезаря, в противоположность позднему сенату Августа, должен был служить не чем иным, как только высшим совещательным органом, которым он пользовался для предварительного обсуждения с ним законов и для обнародования важнейших административных мер через его посредство или хотя бы от его имени, и случалось иногда, что появлялись сенатские постановления, о которых не имели никакого понятия даже те из сенаторов, на которых указывали как на лиц, присутствовавших при их составлении. Вернуть сенат к его первоначальной совещательной роли, из которой он вырос более фактически, чем юридически, не представляло больших формальных трудностей; зато здесь было необходимо уберечься от сопротивления на деле, так как римский сенат был таким же очагом оппозиции против Цезаря, каким был аттический ареопаг против Перикла. Главным образом, по этой причине число сенаторов, в нормальном составе своем не превышавшее 600 и значительно уменьшившееся вследствие последних кризисов, было при помощи чрезвычайного пополнения доведено до 900, и одновременно с этим, для удержания его на этой высоте, число ежегодно назначаемых квесторов, т. е. членов, ежегодно вступавших в сенат, было увеличено с 20 до 40*. Это чрезвычайное пополнение сената было предпринято монархом единолично. При обычном же пополнении он обеспечил за собой прочное влияние тем, что обязал избирательные коллегии особым законом** подавать голос за первых 20 соискателей квесторской должности, имевших рекомендательные письма монарха; кроме того, короне в виде исключения предоставлялось давать почетные права, связанные с квестурой или другой более высокой должностью, а именно места в сенате, даже лицам, не правоспособным в этом отноше-

* На основании принятого прежде приблизительного исчисления это составило бы средним числом от 1000 до 1200 сенаторов.

** Закон этот касался, правда, только выборов на 711 и 712 гг. (см. *Mommsen, Römisches Staatsrecht, Bd. 2, 3 Aufl., S. 730*). Но этот порядок, несомненно, предполагалось сохранить навсегда.

нии. Понятно, что на чрезвычайных дополнительных выборах избирались, главным образом, приверженцы нового режима, и в эту высокую корпорацию, наряду с уважаемыми всадниками, входило и много сомнительных личностей или плебеев; сюда попадали прежние сенаторы, вычеркнутые из списка цензором или по приговору суда, иноземцы из Испании и Галлии, которые нередко уже в сенате должны были учиться латинскому языку, прежние младшие офицеры, до той поры не имевшие даже всаднического перстня, сыновья вольноотпущенников или людей, занимавшихся позорными промыслами, и много других подобных элементов. Замкнутые круги нобилитета, в которых это изменение состава сенаторов, естественно, возбуждало сильнейшее недовольство, увидели в этом намеренное унижение самого сената как учреждения. Но Цезарь не был способен на такую недостойную политическую выдумку; он так же твердо решил, что не даст своему совету руководить собой, как и был убежден в необходимости этого учреждения. Поэтому правильнее было бы видеть в этом образе действий намерение монарха отнять у сената его прежний характер исключительного представительства олигархической знати и снова сделать его тем, чем он был при царях: государственным советом, являющимся представителем всех сословий в лице наиболее просвещенных их элементов, не исключая людей низкого происхождения, даже чужестранцев (подобно царям, привлечшим в сенат неграждан, и Цезарь допустил в него неиталиков).

Если этим путем правление нобилитета было устранено, а самое его существование расшатано и сенат в своем новом виде был только орудием в руках монарха, то в правительственной системе и в управлении государством был в определенной форме проведен принцип автократии, и вся исполнительная власть была сосредоточена в руках монарха. Всякий сколько-нибудь существенный вопрос решался, разумеется, самим императором. Цезарь сумел ввести принцип личного управления в таких размерах, которые почти непостижимы для нас, простых смертных, и которые вместе с тем не объясняются только беспримерной быстротой и уверенностью его работы, а коренятся, кроме того, в причинах более общего характера. Если мы видим, что Цезарь, Сулла, Гай Гракх и вообще все римские государственные люди развивают деятельность, превосходящую наши представления о трудоспособности человека, то причина этого явления заключается не в переменах, происшедших с той поры в самой человеческой природе, а в изменившейся с того времени организации домашнего быта. Римский дом был как бы машиной, в которой к услугам хозяина были все умственные силы его рабов и вольноотпущенников, и тот человек, который умел управлять этими силами, работал как бы с помощью бесчисленных умов. Это был идеал бюрократ-

тической централизации, к которому усердно стремится и наша современная конторская система, оставаясь, однако, настолько же позади своего первообраза, как нынешнее господство капитала остается позади античной рабовладельческой системы. Цезарь умел пользоваться этими преимуществами; все должности, требовавшие особого доверия, как правило, насколько это позволяли другие соображения, он поручал своим рабам, вольноотпущенникам, низкороджденным клиентам. Его творение в целом показывает, что может совершить организаторский гений, подобный Цезарю, при помощи подобного аппарата; на вопрос, каким путем в отдельных случаях достигались эти изумительные результаты, мы не можем дать удовлетворительного ответа. Бюрократия похожа на фабрику и тем, что продукт труда не является принадлежностью отдельного лица, над ним работавшего, а как бы всей фабрики, ставящей на нем свою марку. Одно только вполне ясно, а именно, что Цезарь не имел в своей работе ни одного помощника, который лично влиял бы на ее ход или хотя бы был посвящен во весь план; он не только был полным хозяином, но работал даже без товарищей, а только с исполнителями. В частности, само собой разумеется, что в чисто политических делах Цезарь по возможности избегал всякой замены его другим лицом. Там, где это становилось необходимым, — так как Цезарь, в особенности во время своих частых отлучек из Рима, нуждался в высшем органе, — для этого избирался (что весьма характерно) не законный наместник монарха, городской префект, а какое-нибудь доверенное лицо без официально признанных полномочий; обычно это был банкир Цезаря, умный и изворотливый финикийский купец Луций Корнелий Бальб из Гадеса.

В деле управления Цезарь прежде всего думал о том, как бы снова взять в свои руки ключи от государственной казны, которыми сенат завладел после ниспровержения царской власти, тем самым присвоив себе и влияние на управление. Он хотел доверять их только таким слугам, которые безусловно и всецело мыслили одинаково с ним. Личная собственность монарха оставалась, конечно, юридически строго обособленной от государственной собственности, но Цезарь взял в свои руки управление всем финансовым и денежным хозяйством страны и вел дело совершенно так, как он, да и все знатные римляне управляли своим личным состоянием. Взимание податей в провинциях и в основном также заведование монетным делом должны были впредь находиться в руках рабов и вольноотпущенников императора, с полным устранением от этого дела людей сенаторского звания, — шаг, весьма важный по своим последствиям: отсюда со временем сложились столь важный класс прокураторов и «императорский двор».

Напротив, из числа наместничеств, которые, передав заведова-

ние своими финансовыми делами новым императорским сборщикам податей, стали более, чем когда-либо, чисто военными постами, одно только командование в Египте перешло в руки приближенных монарха. Страна на берегах Нила, своеобразно изолированная в географическом отношении и централизованная в политическом более всякой другой области, могла бы на долгое время отделиться под руководством опытного вождя от центральной власти, что достаточно доказывалось во время последнего кризиса неоднократными попытками находившихся в затруднительном положении вождей италийских партий укрепиться в Египте. Эти соображения и побудили, вероятно, Цезаря не превращать формально эту страну в провинцию, а оставить в ней не опасных для него Лагидов; нет сомнения, что по этой же причине легионы, стоявшие в Египте, не были поручены человеку, принадлежавшему к сенату, т. е. прежнему правительству, и эта административная должность, подобно должностям сборщиков податей, была поручена лицу из челяди Цезаря. Вообще же Цезарь считал обязательным для себя не поручать начальства над римскими солдатами своим прислужникам, как он делал относительно войск восточных царей. Оставалось в силе правило замещать более значительные наместничества бывшими консулами, меньшие же — преторами; вместо пятилетнего промежутка, предписываемого законом 702 г., начало службы наместником, по старинному обычаю, опять, вероятно, непосредственно примыкало теперь к окончанию столичной служебной деятельности. Распределение же провинций между правоспособными кандидатами, до той поры совершавшееся то путем постановления народного собрания или сената, то по соглашению самих должностных лиц или посредством жребия, перешло теперь к монарху, и так как консулы были часто принуждены слагать с себя должность до окончания года и уступать место консулам, избранным дополнительно (*consules suffecti*), так как, далее, число ежегодно назначаемых преторов было увеличено с восьми до шестнадцати и императору поручалось назначение половины из них, равно как и половины всего числа квесторов; так как, наконец, за ним сохранено было право назначать, правда, не почетных консулов, а только почетных преторов и квесторов, то благодаря всему этому он имел для замещения наместничеств достаточное число приемлемых для него кандидатов. Как назначение, так и отзывание наместников были, конечно, отданы на усмотрение правителя; правилом же считалось, чтобы наместник из консулов оставался в провинции не более двух лет, из преторов же — не более одного года.

Что касается, наконец, управления столицей и резиденцией, то император, очевидно, помышлял на некоторое время поручить и это дело должностным лицам, назначенным им самим таким же спосо-

бом. Он воскресил древнюю городскую префектуру времен царей; неоднократно поручал он в свое отсутствие управление столицей одному или нескольким заместителям, назначенным им без опроса народа и на неопределенное время; лица эти совмещали в себе функции всех органов управления и даже пользовались правом чеканить монету под собственным именем, хотя, конечно, не с собственным изображением. Наконец, в 707 г. и в первые девять месяцев 709 г. не было ни преторов, ни курульных эдилов, ни квесторов. Даже консулы были назначены в 707 г. лишь к концу года, а в 709 г. Цезарь исполнял эту должность один, без коллегии. Это совершенно похоже на попытку полной реставрации древней царской власти также и в самом городе Рима с сохранением тех ограничений, которые предписывались демократическим прошлым нового монарха, т. е. на попытку удержать из должностных лиц, кроме самого царя, только городского префекта (на время отсутствия царя), да еще поставленных для охранения народной свободы трибунов и плебейских эдилов и упразднить должности консулов, цензоров, преторов, курульных эдилов и квесторов*. Цезарь, однако, отступил впоследствии от этого намерения; он не принял царского титула и не уничтожил тех почетных названий, которые были так тесно связаны с славной историей республики. Консулам, преторам, эдилам, трибунам и квесторам оставлены были в основном их прежние формальные функции, но положение их сделалось тем не менее совершенно иным. Основной политический принцип республики заключался в том, что Римское государство считалось как бы воплотившимся в городе Рима, и вследствие этого на столичных городских магистратов смотрели сплошь как на магистратов всего государства. В царствование Цезаря вместе с этим представлением отпало и вытекавшее из него следствие; власти города Рима составляли с той поры только первый муниципалитет среди многочисленных муниципалитетов государства, и в особенности консульство сделалось чисто почетным званием, сохранившим некоторое практическое значение только благодаря связанной с ним надежде на высшее наместничество. Римскую общину постигла по милости Цезаря та участь, которую сама она привыкла готовить покоренным народам, — ее верховная власть над Римской державой превра-

* Отсюда и осторожные обороты при упоминании этих должностей в цезаревых законах: «Cum censor aliusve quis magistratus Romae populi censum aget» (когда цензор или какой-нибудь другой магистрат будет производить в Риме перепись населения), L. Jul. mun. 144; «praetor isve quei Romae iure deicundo praerit» (претор или тот, кто будет заведовать в Риме юрисдикцией — часто в *d. Rubr.*); «Quaestor urbanus queive aerario praerit» (городской квестор или тот, кто будет заведовать казначейством), L. Jul. mun., 37.

тилась в ограниченную коммунальную свободу внутри Римского государства. Мы уже указывали, что число преторов и квесторов было удвоено; то же самое сделано было и относительно народных эдилов, к которым было прибавлено еще два новых «хлебных эдила» (aediles Ceriales) для надзора за снабжением столицы. Замещение этих должностей осталось в руках общины, и относительно консулов, а быть может, даже и народных трибунов и эдилов, право это не было ограничено. Мы упоминали и о том, что за императором осталось право предлагать половину всех ежегодно избираемых преторов, курульных эдилов и квесторов, причем предложение это было обязательно для избирателей. Освященные древностью оплоты народной свободы оставались вообще неприкосновенными, что, однако, не мешало Цезарю принимать серьезные меры против того или другого строптивого народного трибуна, даже смещать его и вычеркивать его имя из списка сенаторов. Благодаря тому, что император был во всех общих и важнейших вопросах своим собственным министром, что он управлял финансами через своих слуг, а войском — при посредстве адъютантов, что древние республиканские магистратуры снова были превращены в общинные должности города Рима, — благодаря всему этому самодержавие было достаточно упрочено.

Что же касается духовной иерархии, то хотя Цезарь и относительно этой части государственного аппарата издал подробный закон, он не предпринял в ней, однако, существенных нововведений, кроме того, разве, что соединил в лице правителя и звание верховного понтифика и вообще звание члена высших жреческих коллегий; с этим отчасти находится в связи и то, что в каждой из трех высших коллегий было учреждено по одному новому месту, в четвертой же, в коллегии распорядителей пиршествами, — три новых места. Если до этого времени римское государственное жречество служило опорой господствующей олигархии, то она могла нести такую же службу и для новой монархии. Консервативная политика сената в делах религии перешла к новым римским царям; когда строго консервативный Варрон опубликовал около этого времени свои «Религиозные древности», энциклопедию римского государственного богословия, то он имел право посвятить их верховному понтифику Цезарю. Тусклый блеск, который в ту пору еще в состоянии была испускать религия Юпитера, осветил вновь учрежденный престол, и старая народная вера в последние периоды своего существования стала орудием цезарепапизма, правда, в самом корне своем слабого и бессодержательного.

В области суда была прежде всего восстановлена старинная царская юрисдикция. Подобно тому как первоначально царь был судьей в уголовных и гражданских делах и не был юридически связан в первом случае народными постановлениями в качестве инстанции, имев-

шей право помилования, во втором же случае — решением спорных вопросов присяжными, так и Цезарь признавал за собой право принимать уголовные дела и частные иски на свое единоличное и окончательное решение и разбирать их или лично или же в случае своего отсутствия через городского префекта. Действительно, мы видим его, совершенно в духе старых царей, или публично творящим суд на форуме по обвинениям римских граждан в государственной измене, или же восседающим для суда в своем доме, когда в той же измене обвинялись зависимые государи; таким образом, предпочтение, которым римские граждане пользовались в сравнении с прочими подданными царя, заключалось, по-видимому, лишь в публичности судопроизводства. Впрочем, эта возрожденная роль верховного судьи, хотя Цезарь и пользовался ею с беспристрастием и осмотрительностью, могла по существу дела применяться фактически лишь в исключительных случаях.

Для обычного отправления правосудия в уголовных и гражданских делах в существенных чертах удержалось наряду с этим новым порядком и прежнее республиканское судопроизводство. Уголовные дела и теперь решались в различных комиссиях присяжных, которым были подсудны отдельные виды преступлений, гражданские же дела — частью судом по делам о наследствах или так называемым «судом центумвиров», частью же — специальными присяжными, руководство судопроизводством, как и до той поры, принадлежало в столице, главным образом, преторам, в провинциях же — наместникам. Точно так же и политические преступления остались и при монархии в ведении комиссии присяжных; новый устав, данный ей Цезарем, точно определил караемые законом действия и притом в духе либеральном, чуждом всякого преследования убеждений, и в качестве наказания установил не смертную казнь, а изгнание. В отношении выбора присяжных, которых сенаторская партия хотела набирать исключительно из членов сената, а строгие последователи Гракха — исключительно из всадничества, Цезарь, оставаясь верным принципу примирения партий, удержал точку зрения компромиссного закона Котты, впрочем, с изменением, подготовленным, вероятно, еще помпеевым законом 699 г.: по смыслу этого изменения происходившие из низших слоев населения эрарные трибуны были устранены и, таким образом, установлен для присяжных ценз не менее 400 тыс. сестерциев; сенаторы и всадники принимали теперь одинаковое участие в судах присяжных, так долго бывших яблоком раздора между ними. Отношения между царской и республиканской юрисдикцией имели вообще характер параллелизма, так что каждое дело могло быть рассмотрено как в суде монарха, так и в соответствующем республиканском трибунале, причем в случае коллизии последний естественно

должен был уступать; когда же тот или другой суд выносил приговор, дело этим самым решалось окончательно.

Отменить решение, постановленное в гражданском или уголовном деле правомочными присяжными, не мог и новый властитель, кроме тех случаев, где особые обстоятельства, как, например, подкуп или насилие, вели за собой, даже по республиканским законам, касацию приговора присяжных. Зато статья, гласившая, что потерпевший от всякого постановления, принятого каким-либо магистратом, вправе апеллировать к начальнику лица, издавшего декрет, получила, вероятно, уже в эту пору широкое применение, из которого выросла позднейшая апелляция к императору; по всей вероятности, на всех вершивших суд магистратов, по крайней мере на заместников всех провинций, стали смотреть как на подчиненных государя, вследствие чего на каждый их декрет ему могла быть подана апелляция.

Во всяком случае, эти нововведения, из которых важнейшее — расширение права апелляции, безусловно, не может быть отнесено к числу улучшений, отнюдь не исцелили те язвы, от которых страдало римское правосудие. Ни в одном рабовладельческом государстве не возможен нормальный уголовный суд, так как привлечение к ответственности раба находится если не юридически, то фактически в руках его господина. Понятно, что в большинстве случаев римский господин наказывал своего раба не за преступление, как таковое, а лишь постольку, поскольку это преступление делало раба неприятным или непригодным для него самого; преступники-рабы сортировались приблизительно так, как бодливые быки, и подобно тому как быки продаются мясникам, так рабов продавали в гладиаторские школы. Но даже уголовный суд против людей свободных, издавна бывший и большей частью остававшийся всегда процессом политическим, превратился среди смут последнего времени из серьезного юридического акта в борьбу одной кoterии против другой, борьбу, в которой оружием служили протекция, деньги и насилие. В этом виноваты были все причастные к этому люди — магистраты, присяжные, тяжущиеся стороны, наконец, даже зрители; но самые неизлечимые раны наносил закону образ действий адвокатов. По мере того как расцветало, словно паразитическое растение, римское адвокатское красноречие, стали разлагаться все положительные юридические понятия, и из римской уголовной практики попросту изгонялось столь трудно улавливаемое публикой различие между мнением и доказательством. Обвиняемый «из плохих», как говорит весьма опытный адвокат того времени, «может быть обвинен в любом преступлении, совершенном или не совершенном им, и наверно будет осужден». От этого времени сохранилось множество защитительных речей по уголовным делам; едва ли найдется между ними хоть одна, которая серьезно старалась бы опре-

делить спорное преступление и формулировать доказательства и возражения*. Едва ли стоит упоминать о том, что и гражданский процесс этого времени был во многих отношениях несовершенно, он также страдал от постоянного вмешательства во все партийной политики. Так, например, в процессе Публия Квинкция (671—673) выносились самые противоречивые решения, смотря по тому, властвовал ли в Риме Цинна или Сулла, и адвокаты, зачастую не бывшие даже юристами, также производили здесь, намеренно или ненамеренно, немалую путаницу. Но, по самому существу дела, партии могли вмешиваться здесь только в виде исключения, да и само адвокатское крючкотворство не в силах было так быстро и основательно запутывать в этом случае правовые понятия; ввиду этого и речи в гражданских процессах того времени, если и не являются по нашим, более строгим понятиям хорошими адвокатскими произведениями, то все-таки гораздо менее похожи на пасквили и заключают в себе гораздо более юридического содержания, чем современные им речи в уголовных процессах. Если Цезарь удержал наложенную Помпеем на адвокатское красноречие узду или даже подтянул ее, то от этого по крайней мере ничто не пострадало; напротив, многое улучшилось от более строгого выбора и надзора за магистратами и присяжными и от прекращения явного подкупа и застрашивания суда. Но если трудно потрясти в умах массы священное сознание справедливости и уважение к закону, то не менее трудно снова водворить их. Как тщательно ни устранял законодатель разнообразные злоупотребления, он не мог исцелить коренную язву, и сомнительно было, поможет ли в этом случае время, залечивающее все исцелимое.

Римское военное дело находилось в эту пору приблизительно в том же положении, в каком было карфагенское во времена Ганнибала. Правящие классы выставляли одних только офицеров, подданные, плебеи и провинциалы составляли войско. Полководец был почти независим в финансовом и военном отношении от центрального правительства, и в счастье и в несчастье он мог, в сущности, уповать только на себя и на средства подчиненной ему области. Гражданское и даже национальное чувство исчезло у войска, и только корпоративный дух оставался внутренним связующим звеном. Ар-

* Цицерон в своем руководстве по ораторскому искусству (2, 42, 178), имея в виду прежде всего уголовный процесс, говорит: «Гораздо чаще, чем доказательством, предписанием, юридическим правилом, процессуальным порядком или законом, приговор присяжных руководится духом антипатии или склонности, пристрастия или озлобления, горя или радости, надежды или страха, заблуждения или вообще страсти». На этом основываются дальнейшие наставления для начинающего адвоката.

мия перестала быть послушным орудием государства; в политическом отношении она не имела собственной воли, но зато могла усвоить себе волю своего руководителя; в военном отношении под руководством обычных жалких вождей она опустилась до уровня разнузданного, никуда не годного сброда, но при настоящем полководце достигала военного совершенства, недоступного гражданскому ополчению. Всего более пришло в упадок офицерское сословие. Высшие сословия, сенаторы и всадники все более и более отвыкали носить оружие. Если прежде все обыкновенно ревностно добивались мест штабных офицеров, то теперь всякий, кто имел звание всадника и захотел бы служить, мог рассчитывать на получение должности военного трибуна, а многие из подобных мест приходилось замещать лицами из низших сословий; вообще же те из знатных особ, которые еще служили, старались по крайней мере отслужить свой срок в Сицилии или в другой какой-нибудь провинции, где они могли быть спокойны, что им не придется иметь дело с неприятелем. На офицеров, отличавшихся самой обыкновенной храбростью и годностью к делу, смотрели, как на диво морское; например, современники Помпея относились к нему как к воину с каким-то религиозным почтением, во всех отношениях компрометировавшим их самих. И к дезертирству и к мятежу сигнал всегда давал сам штаб; несмотря на преступное потворство со стороны начальствующих лиц, предложения о смещении знатных офицеров были явлением обыденным. До нас дошла набросанная не без иронии самим Цезарем картина того, как в его собственной главной квартире раздавались проклятия и плач, когда нужно было идти на Ариовиста, и как в эту минуту изготавлялись и завещания и даже просьбы об увольнении в отпуск. В рядах солдат невозможно было уже открыть даже следов присутствия людей из более зажиточных сословий. По закону всеобщая воинская повинность еще существовала; но набор производился, когда до него доходило дело в помощь добровольной вербовке, самым беспорядочным способом; многие подлежавшие призыву освобождались, и, напротив, зачисленные удерживались на службе 30 лет и даже долее. Конница из римских граждан существовала еще в качестве своего рода конной гвардии нобилей, и ее надушенные всадники и редкостные, изящные кони играли роль только на столичных празднествах; так называемая гражданская пехота была отрядом ландскнехтов, кое-как набранным в низших слоях римских граждан; подданные выставляли исключительно конницу и легковооруженные войска и все чаще стали зачисляться и в пехоту. Места командиров манипул в легионах, а при тогдашнем способе ведения войны от них, в сущности, зависела боевая пригодность воинских частей, причем, согласно римскому военному уставу, солдат мог

дослужиться до этого поста, — стали теперь не только постоянно раздаваться в виде милости, но даже нередко продавались тем, кто больше давал. Уплата жалованья вследствие плохой финансовой политики правительства, продажности и плутней значительного большинства должностных лиц производилась нерегулярно и чрезвычайно неполно.

Неизбежным последствием этого было то, что сплошь и рядом армии грабили провинции, бунтовали против своих начальников и бежали от неприятеля; происходили случаи, когда значительные отряды, как, например, македонский корпус Пизона в 697 г., не потерпев на деле никакого поражения, были совершенно уничтожены только этой анархией. Способные же вожди, как, например, Помпей, Цезарь, Габиний, умели создавать из наличного материала крепкие, хорошие, иногда даже образцовые армии, но такая армия больше принадлежала своему полководцу, чем государству. Еще более полный упадок римского флота, который к тому же остался предметом антипатии для римлян и никогда не получил вполне национального характера, едва ли заслуживает особого упоминания. И здесь при олигархическом режиме все усилия употреблялись на разрушение всего того, что вообще можно было разрушить.

Преобразования Цезаря в римском военном устройстве ограничивались, в сущности, стремлением снова крепко и туго подтянуть узду дисциплины, ослабевшей при прежнем вялом и бездарном руководстве армией. По-видимому, ему казалось, что римское войско или не нуждается в радикальной реформе или же не доросло до нее; он примирился с характером армии, как это некогда сделал Ганнибал. Одна из статей его муниципального устава гласила, что тот, кто до достижения тридцатилетнего возраста желает выполнять какую-нибудь общественную должность или заседать в общинном совете, должен сначала прослужить три года в коннице (т. е. в качестве офицера) или шесть лет в пехоте; и эта статья, конечно, доказывает, что он желал привлечь в армию более зажиточные классы; но в то же время она столь же ясно показывает, что при росте в народе настроения, чуждого войне, он уже сам не видел более возможности безусловно поставить, как прежде, получение почетной должности в зависимость от выслуги в армии всего срока. Этим можно объяснить то обстоятельство, что Цезарь не делал попытки восстановить римскую гражданскую конницу. Набор был организован более правильно, срок службы был строго определен и сокращен. По-прежнему, впрочем, линейная пехота набиралась преимущественно из низших классов римского гражданства, конница же и легко вооруженная пехота — среди римских подданных; поразительно, что ничего не было сделано для реорганизации военного флота.

Одно нововведение, вызванное ненадежностью конницы из римских подданных и, без сомнения, казавшееся опасным даже его инициатору, состояло в том, что Цезарь впервые отступил от древнеримского правила никогда не сражаться с помощью наемников и включил в состав конницы наемных иноземцев, в особенности германцев. Другим нововведением было учреждение должности легионных адъютантов (*legati legionis*) с преторской властью. Вплоть до этого времени военные трибуны, частью назначавшиеся гражданами, частью соответствующим наместником, предводительствовали легионами, так что каждый легион возглавляли шесть человек, между которыми чередовалось командование. Лишь иногда, да и то временно и как бы в виде чрезвычайной меры, полководец назначал одно лицо для командования легионом. Напротив, в позднейшее время эти предводители легионов, или адъютанты, являются частью как постоянное и органическое учреждение, частью как лица, назначаемые уже не тем наместником, которому они подчинялись, а верховным командованием в Риме; обе эти меры принадлежат, очевидно, к числу распоряжений Цезаря, прямо примыкавших к закону Габиния. Причину введения в военную иерархию этой важной промежуточной ступени следует искать, с одной стороны, в необходимости более энергичной централизации власти, а с другой — в ошутительном недостатке в способных старших офицерах и, наконец, главнейшим образом в стремлении найти противовес наместнику в лице одного или нескольких начальников, назначенных самим императором.

Существеннейшее изменение в военном устройстве состояло в появлении постоянного верховного военачальника в лице императора, который вместо прежней невоенной и во всех отношениях неспособной правительственной коллегии соединял в своих руках все военное управление и превращал руководство армией, большей частью чисто номинальное, в действительное и энергичное верховное командование. Нам недостаточно известно, в какие отношения стала эта новая высшая власть к прежнему провинциальному начальству, бывшему до той поры всемогущим в своих округах. Основой этих отношений служила, вероятно, в главных чертах аналогия с отношениями претора к консулу или консула к диктатору, так что наместник сохранил, правда, высшую военную власть в своем округе, но вместе с тем император имел во всякое время право отнять эту власть у него и принять ее на себя или передать доверенным лицам, и в то время как власть наместника ограничивалась пределами его округа, власть императора, подобно царской и консульской в древнейшую пору, распространялась на все государство. Далее, весьма вероятно, что уже в это время назначение офицеров, как военных

трибунов, так и центурионов, поскольку оно до той поры зависело от наместников*, перешло непосредственно к императору вместе с назначением новых легионных адъютантов; быть может, и проведение набора, увольнения, главнейшие правонарушения были с этого же времени отданы в ведение главнокомандующего. При этом ограничении функций наместника и при систематическом контроле со стороны самого императора не нужно было опасаться впредь полного разложения армий или превращения их в личную свиту отдельных полководцев.

Однако, несмотря на то, что сами обстоятельства толкали Цезаря к военной монархии, несмотря на то, что верховное командование было вполне определенно взято им исключительно в свои руки, Цезарь все же отнюдь не желал основать свое могущество с помощью войска и опираясь на него. Он считал, правда, постоянную армию необходимой для своего государства, но только потому, что по своему географическому положению оно нуждалось в широко проведенном регулировании границ и в постоянных пограничных гарнизонах. Частью в более раннее время, частью во время последней гражданской войны он трудился над замирением Испании и соорудил укрепления для обороны границ в Африке, вдоль громадной пустыни, и на северо-западе государства, на линии Рейна. Подобные же проекты составлял он и для областей по Евфрату и Дунаю. Прежде всего думал он двинуться против парфян и отомстить за поражение при Каррах; для этой войны он определил срок в три года и твердо решил раз навсегда покончить с этими опасными врагами и рассчитаться с ними осторожно, но основательно. Точно так же он составил план нападения на могущественного гетского царя Биребисту, расширявшего свои владения по обеим сторонам Дуная, и предполагал защитить Италию и на северо-востоке такими же укрепленными пограничными пунктами, какие он создал в стране кельтов. Зато ничто не указывает нам на желание Цезаря победоносно продвигаться, подобно Александру, в бесконечно далекие страны; правда, есть сведения, что он имел в виду двинуться из Парфии к Каспийскому, а оттуда к Черному морю, а затем по северному берегу Черного моря до Дуная, присоединить к Римской державе всю Скифию и Германию до Северного океана, по тогдашним представлениям отстоявшего не слишком далеко от Средиземного моря, и затем возвратиться через Галлию; но никакой достоверный авторитет не подтверждает существования этих баснословных проектов. Для государства, подобного Риму при Цезаре, заключающего в себе массу варварских элементов, с которыми трудно было

* Цезарь, оставаясь демократом и в этом отношении, не коснулся права граждан на избрание части военных трибунов.

совладать и на ассимилирование которых оно должно было еще употребить несколько столетий, такие завоевания, даже если считать их выполнимыми в военном отношении, были бы не чем иным, как только гораздо более блестящими, но и гораздо более печальными ошибками, чем индийский поход Александра. Судя по образу действий Цезаря в Британии и Германии, равно как и по действиям тех, кому пришлось быть наследниками его политических замыслов, в высшей степени вероятно, что Цезарь, подобно Сципиону Эмилиану, просил у богов не увеличения своего государства, но его охранения, и что его завоевательные планы ограничивались исправлением границ (правда, задуманным в свойственном ему грандиозном масштабе), которое должно было обезопасить линию Евфрата и вместо совершенно неопределенной и в военном отношении ничего не значащей северо-восточной границы империи точно установить границу по Дунаю, сделав ее пригодной к обороне.

Но если остается только вероятным, что Цезаря невозможно причислить к завоевателям мира в том смысле, как Александра и Наполеона, то вполне верно, что он не думал создавать опору для своей новой монархии прежде всего в армии и вообще поставить военную власть выше гражданской, а напротив, он хотел ввести ее в сферу гражданского государства и по возможности подчинить ее последнему. Неоценимая опора для создания военного государства — старые, прославленные галльские легионы были именно в силу их корпоративного духа, несовместимого с гражданской общественностью, почетным образом упразднены, и их славные имена продолжали жить лишь во вновь основанных городских общинах. Отпущенные Цезарем с наградой в виде земельных участков, солдаты не были, подобно ветеранам Суллы, поселены в собственных колониях с сохранением военной организации, но, если они жили в Италии, получали участки по возможности в одиночку, рассеянные по всему полуострову. Конечно, нельзя было избежать того, чтобы на оставшихся незанятыми частях кампанской территории все-таки скопились массы прежних цезаревых воинов. Трудную задачу оставления солдат постоянной армии в сфере гражданской жизни Цезарь старался осуществить, частью удержав прежний устав, устанавливавший лишь известное число годов службы, но не постоянную, не прерываемую отпусками службу, частью введя упомянутое уже сокращение срока службы, которое повлекло за собой более быструю смену состава солдат, частью же организовав правильное поселение отслуживших солдат в качестве земледельцев-колонистов и в особенности приняв за правило держать армию подальше от Италии и вообще от центров гражданской и политической жизни, ставя солдата там, где он, по мнению великого монарха, единственно был на

своём месте, — на пограничных пунктах, для отражения внешних врагов. Важнейшего признака военного государства — увеличения и привилегированного положения гвардейских войск — мы также не находим у Цезаря. Хотя в действующей армии давно уже существовал особый отряд телохранителей полководца, учреждение это отступает совершенно на задний план в цезаревой военной организации; его преторианская когорта состояла, по-видимому, преимущественно из офицеров-ординарцев или конвоя из людей невоенных, никогда не являлась в виде избранного отряда и не была поэтому предметом зависти для строевых войск. Если Цезарь, состоя еще в звании полководца, не любил окружать себя телохранителями, то еще менее терпел он вокруг себя гвардию, когда сделался монархом. Постоянно подстерегаемый убийцами и хорошо зная это, он, тем не менее, отклонил предложение сената учредить гвардию из нобилей, распустил, лишь только волнение несколько улеглось, испанский эскорт, которым пользовался первое время в столице, и довольствовался сопровождением ликторов, согласно правилам, установленным для высших римских сановников. Как ни далеко пришлось Цезарю в борьбе с реальной действительностью отойти от главной идеи его молодости и его партии, — от мысли осуществить в Риме правление, подобное периклову, не с помощью меча, а опираясь на народное доверие, — он все же еще держался за свою главную мысль — никогда не основывать военной монархии, и притом с энергией, едва ли не беспримерной в истории. Правда, и это было недостижимым идеалом, единственной иллюзией этого сильного ума; страстное желание было здесь могущественнее чистого рассудка. Власть, подобная той, о которой мечтал Цезарь, не только отличалась в силу естественной необходимости чисто личным характером и должна была погибнуть со смертью ее носителя, как погибли родственные ей по духу творения Перикла и Кромвеля после смерти их творцов, но при глубоком разложении нации нельзя было даже надеяться, чтобы восьмому римскому царю удалось, хотя бы лишь на время его жизни, подобно его семи предшественникам, управлять своими согражданами только на основании закона и права. Так же невероятно было и то, чтобы он мог снова ввести в строй гражданской жизни в качестве второстепенного фактора постоянное войско, которое познало свою силу в последнюю гражданскую войну и утратило вместе с тем всякое чувство страха. Тому, кто хладнокровно взвешивал тогда, до какой степени боязнь закона исчезла как в низших, так и в высших слоях общества, надежда эта должна была казаться скорее мечтой, и если после преобразования войска Марием солдат вообще перестал быть гражданином, то мятеж в Кампании и сражение при Тапсе показали с достаточной ясностью, какого

рода поддержку окажет теперь армия закону. Даже сам великий демократ мог лишь с трудом и далеко не вполне обуздать те силы, которые он сам выпустил на волю; тысячи мечей все еще обнажались по одному его мановению, но они уже не вкладывались обратно в ножны по его знаку. Рок сильнее гения! Цезарь хотел стать реставратором гражданского строя, а сделался вместо этого основателем ненавистой ему военной монархии, он ниспровергнул владычество аристократов и банкиров в государстве лишь для того, чтобы на его месте водворилось господство солдатчины и привилегированное меньшинство по-прежнему угнетало и эксплуатировало нацию. Тем не менее подобные творческие ошибки являются привилегией лишь высших натур. Гениальные порывы великих людей к осуществлению идеала составляют лучшее достояние народов, если даже и не достигают цели. Заслуга Цезаря в том, что римская военная монархия превратилась в полицейское государство лишь много веков спустя и что римские императоры, как ни мало они вообще походили на великого основателя их власти, направляли солдат не против граждан, а против неприятеля, и слишком высоко ставили и народ и войско, для того чтобы сделать армию полицейским стражем народа.

Приведение в порядок финансов представляло, сравнительно, лишь незначительные затруднения, так как огромные размеры империи и исключение кредитной системы обеспечивали солидные предпосылки для этого. Если государство находилось до той поры в постоянных денежных затруднениях, то всего менее виновата была в этом недостаточность государственных доходов; напротив, именно они-то необычайно увеличились за последние годы. К прежнему валовому доходу, определяемому в 200 миллионов сестерциев, прибавилось благодаря учреждению понто-вифинской и сирийской провинций 85 миллионов сестерциев. Это приращение дохода, вместе с другими новооткрытыми или возросшими доходными статьями, в особенности с постоянно увеличивавшимися поступлениями пошлин с предметов роскоши, щедро вознаградило за потерю арендных платежей с Кампании. Кроме того, благодаря Лукуллу, Метеллу, Помпею, Катону и другим в государственную кассу стекались в чрезвычайном порядке громадные суммы. Причиной финансовых затруднений были отчасти увеличение постоянных и экстраординарных расходов, а отчасти неурядица в делах. Раздача хлеба столичному населению поглощала необъятные суммы; вследствие тех размеров, до которых в 691 г. довел эту раздачу Катон, ежегодный расход по этому предмету доходил до 30 миллионов сестерциев, а после отмены в 696 г. взимавшейся до той поры платы он поглощал почти пятую часть всех государственных доходов. Военный бюджет также уве-

личился, когда к гарнизонам, стоявшим в Испании, Македонии и других провинциях, присоединились еще гарнизоны в Киликии, Сирии и Галлии. Из чрезвычайных расходов следует прежде всего упомянуть об издержках по сооружению флота, на который, например лет пять спустя после великого набега 687 г., было израсходовано единовременно 34 миллиона сестерциев. Здесь следует упомянуть и о весьма крупных суммах, поглощенных походами и приготовлениями к войне; так, например, для снаряжения македонского войска выплачено было Пизону единовременно 18 миллионов сестерциев, а Помпею на содержание и жалованье испанской армии — целых 24 миллиона сестерциев ежегодно. Подобные же суммы выдавались и Цезарю для галльских легионов. Как ни значительны были требования, с которыми обращались в римскую казну, она все-таки могла бы удовлетворить их, если бы в ее некогда столь образцовое управление не вкралась общая всему в то время расхлябанность и нечестность; платежи в Эрарий часто приостанавливались лишь потому, что забывали напоминать о неуплаченных еще взносах. Приставленные к этому делу магистраты, двое квесторов, люди молодые, ежегодно сменявшиеся, держались в лучшем случае пассивно; в среде писцов и прочего канцелярского персонала, в прежнее время по справедливости высоко чтившегося за честность, распространились теперь, в особенности с тех пор, как должности эти стали продажными, самые серьезные злоупотребления.

С той поры как нити римского финансового управления сосредоточились уже не в сенате, как было прежде, а в кабинете Цезаря, новая жизнь, более строгий порядок и согласованность проникли во все колеса и винтики этого великого механизма. Два установления, возникшие еще во времена Гая Гракха и подобно язве разъедавшие всю финансовую систему Рима, именно раздача хлеба и откуп прямых налогов, были отчасти отменены, отчасти преобразованы. Цезарь не хотел угрожать нобилитету посредством усиления банковской аристократии и столичного плебса, как это делал его предшественник, а хотел только устранить его и избавить республику от всех паразитов как высшего, так и низшего ранга; поэтому в этих двух столь важных вопросах он шел по стопам не Гая Гракха, а олигарха Суллы.

Система откупов удержалась в отношении косвенных налогов, где она существовала искони и где без нее трудно было обойтись, так как основное правило римского финансового управления, которого твердо придерживался и Цезарь, требовало безусловного сохранения всем понятного и простого способа взимания податей. Прямые же налоги превратились с той поры сплошь либо в натуральную повинность, уплачиваемую прямо государству (как, напри-

мер, доставлялись хлеб и масло из Африки и Сардинии), либо же были превращены, как повинности Малой Азии, в определенный денежный взнос, сбор которого предоставлялся самим податным округам. Раздача хлеба в столице до сих пор считалась выгодной привилегией господствующей городской общины, которую подданные обязаны были кормить именно потому, что она господствовала. Этот безнравственный принцип был устранен Цезарем; но нельзя было оставить без внимания того обстоятельства, что масса совершенно неимущих граждан спасалась от голодной смерти только благодаря этой раздаче. Поэтому она и была сохранена Цезарем. Если на основании возобновленного Катонем Семпрониева закона всякий проживавший постоянно в Риме римский гражданин имел законное право на безвозмездное получение хлеба, то список получателей, возросший под конец до 320 тыс. имен, был сокращен удалением из него всех людей зажиточных или обеспеченных иным способом до 150 тыс., и цифра эта назначена раз навсегда в качестве максимальной цифры получающих хлебный паек, причем была установлена ежегодная ревизия списка для пополнения беднейшими из соискателей тех мест, которые сделались вакантными вследствие исключения или смерти какого-нибудь лица. Когда, таким образом, политическая привилегия превратилась в попечение о бедных, впервые получил практическое признание принцип, замечательный как в нравственном, так и в историческом отношении. Медленно, переходя со ступени на ступень, гражданское общество вырабатывает в себе сознание солидарности интересов; в древнейшие времена государство охраняло, правда, своих сочленов от врагов страны и от руки убийц, но оно не было обязано ограждать совершенно беспомощного согражданина посредством выдачи ему необходимых средств существования от злейшего врага — нужды. Аттическая цивилизация в законодательстве Солона и его преемников развила впервые ту точку зрения, что государство обязано заботиться о своих неспособных к труду членах и о неимущих гражданах; но то, что в ограниченной сфере аттического быта оставалось делом общины, лишь у Цезаря сложилось в органическое государственное установление; то устройство, которое являлось бременем и позором для государства, стало первым из тех, ныне столь же многочисленных, как и благотворительных учреждений, которыми неистощимое человеческое сострадание борется с бесконечной человеческой нуждой.

Кроме этих основных реформ, проведен был общий пересмотр бюджета доходов и расходов. Регулярные доходы были везде определены и приведены в порядок. Немалое число общин, даже целые области были освобождены от налогов — либо косвенным образом посредством дарования им прав римского или латинского граждан-

ства, либо непосредственно в силу особой привилегии; так, эту льготу получили первым из этих способов все сицилийские общины*, вторым же — город Илион. Еще больше было число тех городов, для которых размер налогов был понижен; так, общинам Дальней Испании, уже после наместничества Цезаря и по его предложению, сенат даровал уменьшение налогов; а в провинции Азии, находившейся под исключительно тяжелым налоговым прессом, не только было облегчено теперь взимание прямых налогов, но и совсем упразднена целая треть их. Вновь поступающие доходы, например с покоренных иллирийских общин и в особенности галльских (причем последние в совокупности вносили ежегодно 40 миллионов сестерциев), были вообще рассчитаны по весьма низкой раскладке. Правда, зато некоторым отдельным городам, как, например, Малому Лептису в Африке, Сульки в Сардинии, и многим испанским общинам в наказание за их образ действий во время последней войны налоги были повышены. Весьма доходные италийские портовые пошлины, отмененные в последний период анархии, были тем легче восстановлены, что этот налог пал, главным образом, на предметы роскоши, привозимые с Востока. К числу этих новых или же восстановленных доходных статей присоединились и суммы, перешедшие в руки победителя чрезвычайными путями, главным образом, вследствие гражданской войны: добыча, собранная в Галлии, наличность столичной казны, сокровища, взятые из италийских и испанских храмов, суммы, собранные с зависимых общин и государей в виде принудительного займа или такого же подарка или же пени, а также штрафные суммы, наложенные на отдельных богатых римлян по приговору суда или в силу простого предъявления приказа об уплате, в особенности же деньги, вырученные от продажи имущества побежденных противников. Как обильны были эти источники доходов, видно из того, что одна пеня с африканских крупных торговцев, заседавших в неприятельском сенате, составила 100 миллионов сестерциев, а сумма, внесенная покупателями помпеева имущества, дошла до 70 миллионов сестерциев. Эти меры были необходимы, так как могущество побежденного нобилитета в значительной степени зависело от его громадного богатства и могло быть, действительно, сломлено только тогда, когда на него возложено было бы покрытие военных расходов. Несимпатич-

* Отмену десятины в Сицилии отмечает Варрон в сочинении, опубликованном после смерти Цицерона (*De r. r.*, 2 *praef.*), называя в числе хлебобородных областей, из которых Рим получает продовольствие, лишь Африку и Сардинию, но уже не Сицилию. Латинское право, полученное Сицилией, вероятно, заключало в себе и освобождение от налогов (ср. *Mommsen, Römisches Staatsrecht*, Bd. 3, S. 684).

ный характер конфискации был, однако, в известной степени смягчен тем, что Цезарь предоставил всю выручку с них в пользу государства, и, не следуя примеру Суллы, смотревшего сквозь пальцы на всякие хищения своих любимцев, строго следил за уплатой покупных сумм даже вернейшими из своих приверженцев, как, например, Марком Антонием.

В расходах было достигнуто сокращение, и прежде всего именно вследствие значительного уменьшения размеров даровой раздачи хлеба. Раздача эта, сохраненная для столичных бедняков, равно как и сходная с ней введенная Цезарем мера — снабжение столичных бань маслом — была по крайней мере отнесена за счет натуральных повинностей Сардинии и особенно Африки и, таким образом, целиком или же в значительной степени перестала обременять казну. С другой стороны, возросли регулярные расходы на военное ведомство — частью вследствие увеличения постоянной армии, частью вследствие повышения жалованья легионерам с 480 сестерциев в год до 900. Обе эти меры были действительно необходимы. Серьезной охраны границ вовсе не существовало, и предпосылкой ее было значительное увеличение армии. Удвоение жалованья Цезарь использовал, конечно, для того, чтобы крепче привязать к себе солдат, но он принял эту меру, ставшую прочным нововведением, не из этих мотивов. Препрежнее жалованье в размере 1 1/2 сестерция в день было установлено в незапамятное время, когда деньги имели совсем иную ценность, чем в эпоху Цезаря; оно могло быть удержано до той поры, когда простой поденщик в столице мог зарабатывать в среднем 3 сестерция в день, только по той причине, что в те времена солдат вступал в войско не из-за жалованья, но, главным образом, из-за недозволенных в большинстве случаев побочных доходов. Первым условием серьезной реформы военного дела и устранения незаконных солдатских заработков, за которые расплачивались прежде всего жители провинций, было соответствующее условиям времени регулярное вознаграждение, так что назначение 2 1/2 сестерция должно считаться вполне справедливым, а значительное бремя, павшее вследствие этого на казну, — вполне необходимым и благодетельным по своим последствиям. Трудно составить себе понятие о размерах тех экстраординарных расходов, которые Цезарь принял на себя поневоле или добровольно. Сами войны поглощали огромные суммы, и, быть может, не меньшие требовались и для того, чтобы выполнить все обещания, которые Цезарь был вынужден дать во время гражданской войны. Весьма плохим примером, к сожалению, не оставшимся без влияния на будущее время, служило то обстоятельство, что каждый рядовой солдат получил за свое участие в гражданской войне 20 тыс. сестерциев, каждому же рядовому столичному гражданину за его неучастие в ней прибавля-

лось к получаемому им количеству хлеба еще 300 сестерциев; но Цезарь, дав слово под давлением обстоятельств, был слишком царственно благороден, для того чтобы отступить от него. Помимо этого, он удовлетворял еще бесчисленные требования к его собственной щедрости, вытекающей из почетного его положения, и тратил громадные суммы, в особенности на строительное дело, которое во время финансового кризиса последнего периода республики находилось в страшном загоне. Расходы на постройки, выполненные им в столице как во время галльских походов, так и впоследствии, исчисляются в 160 миллионов сестерциев. Общий результат финансового управления Цезаря сказался в том, что благодаря разумным и энергичным реформам и правильному сочетанию бережливости со щедростью он вполне и без урезок удовлетворял все справедливые требования и, несмотря на это, уже в марте 710 г. в государственной казне находилось наличными деньгами 700 миллионов сестерциев, а в его собственной кассе 100 миллионов. Сумма эта вдесятеро превышает кассовую наличность республики в самую цветущую эпоху.

Но как ни трудно было распустить старые партии и снабдить новое государство соответствующей конституцией, боеспособной армией и благоустроенными финансами, это все же далеко не было труднейшей частью дела Цезаря. Если, действительно, должно было совершиться возрождение италийской нации, то для этого требовалась реорганизация, которая обновила бы все части великого государства — Рим, Италию и провинции. Попытаемся же изобразить здесь как старые порядки, так и начало новой, лучшей поры.

Здоровое поколение латинского происхождения давно уже окончательно исчезло из Рима. В силу обстоятельств столица раньше второстепенных городов утрачивает свой муниципальный и даже национальный облик. Здесь высшие классы быстро обособляются от общего строя городской жизни, и отечеством их становится не отдельный город, а все государство; сюда неизбежно стекаются переселенцы из других стран, вечно сменяющий друг друга контингент людей, путешествующих по делам или для удовольствия, вся масса люда праздного, ленивого, преступного, экономически и нравственно обанкротившегося и именно по этой причине космополитического. Все это в исключительной степени нашло приложение к Риму. Зажиточный римлянин часто смотрел на свой городской дом, как на место остановок в дни приезда. С той поры, когда городской муниципалитет превратился в государственное учреждение, городское вече — в собрание граждан государства и внутри столицы перестали допускаться мелкие автономные округа или какие-либо другие союзы, в Риме прекратилась всякая подлинная коммунальная жизнь. Со всех концов обширной державы стекались в Рим для спекуляций, кутежей, интриг,

чтобы стать преступником и там же укрыться от преследований закона. Недуги эти до известной степени неизбежно вытекали из всего столичного строя жизни, но к этому присоединились и другие, более случайные и, быть может, еще более серьезные беды.

Ни один большой город не был, пожалуй, в такой степени беспомощен в продовольственном отношении, как Рим; импорт, с одной стороны, и домашнее производство руками рабов — с другой, делали здесь с самого начала невозможной какую-либо свободную промышленность. Вредные последствия коренного зла всего древнего государственного строя, рабовладельческой системы, сказывались в столице резче, чем где-либо в другом месте. Нигде не скоплялись такие массы рабов, как в столичных дворцах знатных семей или богатых выскочек. Нигде народности трех частей света — сирийцы, фригийцы и другие полуэллины не смешивались в такой степени с ливийцами, маврами, гетами, иберами и все более многочисленными кельтами и германцами, как в среде столичных рабов. Деморализация, неразлучная с отсутствием свободы, и ужасающее противоречие формального и нравственного закона резче проявлялись в принадлежавшем знатым людям городском рабе, наполовину или вполне образованном и как бы тоже «знатном», чем в рабе-земледельце, возделывавшем поле в цепях, подобно скованному волу. Гораздо хуже этой массы рабов были люди, юридически или только фактически отпущенные на волю, смесь нищенской черни и страшно богатых выскочек, уже не рабы, но еще не полноправные граждане, люди, экономически и юридически зависевшие от своих господ и вместе с тем имевшие все притязания свободных граждан; эти-то вольноотпущенники прежде всего стекались в столицу, где им предоставлялся самый разнообразный заработок и где мелкая торговля и ремесла находились почти целиком в их руках. Их влияние на выборы подтверждается совершенно бесспорно, а что они всегда были впереди во время уличных волнений, показывает уже особый сигнал, которым демагоги как бы извещали о начале смут, а именно — закрытие лавок и других торговых помещений.

Все это осложнялось тем, что правительство не только ничего не делало, чтобы противодействовать этому развращению городского населения, но в интересах своей эгоистической политики даже оказывало ему всякое поощрение. Разумное предписание закона, воспрещавшее пребывание в столице людям, осужденным за уголовные преступления, не приводилось в исполнение бездеятельной полицией. Необходимый полицейский надзор за объединениями бродяг сперва находился в пренебрежении, а впоследствии был даже объявлен вредным, как противозаконное ограничение народной свободы. Народным празднествам была дана возможность разрастись до таких размеров,

что только семь узаконенных торжеств: римское, плебейское, в честь «матери богов» Цереры, Аполлона, Флоры и Победы, длились все вместе 62 дня; к ним присоединялись еще бои гладиаторов и бесчисленные другие экстраординарные увеселения. К необходимым заботам о понижении цены на хлеб при наличии в столице пролетариата, вообще перебивавшегося кое-как, относились с самым бессовестным легкомыслием, и колебания цен на хлеб в зерне были баснословны и не поддавались учету*. Наконец, система раздачи хлеба заставляла всю массу неимущего и не хотевшего работать пролетариата официально избирать своим местом жительства столицу.

Это значило посеять зло, и жатва дала соответствующие плоды. Здесь-то имела свои корни система клубов и банд в политической жизни, а в религиозной — культ Изиды и тому подобное благочестивое надувательство. Народ постоянно жил под угрозой дороговизны и нередко в полном смысле слова голодал. Нигде жизнь не была менее обеспечена, чем в столице; убийство, с профессиональной ловкостью совершенное рукой бандита, было единственным, вполне свойственным столице ремеслом. Подготовкой к убийству служило то, что жертву предварительно заманивали в Рим; никто не отваживался появляться в окрестностях столицы без вооруженной свиты. И внешний вид столицы соответствовал этому внутреннему разложению и казался живой сатирой на аристократический образ правления. Для регулирования течения Тибра не делалось ничего; хорошо и то, что единственный мост, которым все еще довольствовались, был выстроен из камня, по крайней мере до находившегося на Тибре острова. Для планировки семихолмного города было сделано так же мало, разве где выровнены были кучи мусора. Улицы, узкие и извилистые, шли то вверх, то вниз и содержались в жалком виде; тротуары были узки и плохо вымощены. Жилые дома строились из кирпича, очень небрежно и достигали ужасающей высоты; по большей части они сооружались спекулянтами-архитекторами на счет мелких владельцев, причем последние становились нищими, а первые страшно богатели. Подобно одиноким островам, среди этого моря жалких зданий возвышались роскошные дворцы богачей, которые настолько же отнимали простор у небольших домов, как владельцы их отнимали у мелкого люда его гражданские права в государстве; рядом с мраморными колоннами и греческими статуями этих дворцов печальное зрелище представляли разрушавшиеся храмы с изображениями богов, еще

* В житнице Италии, Сицилии, римский модий продавался в течение немногих лет и за 2 и за 20 сестерциев; из этого можно заключить, каковы были колебания цен в Риме, жившем исключительно заморским хлебом и бывшем гнездом спекулянтов.

большей частью вырезанными из дерева. Об уличной, береговой, пожарной и строительной полиции почти и речи не было; если правительство занималось когда-либо происходившими ежегодно наводнениями, пожарами, обвалами домов, то лишь для того, чтобы потребовать от государственных богословов отчета или соображений по поводу настоящего смысла подобных знамений и чудес. Постараемся представить себе Лондон с невольническим населением Нового Орлеана, константинопольской полицией, тем отсутствием всякого промысла, которым отличается нынешний Рим, и политикой по образцу парижской в 1848 г., и мы получим приблизительное понятие о том республиканском величии, гибель которого оплакивают Цицерон и его товарищи в своих негодующих письмах.

Цезарь не жаловался, но старался помочь горю, насколько это было возможно. Рим оставался, конечно, чем был и прежде — мировым городом. Попытка снова придать ему специфически италийский характер не только оказалась бы невыполнимой, но и не соответствовала бы видам Цезаря. Подобно тому как Александр нашел для своего греко-восточного царства подходящую столицу в эллино-иудейско-египетской и, главное, космополитической Александрии, так и столица новой римско-эллинской мировой империи, находившаяся посредине между Востоком и Западом, должна была быть не италийской общиной, а лишенной всякой национальности столицей многих народов. Поэтому-то Цезарь и терпел, что рядом с отцом-Юпитером поклонялись только что обосновавшимся в Риме египетским богам, и даже позволял иудеям свободное отправление в самой столице их странного, чужеземного культа. Как ни отвратительно пестра была смесь паразитического, в особенности эллино-восточного, населения в Риме, Цезарь не препятствовал его распространению. Замечательно, что во время устраиваемых им столичных народных празднеств он допускал исполнение пьес не только на латинском и греческом, но и на других языках — вероятно, финикийском, иудейском, сирийском, испанском.

Но если Цезарь вполне сознательно примирился с основным характером столицы в том виде, в каком он ее застал, он, тем не менее, энергично содействовал улучшению господствовавших в Риме прискорбных и позорных порядков. К сожалению, уничтожить корень зла было всего труднее. Устранить рабство с неразлучными с ним бедствиями для всей страны Цезарь не мог; остается нерешенным, сделал ли бы он со временем хоть попытку ограничить количество рабов в столице, как он это сделал в другой области. Так же мало мог Цезарь создать в столице, точно волшебством, свободную промышленность; однако громадные сооружения, предпринятые им, устранили до известной степени царившую там голодовку и открыли про-

летариату источник небольшого, но честного заработка. Зато Цезарь энергично заботился об уменьшении массы свободного пролетариата. Постоянный наплыв пролетариев, привлекаемых в Рим раздачей хлеба, если не совершенно прекратился*, то значительно уменьшился вследствие превращения этой раздачи во вспомоществование бедным, рассчитанное на строго определенное число лиц. Что же касается наличного пролетариата; то, с одной стороны, его ряды очищались судами, которым было предписано относиться к бродягам с беспощадной строгостью, с другой же — широкой заморской колонизацией; из числа 80 тыс. колонистов, которых Цезарь переправил за море в немногие годы своего правления, значительная часть была взята из низших слоев столичного населения; так, например, большинство коринфских колонистов составляли вольноотпущенники. Если в противоположность прежнему порядку, воспрещавшему вольноотпущенникам доступ к каким-либо городским почетным должностям, Цезарь открыл перед ними в своих колониях двери городского совета, то это делалось, без сомнения, для того, чтобы склонить к переселению тех из них, которые пользовались лучшей репутацией. Но это переселение было, по всей видимости, не только переходящим мероприятием. Убеденный, как и все другие рассудительные люди, что единственным действительным средством против бедствий пролетариата является правильно организованная система колонизации, и имея возможность осуществить ее благодаря характеру Римского государства в почти неограниченном размере, Цезарь, вероятно, имел в виду проводить эту линию и впредь, открывая все возобновляющемуся злу постоянный исток. Затем были приняты меры для того, чтобы ограничить известным пределом опасные колебания цен важнейших предметов питания на столичных рынках. Устроенные по-новому и управляемые в либеральном духе государственные финансы давали средства для достижения этого, и два вновь назначенных должностных лица, «хлебные эдилы», приняли на себя специальный надзор за поставщиками и рынками столицы.

Деятельность клубов была ограничена гораздо эффективнее, чем это могло быть достигнуто какими-либо запретительными законами, изменением государственного строя, так как с падением республики, республиканских выборов и судов прекратились сами собой подкупы

* Небезынтересно отметить, что позднейший, но весьма серьезный писатель, автор писем, обращенных к Цезарю от имени Саллюстия, советовал ему передать раздачу хлеба в ведение отдельных муниципалитетов. Мнение это имеет глубокий смысл; подобная же мысль была положена в основу широкой системы охраны сирот муниципалитетами во времена Траяна.

и насилия над избирательными и судебными коллегиями и вообще все политические сатурналии черни. Кроме того, ассоциации, возникшие на основании закона Клодия, были закрыты, и все дела о подобных обществах поставлены были под высший надзор правительственных агентов. За исключением старинных цехов и обществ, религиозных объединений иудеев и других особо оговоренных категорий, для которых, по-видимому, достаточно было одной лишь заявки сенату, открытие постоянного общества с периодическими собраниями и постоянными комитетами было поставлено в зависимость от получения разрешения от сената, выдававшего его, лишь запросив сперва мнение монарха.

Наряду с этим стали более строго применяться уголовные законы и была организована энергичная полиция. Наказания, в особенности за насильственные деяния, были усилены, и неразумное определение республиканского закона, что преданному суду преступнику предоставляется добровольным удалением в изгнание снять с себя часть заслуженного им наказания, было с полным основанием отменено. Подробная инструкция, составленная Цезарем для столичной полиции, в значительной части дошла до нас, и желающий может убедиться, что император не пренебрег и постановлениями о том, чтобы домовладельцы содержали в исправности улицы и мостили тротуары во всю ширину обтесанным камнем, и издал распоряжение о движении паланкинов и экипажей, которым состояние улиц позволяло свободно передвигаться лишь в вечерние и ночные часы. Главный надзор за местной полицией остался и впредь, главным образом, в руках четырех эдилов, каждый из которых получил теперь (если это не было сделано уже раньше) в свое ведение точно ограниченный полицейский район столицы.

Наконец, строительное дело в столице и связанные с ним заботы об общепользных учреждениях вообще получили благодаря Цезарю, соединявшему в себе со свойственной римлянам страстью строиться и способности организатора, внезапное развитие, не только положившее конец бесхозяйственности, господствовавшей здесь в последнюю анархическую пору, но также затмившее все, что совершила римская аристократия в лучшие свои дни, так как гений Цезаря оставил далеко позади добросовестные усилия Марциев и Эмилиев. Цезарь превзошел своих предшественников не только расширением строительной деятельности самой по себе и размером затраченных на нее сумм, но истинно политическим чутьем и пониманием общей пользы, отличающими все, что предпринял он для общественных учреждений Рима, от всех подобных начинаний других лиц. Он не возводил, подобно своим преемникам, храмов и других роскошных зданий, зато римский форум, на котором все еще проис-

ходили собрания граждан, заседали суд и биржа, имели место обычные деловые сношения и шаталась масса праздного люда, был освобожден по крайней мере от сборищ и судов. Для первой цели Цезарь устроил новую площадь — Септа Юлия (Saeptra Julia) на Марсовом поле; для последней отвел новое место — форум Юлия — между Капитолием и Палатином. Подобным же духом отличается и другое его распоряжение, в силу которого столичным баням доставлялось ежегодно, главным образом, из Африки, 3 миллиона фунтов масла, вследствие чего становилось возможным безвозмездно давать моющимся то масло, которое было им нужно для натирания тела, что при древней диететике, основанной преимущественно на купанье и натирании тела мазями, являлось в высшей степени целесообразной полицейской мерой гигиены и санитарии. Эти крупные мероприятия были, однако, только началом полнейшей перестройки города Рима. Составлены были уже проекты постройки нового здания для сената, нового роскошного рынка, театра, который должен был соперничать с Помпеевым, публичной латинской и греческой библиотеки по образцу недавно погибшей в Александрии (первое учреждение этого рода в Риме) и, наконец, храма Марса, который богатством и великолепием превзошел бы все существовавшее до той поры. Еще гениальнее был замысел проложить канал через Помптинские болота и отвести их воды в Таррацину, далее, изменить все нижнее течение Тибра и, начиная от нынешнего Ponte Molle, дать ему, вместо его прежнего направления — от Ватиканского и Марсова поля к Остии, новое направление — вокруг Ватиканского поля и Яникульского холма в Остию, где неудобный рейд должен был уступить место просторной искусственной гавани. С осуществлением этого гигантского проекта, с одной стороны, изгонялся опаснейший враг столицы — испорченный воздух соседней местности, а с другой — сразу увеличилась крайне ограниченная возможность предпринимать новые сооружения в столице; перенесенное вследствие этого на левый берег Тибра Ватиканское поле могло заменить собой Марсово поле, а обширное Марсово поле становилось пригодным для общественных и частных построек. Одновременно с этим столица получила бы столь недостававший ей безопасный порт. Казалось, будто император хотел двигать горами и реками и вступить в состязание даже с самой природой. Но, сколько бы ни выиграл Рим благодаря новому порядку в отношении удобств и великолепия, политическое главенство, как уже было сказано, было утрачено им безвозвратно и по той же причине. Время показало, как противоестественно и превратно было отождествление государства с городом Римом; но это положение слишком срослось с самим существом Римской республики и не могло утратить значение преж-

де, чем падет сама республика. Лишь в новом цезаревом государстве оно было совсем устранено за исключением разве нескольких юридических фикций. Столица была уравнена в правовом отношении со всеми прочими муниципалитетами, и Цезарь, заботясь и тут, как всегда, не только о водворении порядка, но и о том, чтобы каждый предмет был официально обозначен соответствующим именем, составил свое положение об италийском муниципальном устройстве, без сомнения, умышленно, одинаково и для столицы и для всех прочих городских общин. К этому нужно прибавить, что Рим именно потому, что он как столица был неспособен развить у себя свободные общинные начала, стоял даже в императорский период далеко позади остальных муниципалитетов. Республиканский Рим был вертепом разбойников, но в то же время и государством; Рим в дни монархии, хотя и стал украшать себя всей роскошью трех частей света, блистать золотом и мрамором, играл все-таки в государстве роль царского дворца и вместе с тем богадельни для бедных, т. е. являлся неизбежным злом.

Если в столице задача заключалась лишь в том, чтобы полицейскими мерами, проведенными в широких размерах, устранить явные для всех беспорядки, то несравненно труднее было поднять глубоко расстроенное италийское народное хозяйство. Главные недуги его были указаны уже выше — быстрое сокращение земледельческого и неестественный рост торгового населения, к чему присоединялось необозримое число других недугов. Читатель, вероятно, не забыл, в каком положении находилось сельское хозяйство Италии. Несмотря на самые серьезные попытки помешать уничтожению мелкого землевладения, вряд ли где-нибудь в Италии в тесном смысле слова, за исключением апеннинских и абруциских долин, крестьянское хозяйство являлось в это время господствующей формой хозяйства. Что касается крупного сельского хозяйства, то нам трудно подметить существенную разницу между приведенным уже выше описанием его у Катона и тем, которое оставил Варрон, разве только то, что оно и в хороших и в дурных своих сторонах отражает влияние роста городской жизни в Риме. «Бывало, — говорит Варрон, — житница в имении была обширнее господского дома, — теперь же обыкновенно видишь обратное». На тускуланских и тибуртинских полях, на побережье в Таррацине и Байях, там, где, бывало, старое латинское и италийское крестьянство засевало поля и снимало жатву, возвышались теперь в бесполезном блеске виллы римских богачей, и многие из них своими садами и водопроводами, резервуарами соленой и пресной воды, устроенными для сохранения и размножения речных и морских рыб, садками для улиток и белок, заповедниками для разведения зайцев, кроликов, оленей, серн

и кабанов и птичниками, где водились даже журавли и павлины, покрывали пространство, годное для города средней величины. Но роскошь большого города обогащает часто прилежного труженика и дает пропитание большему числу бедных, чем щедрая на подаяния филантропия. Птичники и рыбные садки знатных бар были, конечно, очень дорогостоящей затеей. Но и по своим размерам и по затрачиваемым усилиям этот вид хозяйства развился до такой степени, что, например, наличный состав одной голубятни оценивался в целых 100 тыс. сестерциев — возникло правильное птицеводство, и добываемое в птичниках удобрение принималось в расчет для возделывания полей; бывали примеры, что какой-нибудь торговец птицами был в состоянии доставить сразу 5 тыс. дроздов (даже их умели тогда разводить); за плату в 3 денария за штуку рыбный торговец мог доставить сразу же 2 тыс. мурен, а от продажи рыб, оставшихся после Луция Лукулла, выручено было 40 тыс. сестерциев. Понятно, что при таких условиях тот, кто с умением и прилежно принялся бы за такое дело, мог получить очень значительную прибыль при сравнительно небольшом основном капитале. Один мелкий пчеловод того времени продавал каждый год со своего небольшого сада, величиною в морген, лежавшего поблизости от Фалериев, меду не менее чем на 10 тыс. сестерциев. Соревнование сельских хозяев, разводивших плодовые деревья, доходило до того, что в изящных виллах кладовая для плодов, выложенная мрамором, нередко служила в то же время и столовой, и в ней выставлялись напоказ диковинные, иногда, вероятно, просто купленные плоды, выдававшиеся за продукты собственных садов. В эту же пору занесено было в италийские сады разведение малоазийской вишни и других чужеземных плодовых деревьев. Огороды, гряды роз и фиалок приносили в Лации и Кампании богатый доход, и «базар лакомств» (*forum cupedinis*) возле Священной улицы, где обыкновенно продавались плоды, мед и венки, играл важную роль в столичной жизни. Вообще хозяйство в больших имениях, представлявшее собой хозяйство плантаторское, достигло очень высокой степени развития. Долина Риэти, окрестности Фуцинского озера, местности у Лириса и Волтурна, вообще средняя Италия, находились в сельскохозяйственном отношении в самом цветущем состоянии; даже некоторые отрасли промышленности, которые могли принять участие в эксплуатации имения силами рабского труда, были освоены наиболее культурными сельскими хозяевами, а там, где обстоятельства тому благоприятствовали, в имении устраивались трактиры, прядильни и в особенности кирпичные заводы. Италийские производители, особенно виноделы и маслоделы, не только снабжали италийские рынки, но и делали большие обороты этими обоими продуктами и в

заморской экспортной торговле. Скромное специально научное сочинение, дошедшее до нас от тех времен, сравнивает Италию с большим плодовым садом, и те картины, которые набрасывает современный поэт, изображая свою прекрасную родину, где обильно орошенные луга, роскошные хлебные поля, смеющиеся холмы, покрытые виноградниками, окаймляются темными рядами оливковых деревьев, где страна, сияющая разнообразными прелестями, питает в своем лоне прекрасные сады и увенчана плодовыми деревьями, — эти картины, очевидно, верно передающие то, что поэт ежедневно имел перед глазами, переносят нас в самые цветущие части Тосканы и Тегга ди лавого. Скотоводство, больше всего распространявшееся в силу указанных уже обстоятельств все шире и шире на юге и юго-востоке, было во всех отношениях шагом назад; но и оно в известной степени содействовало общему подъему хозяйства, так как для улучшения пород скота было сделано много и, например, за породистого осла платилось по 60 тыс., 100 тыс., даже по 400 тыс. сестерциев. Процветающее итальянское сельское хозяйство достигало в эту пору, когда ему способствовало общее развитие культуры и обилие капиталов, несравненно более блестящих результатов, чем при старом крестьянском хозяйстве, и перешло даже за пределы Италии, так как итальянские сельские хозяева эксплуатировали и в провинциях большие участки земли, разводя там скот и даже занимаясь земледелием.

Для того чтобы стало ясно, какие размеры принимало наряду с крупным, сельским хозяйством, достигшим небывалого процветания на развалинах мелкого крестьянства, денежное хозяйство и как итальянское купечество, соперничая с иудеями и разлившись по всем провинциям и зависимым государствам империи, стянуло, наконец, все капиталы в Рим, — для этого достаточно после сказанного прежде об этом предмете указать на тот факт, что на столичном денежном рынке ссудный процент был равен лишь шести и что деньги в Риме были, таким образом, дешевле, чем когда-либо во всей древней истории.

При такой системе народного хозяйства, когда торговля и хлебопашество были основаны на скоплении капиталов и спекуляции, возникло страшнейшее неравенство в распределении богатств. Часто и иногда неуместно употребляемое выражение о государстве, состоящем из миллионеров и нищих, нигде, быть может, не оправдывалось в такой степени, как в Риме в последний период республики; и нигде точно так же основной принцип рабовладельческого государства, в силу которого богатый человек, живущий трудом своих рабов, неизменно считался почтенным, бедный же, существовавший трудом рук своих, почитался презренным, нигде этот принцип не

являлся с такой ужасающей очевидностью руководящим началом всех общественных и частных отношений*.

Настоящего среднего сословия, в нашем смысле слова, в Риме не было, да и вообще его не может быть во вполне сложившемся рабовладельческом государстве; чем-то вроде настоящего среднего сословия, до некоторой степени соответствуя ему на деле, были те богатые коммерсанты и землевладельцы, которые были достаточно необразованны или, пожалуй, настолько образованы для того, чтобы замк-

* Характерно следующее разъяснение в сочинении Цицерона «De officiis» («Об обязанностях»): «Относительно того, какие занятия и промыслы могут считаться приличными и какие низкими, существуют вообще следующие представления: прежде всего считаются опороченными те занятия, которые возбуждают ненависть в публике, как, например, занятия сборщика податей, ростовщика. Неприлично и низко также занятие тех работников, которым платят деньги не за умственный, а за физический труд, так как они за известное вознаграждение как бы продают себя в рабство. Низки и те мелкие торговцы, которые покупают у купца товар для немедленной продажи его, так как они не могут преуспевать без чрезмерной лжи, а нет вещи менее почтенной, чем обман. Все ремесленники запинаются также низким делом, так как нельзя быть джентльменом в мастерской. Всего менее почтенны те ремесленники, которые содействуют чревоугодию, например, говоря словами Теренция (Евнух, 2, 2, 26): колбасники, продавцы соленой рыбы, повара, торговцы живностью, рыбаки, точно так же и парфюмеры, танцмейстеры и вся клика балаганщиков. Те же виды деятельности, которые либо предполагают высшее образование, либо дают немалый доход, как, например, медицина, архитектура, преподавание полезных предметов, пригодны для тех, чьему сословию они приличествуют. Торговля, если она мелочная, вещь низкая; конечно, оптовый торговец, который ввозит массу товара из всевозможных стран и продает его без обмана многим лицам, не заслуживает очень большого порицания; если же он, пресытившись наживой или, скорее, удовлетворившись ею, перейдет, как некогда из моря в гавань, из гавани к поземельной собственности, тогда его можно с полным основанием даже похвалить. Но из всех видов занятий нет лучшего, более производительного, отрадного, более приличествующего свободному человеку, как занятие землевладельца!» Итак, порядочный человек должен, собственно, непременно быть землевладельцем, торговля сходит ему с рук лишь постольку, поскольку она является средством для достижения этой последней цели; наука как профессия годится только для греков и тех из римлян, которые не принадлежат к высшим слоям и которые этим способом могут добиться снисходительного отношения к ним в аристократических кругах. Это вполне развитая плантаторская аристократия, с сильным оттенком купеческой спекуляции и легким налетом общего образования.

нуться в сфере своей деятельности и держаться вдалеке от общественной жизни. Среди деловых людей, где многочисленные вольноотпущенники и другие выскочки часто увлекались желанием играть роль важного барина, таких разумных людей было немного; примером может служить нередко упоминаемый в памятниках того времени Тит Помпоний Аттик, который, приобретя громадное состояние частью сельским хозяйством, которым он занимался в Италии и Эпире, частью денежными операциями, охватившими всю Италию, Грецию, Македонию и Малую Азию, остался, несмотря на все это, простым деловым человеком, не добивался никакой должности, не принимал даже участия в государственных денежных операциях, а, далекий как от скредной экономии, так и от беспутной и несносной роскоши того времени (стол, например, обходился ему ежедневно в 100 сестерциев), удовлетворялся спокойным существованием, где соединялись прелесть сельской и городской жизни, удовольствие общения с лучшим обществом Рима и Греции и наслаждение литературой и искусством. Более многочисленными и деловитыми были итальянские землевладельцы старого склада. Современная литература сохранила в характеристике Секста Росция, убитого в 673 г. во время проскрипций, образ такого сельского дворянина (*pater familias rusticanus*). Состояние его, составлявшее 6 миллионов сестерциев, заключалось, главным образом, в его тридцати поместьях; хозяйство он ведет сам, рационально и с увлечением; в столицу является редко или никогда, а если и появляется, то не менее выделяется своими неотесанными манерами среди светских сенаторов, чем многочисленная толпа его грубых батраков среди толпы модных столичных слуг. В большей мере, чем космополитически образованные аристократы и купеческое сословие, всюду пускавшее и нигде не пустившее корни, эти землевладельцы и существовавшие, главным образом, благодаря им «земледельческие города» (*municipia rusticana*) сохраняли как нравы и обычаи отцов, так и их чистый и благородный язык. Класс землевладельцев считается основным элементом нации; спекулянт, составивший себе состояние и желающий войти в ряды избранного общества, покупает землю и старается если не сам стать помещиком, то по крайней мере воспитать в этом духе своего сына. Мы находим следы этого землевладельческого класса везде, где в политике сказывается народное направление и где литература дает свежие отростки; из его рядов патриотическая оппозиция против новой монархии получала свои лучшие силы; к этому слою принадлежали Варрон, Лукреций, Катулди, быть может, нигде относительная свежесть этого землевладельческого быта не выступает с такими характерными чертами, как в грациозном введении, написанном в Арпине, ко второй книге трактата Цицерона «О законах», составляющем цветущий оазис в ужасной

пустыне созданий этого столь же бессодержательного, как и плодovitого писаки.

Но образованное купечество и энергичное землевладельческое сословие заслоняются двумя задающими тон классами общества: нищенствующим народом и настоящими магнатами. У нас нет статистических данных, которые могли бы точно определить относительные размеры бедности и богатства в эту эпоху, но здесь нужно снова вспомнить замечание, сделанное почти за пятьдесят лет до этого одним римским государственным человеком, что число семейств, обладавших солидным богатством, не превышало в рядах римского гражданства двух тысяч. С тех пор само гражданство стало иным. Но есть несомненные признаки того, что диспропорция между бедностью и богатством была по крайней мере так же велика. Прогрессировавшее обнищание народа резко проявляется в притоке его в места раздачи хлеба, а также на вербовку в войска; факт же возрастания богатства определенно подтверждается одним из писателей этого поколения, когда, говоря об условиях жизни в дни Мария, он замечает, что состояние в 2 миллиона сестерциев «при тогдашних условиях считалось богатством»; тому же соответствуют и данные, которые мы имеем о богатствах отдельных лиц. Невероятно богатый Луций Домиций Агенобарб обещал дать из собственных средств 20 тыс. солдатам по 4 югера земли каждому; состояние Помпея доходило до 70 миллионов сестерциев; состояние актера Эзопа — до 20 миллионов; Марк Красс, богатейший среди богачей, имел в начале своей карьеры 7 миллионов, в конце же ее, после раздачи громадных сумм народу, 170 миллионов сестерциев. Результатом такой бедности и такого богатства было совершенно различное для той и другой стороны по внешности, но, в сущности, совершенно тождественное экономическое и нравственное разложение. Если простолюдин спасался от голодной смерти только благодаря поддержке из государственных средств, то необходимым следствием этого нищенского состояния, являвшимся, правда, иной раз и причиной его, была нищенская леность и разгул. Вместо того чтобы работать, римский плебей предпочитал сидеть в театре; кабаки и публичные дома имели такой успех, что демагоги находили выгодным для себя привлекать на свою сторону преимущественно хозяев подобных заведений. Бои гладиаторов, воплощение и фактор страшной деморализации древнего мира, достигли такого процветания, что одна продажа их программ являлась прибыльным делом; в это время было придумано страшное нововведение, в силу которого вопрос о жизни и смерти побежденного решался не по правилам поединка или по произволу победителя, а по капризу зрителей, по знаку которых победитель либо щадил, либо закалывал повергнутого на землю побежденного. Гладиаторское ремесло так поднялось в цене, или,

пожалуй, цена свободы так понизилась, что неустрашимость и соревнование, исчезнувшие в это время с поля битвы, были обыкновенным явлением среди бившихся на арене, где, если того требовали правила поединка, каждый гладиатор давал заколоть себя, безмолвно и не дрогнув, и даже свободные люди нередко продавали себя антрепренерам, становясь гладиаторами ради стола и жалованья. И в V в. плебеи голодали и терпели нужду, но свободы своей они не продавали; а юристы того времени вряд ли согласились бы с помощью грубого юридического крючкотворства признать допустимым и дающим право на иск столь же безнравственный, как и противозаконный контракт такого наемного гладиатора, которым он обязывался «беспрекословно давать вязать, бить, жечь и убивать себя, если того потребуют правила заведения».

В высшем свете ничего подобного не происходило, но, в сущности, положение было почти такое же или во всяком случае не лучше. По части ничегонеделания аристократ мог смело померяться с пролетарием; если последний шатался по улицам, то первый нежился до белого дня на пуховиках. Расточительность царила здесь с такой же неумеренностью, как и безвкусицей. Она завладела политикой и театром, конечно, ко вреду обоих; консульская должность покупалась за невероятную цену; летом 700 г. голоса одного только первого разряда избирателей были оплачены 10 миллионами сестерциев; точно так же и безумная роскошь декораций отравляла истинно образованному человеку всякое наслаждение сценической игрой. Плата за наем квартиры была в Риме в среднем вчетверо выше, чем в итальянских городах. Какой-то дом был однажды продан за 15 миллионов сестерциев. Дом Марка Лепида (консула 676 г.), красивейший в Риме в эпоху смерти Суллы, спустя одно только поколение не был даже сотым в списке римских дворцов. Мы уже упоминали о бешеной погоне за виллами; одна вилла, ценившаяся, главным образом, из-за своего рыбного садка, была продана за 4 миллиона сестерциев. Настоящий аристократ нуждался теперь по крайней мере в двух виллах: в одной среди Сабинских или Альбанских гор близ столицы, и в другой — поблизости от купаний в Кампании; кроме того, ему по возможности требовался еще сад перед воротами Рима. Еще большим безумством, чем эти виллы, были, так сказать, могильные дворцы, из которых некоторые и поныне свидетельствуют о том, в каких массах плит высотой до неба нуждался богатый римлянин, для того чтобы считаться умершим согласно своему званию. Не было также недостатка и в любителях лошадей и собак; заплатить 24 тыс. сестерциев за красивую лошадь не представляло ничего необычайного. Все гонялись за мебелью из тонкого дерева, — так, стол из африканского кипариса стоил 1 миллион сестерциев; за одеяниями из пурпуровых материй

или прозрачного газа, а вместе с тем и за изящно драпированными перед зеркалом складками (как рассказывают, оратор Гортензий осыпал одного из своих коллег бранью за то, что тот смял его одежду в тесноте); за драгоценными камнями и жемчугом, впервые в это время заменившими древние, несравненно более изящные и художественные золотые украшения. Не совершенное ли варварство видим мы, когда во время триумфа Помпея по случаю победы над Митридатом несли изображение победителя, сделанное из жемчуга, или когда в столовой диваны и этажерки оковывались серебром и даже кухонная утварь делалась из этого металла? К явлениям того же порядка относится и то, что в эту эпоху собиратели редкостей выламывают художественно сделанные медальоны из древних серебряных кубков, чтобы вставить их в золотые сосуды. Путешествовали в то время тоже с большой роскошью. «Когда путешествовал сицилийский наместник, — рассказывает Цицерон, — что, конечно, делалось не зимой, а лишь с наступлением весны, не той, что указана в календаре, а той, когда распускаются розы, он, подобно вифинским царям, передвигался в паланкине, который несли восемь носильщиков. Сидел он на подушках из мальтийского газа, наполненных розовым листом; один венок украшал его голову, другой — шею, у носа он держал тонкий полотняный нюхательный мешочек, наполненный розами. Таким образом его несли до самой его спальни».

Но ни один вид роскоши не процветал в такой степени, как самый грубый из всех, а именно роскошь за столом. Все устройство вилл, вся жизнь в них сводилась, в сущности, к одной цели — обеду; не только имелись различные столовые для зимы и лета, но столы накрывались в картинной галерее, в складе плодов, птичнике или на эстраде, воздвигнутой в парке для дичи; к этой эстраде при появлении в театральном костюме лица, изображавшего Орфея, сбегались, лишь только он успевал сыграть туш, дрессированные для этой цели олени и кабаны. Таковы были заботы о декорации, но за этим отнюдь не забывалась и действительность. Не только повар был дипломированным гастрономом, но часто сам хозяин являлся учителем своих поваров. Уже давно жаркое было отодвинуто на задний план морскими рыбами и устрицами, теперь же итальянская речная рыба была совершенно изгнана с хорошего стола, а итальянские вина и гастрономические изделия считались почти чем-то вульгарным. Во время народных празднеств подавалось теперь, кроме итальянского фалернского вина, три сорта иностранных вин: сицилийское, лесбосское, хиосское, в то время как за одно поколение до того считалось достаточным, даже во время пышных пиров, обнести один раз вокруг стола греческое вино. В погребе оратора Гортензия находился склад из 10 тыс. кувшинов чужеземного вина. Неудивительно, что итальян-

кие виноделы стали жаловаться на конкуренцию греческих островных вин. Ни один естествоиспытатель не мог бы ревностнее исследовать страны и моря в поисках новых животных и растений, чем это делали астрономы того времени в поисках новых деликатесов*. Если гость во избежание последствий всего предложенного ему разнообразия яств принимал после обеда рвотное, то это никого более не поражало. Разврат во всех его видах был настолько систематическим и неуклюжим, что нашел своих профессоров, которые жили тем, что давали знатным юношам практические и теоретические уроки порока. Нет нужды еще долее останавливаться на этой дикой картине самого монотонного разнообразия, тем более что и в этой области римляне далеко не были оригинальны, а ограничивались чрезмерным и нелепым подражанием эллино-восточной роскоши.

Разумеется, и Плутон, не хуже Кроноса, проглатывает своих детей; соперничество из-за этих большей частью ничтожных предметов аристократических вожделений до такой степени подняло цены на них, что люди, увлекаемые течением, проживали в короткое время громадное состояние и что даже те, которые только ради престижа продавливали вместе с другими самое необходимое, должны были видеть, как быстро проматывалось их унаследованное солидное благосостояние. Так, например, кандидатура в консулы являлась обыкновенно для знатных семейств столбовой дорогой, ведущей к разорению; то же самое можно сказать об играх, громадных постройках и всех остальных, правда, веселых, но зато дорого стоивших занятиях.

* До нас дошел (*Macrob.*, 3, 13) список блюд того обеда, который давал Луций Лентул Нигер перед 691 г. при вступлении своем в должность понтифика и на котором присутствовали понтифики, в том числе Цезарь, весталки и некоторые другие жрецы и родственницы хозяина. Перед обедом подавались морские ежи, устриц столько, сколько хотели гости, хамы (*chama*), спондилы, дрозды со спаржей, пулярки, паштеты из устриц и улиток, черные и белые морские желуди, опять спондилы, разные виды улиток, бекасы, олень и свиные котлеты, дичь, запеченная в тесте, опять бекасы, два сорта пурпуровых улиток. Сам же обед состоял из свиной грудинки, кабаньей головы, рыбного и свиного паштетов, уток, вареных диких уток, зайцев, жареной птицы, пирожного, понтийского печенья. Таковы были те коллегияльные пиры, которые, по словам Варрона (*De r. r.*, 3, 2, 16), поднимали цены на все гастрономические товары. В одной из своих сатир он упоминает, как о наиболее известных иноземных диковинках, о следующем: павлины из Самоса, рябчики из Фригии, журавли с Мелоса, ягнята из Амбракки, тунцы из Калхедона, мурены из Гадитанского пролива, дорогие рыбы из Пессинунта, устрицы и улитки из Тарента, осетры с Родоса, скаты из Киликии, орехи с Фасоса, финики из Египта, испанские желуди.

Истинно царские богатства того времени превышались только еще более грандиозными долгами; в 692 г. Цезарь имел за вычетом наличных средств 25 миллионов сестерциев долга; Марк Антоний имел в 24-летнем возрасте 6 миллионов сестерциев долга, а 14 лет спустя — 40 миллионов; Курион — 60 миллионов, Милон — 70 миллионов долга. Насколько эта расточительная жизнь знатных римлян зависела от кредита, показывает тот факт, что из-за займов, сделанных различными претендентами на консульскую должность, проценты однажды поднялись внезапно в Риме с четырех до восьми в месяц. Вместо того чтобы своевременно устроить конкурс или ликвидацию и тем по крайней мере выяснить положение, должник, напротив, обыкновенно затягивал свою несостоятельность, насколько это было возможно; вместо того чтобы продать свое имущество, в особенности земли, он по-прежнему делал займы и разыгрывал роль мнимого богача, пока крах не разражался тем грознее и не начинался конкурс вроде, например, милонова, где кредиторы получили немного более 4 % с ликвидационных сумм. При этом безумно быстром переходе от богатства к банкротству и этом систематическом обмане никто, конечно, не наживался, кроме расчетливого банкира, который умел вовремя открывать и прекращать кредит. Таким образом, кредитные отношения опять пришли почти к тому же самому пункту, на котором они находились в V в. — в худшее время социального кризиса; номинальные собственники владели своей землей лишь милостью кредиторов; должники или рабски подчинялись им, так что менее значительные из них фигурировали в свите кредиторов, подобно вольноотпущенникам, а более знатные даже в сенате говорили и подавали голос по знаку своих заимодавцев, или же были готовы объявить войну собственности, терроризировать своих заимодавцев угрозами и даже избавиться от них путем заговора или гражданской войны. На это опиралось могущество Красса; отсюда возникли волнения, сигналом для которых служили «вольные шутки», как, например, мятеж Цинны и еще более характерные движения Катилины, Целия, Долабеллы, вполне тождественные с той борьбой между имущими и неимущими, которая волновала эллинский мир столетием раньше. Естественно было, что при таком ненадежном экономическом положении всякий финансовый или политический кризис вызывал страшнейшую неурядицу. Едва ли стоит указывать на то, что обычные последствия — исчезновение капиталов, внезапное понижение цены земли, многочисленные банкротства и почти всеобщая несостоятельность — обнаружались как во время союзнической войны и войны с Митридатом, так и теперь во время гражданской войны.

Понятно, что при таких обстоятельствах нравственность и семейная жизнь сделались во всех слоях общества чем-то отжившим. Бед-

ность считалась не только единственным, но и худшим позором и самым тяжким проступком; за деньги государственный человек продавал государство, гражданин — свою свободу; можно было купить как офицерскую должность, так и голос присяжного; за деньги же отдавалась знатная дама, как и уличная куртизанка; подделка документов и клятвопреступления были так распространены, что один из народных поэтов того времени называет присягу «долговым пластырем». Честность была забыта; тот, кто отказывался от взятки, считался не честным человеком, а личным врагом. Уголовная статистика всех времен и стран вряд ли может противопоставить что-либо той страшной картине разнообразных, ужасающих и противоестественных преступлений, какую представляет нам процесс Авла Клуенция, разыгравшийся в одном из самых уважаемых семейств италийского сельского города.

Но по мере того как в глубине народной жизни накапливалась все более зловредная и бездонная масса грязи, все глаже и обманчивее становился на поверхности ее внешний лоск утонченности нравов и всеобщей дружбы. Все навещали друг друга, так что в домах магнатов явилась необходимость допускать лиц, ежедневно приезжавших ко времени вставанья хозяев, в известном порядке, установленном самим господином, а иногда и его камердинером, давать отдельную аудиенцию только самым выдающимся посетителям, остальных же допускать сперва группами, а под конец и всей массой, — порядок, начало которому было положено Гаем Гракхом, и в этом отношении проложившим дорогу новой монархии. Такое же распространение, как светские визиты, получила и светская переписка; лица, не имеющие ни дружественных, ни деловых сношений, тем не менее обмениваются из далеких стран и из-за морей «дружественными» письмами, между тем как настоящие и подлинно деловые письма встречаются, наоборот, лишь там, где послание обращено к целой корпорации. Точно так же и приглашение к обеду, обычные подарки к новому году, семейные празднества изменяются в своем характере и превращаются почти в публичное торжество; даже сама смерть не избавляет от этих церемоний с бесчисленными «близкими», и, напротив, для того чтобы умереть прилично, римлянин должен был непременно оставить каждому из них что-нибудь на память. Как и в некоторых кругах нашего биржевого мира, настоящая тесная домашняя и дружественная связь настолько утратилась в тогдашнем Риме, что все деловые и приятельские сношения могли пробавляться пустыми формами и фразами, и истинную дружбу замещает постепенно тот призрак ее, который занимает не последнее место среди злых духов, царивших над гражданскими войнами и проскрипциями того времени.

Такой же характерной чертой бросающегося в глаза разложения

этой эпохи является эмансипация женщины. Экономически женщины давно уже стали самостоятельными; в эту эпоху мы встречаем уже специальных адвокатов для женщин, которые помогают одиноким богатым дамам в заведовании их состоянием и ведении их процессов, импонируя им своим пониманием дела и знанием права и благодаря этому добиваясь более щедрого вознаграждения и большей доли в наследствах, чем завсегдатай биржевой площади. Но женщины почувствовали себя освобожденными не только от экономической опеки отцов или мужей. Всякого рода любовные дела всегда были в моде. Балетные танцовщицы (*minae*) могли поспорить с современными балеринами разнообразием своих занятий и своей ловкостью в них; их примадонны, как Киферида и другие, подобные ей, запятнали даже страницы истории. Но их как бы зарегистрированному ремеслу составлял существенную конкуренцию свободный промысел дам аристократического круга. Любовные связи стали таким заурядным явлением в самых знатных семьях, что только исключительный скандал мог сделать их предметом особых сплетен; судебное же вмешательство казалось почти смешным. Беспрецедентный скандал, учиненный в 693 г. Публием Клодием во время женского праздника в доме верховного понтифика и в тысячу раз худший, чем те происшествия, которые за пятьдесят лет до того привели к целому ряду смертных приговоров, прошел почти без всякого расследования и совершенно безнаказанно. Сезон купанья в апреле, когда государственные дела приостанавливались и высший свет стекался в Байи и Путеолы, приобретал особую привлекательность благодаря дозволенным и недозволенным связям, которые оживляли катанье в гондолах, так же как музыка и пение и элегантные завтраки на лодке или на берегу. Здесь дамы господствовали неограниченно; но они вовсе не довольствовались этой, по праву принадлежащей им, областью, но занимались также и политикой, появлялись на собраниях партий и принимали своими деньгами и интригами участие в беспутных действиях тогдашних котерий. Того, кто видел этих государственных деятельниц действующими на поприще Сципиона или Катона и замечал рядом с ними молодого щеголя, копировавшего всю внешность своей возлюбленной своим гладким подбородком, тонким голоском и походкой с перевальцем, косыночками на груди и голове, запонками на рукавах и женскими сандалиями, — того должна была устрашить противоестественность этого общества, в котором оба пола, по-видимому, хотели обменяться ролями. Как в аристократических кругах смотрели на развод, показывает пример их лучшего и наиболее нравственного представителя, Марка Катона, который не постеснялся по просьбе одного друга, хотевшего жениться на его жене, развестись с ней и так же мало затруднился жениться вторично на той же самой женщине

после смерти этого друга. Безбрачие и отсутствие детей распространялись все более, особенно в высших кругах. Если брак давно считался здесь бременем, которое люди принимали на себя разве лишь ради общественной пользы, то даже у Катона и его единомышленников мы находим теперь то правило, которому за сто лет до него Полибий приписывал падение Эллады, что граждане обязаны сохранять в целости крупные состояния и потому не должны иметь слишком много детей. Как далеки были те времена, когда прозвище человека, имеющего детей (*proletarius*), считалось почетным в глазах римлянина!

Вследствие этих социальных условий латинское племя в Италии вымирало с ужасающей быстротой и прекрасные местности постигало полное запустение или же они заселялись паразитическими элементами. Значительная часть населения Италии устремилась за границу. Уже то количество даровитых людей и рабочих сил, которое требовалось для назначения итальянских чиновников и итальянских гарнизонов во все области Средиземного моря, превышало наличные силы полуострова, тем более что эти посланные на чужбину элементы по большей части утрачивались для нации навсегда. Чем более римская община разрасталась в государство, вмещавшее в себе множество народностей, тем более правящая аристократия отвыкала считать Италию своим исключительным отечеством; из числа же набранных или на вербованных солдат значительная часть погибла во многих войнах, особенно во время кровавых междоусобиц, другие же совершенно порывали с родиной вследствие долгой службы вдали, иногда растягивавшейся на всю их жизнь. Подобно государственной службе и спекуляция удерживала на всю жизнь или же на известное время вне страны часть землевладельцев и почти все купечество и вследствие деморализующего влияния торговых поездок отучала, в особенности купцов, от обычной гражданской жизни на родине и от многих связей и обязательств по отношению к своим семьям. В виде компенсации Италия получала, с одной стороны, пролетариат из рабов и вольноотпущенников и, с другой — ремесленников и торговцев из Малой Азии, Сирии и Египта, которые расплодились, главным образом, в столице и еще более в портовых городах Остии, Путеолах, Брундизии. Но в большей и важнейшей части Италии не было даже такой замены более чистых элементов нечистыми и население заметно сокращалось. В особенности это было заметно в местностях, богатых пастбищами; благословенную страну скотоводства, Апулию, современники называли самой безлюдной частью Италии; точно то же происходило и в окрестностях Рима, где Кампания под переменным действием застоя в земледелии и возрастающей порчи воздуха с каждым годом все более пустела. Лабики, Габии, Бовилы, некогда приветливые сельские городки, пришли в такой упадок, что трудно было собрать представи-

телей от них для церемоний латинского праздника. Тускул, все еще одна из важнейших общин Лация, состоял почти только из нескольких знатных семейств, которые жили в столице, но удерживали за собой права тускуланских обывателей, и по числу граждан-избирателей стоял далеко позади даже мелких общин внутренней Италии. Коренное, годное для военной службы население в этом крае, который прежде являлся основой боевой силы Рима, до такой степени вымерло, что в те времена, читая баснословные в сравнении с новейшей действительностью сказания летописи о войнах с эквами и вольсками, люди испытывали изумление, даже, может быть, ужас. Не повсюду положение было столь безотраднo и, конечно, не во всех остальных частях средней Италии и Кампании, но все-таки, как сетует Варрон, «некогда многолюдные города Италии теперь стояли опустевшие».

Зловещую картину представляла Италия при режиме олигархии. Между миром нищих и кругом богатых людей ничто не смягчало рокового противоречия. Чем явственнее и мучительнее ощущалось оно с обеих сторон, чем более богатство достигало опьяняющего величия и чем глубже зияла пропасть нищеты, тем чаще в этом изменчивом мире спекуляции и игры счастья отдельные личности поднимались из низов на самую вершину и снова низвергались с высоты величия в пропасть. Чем более расходились между собой оба мира по внешности, тем теснее сходились они в одинаковом отрицании семейной жизни, которая составляет основу и зародыш всякой национальности, в одинаковой праздности и склонности к роскоши, одинаковой экономической беспочвенности, одинаково недостойном сервиллизме, подкупности, различающейся разве только по своему тарифу, одинаково преступной деморализации, одинаковом поползновении вести борьбу против собственности. Богатство и бедность в тесном союзе между собой изгоняли италиков из Италии и наполняли полуостров толпами рабов или же ужасным безмолвием пустыни. Вся эта картина зловеща, но вовсе не единственна в своем роде: везде, где в рабовладельческом государстве вполне развивается господство капитала, оно одинаково опустошает прекрасный мир божий. Подобно тому, как вода в потоках отражает в себе всевозможные цвета, клоака же постоянно остается одна и та же, так и Италия цicerоновской эпохи, по существу, похожа на Элладу эпохи Полибия и еще более на Карфаген времен Ганнибала, где совершенно таким же путем всемогущий капитал довел средний класс до уничтожения, а торговлю и землевладение поднял до крайних пределов процветания, и под конец привел к лицемерно прикрытому нравственному и политическому падению нации. Все страшное зло, причиненное капиталом в современной жизни народу и цивилизации,

остается далеко позади ужасов, имевших место в древних капиталистических государствах, поскольку свободный человек, как бы он ни был беден, всегда остается выше раба; лишь когда созреют пагубные семена, попавшие на почву Северной Америки, человечество снова пожнет подобные плоды.

То зло, от которого изнемогало итальяйское народное хозяйство, было неизлечимо в самой своей основе, а то, что можно еще было исправить, должен был сделать, главным образом, сам народ и время, так как даже самое мудрое правительство, как и самый искусный врач, не могут превратить испорченные соки организма в здоровые, а могут только устранить при глубоко скрытых недугах те случайности, которые мешают действию целебных сил природы. Мирная энергия нового правительства гарантировала, что подобный отпор будет дан, благодаря чему некоторые из худших явлений исчезли сами собой, как, например, искусственное увеличение пролетариата, безнаказанность преступлений, продажа должностей и многое другое. Но для правительства мало было только не вмешиваться. Цезарь не принадлежал к числу тех хитроумных людей, которые потому не строят среди моря плотины, что никакая преграда не в состоянии сдержать прилива. Всего лучше, когда народ и его экономическое развитие следуют по нормальному пути; но поскольку они уже свернули с него, Цезарь употребил всю свою энергию на то, чтобы воздействием свыше вернуть нацию отечество в семью и преобразовать народное хозяйство с помощью законов и декретов.

Для того чтобы помешать продолжительному отсутствию италиков из Италии и принудить аристократию и купечество основывать домашний очаг на родине, не только был сокращен срок службы солдат, но всем италикам, даже сенаторского звания, было запрещено жить вне Италии иначе, как по общественным делам, а людям, достигшим брачного возраста (от 20 до 40 лет), не разрешалось отсутствовать из Италии более трех лет подряд. По этой же причине Цезарь еще во время своего первого консульства, при основании колонии в Капуе, особенно позаботился об отцах, имевших много детей; сделавшись же императором, он назначил особые награды отцам больших семей и в то же время решал в качестве верховного судьи с неслыханным, по римским понятиям, ригоризмом дела о разводе и прелюбодеянии. Он не считал даже ниже своего достоинства издать подробный закон о роскоши, между прочим, ограничивший расточительность в строительном деле, по крайней мере в одном из ее безумнейших проявлений, именно в сооружении надгробных памятников; определил известный срок, возраст и звание для ношения пурпуровых одежд и жемчуга и совершенно воспретил носить его взрослым мужчинам, назначил максимум расходов на стол и

прямо-таки воспретил некоторые изысканные блюда. Подобные распоряжения были, правда, не новы, но ново было то, что «блюститель нравов» строго следил за их исполнением, наблюдал за съестными рынками через посредство наемных надсмотрщиков, производил через своих агентов ревизию стола знатных господ и поручал им конфисковывать на месте запрещенные кушанья. Подобными теоретическими и практическими уроками умеренности, даваемыми новой монархической полицией высшему кругу, ничего, конечно, не могло быть достигнуто, кроме того, что роскошь стала несколько прятаться; но если лицемерие есть дань уважения, уплачиваемая пороком добродетели, то при тогдашних обстоятельствах внешняя порядочность, хотя бы даже установленная полицейским способом, все-таки была немалым шагом к лучшему.

Более серьезны были и больше успеха обещали меры Цезаря, предпринятые для лучшего регулирования италийского денежного и земельного хозяйства. Прежде всего был принят ряд временных мер в связи с недостатком денег и долговым кризисом вообще. Закон, вызванный жалобами против припрятывания капиталов, в силу которого никто не мог иметь более 60 тыс. сестерциев в наличности золотом и серебром, был, вероятно, издан лишь затем, чтобы смягчить гнев широких масс против ростовщиков; форма его обнародования, при котором делался вид, будто только возобновляется древний, забытый закон, доказывает, что Цезарь стыдился этого распоряжения и вряд ли оно когда-либо серьезно применялось. Гораздо важнее был вопрос о предстоявших платежах, полной отмены которых настойчиво требовала партия, называвшая себя партией Цезаря. Мы уже говорили, что он не удовлетворил это требование; тем не менее еще в 705 г. должникам были сделаны две важные уступки. Во-первых, была понижена* цифра невнесенных процентов, а уже уплаченные были вычтены из капитала. Во-вторых, кредитор был обязан принимать в уплату долга движимое и недвижимое имущество должника по той цене, которую вещи эти имели до гражданской войны и вызванного ею всеобщего падения цен. Последнее постановление не было несправедливо; если кредитор фактически считался собственником имущества должника в размере следовавшей ему суммы, то справедливо было, чтобы и на него падала доля участия в общем понижении стоимости этого имущества. Что же касается отмены процентов, уже внесенных или еще не уплаченных, то

* На это нет, правда, прямых указаний, но это необходимо заключить из разрешения сократить капитал в размере тех процентов, которые были выплачены наличными деньгами или векселями («si quid usurae nomine numeratum aut perscriptum fuisset», *Suet. Caes.* 42) вопреки закону.

она практически означала для кредиторов потерю еще средним числом 25 % с капитала, следовавшего им в момент издания закона, что на деле было прямой уступкой демократам, так неистово требовавшим аннулирования всех требований, проистекавших из займов. Как ни безобразно хозяйничали ростовщики, этим невозможно, однако, оправдать всеобщее уничтожение всех процентных обязательств, которое имело даже обратную силу. Чтобы по крайней мере понять значение этой меры, следует припомнить отношение демократической партии к процентному вопросу. Закон, запрещавший взимание процентов, которого добилась плебейская оппозиция в 412 г., был, правда, фактически отменен нобилитетом, руководившим через преторов гражданским процессом, но формально он все еще оставался в силе с той поры; демократы VII в., смотревшие на себя как на прямых продолжателей древнего сословно-социального движения, постоянно провозглашали принцип незаконности процентных платежей и, хотя и недолго, практически применили свое воззрение в смутах времен Мария. Невозможно, чтобы Цезарь разделял нелепые взгляды своей партии на процентный вопрос. Если в своем отчете о ликвидационной операции он упоминает о распоряжении, касавшемся передачи имущества должника в уплату долга, но умалчивает об упразднении процентов, то это является, быть может, немым упреком самому себе. Но, как и всякий партийный вождь, он все-таки зависел от своей партии и не мог вполне отречься от традиционных воззрений демократии в процентном вопросе, тем более что ему пришлось решать это дело не в качестве всемогущего фарсальского победителя, а еще до своего отбытия в Эпир. Если он скорее допустил, чем совершил это посягательство на законный порядок и собственность, то, конечно, только благодаря Цезарю было отвергнуто чудовищное требование об аннулировании всех взысканий по займам. К чести его надо отметить, что должники были еще гораздо более возмущены сделанной им, по их мнению, крайне недостаточной уступкой, чем урезанные в своих правах кредиторы; вследствие этого должники под руководством Целия и Долабеллы предпринимали те безумные, но быстро парализованные попытки, о которых мы уже говорили, стараясь захватить путем смут и гражданской войны то, в чем Цезарь им отказал.

Цезарь не ограничился одной временной помощью должникам, но сделал все, что мог, как законодатель, чтобы надолго сломить грозное могущество капитала. Прежде всего был провозглашен великий юридический принцип, гласивший, что свобода не зависит от собственности, а является вечным правом человека, отнять которое государство может только у преступника, но не у должника. Цезарь, быть может, под влиянием более гуманного египетского и греческого, в

особенности солонова законодательства* впервые ввел в право этот принцип, противоречащий постановлениям древних конкурсных правил, но с той поры неизбежно удержавшийся. По римскому праву несостоятельный должник становился рабом своего кредитора. Закон Петелия позволял, правда, лицу, сделавшемуся временно несостоятельным не вследствие действительной чрезмерной задолженности, а только из-за невольных затруднений, спасти свою личную свободу уступкой всего имущества, для лиц же, действительно обремененных долгами, этот правовой принцип был, правда, смягчен во второстепенных пунктах, но в основном сохранился неизменно целых пятьсот лет; обращение же конкурса прежде всего на имущество должника имело место в виде исключения лишь тогда, когда должник умер, утратил свое право гражданства или пропал без вести. Цезарь первый даровал обремененному долгами человеку то право, на которое и поныне опираются наши законы о конкурсах, а именно, право ценой уступки кредиторам всего имущества (вне зависимости от того, удовлетворяет ли оно их притязания или нет) купить свою личную свободу, правда, с ограничением в почетных и политических правах, чтобы начать новую жизнь, в которой он может подвергнуться преследованию за старые, неудовлетворенные конкурсом требования лишь тогда, если он действительно может покрыть их, не разорившись еще раз. Если, таким образом, великому демократу выпала на долю непреходящая слава освобождения принципа личной свободы от гнета капитала, то он пытался вместе с тем обуздать господство капитала и полицейскими мерами — с помощью законов о ростовщичестве.

И он не отрекся от демократической антипатии к процентным обязательствам. Для денежных операций в Италии был установлен высший предел процентных ссуд, разрешаемых отдельным капиталистам, причем, по-видимому, принимался в расчет принадлежащий каждому из них в Италии земельный участок, и этот максимум равнялся, быть может, половине стоимости участка. Нарушение этого постановления рассматривалось как уголовный проступок и по примеру процедуры, установленной республиканскими законами о росте, подлежало суду особой комиссии присяжных. Когда удалось провести на практике эти постановления, то каждый итальянский коммерсант был тем самым принужден стать и землевладельцем, и класс капиталистов, промышленявших только процентными ссудами, совер-

* Египетские царские законы (*Diodor*, 1, 79) и законы Солон воспрещали такие долговые записи (*Plutarch*, Sol., 14, 15), в силу которых за неплатежом следовало лишение личной свободы должника; законы же Солон налагали на должника, даже в случае конкурса, не более как потерю всего наличного имущества.

шенно исчез в Италии. Косвенно это также значительно ограничивало не менее вредную категорию чрезмерно задолжавших землевладельцев, в сущности, лишь управлявших своими имениями от имени кредиторов, так как кредиторы, если они желали продолжать свои операции, принуждены были сами покупать себе землю. Но это именно и доказывает, что Цезарь вовсе не хотел возобновить наивное восприятие взимания процентов, введенное старой партией популяров, а что он хотел только допустить взимание их в известных пределах. Но весьма вероятно, что он при этом не ограничился лишь приведенным выше, имевшим силу только в Италии постановлением о предельном размере сумм, даваемых займа, но установил также, в особенности для провинции, высший предел и самих процентов. Определено было, что не допускается взимать более чем 1 % в месяц или насчитывать на еще невыплаченные проценты новые, или, наконец, предъявлять судебные иски о невнесенных процентах, если они превышают сумму капитала. Эти постановления были, вероятно по греческо-египетскому образцу*, введены (прежде чем где-либо в другой части Римского государства) в Малой Азии Луцием Лукуллом и удержаны были в этой области лучшими из его преемников; затем они были особыми наместническими распоряжениями перенесены и на другие провинции, и, наконец, часть их получила в 704 г. в силу постановления римского сената значение закона для всех провинций. Если эти распоряжения Лукулла во всем их объеме стали впоследствии общегосударственным законом и, несомненно, послужили основой для римского и даже для современного нам законодательства о процентных операциях, то и эту меру, вероятно, следует приписать Цезарю.

Рука об руку с этими стремлениями помешать засилию капитала шли старания вернуть сельское хозяйство на путь, более всего полезный для государства. В этом отношении было весьма важно улучшение судопроизводства и полиции. Если до той поры никто в Италии не был спокоен за свою жизнь или свое движимое и недвижимое имущество, если, например, главари римских банд в те промежутки, когда члены их не были заняты в Риме политикой, занимались грабежом в лесах Этрурии или округляли при помощи насильственных захватов имения своих патронов, то теперь кулачному праву наступил конец; земледельческое население всех классов должно было прежде всего ощутить благодетельные последствия этой перемены. Строительные планы Цезаря, отнюдь не ограничивавшиеся одной толь-

* По крайней мере последнее из этих правил встречается в старых законах египетских царей (*Diodor.*, 1, 79). Напротив, законодательство Солона не знает никаких ограничений размера процентов, а, наоборот, прямо допускает начисление процентов в любом размере.

ко столицей, также должны были помочь в этом деле; так, например, прокладка удобной проезжей дороги из Рима через апеннинские проходы к Адриатическому морю должна была способствовать оживлению италийского внутреннего обмена, а регулирование Фуцинского озера — помочь марсийским крестьянам. Но Цезарь вмешивался и непосредственно в хозяйственные дела Италии. Италийским скотоводам было предписано брать по крайней мере треть своих пастухов из числа свободнорожденных взрослых людей, что одновременно препятствовало бандитизму и доставляло свободному пролетариату новое средство заработка

В аграрном вопросе Цезарь, имевший случай заняться им еще во время своего первого консульства, поступал разумнее Тиберия Гракха и не стремился к восстановлению крестьянского хозяйства во что бы то ни стало, хотя бы даже посредством прикрытой юридическими тонкостями революции против собственности. Он, как и всякий настоящий государственный человек, считал, напротив, первым и самым нерушимым политическим правилом безопасность всего, что называется собственностью или же считается таковой, и только в этих пределах он старался добиться подъема мелкого землевладения в Италии, что и ему казалось жизненным вопросом для нации. Но и в этих пределах можно было сделать многое. Всякое частное право, называлось ли оно собственностью или наследственным владением, возникло ли оно во времена Гракха или Суллы, безусловно признавалось Цезарем. Напротив, все действительно государственные италийские земли с присоединением к ним значительной части недвижимости, находившейся в распоряжении духовных корпораций и по закону принадлежавшей государству, были, поскольку, конечно, они годились для хлебопашества, назначены для раздачи по гракханской системе, после того как Цезарь (как всегда строго бережливый, не терпевший никаких лишних расходов или небрежности даже в мелочах) организовал при посредстве призванной опять к жизни комиссии двадцати всеобщую ревизию италийских прав на владение. Принадлежавшие государству летние апулийские и зимние самнитские пастбища остались и впредь государственной собственностью, и император имел, кроме того, намерение, в случае если бы не хватило этих владений, добыть недостающее количество земли посредством покупки италийских имений за государственный счет. При выборе новых поселенцев оказывалось, конечно, предпочтение отставным солдатам, и тяжесть наборов превращалась по возможности в благодеяние для родины, так как Цезарь возвращал ей взятого в рекруты пролетария в качестве крестьянина-собственника; важно было и то, что опустевшие латинские общины, вроде Вей и Капены, очевидно, предпочтительно снабжались им новыми колонистами. Предписание Цезаря, чтобы новые

собственники получили право продавать полученные ими земли лишь по истечении двадцатилетнего срока, являлось счастливым средним путем между полной свободой права продажи, что быстро возвратило бы бóльшую часть розданных земель в руки крупных капиталистов, и постоянным ограничением свободы оборотов, установленным, хотя и безуспешно, Тиберием Гракхом и Суллой.

Если, таким образом, правительство энергично старалось удалять вредные элементы из италийской народной жизни и укреплять здоровые, то и предпринятое им регулирование городского строя, который лишь недавно, после кризиса Союзнической войны, сложился внутри государственного организма и рядом с ним, должно было создать в новой абсолютной монархии приемлемые для нее формы муниципального быта и способствовать лучшей циркуляции благороднейших элементов общественной жизни. Руководящим принципом двух постановлений, первое из которых было издано в 705 г. для Цизальпинской Галлии, а второе в 709 г. для Италии*, причем в особенности последнее осталось основным законом на все последующее время, является, с одной стороны, строгое очищение городских коллегий от всех порочных элементов (но не ставя при этом задач политической полиции), а с другой — возможно большее ограничение централизации и большая свобода действий общин, которые и теперь еще сохраняли право выбора должностных лиц и, хотя и ограниченную, юрисдикцию по гражданским и уголовным делам. Общие полицейские распоряжения, например ограничение права ассоциаций, нашли, правда, место и здесь.

Таковы те меры, которыми Цезарь пытался преобразовать италийское народное хозяйство. Нетрудно было бы доказать их недостаточность, так как и после них оставалась масса злоупотреблений, и столь же легко заметить, что они во многих отношениях приносили вред, так как некоторые из них чувствительно стесняли свободу оборота. Еще легче доказать, что недуги народного хозяйства Италии были вообще неизлечимы. Но, несмотря на все это, практический государственный деятель не может не восхищаться как самим делом, так и его творцом. Много значит уже то, что после того как такой человек, как Сулла, отчаявшись в возможности радикальной помощи, ограничился только формальным переустройством, недуг был захвачен теперь у самого корня, и тут начата борьба с ним. Мы вправе считать, что Цезарь достиг своими реформами пределов возможного вообще для государственного человека и римлянина. Он не ожидал, да и не мог ожидать от этих мер обновления Италии, которого он, видимо, хотел достигнуть совершенно иным путем. Но прежде чем

* От обоих законов уцелели значительные отрывки.

обратиться к этому вопросу, необходимо познакомиться с состоянием провинций в эпоху Цезаря.

Цезарь застал в Римском государстве четырнадцать провинций: семь в Европе — Дальняя и Ближняя Испания, Трансальпинская Галлия, Итальянская Галлия с Иллирией, Македония с Грецией, Сицилия, Сардиния с Корсикой; пять азиатских — Азия, Вифиния и Понт, Киликия с Кипром, Сирия, Крит; две африканские — Кирена и Африка; к числу их Цезарь присоединил три новых округа, учредив два новых наместничества — Лугдунскую Галлию и Бельгию и образовав из Иллирии особую провинцию*.

В управлении этими провинциями злоупотребления олигархии достигли такого размера, какого не достигало, по крайней мере на Западе, никакое правительство, несмотря на все почтенные достижения в этой сфере, так что дальше, по нашим понятиям, пойти невозможно. Правда, ответственность за это падала не на одних только римлян. Еще до них греческое, финикийское или азиатское владычество лишило народы высшего сознания и самого чувства свободы и справедливости, которым они обладали в лучшие времена. Конечно, было плохо то, что каждый обвиняемый провинциал был обязан лично предстать к ответу в Рим по первому требованию, что римский наместник вмешивался по своему усмотрению в судопроизводство и управление зависимых общин, выносил смертные приговоры и кассировал постановления городского совета, что в случае войны он распоряжался ополчением по своему произволу, и часто самым возмутительным образом; так, например, при осаде Понтийской Гераклеи Котта поручил ополчению все опасные посты, чтобы побережь своих италиков, и, когда осада совершалась не так, как он хотел, приказал отрубить головы заведующим осадными работами. Худо было и то, что никакие нормы нравственности или уголовного права не связывали римских правителей или их свиту и что насилия, изнасилования и убийства под маской закона, да и вовсе без нее, составляли повседневное явление. Но в этом не было по крайней мере ничего нового; почти повсюду народ привык к тому, что с ним обращались, как с рабами, и в сущности дело мало изменилось от того, играл ли роль местного тирана карфагенский правитель, сирийский ли сатрап или

* Так как по установленному Цезарем порядку наместничества ежегодно распределялись между шестнадцатью пропреторами и двумя проконсулами и последние оставались в должности два года, то на основании этого можно было бы заключить, что он намеревался довести общее число провинций до двадцати. Точные же данные получить здесь тем труднее, что Цезарь, быть может умышленно, создал меньше должностей, чем было кандидатур.

римский проконсул. Материальное благосостояние, — почти единственное, о чем еще заботились в провинции, — гораздо менее нарушалось этими поступками, которые при многочисленности тиранов причиняли страдания, правда, многим, но все же только отдельным лицам, чем тяготевшей одновременно над всеми финансовой эксплуатацией, в прежнее время никогда не отличавшейся такой энергией. Римляне в ужасающей форме обнаруживали теперь в этой области свое исконное мастерство в денежных делах. Мы уже прежде старались изобразить римскую систему взимания провинциальных налогов, сперва умеренную и разумную, а затем непомерно тяжелую и извращенную. Что извращения эти прогрессировали, понятно само собой. Регулярные налоги становились невыносимыми больше вследствие неравенства в распределении податей и неправильной системы взимания, чем вследствие их размера. Относительно тягости военных постоев многие римские государственные люди сами говорили, что город страдает обычно от размещения в нем римского войска на зимние квартиры почти так же, как от неприятельского штурма. Если в своем первоначальном виде взимание налогов служило как бы возмещением Риму за принятое им на себя бремя войны и платившая налоги община имела право считать себя избавленной от регулярной службы, то теперь, когда достоверно известно относительно Сардинии, гарнизонная служба возлагалась большей частью на провинциалов, и на них же взваливалось даже в регулярных армиях, помимо других обязанностей, тяжелое бремя кавалерийской службы. Чрезвычайные же поборы вроде, например, поставки хлеба для столичного пролетариата — безвозмездно или за ничтожное вознаграждение — частые и крупные расходы на снаряжение флота и защиту берегов в целях борьбы с пиратством, обязанность поставлять художественные произведения, диких зверей и другие предметы, требовавшиеся безумной роскошью римских театров и звериных боев, реквизиции во время войны — были столь же часты, как и тягостны и не поддавались учету. Одного примера будет достаточно, чтобы показать, как далеко заходило дело в этом отношении. Во время трехлетнего управления Гая Верреса в Сицилии число сельских хозяев упало в Леонтинах с 84 до 32, в Мотуке с 187 до 86, в Гербите с 252 до 120, в Агирии с 250 до 80; так что в четырех наиболее плодородных округах из 100 землевладельцев 59 решили при такой системе управления совсем не обрабатывать свои земли. И эти землевладельцы, как прямо указывается, да к тому же и видно из их незначительного числа, отнюдь не были мелкими крестьянами, а являлись собственниками значительных плантаций и по большей части римскими гражданами.

В зависимых государствах форма налогов была несколько иная, но тяжесть их, насколько возможно, еще увеличивалась, так как кро-

ме римлян, здесь грабили еще и туземные дворы. В Каппадокии и Египте и крестьянин и царь дошли в равной степени до банкротства: первый не мог удовлетворить сборщика податей, а последний — римского кредитора. К этому присоединились еще прямые вымогательства не только со стороны самого наместника, но и его «друзей», из которых каждый считал себя как бы имеющим чек на имя наместника и признавал за собой право вернуться благодаря ему из провинции в качестве человека, сделавшего карьеру. Римская олигархия в этом отношении вполне походила на шайку разбойников и обирала провинциалов, словно это была ее профессия, с полным знанием дела; умелые люди не были при этом слишком разборчивы, так как приходилось делиться с адвокатами и присяжными, и чем больше они крали, тем увереннее делали это; крупный грабитель смотрел пренебрежительно на мелкого, а этот в свою очередь презирал воришку; тот из них, кто каким-нибудь чудом подвергался осуждению, гордился выясненным судебным следствием размером суммы, добытой им путем вымогательства. Так хозяйничали потомки тех людей, которые привыкли бывало по окончании срока своего управления возвращаться домой, провожаемые благодарностью подданных и одобрением сограждан.

Но, быть может, еще хуже хозяйничали среди несчастных провинциалов италийские дельцы, еще меньше подчиненные контролю. Наиболее доходные земельные участки, вся торговля и денежные обороты были сосредоточены в их руках. Имена в заморских областях, принадлежавшие италийской знати, были предоставлены всем невзгодам управления через приказчиков и никогда не видели своего владельца; исключение составляли разве охотничьи парки, встречающиеся уже в эту пору в Трансальпийской Галлии и занимавшие иногда площадь до целой квадратной мили. Ростовщичество процветало более чем когда-либо. Мелкие землевладельцы в Иллирии, Азии, Египте уже в дни Варрона по большей части вели свое хозяйство фактически в качестве закабаленных должников своих римских или иных кредиторов, подобно тому как прежде плебеи зависели от своих заимодавцев-патрициев. Бывали случаи, когда капитал ссужался даже городским общинам за 4 % в месяц. Часто какой-нибудь энергичный и влиятельный делец в целях улучшения своих дел выпрашивал или у сената звание посла*, или же у наместника ранг офицера, а также по возможности отряд солдат; из достоверного источника передается случай, когда один из этих почтенных воинственных банкиров вследствие нежелания города Саламина (на Кипре) исполнить его требова-

* Это и есть так называемое «вольное посольство» («libera legatio»), т. е. посольство, не имеющее настоящих официальных поручений.

ния до тех пор держал в осаде общинный совет в здании совета, пока пять членов совета не умерли с голоду.

К этому двойному гнету, — причем каждый из них был сам по себе невыносим, а взаимодействие их становилось все более уточненным, — присоединялись и общие бедствия, в которых в значительной степени, хотя и косвенно, было виновато римское правительство.

Во время многочисленных войн большие капиталы были вывезены из страны отчасти варварами, отчасти же римскими войсками и еще больше погибли. Из-за слабости римской внутренней и морской полиции повсюду кишели разбойники и пираты. В Сардинии и во внутренних областях Малой Азии разбойничьи шайки стали хроническим явлением; в Африке и Дальней Испании приходилось укреплять все строения, находившиеся вне городской ограды, особыми стенами и башнями. Ужаснейший бич — пиратство — было охарактеризовано нами раньше. Запретительная система, к которой, как к панацее, прибегали римские наместники, когда наступал недостаток денег или вздорожание хлеба (явления, неизбежные при таких условиях), а именно запрещение вывоза золота или зернового хлеба из провинции, ничем, конечно, не помогала делу.

Муниципальная жизнь почти везде пришла в упадок не только вследствие общих бедствий, но и вследствие местных раздоров и хищений общинных должностных лиц. Где подобные невзгоды бывали не случайными явлениями, но тяготели над общинами и отдельными личностями в течение целых поколений, неуклонно усиливая свой гнет с каждым годом, там даже самое образцовое общественное или частное хозяйство должно было, наконец, изнемочь под этим гнетом, и все народности от Тахо до Евфрата должны были подвергнуться несказанным бедствиям. «Все общины, — читаем мы в одном сочинении, появившемся еще в 684 г., — разорены окончательно». То же самое говорится особенно об Испании и Нарбоннской Галлии, т. е. областях, находившихся все же в сносных экономических условиях. В Малой Азии целые города, как, например, Самос и Галикарнасс, стояли почти совершенно пустыми; в сравнении с муками, которые испытывал свободный провинциал, состояние раба казалось тихой гаванью, и даже для терпеливых азнатов, по свидетельству римских государственных деятелей, жизнь становилась невыносимой. Тот, кто захотел бы узнать, как низко может пасть человек в преступном причинении всякой несправедливости и в не менее преступном допущении ее, пусть прочтет в актах уголовных процессов того времени, что осмеливались делать римские сильные люди и что переносили греки, сирийцы и финикийцы. Даже римские государственные люди официально и без околичностей признавали, что самое имя римлян было невыразимо ненавистно во всей Греции и Азии; и если граждане Ге-

раклеи Понтийской однажды перебили всех римских таможенных чиновников, то можно было по этому поводу только пожалеть, что подобные случаи были редки.

Оптиматы насмехались над новым властителем, который приезжал лично осматривать свои «поместья»; действительно, положение всех провинций требовало приложения всей мудрости и внимания одного из тех редких людей, благодаря которым царский титул не является в глазах народов лишь блестящим примером человеческого несовершенства. Нанесенные раны должно было залечить время; Цезарь заботился о том, чтобы оно могло это совершить и чтобы новые раны не могли быть более наносимы.

Администрация была коренным образом преобразована. Проконсулы и пропреторы времен Суллы были почти самодержавны в пределах своих округов и фактически стояли вне всякого контроля; должностные же лица Цезаря представляли собой дисциплинированных слуг строгого господина, отношение которого к подданным благодаря единству и пожизненности его власти было гораздо естественнее и ближе, чем при прежних многочисленных и ежегодно сменявшихся мелких тиранах. Наместничества, правда, по-прежнему распределялись между кончавшими ежегодно срок своей службы двумя консулами и шестнадцатью преторами, но так как император фактически назначал восемь из числа преторов и так как самое распределение провинций между кандидатами зависело исключительно от него, то, в сущности, все эти посты давались только им. При этом и полномочия наместников были существенно ограничены. Им оставлено было наблюдение за судопроизводством, административный надзор над общинами, но их военная власть была парализована верховным командованием в Риме и приставленными им к наместникам адъютантами; набор войск, вероятно, уже в это время был и в провинциях предоставлен, главным образом, агентам императора, так что наместник был отныне окружен служебным персоналом, который в силу правил военной иерархии или же под влиянием еще более строгих правил повиновения хозяину безусловно зависел от императора. Если до того проконсул и его квестор являлись как бы членами разбойничьей шайки, посланными для взимания контрибуции, то чиновники Цезаря должны были защищать слабых против сильных, и вместо прежнего, не имевшего никакого положительного значения контроля сенаторских или всаднических судов для них была установлена ответственность перед справедливым и не знающим снисхождения монархом. Закон о вымогательствах, постановления которого Цезарь усилил еще во время своего первого консульства, применялся им против высших должностных лиц с неумолимой строгостью, заходившей даже за пределы буквы закона. Что же касается сборщиков податей, то за

каждое допущенное ими беззаконие они отвечали перед своим повелителем так же, как на основании жестокого домашнего права того времени отвечали рабы и вольноотпущенники перед хозяином.

Чрезвычайные общественные повинности были правильно соразмерены и сохранены только для действительно неотложных нужд; регулярные же были значительно уменьшены. Мы уже раньше упоминали о коренной реформе налоговой системы: расширение податных льгот, общее уменьшение прямых налогов, ограничение десятинной системы одной только Африкой и Сардинией, полное устранение посредников при взимании прямых налогов — все это являлось для провинциалов благотворной реформой. Нет, правда, оснований утверждать, что Цезарь желал, по примеру одного из своих величайших демократических предшественников, Сертория, избавить подданных от тягостей постоя и приучить солдат сооружать для себя постоянные лагеря, своего рода военные городки. Но по крайней мере после того как он сменил роль претендента на роль монарха, он был не таким человеком, чтобы отдать подданного в жертву солдату, и продолжатели его политики действовали совершенно в его духе, когда они сооружали подобные военные лагеря, а из них города, которые становились центрами италийской цивилизации в варварских пограничных областях.

Гораздо труднее прекращения чиновничьих злоупотреблений было освобождение провинциалов от подавляющего засилья римского капитала. Совершенно сломить его, не прибегая к средствам, еще более опасным, чем само зло, было невозможно; правительство могло устранить только некоторые злоупотребления, так, например, Цезарь воспретил пользоваться титулом государственного посла для ростовщических целей и противодействовал явным насилиям и явному ростовщичеству строгим применением общих уголовных законов, а также законов о ростовщичестве, распространенных и на провинции. Более же радикального исцеления зла он ожидал от возрождения благосостояния провинциалов при лучшем управлении. В это время было сделано много временных распоряжений для облегчения участи некоторых обремененных долгами провинций. Еще в 694 г. Цезарь как наместник Дальней Испании установил, что на уплату кредиторам должны идти две трети дохода их должников. Подобно этому и Луций Лукулл во время своего наместничества в Малой Азии аннулировал часть непомерно выросших процентных недоимок, для покрытия же остальной части определил четвертую часть дохода с земель должника и соразмерный с этим процент с дохода, получаемый им от сдачи в наем дома или труда его рабов. Нам ничего не известно о том, предпринял ли Цезарь после гражданской войны подобную же общую ликвидацию долгов в провинциях; впрочем, после всего только

что сказанного и того, что было сделано для Италии, едва ли можно сомневаться в том, что Цезарь позаботился об этом или что это по крайней мере входило в его планы.

Раз император, поскольку это было во власти человека, избавил провинциалов от притеснений со стороны римских чиновников и капиталистов, то с полной уверенностью можно было ожидать от окрепшего благодаря ему правительства, что оно прогонит дикие пограничные племена и рассеет сухопутных и морских разбойников, как восходящее солнце разгоняет туман. Как ни сильно болели еще старые раны, с появлением Цезаря началась для измученных подданных как бы заря лучшего времени; после многих веков это было первое способное и гуманное правительство и первая политика мира, которая держалась не на трусости, а на силе. Поистине вместе с лучшими из римлян больше всего должны были горевать над трупом великого освободителя его провинциальные подданные.

Но это устранение существующих злоупотреблений не составляло главной задачи провинциальных реформ Цезаря. По мнению как аристократов, так и демократов, провинции были в римской республике тем, чем их часто называли: поместьями римского народа, и в этом духе ими пользовались и их эксплуатировали. Всему этому наступил теперь конец. То, что называлось провинциями, должно было постепенно сойти со сцены, чтобы подготовить обновленной эллино-италийской нации новую, более обширную родину, где ни один округ не существовал бы только ради другого, а все для одного и один для всех; все скорби и язвы народные, для которых не было исцеления в старой Италии, должны были сами собой исчезнуть среди новых порядков обновленной родины, более бодрой, широкой и величественной народной жизни. Мысли эти были, конечно, не новы. Многовековая эмиграция из Италии подготовила, — правда, без ведома самих эмигрантов, — подобное расширение Италии. На основании строго обдуманного плана сперва Гай Гракх, творец римской демократической монархии, инициатор заальпийских завоеваний, основатель колоний в Карфагене и Нарбонне, направил италиков за пределы Италии; вслед за ним другой гениальный государственный человек, вышедший из рядов римской демократии, Квинт Серторий, стал приобщать западных варваров к латинской цивилизации. Он дал знатной испанской молодежи римскую одежду, приучал ее говорить по-латыни и искать высшего образования в италийском духе в школе, основанной им в Оске. В начале правления Цезаря во всех провинциях и зависимых государствах уже существовала масса италийского населения, правда, еще недостаточно устойчивого и концентрированного. Не говоря уже о настоящих италийских городах в Испании и южной Галлии; вспомним только о многочисленных войсках из граждан, кото-

рые набирали Серторий и Помпей в Испании, Цезарь в Галлии, Юба в Нумидии, конституционная партия в Африке, Македонии, Греции, Малой Азии и Крите, вспомним, правда, плохо настроенную латинскую лиру, на которой городские поэты в Кордубе пели хвалу римским полководцам еще во время серторианской войны, вспомним, наконец, переводы греческих стихотворений, особенно ценившиеся за их изящный язык, которые опубликовал вскоре после смерти Цезаря древнейший из известных внеиталийских поэтов, трансальпинец Публий Теренций Варрон Атацинский.

С другой стороны, слияние латинского и эллинского духа было, можно сказать, явлением столь же древним, как сам Рим. Еще во время объединения Италии победоносная латинская нация ассимилировала все побежденные народности и только одну греческую вобрала в себя, не слившись с ней внешним образом. Где бы ни появлялся римский легионер, за ним следовал греческий школьный учитель, в своем роде такой же завоеватель, как и первый. Уже в раннюю пору мы встречаем на Гвадалквивире известных греческих учителей языка, и в Оскской школе изучался не только латинский, но и греческий язык. Само высшее римское образование было не чем иным, как провозглашением на италийском языке великого евангелия эллинского искусства и духа; и эллин не мог протестовать, — по крайней мере вслух, — против скромного притязания цивилизирующих завоевателей распространять культуру среди западных варваров на их собственном языке. Везде, и в особенности там, где национальное чувство сказывалось всего сильнее, — на границах, которым угрожало денационализирующее влияние варваров, как, например, в Массалии, на северном берегу Черного моря, на Евфрате и Тигре, — уже издавна грек видел в Риме щит и меч эллинизма; и, действительно, города, основанные Помпеем на далеком Востоке, возобновляли после многовекового перерыва благотворное дело Александра. Мысль об итало-эллинском государстве с единой национальностью и двумя языками не была новой, — иначе она была бы только ошибкой; но заслуга превращения ее из туманного представления в ясную, конкретную формулу и постепенного перехода от разрозненных начинаний к концентрированному действию есть дело третьего и величайшего из демократических государственных деятелей Рима.

Первым и существеннейшим условием политической и национальной нивелировки государства было поддержание и распространение обеих народностей, предназначенных к совместному господству, и возможно быстрое устранение стоявших рядом с ними варварских или же только слывших варварскими племен.

В известном смысле можно было поставить наряду с римлянами и греками еще третью народность, которая в тогдашнем мире сопер-

ничала с ними своей вездесущностью и которой суждено было играть и в государстве Цезаря не последнюю роль. Это были иудеи.

Поразительно гибкий и упорный народ этот не имел ни в древности, ни в новое время настоящего отечества, будучи повсюду как дома и как будто властвуя везде и нигде. Преемники Давида и Соломона вряд ли имели для евреев того времени большее значение, чем теперь имеет для них Иерусалим. Народ, конечно, находил для своего религиозного и духовного единства видимую опору в маленьком Иерусалимском царстве, но он отнюдь не состоял только из подданных Хасмонеи династии, а из целого ряда иудейских общин, разбросанных по всему парфянскому и римскому государствам. В особенности в Александрии и точно так же в Кирене иудеи составляли внутри этих городов свои особые административно и даже территориально обособленные общины, довольно похожие на еврейские кварталы в наших городах, но более свободные и руководимые этнархом (народным владыкой), игравшим роль высшего судьи и правителя. Как многочисленно было даже в Риме иудейское население еще до Цезаря и как сплочены были иудеи в племенном отношении уже в то время, видно из замечания одного современного писателя, что для наместника бывает опасно вмешиваться в дела иудеев своей провинции, так как по возвращении в Рим он рискует быть освишанным столичной чернью. И в то время преобладающим занятием иудеев была торговля; вместе с римским купцом-завоевателем пробирался тогда всюду и иудейский торговец, подобно тому как впоследствии он следовал за генуэзскими и венецианскими купцами и как у римского купечества, так и у иудейского повсеместно накапливались капиталы. Уже в ту пору мы замечаем своеобразную антипатию западных людей к этой чисто восточной расе, к ее чуждым им понятиям и нравам. Иудейство, не представляя особенно отрадного явления в безотрадной вообще картине тогдашнего смешения народов, отмечало собой тем не менее исторический момент, развивавшийся вместе с естественным ходом вещей, — такой момент, которого не мог ни игнорировать, ни побороть ни один государственный деятель и которому Цезарь (подобно своему предшественнику Александру), здраво взвешивая обстоятельства, скорее даже оказывал возможное содействие. Если Александр, основатель александрийской иудейской общины, сделал этим самым для иудейского народа не менее, чем его собственный царь Давид сооружением иерусалимского храма, то и Цезарь оказывал содействие иудеям и в Александрии и в Риме специальными льготами и привилегиями и защищал их своеобразный культ от местных римских и греческих жрецов. Оба великих человека, конечно, не думали о том, чтобы предоставить иудейской нации равное место наряду с эллинс-

кой или италийско-эллинской народностями. Но иудей не получил, подобно западным народам, в виде дара Пандоры, политической организации и держится вообще индифферентно по отношению к государству; он так же трудно расстается с устоями своей национальной индивидуальности, как охотно приспосабливается к любой другой национальности, усваивая культуру чужих народов, — и в силу этих свойств иудей был как бы необходим в государстве, созданном на развалинах целой сотни живых политических организмов, для того чтобы стать отечеством несколько абстрактной и искусственной национальности. Иудаизм являлся и в древнем мире активным ферментом космополитизма и национального распада и вследствие этого был особенно полноправным членом цезарева государства, в котором гражданственность, в сущности, была лишь космополитизмом, народность же была в основе лишь гуманностью.

Но положительными элементами нового гражданства оставались только латинская и эллинская национальности. Специфически италийскому республиканскому государству наступил конец; тем не менее разговоры среди недовольной знати, будто Цезарь нарочно старается погубить Италию и Рим, чтобы перенести центр тяжести государства на греческий Восток и сделать столицей его Александрию или Илион, были столь же понятной, как и нелепой болтовней. Напротив, во всех начинаниях Цезаря преобладание оставалось всегда за латинской национальностью, что сказывается уже в том, что все его распоряжения издавались на латинском языке и только назначавшиеся для греческих стран повторялись и по-гречески. Вообще же он устанавливал отношения между двумя великими национальностями, составлявшими его монархию, так же как это делали в объединенной Италии его республиканские предшественники: эллинская национальность охранялась всюду, где она существовала, италийская же распространялась по возможности, и ей присуждалось наследие тех этнических групп, которые обречены были на исчезновение. Это было необходимо потому, что полное равенство греческого и латинского элементов в государстве, без сомнения, повлекло бы за собой в короткое время ту катастрофу, к которой много веков спустя привел византизм, так как эллинизм не только культурно во всех отношениях превосходил римскую народность, но превышал ее и численностью и имел в самой Италии в массе добровольно или поневоле переселявшихся туда эллинов и полуэллинов несметное количество невзрачных, но по своему влиянию недостаточно высоко оцененных апостолов. Как о наиболее выдающемся явлении в этой области необходимо вспомнить власть греческих лакеев над римскими монархами, столь же древнюю, как и сама монархия; на

первом месте в этом длинном и отвратительном списке стоит лакей и доверенный Помпея Феофан из Митилены, который благодаря своей власти над слабохарактерным господином содействовал, вероятно, более кого-либо другого началу войны между Цезарем и Помпеем. Не без основания соотечественники воздавали ему после его смерти божеские почести; ведь благодаря ему началось господство камердинеров времен империи, господство, которое до известной степени было и господством эллинов над римлянами. Поэтому правительство имело полное право не оказывать покровительство свыше распространению эллинизма, по крайней мере на Западе. Если в Сицилии не только было снято бремя десятины, но, кроме того, ее общинам даровано латинское право, за чем, как предполагалось, должно было в свое время последовать полное уравнивание Сицилии с Италией, то намерением Цезаря было, конечно, всецело включить в состав Италии этот прекрасный, но в то время запустевший и экономически попавший в большей своей части в руки италиков остров, которому природа судила быть не только соседом Италии, но и одной из прекраснейших ее областей. Вообще же там, где эллинизм уже укоренился, он поддерживался и охранялся. Как политические кризисы ни подсказывали императору мысль об уничтожении столпов эллинизма на Западе и в Египте, — Массалия и Александрия не были разрушены и население их не утратило своего национального облика.

Напротив, римская народность всеми силами и в самых различных местах империи получала особую поддержку правительства путем колонизации или латинизации. Продуктом рокового соединения формального права и грубой силы, но и необходимым условием беспрепятственного уничтожения известных наций был тот принцип, что государство является собственником всей земли в провинциях, не уступленной особым правительственным актом общинам или частным лицам, фактический же владелец имеет лишь терпимое и во всякое время могущее быть отмеченным право наследственного владения; этот принцип был сохранен Цезарем и превращен им из теоретической идеи демократической партии в основное положение монархического права.

В деле распространения римской национальности первая роль выпадала, разумеется, Галлии. Благодаря давно уже признанному демократами в качестве совершившегося факта, а теперь (705) окончательно проведенному Цезарем принятию транспаданских общин в римское гражданство Цизальпинская Галлия приобрела то, чем некоторая часть ее жителей давно уже обладала: политическую равноправность с центром. Эта провинция в течение 40 лет, протекших со времени дарования ей латинского права, была фактически уже со-

вершенно латинизирована. Придирчивые люди могли смеяться над широким гортанным акцентом кельтской латыни и не находили «неуловимой прелести столичного изящества» у инсубров и венетов, которые в качестве легионеров Цезаря завоевали себе своим мечом место и на римском форуме и даже в римской курии. Несмотря на это, Цизальпинская Галлия с ее густым, преимущественно крестьянским населением была еще до Цезаря, в сущности, италийской страной и оставалась в течение веков настоящим прибежищем италийских обычаев и италийского образования; учителя латинской литературы нигде в других местах вне столицы не находили столько сочувствия и успеха.

Если таким образом Цизальпинская Галлия, в сущности, как бы растворилась в Италии, то место, занимаемое ею до той поры, немедленно заняла Трансальпинская провинция, превратившаяся благодаря завоеваниям Цезаря из пограничной провинции во внутреннюю и вследствие своей близости и своего климата более всех других способная со временем стать италийской областью. Туда-то, главным образом к старинной цели заморских поселений римской демократии, и направился поток италийской эмиграции; древняя колония Нарбонн была усилена новыми поселенцами; вместе с тем были основаны в Бетеррах (Безье), недалеко от Нарбонна, в Арелате (Арль) и Араузионе (Оранж) на Роне и в новом приморском городе Форум Юлия (Фрежюс) четыре новые гражданские колонии, имена которых увековечили вместе с тем память о храбрых легионах, содействовавших присоединению северной Галлии к империи*. Романизация же местностей, не занятых колонистами, по крайней мере большей части из них, должна была, очевидно, произойти путем предоставления им латинских городских прав; как некогда Транспаданская Галлия, так Немаус (Ним), центр области, отнятой у массалиотов вследствие их восстания против Цезаря,

* Нарбонн назывался колонией дециманов, Бетерры — сентиманов, Форум Юлия (Forum Iulli) — октаванов, Арелат — секстанов, Араузион — секунданов. Название девятого легиона отсутствовало, так как он обесчестил свое имя плацентским мятежом. Впрочем, нигде не сказано, чтобы поселенцы этих колоний принадлежали к составу тех легионов, имя которых было присвоено колонии, да это и невозможно; сами ветераны, по крайней мере большая часть их, поселялись в Италии. Жалоба Цицерона на то, что Цезарь «одним ударом конфисковал целые провинции и страны» (De offic., 2, 7, 27; ср. *Philipp.* — 13, 15, 31, 32), относится, без сомнения, как видно уже из тесной связи ее с осуждением триумфа над массалиотами, к конфискации земель, предпринятой в Нарбоннской провинции для учреждения этих колоний, и прежде всего к лишению Массалии ее владений.

превратился из массалиотского местечка в латинскую городскую общину и получил значительную территорию и право чеканить монету*. В то самое время, когда Цизальпинская Галлия переходила с этой подготовительной ступени к полному уравниванию с Италией, Нарбоннская провинция вступила в эту переходную стадию; так же как раньше в Цизальпинской Галлии, крупнейшие альпийские общины пользовались теперь полным гражданским, а остальные — латинским правом.

В других, негреческих и нелатинских, областях государства, еще более отдаленных от италийского влияния и процесса ассимиляции, Цезарь ограничился основанием отдельных центров италийской цивилизации, как прежде в Нарбоннской Галлии, имея в виду подготовить, таким образом, будущее окончательное уравнивание.

Подобные начинания можно проследить во всех провинциях государства, за исключением самой бедной и незначительной Сардинии. Как поступал Цезарь в северной Галлии, мы уже рассказали (гл. VII); и здесь латинский язык получил официальное значение, хотя и не во всех еще отраслях общественных сношений; и на Женевском озере возникла колония Новиодун (Нион), — в то время самый северный город с италийским устройством.

В Испании, вероятно, наиболее густо населенной в то время области Римского государства, цезаревы колонисты были поселены наряду с древним населением не только в важном эллино-иберийском приморском городе Эмпориях, но, как показали недавно открытые документы, некоторые колонисты, вероятно, взятые преимущественно из столичного пролетариата, нашли себе приют и в городе Урсоне (Осуне), недалеко от Севильи, в самом центре Андалузии, а может быть, и во многих других местностях этой провинции. Древний и богатый торговый город Гадес, муниципальный строй

* Прямых указаний на то, как было получено латинское право неколонизованными местностями этой области, и в частности Немаусом, не существует. Но так как сам Цезарь (В. с., 1, 35) почти прямо говорит, что Немаус был вплоть до 705 г. массалиотской деревней; так как, по сведениям Ливия (*Dio*, 41, 25; *Flor.*, 2, 13; *Oros.*, 6, 15), именно эта часть массалиотских владений была отнята у них Цезарем, так как, наконец, еще на доавгустовских монетах, а вслед затем и у Страбона город этот упоминается как община с латинским правом, то один только Цезарь и мог быть инициатором распространения на город этого права. Что касается Русцины (Русильон, близ Перпиньяна) и других общин Нарбоннской Галлии, рано получивших латинское городское право, то можно только предположить, что они получили его одновременно с Немаусом.

которого Цезарь реформировал в духе времени еще будучи претором, получил теперь от императора полные права италийских муниципиев (705) и, как было в Италии с Тускулом, стал первой основанной не Римом внеиталийской общиной, вступившей в состав римских граждан. Через несколько лет (709) те же права были распространены на ряд других испанских общин, а еще некоторые получили, вероятно, латинское право.

В Африке было приведено теперь в исполнение то, что не суждено было довести до конца Гаю Гракху, и на том месте, где стоял город исконных врагов Рима, было поселено 3 тыс. италийских колонистов и множество живших в карфагенской области арендаторов и временных владельцев; и с изумительной быстротой снова расцвела вследствие замечательно благоприятных местных условий новая «колония Венеры», римский Карфаген. Утике, бывшей до той поры главным и первым торговым городом провинции, была предварительно, по-видимому, путем дарования латинского права дана известная компенсация за восстановление более сильного ее соперника. Во вновь присоединенной к государству Нумидийской области крупный город Цирта и остальные общины, отданные римскому кондотьеру Публию Ситтию и его друзьям, получили права римских военных колоний. Конечно, значительные города, которые из-за безумного неистовства Юбы и дошедших до отчаяния остатков конституционной партии превратились в груды развалин, не так скоро воскресли, как обращены были в пепел, и немало развалин долго еще после этого напоминало об этом ужасном времени. Лишь обе новые юлиевы колонии, Карфаген и Цирта, сделались и остались центрами африкано-римской цивилизации.

В опустевшей Греции Цезарь занимался, кроме осуществления других планов (например, учреждения римской колонии в Бутроте, против Корфу), прежде всего восстановлением Коринфа; туда не только была выведена довольно значительная гражданская колония, но и был составлен план прекращения опасного плавания вокруг Пелопоннеса: предполагалось было прорывать перешеек, чтобы направить все торговые сношения Италии с Азией через Коринфо-Саронический залив.

Наконец, и на отдаленном эллинском Востоке монарх вызвал к жизни италийские поселения; таковы, например, поселения у Черного моря, в Гераклее и Синопе, причем италийские колонисты, как и в Эмпориях, населяли эти города вместе с прежними их жителями; то же было и на сирийском берегу в важной гавани Берита, которая, подобно Синопе, получила италийское устройство; даже в

Египте на господствующем над александрийским портом острове с маяком была основана римская фактория.

Вследствие всех этих мероприятий италийские общинные вольности занесены были в провинции в более широких размерах, чем до той поры. Общины полноправных граждан, т. е. все города Цизальпинской провинции и рассеянные в Трансальпинской Галлии и других областях гражданские колонии и муниципии, стали настолько равноправны с италийскими, что управлялись самостоятельно и даже пользовались, хотя и ограниченным, правом суда, но более важные процессы подлежали, конечно, ведению имевших полномочия в данной местности римских властей, обычно ведению наместника этого округа*. Формально автономные латинские и другие освобожденные общины, как, например, с этого времени все общины Нарбоннской Галлии и Сицилии, если они не были общинами гражданскими, а также некоторые общины в других провинциях, пользовались не только самоуправлением, но, вероятно, и неограниченной юрисдикцией, так что наместник имел возможность вмешиваться в их дела, лишь опираясь на свое — правда, очень широкое — право административного контроля.

И в прежнее время существовали уже в пределах наместничества полноправные общины, как, например, Аквилея, Нарбонн; и целые наместничества, подобно Цизальпинской Галлии, состояли из общин с италийским устройством, но если не в юридическом, то в политическом отношении было необычайно важным нововведением, что теперь существовала провинция, которая, по-

* Доказано, что ни одна полноправная гражданская община не пользовалась большими правами, чем ограниченной юрисдикцией. Нужно, однако, отметить следующий порядок, ясно вытекающий из изданного Цезарем муниципального положения для Цизальпинской Галлии; те процессы, которые выходили за пределы компетенции общин этой провинции, поступали на рассмотрение не к наместнику ее, но к римскому претору; в остальном же наместнику были подсудны все процессы в его области, и он заменял претора, решавшего дела между гражданами, как и претора, разбиравшего споры граждан с негражданами. Без сомнения, это — остаток порядков, существовавших до Суллы, когда на всем континенте вплоть до Альп право суда принадлежало лишь столичным должностным лицам, и поэтому все судебные дела, выходящие из пределов ведения общин, должны были поступать к преторам в Рим. Напротив, в Нарбонне, Гадесе, Карфагене, Коринфе процессы в подобных случаях направлялись к соответствующему наместнику, да и по практическим соображениям трудно допустить возможность направления дел в Рим.

добно Италии, была населена одними только римскими гражданами*, и что в остальных подготовлялось то же самое.

Таким образом, отпадала важная противоположность, существовавшая между Италией и провинциями, и вместе с ней исчезало и другое различие, состоявшее в том, что в Италии не стояло обыкновенно никаких войск, тогда как это было обычным явлением в провинциях; теперь войска стояли лишь там, где приходилось защищать границу, и начальники тех провинций, где в этом не было нужды, как, например, Нарбоннской Галлии и Сицилии, были военачальниками только по имени. Формальная противоположность между Италией и провинциями, которая всегда основывалась на других признаках различия, сохранилась, правда, и впредь. Италия осталась областью гражданского суда и сферой деятельности консулов и преторов, провинции же остались округами военной юрисдикции, подчиненными проконсулам и пропреторам, но судебный процесс по гражданским и военным законам давно уже на практике совпадал, а разнообразие в титулах должностных лиц значило мало с тех пор, как выше всех стоял император.

Очевидно, во всех этих отдельных случаях основания и организации городов, которые, по крайней мере по своему замыслу, если не по его осуществлению, относятся ко временам Цезаря, сказывается определенная система. Италия превратилась из повелительницы покоренных народностей в главу обновленной италийско-эллинской нации. Уравненная во всех отношениях с метрополией, Цизальпинская провинция служила ручательством, что в монархии Цезаря, подобно тому как было в лучшие дни республики, каждая область латинского права может ожидать, что ее поставят наравне с ее старшими сестрами и даже с метрополией. На ближайшей ступени к полному национальному и политическому уравнению с Италией находились соседние с ней земли — греческая Сицилия и быстро латинизировавшаяся южная Галлия. Несколько далее от этого уравнения стояли остальные области государства, в которых (подобно тому, как до тех пор в

* Трудно понять, почему дарование права римского гражданства известной области и удержание провинциальной администрации в ней считались взаимно исключаящимися. Кроме того, Цизальпинская Галлия получила право гражданства по закону Росция 11 марта 705 г., но она оставалась провинцией, пока жив был Цезарь, и лишь после его смерти объединена была с Италией (*Dio*, 48, 12); точно так же и существование наместников можно проследить до 711 г. Уже обозначение этой области в цезаревом муниципальном положении не как части Италии, а как Цизальпинской Галлии должно было подчеркнуть ее особое положение.

южной Галлии Нарбонн был римской колонией) большие приморские города — Эмпорий, Гадес, Карфаген, Гераклея Понтийская, Синопа, Берит, Александрия — стали теперь италийскими или греко-италийскими общинами, опорами италийской цивилизации даже на греческом Востоке, столпами будущего национального и политического уравнивания всего государства. Господство городской общины Рима над побережьем Средиземного моря окончилось; место его заняло новое средиземноморское государство, и первым его делом было искупление двух величайших преступлений, которые эта городская община совершила по отношению к цивилизации. Если разорение обоих важнейших торговых пунктов в римских владениях обозначало начало поворота от политики протектората римской общины к политической тирании и финансовой эксплуатации подвластных стран, то теперь немедленное и блестящее восстановление Карфагена и Коринфа обозначало основание большого государственного организма, подготавливающего все страны у Средиземного моря к национальному и политическому равенству, к подлинно государственному единению. Цезарь имел право даровать городу Коринфу помимо его славного старого имени новое имя — «Во славу Юлия».

Если, таким образом, новой унитарной империи была дана национальность, правда, лишенная естественных признаков народной индивидуальности и скорее походившая на неодоушевленное произведение искусства, чем на живой продукт природы, то она нуждалась еще в единстве тех учреждений, которыми движется общая жизнь нации, именно государственного строя и управления, религии и суда, монетной системы, системы мер и весов, причем, конечно, всевозможные местные особенности могли отлично уживаться с основным единством. Во всех этих сферах может идти речь только о начатках, так как окончательное построение монархии Цезаря в духе единообразия было делом будущего, а он заложил лишь фундамент для здания, которое должно было сооружаться в течение ряда веков. Но и поныне можно еще подметить многие линии, проведенные великим человеком во всех этих областях; и следить за ним в этом случае гораздо отраднее, чем при созидании им национальности из обломков других народов.

Что касается государственного устройства и управления, то в другой связи нами уже были указаны важнейшие моменты новой политики объединения, именно переход верховной власти от римского общинного совета к самодержцу средиземноморской монархии, превращение этого совета в высший имперский совет для всей Италии и провинций и, главное, начавшееся распространение римских и вообще италийских городских порядков на провинциальные общины. Этот последний путь — дарование латинского, а вслед за тем и римского

права тем общинам, которые созрели для окончательного вступления в унитарное государство, — сам собой постепенно привел к установлению одинаковых муниципальных порядков. Лишь в одном отношении невозможно было ждать: новая империя настоятельно нуждалась в таком учреждении, которое дало бы правительству возможность иметь всегда под рукой главнейшие основы управления, именно численность населения и имущественное положение отдельных общин, т. е. в усовершенствованном цензе. Прежде всего был преобразован италийский ценз. По распоряжению Цезаря* в будущем одновременно с производившейся в Риме имущественной переписью во всех италийских общинах высшая администрация должна была записывать имя каждого гражданина, его отца или лица, отпустившего его на волю, округ, возраст, его материальное положение, и все эти списки должны были доставляться римскому квестору за столько времени, чтобы дать ему возможность своевременно окончить общую перепись римских граждан и их имущества. Что Цезарь имел намерение ввести подобные учреждения и во всех провинциях, за это ручаются частью уже назначенные им самим размежевания и земельные описи во всем государстве, частью и самый дух этого учреждения, так как здесь была найдена общая формула для составления как в италийских, так и неиталийских общинах государства необходимых для центральной администрации описей. Очевидно, Цезарь и здесь имел намерение вернуться к традициям древнейшей республиканской эпохи и снова ввести государственный ценз, который древняя республика распространила на все подвластные ей общины Италии и Сицилии посредством подобного же распространения городского ценза с его сроками и другими основными приемами, как это было сделано Цезарем относительно Италии. Это было одно из первых учреждений, пришедших в упадок по милости опустившейся аристократии, вследствие чего высшая правительственная власть утратила способность обзирать наличные военные и податные средства государства и всякую возможность действительного контроля. Уцелевшие документы и самая совокупность явлений неопровержимо доказывают, что Цезарь подготавливал возобновление заглохшего в течение уже многих веков общегосударственного ценза.

Нет, кажется, необходимости указывать на то, что ни в области религии, ни в отправлении правосудия невозможно было думать о коренной нивелировке. Тем не менее при всей терпимости к местным

* Сохранение муниципальных оценочных органов говорит в пользу того, что уже после союзнической войны в Италии производились местные цензы (*Mommsen, Römisches Staatsrecht, Bd. 2, 3 Aufl., S. 368*), но проведение этой системы есть, вероятно, дело Цезаря.

культам и общинным статутам новое государство нуждалось в общем культе, приемлемом для италийско-эллинической национальности, а также в общих юридических нормах, которые стояли бы выше всех муниципальных статутов. Что государство в них нуждалось, ясно уже из того, что как то, так и другое уже фактически существовало. В религиозной области уже в течение многих веков делались попытки согласовать италийский и эллинский культы, частью посредством внешнего усвоения понятия о божестве, частью посредством внутренних компромиссов, и ввиду податливой аморфности италийских богов было даже весьма нетрудно превратить Юпитера в Зевса, Венеру — в Афродиту и растворить, таким образом, любую идею латинских верований в соответствующей копии эллинской мифологии. Италийско-эллиническая религия в основных своих чертах уже сложилась; в какой степени распространено было убеждение, что в этой сфере сделан уже значительный шаг вперед от чисто римской к мнимой италийско-эллинической национальности, видно, например, из встречаемого в теологии Варрона различия «общих», т. е. признаваемых римлянами и греками, богов от особых божеств римской общины.

В юридической сфере, а именно в области уголовного и полицейского права, где правительство вмешивается более непосредственно и где потребности правового порядка удовлетворяются разумным законодательством, ничто не мешало достижению путем законодательной деятельности той степени фактического единообразия, которое, несомненно, необходимо было и здесь для целей государственного единства. В гражданском праве, напротив, где инициатива принадлежит самому течению жизни, законодателю же остается лишь формулировка, единое общеимперское гражданское право, которое законодатель, конечно, не мог бы создать, давно уже развилось само естественным путем благодаря деловым сношениям. Римское городское право юридически все еще основывалось на формулах латинского, обычного права, заключавшихся в Двенадцати таблицах. Позднейшие законы ввели, правда, в отдельных случаях некоторые улучшения в духе времени, в числе которых, вероятно, важнейшим было упразднение старинного неуклюжего правила открывать процесс произнесением обеими тяжущимися сторонами строго определенных формул; они были заменены инструкцией для присяжных (*formula*), составляемой письменно должностным лицом, руководящим ходом процесса, но, в сущности, народное законодательство лишь нагромоздило на эту крайне ветхую основу необозримую грудку специальных законов, большей частью давно устаревших и забытых, которые можно сравнить с английскими статутными законами. Попытки научной формулировки и систематизации сделали, правда, более доступными и осветили извилистые ходы старого гражданского права, но никакой

римский Блэкстон не мог бы устранить главное неудобство, а именно то, что составленный за четыреста лет кодекс городской премудрости с разрозненными и запутанными добавлениями к нему должен был теперь служить источником права для большого государства.

Гораздо существеннее была помощь со стороны самой житейской практики. Давно уже в Риме оживленные деловые сношения между римлянами и неримлянами выработали международное частное право (*jus gentium*), т. е. комплекс принципов именно относительно условий этого общения, и, сообразуясь с ними, в тех случаях, когда какое-нибудь дело не могло быть решено ни по римскому, ни по какому-либо иному местному праву, римские судьи произносили свое решение, невзирая на римские, эллинские, финикийские и иные правовые особенности, но руководясь общими правовыми воззрениями, лежавшими в основе обычных отношений между людьми. Тут-то и нашло для себя отправную точку образование нового права. Служа сперва руководящей нитью для правовых сношений римских граждан между собой, оно на место древнего, не пригодного на практике городского права фактически поставило новое право, которое по существу своему основывалось на компромиссе между национальным правом Двенадцати таблиц и интернациональным или так называемым «общенародным правом». Первого придерживались, изменяя его, конечно, в духе времени, в брачных, семейных и наследственных вопросах; во всех же постановлениях, касавшихся имущественных отношений, словом, в вопросах собственности и контрактов, дело решалось на основании общенародного права; в этом случае были даже заимствованы многие важные положения местного провинциального права, как, например, законы о ростовщичестве и институт ипотеки. Разом ли или постепенно, при участии одного или многих лиц, когда именно, через кого и как проникли в жизнь эти радикальные нововведения — на все эти вопросы мы не можем дать удовлетворительного ответа. Мы знаем только, что реформа эта, естественно, получила начало в городском суде, что она прежде всего получила свою формулировку от вновь вступавших в должность городских судей, в издаваемых ежегодно для руководства сторон наставлениях относительно важнейших юридических форм, которых надлежало придерживаться в начинавшемся судебном году (*edictum annuum* или *perpetuum praetoris urbani de iuris dictione*), и что эта реформа бесспорно нашла свое завершение лишь в рассматриваемую нами эпоху, хотя, конечно, многие подготовительные шаги могли быть сделаны и в более раннюю пору. Новые юридические принципы были в теоретическом отношении абстрактны, так как римские правовые воззрения были очищены здесь от своих национальных особенностей настолько, насколько эти особенности сознавались; но вместе с тем они отличались на практике положительностью, так как отнюдь не расплывались в туманных

представлениях о всеобщей справедливости и не сводились к чистойшему абсурду так называемого естественного права, а, напротив, применялись назначенными для этой цели учреждениями к определенным, конкретным случаям, на основании строгих норм; они не только были способны принять юридическую формулировку, но уже в значительной степени вошли в городской эдикт. Далее, эти принципы фактически удовлетворяли требованиям времени, так как они представляли для процесса, для приобретения собственности, заключения договоров необходимые вследствие развивавшегося общения между людьми и более удобные формы. Наконец, они сделались в основных чертах общим вспомогательным правом на всем пространстве Римской империи, так как различные местные установления были удержаны для тех юридических отношений, которые не возникают среди житейской практики, точно так же как и для местных сделок между членами одного и того же судебного округа; напротив, имущественные сделки между имперскими подданными из различных судебных округов регулировались всегда в Италии и в провинциях по нормам городского эдикта, юридически, конечно, не применимого к этим случаям. В общем право, изложенное в городском эдикте, занимало в это время то же самое положение, которое заняло в нашем государственном развитии римское право; абстрактное и в то же время положительное, насколько подобные контрасты соединимы, оно также имело за себя свои более гибкие, сравнительно с древнейшим правом, формы правовых отношений и служило наряду с местными статутами общим вспомогательным правом. Лишь в одном отношении развитие римского права имело существенное преимущество перед нами, а именно, лишенное национального характера законодательство в Риме не явилось, как у нас, преждевременно и как бы искусственно рожденным, а сложилось своевременно и естественно.

В таком положении застал Цезарь право. Если он составил план нового кодекса, то нетрудно сказать, что он имел при этом в виду. Кодекс этот мог обнимать только право римских граждан; сделаться общеимперским сводом законов он мог лишь постольку, поскольку собрание действующих законов господствовавшей нации должно было само собой сделаться общим вспомогательным правом на всем пространстве империи. В уголовном праве (если, конечно, план Цезаря касался и его) требовался только пересмотр и редактирование сулланских постановлений. Что касается гражданского права, то для государства, чью национальность составляло собственно все человечество, необходимой и единственно возможной формулировкой являлся естественно выросший из юридической практики городской эдикт, имевший определенную законную силу. Первый шаг в этом отношении был сделан в 687 г. законом Корнелия, который обязывал судью соблюдать нормы, установленные при вступлении его в должность, и

не выносить иных произвольных решений; правило это может быть сравнено с законами Двенадцати таблиц и сделалось для закрепления новейшего городского права почти столь же важным, как и тот кодекс был важен для закрепления древнейшего права. Но если со времени издания корнелиева закона эдикт не зависел уже от каприза судьи, а судья был юридически обязан руководствоваться эдиктом, если новый кодекс фактически вытеснил древнее городское право и в судебной практике и в самом преподавании права, то всякому городскому судье все еще предоставлялась свобода неограниченно и произвольно изменять эдикт при своем вступлении в должность, и законы Двенадцати таблиц с добавочными статьями все еще формально имели перевес над городским эдиктом, так что в каждом отдельном случае столкновения норм устаревшее положение должно было устраняться произвольным вмешательством должностных лиц, другими словами, нарушением формального права. Подсобное применение городского эдикта в судах над иностранцами в Риме и в различных провинциальных судах было теперь всецело поставлено в зависимость от произвола отдельных высших сановников. Очевидно, необходимо было окончательно устранить старое городское право, поскольку оно не вошло в состав нового, и в этом последнем поставить предел произвольным изменениям со стороны отдельных городских судей, а вместе с тем по возможности урегулировать подсобное применение его наравне с местными статутами. Таково было намерение Цезаря, когда он составлял проект кодекса; таково оно и должно было быть. План этот не был выполнен, и, таким образом, было увековечено тяжелое переходное состояние в римском судопроизводстве, пока через шестьсот лет, — но и тогда все еще в несовершенном виде, — эта необходимая реформа не была осуществлена одним из преемников Цезаря — императором Юстинианом.

Наконец, в монетной системе, мерах и весе было давно уже начато уравнивание латинской и эллинской систем. Эта тенденция еще в глубокой древности сказывалась в необходимых для торговли и делового обмена постановлениях о весе, мерах объема и длины, в монетном же деле уравнивание установилось немногим позже введения серебряного чекана. Тем не менее это старинное уравнивание систем было недостаточно, так как даже в эллинском мире еще удержались тогда одновременно разнообразнейшие системы измерений и монеты; необходимо было — что, конечно, входило в план Цезаря — ввести повсюду в новой унитарной империи (в тех случаях, где это еще не было проведено) римскую монету, римские меры и римский вес и притом таким образом, чтобы в официальных сношениях расчеты производились только на этом основании, а неримские системы были оставлены для местного применения, частью же поставлены в раз навсегда определенное соотношение к римской систе-

ме*. Деятельность Цезаря можно, однако, проследить лишь в двух из важнейших этих областей — в денежной и календарной реформе.

Римская монетная система основана была на обоих совместно обращавшихся в правильном соотношении между собой благородных металлах, из которых золото принималось и выдавалось по весу**, серебро же по чекану; фактически вследствие расширившихся заморских оборотов золото получило значительный перевес над серебром. Неизвестно, не был ли еще и раньше на всем протяжении империи обязателен прием римской серебряной монеты; во всяком случае, роль общеимперских денег занимало во всех римских владениях золото в слитках, тем более что римляне воспретили чекан золотых монет во всех провинциях и зависимых государствах, и денарий законным путем или же фактически получил право гражданства кроме Италии в Цизальпинской Галлии, Сицилии, Испании и многих других областях, особенно на Западе. Со времен же Цезаря ведет начало имперская монета. Подобно Александру, и он отметил основание новой монархии, охватывающей весь цивилизованный мир, тем, что единственный металл, способный к посредничеству между различными частями мира, приобрел и в монетном деле первенствующее значение. В каких громадных размерах стала немедленно чеканиться цезарева новая золотая монета, доказывается тем фактом, что в одном кладе, зарытом семь лет спустя после смерти Цезаря, было найдено до 80 тыс. таких монет. Конечно, здесь могли иметь влияние и финансовые спекуляции***. Что касается серебряных денег, то благодаря Цезарю было

* Недавно открытые в Помпеях меры веса позволяют предполагать, что в начале империи рядом с римским фунтом признавалась в качестве второго измерителя веса аттическая мина, в соотношении 3: 4 (*Hermes*, 16, 311).

** Золотые монеты, которые были выбиты по одновременному приказанию Суллы и Помпея, в обоих случаях в ограниченном числе, не опровергают этого положения, так как, вероятно, они принимались только по весу, точно так же как и золотые монеты Филиппа, удержавшиеся в обращении до времен Цезаря. Во всяком случае, они заслуживают внимания, так как являются предтечами цезаревой имперской монеты, подобно тому как правление Суллы подготовило новую монархию.

*** Кажется, что в древнейшее время требования государственных кредиторов, исчисленные в серебре, не могли быть оплачены против их воли золотом на основании законного курсового отношения его к серебру; между тем нет сомнения, что со времен Цезаря золотая монета должна была беспрекословно приниматься за 100 серебряных сестерциев. Это было в то время важно потому, что вследствие пущенных Цезарем в обращение больших масс золота оно ходило некоторое время в торговле на 25 % ниже установленного курса.

окончательно установлено на всем Западе исключительное господство римского денария; начало этому было положено еще раньше, когда Цезарь закрыл в Массалии монетный двор, единственный на Западе, серебряные деньги которого соперничали еще с римскими. Чеканка мелкой серебряной и медной разменной монеты оставалась дозволенной некоторым западным общинам. Так, монета в три четверти денария часто чеканилась некоторыми латинскими общинами южной Галлии, полуденарии — многими северогалльскими округами, мелкие медные монеты чеканились многократно и после Цезаря в общинах Запада; однако и эта разменная монета чеканилась только по римской пробе, и принимать ее было, вероятно, обязательно лишь в местных сношениях. О приведении в единообразную систему монетного дела на Востоке Цезарь, по-видимому, думал так же мало, как и прежде правительство. Здесь обращались громадные массы грубо выделанных серебряных денег, большей частью слишком легкого веса или совершенно стертые, или даже, как, например, в Египте, медная монета, родственная нашим бумажным деньгам, а сирийские торговые города, вероятно, сильно ощутили бы отсутствие своих прежних местных денежных знаков, соответствовавших месопотамскому курсу. Позднее мы находим, что денарий имеет везде признанный законом курс и что официально расчеты производятся только в денариях*, местные же монеты также имели законное обращение внутри своего ограниченного района, но по курсу, невыгодному для них, сравнительно с денарием**. Правило это было, вероятно, введено не сразу и отчасти, быть может, даже до Цезаря; во всяком случае оно служило существенным дополнением к цезаревой имперской монетной системе, чья новая золотая монета нашла себе непосредственный образец в имевшей приблизительно тот же вес александрической монете и, вероятно, была прежде всего рассчитана на обращение среди народов Востока.

Родственной по характеру мерой была реформа календаря. Республиканским календарем, как это ни странно, все еще служил тот же древний календарь децемвиров, — искажение дометоновского восьмилетнего календаря. Совокупными усилиями самой беспомощной

* Не существует ни одной надписи эпохи империи, где денежные суммы были бы исчислены иначе, как на римские деньги.

** Так, аттическая драхма, хотя она и заметно тяжелее денария, считалась ему равноценной; антиохийский тетрадрахм, содержащий средним числом 15 граммов серебра, равнялся 3 римским денариям, где весу было только около 12 граммов; так, малоазийский цистофор равнялся по весу серебра — 3, а по законному тарифу — $2\frac{1}{2}$ денария; родосская полудрахма равнялась по весу серебра $\frac{3}{4}$, а по законному тарифу — $\frac{5}{8}$ денария и т. д.

математики и самой жалкой администрации он доведен был до того, что опередил время на целых 67 дней и праздновал, например, цветочный праздник (флораллии) вместо 28 апреля — 1 июля. Цезарь устранил, наконец, эти непорядки и с помощью греческого математика Созигена ввел в религиозное и официальное употребление расположенный по египетскому евдоксову календарю италийский сельскохозяйственный год с разумной системой високосных прибавок, вследствие чего было отменено установленное старинным календарем на 1 марта начало нового года и вместо этого принято за календарную эпоху для перемены года 1 января — срок, установленный издавна для смены высших должностных лиц и вследствие этого уже давно имевший в гражданской жизни преобладающее значение. Обе эти перемены вступили в силу 1 января 709 г. по городскому счислению, т. е. в 45 г. до н. э., и вместе с ними началось применение и названного по имени его составителя юлианского календаря, который еще долгие годы после гибели цезаревой монархии оставался обязательным для всего образованного мира и в главных чертах остался таким и поныне. Для его разъяснения к нему в подробном эдикте был присоединен заимствованный у египетских астрономов и, правда, несколько неумело примененный в Италии звездный календарь, в котором определялись по календарным дням восход и заход наиболее известных созвездий*. И в этой области римский и греческий мир достигли, таким образом, единообразия.

Таковы были основы созданной Цезарем средиземноморской монархии. Вторично социальный вопрос вызвал в Риме кризис, в котором противоречия ставились так, что они были неразрешимы, а формулировались так, что они были непримиримы не только с виду, но и на деле. В первый раз Рим был спасен тем, что Италия растворилась в Риме, а Рим — в Италии и что в новом, расширенном и преобразовавшемся отечестве старые противоречия не сгладились, но совершенно исчезли. Теперь же он был снова спасен тем, что страны вокруг Средиземного моря вошли в Рим или готовились в нем ра-

* Тождественность этого эдикта, отредактированного, быть может, Марком Флавием (*Macrob, Saturn.*, 1, 14, 2), с приписываемой Цезарю статьей о созвездиях, доказывается шуткой Цицерона (*Plutarch.*, *Caes.*, 59), что теперь «Лира» восходит по приказу. Впрочем, еще до Цезаря было известно, что исчисление солнечного года в 365 дней и 6 часов, на котором был основан египетский календарь и которое положил в основу своего календаря и Цезарь, было слишком длинно. Самое точное из известных древнему миру исчисление тропического года, именно гиппархово, устанавливало год в 365 дней 5 часов 52 минуты 12 секунд; действительная же длина его 365 дней 5 часов 48 минут 28 секунд.

створиться, борьба италийских бедняков и богачей, которая в старой Италии могла окончиться лишь уничтожением самой нации, не имела более подходящей арены, да и никакого смысла, в Италии, распространившейся на три части света. Латинские колонии замкнули ту пропасть, которая в V в. грозила поглотить римские общины; еще более глубокую трещину наполнили в VII в. заальпийские и заморские колонии Гая Гракха и Цезаря. Для одного лишь Рима история не только совершала чудеса, но и повторяла их и дважды исцелила внутренний неизлечимый кризис государства тем, что обновила это государство. В этом обновлении кроется уже, правда, немалая доля разложения; как в старину объединение Италии совершалось на обломках самнитской и этрусской народности, так и средиземноморская монархия возникла на развалинах бесчисленных государств и племен, некогда живых и полных силы; однако это такое разложение, из которого взошли свежие и до сих пор зеленеющие посевы. Совершенно уничтожены были ради сооружения этого нового здания лишь второстепенные национальности, давно уже обреченные на гибель все нивелирующей цивилизацией. Там, где Цезарь выступал в качестве разрушителя, он выполнял лишь вынесенный уже историческим развитием приговор, зародыши же культуры он оберегал везде, где находил их, — в своей ли собственной стране или у родственной ей эллинской народности. Он спас и обновил римскую национальность, но и греческую нацию он не только щадил, но с тем же верным, гениальным пониманием, с которым он как бы вторично положил основание Риму, отдался делу возрождения эллинов и возобновил прерванное дело великого Александра, чей образ, надо полагать, никогда не покидал души Цезаря. Он разрешил обе эти великие задачи не только одновременно, но и одну при помощи другой. Обе главные основы человеческого бытия, — общее и индивидуальное развитие, или государство и культура, — некогда в зародыше соединенные вместе у древних греко-италиков, пасших свои стада в первобытной простоте вдали от берегов и островов Средиземного моря, разобщились с той поры, когда это племя разделилось на эллинов и италиков, и в течение тысячелетий оставались разобщенными. Теперь же потомок троянского князя и латинской царевны создал из государства, лишенного собственной культуры, и из космополитической цивилизации новое целое, в котором, достигнув высшего предела человеческого существования, в роскошной полноте блаженной старости государство и культура снова сошлись и достойно наполнили собой всю обширную сферу, приспособленную для такого содержания.

Мы представили пути, проложенные Цезарем для этого дела, пути, на которых он сам работал и по которым продолжатели его пытались работать далее в указанном им направлении, если не с той

же силой духа и энергией, то все же по планам своего великого наставника. Немногое было выполнено, напротив, многое только намечено. Совершенен ли был сам план, это может решить лишь тот, кто чувствует себя способным мысленно состязаться с таким человеком; мы не замечаем важных пробелов в том, что дошло до нас, и каждого отдельного камня в здании достаточно, чтобы сделать человека бессмертным, а все они составляют гармоническое целое. Пять лет с половиной — даже не половину срока властвования Александра — правил Цезарь в качестве римского монарха; в промежуток между семью большими войнами, которые в общей сложности позволили ему пробыть в столице не более 15 месяцев*, он устроил судьбы мира для настоящего и будущего, начиная с установления раздельной линии между цивилизацией и варварством и до устранения дождевых луж на улицах столицы, и сохранял при этом еще столько досуга и веселости, чтобы внимательно следить за театральными пьесами, писавшимися на премию, и вручать победителю венок, импровизируя стихи. Быстрота и уверенность выполнения плана доказывают, что он долго продумывал его и точно установил все детали, но и в этом виде выполнение не менее заслуживает удивления, чем самый план. Основные линии были намечены, и новое государство таким образом установлено навеки; докончить же это строительство могло лишь беспредельное будущее. В этом отношении Цезарь мог про себя сказать, что его цель достигнута, и таков был, вероятно, смысл фразы, которую иногда слышали его друзья, — что он довольно пожил. Но именно потому, что это строительство было бесконечно, зодчий, пока жил, неустанно возводил камень на камне все с тем же искусством и все с той же энергией, занятый своим делом, не ускоряя его и не откладывая, как будто для него существовала лишь настоящая минута и не было завтрашнего дня. Так работал и создавал он, как не удавалось это ни одному смертному ни до ни после него, и как труженик и творец живет еще после многих веков в памяти народов первый и в то же время единственный император — Цезарь.

* Цезарь был в Риме в апреле и декабре 705 г., оба раза оставаясь лишь по несколько дней; от сентября до декабря 707 г.; около четырех осенних месяцев пятнадцатимесячного 708 г. и от октября 709 г. до марта 710 г.



Глава XII

Религия, образованность, литература и искусство

В религиозно-философском развитии не замечается в эту эпоху никаких новых моментов. Римско-эллиническая государственная религия и неразрывно связанная с ней стоическая государственная философия не только являлись удобным орудием для каждого правительства — олигархии, демократии или монархии, — но были просто необходимы уже потому, что было так же невозможно построить государство без всяких религиозных элементов, как и найти новую государственную религию, способную заменить древнюю. Революционная метла вторглась, правда, при случае весьма бесцеремонно в паутину пронизательной мудрости авгуров, но эта ветхая и расшатавшаяся во всех частях машина все-таки пережила землетрясение, которое поглотило самое республику, и целиком перенесла в новую монархию свою пошлую бессодержательность и заносчивость. Понятно, что она все более впадала в немилость у всех тех, кто сохранял еще свободу суждения. Правда, к государственной религии общественное мнение относилось вообще равнодушно; она признавалась всеми в качестве основанного на политической условности учреждения, и никто о ней особенно не заботился, кроме ученых политиков и археологов. Но по отношению к ее сестре, философии, развилась в свободных от предрассудков кругах та враждебность, которую неминуемо вызывает с течением времени пустая и вместе с тем коварная, лицемерная

фразеология. Что в самой стоической школе начинало возникать сознание собственного ничтожества, явствует уже из ее попытки искусственно вдохнуть опять в себя дух путем синкретизма; Антиох Аскалонский (расцвет его относится к 675 г.), утверждавший, что ему удалось сплотить в одно органическое целое стоическую систему с платоно-аристотелевской, действительно достиг того, что его уродливая доктрина сделалась модной философией консерваторов того времени, добросовестно изучалась знатными дилетантами и литераторами Рима. В ком оставалась еще духовная свежесть, тот находился либо в оппозиции к стойкам, либо игнорировал их. Главным образом, благодаря всеобщему отвращению к хвастливым и скучным римским фарисеям, а вместе с тем и усиливавшейся у многих склонности искать спасения от практической жизни в вялой апатии или поверхностной иронии, — в это время получила широкое распространение система Эпикура и водворилась в Риме собачья философия Диогена*. Как ни слаба и ни бедна мыслью была система Эпикура, тем не менее такая философия, которая не искала пути к свободе в изменении традиционных определений, а удовлетворялась уже существующими и признавала за истину только то, в чем можно было убедиться путем чувственного восприятия, все же была лучше терминологической трескотни и бессодержательных понятий стоических мудрецов. Что же касается диогеновой философии, то она потому уже была не в пример лучше всех тогдашних философских систем, что ее цель заключалась именно в том, чтобы не иметь никакой системы, а, напротив, осмеивать все системы и их приверженцев. В обеих областях ревностно и успешно велась война против стоиков; перед серьезными людьми эпикуреец Лукреций со всей силой искреннего убеждения и священного рвения проповедовал и против стоической веры в богов и провидение, и против учения о бессмертии души; для большой смешливости публики киник Варрон попадал еще вернее в цель легкими стрелами своих сатир, находивших многочисленных читателей. Если поэтому лучшие люди старого поколения враждовали со стойками, то молодое поколение, и в том числе Катулл, не имело более с ними никакой внутренней связи и критиковало их еще резче полнейшим игнорированием их.

Если, однако, в Риме поддерживалась из политических расчетов религия, лишенная всяких основ веры, то это возмещалось сторицей

* Подразумевается философская школа киников, которая получила свое название от гимнаasia в Киносарге, близ Афин, где вел преподавание основатель этой школы Антисфен; по позднейшей традиции его ученик Диоген своим «собачьим» образом жизни на деле показал правильность названия школы: κύων, κύωνος по-гречески означает «собака». (Прим. ред.)

в других сферах. Неверие и суеверие, эти различные оттенки одного и того же исторического феномена, шли рука об руку и в тогдашнем римском мире, и не было недостатков в людях, соединявших в себе оба эти контраста, отрицавших вместе с Эпикуром богов и все-таки молившихся и приносявших жертвы перед каждой часовней. Понятно, что уважением пользовались еще только боги, занесенные с Востока, и подобно тому как продолжали стекаться в Италию выходцы из греческих областей, так и восточные божества во все возраставшем числе переселялись на Запад. Какое значение имел в ту пору в Риме фригийский культ, доказывается как полемикой людей старшего поколения вроде Варрона и Лукреция, так и поэтическим прославлением этого культа у Катулла, которое заканчивается характерной просьбой, чтобы богиня благоволила сводить с ума других, только не самого поэта.

К этим культам присоединилось еще поклонение персидским божествам, занесенное, как говорят, на Запад при посредстве западных и восточных пиратов, встречавшихся на Средиземном море; древнейшим центром этого культа на Западе считается гора Олимп в Ликии. При усвоении на Западе восточных культов отбрасывались все заключавшиеся в них высшие умозрительные и нравственные элементы: это доказывается курьезным образом тем, что высшее божество чистого учения Заратустры Ахурамазда оставалось на Западе почти неизвестным; поклонение обратилось здесь преимущественно к тому божеству, которое занимало первое место в древних персидских народных верованиях и было отодвинуто на второй план Заратустрой, именно к богу солнца Митре.

Еще быстрее, чем более светлые и краткие образы персидских небожителей, вторглась в Рим таинственная скучная вереница египетских карикатур на богов; мать природы Изиды со всей своей свитой: вечно умирающим и вечно возрождающимся Озирисом, мрачным Сараписом, молчаливо серьезным Гарпократом, собакоголовым Анубисом.

В тот год, когда Клодий дал волю клубам и всяким сборищам (696), и, несомненно, под влиянием этой эмансипации черни этот рой богов как будто готов был вступить даже в старинное святилище римского Юпитера на Капитолии, и едва удалось не впустить их сюда и удалить неизбежно возникавшие новые храмы, по крайней мере в предместьях Рима. Никакой культ не был в такой степени популярен в низших слоях столичного населения; когда сенат приказал снести храмы Изиды, воздвигнутые внутри городской ограды, ни один рабочий не отважился приступить к этому первым, и консул Луций Павел принужден был сам сделать первый удар топором (705); можно было побиться об заклад, что чем распущеннее была какая-нибудь курти-

занка, тем набожнее почитала она Изиду. Что метание жребия, толкование снов и подобные свободные искусства отлично кормили людей, занимавшихся этим, понятно само собой. Составление гороскопов обратилось уже в научное занятие; Луций Тарутий, уроженец Фирма, почтенный и в своем роде ученый человек, находившийся в дружбе с Варроном и Цицероном, совершенно серьезно определял время рождения царей Ромула и Нумы и даже основания города Рима и при помощи своей халдской и египетской мудрости подкрепил рассказы римской летописи в назидание всем верующим людям.

Но самым любопытным явлением в этой области нужно признать первую попытку соединить грубую веру с умозрительным мышлением, первое появление в римском мире тех стремлений, которые мы привыкли называть неоплатоническими. Самым ранним апостолом этого движения в Риме был Публий Нигидий Фигул, знатный римлянин из крайней аристократической фракции, занимавший в 696 г. должность претора и умерший в 709 г. вне Италии политическим изгнанником.

С удивительно многосторонней ученостью и еще более изумительной силой веры он создал из самых разнородных элементов философско-религиозное построение, замечательную систему которого он, вероятно, еще более развивал в устных объяснениях, чем в своих богословских и естественнонаучных сочинениях. В философии он искал избавления от господства мертвых схем, шаблонных систем и абстракций и возвратился к старым забытым источникам досократовой философии, когда древним мудрецам, бывало, самая мысль являлась еще в живой образности. Естественнонаучные изыскания при соответствующем их применении и теперь еще прекрасно могут действовать целям мистических обманов и набожного фокусничества, в древности же при недостаточном понимании физических законов они еще больше соответствовали этой цели и играли, понятно, и у Фигула важную роль. Его богословие, по существу, основано было на той удивительной смеси, в которой у родственных по духу греков слилась орфическая мудрость и другие древние или же новейшие местные учения вместе с персидскими, халдейскими и египетскими тайными учениями; к этой же смеси Фигул умел еще присоединять мнимые результаты этрусских исследований и национальное гадание по птичьему полету, развив все это до гармонической путаницы. Политико-религиозно-национальным освящением всей этой системы послужило имя Пифагора, ультраконсервативного государственного человека, высшим принципом которого было «содействовать порядку и предотвращать беспорядок», чудотворца и заклинателя духов, который сделался для Италии своим человеком, был даже вплетен в сказочную историю Рима и потому получил на римском форуме статую

среди красовавшихся там мудрецов седой древности. Подобно тому как рождение и смерть родственны между собой, представлялось, что Пифагор не только должен был стоять у колыбели республики в качестве друга мудрого Нумы и сотоварища умной матери Эгерии, но в качестве последнего оплота священной мудрости прорицания по полету птиц стаял и у могилы республики. Новая система, однако, была не только полна чудес, но и творила чудеса: Нигидий предсказал отцу будущего императора Августа в тот самый день, когда родился у него этот сын, его будущее величие; прорицатели даже вызывали верующим духов, и даже больше того, — они указывали те места, где лежали потерянные ими деньги. Эта древне-новая премудрость, какова бы она ни была, производила все же на современников глубокое впечатление, ученейшие, способнейшие люди из самых разнообразных партий, — консул 705 г. Аппий Клавдий, ученый Марк Варрон, храбрый офицер Публий Ватиний — участвовали в вызывании духов, и есть основание думать, что приходилось принимать полицейские меры против деятельности этих обществ. Эти последние попытки спасти римскую теологию, подобно аналогичным стремлениям Катона в области политики, производят и комическое и грустное впечатление; можно усмехнуться над этим вероучением и его апостолами, но все-таки нельзя не признать серьезным тот факт, что дельные люди начинали всей душой отдаваться таким нелепостям.

Воспитание юношества, разумеется, шло сложившимися в предыдущую эпоху путями приобретения гуманитарных знаний на двух господствующих языках; общее образование и в римском мире все более укладывалось в формулы, установленные для него греками. Даже физические упражнения перешли от игры в мяч, бега и борьбы к более художественно развитым греческим гимнастическим состязаниям; если для них и не было еще устроено общественных учреждений, то все-таки в виллах зажиточных людей наряду с купальной комнатой была всегда и палестра.

В какой степени круг общего образования в римском мире изменился в течение одного века, показывает нам сравнение катоновой энциклопедии с аналогичным сочинением Варрона «О школьных науках». В качестве составных частей неспециального образования являются у Катона ораторское искусство, сельское хозяйство, право, военные и врачебные науки, у Варрона же (по вероятному предположению) — грамматика, логика или диалектика, риторика, геометрия, астрономия, музыка, медицина и архитектура. Таким образом, в течение VII в. военное искусство, право и сельское хозяйство превратились из предметов общего образования в специальные науки. Зато у Варрона выступает во всей полноте воспитание юношества на эллинский лад; рядом с грамматико-риторико-философским курсом, кото-

рый был введен еще раньше в Италии, мы видим тут и оставшийся долго строго эллинским учебный курс, состоящий из геометрии, арифметики, астрономии и музыки*. Что астрономия, бывшая с своей номенклатурой созвездий на руку безыдейному ученому дилетантизму того времени и содействовавшая (благодаря своей связи с астрологией) господствовавшему религиозному сумбуру, систематически и усердно изучалась юношеством Италии, можно доказать и другим фактом: астрономические дидактические стихотворения Арата получили раньше всех творений александрийской литературы доступ в воспитание римского юношества. К этому эллинскому курсу наук присоединилась и уцелевшая из древней римской системы обучения медицина и, наконец, архитектура, необходимая тогда для знатного римлянина, занимавшегося вместо земледелия постройкой домов и вилл.

В сравнении с предшествовавшей эпохой и греческое и латинское образование выигрывают в объеме и систематичности школьного преподавания, но вместе с тем утрачивают чистоту и тонкость. Усиливавшееся стремление к греческой науке придало самому преподаванию ученый характер. Объяснение Гомера или Еврипида не было в конце концов особенным искусством, и преподаватели и ученики находили для себя более интересным обращаться к александрийской поэзии, которая в то же время стояла гораздо ближе к римскому миру, чем истинно греческая национальная поэзия, и которая, если не являлась столь древней, как «Илиада», все-таки имела достаточно почтенный возраст, чтобы казаться в глазах школьных учителей классической.

Любовные стихотворения Евфориона, «Причины» и «Ибис» Каллимаха, комически запутанная «Александра» Ликофрона заключали в себе в обильной полноте редкостные вокабулы (*glossae*), чрезвычайно годившиеся для эксцерптов и объяснения, хитро запутанные и столь же трудно распутываемые предложения, растянутые экскурсы, полные таинственного сплетения устаревших мифов, вообще целые запасы докучливой учености всех видов. Преподавание нуждалось во все более и более трудных образцах; упомянутые нами произведения, бывшие большей частью образцовыми работами школьных преподавателей, отлично годились служить упражнением для образцовых учеников. Таким образом, александрийская поэзия заняла прочное место в итальянском школьном преподавании, в особенности в качестве школьных тем для репетиций, и, действительно, содействовала

* Это и есть, как известно, так называемые «семь свободных искусств», которые с соблюдением различия между тремя акклиматизировавшимися в Италии дисциплинами и четырьмя принятыми впоследствии продержались во все средние века.

распространению знания, но зато в ущерб вкусу и здравому смыслу. Та же нездоровая жажда знания побуждала далее римское юношество усваивать эллинизм по возможности у самого источника его. Курсы греческих преподавателей в Риме удовлетворяли уже только начинающих; кто желал иметь в этих вопросах авторитет, слушал греческую философию в Афинах, греческую риторику на Родосе и предпринимал литературное и художественное путешествие по Малой Азии, где на самом месте их зарождения можно было найти всего более сокровищ древнего эллинского искусства и где, хотя весьма рутинно, передавалось из поколения в поколение художественное образование эллинов. Напротив, далекая Александрия, прославленная более как центр строгой науки, являлась гораздо реже целью для путешествий стремящихся к образованию молодых людей.

Подобно греческому, росло и латинское преподавание. Это происходило отчасти просто под влиянием успехов греческого образования, у которого, главным образом, оно заимствовало и метод и стимул. Условия политической жизни, стремление занять место на ораторской трибуне на форуме, охватывавшее благодаря демократической агитации все более и более обширные круги, немало содействовали распространению и развитию ораторских упражнений. «Куда ни взглянешь, — говорит Цицерон, — все полно ораторов». Дошло до того, что сочинения VI в., чем древнее они становились, тем решительнее стали признаваться всеми за классические тексты золотого века латинской литературы, и тем самым придавалось большое значение преподаванию, опиравшемуся, главным образом, на них. Наконец, вторжение и наплыв со всех сторон варварских элементов и начавшаяся латинизация обширных кельтских и испанских областей придали сами собой более высокое значение латинской грамматике и латинскому преподаванию, чем они могли бы иметь тогда, когда полтачины говорили только в Лации; учитель латинского языка имел в Коме и Нарбонне с самого начала совершенно иное положение, чем в Пренесте и Ардее. Вообще же образование находилось скорее в упадке, чем прогрессировало. Разорение италийских городов, наплыв массы чуждых элементов, политическое, экономическое и нравственное одичание нации, а главное, разрушительные гражданские войны более искажали язык, чем могли поправить дело все школьные преподаватели на свете. Более тесное соприкосновение с эллинской культурой того времени, более определенное влияние болтливой афинской премудрости и родосской и малоазийской риторики распространяли среди римской молодежи как раз наиболее вредные элементы эллинизма. Миссия пропаганды, принятая на себя Лацием среди кельтов, иберов и ливийцев, как ни возвышенна была эта задача, все-таки должна была иметь для латинского языка те же последствия, которые имела

эллинизация Востока для греческого языка. Если римская публика того времени аплодировала хорошо сложенным и ритмически размеренным периодам ораторов, если актеру приходилось дорого платиться за какую-нибудь погрешность против языка или метрики, то это, конечно, свидетельствует о том, что распространенное школой понимание правил родного языка становилось общим достоянием все более и более обширных кругов; но рядом с этим авторитетные современники жалуются на то, что эллинское образование находилось в Италии около 690 г. на гораздо более низкой ступени, чем за поколение перед тем; что чистая, правильная латинская речь слышалась очень редко, чаще всего в устах пожилых образованных женщин; что малопомалу исчезали традиции истинного образования, старинное, меткое латинское остроумие, луцилиева тонкость и круг образованных читателей времен Сципиона. Из того только, что понятие и слово «урбанитет», под чем разумелась утонченность нравов нации, возникли именно тогда, отнюдь еще не следует, чтобы этот тон господствовал как раз в то время, напротив, это свидетельствует лишь об его исчезновении и о том, что это отсутствие резко ощущалось в языке и в манерах латинизированных варваров или варваризованных латинов. Там, где еще встречался светский разговорный тон, как, например, в сатирах Варрона и письмах Цицерона, это является лишь отголоском старинной манеры, еще не исчезнувшей в Реате и Арпине в такой степени, как в Риме.

Таким образом, прежнее образование юношества оставалось, в сущности, без изменений; оно только приносило менее пользы и более вреда, чем в предшествующую эпоху, и не столько вследствие собственного упадка, сколько вследствие общего упадка всей нации. Цезарь начал революцию и в этой области. Если римский сенат сначала боролся с образованием, а впоследствии едва терпел его, то правительство новой италийско-эллинской империи, отличительной чертой которой была именно гуманность, должно было по необходимости покровительствовать ему свыше в эллинском духе. Когда Цезарь предоставил всем преподавателям свободных наук и столичным врачам право римского гражданства, то это было до известной степени первым шагом к основанию тех учебных заведений, в которых впоследствии распространялось заботами государства высшее образование среди юношества империи и изучались два языка и которые служат самым определенным выражением нового гуманистического государства; и если затем Цезарь решил основать в столице публичную греческую и латинскую библиотеку и уже назначил ученейшего из современных ему римлян, Марка Варрона, главным библиотекарем, то в этом, несомненно, сказалось намерение открыть мировой литературе доступ в мировую империю.

Развитие языка в ту пору соединилось с противоположностью между классической латынью образованного общества и народным говором обыденной жизни. Первая была продуктом исключительно италийской образованности; уже в кружке Сципиона «чистая латынь» стала девизом, и на родном языке уже не говорили по-прежнему совершенно непосредственно, но сознавали отличие его от говора широких масс.

Эта эпоха открывается любопытной реакцией против классицизма, дотоле неограниченно господствовавшего в разговорном языке высших кругов, а вследствие этого и в литературе, — реакцией, которая и по существу своей и по внешним свойствам тесно связана была с такой же реакцией в сфере языка в Греции. В это же самое время ритор и романист Гегесий из Магнессии и многие примыкавшие к нему малоазийские риторы и литераторы начали восставать против правоверного аттицизма. Они потребовали признания прав гражданства живой устной речи, невзирая на то, возникло ли данное слово или оборот в Аттике или же в Карии или Фригии; сами они говорили и писали, не подделываясь под вкус ученой клики, но имели в виду вкус широкой публики. Против принципа невозможно, конечно, было спорить; но результат, естественно, был совсем под стать тогдашней малоазийской публике, которая совершенно утратила вкус к строгости и чистоте литературной продукции и требовала всего изысканного и блестящего. Не говоря уже о порожденных этим направлением мнимохудожественных формах, а именно о романе и историческом романе, самый слог этих азиатов был, понятно, словно рубленый, без каденций и периодов, запутанный и вялый, полный мишур и напыщенности, необыкновенно пошлый и манерный. «Кто знает Гегесия, — говорит Цицерон, — тот поймет, что такое нелепость». Несмотря на это, новый стиль нашел доступ и в латинский мир. Когда эллинская модная риторика, вошедшая в конце предшествовавшей эпохи в воспитание латинского юношества, сделала в начале настоящего периода последний шаг и в лице Квинта Гортензия (640—704), наиболее прославленного из адвокатов эпохи Суллы, вступила на римскую ораторскую трибуну, она и в латинской речи приспособилась к современному дурному греческому вкусу; и римская публика, уже не столь правильно и серьезно образованная, как в сципионово время, разумеется, усердно рукоплескала новатору, который умел придавать вулгаризмам в языке видимость какого-то художественного достижения.

Это было весьма важно. Как в Греции спор о языке всегда велся, главным образом, в школах риторики, так и в Риме судебное красноречие, может быть, еще более, чем литература, получило значение для выработки стиля, и поэтому с первенствующим положением в обществе адвокатуры было связано и право давать тон модной манере

писать и говорить. Азиатский вульгаризм Гортензия вытеснил, таким образом, классицизм с римской ораторской трибуны, а частью и из литературы.

Но вскоре и в Греции и в Риме снова вернулись к прежней моде. В первой из этих стран родосская школа риторов, не восстанавливая целомудренной строгости аттического стиля, пыталась установить средний путь между ним и современным направлением; если родосские мастера не слишком обращали внимание на внутреннюю правильность мышления и речи, то все же они настаивали на чистоте языка и стиля, на заботливом подборе слов и выражений и ритмическом построении предложений.

В Италии Марк Туллий Цицерон (648—711) следовал в ранней молодости манере Гортензия, а затем под влиянием лекций родосских мастеров красноречия и собственного более зрелого вкуса перешел на лучший путь и с этой поры заботливо добивался строгой чистоты языка, систематической периодизации и ритмичности речи. Образцы слога, к которым он при этом примкнул, он нашел прежде всего в тех сферах высшего римского общества, которые лишь немного или же совсем не были затронуты вульгаризмом; как уже было замечено, такие люди еще встречались, хотя уже начинали исчезать. Древнейшая латинская и лучшая греческая литература, как ни сильно влияла последняя, в особенности на склад речи, оставались все же лишь на втором плане. Таким образом, эта чистка языка была реакцией не книжной речи против разговорного языка, а реакцией действительно образованных людей против жаргона, выработанного ложным образованием и полуобразованием. Цезарь, и в области языка являющийся величайшим мастером эпохи, выразил основную мысль римского классицизма, советуя избегать в речи и в письме всяких иностранных слов с такой же заботливостью, с какой корабельщик избегает подводных камней; поэтические и устаревшие выражения древнейшей литературы были отброшены наравне с оборотами деревенскими или же заимствованными из языка обыденной жизни, а особенно (как показывают современные письма) — греческие слова и фразы, вошедшие в обиход в очень большом числе. Тем не менее этот искусственный, школьный классицизм эпохи Цицерона относился к классицизму сципионову, как относится к невинности раскаявшийся грех, или как к образцовому французскому слогу Мольера и Буало — слог классицистов наполеоновского времени. Если первое направление обильно черпало прямо из жизни, то последнее вовремя восприняло последние вздохи невозвратно погибавшего поколения. Каково бы ни было это направление, оно быстро стало распространяться. С первенством в адвокатуре перешла от Гортензия к Цицерону и диктатура в области языка и вкуса, и разнообразная и

многословная писательская деятельность Цицерона дала этому классицизму то, чего ему еще не доставало, именно обширные прозаические тексты. Таким образом, Цицерон стал творцом новейшей классической латинской прозы, и римский классицизм везде и всюду опирался на Цицерона как на стилиста; к Цицерону как стилисту, а не как писателю, и еще менее как к государственному деятелю обращены чрезмерные и все же не совсем незаслуженные восхваления, которыми осыпают его даровитейшие представители классицизма — Цезарь и Катулл.

Вскоре пошли и дальше. То, что проводил Цицерон в прозе, то же в конце эпохи проводила в области поэзии новая римская поэтическая школа, примыкавшая к греческой модной поэзии; замечательнейшим ее талантом был Катулл. И здесь язык высшего общества вытеснил господствовавшие еще в этой области архаические реминисценции, и подобно тому как латинская проза подчинилась аттическому ладу, так и латинская поэзия постепенно подчинилась строгим или, скорее, тягостным метрическим законам александрийцев. Так, например, со времен Катулла уже не считается более дозволенным начинать стих односложным или же не особенно важным двухсложным словом и ими же оканчивать предложение, начатое в предшествующем стихе.

Наконец, на помощь пришла наука; она зафиксировала законы языка и установила правила, которые более не определялись эмпирическим путем, но имели притязание сами определять эмпирические положения. Окончания в склонениях, отчасти неустойчивые еще до этих пор, должны были теперь раз навсегда быть установлены; так, например, из двух форм родительного и дательного падежей так называемого четвертного склонения, употреблявшихся до той поры безразлично (*senatuis — senatus, senatui — senatu*), Цезарь удержал исключительно краткую (*us* и *u*). Многое было изменено и в орфографии, для того чтобы установить большее согласование между письменностью и речью; так, например, внутреннее «*u*» было, по инициативе Цезаря, заменено посредством «*i*» в таких словах, как *taximus*; из двух букв, *k* и *q*, сделавшихся теперь бесполезными, первая была уничтожена, вторая предложена к уничтожению. Язык, если еще не окаменел в известной форме, то по крайней мере был к этому близок; он не подчинялся еще автоматически правилам, но уже начал признавать их силу. Что для этой деятельности в области латинской грамматики греческая грамматика не только давала вообще метод и руководящие идеи, но что латинский язык просто исправлялся по образцу греческого, доказывает, например, трактовка конечного *s*, которое до той поры то считалось, то не считалось согласной, совершенно завися от усмотрения, новомодными же поэтами трактовалось обычно, как

и в греческом языке, в качестве конечной согласной. Это регулирование языка представляет собой специфическую область римского классицизма; самыми различными приемами (что поэтому тем знаменательнее) корифеи его — Цицерон, Цезарь, даже Катулл в своих стихотворениях — укореняют эти правила и порицают нарушение их, между тем как старшее поколение выражает понятное неудовольствие по поводу революции, проникавшей в область языка так же бесцеремонно, как и в политическую сферу*. Но в то время как новый классицизм, т. е. исправленная, образцовая латынь, по возможности, приравненная к образцовому греческому языку, получила под влиянием сознательной реакции против вульгаризма, проникшего в высшее общество и даже в словесность, литературное закрепление и образцовую форму, сам вульгаризм отнюдь еще не сдавал позиций. Мы не только встречаем его во всей наивности в сочинениях второстепенных авторов, лишь случайно попавших в число писателей, как, например, в отчете о второй испанской войне Цезаря, но мы встретим более или менее ясный отпечаток его и в настоящей литературе, в миме, в полуромане, в эстетических произведениях Варрона; и характерно, что вульгаризм этот удерживается чаще всего именно в чисто национальных областях литературы и что истые консерваторы, вроде Варрона, берут его под свою защиту. Классицизм развился на обломках италийского языка, как монархия возникла из гибели италийской нации; вполне последовательно было, что люди, в которых еще жил республиканский дух, продолжили воздавать должное и живому языку и примирились с его эстетическими недостатками из-за его относительной жизненности и народности. Так, взгляды и направления в сфере языка в эту эпоху повсюду идут в различных направлениях; наряду со старомодной поэзией Лукреция возникает вполне новая поэзия Катулла, рядом с правильно построенными периодами Цицерона — предложение Варрона, умышленно пренебрегающего всяким делением речи. Даже в этом отражается современный разлад.

В литературе этого периода, сравнительно с прежней, прежде всего обращает на себя внимание внешнее развитие литературной жизни в Риме.

Литературная деятельность греков давно уже процветала не в свободной атмосфере гражданской независимости, но исключительно в научных учреждениях больших городов и в особенности различных дворов. Эллинские писатели привыкли возлагать надежды на милость

* Так, например, Варрон говорит (*De re rust.*, 1, 2): «*ab aeditimo ut dicere didicimus a patribus nostris; ut corrigimur ab recentibus urbanis, ab aedituo*»; [*ab aeditimo* — так учили нас говорить наши отцы; *ab aedituo* — как поправляют нас новейшие стилисты].

и охрану со стороны высокопоставленных людей, но когда вымерли династии пергамская (621), киренская (658), вифинская (679) и сирийская (690) и пришел в упадок некогда блестящий двор Лагидов, они вытеснены были из прежних приютов муз*. Кроме того, со времени смерти Александра Великого они, естественно, стали космополитами, и по крайней мере среди египтян и сирийцев являлись такими же чужестранцами, как и между латинами; при таких условиях они все более и более начинали обращать свои взоры к Риму. Наряду с поваром, красивым мальчиком, шутом в толпе греческих прислужников, которыми окружал себя знатный римлянин того времени, выдающуюся роль играли и философ, поэт и составитель мемуаров. Мы встречаем уже в таком положении известных литераторов, как, например, эпикурейца Филодема, являющегося домашним философом при Луции Пизоне, консуле 696 г., и вместе с тем потешавшего посвященных людей искусными эпиграммами на грубоватый эпикуреизм своего патрона. Со всех сторон стекались в Рим все в большем числе известнейшие представители греческого искусства и науки, зная, что в Риме литературный заработок был теперь обильнее, чем где-либо. Так, мы находим упоминание как о людях, прочно поселившихся в Риме, о враче Асклепиаде, которого царь Митридат тщетно пытался привлечь на свою службу; об ученом на все руки Александре Милетском, прозванном Полигистором; находим поэта Парфения из Никеи Вифинской; далее, прославляемого одинаково и как путешественника и как учителя и писателя Посидония из Апамен в Сирии, который в преклонном возрасте переселился в 703 г. из Родоса в Рим, и много других. Такой дом, как, например, дом Луция Лукулла, имел почти такое же значение, как александрийский Музей, являясь центром эллинской образованности и местом собраний эллинских литераторов. Римские средства и эллинские знания соединили в этих дворцах бо-

* Любопытно для ознакомления с этим положением дел посвящение поэтического землеописания, приписываемого Скимну. После того как поэт любимым тогда менандровым размером высказал свое намерение обработать в стихах очерк географии, понятный для учеников и легко могущий быть заученным наизусть, он так посвящает (подобно Аполлодору, посвятившему свой справочник по истории царю пергамскому Атталу Филадельфу, «которому принесло великую славу, что его имя было связано с этим историческим трудом») свое руководство царю вифинскому Никомеду III (663—679): «Я решился сам проверить на деле людские толки, будто из всех современных царей ты один высказываешь истинно царственное покровительство; я решился сам прийти и увидеть, что такое настоящий царь. Укрепленный в этом намерении вещим словом Аполлона, приближаюсь по твоему знаку я к твоему очагу, ставшему приютом для ученых».

гатства и науки несравненные сокровища ваяния и живописи и работы древних и современных мастеров и старательно составленную и роскошно обставленную библиотеку, и всякий образованный человек, в особенности каждый грек, встречал здесь радушный прием. Часто можно было видеть самого хозяина прогуливающимся взад и вперед с кем-нибудь из своих ученых гостей под прекрасной колоннадой и занятым филологическим или философским разговором. Конечно, эти греки заносили в Италию вместе с своими научными сокровищами и свою развращенность и свое лакейство. Так, один из этих ученых скитальцев, автор «Искусства ластивых речей» Аристодем из Нисы (около 700), чтобы откомендовать себя своим покровителям, доказывал, что Гомер был природный римлянин!

В такой же степени, в какой развивалась деятельность греческих писателей в Риме, усилились и у самих римлян литературная деятельность и литературные интересы. Даже писательская деятельность на греческом языке, совершенно устранившаяся строгим вкусом эпохи Сципиона, снова возродилась. Греческий язык был теперь языком всемирным, и греческое сочинение находило для себя совсем других читателей, чем латинское; поэтому, подобно царям Армении и Мавретании, и римские магнаты, как, например, Луций Лукулл, Марк Цицерон, Тит Аттик, Квинт Сцевола (народный трибун 700 г.), при случае пописывали и греческой прозой и даже греческими стихами. Но подобное писательство на греческом языке для природных римлян оставалось побочным делом, почти забавой; и литературные и политические партии Италии сходились все-таки в решимости отстаивать италийскую народность, лишь более или менее пропитанную эллинизмом. Кроме того, в области латинского писательства нельзя было пожаловаться по крайней мере на отсутствие предприимчивости. В Риме дождем лились книги, всевозможные брошюры, а главное, стихотворения; столица кишела поэтами не хуже Тарса или Александрии; поэтические сочинения сделались неизменным грехом молодости каждого человека со сколько-нибудь подвижной натурой, и тогда уже стали считать счастливым того, чьи юношеские стихотворения были скрыты от взоров критики сострадательным забвеньем. Кто проник в тайны этого ремесла, тот без труда писал в один прием 500 строк гекзаметром, в которых ни один учитель не нашел бы, к чему придаться, и ни один учитель не знал бы, что хвалить. И женщины также усердно участвовали в этой литературной суете; дамы не ограничивались танцами и музыкой, а благодаря острому уму и юмору руководили беседой и прекрасно рассуждали о греческой и латинской литературе; если же случалось, что поэзия вела осаду против девичьих сердец, то осаждаемая крепость нередко капитулировала тоже миленькими стихами. Ритмы все более и более становились изящной

игрушкой для взрослых детей обоего пола; поэтические записки, совместные поэтические упражнения и стихотворные состязания между приятелями были чем-то совершенно обыкновенным, и к концу этой эпохи были уже открыты в столице заведения, в которых не оперившиеся еще латинские поэты могли за известную плату научиться кропать стихи. Вследствие большого спроса на книги техника списывания рукописей фабричным способом значительно усовершенствовалась, и распространение изданий производилось сравнительно быстро и дешево: книжная торговля стала почетным и прибыльным промыслом, а книжная лавка — обычным местом собраний для образованных людей. Чтение сделалось модой, даже манией; за столом, в тех домах, куда еще не закрались грубые забавы, постоянно читали вслух, а кто собирался в путешествие, тот не забывал уложить и дорожную библиотечку. Высших офицеров можно было видеть в лагерное время со скабресным греческим романом в руках, государственного человека в сенате — с философским трактатом. В Римском государстве установились такие порядки, которые всегда были и будут во всех государствах, где граждане читают «от порога дома вплоть до отхожего места». Парфянский визирь был прав, когда, указав гражданам Селевкии на романы, найденные в лагере Красса, он спросил их, неужели они все еще продолжают считать читателей подобных книг страшными противниками.

Литературные течения этого времени не были и не могли быть единообразными, так как вся жизнь эпохи колебалась между старыми и новыми формами. Те же самые направления, которые боролись на политической арене, — национально-италийское направление консерваторов и эллино-италийское или, пожалуй, космополитическое новой монархии — давали друг другу сражения и в литературной области. Первое опиралось на древнюю латинскую литературу, все более и более принимавшую на сцене, в школе и в ученых исследованиях характер классицизма. С меньшим вкусом и большей партийной тенденциозностью, чем в сципионовское время, стали теперь превозносить до небес Энния, Пакувия и в особенности Плавта. Листки Сивиллы поднимались в цене по мере того, как число их уменьшалось; народность и производительность поэтов VI в. никогда не ощущались живее, чем в эпоху развившегося эпигонства, когда в литературе и в политике смотрели на эпоху борьбы с Ганнибалом как на золотое, к сожалению, безвозвратно минувшее время. Правда, в этом поклонении древним классикам было много пустоты и лицемерия, которые вообще свойственны консерватизму этой эпохи, однако в людях, державшихся золотой середины, не было недостатка и здесь. Так, например, Цицерон, хотя и был в своих прозаических сочинениях главным представителем современного направления, тем не менее покло-

нялся древнейшей национальной поэзии приблизительно тем же не здоровым поклонением, с каким он относился и к аристократической конституции и к науке авгугов. «Патриотизм требует, — говорил он, — чтобы скорее читали заведомо скверный перевод Софокла, чем оригинал». Итак, если современное литературное направление, родственное демократической монархии, насчитывало достаточное число тайных приверженцев даже в среде правоверных почитателей Энния, то не было недостатка и в более смелых судьях, которые так же бесцеремонно обращались с родной литературой, как и с сенаторской политикой. Мало того, что была возобновлена строгая критика эпохи Сципиона, что Теренций вошел в славу лишь для того, чтобы осудить Энния, а еще более его приверженцев, молодое и более отважное поколение шло значительно дальше и уже осмеливалось, правда, все еще принимая вид еретического возмущения против литературного правоверия, называть Плавта грубым шутником, Луцилия плохим стихоплетом. Вместо своей литературы это современное направление опиралось, скорее, на новейшую греческую словесность или на так называемый александризм.

Нельзя не сказать об этой любопытной искусственной теплице эллинского языка и искусства хоть столько, сколько необходимо для понимания римской литературы этой и позднейших эпох. Александрийская литература обязана своим возникновением упадку чисто эллинской речи, замененной со времени Александра Великого совершенно огрубевшим жаргоном, который возник прежде всего из соприкосновения македонского наречия с говором многих греческих и варварских племен; или, говоря точнее, александрийская литература сложилась на развалинах эллинской нации вообще, которая должна была утратить и действительно утратила свою народную индивидуальность для того, чтобы могла возникнуть всемирная монархия Александра и господство эллинизма. Если бы всемирная держава Александра устояла, то место прежней национальной и народной литературы заступила бы литература без национальности, космополитическая, лишь по имени эллинская и до известной степени созданная свыше, но которая, тем не менее, властвовала бы над миром; но как царство Александра распалось с его смертью, так и зачатки порожденной им литературы быстро погибли. Но греческая нация со всем, чем она обладала, с ее народностью, языком, искусством, все же принадлежала прошлому. Лишь в сравнительно узкой среде людей образованных, которых как таковых уже больше не было, а ученых, занимались еще изучением греческой литературы как уже мертвой; был составлен с грустным наслаждением или сухим педантизмом как бы инвентарь ее богатого наследия, и живое позднейшее чутье или мертвая ученость поднимались до степени кажущейся производительности

сти. Этой посмертной производительностью и является так называемый александринизм. Он, по существу, сходен с той ученой литературой, которая, отрешаясь от живых романских народностей и их народных наречий, расцвела в XV и XVI вв. в космополитической сфере, насыщенной филологией, и явилась искусственным вторичным цветением исчезнувшей древности; противоположность между классическим и народным греческим слогом времен диадохов, конечно, менее резкая, но, в сущности, такая же, как между латынью Мануция и итальянским языком Макиавелли.

До той поры Италия относилась в сущности отрицательно к александринизму. Время относительного его процветания относится к эпохе первой пунической войны; несмотря на это, Невий, Энний, Пакувий и вообще вся национально-римская школа писателей вплоть до Варрона и Лукреция примыкала во всех отраслях поэтического творчества, не исключая и дидактических произведений, не к своим греческим современникам или недавним предшественникам, но к Гомеру, Еврипиду, Менандру и другим выдающимся представителям живой и народной греческой литературы. Римская литература никогда не была свежей и национальной, но пока существовал народ, его писатели инстинктивно обращались к живым и народным образцам и подражали, если не особенно искусно и не всегда самым лучшим оригиналам, то все же оригиналам. Греческая литература, возникшая после Александра, впервые нашла себе в Риме подражателей (незначительные проблески подобного движения во времена Мария едва ли могут быть приняты в расчет) между современниками Цицерона и Цезаря; вслед за тем римский александринизм стал уже распространяться с ускоренной быстротой. Это вызывалось отчасти внешними причинами. Усиливавшееся общение с греками, в особенности частые путешествия римлян в эллинские страны и скопление греческих литераторов в Риме, естественно, создавали и среди италиков читателей текущей греческой литературы, распространенной тогда в Греции, а именно — эпической и элегической поэзии, эпиграмм и милетских сказок. Так как александрийская поэзия, как уже было указано, внедрилась в школьное обучение италийского юношества, то это тем более отразилось на латинской литературе, и она во все времена в основном зависела от эллинского школьного образования. Тут замечается даже непосредственная связь между новой римской и новой греческой литературой; упомянутый уже Парфений, один из наиболее известных александрийских элегиков, открыл в Риме (по-видимому, около 700 г.) школу литературы и поэзии, и до нас дошли даже отрывки, в которых он давал одному своему знатному ученику сюжеты для латинских эротико-мифологических элегий по известному александрийскому рецепту. Но не только эти случайные поводы вызвали к жизни

александрийскую школу в Риме; она была если не отрадным, то во всяком случае неизбежным продуктом политического и национального развития Рима. С одной стороны, Лаций растворился в романизме, как Эллада в эллинизме; национальное развитие Италии переросло себя и, наконец, растворилось в цезаревой монархии, подобно тому как эллинское — в восточной державе Александра. Если, с другой стороны, новая империя основывалась на том, что могучие потоки греческой и латинской национальности, текшие в продолжение тысячелетий в параллельных руслах, отныне, наконец, слились, то и итальянская литература должна была не только искать, как прежде, в греческой литературе точку опоры, но и стараться стать на один уровень с современной греческой литературой, т. е. александринизмом. Вместе со школьной латынью, ограниченным числом классиков и замкнутым кружком «светских людей», читавших классиков, умерла безвозвратно и национальная латинская литература. Вместо нее возникла искусственно культивируемая имперская литература, имевшая все признаки эпохи эпигонов; она была основана не на определенной национальности, а проповедовала на двух языках всем понятное евангелие гуманности и в духовном отношении вполне и сознательно зависела от эллинской, по языку же — и от эллинской и от древнеримской народной литературы. Это не было, однако, движением вперед. Средиземноморская монархия Цезаря была, конечно, грандиозным и, что еще важнее, необходимым творением; но она была создана сверху, и поэтому в ней нельзя найти и следа той свежей народной жизни, избытка национальной силы, которые свойственны более юным, менее обширным, более естественным государственным организациям и могли еще наблюдаться в итальянском государстве в течение VI в. Падение итальянской национальности, нашедшее свое завершение в творении Цезаря, точно вырвало у литературы самую сердцевину. Тот, кто одарен пониманием внутреннего сродства искусства с народностью, всегда будет от Цицерона и Горация обращаться назад к Катону и Лукрецию; и только укоренившийся в этой области школьный взгляд на историю и литературу мог привести к тому, что эпоха римского искусства, начавшаяся одновременно с новой монархией, могла прослыть по преимуществу золотым веком. Но если римско-эллинический александринизм эпохи Цезаря и Августа должен уступить (хотя и несовершенной) древнейшей национальной литературе, то, с другой стороны, он столь же решительно превосходит александринизм времен диадохов, как прочное построение Цезаря — эфемерное создание Александра. Позднее мы увидим, как литература времени Августа, в сравнении с родственной ей литературой эпохи диадохов, была гораздо менее чисто филологическим занятием и гораздо больше имперской литературой, и поэтому влияние ее в высших кругах

общества было гораздо продолжительнее и универсальнее, чем это когда-либо было у греческого александринизма.

Ничто не производило более печального впечатления, чем сценическая литература. И трагедия и комедия умерли, по существу, в римской национальной литературе еще до этой эпохи. Новых пьес более не исполнялось. Еще при Сулле публика ожидала увидеть их на сцене, — об этом свидетельствует возобновление в ту пору плавтовых комедий с измененными заглавиями и именами действующих лиц, причем дирекция, конечно, оговаривалась, что гораздо лучше видеть хорошую старую пьесу, чем плохую новую. От этого недалеко до полной передачи сцены во власть умерших поэтов, что мы и видим в дни Цицерона и чему вовсе не противился и александринизм. Его собственная продукция в драматической области представляла собой даже нечто худшее, чем пустое место. Настоящего творчества для сцены александрийская литература не знала никогда; лишь слабое подобие драмы, которая писалась прежде всего для чтения, а не для исполнения, могло быть занесено ею в Италию, и вскоре в Риме, как и в Александрии, начали размножаться эти драматические ямбы, и писание трагедий вошло в число постоянных недугов, связанных с переходным периодом. Каковы были эти произведения, можно видеть из того, что Квинт Цицерон, желая немножко разогнать скуку зимней стоянки в Галлии, изготовил в шестнадцать дней четыре трагедии.

Только в «сценах из жизни», или мимах, продолжала еще расти последняя ветвь национальной литературы, ателланские фарсы, которые вместе с последними отпрысками греческой бытовой комедии александринизм разрабатывал с большей поэтической силой и с большим успехом, чем какую-либо другую отрасль поэзии. Мим произошел из бывших издавна в ходу характерных танцев под флейту, которые исполнялись отчасти и при других случаях, именно для развлечения гостей во время обеда, отчасти же в партере театра в антрактах. Не представляло особой трудности превратить эти пляски, к которым, вероятно, издавна при случае присоединялись и разговоры, в небольшие комедии посредством введения в них более упорядоченной фабулы и правильного диалога, причем они, однако, существенно отличались от более ранней комедии и даже от фарса тем, что пляски и неразлучная с подобными танцами фривольность продолжали играть тут главную роль, и тем, что мим, в сущности, привыкший не к сценической обстановке, но к партеру, отстранил от себя всякую театральную идеализацию, маски для лица и сценическую обувь, и — что было особенно важно — тем, что женские роли в нем исполнялись женщинами. Этот новый вид мима, по-видимому, появившийся на столичной сцене около 672 г., поглотил вскоре прежнюю народную арлекинаду, с которой совпадали его самые главные при-

емы, и стал употребляться в качестве интермедии и в особенности эпилога наряду с другими зрелищами*. Фабула была, разумеется, еще поверхностнее, бессвязнее и сумасброднее, чем в арлекинаде; если только действие выходило пестрым, то публика не задавала себе вопрос, почему она смеется, и не обвиняла поэта в том, что он, не развязывая узел, рубит его. Сюжеты были преимущественно любовные, по большей части самого неприличного пошиба; против женатого человека, например, восставали все без исключения — и поэт и публика, и поэтическая справедливость состояла именно в осмеянии добрых нравов. Художественная прелесть и здесь, как в ателланах, заключалась в изображении нравов обыденной жизни и даже самого низменного быта, причем картины деревенской жизни занимали второе место сравнительно с изображением столичной жизни с ее суетой, а милая римская чернь (как в подобных греческих пьесах — чернь александрийская) приглашалась рукоплескать ее собственному изображению на сцене. Содержание многих пьес взято из жизни ремесленников: тут опять появляются неизбежный «Валяльщик» и потом «Канатный мастер», «Красильщик», «Продавец соли», «Ткачихи», «Псарь», в других пьесах выступают характерные фигуры: «Забывчивый», «Хвастун», «Человек с 100 тыс. сестерциев»*, или же даются картины заграничной жизни: «Этрурянка», «Галлы», «Критянин», «Александрия», или изображение народных празднеств: «Компиталии», «Сатурналии», «Анна Перенна», «Термы», или, наконец, перелицовка мифологии: «Путешествие в подземный мир», «Арвернское озеро». Меткие и остроумные слова и краткие изречения, легко запоминае-

* Мы имеем свидетельство Цицерона (*Ad famil.*, 9, 16), что в его время мим занял место ателланы; с этим согласуется и то, что исполнители и исполнительницы мимов выступают впервые в эпоху Суллы (*Ad Her.*, 1, 14, 242, 13, 19; *Atta fr. I Ribbeck*; *Plin.*, Н. п., 7, 48, 158; *Plutarch*, *Sull.*, 2, 36). Впрочем, словом *mimus* иногда неточно обозначаются вообще исполнители комедии. Так, например, выступавший на празднестве в честь Аполлона в 542/543 г. *mimus* (у Феста под словом: *salva res est*; ср. *Cicero*, *De oral.*, 2, 59, 242), очевидно, был не кто иной, как актер, исполнявший *palliata*, так как для настоящего мима в ту пору не было вовсе места в развитии римского театра.

К мимам классической греческой эпохи, т. е. прозаическим диалогам, в которых изображались бытовые сцены, особенно деревенские, римский мим близкого отношения не имеет.

** Обладание этой суммой, вводившее человека в первый класс избирателей и подводившее передачу наследства под вонониев закон, позволяло перейти грань, отделявшую мелких людей (*tenuiores*) от людей порядочных. Поэтому-то бедный клиент у Катуллы (23, 26) и молит богов помочь ему достигнуть такого богатства.

мые и пускаемые в оборот, были тут особенно кстати; но рядом с этим здесь, разумеется, имеет право гражданства и всякая бессмыслица в этом мире, где все наизнанку: к Вакху обращаются с просьбой одолжить воды, а к нимфам источника — с просьбой о вине. В этих мимах можно даже проследить несколько отдельных примеров политических намеков, строго запрещенных в прежнее время в римском театре*. Что касается стихотворной формы, то эти поэты, как они сами говорят, «весьма мало заботились о стихотворном размере»; даже те пьесы, которые предназначались к изданию, были полны вульгарными выражениями и оборотами. Из этого видно, что мим, в сущности, не что иное, как прежний фарс, с той разницей, что от него отпали теперь характерные маски и обязательное место действия в Ателле и вообще отпечаток крестьянской жизни, и, взамен этого, на подмостки вторглась столичная жизнь во всей ее безграничной свободе и бесстыдстве. Большая часть пьес этого рода имела, без сомнения, самый мимолетный характер и не заявляла притязаний на какое-либо место в литературе; однако мимы Лаберия, отличающиеся поразительной обрисовкой характеров и мастерством языка и стиха, удержались в литературе, и историку приходится пожалеть, что нам не дано сравнить драму времен агонии республики в Риме с ее великой антической параллелью.

Рука об руку с ничтожеством драматической литературы идет усовершенствование сценической игры и пышности постановок. Драматические представления заняли постоянное место в общественной жизни не только столицы, но и мелких городов. Рим, наконец, получил благодаря Помпею постоянный театр (699), и кампанский обычай натягивать поверх театра парусиновую крышу для предохранения актеров и публики во время представлений, происходивших по стародавнему обычаю под открытым небом, нашел себе доступ в эту пору и в Рим (676). Подобно тому как в современной Греции господствовало на сцене не бледное созвездие александрийских драматургов, но классическая драма и в особенности трагедия Еврипида во всем богатстве сценических средств, так и в Риме в дни Цицерона ставились преимущественно трагедии Энния, Пакувия, Акция и комедии Плавта. Если последний был оттеснен в предшествовавший период более

* В «Путешествии в подземный мир» Лаберия выступают самые разнохарактерные личности, насмотревшиеся чудес и знамений; одному является муж с двумя женами, на что сосед его замечает, что это еще хуже, чем виденный недавно одним прорицателем призрак шести эдилов. Согласно современным сплетням, Цезарь хотел ввести в Риме многоженство (*Suet*, *Caes.*, 82) и, действительно, вместо четырех эдилов, назначил шесть. Из этого видно, что и Лаберий пользовался своим правом шутовства, но что и Цезарь допускал свободу шуток.

изысканным, но, разумеется, уступавшим ему по комической силе Теренцием, то теперь Росций и Варрон, т. е. и театр и филология, действовали сообща, стремясь подготовить ему такое же возрождение, какое для Шекспира создали Гаррик и Джонсон; и Плавту пришлось при этом немало вынести от пониженной восприимчивости и беспокойной торопливости публики, избалованной короткими и разнузданными фарсами, так что дирекция принуждена была просить извинения за растянutosть плавтовых комедий, даже, может быть, урезывать их и вносить в них изменения. Чем ограниченнее был репертуар, тем более сосредоточивались как деятельность руководящего и исполнительного персонала, так и самый интерес публики на сценическом исполнении пьес. Вряд ли тогда было в Риме занятие, выгоднее труда актера или первоклассной танцовщицы. О царском богатстве трагического актера Эзопа было уже упомянуто; еще более прославленный современник его Росций довел свой годовой доход до 600 тыс. сестерциев*, а танцовщица Дионисия — до 200 тыс. сестерциев. Вместе с этим затрачивались несметные суммы на декорации и костюмы; при случае по сцене проходили шествия из 600 покрытых сбруей мулов, а изображаемое на сцене троянское войско представляло публике наглядную карту всех народностей, побежденных в Азии Помпеем. Музыка, сопровождавшая исполнение вставленных в пьесы песен, точно так же получила более крупное и самостоятельное значение: «Как ветер управляет волнами, — говорит Варрон, — так искусный флейтист изменяет настроение своих слушателей при каждом изменении мелодии». Музыка мало-помалу стала принимать более скорый темп и тем побуждала актера к более живой игре. Знание музыки и сцены стало развиваться; любой завсегда у узнавал каждый музыкальный отрывок по первой же ноте и знал наизусть текст; каждая ошибка в произношении или в музыкальном исполнении строго порицалась публикой. Римская сцена в эпоху Цицерона живо напоминает современный нам французский театр. Если бессвязным сценам модных пьес соответствует римский мим, для которого, как и для этих пьес, ничто не казалось слишком хорошим или слишком плохим, то в них обоих имеется уже налицо традиционная классическая трагедия и комедия, удивляться или по меньшей мере рукоплескать которой предписывается чуть не законом каждому образованному человеку. Народная масса считает себя удовлетворенной, когда она видит изображение своих нравов в фарсе, когда любит в спектакле декоративную пышность и выносит общее впечатление о каком-то идеальном мире; более высокоразвитый человек следит в театре не за

* От государства он получал за каждый выход по 1 тыс. денариев и, кроме того, содержание на всю его труппу. В позднейшие годы он отказался лично за себя от гонорара.

пьесой, а за художественностью ее исполнения. Наконец, римское театральное искусство так же колебалось между различными сферами, как французское искусство между хижиной и салоном. Вовсе не редкостью было, что римские танцовщицы к концу пляски сбрасывали верхнюю одежду и увеселяли публику пляской в одной сорочке; с другой стороны, и в глазах римского Тальма^а являлось высшим законом искусства не верное следование природе, но симметрия.

В области декламаторской поэзии не было, кажется, недостатка в стихотворных хрониках по образцу энниевых; но лучшей критикой их может, по-видимому, служить та прелестная девичья клятва, о которой поет Катулл: девушка клянется как жертву блаженной богине Венере сжечь самую худшую из всех плохих героических поэм, если только она возвратит в ее объятия любимого человека и отвлечет его от зловредной политической поэзии. И действительно, во всей области декламаторской поэзии этой эпохи древнейшая национально-римская тенденция проявилась лишь в одном выдающемся сочинении, которое зато принадлежит к числу самых замечательных поэтических произведений всей римской литературы. Это — дидактическая поэма Тита Лукреция Кара (655—699) «О природе вещей», автор которой, принадлежавший к лучшим кругам римского общества, но удалившийся от общественной жизни из-за болезни или, может быть, вследствие отвращения к ней, умер во цвете сил незадолго до начала гражданской войны. Как поэт он решительно примыкает к Эннию и тем самым к классической греческой литературе. С отвращением отказывается он от «пустого эллинизма» того времени и от всей души и вполне искренно признает себя учеником «строгих греков», так что даже священная серьезность Фукидида нашла себе достойный отголосок в одном из наиболее известных отделов этой римской поэмы. Подобно тому как Энний черпал свою мудрость у Эпихарма и Евгемера, так Лукреций заимствует форму своего изложения у Эмпедокла, «лучшего сокровища богато одаренного сицилийского острова», а что касается материала — собирает «золотые слова» в свитках Эпикура, который «превышает остальных мудрецов настолько же, насколько солнце затемняет звезды». Подобно Эннию, и Лукреций пренебрегает мифологической ученостью, навязанной поэзии александринизмом, и не требует от своих читателей ничего, кроме знания общераспространенных мифов*. Вопреки современному пуризму, исключив-

* Некоторые кажущиеся исключения, как, например, упоминание о стране финиамы, Панхее (2, 417), объясняются тем, что они, может быть, перешли из романа-путешествия Евгемера еще в поэзию Энния, и во всяком случае в стихотворения Луция Манлия (*Plin.*, Н. п., 10, 2, 4) и поэтому были хорошо известны той публике, для которой писал Лукреций.

шему из поэзии иностранные слова, Лукреций, как и Энний, охотнее употреблял полное значения греческое слово вместо какого-нибудь бесцветного и неясного латинского слова. Староримская аллитерация, привычка избегать переноса частей стиха или предложений и вообще древнейшие формы речи и поэзии часто встречаются еще в ритмах Лукреция и, хотя стих его мелодичнее энниева, тем не менее его гекзаметры не катятся, как гекзаметры новейшей школы поэтов, изящно прыгая наподобие журчащего ручья, а льются с грандиозной медлительностью, подобно потоку расплавленного золота. И в философском и в практическом отношении Лукреций вполне примыкает к Эннию, — единственному отечественному поэту, воспетому в его поэме. Символ веры рудийского певца:

Я всегда говорил и буду говорить, что существует род богов,
Но думаю, им и заботы нет о судьбах людей,

вполне выражает религиозную точку зрения самого Лукреция; не без основания называет он поэтому свою песню как бы продолжением того,

Как это Энний вещал, с живописных высот Геликона
Первый принесший венок, сплетенный из зелени вечной,
Средь италийских племен стяжавший блестящую славу.

Еще раз, и притом в последний раз, сказала в поэме Лукреция вся поэтическая гордость и вся поэтическая серьезность шестого столетия, в котором, изображая грозного пунийца (Ганнибала) и величественного Сципиона, поэт чувствует себя более на месте, чем в современную ему упадочную эпоху*. Для него самого собственная его песня, «изящно струившаяся из его богатой души», звучит, в сравнении с пошлыми песнями других, как «краткая песня лебедя в сравнении с криком журавлей», и его сердце переполняется надеждой на высокую честь, когда он внимает созданным им же самим мелодиям; так и Энний запрещал людям, перед которыми он «изливал огненную песнь из глубины своей души», плакать на его могиле, на могиле бессмертного певца. По странному определению судьбы этот выдающийся талант, превосходивший природным поэтическим даром бóльшую часть, если не всех своих предшественников, появился как раз в такое время, в которое он сам чувствовал себя чужим и осиротевшим; вследствие этого он самым странным образом ошибся в выборе сюжета. Система Эпикура, превращавшая вселен-

* В весьма наивной форме сказывается это в описаниях войн, где губительные для войска морские бури, массы слонов, топчущих своих же воинов, словом, картины из пунических войн, упоминаются, словно принадлежащие к живой действительности (ср. 2, 41; 5, 1226, 1303, 1339).

ную в громадный круговорот атомов и пытавшаяся объяснить чисто механическим способом возникновение и конец мира, как и все проблемы природы и жизни, была, правда, менее нелепа, чем историческое объяснение мифов, какое пытался дать Евгемер, а вслед за ним и Энний, но остроумной и свежей эта система все же никогда не была; попытка же развить в поэтической форме это чисто механическое миросозерцание была такова, что вряд ли какой-либо поэт посвящал когда-либо всю свою жизнь и искусство обработке столь неблагоприятной темы. Читатель-философ с такой же справедливостью порицает в дидактической поэме Лукреция опущение утонченных основ системы, поверхностность, особенно замечающуюся в изложении спорных вопросов, несовершенство в распределении материала, частые повторения, с какой литературно образованный читатель сердится на ритмизированную математику, делающую значительную часть поэмы почти неудобочитаемой. Несмотря на эти невероятные недостатки, которые убили бы всякий посредственный талант, Лукреций мог, по справедливости, хвалиться тем, что вынес из этих дебрей поэзии новый венок, какого никому еще не даровали до той поры музы: венок этот был добыт поэтом отнюдь не одними только случайными сравнениями и другими введенными в поэму описаниями могучих явлений природы и еще более могучих страстей. Гениальность миросозерцания Лукреция и его поэзии коренится в его неверии, которое со всей победоносной силой истины, а поэтому и со всей жизненностью поэзии восстало и должно было восстать против господства лицемерия и суеверия.

В те времена как у всех на глазах безобразно влачила
Жизнь людей на земле под религии тягостным гнетом,
С областей неба главу являвшей, взирая оттуда
Ликом ужасным своим на смертных, поверженных долу,
Эллин впервые один осмелился смертные взоры
Против нее обратить и отважился выступить против...
Силою духа живой одержал он победу и вышел
Он далеко за пределы ограды огненной мира,
По безграничным пространствам пройдя своей мыслью и
духом.

Так старался поэт ниспровергнуть богов, как Брут ниспровергал царей, и «освободить природу от ее суровых властителей». Но эти пламенные слова были обращены не против одряхлевшего престола Юпитера; подобно Эннию, и Лукреций прежде всего на деле боролся против дикого суеверия толпы и господства чужеземных культов, как, например, против культа «Великой матери» и наивного гадания этрусков по молниям. Поэма эта была внушена ужасом и отвращением к тому страшному миру, в котором жил поэт и для кото-

рого он писал. Она была написана в ту безнадежную эпоху, когда пало правление олигархии, а Цезарь еще не поднялся, в те душевные годы, когда с долгим томительным напряжением ждали начала междоусобной войны. Если при виде неровностей и взволнованности изложения поэмы как бы чувствуется, что поэт ежедневно ожидал той минуты, когда над ним и его творением разразится дикий грохот революции, то не следует забывать, имея в виду его воззрения на людей и события, среди каких именно людей и в ожидании каких событий сложились эти воззрения. В эпоху Александра ходячее мнение, разделяемое всеми лучшими людьми Греции, гласило, что всего лучше для человека было бы никогда не родиться, а, раз родившись, всего лучше умереть. Из всех мирозозерцаний, возможных для нежной и поэтически организованной натуры в родственную александру времени эпоху Цезаря, самым возвышенным и облагораживающим являлось убеждение, что для человека было бы истинным благодеянием избавиться от веры в бессмертие души, а вместе с тем и от грозного страха перед смертью и богами, коварно овладевающего человеком, совершенно так, как детьми овладевает робость в темной комнате. Как ночной сон действует более освежающе, чем дневные тревоги, так и смерть, это вечное отдохновение от всех надежд и опасений, лучше жизни, и сами боги, изображаемые поэтом, ничего не означают и ничем не обладают, кроме вечно-го блаженного покоя; загробные наказания терзают человека не после его смерти, а при жизни, в виде необузданных и неумолкающих страстей его бьющегося сердца; человек должен поставить себе задачей водворить в своей душе спокойное равновесие, не ценить пурпура выше теплой домашней одежды, охотнее оставаться в числе тех, кто повинуется, чем тесниться в водовороте тех, кто добивается роли повелителей, с большим удовольствием лежать на траве у ручейка, чем помогать опустошать бесчисленные блюда под золоченой кровлей богача. Эта философски-практическая тенденция составляет настоящую сущность лукрециевой дидактической поэмы, и она только засоряется всей пустотой физических объяснений, но не подавлена ею. В этой тенденции, главным образом, и заключается относительная правильность и мудрость поэмы. Человек, проповедующий подобное учение и преобразивший его всеми чарами своего искусства, с таким уважением к великим предшественникам, с таким могучим рвением, какого не видало это столетие, может быть по справедливости назван хорошим гражданином и великим поэтом. Дидактическая поэма о природе вещей, сколько бы порицаний она ни вызывала, осталась одной из самых блестящих звезд на всем бедном светиле горизонте римской литературы, и правильно поступил величайший немецкий языковед, избрав для своего послед-

него и наиболее совершенного труда разработку текста Лукрециевой поэмы*.

Хотя поэтическая сила и искусство Лукреция вызывали уже восторг в его образованных современниках, тем не менее он остался учителем без учеников, будучи сам по себе запоздалым явлением. Что же касается модной эллинской поэзии, то здесь по крайней мере не было недостатка в последователях, которые старались подражать александрийским учителям. С верным чутьем наиболее даровитые из александрийских стихотворцев избегали более крупных трудов и чистых видов поэтического творчества, например драмы, эпоса, лирики; лучшие произведения их удались им, как и новолатинским поэтам, лишь в виде коротеньких вещей и, главным образом, таких, которые вращались как бы на границе тех или других видов поэзии, особенно посредине между повествованием и песнью. Дидактические поэмы писались часто. В большом спросе были, далее, небольшие героико-эротические поэмы и в особенности ученая любовная элегия, составлявшая принадлежность этого бабьего лета греческой поэзии и характерная по своему филологическому изяществу; в ней поэт более или менее произвольно сплетает описание своих собственных, преимущественно чувственных ощущений с эпическими обрывками из цикла греческих мифов. Праздничные песни изготавлялись усердно и неплохо, вообще за отсутствием свободной поэтической изобретательности процветала поэзия на данный случай, а в особенности эпиграмма, в которой александрийцы достигли больших успехов. Скудость материала и сухость языка и ритма, неизбежно присущая всякому ненациональному виду литературы, тщательно скрывались за вычурными темами, неестественными оборотами, диковинными словами и искусственным обращением со стихом, вообще за всем аппаратом филолого-антикварной учености и технической сноровки. Таково было евангелие, проповедовавшееся римским юношам того времени, и они стекались толпами, чтобы поучиться и применять к делу слышанное; уже в 700 г. любовные стихи Евфориона и другие подобные же александрийские стихотворения стали обычным чтением и образцами для декламации у образованного юношества*. Литературная революция

* Имеется в виду К. Лахман, издавший в 1850 г. текст Лукреция с знаменитым комментарием. (*Прим. ред.*)

** «Конечно, — говорит Цицерон об Эннии (*Tusc.*, 3, 19, 45), — этот славный поэт презирается нашими охотниками декламировать Евфориона». «Я счастливо прибыл, — пишет он Аттику (7, 2), — так как со стороны Эпира дул попутный нам северный ветер. Этот спондей ты можешь, если хочешь, продать одному из новомодных поэтов за свой собственный» («*ita belle nobis flavit ab Epiro lenissimus Onchesmites. Hunc спонδείά ζοντα si cui voles τῶν νεωτέρων pro tuo vendita*»).

совершилась, но сначала, за редкими исключениями, она давала лишь скороспелые или незрелые плоды. «Новомодных поэтов» было великое множество, но поэзия составляла редкость, и Аполлон, как бывает всегда в такую пору, когда на Парнасе становится тесно, был вынужден быстро делать свое дело. Длинные стихотворения никуда не годились; короткие были редко хороши. В это увлекавшееся литературой столетие поэзия стала настоящим общественным бедствием; случалось, что в насмешку друг присылал другу в виде праздничного дара прямо от книгопродавца целую кипу дрянных стихов, все достоинство которых уже издали выдавалось ценностью красивого переплета и качеством бумаги. Настоящих читателей, какие бывают у истинно национальной литературы, не было ни у римских, ни у греческих александрийцев: это была, в полном смысле слова, поэзия известной клики или, скорее, нескольких клик, члены которых тесно держатся друг за друга, делают гадости каждому пришельцу, читают и критикуют между собой новинки, даже, может быть, совершенно в александрийском духе, поэтически воспевают удачные произведения и часто, опираясь на приятельские похвалы, создают себе ложную и мимолетную славу. Известный учитель латинской словесности, сам писавший стихи в этом новом духе, Валерий Катон, был, по-видимому, чем-то вроде школьного патрона одного из самых значительных литературных кружков и решал в качестве высшего авторитета вопрос об относительном достоинстве стихов. Римские поэты не могли обычно освободиться от влияния своих греческих образцов, иногда даже по-школьнически зависели от них; большинство их произведений, в сущности, не что иное, как только горький плод школьного стихотворства, находящегося в периоде ученья и далеко не достигшего зрелости. Благодаря тому, что и в языке и в метрике латинская национальная поэзия ближе, чем когда-либо, следовала за своими греческими образцами, достигалась, действительно, большая правильность и логичность речи и размера, но это делалось в ущерб гибкости и полноте национального языка. Отчасти под влиянием изнеженности образцов, отчасти отражая безнравственность эпохи, эротические темы получили бросающийся в глаза нездоровый для поэзии перевес; однако зачастую переводились и любимые метрические руководства греков; так, например, Цицерон перевел руководство по астрономии Арата, а в конце этого же или, вероятнее, в начале следующего периода Публий Варрон Атацинский — учебник географии Эратосфена, а Эмилий Макр — физико-медицинский компендиум Никандра.

Нельзя ни удивляться, ни сожалеть о том, что из всей этой бесчисленной массы поэтов до нас дошло лишь немного имен, да и они упоминаются большей частью только как курьезы или как образцы минувшего величия, вроде, например, оратора Квинта Гортензия с

его «пятьюстами тысяч строк» скабрёзной и скучной поэзии, да еще несколько чаще упоминаемого Левия, «Любовные шутки» которого возбуждали некоторый интерес лишь по своему сложному размеру и манерным оборотам речи. Наконец, небольшой эпос «Смирна» Гая Гельвия Цинны (умер в 710 г.?), как ни прославлялся он всей кликой, носит на себе, как в самом сюжете — эротическое влечение дочери к родному отцу, — так и в затраченном на него девятилетнем труде, все худшие признаки эпохи. Оригинальное и отрадное исключение составляют только те из поэтов этой школы, которые умели соединить с чистотой и мастерством формы национальное содержание, еще таившееся в республиканской жизни, в особенности в сельских городах. Это можно сказать, не говоря о Лаберии и Варроне, в особенности о трех поэтах республиканской оппозиции, которые были уже упомянуты выше, именно о Марке Фурии Бибакуле (652—691), Гае Лицинии Кальве (672—706) и Квинте Валерии Катулле (667—приблизительно до 700 г.).

Относительно двух первых, сочинения которых погибли, мы можем делать только одни предположения; что же касается поэзии Катулла, то мы еще имеем возможность судить о ней. И Катулл также зависел от александрийцев по форме и по сюжету. В собрании его сочинений мы встречаем переводы отрывков из Каллимаха, и притом не лучших, а самых трудных. В числе оригинальных произведений встречаются отточенные модные стихи, вроде, например, изысканных галиамбов в честь «фригийской матери», и даже превосходное во всем остальном стихотворение по поводу свадьбы Фетиды испорчено в художественном отношении вставкой, на александрийский манер, плача Ариадны в главный мотив. Но рядом с этими школьными произведениями встречается жалобная мелодия настоящей элегии, праздничная поэзия во всей красе индивидуального, почти драматического творчества, наконец, самая точная, детальная картина нравов образованного общества, грациозные, весьма непринужденные девичьи приключения, половина прелести которых заключается в разглашении и опозтизировании любовных тайн, веселая жизнь молодежи за полными чашами и с пустыми карманами, жажда путешествий и радость поэта, римские, а еще чаще вронские, городские анекдоты и веселая шутка в тесном кругу друзей. Но Аполлон у нашего поэта не только наслаждается бряцанием струн: он владеет и луком; крылатые стрелы сатиры не щадят ни скучного стихоплета, ни искажающего латинский язык провинциала; но никого не поражают они так часто и так едко, как сильных мира сего, угрожающих свободе народа. Короткий и изящный размер, зачастую оживленный грациозными припевами, отличается художественным совершенством, не имея вместе с тем отталкиваю-

щей чисто ремесленной гладкости. Поэзия эта переносит нас попеременно то в долину Нила, то в долину По, но в последнем месте поэт чувствует себя несравненно свободнее. Его стихи основаны, конечно, на правилах александрийского стихосложения, но в то же время в них обнаруживается самосознание простого гражданина, обитателя мелкого города, антагонизм между Вероной и Римом, антагонизм между скромным муниципалом и высокородными господами из сената, часто играющими злые шутки со своими незатятыми друзьями, антагонизм, который живее чем где-либо мог ощущаться на родине Катулла, в цветущей и сравнительно еще свежей Цизальпинской Галлии. В лучших его песнях встречаются прелестные картины берегов озера Гарда, и вряд ли кто-нибудь из столичных жителей мог написать в ту пору что-либо подобное глубоко прочувствованному стихотворению на смерть брата или смелой, проникнутой истинно гражданским духом праздничной песне по поводу свадьбы Манлия и Аврункулеи. Хотя Катулл и был в зависимости от александрийских учителей и находился в самом центре модной поэзии кружков того времени, он не только является хорошим учеником среди многих посредственных и даже плохих, но превосходит своих учителей настолько, насколько гражданин свободной италийской общины превосходил эллинского космополита-литератора. Конечно, в нем не следует искать выдающейся творческой силы и высоких поэтических стремлений; это богато одаренный и изящный, но не великий поэт, и его стихотворения, по его же собственным словам, нечто иное, как «шутки и шалости». Однако, если не только современники были наэлектризованы этими мимолетными песенками, но и художественные критики времен Августа называют его, вместе с Лукрецием, замечательнейшим поэтом эпохи, то и современники и эти позднейшие судьи были вполне правы. Латинская нация не создала другого поэта, в котором художественность содержания проявлялась бы в таком гармоническом соединении с художественностью формы, как у Катулла, и в этом смысле собрание стихотворений его действительно является самым совершенным из всего, что вообще можно указать в латинской поэзии.

В эту эпоху начинается и творчество в прозаической форме. Закон, неизменно господствовавший до того времени во всяком истинном искусстве, наивном ли или сознательном, — закон, в силу которого поэтический сюжет и его метрический размер взаимно обуславливают друг друга, уступает место смешению и помутнению всех видов и форм искусства, составляющих характернейшую черту этой эпохи.

В области романа еще нечего, правда, указать, кроме того, что знаменитейший историк того времени, Сизенна, не считал ниже своего достоинства перевести на латинский язык очень распространен-

ные милетские рассказы Аристида, скабрзные модные романы самого низкого пошиба.

Более оригинальное и отрадное явление в этой сомнительной области, стоящей на рубеже поэзии и прозы, представляют эстетические сочинения Варрона, который был не только выдающимся представителем латинской историко-филологической науки, но вместе с тем и плодovитейшим и интереснейшим писателем в области изящной литературы. Происходя из плебейского рода, проживавшего в Сабинской области и уже двести лет принадлежавшего к римскому сенату, строго воспитанный в древних правилах дисциплины и благопристойности* и находясь в начале этой эпохи уже в зрелом возрасте, Марк Теренций Варрон из Реате (638—727) принадлежал по своим политическим убеждениям, как это понятно само собой, к конституционной партии и честно и энергично участвовал во всех ее выступлениях и невзгодах. Он делал это отчасти в литературной форме, борясь, например, с первой коалицией, «треглавым чудовищем», посредством памфлетов, отчасти же ведя более серьезную борьбу; так, он находился в войске Помпея в качестве правителя Дальней Испании. Когда погибло дело республики, Варрон был назначен своим победителем на должность библиотекаря задуманной им в столице библиотеки. Смуты последующего времени еще раз захватили в свой водоворот этого престарелого человека; через 17 лет после смерти Цезаря он умер, на 89-м году своей честно прожитой жизни. Эстетические сочинения, составившие ему имя, представляли собой, собственно, небольшие статьи, либо просто прозаические произведения серьезного содержания, либо игривые описания, прозаический фон которых нередко испещрялся многими поэтическими вставками.

К числу первых относятся его «Философско-исторические исследования» (*logistorici*), а ко вторым — «Менипповы сатиры». Ни первые, ни вторые не придерживаются латинских образцов, в особенности сатира Варрона отнюдь не примыкает к луцилиевой, да и вообще римская сатира не составляет, собственно, определенного вида поэзии, а только доказывает отрицательно, что это «разнообразное стихотворение» не хочет быть причислено к какому-либо из установленных поэтических видов, вследствие чего сатира и принимает у каждого даровитого поэта новый и своеобразный характер.

* «Когда я был мальчиком, — говорит он в одном месте, — мне довольно было одного байкового и одного исподнего платья, башмаков без чулок, лошади без седла; теплую ванну я брал не всякий день, речную лишь изредка». За личную храбрость во время войны с пиратами, когда он командовал отрядом флота, он получил корабельный венок.

Для своих как серьезных, так и более легких эстетических работ Варрон находил образцы в доалександрийской греческой философии: для серьезных исследований — в диалогах Гераклида, уроженца Гераклеи, у Черного моря (ум. около 450 г.), для сатир — в сочинениях Мениппа из Гадары, в Сирии (был в славе около 475 г.). Выбор этот весьма характерен. Гераклид, вдохновлявшийся как писатель философскими диалогами Платона, совершенно упустил из виду за блестящей формой их научное содержание и обратил все внимание на поэтически сказочную внешность; это был приятный, многочитаемый автор, но далеко не философ. Менипп так же мало заслуживает этого имени; это был настоящий литературный представитель той философии, вся мудрость которой заключается именно в отрицании философии, в осмеянии философов, в кинической философии Диогена; веселый учитель серьезной мудрости, он целым рядом примеров и комических рассказов доказал, что, кроме честной жизни, все суета на земле и на небе, но что всего суетнее распри так называемых мудрецов. Эти писатели и были настоящими образцами для Варрона, человека, преисполненного староримским негодованием против современной жалкой эпохи и староримским юмором человека, отнюдь не лишенного при этом пластического таланта, но недоступного для всего, что походило не на образ или факт, а на понятие или систему, словом, самого нефилософского из всех нефилософских римлян*. Однако Варрон не был несамостоятельным учеником. Вдохновение и обычно форму он получал от Гераклида и Мениппа; но он был слишком своеобразной и слишком римской натурой, чтобы не придать своему подражательному творчеству самостоятельный и национальный характер.

В своих серьезных работах, в которых обсуждался какой-нибудь нравственный принцип или другой общественноинтересный предмет, он не хотел подражать форме милетских сказок, как делал Гераклид, и преподносить читателю такие ребяческие рассказы, как, например, рассказ об Абарисе и о девушке, вернувшейся к жизни спустя семь дней после смерти. Лишь изредка заимствовал он форму у лучших мифов греков, например в статье «Орест, или Безумие»; более дос-

* Вряд ли существует что-либо более ребяческое, чем варронова схема всех философских систем, объявлявшая просто не существующими все те из них, конечной целью которых не было счастье человека, причем он определяет в 288 число тех философских школ, которые подходили, по его мнению, под это определение. Превосходный человек этот был, к сожалению, слишком учен, для того чтобы сознаться, что он не мог, да и не хотел быть философом, и вследствие этого он весьма неумело жонглировал всю свою жизнь между стоиками, пифагорейцами и диогеновой школой.

тойный материал для его сюжетов доставляла ему обыкновенно история, в особенности современная история его отечества, благодаря чему его статьи сделались вместе с тем, как их и называют, «хвалебными сочинениями» в честь почтенных римлян и в особенности столпов конституционной партии. Так, трактат «О мире» был сочинением, посвященным памяти Метелла Пия, последнего представителя блестящего ряда счастливых полководцев сената; трактат «О почитании богов» предназначался для увековечения памяти уважаемого оптимата и понтифика Гая Куриона; в статье «О судьбе» шла речь о Марии; в статье «Об историографии» — о первом историке того времени Сизенне; в работе «О началах римской сцены» рассказывается об устройстве царственно пышных зрелищ Скавре; в статье «О числах» говорит о высокообразованном римском банкире Аттике. Две философско-исторические статьи — «Лелий, или О дружбе», «Катон, или О старости», — написанные Цицероном, вероятно, по образцу варроновых, могут дать нам приблизительное понятие о полудидактической, полуповествовательной обработке этих сюжетов Варроном.

Так же оригинальна по форме и содержанию была обработка Варроном менипповой сатиры; смелая смесь прозы со стихами не встречается в греческом оригинале, и все духовное содержание сатир проникнуто римским своеобразием, можно бы сказать, запахом сабинской земли. И эти сатиры, подобно философско-историческим статьям Варрона, также посвящены либо нравственной теме, либо какой-нибудь другой, пригодной для широкой публики, как видно уже из заглавий их: «Геркулесовы столбы, или О славе»; «Каждый горшок найдет свою крышку, или Об обязанностях супруга»; «У ночного горшка есть размер, или О бражничанье»; «Ерунда, или О похвальных речах». Пластическое одеяние, без которого нельзя было обойтись и здесь, естественно, лишь изредка заимствуется из отечественной истории, как, например, в сатире «Серран, или О выборах». Зато диогеновский собачий мир как и следует, играет в сатирах большую роль: мы встречаем собаку-ученого, собаку-ритора, собаку-всадника, пса-водопийцу, собачий катехизис и т. д. Далее, и самой мифологией Варрон пользуется для комических целей; мы находим у него «Освобожденного Прометей», «Соломенного Аякса», «Геркулеса — сократова ученика», «Полуторного Одиссея», который проводит в странствиях не 10, а целых 15 лет. В сохранившихся отрывках замечается еще в отдельных пьесах драматически новеллистическая рамка, как, например, в «Освобожденном Прометее», в «Шестидесятилетнем мужчине», во «Встающем спозаранку»; видимо, Варрон часто, может быть, даже всегда, рассказывал фабулу, точно случай из собственной жизни; так, например, во «Встающем

спозаранку» действующие лица и к Варрону и передают свой рассказ ему, «так как он был им известен как сочинитель книг». Мы не имеем возможности с уверенностью судить о поэтическом достоинстве внешней формы; в уцелевших отрывках встречаются прелестные описания, полные жизненности и остроумия; так, в «Освобожденном Прометее» герой после снятия с него оков открывает фабрику людей, где богач, по прозванию «Золотой сапог», заказывает для себя девушку из молока и самого лучшего воска, какой только собирают со всевозможных цветов милетские пчелы, девушку без костей и жил, без кожи и волос, чистую, тонкую, стройную, гладкую, нежную, прелестную. Вся жизненность этой поэзии заключается в полемике; это не столько политическая полемика партий, вроде луцилиевой и катулловой, а общая нравственная полемика строгого старца с разнузданной и развращенной молодежью, ученого, погруженного в своих классиков, — с дряблой и дрянной или по крайней мере сомнительной по своей тенденции современной поэзией*, честного гражданина старого закала с новым Римом, где форум, говоря устами Варрона, сделался свиным хлевом и где Нума, если бы он обратил взоры на свой город, не заметил бы более и следа мудрых установлений. Варрон исполнял в конституционной борьбе то, что считал своим долгом; но сердце его не лежало к этим партийным дрязгам: «Зачем, — жалуется он, — позвали вы меня из моей чистой жизни в сенатскую грязь?» Его сердце принадлежало доброму старому времени, когда от собеседника несло луком и чесноком, но зато сердце его было здорово. Poleмика против исконных врагов истинного римского духа, греческих мировых мудрецов, составляет лишь одну сторону этой старомодной оппозиции против духа нового времени; но как по самой сущности кинической философии, так

* «Разве ты хочешь, — пишет он, — бормотать риторические фигуры и стихи квинтова раба Клодия и восклицать: «О судьба! О роковая судьба!» В другом месте говорит он: «Так как квинтов раб Клодий создал такое множество комедий без помощи какой-либо музыки, неужели и я не смогу, говоря словами Энния, «сфабриковать» хоть одну книжонку?» Этот неизвестный вообще Клодий был, вероятно, плохим подражателем Теренция, так как примененные к нему слова: «О судьба! О роковая судьба!» встречаются в одной из комедий Теренция. Следующий отзыв о себе одного поэта в варроновом «Осле, играющем на лютне», мог бы быть отличной пародией на вступление Лукреция, которого Варрон уже как отъявленный враг эпикурейской системы, по-видимому, недолюбливал и на которого он никогда не ссылается:

Меня зовут учеником Пакувия; он же сам учился у Энния,
Сей же учеником был у муз; самому мне имя Помпилий.

и по свойству характера Варрона менипповский бич в особенности свистел в уши философов и повергал их в надлежащий страх; не без трепета в сердце пересылали философские авторы того времени свои вновь появлявшиеся трактаты «строгому человеку». Философствование — дело нетрудное. С десятой долей того труда, с которым хозяин делает из своего раба кондитера, он воспитывает из себя философа; правда, если бы пекарю и философу судьба привела продаваться с молотка, то пирожник-мастер пойдет во сто раз дороже, чем мировой мудрец. Странные люди эти философы! Один приказывает хоронить умерших в меду, — счастье, что его не слушают, иначе, что стало бы с медовым вином! Другой думает, что человек вырос из земли, точно кресс. Третий изобрел вселенский бурав, от которого земля однажды погибнет:

Наверно, никогда ни одному больному не снилось

Таких дикостей, которым не учил бы уже какой-нибудь философ.

Забавно смотреть, как какой-нибудь бородач (речь идет о занимающемся этимологией стойке) заботливо взвешивает на монетных весах каждое слово; но ничего нет лучше настоящей философской ссоры, — кулачный бой стойков далеко превосходит любую борьбу атлетов. В сатире «Город Марка, или О правлении», где Марк создает себе по своему вкусу что-то вроде аристофанова заоблачного птичьего города, крестьянину жилось, как и в Аттике, хорошо, философу же дурно. В этой сатире персонаж под именем «Быстро — доказывающий — одним — положением» (*Celer — διένδς — λήπιαιτος λόγος*), сын стойка Антипатра, пробивает заступом череп противнику, очевидно, философскому двойному положению (*Dilemma*). С этой морально-poleмической тенденцией и способностью придавать ей юмористическое и живое выражение, не покидавшее его до самых преклонных лет, как видно из диалогической формы его книг о сельском хозяйстве, написанных им на 80-м году от рождения, соединялись в Варроне самым удачным образом замечательные познания в национальном языке и нравах, которые в его старческих филологических работах являются в виде компилятивной смеси, здесь же раскрываются во всей своей полноте и свежести. Варрон был в полном и лучшем смысле слова краеведом, знавшим свой народ по многолетнему собственному наблюдению как в его прежней своеобразности и замкнутости, так и в настоящей безличности и разбросанности, и пополнившим и углубившим свое непосредственное знакомство с нравами и языком страны самым глубоким изучением исторических и литературных архивов. Недостаточность рационального понимания и учености в нашем смысле слова пополнялась в нем интуицией и поэтическим даром. Он не гнался ни за антикварными заметками, ни за редкими, устарев-

шими или поэтическими словами*, но сам он был человек старый и старомодный, почти крестьянин; национальные классики были ему мильми долголетними товарищами; удивительно ли, что в его сочинениях много говорится об обычаях отцов, которые он любил и знал лучше всего, и что речь его изобиловала вошедшими в поговорку греческими и латинскими оборотами, хорошими старыми словами, сохранившимися в разговорном сабинском языке, реминисценциями из Энния, Луцилия, а главное, из Плавта. О прозаическом слоге этих ранних произведений Варрона нельзя судить по написанному им в глубокой старости и опубликованному, вероятно, в неоконченном виде лингвистическому сочинению, где действительно части предложения как бы нанизаны на нить из взаимных отношений, точно дрозды на шнурке. Мы уже говорили о том, что Варрон в принципе отвергал строгий стиль и аттическую манеру писать периодами, и его эстетические статьи, лишённые, правда, тривиальной напыщенности и ложного блеска народности, были написаны скорее живо, чем правильно сложенными предложениями, но не в классическом вкусе и даже небрежно. Зато поэтические вставки не только доказали, что их автор владел всевозможными размерами не менее мастерски, чем любой модный поэт, но что он даже имел право причислять себя к тем, кому божество дало способность «изгонять из сердец заботу песнью и священным даром поэзии»**. Варроновы эскизы, так же как и лукреци-

* Весьма метко сказал он однажды о самом себе, что он не особенно любит, но зачастую употребляет устаревшие слова, поэтические же слова очень любит, но не употребляет.

** Следующее описание заимствовано из «Маркова раба»:

Вдруг около полночной поры,
 Когда разубранное везде пылающими огнями
 Воздушное пространство открыло хоровод небесных звезд,
 Золотой свод небес покрыло завесой
 Движение быстрых туч, наполненных холодным дождем.
 Низвергая потоки вод на смертных,
 И оторвавшись от холодного полюса,
 Понеслись ветры, это дикое отродье Большой Медведицы,
 Унося за собой кирнич, и ветки, и хворост,
 Повергнутые ниц, терня крушение, точно стаи журавлей,
 Которым обжигает крылья жар двузубой молнии,
 Мы в печали вдруг упали на землю.

В «Человеческом городе» мы читаем:

Грудь твоя не станет свободной от золота и изобилия
сокровищ;
 Персидские золотоносные горы не снимут со смертного
 Заботы и страх; не в силах то сделать и палаты богача Красса.

ева дидактическая поэма, не создали школы; помимо общих причин в этом были еще повинны их индивидуальные особенности, различные со зрелым возрастом, мужиковатостью и даже своеобразной ученостью автора. Но грациозность и юмор, в особенности «Менипповых сатир», которые количеством и значением далеко превосходили, по-видимому, более серьезные труды Варрона, приковывали к себе не только современников, но и позднейших читателей, умевших ценить оригинальность и народность; и даже мы, которым не дано прочесть эти произведения, можем из уцелевших отрывков до известной степени понять, что автор их умел «смеяться и шутить в меру». Как последнее дыхание угасавшего доброго духа древней гражданской поры, как последний свежий отпрыск народной латинской поэзии, варроновы сатиры заслуживают, чтобы в своем поэтическом завещании автор рекомендовал свои менипповские детища всем, «кому близко к сердцу процветание Рима и Лация», и они занимают поэтому почетное место в литературе и в истории италийского народа*.

Но и более легкая матера удавалась поэту. В «Горшке, знающем свой размер», находилась следующая изящная похвала вину:

Для всех вино всегда будет лучшим напитком,
Его изобрели для уврачевания болезней,
В нем скрыт сладостный зародыш веселья,
Оно — та связь, что поддерживает кружок друзей.

Во «Всемирном буре» возвращающийся домой странник такими словами заканчивает свое обращение к корабельщикам:

Отпустите поводья слабейшему ветерку,
Пока сухой ветер своим дуновеньем не приведет
Нас назад на милую родину!

* Эскизы Варрона имеют необычайное историческое и даже поэтическое значение и вследствие отрывочной формы, в которой дошли до нас сведения о них, известны столь немногим и так трудно читаются, что будет позволительно резюмировать здесь содержание некоторых из них с необходимыми для лучшего понимания восстановлениями текста. Сатира «Встающий спозаранку» изображает домашний быт в деревне. Действующее лицо «с первыми лучами солнца велит всем вставать и само отводит людей на места их работы. Молодые люди сами стелют себе постели, которые после работы кажутся им мягкими, и сами же ставят около них кружку с водой и светильник. Питьем им служит светлая, свежая ключевая вода, едой — хлеб и приправой — лук. В доме и на поле всякая работа спорится. Дом — вовсе не замечательное строение, но архитектор мог бы изучать по нему симметрию. О полях заботятся, чтобы они от беспорядка и заброшенности не пришли в нечистоту и в запустение, зато благодарная Церера отстраняет от растущих тут злаков все невзгоды так, чтобы их впоследствии высоко нагроможденные скирды радовали сердце земледельца. Здесь еще

Римляне никогда не имели, в сущности, такой критической историографии, какой была национальная история Аттики в классическую эпоху или всемирная история Полибия. Даже в наиболее подходящей для этого области — в изображении современных и только что

почитаются гостеприимство; желанным гостем является всякий, кто искармлиен материнским молоком. Кладовая с хлебом, бочки с вином, запас колбас, повешенных на перекладине, все ключи от замка всегда к услугам странника, перед которым вырастает высокая пирамида яств; довольный сидит потом насытившийся гость у кухонного очага, не озираясь по сторонам, но тихо кивая головой. Для его ложа расстилают самую теплую овчину с двойным мехом. Здесь еще люди как добрые граждане слушаются справедливого закона, который не преследует невинных из недоброжелательства и не прощает виновных из милости к ним. Здесь не говорят дурно о ближних. Здесь не попирают ногами священного очага, но почитают богов молитвой и жертвоприношениями; духу дома бросают кусок мяса в подобающий сосуд, а когда умирает домохозяин, его хоронят с той же молитвой, с которой хоронили его отца и деда».

В другой сатире выступает «наставник старцев», в котором эта пора общего падения, по-видимому, нуждалась еще больше, чем в наставнике молодежи, и рассказывает, как в старину «все в Риме было целомудренно и набожно, а теперь все пошло по-иному». Не обманывают ли меня глаза, говорит он, или я в самом деле вижу рабов, поднимающих оружие против своих господ? Бывало, того, кто не являлся к воинскому набору, продавали от имени государства на чужбину в рабство; теперь (в глазах аристократии) тот цензор, который сквозь пальцы смотрит на трусость и другие пороки, считается великим гражданином и пожинает хвалы за то, что он не намерен составить себе репутацию, обижая своих сограждан. Бывало, римский крестьянин брил бороду раз в неделю; теперь работающий в поле раб думает лишь о том, как бы ее изящнее отрастить. Бывало, в имениях можно было видеть житницы, вмещавшие в себя десять жатв, просторные подвалы для винных бочек и такие же прессы, теперь владелец усадьбы держит стада павлинов и велит делать двери в своем доме из африканского кипариса. Бывало, домохозяйка вертела рукой веретено, а в то же время не теряла из виду и горшка на очаге, заботясь, как бы не подгорела каша, теперь же (говорится в другой сатире) дочь выпрашивает себе у отца фунт драгоценных камней, а жена у мужа — четверик жемчуга. Бывало, в брачную ночь мужчина был безмолвен и смущен, теперь же женщина отдается первому красивому кучеру. Прежде большое число детей составляло гордость женщины, теперь же, когда муж желает иметь детей, она отвечает ему: разве ты не знаешь, что сказал Энный:

Лучше хочу я трижды подвергнуться в битве опасности,
Чем однажды родить.

Прежде жена бывала довольна, если муж катался с ней раз или

миновавших событий — дело в общем остановилось на попытках, более или менее несовершенных; особенно в эпоху от Суллы до Цезаря никто почти не мог достигнуть даже уровня тех не особенно значительных работ, которыми обладала предшествовавшая пора, — тру-

два в году в повозке с неудобным твердым сиденьем; теперь, мог бы он прибавить (ср. *Cicero, Pro Mil.*, 21, 55), жена ропщет, если муж отправится без нее в свое имение, а за путешествующей дамой следует на виллу элегантная греческая челядь и целый оркестр.

В сочинении более серьезного содержания «Катон, или О воспитании детей» Варрон поучает своего друга, просившего у него совета; он толкует не только о божествах, которым по старому обычаю приносились жертвы за благополучие детей, но, указывая на более благоразумное воспитание детей у персов и на собственную молодость, прожитую в строгих правилах, он предостерегает от закармливания и излишнего сна, от сладкого хлеба и вкусных яств (молодых собак, говорит старик, теперь кормят с большим умом, чем детей), точно так же от ворожбы и молитвы, так часто заступавших в случае болезни место совета врачей. Он советует приучать девушек к вышиванию, с тем чтобы впоследствии они могли верно оценивать достоинство вышивок и ткацких работ, и не снимать с них слишком рано детского наряда; он предостерегает от преждевременной посылки мальчиков в гимнастические и фехтовальные школы, в которых сердце рано грубеет и человек научается жестокости.

В «Шестидесятилетнем мужчине» Варрон является римским Эпименидом, который, заснув десятилетним мальчиком, просыпается спустя полвека. Он изумляется, увидав вместо своей гладко остриженной детской головки старую лысую голову, как у Сократа, с отвратительным лицом и беспорядочной щетиной, как у ежа; но еще более удивляется он совершенно изменившемуся Риму. Лукринские устрицы, в прежнее время — редкое угощение на свадебных пирах, стали теперь ежедневным блюдом; зато разорившийся кутила втайне уже раздувает факел для поджога. Если бывало отец прощал мальчика, то теперь право прощения перешло к мальчику; иначе сказать, сын оплачивает отцу ядом. Площадь, где происходят выборы, стала биржей, уголовный процесс — золотым дном для присяжных. Теперь не повинуются никакому закону, кроме того, который гласит, что даром ничего не дается. Все добродетели исчезли; зато проснувшегося приветствуют в качестве новых обитателей богохульство, вероломство и сладострастие. «О горе тебе, Марк, — после такого сна и такое пробуждение!» Очерк этот напоминает дни Катилины, так как, по-видимому, написан был престарелым автором вскоре после них (около 697 г.), и много правды в горестном заключении, где Марка, получившего хорошую взбучку за несвоевременные обвинения и археологические реминисценции, в насмешку над древним римским обычаем ведут как бесполезного старца на мост и бросают в Тибр. Действительно, для таких людей в Риме не было места.

дов Антипатра и Азеллона. Единственным серьезным относящимся к этой области сочинением, возникшим в данную эпоху, была история союзнической и гражданской войны Луция Корнелия Сизенны (преатора 676 г.).

Те люди, которым довелось ее читать, свидетельствуют, что по живости и удобочитаемости она далеко оставляла за собой старинные сухие летописи, но что зато она написана была весьма неровным слогом, почти принимавшим детский тон, что и подтверждают немногие уцелевшие отрывки, содержащие подробную картину ужасающих событий* и множество слов, вновь образованных или же заимствованных из обиходной речи. Если к этому еще добавить, что образцом для автора и, так сказать, единственным знакомым ему греческим историком был Клитарх, составитель биографии Александра Великого, колеблющейся между историей и вымыслом, вроде того полуроманического сочинения, которое носит имя Квинта Курция Руфа, то прославленное историческое сочинение Сизенны придется признать не продуктом настоящей исторической критики и искусства, а первой в Риме попыткой подражания столь любимой у греков средней форме между историей и романом, которая могла бы сделать фактическую основу живой и интересной при помощи свободного изложения, но на деле делает ее лишь безвкусной и неправдоподобной. После сказанного не покажется удивительным, что Сизенну мы встречаем в числе переводчиков греческих модных романов.

Что в отношении общей городской или даже всемирной летописи дело обстояло еще хуже, это обуславливалось самой сущностью дела. Развитие науки о древности позволяло надеяться, что традиционная история будет проверена по документам и другим надежным источникам; но эта надежда не оправдалась. Чем больше было исследований и чем глубже они становились, тем отчетливее выяснялись трудности написания критической истории Рима. Трудности, предстоявшие исследованию и описанию, были неисчислимы; но наиболее серьезные препятствия были не литературного свойства. Общепринятая древнейшая история Рима в том виде, как она рассказывалась и встречала к себе доверие в течение по меньшей мере десяти поколений, тесно срослась с гражданской жизнью народа; но каждое основательное и добросовестное исследование должно было не только изменять кое-что то тут, то там, но и разрушить все это

* «Невинных, — говорится в одной речи, — дрожа всеми членами, выводишь ты из дому и велишь их казнить ранним утром на высоком берегу реки». Подобных фраз, которые легко можно вставить в новеллу, у Сизенны встречалось много.

здание так же основательно, как разрушены доисторические сказания франков о короле Фарамунде и британская легенда о короле Артуре. Исследователь, проникнутый консервативными убеждениями, как, например, Варрон, не мог желать взять на себя такой труд, и если бы на это отважился какой-нибудь отчаянный вольнодумец, то на этого худшего из революционеров, который захотел бы отнять у конституционной партии даже ее прошлое, посыпались бы угрозы со стороны всех честных граждан. Таким образом, филологические и археологические исследования скорее отвлекали от историографии, чем влекли к ней. Варрон и вообще люди дальновидные считали летопись как таковую не имеющей будущего; максимум возможного в этой области было сделано Титом Помпонием Атикком, составившим свод списков должностных лиц и родов, придав ему неприятный характер таблиц, причем этот труд послужил завершением синхронистического греко-римского летосчисления в том виде, в каком оно было усвоено позднейшими поколениями. Фабрикация городских летописей из-за этого, конечно, не приостановилась, а напротив, продолжала пополнять своими вкладками и в прозе и в стихах обширную библиотеку, составляемую от скуки и для скуки, причем составители этих книг, по большей части вольноотпущенники, вовсе не заботились о настоящем исследовании. Те из этих сочинений, которые известны нам по имени (ни одно не дошло до нас), не только кажутся второстепенными работами, но по большей части отличаются даже весьма недобросовестным искажением фактов. Летопись Квинта Клавдия Квадригария (около 676 г.?) написана была старомодным, но хорошим слогом и в рассказе о временах баснословных придерживалась по крайней мере весьма похвальной краткости, но, если Гай Лициний Макр (умер в сане бывшего претора в 688 г.), отец поэта Кальва и ревностный демократ, предьявлял более всех других хронистов притязания на изучение документов и критику, то его «полотняные книги» и другие выдумки являются в высшей степени подозрительными, и чрезвычайно распространенная привычка, перешедшая отчасти и к позднейшим летописцам, делать в хрониках вставки в интересах демократических тенденций, вероятно, исходила от него.

Наконец, Валерий Анциат превосходил всех своих предшественников и многоречивостью и детской погоней за баснями. Ложь в цифровых данных была проведена у него систематически вплоть до современного исторического периода, и древнейшая история Рима, излагавшаяся в достаточно пошлом тоне, была переработана еще пошлее; так, например, рассказ о том, каким образом мудрый Нума, по указанию нимфы Эгерии, изловил богов Фавна и Пика при помощи вина, и прекрасные разговоры того же Нумы по этому поводу с

Юпитером, — следует настоятельно рекомендовать всем почитателям так называемой легендарной истории Рима, чтобы они поспешили уверовать в них или, точнее сказать, в их внутренний смысл. Было бы настоящим чудом, если бы современные этому греческие авторы повестей прошли мимо подобных сюжетов, точно нарочно созданных для них. Действительно, не было недостатка и в греческих литераторах, которые перерабатывали римскую историю в романы; таким трудом являются, например, составленные упомянутым уже нами в числе греческих писателей в Риме Александром Полигистором пять книг «О Риме», отвратительная смесь затхлых исторических преданий и тривиальных, в особенности же эротических, вымыслов. Надо полагать, что именно он подал пример, как поставить недостававшие пятьсот лет от падения Трои до возникновения Рима в хронологическую связь, обуславливаемую баснословными сказаниями обоих народов, и наполнить этот промежуток одним из тех бессодержательных списков царей, которые, к сожалению, были в таком же ходу у египетских и греческих летописцев; судя по всем данным, именно он вызвал на свет царей Авентина и Тиберина и альбанский род Сильвиев, которых впоследствии потомство не упустило снабдить собственными именами, определенными сроками царствования и, для вящей наглядности, даже портретами. Так вторгся с разных сторон в римскую историографию греческий исторический роман; и более чем вероятно, что из всего, что мы привыкли называть традиционной древней историей Рима, немалая часть заимствована из источников типа «Амадиса Галльского» или рыцарских романов Фуке — поучительное наблюдение для тех, кто одарен пониманием исторического юмора и умеет ценить весь комизм поклонения, которое все еще даже в XIX в. оказывается в некоторых кругах царю Нуме.

В римскую литературу впервые вступает в эту эпоху наряду с национальной историей и всеобщая или, вернее сказать, объединенная римско-эллинская история.

Корнелий Непот из Тицина (приблизительно 650—720 гг.) первый издал всеобщую летопись (вышедшую перед 700 г.) и распределенное по известным категориям общее собрание биографий замечательных в политическом или литературном отношении римлян и греков, или людей, прикосновенных к римской или греческой истории. Эти работы тесно примыкают к тем исследованиям по всеобщей истории, какие уже с давних пор составлялись греками, а эти греческие всемирные летописи начали теперь (так, например, оконченная в 698 г. летопись Кастора, зятя галатского царя Дейотара) вовлекать в свое изложение забытую до той поры римскую историю. Подобно Полибию, и авторы этих трудов старались заменить

локальную историю историей всех государств по берегам Средиземного моря; но то, что у Полибия вытекало из грандиозно ясной концепции и глубокого исторического подхода, является в этих летописях скорее продуктом практических потребностей школьного обучения и самообразования. Эти искусственные исторические писания — не что иное, как учебники для школьного преподавания или справочные книги, и вся связанная с ними литература, позднее сделавшаяся весьма обширной и на латинском языке, едва ли может быть причислена к художественно исполненным историческим работам; в особенности сам Непот был настоящим компилятором, не отличавшимся ни талантом, ни даже систематичностью.

Историография этого времени любопытна и в высшей степени характерна для него, но, разумеется, она так же безотрадна, как и самая эпоха. Слияние греческой и латинской литератур нигде так ясно не выступает, как именно в области истории; здесь обе литературы всего раньше становятся на один уровень по содержанию и по форме, и построенная как единое целое эллино-италийская история, в чем Полибий опередил свое время, изучалась теперь уже и греческими и римскими мальчиками в школе. Но если средиземноморская монархия приобрела историка, прежде чем она сама успела осознать свое значение, то теперь, когда это самосознание явилось, ни у греков, ни у римлян не нашлось никого, кто бы сумел придать ему надлежащее выражение; римской историографии, говорит Цицерон, не существует; и насколько мы можем судить, это истинная правда. Исследование отворачивается от историографии, и сама она — от научного исследования; историческая литература колеблется между учебником и романом. Все чистые виды искусства — эпос, драма, лирика, история — ничтожны в этом ничтожном мире; но ни в одном из них не отражается с такой ужасающей очевидностью умственное падение цицероновой эпохи, как в ее историографии.

Напротив, в специальной исторической литературе этой эпохи среди многих незначительных и забытых потом сочинений можно указать труд замечательный: мемуары Цезаря ли, точнее говоря, военные донесения демократического генерала народу, от которого он получил свои полномочия.

Законченная и единственная опубликованная самим автором часть их, рассказывающая о галльских походах вплоть до 702 г., имеет очевидной целью по возможности оправдать перед публикой неконституционный с формальной стороны образ действий Цезаря, предпринявшего без поручения компетентной власти завоевание обширной страны и для этой цели постоянно увеличивавшего свое войско; он был написан и опубликован в 703 г., когда в Риме разразилась буря против Цезаря и когда от него потребовали, чтобы он распустил вой-

ско и явился к ответу*. Автор этого сочинения, составленного ради собственной реабилитации, пишет (как он прямо об этом и говорит) только как военное лицо и всячески старается не заходить в своем военном донесении в опасные сферы политического устройства и администрации. Его труд, задуманный в интересах партии, приуроченный к известному моменту и изложенный в форме военного отчета, сам по себе уже является подлежащим исследованию элементом истории, подобно бюллетеням Наполеона; в то же время это — не историческое сочинение в полном смысле этого слова, да он и не должен иметь этого характера; объективность изложения здесь не историческая, а объективность должностного лица. Но скромная по своей литературной форме работа Цезаря сделана мастерски и с таким совершенством, как ни одно сочинение во всей римской литературе. Изложение всегда сжато, но оно никогда не скудно, всегда просто, но отнюдь не небрежно, всегда ясно и живо, но не напряженно и не манерно. Язык совершенно свободен и от архаизмов и от вульгаризмов, будучи типичен для современного светского тона. Из книг о гражданской войне, казалось бы, можно вывести, что автор хотел избежать войны, но не смог этого сделать; может быть, можно почерпнуть тут и убеждение, что в душе Цезаря, как и всех других людей, пора надежд была чище и свежее, чем пора их осуществления; но все сочинение о галльской войне проникнуто таким светлым радостным чув-

* Давно уже предполагали, что сочинение о галльской войне было опубликовано единовременно; точным доказательством этого служит упоминание об уравнивании прав бойев и эдуюв, встречаемое уже в первой книге (гл. 28), тогда как бойи еще в седьмой книге (гл. 10) являются подвластными эдуюм данниками, и, по-видимому, только ввиду поведения тех и других во время войны с Верцингеторигом получили одинаковые права с их прежними повелителями. С другой стороны, тот, кто внимательно проследит историю того времени, увидит в отзыве о милоновом кризисе (7, 6) указание на то, что данное сочинение было опубликовано до начала гражданской войны — не потому, что о Помпее упоминалось тут с похвалой, но потому, что Цезарь одобряет здесь чрезвычайные законы 702 г. Он мог и должен был это сделать, пока он старался достигнуть мирного соглашения с Помпеем, но не после разрыва, когда он отверг те судебные приговоры, которые были вынесены на основании этих оскорбительных для него законов. Поэтому опубликование этого сочинения с полным основанием относят к 703 г., — тенденция его всего яснее выступает в постоянной и часто (в особенности, может быть, по поводу аквитанской экспедиции, 3, 11) неудачной мотивировке каждого отдельного военного акта как оборонительной меры, неизбежной в силу сложившихся обстоятельств. Как известно, противники Цезаря порицали нападения на кельтов и германцев прежде всего как ничем не вызванные (*Suet.*, *Caes.*, 24).

ством, такой простой привлекательностью, которая представляет собой такое же необычайное явление в литературе, как сам Цезарь — в истории.

Родственную литературную форму представляет переписка государственных людей и литераторов того времени, которая в следующую затем эпоху была старательно собрана и опубликована; такова корреспонденция самого Цезаря, Цицерона, Кальва и других. Ее нельзя причислить к чисто литературным произведениям, но для исторических, да и для всяких других изысканий эта эпистолярная литература была богатым архивом и верным отражением эпохи, когда так много ценных мыслей былых времен, так много ума, искусства и таланта тратилось по мелочам и пропадало даром. Журналистика, в нашем смысле слова, никогда не существовала у римлян; литературная полемика ограничивалась брошюрной литературой, да еще весьма распространенным в то время обычаем писать в общественных местах кистью или грифелем все сведения, предназначенные для публики. Зато многим мелким личностям поручалось записывание для отсутствовавших господ всех ежедневных происшествий и городских новостей; Цезарь еще во время своего первого консульства принял необходимые меры для немедленного обнародования извлечений из сенатских прений. Из частных записок этих римских наемных писак и из текущих официальных отчетов возникло что-то вроде столичного листа новостей (*acta diurna*), куда заносился краткий отчет о делах, обсуждавшихся в народном собрании и в сенате, список родившихся, смертные случаи и тому подобное. Этот листок стал со временем довольно ценным историческим источником, но никогда не имел настоящего политического и литературного значения.

К смежной с историей литературе принадлежат по справедливости и записанные ораторские речи. Речь, устная или записанная, эфемерна по своей природе и не принадлежит к области литературы, однако и она, подобно отчетам и письмам, и даже с еще большей легкостью, чем они, может благодаря важности минуты и силе ума, ее создавшего, попасть в число непреходящих сокровищ национальной литературы. Так, например, в Риме записанные речи политического содержания, произнесенные перед гражданами или присяжными, не только издавна играли большую роль в общественной жизни, но некоторые из них, в особенности речи Гая Гракха, по справедливости считались классическими произведениями римской литературы.

В занимающую нас эпоху в этой области замечается по всем направлениям странная перемена. Политическая ораторская литература находится в упадке, как и государственное красноречие вообще. В Риме, как и во всех античных полициях, политическое красноречие достигло своего апогея в прениях перед собранием граждан; здесь

оратора не сковывали, как в сенате, коллегиальные соображения и тягостные формы, или, как в судебных речах, чуждые политике интересы обвинения или защиты; только здесь сердце его переполнялось при виде прикованного к его устам всего великого и могущественного римского народа. Но теперь все это миновало. Не то чтобы не было ораторов или чтобы не опубликовывались речи, произнесенные перед гражданством, напротив, как раз в это время политическая литература приобрела весьма значительное распространение, и к числу неизменных неудобств, сопровождавших трапезы, следует отнести привычку хозяев беспокоить гостей чтением своих только что составленных речей. Подобно Гаю Гракху, и Публий Клодий также стал издавать в виде отдельных брошюр свои речи к народу; но когда два человека делают одно и то же, результат бывает далеко не одинаков. Более выдающиеся вожди оппозиции и прежде всего сам Цезарь редко обращались к гражданам с речью и обычно не опубликовывали произносимых ими речей; они как бы искали даже для своих политических памфлетов форму, отличную от традиционной формы речей в народном собрании, и в этом отношении особенно замечательны брошюры, написанные в похвалу и порицание Катона. Это вполне понятно. Ведь и Гай Гракх обращался к гражданам; теперь же говорили с чернью, а каковы слушатели, такова и речь. Неудивительно, если политический писатель с именем не подавал даже и виду, что он обращается к толпе, собравшейся на столичном форуме. Если составление речей теряло свое прежнее литературное и политическое значение, как и все отрасли литературы, естественно развивавшиеся из национальной жизни, то одновременно с этим возникла странная, далекая от политики адвокатская литература. До той поры никому и в голову не приходило, что адвокатское красноречие как таковое предназначалось, кроме судей и сторон, и для литературного назидания современников и потомства; ни один адвокат никогда не записывал и не опубликовывал своих речей, если они не были вместе с тем и политическими речами и не годились поэтому для распространения в виде брошюр известной партии; да и это делалось не так уже часто. Еще Квинт Гортензий (640—704), знаменитейший римский адвокат начала этой эпохи, опубликовал лишь немногие свои речи, да и то, кажется, только чисто политические или наполовину политические.

Лишь преемник его по первенству среди римских адвокатов, Марк Туллий Цицерон (648—711), был по самой природе своей настолько же писателем, как и судебным оратором; он регулярно издавал свои защитительные речи, даже тогда, когда они вовсе не соприкасались с политикой или же имели только отдаленное отношение к ней. Это явление не прогресса, а ненормальности и упадка. Даже в Афинах появление неполитических адвокатских речей как особого литератур-

ного вида есть признак болезненный, а в Риме и подавно, так как здесь это уродство не было, как в Афинах, неизбежным следствием крайнего увлечения риторством, а произвольно заимствовалось у иноземцев, вопреки лучшим национальным традициям. Тем не менее этот новый вид литературы быстро пустил корни отчасти потому, что он нередко соприкасался и сливался с древнейшей политической ораторской литературой, частью же потому, что не поэтическая, задорная, склонная к риторике природа римлян представляла удобную почву для нового посева; и поныне еще адвокатское красноречие и даже что-то вроде судебно-процессуальной литературы пользуется некоторым значением в Италии. Таким образом, сочинение ораторских речей, освободившееся от влияния политики, получило благодаря Цицерону право гражданства в римском литературном мире. Нам приходилось уже много раз упоминать об этом многостороннем человеке. Лишенный необходимых для государственного человека свойств проницательности, твердых убеждений и ясности целей, он последовательно фигурировал в качестве демократа, аристократа и орудия монархов и всегда был не больше как близоруким эгоистом. Там, где, казалось, он действовал, вопросы им затрагиваемые, были уже, по существу, разрешены: так, он выступил в процессе Верреса против сенатских судов, когда они уже были упразднены; так, он молчал во время прений о габиниевом законе и защищал закон Манилия; так, он громыхал против Катилины, когда его падение было уже несомненно, и т. д. На мнимые нападки он отвечал яростно, и с грохотом пробил немало картонных стен; никогда ни одно серьезное дело не было решено им ни в хорошую ни в дурную сторону, и прежде всего казнь сторонников Катилины скорее была допущена им, чем состоялась по его настоянию. В литературном отношении, как уже было указано, он был творцом новейшей латинской прозы; значение его основывается на его стилистике, и только как стилист обнаруживает он самостоятельность. Как писатель же, напротив, он стоит так же низко, как и в роли государственного человека. Он пробовал свои силы в разнообразнейших проблемах, воспевал бесконечными гекзаметрами великие деяния Мария и свои собственные малые дела, затмил своими речами Демосфена, своими философскими диалогами Платона, и только времени ему не хватило, чтобы превзойти и Фукидида. В действительности, он в такой степени был дилетантом, что, в сущности, было безразлично, каким делом он занимался. Журналистская натура в худшем значении этого слова, речами (по его же выражению) безмерно богатый, мыслями же невообразимо бедный, он не знал ни одной области, в которой он не был бы в состоянии с помощью немногих книжек, перевода или компилируя, быстро составить легко читающуюся статью. Всего вернее передает образ Цицерона его

переписка. Ее обыкновенно называют интересной и остроумной; она, действительно, такова, пока она отражает столичную или дачную жизнь большого света; но там, где пишущий предоставлен самому себе, как, например, в изгнании, в Киликии и после фарсальской битвы, она вяла и бессодержательна, как душа фельетониста, вырванного из привычной ему среды. Вряд ли нужно прибавить к этому, что такой государственный деятель и такой писатель и как человек мог быть одарен только слабо прикрашенным верхоглядством и бессердечием. Нужно ли характеризовать его, кроме того, еще как оратора? Великий писатель всегда в то же время и великий человек; в особенности же у великого оратора его убеждения и страсти вырываются из глубины его груди яснее и порывистее, чем у множества малоодаренных людей, которые хотя и существуют, но, собственно, не живут. Цицерон не имел ни убеждений, ни страстей; это был только адвокат, да и то далеко не хороший. Он умел излагать дело в пикантной анекдотической форме, затрагивать если не чувство, то хотя бы чувствительность слушателей и оживлять сухое занятие юридическими делами посредством острот и шуток, по большей части личного свойства; лучшие из его речей, не достигающие, правда, непринужденной грации и меткости выдающихся произведений этого рода, например мемуаров Бомарше, все-таки составляют легкое и приятное чтение. Если указанные уже нами преимущества покажутся строгому судье преимуществами весьма сомнительного достоинства, то полное отсутствие политического смысла в речах по политическим вопросам и юридической дедукции в речах судебных, эгоизм, доведенный до совершеннейшего забвения чувства долга и за личность самого адвоката всегда терявший из виду сущность дела, наконец, страшная скудость мысли возмутят всякого читателя цicerоновых речей, не лишеного ума и сердца. Если чему-нибудь следует удивляться в этом случае, то, конечно, не речам, а тому восторгу, который они вызывали. Всякий беспристрастный читатель скоро поймет, что такое Цицерон; цicerонизм представляет собой проблему, которая не может, в сущности, быть разрешена, а только подменяется еще большей тайной человеческой природы: речью и ее влиянием на умы. Если благородный латинский язык, прежде чем ему погибнуть в народном говоре, был еще раз мобилизован этим опытным стилистом и использован в его объемистых сочинениях, то и на недостойный сосуд перешло кое-что из того могущества, каким обладает язык, и из того благоговения, какое он вызывает к себе. Римляне не имели ни одного крупного латинского прозаика, так как Цезарь, подобно Наполеону, был только случайным писателем. Удивительно ли, что за неимением такого писателя римляне чтили в великом стилисте хоть гений языка и что как сам Цицерон, так и его читатели имели обыкновение

спрашивать не что, а как он писал. Привычка и школьная рутина довершили то, что было начато могуществом самого языка.

Современники Цицерона были, понятно, гораздо менее охвачены этим странным идолопоклонством, чем многие из позднейших читателей. Цицероновская манера царила, правда, в течение целого поколения в мире римских адвокатов, как это выпало до нее на долю еще худшей манеры Гортензия; однако более выдающиеся люди, как, например, Цезарь, всегда держались далеко от подобных приемов, а в кругу молодого поколения пробуждалась во всех свежих и живых талантах положительная оппозиция против этого сомнительного и оппортунистического ораторского искусства. В речах Цицерона ощущался недостаток сжатости и суровости, в шутках его не было жизни, в распределении материала — ясности и расчлененности, а главное, во всем его красноречии не было того огня, который создает настоящего оратора. Вместо родосских эклектиков стали снова обращаться к настоящим аттическим ораторам, в особенности к Лисию и Демосфену, и старались ввести в Риме более сильный и здоровый вид красноречия.

Этого направления держался величавый, но чопорный Марк Юний Брут (669—712) и два политических единомышленника, Марк Целий Руф (672—706) и Гай Скрибоний Курион (умер в 705 г.), ораторы, полные ума и жизни; Кальв, известный также как поэт (672—706), литературный корифей этого кружка юных ораторов и, наконец, серьезный и добросовестный Гай Азиний Поллион (678—757). В этой более поздней ораторской литературе, бесспорно, более ума и вкуса, чем в гортензиевых и цицероновых речах вместе взятых; к сожалению, мы лишены возможности определить, насколько среди революционных бурь, быстро рассеявших весь этот богато одаренный кружок, за исключением одного только Поллиона, успели развиваться зародыши чего-то лучшего. Им было отмерено слишком мало времени. Новая монархия объявила войну свободе слова и вскоре совершенно подавила политическое красноречие. С той поры еще держалась в литературе второстепенная отрасль чистых адвокатских защитительных речей; но высшее ораторское искусство и ораторская литература, всецело опирающиеся на политическую борьбу, неизбежно и навсегда исчезли вместе с ней.

В эстетической литературе этого времени развилась, наконец, художественная обработка специально научных тем в форме изящно отделанного диалога, очень распространенного между греками и по временам появлявшегося у римлян и прежде. В особенности Цицерон часто пытался изложить в этой форме риторические и философские вопросы и сочетать учебник с книгой для чтения.

Главные сочинения его следующие: «Об ораторе» (написано в

699 г.), к нему присоединяются, как дополнения, история римского красноречия (диалог «Брут», написанный в 708 г.), другие мелкие риторические статьи и рассуждение «О государстве» (написанное в 700 г.), с которым связана, в подражание Платону, статья «О законах», написанная в 702 г. (?) Это — не великие художественные произведения, но, бесспорно, такие работы, в которых преимущества автора выступают всего яснее, недостатки же его всего более стушевываются. Риторические статьи далеко уступают в строгой поучительности и меткости определений той риторике, которая была посвящена Гереннию, но взамен этого заключают в себе в легкой и изящной форме настоящий клад адвокатского практического опыта и всевозможных адвокатских анекдотов и действительно разрешают проблему занятого и вместе с тем поучительного сочинения. Сочинение о государстве проводит среди странного историко-философского смешения ту основную мысль, что существующая в Риме конституция составляет искомый философами идеальный государственный строй, — идея крайне антифилософская и антиисторическая, к тому же отнюдь не принадлежавшая самому автору, но которая, понятно, сделалась и осталась популярной. Научная основа этих риторических и политических работ Цицерона, разумеется, всецело принадлежит грекам, и даже многие частности, как, например, большой заключительный эффект в сочинении о государстве, сон Сципиона, прямо заимствованы у них; тем не менее некоторую относительную оригинальность следует за этими работами признать, так как в обработке сюжетов замечается вполне римская локальная окраска, а политическая гордость, на которую римлянин, действительно, имел право, сравнительно с греками, заставляла автора выступать с известной долей самостоятельности относительно своих греческих учителей. И разговорная форма у Цицерона далеко не является ни вопросительной диалектикой лучших греческих художественных диалогов, ни настоящей разговорной манерой Дидро или Лессинга; но многочисленные группы адвокатов из окружения Красса и Антония, а также старших и младших государственных людей сципионовского кружка, тем не менее служат живой и интересной рамкой, дают случай для исторических сближений и анекдотов и удобный повод для научных рассуждений. Слог столь же обработан и подчищен, как в лучших речах Цицерона, и гораздо приятнее, потому что автор лишь редко делает неудачные попытки высидеться до пафоса. Если эти философски окрашенные риторические и политические сочинения Цицерона не лишены достоинств, то компилятор, напротив, окончательно потерпел фиаско, когда он во время невольного досуга последних лет своей жизни (709—710) принялся за настоящую философию и со столь же большой поспешностью, как и раздражительностью, написал в несколько месяцев целую философ-

кую библиотеку. Рецепт для этого был весьма прост. Грубо подражая популярным работам Аристотеля, в которых диалогическая форма употреблялась, главным образом, для развития и критики различных древнейших систем, Цицерон соединил в так называемый диалог все попавшиеся ему под руку эпикурейские, стоические или синкретические сочинения, касавшиеся той же проблемы, не внося от себя ровно ничего; он только снабдил новую книгу введением, взятым из его богатой коллекции готовых предисловий к будущим трудам, сделал ее популярнее посредством указаний на римские примеры и отношения, отклоняясь к предметам, не идущим к делу, но привычным как для автора, так и для читателя, — в этике, например, к вопросу об ораторских приличиях, — и, наконец, внося в нее такие искажения, без которых быстро и смело работающий литератор, лишенный философского мышления и знания, никогда не воспроизводит диалектический ряд мыслей. Таким путем, естественно, могла весьма скоро возникнуть масса толстых книг: «Это копии, — писал сам автор другу, изумлявшемуся его плодovitости, — они берут у меня мало труда, так как я даю только слова, а их я имею в изобилии». Против этого нечего было возразить, но тому, кто в таких писаниях ищет классических произведений, можно только посоветовать держаться в литературных вопросах благоразумного молчания.

Из числа наук только в одной намечалась деятельная жизнь, именно в латинской филологии. Начатые Стилоном филологические и реальные исследования в пределах распространения латинского народа продолжались в грандиозных размерах его учеником Варроном. Появились обширные труды по изучению всего богатства языка, в особенности пространные грамматические комментарии Фигула и большой труд Варрона «О латинском языке»; монографии по грамматике и языковедению, вроде варронова сочинения об употреблении слов в латинском языке, о синонимах, о возрасте букв, о возникновении латинского языка; схолии к древнейшей литературе, в особенности к Плавту; работы по истории литературы, биографии поэтов; исследования о старинном театре, о сценическом делении плавтовых комедий и о подлинности их. Латинская филология реальных, включавшая в свой круг всю древнейшую историю, и проистекавшее из практической юриспруденции сакральное право были сгруппированы в фундаментальных и навсегда оставшихся такими «Древностях человеческих и древностях божественных» Варрона (опубликованных между 687 и 709 гг.). Первая половина, касавшаяся «вопросов человеческих», описывает доисторическое время Рима, разделение на города и деревни, науку о годах, месяцах и днях, наконец, дела общественные дома и на войне; во второй половине, «о вопросах божественных», наглядно излагалось государственное богословие, сущность и значение спе-

циальных жреческих коллегий, священных мест, религиозных празднеств, жертвоприношений и посвящений, наконец, самих богов. За этим последовало, кроме ряда монографий, как, например, о происхождении римского народа, о происходивших из Трои римских родов, об округах, в виде обширного и самостоятельного дополнения к этим трудам сочинение «О жизни римского народа», замечательный опыт истории римских нравов, набрасывавший картину домашнего быта, финансов и культурного состояния Рима в эпоху царей, в период ранней республики, Ганнибала и новейшего времени. Эти труды Варрона основывались на столь разностороннем и, по-своему, столь обширном эмпирическом знакомстве с Римским государством и пограничными с ним эллиническими областями, какого мы не встречаем ни раньше, ни позднее ни у кого из римлян и которому одинаково содействовали как живое наблюдение над окружающим, так и изучение литературы; похвальный отзыв современников, что Варрон помог ориентироваться на родине своим соотечественникам, не понимавшим окружающего их мира, и что он научил римлян познавать, кто они и где живут, был вполне заслужен им. Но искать у него критики и системы было бы напрасно. Греческие данные заимствованы, очевидно, из весьма мутных источников; есть следы и того, что и в римских вопросах автор не был чужд влияния исторического романа его времени. Весь этот материал расположен, правда, в форме удобного и симметричного специального сочинения, но не распределен систематически и не обработан; при всем стремлении гармонически переработать предания и собственные наблюдения, научные труды Варрона не могут избежать обвинения в известной доверчивости по отношению к традиции и в нежизненной схоластике*. Зависимость от греческой филологии заключается скорее в подражании ее недостаткам, чем преимуществам; так, например, изучение этимологии на основании одного только созвучия превращается у самого Варрона, как и у остальных филологов того времени, в простую догадку, часто же даже в чистую нелепость**. Своей эмпирической уверенностью,

* Курьезным примером может служить в сочинении о сельском хозяйстве общее рассуждение о скоте (2, 1), с подразделением науки о скотоводстве на 81 отдел, с «невероятным, но достоверным фактом, что кобылы оплодотворяются близ Лиссабона (Олизион) посредством ветра», вообще с невозможным смешением философских, исторических и сельскохозяйственных сведений.

** Так, например, Варрон выводит слово *facere* (делать) от слова *facies* (лицо) на том основании, что тот, кто что-нибудь делает, дает делу его физиономию: *volpes* (лисица), по Стилому, от *volare pedibus* (летать ногами) в смысле «легкой на ноги». Гай Требаций, филолог-юрист того времени, производит *sacellum* (часовня) от *sacra cella* (святая келья);

полнотой, а также несостоятельностью и отсутствием метода варронова филология живо напоминает английскую национальную филологию и, подобно ей, находит свой центр тяжести в изучении древнейшего театра. Мы уже говорили раньше, что монархическая литература развила в противоположность этому эмпиризму в языковедении определенные правила. В высшей степени характерно, что во главе современных грамматиков стоял не кто иной, как сам Цезарь, который в своем рассуждении об аналогии (опубликованном между 696 и 704 г.) первый пытался подчинить свободный язык силе закона.

Наряду с этой необычайной деятельностью в области филологии нас поражает малая активность в остальных науках. Все, что в философии казалось стоящим внимания, как, например, лукрециево изображение эпикурейской системы в поэтически наивной оболочке досократовской философии и лучшие сочинения Цицерона, производило действие и находило для себя подходящую публику не благодаря, а вопреки своему философскому содержанию, единственно в силу своей эстетической формы. Многочисленные переводы эпикурейских сочинений и труды пифагорейцев, равно как и обширное сочинение Варрона об элементах чисел и еще более пространственный труд Фигула о богах не имели, без сомнения, ни научной, ни чисто формальной ценности. И в специальных науках дело обстояло плохо. Написанные Варроном в диалогической форме книги о земледелии, конечно, более методичны, чем труды его предшественников, Катона и Сазерны, на которых он и бросает не один неодобрительный, косой взгляд, но зато они в общем были скорее результатом кабинетного труда, чем, подобно этим древнейшим сочинениям, порождением живого опыта. О них, как и о юридических трудах Сервия Сульпиция Руфа (консул 703 г.), ничего нельзя сказать, как только то, что они служили диалектическим и филологическим убором для римской юриспруденции. В этой области нечего более назвать, разве только три книги Гая Матия о стряпне, соленье и варенье, бывшие, сколько нам известно, древнейшей римской поваренной книгой и составлявшие как сочинение знатного лица действительно замечательное явление. Что развитию математики и физики содействовал рост эллинистических и утилитарных тенденций монархии, заметно уже из усилившегося их значения в школьном преподавании и из некоторых практических применений, к которым кроме реформы календаря можно еще при-

Фигул слово *frater* (брат) — от *fere alter* (почти другой) и т. д. Подобный прием, являющийся далеко не случайным, а как бы главным элементом филологической литературы того времени, очень похож на тот способ, каким до недавнего времени занимались сравнительным языковедением, пока знакомство с организмом языка не положило конец работе эмпириков в этой области.

числить появление в эту эпоху стенных карт, улучшение техники судостроения и музыкальных инструментов, разведение садов и такие постройки, как упоминаемый Варроном птичник, свайный мост через Рейн, сооруженный инженерами Цезаря, наконец, две деревянные, полукруглые эстрады, устроенные так, что их можно было сдвигать вместе, и употреблявшиеся сперва порознь, как два отдельных театра, а впоследствии вместе, как амфитеатр. Выставляя напоказ во время народных празднеств чудеса иноземной природы было не редкостью, и описания замечательных животных, вставленные Цезарем в отчете об его походах, доказывают, что если бы появился второй Аристотель, он снова нашел бы достойного себе монарха. Все литературные достижения, о которых упоминается в этой области, тесно связаны с неопифагорейством, как; например, сопоставление Фигулом греческих и варварских, т. е. египетских, астрономических наблюдений и его сочинения о животных, ветрах, половых органах. После того как греческое естествознание от аристотелевых стремлений открыть закономерность в частных случаях стало все более и более уклоняться к эмпирическому, большей частью не критическому наблюдению внешних и бросающихся в глаза явлений природы, естественные науки, превратившиеся в мистическую натурфилософию, могли только парализовать и притуплять умы, вместо того чтобы просвещать и возбуждать их; и ввиду подобных тенденций многие предпочитали держаться того тривиального положения, которое Цицерон выдавал за сократову мудрость, именно, что естествоведение допытывается тайн, которые никому не доступны или которых никому знать не надлежит.

Если мы в заключение бросим взгляд на искусство, то и здесь обнаруживаются те же нерадостные явления, которые наполняют всю духовную жизнь этой эпохи. Среди финансовых затруднений последнего периода республики государственное строительство почти совсем приостановилось. Об архитектурной роскоши знатных римлян было уже рассказано выше: благодаря ей архитектора научились расточительно обращаться с мрамором; цветные сорта вроде желтого нумидийского (*giallo antico*) и других вошли в употребление в это время; лунскими (каррарскими) мраморными каменоломнями стали пользоваться впервые только теперь; начали выкладывать комнатные полы мозаикой, украшать мраморными плитками стены или даже расписывать под мрамор штукатурку; это были первые зачатки позднейшей стеной живописи. Но искусство ничего не выиграло от этой расточительной роскоши.

В изобразительном искусстве число знатоков и любителей коллекций постоянно возрастало. Было лишь аффектацией катоновой простоты, когда какой-то адвокат говорил перед присяжными о худо-

жественных произведениях «некоего Праксителя»; все путешествовали по замечательным местам, и профессия художественного «чичероне», или, как тогда говорили, экзегета, была далеко не из худших. За древними художественными произведениями шла настоящая охота, — правда, не столько за картинами и статуями, сколько (в соответствии с грубым характером римской роскоши) за художественной утварью и комнатными и столовыми украшениями всех родов и видов. Уже в это время раскапывались старинные греческие могилы в Капуе и Коринфе в погоне за металлическими и глиняными сосудами, положенными в могилу вместе с умершими. За маленькую фигурку из бронзы платили до 40 тыс.; за два ценных ковра — 200 тыс. сестерциев, хорошо сработанная медная кухонная машина стояла дороже целого имения. Понятно, что при этой варварской погоне за предметами искусства богатых любителей зачастую обманывали их поставщики; но экономическое разорение Малой Азии, особенно богатой предметами искусства, доставляло на художественный рынок немало действительно древних и редких предметов роскоши и искусства, и из Афин, Сиракуз, Кизика, Пергама, Хиоса, Самоса и других древних художественных центров все, что подлежало, и даже многое, не подлежавшее продаже, переселялось во дворцы и виллы знатных римлян. Уже раньше говорили мы о том, какие сокровища искусства скрывались, например, в доме Лукулла, который, бесспорно, недаром обвинялся в том, что удовлетворял своему артистическому чувству в ущерб своим военачальническим обязанностям. Любители искусства теснились в его доме, как ныне в вилле Боргезе, и уже тогда раздавались жалобы на то, что сокровища искусства хоронились в глубине дворцов и загородных домов знатных вельмож, где их можно было обозреть лишь с трудом и только с особого разрешения владельца. Напротив, общественные здания отнюдь не в такой же пропорции наполнялись знаменитыми произведениями греческих художников, и во многих из столичных храмов все еще ничего не стояло, кроме древних, выточенных из дерева изображений богов. О художественном творчестве этого времени почти что нечего сказать; в эту эпоху не называют почти ни одного скульптора или живописца, кроме некоего Арелия, работы которого продавались нарасхват, но не ради их художественного достоинства, а потому, что этот отъявленный повеса давал в лице богинь верное изображение своих любовниц.

Значение танцев и музыки возрастало и в общественной и в домашней жизни. Мы уже говорили о том, что театральная музыка и пляски получили в сценическом развитии этого времени более самостоятельное значение; можно только добавить, что теперь в Риме даже на публичной сцене давались часто представления греческими музыкантами, танцовщиками и декламаторами, как это было заведено в

Малой Азии и вообще во всем эллинском мире и везде, где распространялась эллинская цивилизация*. Кроме того, мы видим еще музыкантов и танцовщиц, которые показывали свое искусство за столом и вообще по заказу, и, наконец, нередко в знатных домах имелись собственные оркестры струнных и духовых инструментов, а также певцов. Знатные люди и сами прилежно пели и играли, это дока-

* Подобные «греческие игры» не только были очень распространены в греческих городах Италии, в особенности в Неаполе (*Cicero, Pro arch., 5, 10, Plutarch, Brut., 21*), но в описываемое время бывали очень часты и в Риме (*Cicero, Ad fam., 7, 1, 3; Ad Att., 16, 5, 1; Suet., Caes., 39; Plutarch, Brut., 21*). Если известная надпись на могиле четырнадцатилетней Лицинии Евхариты, относящаяся, вероятно, к концу этой эпохи, гласит, что эта «образованная девушка, посвященная во все тайны искусства самими музами, блистала как танцовщица на частных представлениях в знатных домах и впервые выступила публично на греческой сцене» («modo nobilium ludos decoravi choro, Et Graeca in scaena prima populo, arragui»), то это может только означать, что она была первой девушкой, появившейся в Риме на публичной греческой сцене; да и вообще только в эту эпоху женщины стали там выступать публично.

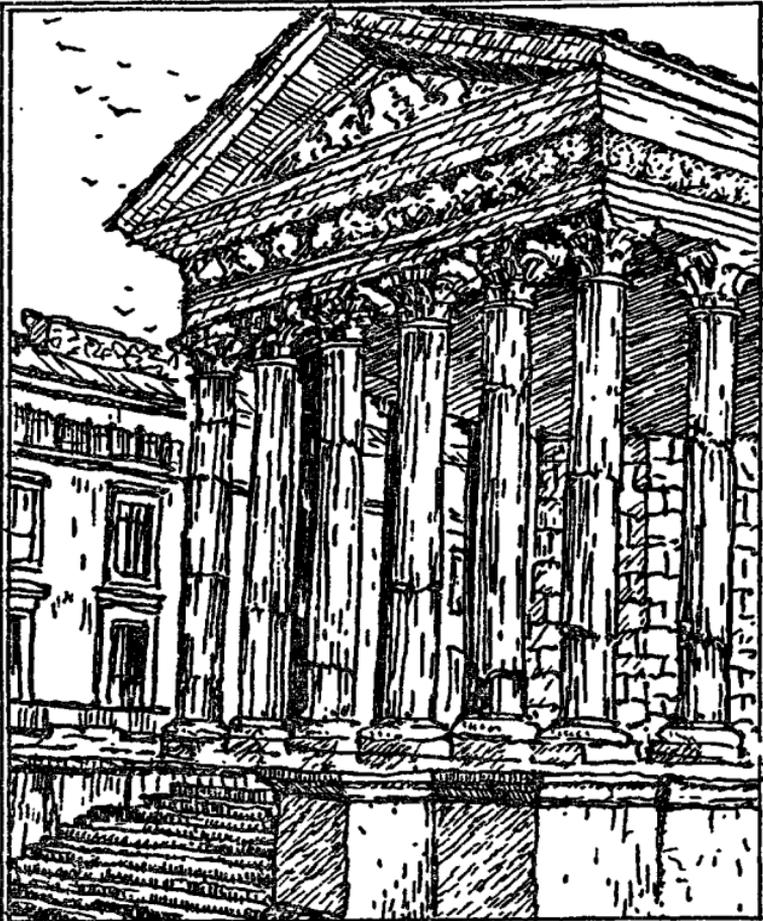
В Риме эти «греческие игры» не были настоящими сценическими представлениями, а принадлежали, по-видимому, к категории смешанных зрелищ, состоящих прежде всего из музыки и декламации, что нередко встречалось впоследствии и в самой Греции (*Welcker, Griech. Trag., S. 1277*). На это указывают упоминания Полибия об игре на флейте (30, 13), о танцах — в рассказе Светония о военных плясках в Малой Азии, исполненных во время организованных Цезарем игр, и надгробная надпись Евхариты; даже самое описание кифаредов (*Ad Negg., 4, 77, 60; ср. Vitruv., 5, 7*) заимствовано, вероятно, у таких «греческих игр». Характерно еще соединение этих представлений в Риме с греческими боями атлетов (*Polyb., op. cit., 30, 13; Lib., 39, 22*). Драматические декламации отнюдь не были исключены из этих смешанных игр; так, например, в числе исполнителей, выведенных в Риме в 587 г. Луцием Аницием, прямо упоминаются трагики; но давались собственно не настоящие представления, а отдельными артистами декламировались или пелись под звуки флейты либо целые драмы, либо, чаще всего, отрывки из них. Это делалось, вероятно, и в Риме; но, по-видимому, для римской публики главными в этих греческих играх были музыка и танцы, текст же значил для них немного больше того, что значит в наше время либретто итальянской оперы для посетителей лондонского или парижского театра. Эти сборные спектакли с их дикой смесью действительно гораздо более годились для римской публики и в особенности для исполнения в частных домах, чем настоящие сценические представления на греческом языке; давались ли подобные спектакли в Риме, — этого нельзя ни доказать, ни опровергнуть.

зывается уже включением музыки в круг общепринятых предметов обучения; что же касается танцев, то, не говоря уже о женщинах, даже консулярам ставили в упрек, что они исполняли в тесном кругу разные пляски.

Однако к концу этого периода обнаруживается одновременно с началом монархии и наступление лучшего времени для искусства. Мы уже раньше указывали, какое сильное развитие получила благодаря Цезарю столичная архитектура и как это должно было сказаться на строительном деле во всем государстве. Даже в выделке монетных штемпелей замечается около 700 г. поразительная перемена; грубый и по большей части небрежный до той поры отпечаток выделывается с этих пор тоньше и тщательнее.

Мы дошли до конца Римской республики. Мы видели ее властвовавшей в течение целого полутысячелетия над Италией и прибрежными странами Средиземного моря; мы видели, как она не под давлением внешней силы, а вследствие внутреннего разложения пришла в упадок в политическом, нравственном, религиозном и литературном отношении и уступила место цезаревой монархии. В том мире, который застал Цезарь, было много благородных пережитков минувших веков и бесконечная бездна роскоши и блеска, но мало ума, еще менее вкуса и всего меньше — веселья и радостного наслаждения жизнью. Это был поистине одряхлевший мир, и даже гениальный патриотизм Цезаря не мог вполне обновить его. Заря не наступит, пока не установится полная ночная мгла. Тем не менее для измученных народов вокруг Средиземного моря наступил благодаря Цезарю после удушливого полдня приятный вечер; и когда вслед за долгой исторической ночью занялся для усталых народов новый день и новые нации устремились в свободном самоопределении к иным, высшим целям, тогда между ними нашлось немало таких, в которых возшло семя, посеянное Цезарем, и которые были и поныне остаются обязанными ему своей национальной индивидуальностью.





КНИГА ВОСЬМАЯ
СТРАНЫ И НАРОДЫ
ОТ ЦЕЗАРЯ ДО
ДИОКЛЕТИАНА

Предисловие автора

Мне часто приходится слышать пожелания, чтобы я продолжил свою «Историю Рима». Это вполне совпадает с моим собственным желанием, хотя и трудно спустя тридцать лет снова взяться за прерванную нить в том месте, где мне пришлось выпустить ее из рук. То, что новый рассказ не будет непосредственным продолжением старого, не имеет большого значения. Ведь и четвертый том без пятого был бы таким же фрагментом, каким пятый том будет теперь без четвертого. Кроме того, мне кажется, что образованные читатели, которым мое сочинение должно помочь разобраться в историческом прошлом Рима, гораздо легче восполнят из других произведений пробел, созданный отсутствием двух промежуточных книг*, чем тот пробел, какой получился бы, если бы не вышел в свет предлагаемый том. Борьба республиканцев против основанной Цезарем монархии и окончательное установление последней — о чем должна была повествовать шестая книга — так хорошо описаны в античных источниках, что всякое новое изложение этого процесса сводится в основном к их пересказу. Далее, монархический порядок во всем его своеобразии, его колебания, а также общие административные порядки, обусловленные личными качествами отдельных властителей, что должно было составить содержание седьмой книги, — все это неоднократно служило темой исторического повествования. С другой стороны, насколько я знаю, читатели, для которых предназначен мой труд, нигде не найдут в достаточно сжатом и доступном виде историю отдельных частей империи в период от Цезаря до Диоклетиана, которой посвящен этот том. В отсутствии такой истории я склонен усматривать причину столь широкого распространения в публике неправильных и несправедливых суждений о Римской империи. Правда, для некоторых периодов, в особенности для времени от Галлиена до Диоклетиана, невозможно провести полностью такое разграничение между историей отдельных областей и общей историей империи, какое, по моему мнению, необходимо для правильного понимания эволюции Римской империи в целом; и потому эта часть должна быть дополнена общим трудом, которого пока еще нет.

Берлин, февраль 1885 г.

* Третий том заканчивается пятой книгой; пятый содержит восьмую; таким образом, вместе с присутствующим четвертым томом выпадают книги шестая и седьмая. — *Прим. ред.*

Введение

Проблемы римской истории эпохи империи и эпохи республики имеют между собой много общего.

То, что может быть почерпнуто нами непосредственно из литературной традиции, не только бесцветно и бесформенно, но также в большинстве случаев бессодержательно. Список римских императоров не более достоверен, чем список консулов времен республики, и столь же беден интересующими нас сведениями. Мы можем составить общее представление о кризисах, потрясавших всю империю, но о войнах, которые Август или Марк Аврелий вели с германцами, нам известно немногим больше, чем о войнах с самнитами. Рассказы эпохи республики заслуживают большего внимания, нежели анекдоты императорского Рима; тем не менее рассказы об императоре Гае так же безвкусны и вымышлены, как и рассказы о консуле Фабриции. Внутреннее развитие общества, быть может, полнее отражено в источниках эпохи ранней республики, чем эпохи империи; там они содержат, хотя и туманное и искаженное, изображение трансформаций государственного порядка, которые, по крайней мере в последней своей стадии, совершаются на римском форуме; здесь же эти изменения происходят в тиши императорского кабинета, и достоянием гласности обычно становятся лишь не представляющие серьезного интереса факты. Вдобавок ко всему границы римских владений бесконечно расширяются, и наиболее оживленное развитие происходит уже не в центре, а на периферии. История города Рима превращается в историю целой страны Италии, а эта последняя — в историю средиземноморского мира; при этом все, что представляет для нас особенно большой интерес, остается наименее известным. Римское государство этой эпохи подобно могучему дереву, засыхающий ствол которого пускает вокруг себя во все стороны мощные побеги. В римском сенате и среди римских императоров вскоре появятся выходцы не только из Италии, но и из других областей империи; квириты императорской эпохи, формально преемники всемирных завоевателей, легионеров, столь же мало связаны с великими воспоминаниями Рима, как наши современные иоанниты с Родосом и Мальтой; в доставшемся им наследии они видят источник дохода, своего рода право на обеспечение неимущих бездельников.

Кто обратится к так называемым источникам этого времени, даже к лучшим из них, тот, к величайшей своей досаде, убедится,

что они сообщают о том, о чем лучше было бы молчать, но умалчивают о том, что необходимо было бы рассказать. Ибо и в эту эпоху рождались великие замыслы и совершались дела огромного исторического значения. Редко управление миром так долго сохранялось в руках ряда правильно сменявших друг друга властителей, а прочные нормы управления, завещанные Цезарем и Августом своим преемникам, в общем удержались и поразительно окрепли, несмотря на все смены династий и династов. Источники уделяют этой смене правителей слишком большое внимание, превращаясь подчас попросту в биографии императоров. В ходячих представлениях об этой эпохе, неверных вследствие поверхностного характера лежащих в их основе источников, она распадается на отдельные периоды, четко разграниченные сменой правлений; однако такая периодизация в большей мере основана на жизни императорского дворца, нежели на действительной истории империи. В том-то и заключается величие этих столетий, что они были эпохой долгого и глубокого мира на суше и на море, который был необходим для выполнения великого дела, начатого уже в прошлом, — дела распространения во всем мире греко-римской цивилизации в процессе формирования городского общинного строя и постепенного приобщения к этой цивилизации варваров и прочих иноземцев; для выполнения этой задачи требовались столетия непрерывной деятельности и спокойного внутреннего развития. Старческий возраст не в состоянии развивать новые идеи и проявлять творческую деятельность; не сделало этого и римское императорское правительство. Однако в пределах своего круга, который не без основания представлялся всем, кто к нему принадлежал, целой вселенной, империя поддерживала мир и процветание множества соединенных в ней наций дольше и полнее, нежели когда-либо какая-либо другая великая держава. В земледельческих городах Африки, в жилищах виноделов Мозеля, в цветущих поселениях ликийских гор и приграничной полосы сирийской пустыни — всюду можно искать и находить следы выполненной империей работы. Еще и ныне на Востоке и на Западе есть местности, где внутренние порядки никогда — ни прежде, ни после — не стояли на такой высоте, как в эпоху империи, как ни скромны были сами по себе ее достижения. И если бы ангелу небесному предстояло решать, в какую эпоху области, некогда подвластные императору Северу Антонину, управлялись более разумно и более гуманно — тогда или теперь, если бы он должен был указать, в каком направлении шло с тех пор развитие культуры и благополучия народов в целом — вперед или назад, то представляется весьма сомнительным, чтобы его приговор оказался в пользу нашего времени. Однако, констатируя этот факт, мы большей частью тщетно стали бы

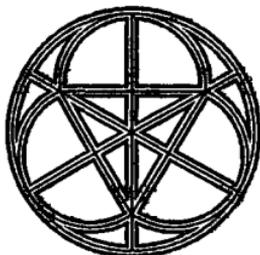
искать в дошедших до нас книгах ответа на вопрос, как получился такой результат, и традиция ранней республики не объясняет нам, как возник этот колоссальный исторический феномен — Рим, по следам Александра покоривший и цивилизовавший мир.

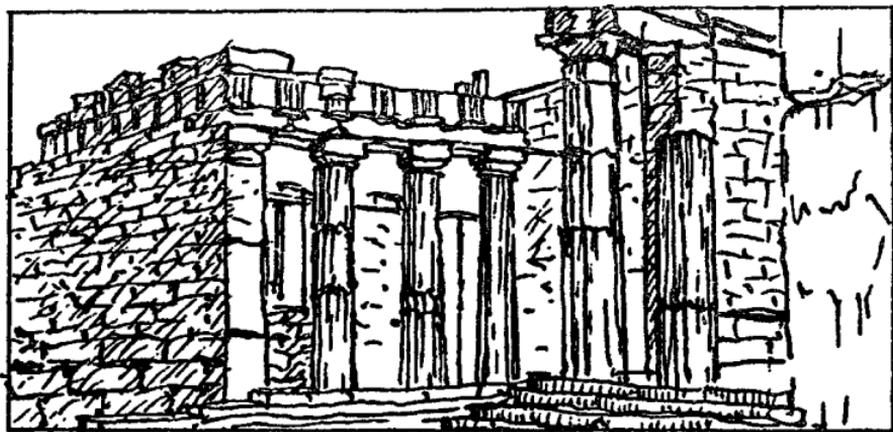
Ни первый, ни второй пробел в наших сведениях о Риме заполнить невозможно. Однако нам показалось, что, вместо того чтобы изображать правителей в традиционных, то ярких, то бледных и зачастую фальшивых, красках, вместо того чтобы склеивать в мнимой хронологической последовательности совершенно разнородные отрывки, следовало бы попытаться собрать и привести в порядок весь относящийся к римскому провинциальному управлению материал, доставляемый письменной традицией и вещественными памятниками; нам казалось достойным труда с помощью тех или других случайно уцелевших сведений обнаружить в уже сложившемся следы процесса созидания, выявить общегосударственные учреждения в их отношении к отдельным частям империи и, сопоставив это с условиями, данными для каждой такой части характером почвы и населения, охватить все силою фантазии — этого общего источника поэзии и истории — и создать если не цельную картину, то, по крайней мере, ее подобие. При этом я не хочу идти дальше эпохи Диоклетиана, ибо новый государственный порядок, созданный в то время, может послужить самое большее лишь заключением нашего повествования в форме суммарного очерка дальнейшего развития. Чтобы дать полную оценку этому новому порядку, следовало бы посвятить ему особый рассказ, охватывающий иной круг стран, для чего потребовался бы специальный исторический труд, выполненный в мощном стиле Гиббона и с его широким кругозором, но с еще более глубоким анализом деталей.

Я исключил из моего рассказа Италию с ее островами, так как их описание нельзя отделить от характеристики общеимперского управления. Так называемая внешняя история империи входит в повествование как неотъемлемая часть провинциального управления. Империя не вела с внешним миром войн, которые можно было бы назвать общеимперскими; однако столкновения, вызванные нуждами округления границ или их защиты, несколько раз принимали такие размеры, что их можно было принять за войны между двумя равноправными державами; наступивший же в Римской империи в середине III в. упадок, который, как казалось в течение нескольких десятилетий, должен был окончиться ее гибелью, являлся результатом неудачной защиты границ одновременно во многих местах.

Изложение в этом томе начинается с описания крупного продвижения римлян при Августе и урегулирования северной границы; продвижение это частично оказалось успешным, частично же по-

терпело неудачу. В дальнейшем событиям на каждом из трех главных театров пограничной обороны — на Рейне, Дунае и Евфрате — также посвящены отдельные главы. В остальном изложение следует по отдельным странам. Это изложение не может дать ни захватывающих эпизодов, ни полных настроения картин, ни портретов отдельных личностей. Дать образ Арминия может художник, но не историк. Эта книга написана с самоотверженностью историка, а потому и читать ее надо, не предъявляя к автору больших требований как к художнику.





Глава I

Северная граница Италии

Римская республика расширила на запад, юг и восток подвластную ей область, пользуясь преимущественно морскими путями. Но границы были лишь очень незначительно расширены в том направлении, в котором Италия и оба зависящих от нее полуострова на западе и на востоке соединяются с большим европейским материком. Страны, лежащие за Македонией, и даже северные склоны Альп Риму не подчинялись; лишь земли к северу от южного побережья Галлии были присоединены к империи Цезарем.

При общем положении империи в то время дальше так продолжаться не могло; упразднение вялого и ненадежного управления аристократии прежде всего должно было сказаться именно здесь. Цезарь завещал своим преемникам в первую очередь завоевание Британии и лишь затем расширение римской территории по северному склону Альп и по правому берегу Рейна. Однако по существу дела это последнее расширение границ было гораздо более необходимо, нежели покорение заморских кельтов. Понятно поэтому, что Август отказался от первой задачи и принялся за выполнение последней.

Эта задача распалась на три большие части: во-первых, операции на северной границе греко-македонского полуострова, в области среднего и нижнего Дуная, т. е. в Иллирике; далее, операции по северной границе самой Италии, в области верхнего Дуная, т. е. в Ретии и Норике; наконец, операции по правому берегу Рейна, в Германии. Военно-политические мероприятия выполнялись в этих областях большей частью независимо одно от другого; тем не менее все

они имеют между собой внутреннюю связь. Поскольку они представляли собой результат свободной инициативы римского правительства, понять их военное и политическое значение как в их успехах, так и в частичных неудачах возможно лишь, если мы будем обозревать их во всей их совокупности. Поэтому они будут излагаться более в географической, нежели в хронологической связи; здание, частями которого они являются, легче поддается обозрению в своей внутренней целостности, нежели во временной последовательности появления отдельных строений.

Прологом ко всей этой большой операции послужили подготовительные мероприятия на северном побережье Адриатического моря и в прилегающих внутренних областях, выполненные Октавианом, едва лишь положение в Италии и Сицилии развязало ему руки. Правда, в течение 150 лет, протекших со времени основания Аквилеи, римский купец все более и более овладевал торговлей, центром которой был этот пункт; но успехи самого государства были незначительны. В главных гаванях далматского побережья, равно как на дороге, соединяющей Аквилею с долиной Савы, у Навпорта (Врннка)*, возникли значительные торговые поселения; Далмация, Босния, Истрия и Крайна номинально считались римскими владениями, а прибрежные области также и фактически подчинялись Риму; однако там еще не было поселений с городским правом, внутренние негостеприимные области также не были еще покорены. Большое значение имело и то обстоятельство, что в войне между Цезарем и Помпеем туземное население Далмации так же решительно встало на сторону Помпея, как жившие там римляне — на сторону Цезаря; после того как Помпей потерпел поражение при Фарсале, а его флот был вытеснен из иллирийских вод, далматы продолжали оказывать энергичное и успешное сопротивление. Храбрый и способный Публий Ватиний, уже раньше с большим успехом принимавший участие в этой борьбе, по-видимому, за год до смерти Цезаря был отправлен с сильным войском в Иллирик; это был только передовой отряд войска, которое диктатор намеревался повести лично для покорения чрезвычайно усилившихся в это время даков и урегулирования положения во всей области по Дунаю. Кинжалы убийц помешали осуществлению этого плана. Хорошо было уже то, что даки не вторглись тогда в Македонию. Ватинию же пришлось вести неудачную борьбу с далматами, в которой он понес большие потери. Когда вслед за тем республиканцы стали собирать силы на Востоке, иллирийское войско влилось в армию Брута, и далматов пришлось надолго оставить в покое. После поражения республиканцев Антоний, получивший при разделе империи Македонию, в 715 г. усмирил непокорных дарданов на северо-западе и пар-

* В скобках даются названия, принятые в современной географической номенклатуре. — *Прим. ред.*

финов на побережье (к востоку от Дураццо), причем знаменитый оратор Гай Азиний Поллион снискал себе почести триумфа. В Иллирике, находившемся под властью Октавиана, этот последний ничего не мог предпринять, пока все его силы были направлены на борьбу против Секста Помпея в Сицилии; но после успешного окончания этой борьбы Октавиан лично с напряжением всех сил занялся этой задачей. В первом же походе (719) были вновь подчинены мелкие народы на пространстве от Доклеи (Чернагора) до области япудов (у Флууме), а также покорены все жившие там независимые племена. Этот поход не был настоящей большой войной с отдельными крупными сражениями; тем не менее бороться в гористой местности с храбрыми, отчаянно сопротивлявшимися племенами и брать их хорошо укрепленные замки, снабженные подчас римскими оборонительными машинами, было нелегко; ни в одной войне Октавиан не проявил такой энергии и личной храбрости, как в этой. С трудом покорив область япудов, Октавиан в том же году прошел по долине р. Купы до впадения ее в Саву. Здесь находилось укрепленное поселение Сиския (Сисак), боевой центр наннонцев, в борьбе с которым римляне до сих пор терпели неудачи. Однако на этот раз Сиския была взята и предназначена служить базой в войне против даков, которую Октавиан собирался начать в ближайшем будущем. В 720 и 721 гг. были покорены далматы, уже в течение ряда лет боровшиеся с римлянами, и их крепость Промона (Промина у Дрниша, северо-восточнее Шибеника) сдавалась римлянам. Однако гораздо важнее, чем все военные успехи, было проводившееся в это же время дело мирного строительства, упрочению которого и должны были служить эти войны. Вероятно, именно тогда получили от Октавиана римское городское право портовые местечки на истрийском и далматском побережье, находившиеся в подвластном Октавиану районе, как-то: Тергеста (Триест), Пола, Ядер (Цара), Салона (Солян близ Сплита), Нарона (у устья Неретвы), а равно и находившаяся по ту сторону Альп, на дороге из Аквилеи через Юлийские Альпы к Саве, Эмона (Любляна). Некоторые из них были обнесены стенами. Все эти пункты уже давно существовали в качестве римских поселений; однако большое значение имело то, что отныне они были на равных правах включены в число итальянских городских общин.

Затем должна была последовать война с даками, но снова, как и раньше, она была предотвращена начавшейся гражданской войной. Октавиану пришлось отправиться не в Иллирик, а на Восток; решающая борьба между ним и Антонием развернулась в далекой придунайской области. Оба соперника старались привлечь на свою сторону объединенный царем Бурбистойой народ даков, над которым теперь царствовал Котисон. При этом Октавиану ставили в упрек, что он сам сватался к царской дочери и предлагал царю руку своей пятилетней дочери Юлии. Ввиду непосредственно угрожавшей опасности втор-

жения римлян в Дакию (вторжение это было задумано еще Цезарем и подготовлено теперь Октавианом, укрепившим с этой целью Сискию) царь даков, разумеется, встал на сторону Антония. Если бы опасения римлян осуществились, если бы, пока Октавиан сражался на востоке, царь даков вторгся в незащищенную Италию с севера, или если бы Антоний, последовав совету даков, перенес центр борьбы из Эпира в Македонию, где к его войскам примкнули бы полчища даков, то не исключена возможность, что военное счастье улыбнулось бы другой стороне. Но ничего этого не произошло. К тому же созданное сильной рукой Бурбисты государство даков как раз в это время снова распалось. Внутренние волнения, а может быть, также нападение с севера германского племени бастарнов и сарматских племен, впоследствии теснивших Дакию со всех сторон, — все это помешало дакам вмешаться в гражданскую войну римлян, от которой зависела также и собственная их судьба.

Как только эта гражданская война была окончена, Октавиан немедленно занялся приведением в порядок дел на нижнем Дунае. Однако даки теперь уже не были так страшны, как прежде; с другой стороны, Октавиан сделался теперь хозяином не только Иллирика, но и всего греко-македонского полуострова; поэтому базой военных операций римлян оказался в первую очередь именно этот полуостров. Сперва мы познакомимся, однако, с положением народов и политическими отношениями, которые нашел здесь Август*.

Уже в течение нескольких столетий Македония представляла собой римскую провинцию. Провинция в собственном смысле охватывала территорию к северу до Стобы, к востоку же — до Родопских гор. Однако владычество Рима простиралось гораздо дальше официальных границ провинции, хотя размеры подвластной ему области сильно колебались и определенных форм это господство не имело. По-видимому, в то время гегемония Рима простиралась приблизительно до Гема (Балканский хребет); что же касается области по ту сторону Балкан до Дуная, то, хотя в ней и побывали однажды римские отряды, она была независима от Рима**.

* Это имя Октавиан стал носить с 27 г. до н. э. — *Прим. ред.*

** Это определенно говорит Дион Кассий (51, 23) под 725 г.: *τέως μὲν οὖν ταῦτ ἐροῖοιιν. οὐδὲν σφίσι πρῶτα πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἦν ἐπεὶ δὲ τὸν τε Αἴμιον ὑπερέβησαν καὶ τὴν Θράκην τὴν Δευφελῶν ἔνοπονδον αὐτοῖς ὄησαν χατέδρομον χ. τ. λ.* [пока бастарны делали только это (т. е. пока они нападали только на трибаллов при Эске (Гиген) в Нижней Мезии и на дарданов в Верхней Мезии), между ними и римлянами столкновений не было; когда же они перешли через Гем и стали совершать набеги на союзную с Римом дентелетскую Фракию — и т. д.].

Союзники в Мезии, о которых говорит Дион Кассий (38, 10), это приморские города.

Династы Фракии, отделенной от Македонии Родопскими горами, а именно князья одрисов, власть которых распространялась на большую часть южнофракийского побережья и отчасти на черноморское побережье, в результате экспедиции Лукулла были подчинены протекторату Рима. Напротив, жители более удаленных от моря областей, а именно бессы на верхней Марице, фактически оставались независимыми, хотя номинально и считались подданными Рима; они постоянно совершали набеги на соседнюю мирную область, а римляне неизменно отвечали на это посылкой в их страну карательных экспедиций. Так, с ними боролся около 694 г. родной отец Августа Гай Октавий, а в 711 г. — Марк Брут, подготовлявший тогда войну с триумвирами. Другое фракийское племя, дентелеты (в округе Софии), еще во времена Цицерона вторглось в Македонию и собиралось осадить ее столицу Фессалоники. С западными соседями фракийцев, дарданами, принадлежавшими к иллирийской этнической группе и обитавшими в южной Сербии и в округе Призрена, успешно боролся предшественник Лукулла Курион, а десять лет спустя, в 692 г., с ними вел неудачную войну коллега Цицерона по консулату Гай Антоний. К северу от дарданов, на самом Дунае, жили тоже фракийские племена, а именно: в долине Искыра (в окрестностях Плевны) — некогда могущественное, но к тому времени пришедшее в упадок племя трибаллов, дальше по обоим берегам Дуная до самого устья — даки; на правом берегу Дуная даки назывались обычно древним племенным именем мизийцев или мезийцев, сохранившимся также и за их азиатскими соплеменниками; при Бурбисте они, вероятно, входили в состав его державы, теперь же снова распались на отдельные княжества.

Однако самым могущественным народом между Балканами и Дунаем были в то время бастарны. Мы уже неоднократно встречались с этим храбрым и многочисленным племенем, представлявшим собой восточную ветвь большой германской семьи народов. Бастарны принадлежали к группе задунайских даков, живших по другую сторону гор, отделяющих Трансильванию от Молдавии, а также у устья Дуная и на обширном пространстве между Дунаем и Днестром; таким образом, они находились вне пределов досягаемости римлян. Однако и Филипп V Македонский и Митридат Понтийский вербовали свои армии преимущественно из бастарнов, так что римлянам уже не раз приходилось с ними сражаться. Теперь же бастарны большими полчищами перешли Дунай и осели в области к северу от Гема; поскольку целью войны с даками был, без сомнения, захват правого берега нижнего Дуная, эта война была в равной степени направлена против бастарнов и против правобережных даков — мезийцев. Греческие города занятого варварами черноморского побережья — Одесс (близ Варны), Томы, Истрополь, страдавшие от сильного натиска этих

различных племен, и в этом случае, как и всегда, оказались верными клиентами Рима.

В годы диктатуры Цезаря, когда Бурбиста был на вершине своего могущества, даки совершили поход по адриатическому побережью до Аполлонии и произвели страшные опустошения, следы которых не исчезли еще спустя полтора столетия. Возможно, что именно это вторжение было главной причиной, побудившей Цезаря предпринять войну против даков; после того как Октавиан сделался властителем Македонии, Цезарь, по-видимому, считал себя обязанным немедленно начать здесь решительные действия. Поражение, нанесенное бастарнами коллеге Цицерона Антонию при Истрополе, свидетельствует о том, что римлянам снова приходилось оказывать помощь грекам.

Действительно, вскоре после битвы при Акциуме Марк Лициний Красс, внук того Красса, который погиб при Каррах, был послан Октавианом в Македонию в качестве наместника (725), причем ему было поручено совершить наконец уже два раза не состоявшийся поход. Вторгнувшиеся в это время во Фракию бастарны без сопротивления подчинились требованию Красса очистить подвластную Риму область; однако одного их отступления римлянину было недостаточно. Он сам перешел Гем* и разбил врага при впадении Кибра (Цибрицы) в Дунай, причем царь бастарнов Дельдон пал на поле битвы, а все бежавшие с поля сражения и спасшиеся в ближайшей крепости были взяты в плен Крассом при содействии одного дакского князя, державшего сторону римлян. Вся область Мезии подчинилась победителю бастарнов. На следующий год бастарны появились снова, чтобы отомстить за понесенное ими поражение; однако они опять были разбиты вместе с теми мезийскими племенами, которые еще раз взяли за оружие. Таким образом эти враги римлян были навсегда вытеснены с правого берега Дуная, и вся правобережная область была окончательно подчинена римскому владычеству. В то же время были усмирены еще не покорившиеся фракийцы, у бессов было отнято национальное святилище Диониса и передано в ведение князей одрисов; вообще эти князья, сами состоявшие под покровительством верховной власти Рима, отныне являлись или, по крайней мере, считались высшими начальниками фракийских племен к югу от Гема. Далее покровительство Рима распространилось на греческие города черноморского побережья, а остальная завоеванная область была поделена между раз-

* Упомянутый Дионом Кассием город Сегетики (51, 23): τὴν Σεγετικὴν χαλομένην προσελοίησχιο χαῖ ἐξ τὴν Μυσίδα ἐνέβαλε (он захватил так называемую Сегетику и вторгся в Мезию) может быть только Сердикой (нынешняя София) на восточном Эске, служившей ключом ко всей Мезии.

личными вассальными князьями; в обязанности которых теперь входила и охрана имперской границы*; собственных легионов для защиты этих далеких областей у Рима не было. Таким образом Македония превратилась во внутреннюю провинцию, не нуждающуюся отныне в военном управлении. Цель, намеченная римлянами при составлении плана войны с Дакией, была достигнута.

* После похода Красса завоеванная страна была организована, вероятно, следующим образом: морское побережье было присоединено к Фракийскому царству, как это доказал *Zippel*, *Römisches Illiricum*, S. 243; западная часть, подобно Фракии, была отдана в лен туземным князьям; один из них был заменен префектом городских общин Мезии и Трибаллии (*praefectus civitatum Moesiae et Triballiae* — C. I. L., V, 1838), действовавшим еще в правление Тиберия. Распространенное предположение, будто Мезия первоначально была соединена с Иллириком, основано лишь на том, что Дион не упоминает ее при перечислении провинций, поделенных между императором и сенатом в 727 г. (53, 12); из этого заключают, что Мезия входила в это время в состав «Далмации». Однако перечисление Диона вообще не распространяется на вассальные государства и прокураторские провинции; поэтому наше предположение представляется вполне правдоподобным. С другой стороны, против общепринятого мнения говорят весьма веские аргументы. Если бы Мезия первоначально составляла часть провинции Иллирика, она сохранила бы за собой это название, ибо при разделении провинции название обычно остается и к нему прибавляется лишь определение. Но наименование Иллирика Дионом Кассием, употребляемое в указанном месте, смысл которого не оставляет никаких сомнений (53, 12), в этой связи всегда ограничивалось верхней частью области (Далмация) и нижней (Паннония). Далее, если бы Мезия была частью Иллирика, в нее не мог бы быть назначен упомянутый выше префект Мезии и Трибаллии и она не имела бы князя, которого сменил этот префект. Наконец, представляется маловероятным, чтобы в 727 г. одному сенаторскому наместнику было доверено командование над столь обширной территорией, имеющей такое большое значение. Напротив, все объясняется очень просто, если предположить, что после похода Красса в Мезию здесь возникли мелкие вассальные государства, которые с самого начала состояли под властью императора, и так как сенат не принимал никакого участия в их постепенном присоединении к империи и превращении в наместничество, то они легко могли оказаться пропущенными в летописях. Это превращение в наместничество завершилось в 743 г. или несколько ранее, ибо воевавший тогда с фракийцами наместник Л. Кальпурний Пизон, которого Дион Кассий (54, 34) ошибочно называет наместником провинции Памфилии, мог иметь в качестве провинции только Паннонию или Мезию, а так как в то время в Паннонии действовал легат Тиберий, то для Пизона остается Мезия. К 6 г. н. э. относятся уже совершенно достоверные упоминания об императорском наместнике Мезии.

Правда, цель эта была всего лишь предварительная. Но прежде чем Август приступил к окончательному урегулированию северной границы, он занялся реорганизацией областей, уже входивших в состав империи; более десяти лет было потрачено на реорганизацию управления в Испании, Галлии, Азии и Сирии. Теперь мы расскажем о том, как он приступил к своей обширной задаче, после того как были осуществлены необходимые мероприятия в этих провинциях.

Как уже было сказано выше, Италия, повелевавшая тремя частями света, не могла беспрепятственно распоряжаться в своем собственном доме. Защищавшие Италию с севера Альпы на всем своем протяжении, от одного моря до другого, были сплошь заняты мелкими, слабо затронутыми цивилизацией народностями иллирийской, ретийской и кельтской национальностей, а часть занимаемых ими территорий вплотную примыкала к округам крупных городов Транспаданской Галлии; так, область трумпилинов (Валь Тромпия) граничила с городом Бриксией, область каммунов (Валь Камоника, выше Лаго д'Изео) граничила с городом Бергомом, область салассов (Валь д'Аоста) — с Эпоредией (Иврея); к тому же эти племена были далеко не миролюбивыми соседями. Нередко они терпели поражения от римлян, и на римском Капитолии их торжественно объявляли побежденными; тем не менее, вопреки всем триумфам знатных полководцев, они не переставали грабить крестьян и купцов Верхней Италии. Серьезная борьба с этим злом была невозможна, пока правительство не приняло решения провести войска через Альпы и подчинить своей власти также и северные их склоны; ибо, без всякого сомнения, полчища этих грабителей непрерывным потоком являлись из-за гор с целью взимать поборы с богатой соседней области. То же самое предстояло сделать и в отношении Галлии; правда, жившие в верхней долине Роны (Валлис и Ваадт) племена были покорены Цезарем, однако они уже упоминаются в числе тех племен, которые причиняли много хлопот полководцам Октавиана. С другой стороны, мирное население галльских пограничных округов жаловалось на постоянные вторжения ретов. Невозможно, да и нет надобности, давать историю многочисленных походов, предпринятых Августом для устранения этого зла; они не были внесены в римские триумфальные фасты, да и по своему характеру не заслуживали этого; тем не менее именно благодаря этим походам на северной окраине Италии впервые был установлен мир. Впрочем, можно отметить покорение наместником Иллирии вышеупомянутых каммунов в 738 г., а также покорение некоторых лигурийских племен в районе Ниппы в 740 г., ибо оба эти факта свидетельствуют о том, какое сильное давление оказывали эти непокорные племена на Италию даже в середине правления Августа. Если впоследствии в отчете о своем управлении империей Август заявил, что ни одно из этих мелких племен не потерпело от него не-

справедливого насилия, то его слова означают, что названным племенам были предъявлены требования уступить свои области и поменять места жительства, на что они ответили сопротивлением. Лишь небольшой союз горных кантонов под властью Коттия, царя Сегузиона (Суза), без борьбы примирился с новым порядком вещей.

Театром этих войн были южные склоны и долины Альп. Затем в 739 г. римляне прочно укрепились на северных склонах гор и в области к северу от Сельн. Для обоих пасынков Августа — Тиберия, впоследствии ставшего императором, и его брата Друза, — принятых в члены императорского дома, участие в этих походах являлось началом предназначенной для них военной карьеры; здесь перед ними открывалась возможность без большого труда завоевать победные лавры. Отправившись из Италии вверх по долине Адидже, Друз проник в Ретийские Альпы, где одержал свою первую победу; в дальнейшем продвижении вперед ему оказал помощь в области гельветов его брат, бывший тогда наместником Галлии. На Боденском озере римские триеры нанесли поражение челнам винделиков. 1 августа 739 г., в день рождения императора, близ истоков Дуная было дано последнее сражение, в результате которого Ретия и Винделикия, т. е. область, охватывавшая нынешние Тироль, восточную Швейцарию и Баварию, были присоединены к Римской империи. Император Август отправился в Галлию, чтобы лично следить за ходом устройства новой провинции. Несколько лет спустя у склонов Альп, на берегу Генуэзского залива, на господствующей над Монако возвышенности, с которой открывается широкий вид на Тирренское море, от имени благодарной Италии императору Августу был воздвигнут памятник, следы которого сохранились и до сих пор. Памятник этот был воздвигнут в ознаменование того, что в правление Августа все альпийские народы верхнего и нижнего моря — в надписи перечислено всего сорок шесть народов — были подчинены римлянам. Это было сущей правдой.

Реорганизация новых областей была гораздо более трудным делом, чем их завоевание, в особенности потому, что этому нередко мешало внутривластное положение. Так как основные военные силы должны были находиться вне пределов Италии, правительству следовало принять меры, чтобы крупные военные соединения были по возможности удалены от границ Италии; весьма вероятно, что самое занятие Ретии было в известной степени вызвано стремлением окончательно удалить из Верхней Италии военные части, которые до сих пор были здесь, вероятно, необходимы; по крайней мере, именно это и было достигнуто в результате завоевания Ретии. Далее, казалось бы, для военных позиций, необходимых в этой новоприобретенной области, следовало в первую очередь создать крупный центр на северном склоне Альп; однако в действительности было сделано как

раз обратное. Между Италией, с одной стороны, и крупными военными соединениями на Рейне и Дунае — с другой, была создана полоса мелких наместничеств, которые все замещались только по назначению императора, исключительно из лиц несенаторского звания. Италия была отделена от южногалльской провинции тремя небольшими военными округами: это были Приморские Альпы (французский департамент Приморских Альп и итальянская провинция Кунео), Коттийские Альпы с главным городом Сегузионом (Суза) и, вероятно, Грайские Альпы (Восточная Савойя). Наиболее значительным из этих округов были Коттийские Альпы, находившиеся некоторое время в управлении уже названного нами кантонального князька Коттия и его потомков в форме зависимого владения*. Впрочем, все три округа имели некоторые военные силы; ближайшим их назначением было поддерживать общественную безопасность в соответствующем районе, в первую же очередь — на важнейших пересекавших его имперских дорогах. Долина же верхней Роны, т. е. Валлис, и недавно завоеванная Ретия были подчинены военному командиру обычного ранга, но с расширенными полномочиями; здесь также нужно было содержать довольно крупный отряд; чтобы по возможности сократить численность этого отряда, значительная часть населения Ретии была выселена в другие районы. Кольцо замыкалось провинцией Норик, получившей в основном такое же устройство, как Валлис и Ретия, и занимавшей большую часть территории нынешней Австрии. Эта обширная и плодородная область без особого сопротивления подчинилась римскому господству; первоначально здесь было, вероятно, создано зависимое княжество, но вскоре князь, который, впрочем, также зависел от Рима, был заменен императорским прокуратором. Правда, часть рейнских и дунайских легионов была сосредоточена в непосредственном соседстве с ретийской границей у Виндониссы и с границей Норика у Петовиона, очевидно с той целью, чтобы они оказывали давление на соседнюю провинцию; однако ни армий первого ранга, состоящих из легионов под командованием сенатских генералов, ни сенатских наместников в этом промежуточном районе не было. В таком порядке весьма ярко сказывается недоверие к коллегияльному органу, управлявшему государством наряду с императором.

* В отличие от своего отца Донна Коттий не носил официального титула царя, а именовался «начальником союза кантонов» (*praefectus civitatum*); так он назван на триумфальной арке, воздвигнутой им в честь Августа в 745/746 г. в Сузе и сохранившейся поныне. Однако он, без сомнения, занимал этот пост пожизненно и мог передать его своему наследнику при условии, если последний будет утвержден сюзереном; поэтому союз, очевидно, представлял собою княжество; так он обычно и именуется.

Главной целью этой организации было наряду с умиротворением Италии создание безопасного сообщения с севером, представлявшего не меньшую важность для торговых сношений, чем для военных нужд. К разрешению этой задачи Август приступил с исключительной энергией; недаром доньне его имя звучит в названиях городов Аосты и Аугсбурга, а может быть, также в названии Юлийских Альп. При Августе была приведена в порядок и продолжена старая береговая дорога, проходившая теперь от лигурийского берега через Галлию и Испанию до Атлантического океана; но эта дорога могла служить только торговым целям. При Августе же была отстроена уже упоминавшимся князем Сузы дорога через Коттийские Альпы, впервые проложенная Помпеем; дорога эта была названа по имени закончившего ее князя; это был тоже торговый путь через Турин и Сузу, соединивший Италию с главным торговым центром южной Галлии — Арелатом. Но собственно военная дорога, непосредственно связавшая Италию с лагерями на Рейне, вела через долину Дора Балтеи из Италии к столице Галлии — Лиону и к Рейну. В период республики был подчинен выход в эту долину посредством основания Эпоредии (Иврея). Теперь Август полностью овладел этой долиной. При этом он не только покорил ее жителей, все ещё беспокойных салассов, с которыми ему пришлось сражаться уже в далматской войне, но и буквально истребил их; 36 тыс. туземцев, в том числе 8 тыс. боеспособных мужчин, были проданы в рабство на рынке Эпоредии, причем их покупатели обязались ни одного из них не отпускать на свободу в течение 20 лет. Лагерь, из которого в 729 г. выступил полководец Августа Варрон Мурена, чтобы нанести салассам окончательное поражение, превратился в крепость, которая после заселения ее тремя тысячами солдат императорской гвардии должна была охранять пути сообщения; это город Августа Претория, нынешняя Аоста, стены и башни которой, воздвигнутые в то время, стоят еще и поныне. Эта крепость впоследствии господствовала над двумя альпийскими дорогами, одна из которых проходила через Грайские Альпы и Малый Сен-Бернар, вдоль верхней Изеры и Роны к Лиону, а другая — через Пеннинские Альпы и Большой Сен-Бернар к долине Роны и Женевскому озеру, а оттуда в долины Аара и Рейна. Однако город был основан для охраны первой из этих дорог, так как вначале он имел только западные и восточные ворота; впрочем, иначе и быть не могло, так как крепость была построена за 10 лет до занятия Ретии; кроме того, в те годы еще не существовало лагерей на Рейне в том виде, как они были организованы позднее, и очередной задачей являлось установление прямой связи между столицами Италии и Галлии. Мы уже упоминали об основании в районе Дуная Эмоны на верхнем течении Савы при старой торговой дороге, соединявшей через Юлийские Альпы Аквилею с областью Паннонии; эта дорога была в то же время главным путем

для передвижения войск между Италией и придунайской областью. Наконец, в связи с завоеванием Ретии была построена дорога, проходившая из крайнего италийского города Тридента (Триент) вверх по долине р. Адидже к основанной в стране винделиков Августе, нынешнему Аугсбургу, и далее к верхнему Дунаю. Когда впоследствии сын полководца, впервые проникшего в эту область, сделался императором, дорога эта получила название Клавдиевой*. Она устанавливала необходимую для военных целей связь между Ретией и Италией; однако, ввиду сравнительно небольшого значения ретийской армии, а также, вероятно, ввиду большой затруднительности сообщения, она никогда не имела такого значения, как дорога на Аосту.

Таким образом римляне прочно укрепились в альпийских проходах и на северных склонах Альп. По ту сторону Альп, на восток от Рейна, простирались земли германцев, а к югу от Дуная — область паннонцев и мезийцев. Вскоре после занятия Ретии римлянами они перешли в наступление и здесь, притом почти одновременно в том и другом направлении. Рассмотрим сначала ход событий на Дунае.

Придунайская область, по всей вероятности находившаяся до 727 г. под общим управлением с Верхней Италией, в этом году в связи с общей реорганизацией империи была превращена в самостоятельный административный округ Иллирик с особым наместником. Этот округ состоял из Далмации с ее внутренней областью до Дрины, за исключением южной части побережья, уже давно принадлежавшей к Македонской провинции, и из римских владений в стране паннонцев на Саве. Область между Гемом и Дунаем до Черного моря, незадолго до этого подчинения Риму Крассом, состояла наравне с Нориком и Ретией под римским протекторатом; хотя, таким образом, эти земли и не принадлежали к административному району Иллирика, они все же зависели от его наместника. Далеко еще не умиротворенная Фра-

* Эта дорога известна нам лишь в том виде, который она получила при сыне ее строителя, императоре Клавдии. Первоначально она, конечно, называлась не *via Claudia Augusta*, а просто *via Augusta*, и ее конечным пунктом в Италии едва ли можно считать Альгин, приблизительно соответствующий нынешней Венеции, ибо при Августе все имперские дороги еще вели в Рим. Найденный близ Мерана милевый камень свидетельствует, что эта дорога проходила также по долине верхнего Адидже (С. I. L., V, 8003); доказано, что дорога эта вела к Дунаю; весьма вероятно, что она была построена в связи с основанием Августы Винделикской (С. I. L., III, 711), хотя эта последняя первоначально представляла собой всего лишь торговое местечко (*forum*); по каким местам проходила эта дорога из Мерана к Аугсбургу и Дунаю, остается неизвестным. Впоследствии ее направление было изменено: теперь она поворачивает у Боуена в сторону от Адидже и идет вверх по долине Эйзаха через Бреннер на Аугсбург.

кия к югу от Гема в военном отношении была подчинена ему же. Результатом этой первоначальной организации, сохранившейся до позднейшей эпохи, было то, что вся придунайская область от Ретии до Мезии составляла один таможенный округ под названием Иллирик в более широком смысле. Легионы стояли только в собственно Иллирике, в прочих же округах имперских войск, вероятно, не было вовсе, за исключением, быть может, отдельных мелких отрядов. Главнокомандующим в новой провинции был проконсул, получавший свои полномочия от сената, тогда как солдаты и офицеры, разумеется, были подчинены императору. О серьезном характере наступления, предпринятого после завоевания Ретии, говорит то обстоятельство, что командование в придунайской области принял соправитель Августа Агриппа, которому по закону должен был подчиняться проконсул Иллирика, а когда эта комбинация расстроилась вследствие внезапной смерти Агриппы весной 742 г., Иллирик год спустя поступил в ведение императора, и таким образом главное командование получили здесь императорские полководцы. Вскоре здесь возникли три военных центра, в результате чего придунайская область и в административном отношении была разделена на три части. Вместо мелких княжеств в завоеванной Крассом области была организована провинция Мезия, наместник которой стал с этого времени охранять границу от нападений даков и бастарнов, сосредоточив войска на территории современных Сербии и Болгарии. Чтобы держать в покорности все еще строптивых далматов, часть легионов была расположена в прежней провинции Иллирике, по рекам Керке и Цетине. Главные силы стояли в Паннонии, на Саве, представлявшей тогда границу империи. Хронологическую последовательность этого размещения легионов и организации провинций точно установить невозможно; вероятно, происходившие в то время значительные войны с паннонцами и фракийцами, к описанию которых мы сейчас перейдем, прежде всего привели к учреждению наместничества Мезии, и лишь спустя некоторое время легионы, стоявшие в Далмации, а также на Саве, получили собственных главнокомандующих.

Так как экспедиции против паннонцев и германцев являлись как бы повторением в более широком масштабе ретийской кампании, то, естественно, и вожди, поставленные во главе их с титулом императорских легатов, были те же самые; снова мы встречаем членов императорского дома — Тиберия, принявшего командование в Иллирике вместо Агриппы, и Друза, отправившегося на Рейн; оба они уже не были неопытными юнцами; это были мужи в цвете лет, вполне достойные стоявших перед ними трудных задач.

В непосредственных поводах к войне в придунайской области недостатка не было. Разбойничьи отряды из Паннонии и даже из мирного Норика в 738 г. совершали свои грабительские набеги вплоть до

самой Истрии. Спустя два года подвластное население провинции Иллирика подняло вооруженное восстание, и хотя вскоре, когда Агриппа осенью 741 г. принял командование, иллирийцы без всякого сопротивления снова подчинились римлянам, волнения, по-видимому, возобновились тотчас после смерти Агриппы. Мы не в состоянии определить, насколько эти сообщения римских источников соответствуют истине; настоящей причиной и целью этой войны было, несомненно, расширение римской границы, которого требовало общее политическое положение. Наши сведения о трех походах Тиберия в Паннонию между 742 и 744 гг. чрезвычайно скудны. Согласно сообщению правительства, их результатом было расширение границы провинции Иллирика до Дуная. Несомненно, отныне Дунай на всем своем протяжении считался границей римской области, но это отнюдь не означало, что все это обширное пространство было по-настоящему подчинено или хотя бы оккупировано. Наиболее энергичное сопротивление оказали Тиберию уже ранее объявленные римскими подданными племена, в особенности далматы; среди племен, впервые действительно покоренных Тиберием в это время, самым значительным были паннонские бревки на нижней Саве. Едва ли римские войска во время этих походов перешли Драву; о перенесении же их постоянных лагерей на Дунай не может быть и речи. Правда, область между Савой и Дравой была оккупирована, а главная квартира иллирийской северной армии из Сискии на Саве была перенесена в Петовион (Птуй) на средней Драве; в то же время в только что занятой области Норик римские гарнизоны были расположены до Дуная у Карнута (Петронелль, близ Вены), бывшего в то время самым крайним восточным городом Норика. Обширная область между Дравой и Дунаем — нынешняя западная Венгрия — в то время, по-видимому, даже не была оккупирована. Это соответствовало общему плану предпринятого наступления; командование старалось установить связь с галльской армией, и естественным опорным пунктом для новой имперской границы на северо-востоке был не Офен, а Вена.

Известным дополнением к этой паннонской экспедиции Тиберия был поход против фракийцев, предпринятый в это же время Луцией Пизоном, едва ли не первым настоящим наместником Мезии. На очереди стояло покорение двух больших соседних народов — иллирийцев*

* Здесь автор говорит об иллирийцах не в этническом смысле, как об иллирийском племени, а в административно-географическом, как о жителях провинции Иллирика. Этнографический термин по-немецки звучит *Шлугіег*, географический — *Шлугікер*; к сожалению, для последнего невозможно образовать русскую форму, и термин в обоих значениях приходится одинаково переводить словом «иллирийцы». — *Прим. ред.*

и фракийцев, о которых мы более подробно будем говорить в одной из следующих глав. Племена внутренней Фракии оказались еще более строптивыми, нежели иллирийцы, и не были склонны подчиняться своим царькам, ставленникам Рима; в 738 г. пришлось отправить в их область римскую армию на помощь князьям против бессов. Если бы мы располагали более точными данными о военных действиях, которые происходили во Фракии и в Иллирике между 741 и 743 гг., то, весьма вероятно, оказалось бы, что одновременно выступавшие против римлян фракийцы и иллирийцы действовали сообща. Не подлежит сомнению, что фракийские племена, жившие к югу от Гема, а возможно, также и племена, жившие в Мезии, принимали участие в этой национальной войне; несомненно также, что фракийцы сопротивлялись не менее упорно, нежели иллирийцы. Для них это была также и религиозная война, ибо они не забыли об отнятом римлянами у бессов святилище Диониса*, переданном сторонникам римлян, одрисским князьям; во главе восстания стоял жрец этого святилища, а направлено оно было в первую очередь против одрисских князей. Один из них был взят в плен и убит, другой изгнан; повстанцы, частично вооруженные по римскому образцу и позаимствовавшие у римлян некоторые навыки дисциплины, в первом столкновении с Пизоном одержали победу и проникли до самой Македонии и фракийского Херсонеса; опасались даже их вторжения в Азию. Однако римская дисциплина в конце концов одержала верх и над этим храбрым противником; в результате нескольких походов Пизон сломил сопротивление повстанцев; военное командование Мезии, созданное на «фракийском берегу» либо тогда же, либо вскоре после того, нарушило связь между дако-фракийскими племенами; племена по левому берегу Дуная оказались изолированными от своих сородичей к югу от Гема, и римское господство в области нижнего Дуная упрочилось надолго.

Германцы еще более ощутительно, чем паннонцы и фракийцы, дали римлянам почувствовать, что существующий порядок вещей долго не продержится. Со времен Цезаря границей империи служил Рейн от Боденского озера до устья. Рейн не был границей между на-

* Местность, «в которой бессы поклоняются богу Дионису» и которая была отнята у них Крассом и передана одрисам (*Дион Кассий*, 51, 25), несомненно, тождественна с рощей Вакха (*Liberi patris lucus*), в которой в свое время совершил жертвоприношение Александр, а родной отец Августа, *cum per secreta Thraciae exercitum duceret* (проводя войско по глухим местам Фракии), вопрошал оракула о судьбе своего сына (*Светоний*, Божественный Август, 94); уже Геродот (2, 111; ср. *Еврипид*, Гекуба, 1267) упоминает о нем как о святилище, которому покровительствовали бессы. Это святилище еще не найдено; несомненно, его надо искать к северу от Родопских гор.

родами, так как уже в глубокой древности на северо-востоке Галлии кельты смешивались с германцами, а треверы и нервии были бы не прочь считать себя германцами; на среднем Рейне Цезарь сам переселился на постоянное жительство остатки полчищ Ариовиста: трибоков (в Эльзасе), неметов (в районе Шпейера) и вангионов (в районе Вормса). Правда, эти левобережные германцы были более послушными подданными Рима, чем кельты, и не они открыли ворота Галлии своим правобережным землякам. Последние уже издавна совершали грабительские набеги на другую сторону реки и, не забыв о своих неоднократных наполовину удачных попытках утвердиться здесь, являлись также и незваными. Единственное германское племя на правом берегу Рейна, уже при Цезаре отделившееся от своих земляков и ставшее под покровительство римлян, убиин, должно было спастись от ненависти своих раздраженных соплеменников и искать на римском берегу защиты и новых мест для жительства (716). Хотя в то время Агриппа лично находился в Галлии, подготовка к сицилийской войне помешала ему оказать убиям существенную помощь; он перешел Рейн лишь для того, чтобы способствовать их переселению на левый берег. Из этого поселения впоследствии возник город Кельи. Не говоря уже о том, что на правом берегу Рейна римские купцы постоянно терпели притеснения от германцев, в связи с чем в 729 г. была совершена экспедиция за Рейн, а в 734 г. Агриппа изгнал из Галлии перешедшие туда из-за Рейна толпы германцев, в 738 г. на том берегу началось более широкое движение племен, целью которого было грандиозное вторжение.

Первыми выступили сугамбры с Рура и вместе с ними их соседи, узипии, жившие в северной части долины Липпе, и тенктеры с юга этой долины; они схватили живших в этой области римских купцов и всех их распяли на крестах, а затем перешли Рейн и принялись на широком пространстве грабить галльские округа; когда же наместник Германии выслал против них легата Марка Лоллия с пятым легионом, они сначала захватили его конницу, а затем обратили в позорное бегство самый легион, причем в их руки попало одно знамя. После этого они спокойно вернулись к себе на родину. Эта неудача римского оружия, сама по себе несущественная, приобретала серьезное значение в связи с движением, происходившим в Германии, и неблагоприятным настроением в Галлии; Август сам отправился в подвергшуюся нападению провинцию, и весьма вероятно, что все происшедшее послужило ближайшим поводом для той грандиозной наступательной операции, которая началась ретийской войной 739 г. и в дальнейшем привела к походам Тиберия в Иллирик и Друза в Германию.

Нерон Клавдий Друз, сын Ливии, родился в 716 г. в доме нового супруга Ливии, будущего императора Августа, который любил и воспитывал его как своего собственного сына (злые языки утверждали,

что он действительно был сыном Августа). Друз пленял всех своей мужественной красотой и приветливым обращением; он был храбрым воином и способным полководцем, открыто высказывал свое преклонение перед древней республикой и во всех отношениях был самым популярным из лиц императорской фамилии. По возвращении Августа в Италию (741) Друз вступил в управление Галлией и принял главное командование в войне против германцев, покорением которых римляне решили наконец заняться всерьез. Мы не имеем возможности хотя бы приблизительно определить численность стоявшей в то время на Рейне армии и выяснить положение германцев; ясно лишь, что германцы были не в силах оказать серьезное сопротивление общему наступлению римлян. Область Неккара, некогда занятая гельветами, а затем долгое время бывшая яблоком раздора между ними и германцами, лежала в запустении и подчинялась частью недавно покоренным винделикам, частью — принявшим сторону римлян германцам, жившим в районе Страсбурга, Шпейера и Вормса. Далее к северу, в области верхнего Майна, жили маркоманны — пожалуй, самое могущественное из свевских племен, впрочем искони враждовавшее с германцами среднего Рейна. К северу от Майна жили хатты в горах Тауна, далее, ниже по Рейну, — уже упомянутые тенктеры, сугамбры и узипии; за ними — могущественные херуски на Везере и, кроме того, ряд второстепенных племен. Так как упомянутое выше нападение на римскую Галлию было произведено именно этими среднерейнскими племенами, в первую очередь сугамбрами, карательная экспедиция Друза была направлена главным образом против них; они, со своей стороны, также объединились против Друза в целях общей защиты и создания ополчения, в состав которого вошли отряды от всех этих округов. Однако фризские племена, жившие на побережье Северного моря, не примкнули к ним, сохранив свою традиционную обособленность.

Наступление начали германцы. Сугамбры и их союзники снова схватили всех римлян, которых могли встретить на своем берегу; захваченные при этом центурионы в количестве 20 человек были распяты на крестах. Союзные племена решили снова вторгнуться в Галлию и уже заранее поделили между собою добычу: сугамбры должны были получить людей, херуски — коней, а свевские племена — золото и серебро. В начале 742 г. германцы снова попытались перейти Рейн, причем надеялись найти поддержку у своих левобережных соплеменников и рассчитывали даже на восстание галльских округов, в которых в это время началось недовольство в связи с произведенной у них необычной имущественной переписью. Однако молодой полководец сумел принять надлежащие меры: он подавил движение в римской области ранее, чем оно успело сколько-нибудь окрепнуть, отразил попытку наступающих племен переправиться через реку, а затем пе-

решил ее сам и подверг разграблению область узипиев и сугамбров. Это было только предварительной оборонительной мерой; широко задуманный план этой войны предполагал захват побережья Северного моря и устьев Эмса и Эльбы. По-видимому, именно в это время по обоюдному соглашению к Римской империи было присоединено многочисленное и храброе племя батавов, жившее в дельте Рейна; с его помощью был проведен канал, соединивший Рейн через Зюйдерзее с Северным морем, что открыло для рейнского флота более безопасный и короткий путь к устьям Эмса и Эльбы. Вслед за батавами чужеземному господству подчинились фризы северного побережья. Рим подчинил себе эти племена не столько благодаря своему военному превосходству, сколько благодаря умеренной политике: племена эти были почти полностью освобождены от уплаты налогов, а лежавшая на них воинская повинность носила такой характер, что не отпугивала, а, напротив, привлекала их. Из пределов батавов и фризов экспедиция Друза направилась по берегу Северного моря; в открытом море был захвачен остров Бурханис (быть может, нынешний Боркум у восточной Фрисландии), на реке Эмсе римский флот победил лодочную флотилию бруктеров; Друз дошел до устья Везера в области хавков. Правда, на обратном пути флот наткнулся на неизвестные и опасные мели, и если бы фризы не дали высадившейся после кораблекрушения римской армии надежных проводников, то ее положение стало бы весьма тяжелым. Тем не менее в результате этого первого похода побережье от устья Рейна до устья Везера подчинилось римлянам.

Когда таким образом был захвачен морской берег, в следующем (743-м) году началось покорение внутренних областей, значительно облегчавшееся возникшими среди среднерейнских германцев раздорами. Хатты не выставили обещанных ими отрядов для предпринятого год назад нападения на Галлию; тогда в порыве справедливого гнева, но вопреки всем соображениям политики сугамбры со всеми своими силами напали на земли хаттов, вследствие чего их собственная область, равно как и область их соседей на Рейне, была без труда занята римлянами. Затем и хатты без сопротивления подчинились врагам своих врагов; тем не менее им было приказано очистить берег Рейна и взамен этого занять область, принадлежавшую до тех пор сугамбрам. Римлянам покорились также и могущественные херуски, жившие еще дальше от моря, на среднем Везере. Жившие на нижнем Везере хавки, в предшествующем году выдержавшие нападение римлян с моря, теперь подверглись атаке с суши, и, таким образом, в обладании римлян оказалась вся область между Рейном и Везером, по крайней мере ее важнейшие стратегические пункты. Правда, как и в прошлом году, обратный путь римской армии едва не окончился для нее катастрофой. В узком проходе у Арбалона (местонахождение

его неизвестно) римляне были со всех сторон окружены германцами; связь римской армии с тылом была нарушена; но безупречная дисциплина легионеров наряду с заносчивой самоуверенностью самих германцев превратила казавшееся неминуемым поражение в блестящую победу*. В следующем (744-м) году подняли восстание хатты, не примирившиеся с потерей своего прежнего места жительства; но теперь они, в свою очередь, оказались в одиночестве и после упорного сопротивления были побеждены римлянами, причем понесли немалые потери (в 745-м). Жившие на верхнем Майне маркоманны, которым после занятия римлянами области хаттов римское нападение грозило в первую очередь, постарались избежать его, отступив в страну бойев, Богемию**, здесь они уже были вне сферы непосредственного римского владычества и могли не вмешиваться в борьбу на Рейне. На всем пространстве между Рейном и Везером война была окончена. В 745 г. Друз смог вступить на правый берег Везера, в области херусков, и отсюда продвинуться до Эльбы; эту реку он не переходил, вероятно получив соответствующий приказ. Во время этого похода произошло немало жарких схваток, однако нигде сопротивление не увенчалось успехом. Но на обратном пути, который лежал, по видимому, вверх по течению Заалы и оттуда к Везеру, римлян поразила тяжелый удар не от руки врага, но по прихоти слепого случая.

Римский полководец упал вместе с лошадью и сломал ногу; после 30 дней жестоких страданий он скончался в далекой стране между Заалой и Везером***, куда до него не проникала ни одна римская

* Обсеквент свидетельствует, что сражение при Арбалоне (см. Плиний, Hist. Nat., XI, 17, 55) произошло в этом году (72); следовательно, рассказ Диона Кассия (54, 33) относится именно к этому сражению.

** Современную Чехию. — Прим. ред.

***Что несчастный случай с Друзом произошел в районе Заалы, можно заключить из слов Страбона (VII, 1, 3, стр. 291), хотя последний говорит только, что Друз погиб во время похода между Саласом и Рейном, причем Салас можно отождествить с Заалой исключительно на основании сходства названий. От места, где произошел несчастный случай, Друза перенесли в летний лагерь (*Seneca, Consol. ad Marciam, 3; ipsius illum hostibus aegrum cum veneratione et pace mutua prosequentibus nec optare quod expediebat audentibus* — сами враги сопровождали больного с почетом, заключив перемирие и не смея желать рокового исхода, который лично для них был выгоден); в этом лагере Друз и скончался (*Светоний, Божественный Клавдий, I*). Лагерь был расположен в самом сердце варварской страны (*Валерий Максим, 5, 5, 3*), сравнительно недалеко от поля сражения, где впоследствии погиб Вар (*Тациит, Летопись, II, 7*; слова: *vetus ara Druso sita, т. е. «старый жертвенник, поставленный в честь Друза»*, — несомненно относятся к месту его кончины); этот лагерь надо искать в области Везера. Тело было

армия; он скончался на руках спешно прибывшего из Рима брата на тридцатом году жизни в полном сознании своих успехов и могущества; долго с глубокой скорбью оплакивали его кончину родные и весь народ; но, может быть, смерть была для него счастьем, ибо, взяв его из жизни молодым, боги избавили его от разочарований и горечи, которые особенно тяжело поражают сильных мира сего, тогда как светлый образ героя живет поныне в мировой истории.

Смерть даровитого полководца не изменила общего хода дел. Его брат Тиберий своевременно подоспел, чтобы не только закрыть умершему глаза, но и энергично вновь повести войска на дальнейшее завоевание Германии. В течение двух следующих лет (746, 747) Тиберий был главнокомандующим в Италии; за эти годы крупных столкновений не происходило, но римские отряды появлялись повсюду на пространстве между Рейном и Эльбой; когда же Тиберий потребовал, чтобы все племена официально признали римское владычество, заявив при этом, что такое признание он может принять лишь от всех племен одновременно, они подчинились все без исключения — в последнюю очередь сугамбры, которые по существу, конечно, не признавали никакого мира. О военных успехах, достигнутых Тиберием, свидетельствует предпринятая вскоре за этим экспедиция Луция Домиция Агенобарба. Будучи наместником Иллирика, Домиций выступил, по-видимому, из Винделикии и оказался в состоянии отвести места для жительства одному скитавшемуся отряду гермундулов; во время этой экспедиции он достиг Эльбы и перешел ее, не встретив сопротивления*. Маркоманны в Богемии были совершенно изолиро-

затем доставлено в зимний лагерь (*Дион Кассий*, 55, 2) и здесь предано сожжению; согласно римскому обычаю, место сожжения считалось также как бы местом погребения, хотя похороны урны с пеплом были совершены в Риме; именно к этому месту относятся слова Светония (там же) о почетном кургане в честь Друза (*honorarius tumulus*) и о ежегодных поминальных торжествах. Местонахождение этого кургана надо, вероятно, искать в Ветере. Один позднейший писатель (*Евтропий*, 7, 13), говоря о «памятнике» (*monumentum*) Друза близ Майнца, имеет в виду не надгробный памятник, а упоминаемый другими писателями победный памятник (*Флор*, 2, 30: *Marcomanorum spoliis et insignibus quendam editum tumulum in troaei modum excoluit* — он украсил доспехами и знаками отличия, отнятыми у маркоманнов, высокий курган, превратив его в подобие трофея).

* Лишь в таком смысле можно понимать сообщение Диона Кассия (55 Юа), которое отчасти подтверждается Тацитом (*Летопись*, 4, 44). Должно быть этому наместнику в виде исключения подчинились также Нурик и Ретия, либо же ход военных действий заставил его перейти границы своего наместничества. Из рассказа Диона Кассия еще не следует, что Домиций прошел по самой Богемии, что привело бы еще к большим затруднениям.

ваны, а прочая Германия на пространстве между Рейном и Эльбой сделалась римской провинцией, хотя далеко еще не мирной.

Мы можем лишь отчасти представить себе созданную в то время военно-политическую организацию Германии, так как у нас нет точных сведений о мерах для защиты восточной границы Галлии, которые были приняты в более раннее время; с другой стороны, большая часть порядков, установленных обоими братьями, была уничтожена в дальнейшем ходе событий. На Рейне по-прежнему находилась пограничная охрана; может быть, ее и хотели устранить, но все осталось по-старому. Эльба представляла собой политическую границу империи, подобно тому как в Иллирике такой границей служил в то время Дунай, но Рейн оставался линией пограничной обороны, и от прирейнских лагерей шли пути сообщения в тыл к крупным городам и гаваням Галлии*. Главной квартирой во время этих походов служил «Старый лагерь», *Castra vetera*, как его называли впоследствии (Виртен близ Ксантена), — первая значительная возвышенность ниже Бонна, на левом берегу Рейна; в военном отношении «Старый лагерь» соответствовал приблизительно нынешнему Везелю на правом берегу Рейна. Этот пункт, занятый, быть может, с самого начала римского владычества на Рейне, был превращен Августом в крепость, господствовавшую над всей Германией; эта крепость, во все времена служившая опорным пунктом римской обороны на левом берегу Рейна, была расположена очень удачно для вторжения на правый берег, ибо она находилась против устья реки Липпе, судоходной далеко вверх по течению, и соединялась с правым берегом Рейна прочным мостом. Этому «Старому лагерю» у устья Липпе, вероятно, соответствовал у устья Майна Могонтиак, нынешний Майнц, основанный, по видимому, Друзом; по крайней мере упомянутые выше территориальные уступки, которые римляне вынудили у хаттов, равно как и сооружения в горах Тауна, о которых будет сказано в дальнейшем, показывают, что Друз ясно понял важное военное значение линии

* Замечание Флора (2, 30), многими оспаривавшееся, можно относить к коммуникационным линиям, связывавшим прирейнские лагеря с гаванью Булони: *Воннам (или Вормам) et Gessoriacum pontibus iunxit classibusque firmavit* (Друз соединил посредством мостов Бонн (или Борм) с Гезориаком и расположил там военные флоты); с этим надо сопоставить упоминаемые этим же автором замки на Маасе. Весьма возможно, что Бонн служил в то время стоянкой рейнского флота; Булонь являлась такой стоянкой и в более позднюю эпоху. Конечно, у Друза могли быть основания сделать пригодной для транспорта самую короткую и безопасную сухопутную дорогу между обоими стоянками флота; однако, по всей вероятности, писатель ради эффекта употребил вычурное выражение, которое, если его понимать буквально, может ввести в заблуждение.

Майна и ключа к этой линии на левом берегу Рейна. Если, что весьма вероятно, лагерь легионов на Ааре был сооружен с целью держать в повиновении ретов и винделиков (стр. 32), то он был заложен, может быть, уже в это время; однако в таком случае его связь с военными мероприятиями против галлов и германцев является чисто внешней. Страсбургский лагерь легионов едва ли существовал в такую раннюю эпоху. Основной линией расположения римских войск служила линия от Майнца до Везеля. Твердо установлено, что, за исключением Нарбоннской провинции, тогда уже более не подчиненной императору, управление всей Галлией, равно как и командование всеми рейнскими легионами, было передано Друзу и Тиберию; весьма вероятно, что, когда начальствующими лицами здесь были не эти члены императорского дома, гражданское управление Галлией было отделено от военного командования рейнской армией; но едва ли уже в то время последнее было разделено на два координированных между собой командования*. Относительно численного состава рейнской армии в то время мы можем сказать, пожалуй, лишь, что армия Друза была едва ли сильнее, а, скорее всего, даже слабее той, которая стояла в Германии 20 лет спустя и которая насчитывала от пяти до шести легионов, т. е. приблизительно от 50 до 60 тыс. человек.

Описанному выше военному устройству на левом берегу Рейна соответствовали мероприятия, осуществленные на правом берегу. Прежде всего римляне овладели этим берегом. Здесь они в первую очередь столкнулись с сугамбрами, что, между прочим, было вызвано стремлением отомстить им за отнятое у римлян знамя и за распятых на крестах центурионов. Присланные сугамбрами с изъявлениями покорности послы, знатнейшие лица в народе, были вопреки народному праву объявлены военнопленными римлян и подверглись соот-

* Об административном делении Галлии, помимо того, что из нее была выделена Нарбоннская провинция, мы ничего не знаем, так как это деление основано исключительно на императорских распоряжениях и в сенатских протоколах о нем не сохранилось никаких данных. Первое сообщение о существовании двух отдельных военных командований, верхнегерманского и нижнегерманского, мы имеем только в связи с походами Германика. Если мы предположим, что это деление было осуществлено уже при Августе, то становятся непонятными некоторые обстоятельства, известные нам из сообщения о поражении Вара; правда, ко времени этой битвы существовали «зимние квартиры Нижней Германии» (*hiberna inferiora*), т. е. «Старый лагерь» (*Веллей*, 2, 120), а соответствующие им «квартиры Верхней Германии» (*superiora*) мог представить лишь Майнцкий лагерь, однако этот последний находился под командованием не коллеги Вара, но его племянника, т. е. подчиненного ему полководца. Вероятно, деление было произведено лишь в результате поражения Вара в последние годы правления Августа.

ветствующему обращению; они погибли впоследствии в ужасных условиях заключения в итальянских крепостях. Из всей массы народа 40 тыс. человек были высланы за пределы родины и поселены на галльском берегу; не исключена возможность, что встречаемые здесь впоследствии кугерны являются их потомками. Лишь не представлявшие никакой опасности жалкие остатки этого могущественного племени были оставлены на старых местах жительства. В Галлию было переселено также много свевов; другие же племена, как, например, марсы, а также, без сомнения, хатты, были оттеснены дальше в глубь страны; повсюду на среднем Рейне туземное население правого берега было вытеснено или, по крайней мере, ослаблено. Затем вдоль этого рейнского берега было поставлено пятьдесят укрепленных военных постов. Лежавшая за Могонтиаком область, отнятая у хаттов и образовавшая с тех пор Маттиакский округ, близ нынешнего Висбадена, была включена в линии римских укреплений, а в горах Тауна* были созданы сильные опорные пункты. Однако в первую очередь были построены укрепления по линии реки Липпе, начиная от Ветеры. По обоим берегам реки проходили две военные дороги с фортами, причем расстояние между двумя фортами равнялось дневному переходу; из них правобережная дорога, наверное, была построена уже Друзом; что же касается крепости Ализона у истоков Липпе, вероятно, соответствующей нынешней деревне Эльзен близ Падерборна, то у нас имеются прямые указания источников на то, что она была основана Друзом*. К этому следует добавить уже упомянутый канал

* Укрепленный пост (praesidium), поставленный Друзом на горах Тауна (*Тацит, Летопись, 1, 56*) и названный вместе с Ализоном $\phi\rho\lambda\omicron\rho' \omicron\nu \acute{\epsilon}\nu \chi\alpha\tau\tau\omicron\varsigma \kappa\alpha\rho' \alpha\upsilon\tau\omega \tau\omega \text{ '}\rho\eta\nu\omega$ — крепость в области хаттов у самого Рейна (*Дион Кассий, 54, 33*), вероятно, тождественны; особое положение Маттиакского округа, очевидно, стоит в связи с основанием Могонтиака.

** Не подлежит сомнению, что «крепость при слиянии Лупии и Элисона» (*Дион Кассий, 54, 33*) представляет не что иное, как часто упоминаемый Ализон, и что этот последний надлежит искать на верхней Липпе; также, по меньшей мере, весьма вероятно, что римский лагерь у истоков Липпе (ad castrum Lupiae — *Веллей, 2, 105*), насколько нам известно, единственный лагерь в этом роде на германской земле, следует искать именно в этом месте. Исследованиями Гельцманна (Hölzermann) установлено, что обе римские дороги, шедшие вдоль Липпе, с их укрепленными этапными лагерями вели, по крайней мере, до окрестностей Липпштадта. Верхняя Липпе имеет только один значительный приток — Альме; деревня Эльзен лежит неподалеку от ее впадения в Липпе, поэтому сходство имен может в данном случае иметь некоторое значение. Предположить, что Ализон находился при впадении в Липпе Гленне (и Лизе), — как это делает, между прочим, также Шмидт (Schmidt), — невозможно ввиду того, что в таком случае лагерь «у ис-

от устья Рейна до Зюйдерзее и плотину, проведенную Луцием Домицием Агенобарбом через длинную полосу болот между Эмсом и нижним Рейном; плотина эта носила название «Длинные мосты». Сверх того, по всей области были разбросаны отдельные римские посты; такие посты позже упоминаются у фризов и хавков, и в этом смысле можно говорить о том, что римские гарнизоны были расставлены до Везера и Эльбы. Наконец, армия зимою стояла на Рейне, летом же, а также в тех случаях, когда не было серьезных экспедиций, она располагалась в завоеванных областях, обычно близ Ализона.

Однако римляне не ограничились введением в приобретенной ими новой области военной организации. Подобно населению прочих провинций, германцы были подчинены юрисдикции римских властей, и летние экспедиции римского полководца постепенно превратились в обычные судебные выезды наместника. Обвинение и защита велись на латинском языке; римские юристы и адвокаты появились как на левом, так и на правом берегу Рейна; их деятельность, тягостная для всякого населения, особенно раздражала не привыкших к такого рода порядкам германцев.

Провинциальное устройство было введено в Германии еще далеко не полностью; о настоящей раскладке налогов, о правильном наборе в римскую армию еще не было и речи. Однако по примеру Галлии, в которой только что был создан союз округов в связи с введенным там культом императора, подобное же учреждение было создано и в только что завоеванной Германии. Когда Друз освятил для жителей Галлии алтарь Августа в Лионе, убили, позже других германцев поселенные на левом берегу Рейна, не были приняты в это объединение; взамен того в их главном городе, являвшемся таким же центром для Германии, каким был Лион для трех Галлий, воздвигли такой же алтарь для германских округов; в 9 г. жрецом этого алтаря был молодой князь херусков Сегимунд, сын Сегеста.

Однако окончательное торжество римского оружия в Германии было приостановлено осложнениями внутри императорского дома. В

токов Лупии» оказывается не тождественным с Ализоном, да и вообще этот пункт слишком далеко отстоит от линии Везера, тогда как от Эльзена дорога прямо ведет через ущелье Деры в долину Верре. Вообще же Шмидт, отнюдь не склонный отождествлять Ализон и Эльзен, замечает (см. *Westfälische Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde*, 20, S. 259), что высоты Везера (недалеко от Эльзена) и вообще левый край долины Альме представляют центр полукруга, образуемого лежащими впереди горами, и что эта возвышенная сухая местность, открывающая возможность обозрения окрестностей вплоть до самых гор и служащая прикрытием всей области Липпе, сама защищенная в то же время с фронта рекою Альме, является весьма пригодным исходным пунктом для похода на Везер.

результате разрыва между Тиберием и его отчимом Тиберий в начале 748 г. сложил с себя командование. Интересы династии не позволяли доверять руководство важными военными операциями полководцам, не принадлежавшим к императорскому дому; однако после смерти Агриппы и Друза и отставки Тиберия в императорской фамилии уже не было способных полководцев. Правда, в течение 10 лет, когда Иллириком и Германией управляли наместники с обычными полномочиями, ни в той, ни в другой провинции не было такого полного перерыва в военных операциях, как это может показаться на основании пристрастных источников, рассматривающих все события сквозь призму придворных интересов и изображающих военные кампании, проходившие под руководством членов императорского дома, совсем иначе, чем кампании, которыми руководили простые смертные; однако приостановка операций несомненна, а это уже само по себе является шагом назад. Агенобарб, который в качестве свойственника императорской семьи — его жена была дочерью сестры Августа — мог действовать более самостоятельно, нежели прочие магистраты, в бытность свою наместником Иллирика перешел Эльбу, не встретив сопротивления; однако позже в качестве наместника Германии он не завоевал победных лавров. Между тем в Германии росло недовольство населения и наблюдался новый подъем духа; во 2 г. н. э. в стране опять началось восстание: херуски и хавки взялись за оружие. Тем временем в конфликт между членами императорского дома вмешалась смерть; оба юных сына Августа сошли в могилу, и между ним и Тиберием произошло примирение.

Это примирение было официально скреплено усыновлением Тиберия (4 г. н. э.), после чего он немедленно возобновил свою деятельность там, где она была прервана; летом этого года и двух последующих (5—6 гг. н. э.) он водил римские войска за Рейн. Это было повторением прежних походов в большем масштабе. В первом походе были вновь покорены херуски, во втором — хавки. Римлянам подчинились жившие рядом с батавами канненефаты, не уступавшие по храбрости своим соседям; далее, жившие у истоков Липпе и на Эмсе бруктеры, а равно и другие племена; в это же время подчинились впервые упоминаемые при этом случае могущественные лангобарды, обитавшие тогда между Везером и Эльбой. В первом походе римская армия, перейдя через Везер, проникла в глубь страны; во втором — римские легионы стояли на самой Эльбе напротив германского ополчения, находившегося на другом берегу реки. Зимой 4—5 гг. римское войско, по-видимому, впервые расположилось на зимние квартиры на германской земле, у Алисона. Все эти успехи были достигнуты без особенной борьбы: римлянам не приходилось преодолевать сопротивление врагов, так как осторожная тактика Тиберия делала невозможным всякое сопротивление. Тиберий стремился не к бес-

полезным лаврам, но к достижению прочных успехов. Возобновились операции и на море; подобно первой кампании Друза, последняя кампания Тиберия замечательна плаванием по Северному морю. Однако на этот раз римский флот проник дальше; он произвел разведку на всем побережье Северного моря до Ютландского мыса, населенного кимврами, и затем, поднявшись вверх по Эльбе, соединился со стоявшей на берегу ее сухопутной армией. Император определенно запретил переходить Эльбу, однако жившие на противоположном берегу народы — только что упомянутые кимвры в нынешней Ютландии, харуды, к югу от них, и могущественные семноны между Эльбой и Одером — все же завязали сношения со своими новыми соседями.

Римляне могли считать, что их цель достигнута. Однако для создания железного кольца, которое охватило бы всю Германию, необходимо было еще установить связь между средним Дунаем и верхней Эльбой и овладеть древней родиной бойев, которая, подобно исплинской крепости, вклинивалась своим четырехугольником горных цепей между Нориком и Германией. Царь Маробод, из знатного маркоманнского рода, годы своей юности провел в Риме и благодаря этому был хорошо знаком с его строгой военной и государственной организацией. По возвращении на родину Маробод — быть может, во время первых германских походов Друза и вызванного ими переселения маркоманнов с Майна на верхнюю Эльбу — был избран царем маркоманнов; при этом, не удовлетворившись неопределенными формами царской власти у германцев, он, так сказать, взял себе за образец августовскую монархию. Кроме его собственного народа под его властью находилось могущественное племя лугиев (в нынешней Силезии); по-видимому, его верховную власть признавала вся область Эльбы, так как источники называют его подданными лангобардов и семнонов. До сих пор он соблюдал полный нейтралитет по отношению к остальным германцам и римлянам; правда, он давал в своей стране убежище врагам Рима, однако активного участия в борьбе не принимал и не выступил даже тогда, когда гермундуры получили от римского наместника места для поселения в области маркоманнов и когда левый берег Эльбы оказался под властью римлян. Сам он не подчинился римлянам, но примирился с создавшимся положением и не стал порывать своих дружественных отношений с Римом. Этой далеко не дальновидной и даже попросту неразумной политикой он достиг лишь того, что римляне напали на него в последнюю очередь; после успешных походов в Германию в 4 и 5 гг. дело дошло и до него. С двух сторон, из Германии и Норика, римские войска двинулись против горного четырехугольника Богемии. Поднимаясь вверх по Майну и прокладывая себе путь топором и огнем сквозь густые леса от Шпессарта до Фихтельгебирге, на маркоманнов наступал Гай Сентий Сатурнин, а из Карнута, где иллирийские легионы провели

зиму с 5 на 6 г., на них же наступал сам Тиберий. Обе армии, состоявшие в совокупности из 12 легионов, уже одной численностью почти вдвое превосходили противника, силы которого насчитывали до 70 тыс. пехоты и 4 тыс. конницы. Осторожная стратегия главнокомандующего, казалось, и на этот раз должна была обеспечить римлянам полный успех. Но внезапно одно событие прервало их дальнейшее продвижение.

Далматские племена и те из паннонских, которые жили в бассейне Савы, с недавнего времени были подчинены римскому наместнику; однако они относились к новой власти со все возрастающим недовольством, одной из основных причин которого были необычные, беспощадно взимавшиеся налоги. Когда впоследствии Тиберий спросил одного из вождей маркоманнов о причинах восстания, тот ответил, что восстание было вызвано тем, что римляне для охраны своих стад брали не собак и пастухов, а волков.

Теперь легионы были уведены из Далмации на Дунай, а способные носить оружие местные жители призваны под знамена и подлежали отправке туда же для пополнения армии. Эти туземные отряды подняли восстание и взялись за оружие не для защиты Рима, а для нападения на него. Их вождем был человек из племени дизетитов (в окрестностях Сараева), некто Батон. Примеру восставших последовали паннонцы под предводительством двух людей из племени бревков, из которых один тоже носил имя Батона, а другой — Пинна. С небывалой быстротой и единодушием поднялся весь Иллирик; всего восстало около 200 тыс. человек пехоты и 9 тыс. всадников. Набор рекрутов для вспомогательных отрядов, особенно широко практиковавшийся в Паннонии, весьма способствовал распространению во всей провинции знакомства с постановкой военного дела у римлян, с языком римлян и даже с римской культурой; эти служившие в римской армии солдаты стали теперь движущей силой восстания*. Римские граждане и купцы, в большом числе проживавшие или временно пребывавшие в охваченных восстанием областях, и в первую очередь солдаты, были повсюду схвачены и перебиты. Поднялись не только племена, входившие в состав про-

* Именно это и ничего больше говорит Веллей (2, 110); *in omnibus Pannoniis non disciplinae tantummodo, sed linguae quoque notitia Romanae, plerisque etiam litterarum unsus et familiaris animarum erat exercitati* (все паннонцы не только были знакомы с военной дисциплиной, но знали также латинский язык, а многие из них предавались и литературным упражнениям и умственным занятиям). Здесь перед нами те же явления, которые мы встречаем среди князей херусков, но в более крупном масштабе; понять их причину нетрудно, если вспомнить о созданных Августом паннонских и бревских алах (*alae*) и когортах.

винций, но и независимые племена. Правда, всецело преданные Риму фракийские князья привели на помощь римским полководцам свои многочисленные и храбрые отряды, но с другого берега Дуная в Мезию вторглись даки, а вместе с ними и сарматы. Казалось, что вся обширная придунайская область составила общий заговор с целью покончить с чужеземным владычеством.

Мятежники не намеревались выжидать нападения римлян, но сами предполагали вторгнуться в Македонию и даже в Италию. Положение было серьезное: перейдя Юлийские Альпы, мятежники через несколько дней могли снова появиться под Аквилеей или под Тергестой — эту дорогу они еще не позабыли, а через десять дней — под самым Римом; так, по крайней мере, заявил в сенате сам император; правда, при этом он стремился обеспечить себе согласие сената на обширные и тягостные военные мероприятия. С величайшей поспешностью были собраны новые контингенты и размещены гарнизоны в городах, которым угрожала непосредственная опасность; наряду с этим отовсюду, где только можно было обойтись без военных отрядов, эти отряды были отправлены в наиболее уязвимые пункты. Первым прибыл легат Мезии Авл Цецина Север и вместе с ним фракийский царь Реметалк; вскоре за ними последовали другие отряды из заморских провинций. Сам Тиберий вынужден был отказаться от вторжения в Богемию и вернуться в Иллирик. Если бы мятежники выждали, пока римляне будут основательно вовлечены в борьбу с Марободом, или если бы последний присоединился к ним, — положение римлян могло бы стать критическим. Однако мятежники выступили слишком рано, а Маробод, верный своей системе нейтралитета, именно в этот момент согласился заключить с римлянами мир на основе сохранения существующего положения. Таким образом, хотя Тиберию и пришлось отправить обратно рейнские легионы, так как оставить Германию без войск было невозможно, он все же смог соединить свою иллирийскую армию с прибывшими из Мезии, Италии и Сирии отрядами и послать ее против мятежников. Впрочем, тревога римлян не соответствовала действительным размерам опасности. Правда, далматы неоднократно вторгались в Македонию и грабили побережье вплоть до Аполлонии, но до вторжения в Италию дело не дошло, и вскоре пожар удалось локализовать.

Тем не менее война была не из легких. Как бывало всегда в подобных случаях, подавить восстание подвластных племен оказалось труднее, чем в свое время покорить их. Еще ни разу в эпоху Августа под командованием одного человека не собиралось такой массы войск. Уже в первый год войны армия Тиберия состояла из 10 легионов с соответствующими вспомогательными контингентами и множеством добровольно вернувшихся в армию ветеранов и прочих доброволь-

цев — общим числом около 120 тыс. человек; позже под его знаменами стояло 15 легионов*. В первом походе (6) борьба велась с переменным успехом. Римлянам, правда, удалось защитить от повстанцев крупные населенные пункты, как Сиския или Сирмий, но далмат Батон упорно и довольно успешно сражался против наместника Паннонии Марка Валерия Мессалы, сына знаменитого оратора; так же упорно боролся против наместника Мезии, Авла Цецины, паннонский Батон. Особенно много хлопот причиняла римским отрядам партизанская война. Следующий год (7), когда рядом с Тиберием на театре военных действий появился его юный племянник Германик, не принес конца непрерывной борьбе. Только в третью кампанию (8) римлянам удалось покорить Паннонию, главным образом, по-видимому, благодаря тому, что вождь паннонцев Батон, которого римляне привлекли на свою сторону, вынудил свои войска на реке Ватине сложить оружие и выдал римлянам своего товарища по верховному командованию Пинна, за что был признан ими князем бревков. Правда, изменника скоро постигла заслуженная кара: его далматский тезка схватил его и предал казни, и бревки снова подняли восстание; однако оно было быстро подавлено, и вождю далматов пришлось ограничиться защитой своей родины. Германику и прочим командирам отдельных частей как в этом году, так и в следующем (9) пришлось выдержать здесь, в отдельных округах, ряд упорных боев. В 9 г. были побеждены пирусты (на границе с Эпиром) и дезитиаты — племя, к которому принадлежал сам вождь; крепости повстанцев сдавались одна за другой после храброй защиты. В течение этого года сам Тиберий снова появился на театре военных действий и двинул все боевые силы римлян против остатков мятежных войск. Батон, окруженный римлянами в своем последнем убежище, укрепленном Андетрии (ныне Муч, севернее Салоны), признал дальнейшее сопротивление беспо-

* Если предположить, что из 12 легионов, посланных против Маробода (*Тацит*, *Летопись* 2, 46), в состав германской армии входили те 5 легионов, которые вскоре после этого оказались в Германии, то иллирийская армия Тиберия должна была насчитывать 7 легионов; в таком случае число 10 легионов (*Веллей*, 2, 113) можно с достаточным основанием отнести за счет подкреплений, прибывших из Мезии и Италии, а число 15 — за счет подкреплений из Египта или Сирии, а также за счет новых призывов в Италию; хотя вновь набранные в Италии легионы были отправлены в Германию, смененные ими легионы пополнили армию Тиберия. *Веллей* (2, 112) сообщает неточные сведения, когда говорит о 5 легионах, приведенных А. Цециной и Плавтием Сильваном в самом начале войны из «заморских провинций»; во-первых, войска не могли прибыть из-за моря немедленно, а во-вторых, легионы Цецины были, конечно, мезийские. Ср. мой *Комментарий к Monumentum Ancyranum*, изд. 2-е, стр. 71.

лезным. Но ему не удалось убедить отчаявшийся гарнизон подчиниться римлянам. Тогда он покинул город и отдался во власть победителя, оказавшего ему почетный прием. В качестве политического заключенного он был отправлен на жительство в Равенну, где и умер. Лишившись вождя, гарнизон еще некоторое время продолжал бесплодную борьбу, пока римляне не взяли крепость приступом. Вероятно, именно этот день, 3 августа, отмечен в римских календарях как годовщина победы, одержанной Тиберием в Иллирике.

Задунайских даков также постигла кара. По-видимому, именно в это время, после того как борьба в Иллирике была решена в пользу Рима, Гней Лентул с сильной римской армией перешел через Дунай, дошел до реки Мариза (Мароша) и нанес дакам тяжелое поражение в их собственной стране, в которую римская армия вступила тогда впервые. 50 тыс. пленных даков были поселены во Фракии.

Позднейшие авторы называли «Батонову войну» 6—9 гг. самой тяжелой из всех, какие когда-либо приходилось вести Риму против внешнего врага со времени Ганнибаловой войны. Иллирийской земле эта война нанесла жестокие раны. Когда юный Германик прибыл в столицу с вестью о решительном успехе, ликование в Италии не имело границ. Но это ликование продолжалось недолго: почти одновременно с сообщением об этом успехе в Рим пришло известие о таком поражении, какое Август за 50 лет своего правления пережил только раз; это поражение было особенно значительно по своим последствиям.

Мы уже описывали положение в провинции Германии. Контрудар, который обычно с неизбежностью явлений природы следует за установлением чужеземного господства и который только что разразился в Иллирике, подготавливался теперь также и в среднерейнских округах. Правда, остатки прирейнских племен совершенно утратили боевой дух, но племена, жившие в более отдаленных областях, в особенности херуски, хатты, бруктеры, марсы, понесшие не меньший ущерб, отнюдь не утратили своей былой мощи. Как всегда бывает в подобных случаях, в каждом округе образовалось две партии: одна состояла из готовых к полному подчинению друзьям Рима, другая, национальная, втайне подготавливала новое восстание. Душою этой последней партии был Арминий, сын Зигмера, 26-летний молодой человек из княжеского рода херусков. Вместе со своим братом Флавом он был возведен Августом в достоинство римского гражданина и получил звание всадника*. Оба брата отличились, сра-

* Так говорит Веллей (2, 118): *adsiduus militiae nostrae prioris comes iure etiam civitatis Romanae eius equestres consequens gradus* (он был усердным участником наших предыдущих походов и по праву вслед за римским гражданством получил звание римского всадника); это совпадает с тем, что Тацит (Летопись, 2, 10) говорит об Арминии как о «предво-

жаясь в качестве офицеров под командой Тиберия в последних походах римлян. Брат Арминия еще состоял на службе в римской армии и обосновался на постоянное жительство в Италии. Естественно, что и Арминий считался у римлян человеком, заслуживающим особенного доверия. Обвинения, которые выдвигал против него его лучше осведомленный соотечественник Сегест, не могли поколебать этого доверия, ибо было слишком хорошо известно, что Арминий и Сегест были врагами.

Мы ничего не знаем о дальнейших приготовлениях патриотов. Само собою разумеется, что знать, особенно знатная молодежь, стояла на их стороне; последнее ясно выразилось в том, что собственная дочь Сегеста Туснельда против воли отца обручилась с Арминием; кроме того, ее брат Сегимуид, брат Сегеста Сегимер, а также его племянник Сезитак играли выдающуюся роль в восстании. Это восстание не приняло широких размеров и далеко не может сравниться с восстанием в Иллирике. Строго говоря, его едва ли можно назвать германским. Жившие на побережье батавы, фризы и хавки не принимали в нем участия, равно как и подвластные Риму свевские племена, не говоря уже о Маробде. Восстали только те германцы, которые за несколько лет до того объединились против Рима и против которых в первую очередь были направлены военные операции Друза. Без сомнения, иллирийское восстание способствовало росту брожения в Германии; однако мы не находим и следа какой-либо связи между обоими восстаниями, сходными по характеру и почти совпадающими по времени; притом, если бы такая связь существовала, германцы едва ли стали бы дожидаться для своего выступления подавления паннонского восстания и капитуляции последних крепостей в Далмации. В этой отчаянной борьбе за утраченную национальную независимость Арминий был не больше не меньше как храбрым, изворотливым и — что особенно важно — удачливым вождем.

План мятежников удался; впрочем, они были обязаны этим не столько своим собственным заслугам, сколько оплошности римлян. Известную роль сыграла при этом и иллирийская война. Способные полководцы, а также, по-видимому, испытанные в боях войска были переведены с берегов Рейна на Дунай. По-видимому, германская армия численно не была сокращена, однако большую ее часть составляли новые легионы, сформированные во время войны. Гораздо хуже

дители своих земляков» (*ductor popularium*); подобным же образом в третьем походе Друза сражались *inter primores Chumstinctus et Avectius tribuni ex civitate Nerviorum* (среди первых трибуны Хумстинкт и Авектий из племени нервиев) (*Ливий*, Эпит., 141), а под командой Германика Хариовальда — «вождь батавов» (*Гацит*, Летопись, 2, 11).

обстояло дело с командованием. Наместник Германии Публий Квинктилий Вар* был, правда, супругом одной из племянниц императора и обладателем огромного, нечестно нажитого состояния. Крупный вельможа по всем своим замашкам, он был ленив, вял телом и духом, лишен всякого военного дарования и опыта и принадлежал к числу тех высокопоставленных римлян, которые благодаря сохранению старой системы, когда административные и военные функции соединялись в одних руках, носили наподобие Цицерона знаки достоинства римского полководца. Политика Вара по отношению к новым подданным Рима была суровой и недальновидной. Он подвергал их притеснениям и вымогательствам, действуя методами, которые он усвоил еще во время своего наместничества в покорной Сирии. Резиденция наместника кишела адвокатами и клиентами; заговорщики с изъявлениями благодарности безропотно принимали его приговоры и судебные решения, в то время как расставленные ими сети все теснее опутывали высокомерного претора.

Состояние военных сил было в то время удовлетворительным. В провинции находилось по крайней мере 5 легионов, из которых 2 имели зимние квартиры в Могонтиаке, а 3 — в Ветере или в Ализоне. Эти 3 легиона в 9 г. стали летним лагерем на Везере. Естественный путь, соединяющий верхнюю Липпе с Везером, проходит по невысокой цепи холмов Ознийга и Липпского леса, разделяющей долины Эмса и Везера, через Деренское ущелье в долину реки Верре, впадающей в Везер у Реме, неподалеку от Миндена. Примерно по этой же линии расположились в то время и легионы Вара. Этот летний лагерь был, конечно, соединен посредством этапной дороги с Ализоном, опорным пунктом римских позиций на правом берегу Рейна. Теплая пора года была на исходе, и легионы готовились в обратный путь. В этот момент пришла весть, что в одном соседнем округе вспыхнуло восстание. Тогда Вар решил не возвращаться с армией по упомянутой этапной дороге, но уклониться от прямого пути, чтобы подавить восстание*. Войско выступило в поход. После

* Портрет Вара имеется на медной монете африканского города Ахулы, отчеканенной во время его проконсульства в 747—748 гг. от основания Рима (7—6 гг. до н. э.) (*L. Müller, Num. de l'ancienne Afrique, 2, p. 44, ср. p. 52*). Раскопками в Пергаме обнаружен пьедестал, на котором некогда находилась статуя, воздвигнутая ему этим городом. Надпись на пьедестале гласит: *ὄβριος [ἐνίψησεν] Πονβλίου Κοτνχιολίου Σεξουοίου Ονοφρον πάσης ἀρετῆς [ς ἔνευχα]* (народ [поставил] эту статую в честь Публия Квинктилия, сына Секста, Вара [ради] его доблестей).

** Сообщение Диона Кассия, являющееся единственным более или менее связным рассказом об этой катастрофе, объясняет ход событий в общем удовлетворительно, если только при этом принять во внимание обычное соотношение летнего и зимнего лагерей — на что Дион,

неоднократных откомандирований мелких отрядов оно состояло из 3 легионов и 9 отделений войск второго разряда; общая численность его равнялась приблизительно 20 тыс. человек*.

Когда армия достаточно удалилась от линии своих сообщений и довольно глубоко проникла в бездорожную местность, заговорщики подняли восстание в соседних округах, перебили расставленные у них мелкие отряды и со всех сторон, из ущелий и лесов высыпали против наступавшего войска наместника. Арминий и прочие наиболее значительные вожди патриотов до последней минуты оставались в главной квартире римского войска. Их целью было внушить Вару беспечное отношение к происходящему. Еще вечером накануне того дня, когда вспыхнуло восстание, они ужинали в палатке у Вара, и Сегест, донесший о готовящемся восстании, заклинал полководца немедленно арестовать его самого и обвиняемых им лиц и выжидать событий, которые подтвердят его обвинения. Однако поколебать доверие Вара было невозможно. Немедленно после ужина Арминий верхом ускакал к мятежникам, а на следующее утро он уже стоял перед валом римского лагеря.

Положение римских войск было не лучше и не хуже, чем положение армии Друза перед битвой при Арбалоне; такая обстанов-

правда, не указывает — и этим самым ответить на вопрос, резонно поставленный Ранке (*Weltgeschichte* 3, 2, 275), — каким образом целая армия могла быть послана для подавления местного восстания? Сообщение Флора основано отнюдь не на каких-то иных источниках, как это предполагает Ранке, но единственно на драматическом сопоставлении мотивов, столь обычном у историков этого типа. Наши более достоверные источники говорят и о мирной судебной деятельности Вара, и о взятии лагеря штурмом, причем устанавливают между тем и другим причинную связь; но смехотворный рассказ о том, как в момент, когда Вар сидит на своем судебном кресле, а глашатай вызывает тяжущиеся стороны, германцы через все ворота врываются в лагерь, — является не сообщением о каком-то действительно имевшем место событии, а созданной на основании этого события легендой. Эта сцена явно противоречит не только здравому смыслу, но и рассказу Тацита о трех походных лагерях.

* Нормальный численный состав трех ал (*alae*) и шести когорт точно определить невозможно, так как в их состав могли входить подразделения с удвоенным количеством солдат (*milliariae*); однако численность войска не могла значительно превышать цифру 20 тыс. С другой стороны, мы не имеем оснований предполагать, что действительная численность войска могла значительно отличаться от номинальной. В результате ряда откомандирований, о которых упоминается в источниках (*Дион Кассий*, 56, 19), сильно сократилось число вспомогательных отрядов при войске Вара, ибо для этой цели употреблялись преимущественно такие отряды.

ка неоднократно складывалась для римской армии при подобных обстоятельствах. В данный момент связь с тылом была прервана, обремененная тяжелым обозом армия среди непроходимой местности в ненастную осеннюю пору была отделена от Ализона расстоянием в несколько дневных переходов; повстанцы, без сомнения, значительно превосходили римлян по численности. В подобных положениях дело решают боевые качества войск. И если в данном случае решение оказалось не в пользу римлян, то главную роль тут сыграла неопытность молодых солдат и, в особенности, несообразительность и малодушие вождя. Уже после того как началось нападение германцев, римское войско еще три дня продолжало свой поход, теперь уже, без сомнения, в направлении к Ализону, причем затруднения римлян и их деморализация все усиливались. Часть высших офицеров также забыла о своем долге; один из них вместе со всей конницей покинул поле битвы, оставив пехоту одну выдерживать бой. Прежде всех впал в полное отчаяние сам полководец. Получив рану в бою, он покончил с собой, когда до окончательного решения битвы было еще далеко; его свита попыталась даже предать сожжению его тело, чтобы спасти его от поругания. Примеру полководца последовала часть высших офицеров. Затем, когда все было потеряно, оставшийся в живых начальник сдался германцам и лишил себя даже той возможности, которая еще оставалась у его товарищей, — умереть честной смертью солдата.

Так погибла осенью 9 г. н. э. германская армия Рима в одной из долин той цепи холмов, которая ограничивает область Мюнстера*.

* Так как «Тевтобургский лес» (*Teutoburgiensis saltus*), где погибло войско Вара (*Тацит*, *Летопись*, 1, 61), находится недалеко от области между Эмсом и Липпе (т. е. области Мюнстера), опустошенной Германиком, двигавшимся от Эмса, то всего естественнее относить это название, не подходящее к Мюнстерской равнине, к цепи холмов, окаймляющей эту область с северо-востока, т. е. к Ознингу. Однако это название можно отнести также и к Виенским горам, которые тянутся несколько севернее, параллельно Ознингу, от Миндена до истоков р. Гунты. Нам неизвестно местонахождение летнего лагеря на Везере; но, принимая во внимание положение Ализона вблизи Падерборна и существовавшие между ним и Везером коммуникации, можно заключить, что лагерь находился вблизи Миндена. Обратный поход мог совершаться в любом направлении, но только не по кратчайшей дороге к Ализону; таким образом, катастрофа произошла не на самой линии военных сообщений между Минденом и Падерборном, но в некотором расстоянии от нее. Возможно, что Вар шел от Миндена приблизительно в направлении на Оснабрюк, затем, после нападения, пытался отсюда достигнуть Падерборна и уже на этом

Все три знамени попали в руки врагов. Ни один отряд не смог вырваться из окружения, не спаслись и те всадники, которые покинули в трудную минуту своих товарищей; избежать гибели удалось лишь немногим в одиночку отбившимся от армии солдатам. Пленные, и прежде всего офицеры и адвокаты, были распяты на крестах или погребены заживо, либо истекли кровью под священным ножом германских жрецов. Их головы в качестве победных трофеев были пригвождены к деревьям священных рощ. По всей стране началось восстание против чужеземного господства. Восставшие надеялись, что к нему примкнет Маробод. По всему правому берегу Рейна римские военные посты и дороги без сопротивления сдавались победителям. Только в Ализоне храбрый комендант Луций Цедиций, не офицер, но старый солдат, оказал решительное сопротивление; его стрелки отогнали от городских валов германцев, не имевших дальнобойных метательных орудий, и германцам пришлось заменить осаду города блокадой. Когда у осажденных вышли последние запасы, а подкрепление все не появлялось, Цедиций в одну темную ночь выступил из крепости. Обремененный женщинами и детьми, неся тяжкие потери от нападений германцев, этот остаток римской армии в конце концов добрался до лагеря в Ветере. Туда же направились, по получении известия о катастрофе, оба стоявших в Майнце легиона под командой Люция Нония Аспрены. Энергичная защита Ализона

пути нашел свою гибель среди холмов одной из упомянутых выше горных цепей. В течение столетий в местности Фенне у истоков Гунты находили огромное количество римских золотых, серебряных и медных монет эпохи Августа, тогда как монет более позднего времени здесь почти вовсе не попадает (данные см. у Paul Höfer, *Der Feldzug des Germanicus im Jahre 16, 1884, S. 82 f.*). Эти находки не представляют собой клада монет, так как встречаются вразброс и неодинаковы по металлу; они не могут также принадлежать кому-нибудь торговому пункту, ибо все относится к одному времени; по всем признакам это — наследие большой погибшей армии, а имеющиеся у нас сообщения позволяют заключить, что поражение Вара произошло именно в этой местности. Что касается года происшедшей здесь катастрофы, то на этот счет разногласия вообще недопустимы; отнесение ее к 10 г. представляет собой простую ошибку. Время года, когда произошла катастрофа, мы можем до некоторой степени определить, принимая во внимание, что между указом о праздновании победы в Иллирике и получением в Риме известия о катастрофе прошло лишь 5 дней, причем указ, по-видимому, имеет в виду победу 3 августа, хотя он был издан и не непосредственно после нее. Таким образом, поражение произошло, вероятно, в сентябре или октябре, что также согласуется с тем, что последний поход Вара представлял собой возвращение из летнего лагеря в зимний.

и быстрое появление Аспрены не позволили германцам развить свой успех на левом берегу Рейна, быть может, даже помешали галлам восстать против Рима.

Последствия поражения были вскоре в известной мере заглажены, поскольку рейнская армия не только немедленно получила пополнение, но и была значительно усилена в своем составе. Тиберий вторично принял командование над этой армией. В связи с тем, что военная история не сообщает ни о каких сражениях в следующем году после катастрофы Вара, т. е. в 10 г., представляется вероятным, что именно в это время рейнская граница была оккупирована 8 легионами и командование разделено на командование верхней армии с главной квартирой в Майнце и командование нижней армии с главной квартирой в Ветере; таким образом, было проведено мероприятие, которое затем в течение столетий лежало в основе существовавшего здесь положения.

Следовало ожидать, что это усиление рейнской армии повлечет за собой энергичное возобновление операций на правом берегу. Борьба между Римом и германцами не являлась борьбой между двумя равными в политическом отношении силами — борьбой, в которой поражение одной стороны могло бы повести к заключению мира на невыгодных для нее условиях. Это была борьба цивилизованной и хорошо организованной великой державы против храброй, но в политическом и военном отношении отсталой варварской нации; в такой борьбе окончательный результат предопределен, и отдельная неудача в предначертанном плане не может изменить ничего, подобно тому как корабль не отказывается от цели своего плавания, если случайный порыв ветра отнесет его в сторону от намеченного курса. В действительности, однако, события развивались иначе. Правда, в следующем (11) году Тиберий перешел Рейн, однако эта экспедиция не походила на предшествующие. Лето Тиберий провел на правом берегу, где и отпраздновал день рождения императора; однако армия не удалялась от Рейна, а о походах к Везеру и Эльбе не было и речи. Очевидно, целью этого похода было лишь показать германцам, что римляне еще не забыли путь в их страну, а также, быть может, осуществить те мероприятия на правом берегу Рейна, которых требовала перемена политики римлян.

Верховное командование обеими армиями по-прежнему было объединено, и верховным командующим по-прежнему назначался член императорской фамилии. Германик уже в 11 г. занимал этот пост вместе с Тиберием; в следующем (12) году, когда Германику пришлось остаться в Риме для отправления консульских обязанностей, Тиберий командовал на Рейне один. В начале 13 г. единоличное верховное командование принял Германик. Считалось, что Рим находится в состоянии войны с германцами, однако эти годы не отмечены

никакими военными действиями*. С неудовольствием подчинился пылкий и честолюбивый Германик предписанному ему императором запрету. Можно понять, что как римский офицер он не забывал о трех орлах, попавших в руки врага, а как родной сын Друза он горел желанием снова восстановить его разрушенное творение. Повод для этого ему вскоре представился или же он создал его сам.

19 августа 14 г. скончался император Август. Первая смена правителей на троне новой монархии произошла не без осложнений, и Германику представился случай на деле доказать своему приемному отцу, что он намерен сохранить ему верность. Однако одновременно он нашел оправдание своему решению — по собственной инициативе возобновить давно задуманное им вторжение в Германию. Он объявил, что цель этого нового похода состоит в том, чтобы подавить опасное брожение, возникшее в легионах в связи со сменой правителя. Было ли это действительной причиной или только предлогом, — мы не знаем, да, может быть, и сам Германик этого не знал. Командующему рейнской армией нельзя было запретить переход границы в любом месте, а решение вопроса о том, насколько энергично следовало действовать против германцев, до известной степени всегда зависело от него самого. Быть может, Германик думал, что он действует в соответствии с намерениями нового властителя; ведь последний имел, по крайней мере, такое же право на титул победителя Германии, как и его брат Друз, а ожидавшееся в то время появление его в рейнском лагере можно было истолковать так, что он собирается снова возобновить завоевание Германии, приостановленное по повелению Августа.

Как бы то ни было, наступление по ту сторону Рейна возобновилось. Еще осенью 14 г. все легионы под руководством самого Герма-

* О продолжавшемся состоянии войны свидетельствуют Тацит (Летопись, 1, 9) и Дион Кассий (56, 26); однако они не сообщают ни о каких событиях во время так называемых походов в летние месяцы 12, 13 и 14 гг. По-видимому, осенняя экспедиция 14 г. была первой предпринятой Германиком. Правда, Германик, вероятно, еще при жизни Августа был провозглашен солдатами «императором» (Мопит. Алсуг., р. 17); однако ничто не препятствует нам отнести это событие к походу 11 г., когда Германик, облеченный проконсульской властью, командовал вместе с Тиберием (Дион Кассий, 56, 25). В 12 г. он находился в Риме для отправления консульских обязанностей, которые выполнял в течение всего года и к которым в то время относились еще серьезно. Это объясняет, почему Тиберий, как это теперь доказано (Hermann Schulz, *Questiones Ovidianae*, Greifswald, 1883, S. 15 f.), еще в 12 г. отправился в Германию и лишь в начале 13 г., после того как была отпразднована паннонская победа, сложил с себя командование рейнскими армиями.

ника перешли Рейн у Ветеры. Идя вверх по Липпе, он проник довольно далеко в глубь страны, все опустошая на своем пути, истребляя население и разрушая храмы, в том числе — глубоко чтимый германцами храм Танфаны. Пострадавшие от этого нашествия германцы, в особенности бруктеры, тубанты и узипии, собирались уготовить Германику на обратном пути участь Вара. Однако их атаки были отражены стойкостью и энергией легионов. Так как этот поход не вызвал осуждения со стороны императора и Германику даже была декретирована благодарность и оказаны почести, он стал продолжать военные действия.

Весной 15 г. Германик собрал свои главные силы сначала на среднем Рейне и, лично выступив из Майнца против хаттов, дошел до верхних притоков Везера, между тем как нижнерейнская армия напала на херусков и марсов на севере. Такой образ действий до некоторой степени был обусловлен тем, что дружественно относившиеся к римлянам херуски, которым прежде под непосредственным впечатлением катастрофы Вара пришлось примкнуть к патриотам, теперь снова находились в открытой борьбе с гораздо более сильной национальной партией и призывали Германика вмешаться в эту борьбу. Действительно, римлянам удалось освободить своего сторонника Сегеста, положение которого среди его соотечественников становилось весьма затруднительным; его дочь, супруга Арминия, попала в руки римлян; брат Сегеста, Сегимер, некогда вместе с Арминием стоявший во главе патриотов, также подчинился римлянам. Внутренние раздоры германцев еще раз подготовили путь чужеземному господству.

Еще в том же году Германик предпринял главный поход в область Эмса. Цецина двинулся из Ветеры к верхнему Эмсу, а сам Германик с флотом направился туда от устья Рейна. Конница шла вдоль морского берега через область верных Риму фризов. Когда все эти отряды соединились, римляне подвергли опустошению землю бруктеров и всю область между Эмсом и Липпе. Отсюда они предприняли поход к месту катастрофы, где шесть лет назад погибло войско Вара; они намеревались воздвигнуть надгробный памятник своим павшим товарищам. При дальнейшем продвижении вперед римская конница была завлечена в засаду Арминием и отрядами озлобленных патриотов и была бы истреблена, если бы следовавшая за нею пехота своим появлением не предотвратила несчастья. С большими опасностями был сопряжен для римлян обратный путь от Эмса, который они совершили по тем же дорогам, какими пользовались при наступлении. Конница без потерь достигла зимнего лагеря. Вследствие трудности плавания — дело происходило во время осеннего равноденствия — наличного флота оказалось недостаточно для четырех легионов пехоты, и Германик приказал двум легионам высадиться обратно на сушу и возвращаться по берегу. Однако вследствие недостаточно-

го знакомства с условиями прилива и отлива в это время года легионы потеряли свой багаж и множество солдат едва не утонуло в море; что касается четырех легионов Цецины, то их обратный поход от Эмса к Рейну во всех отношениях напоминал поход Вара, а болотистая местность, по которой им пришлось идти, представляла даже бóльшие трудности, чем покрытые лесом горные ущелья. Вся масса местного населения, во главе с обоими херусскими князьями, Арминием и его дядей Ингвиомером, пользовавшимися всеобщим уважением среди соплеменников, устремилась на отступающие войска в твердой надежде уготовать им участь Вара. Все болота и леса вокруг были полны вооруженными германцами. Однако старый вождь, накопивший богатый опыт за сорок лет своей боевой жизни, остался спокоен в момент крайней опасности и твердой рукой держал в повиновении своих упавших духом и изголодавшихся солдат. Тем не менее и он едва ли предотвратил бы катастрофу, если бы ему не пришло на помощь то обстоятельство, что после удачного нападения на походные колонны римлян, при котором последние потеряли значительную часть конницы и почти весь обоз, германцы, уверенные в окончательной победе и предвкушавшие добычу, вопреки совету Арминия, последовали за другим вождем и вместо того, чтобы продолжать окружение врага, попытались взять штурмом его лагерь. Цецина подпустил германцев к самому валу, а затем осажденные, устремившись из всех ворот на нападающих, нанесли им такое тяжелое поражение, что дальнейшее отступление римлян совершилось без особенных затруднений.

На Рейне уже считали армию погибшей и намеревались уничтожить мост у Ветеры, чтобы, по крайней мере, не дать германцам возможности проникнуть в Галлию. Лишь решительный протест женщины — супруги Германика, дочери Агриппы — предотвратил выполнение столь малодушного и позорного намерения.

Таким образом, попытка возобновить покорение Германии на первых порах не имела большого успеха. Правда, римляне снова вступили в область между Рейном и Везером и пересекли ее, однако они не могли похвалиться решающими достижениями; к тому же потери снаряжением и в особенности лошадьми были так тяжелы, что города Италии и западных провинций как при Сципионе Африканском, во исполнение патриотического долга взяли на себя долю в их возмещении.

Для следующего своего похода (16) Германик составил новый план. Теперь он решил использовать в качестве базы для покорения Германии побережье Северного моря и осуществить это покорение при помощи военного флота. План этот был принят отчасти потому, что прибрежные племена — батавы, фризы, хавки — в большей или меньшей степени держали сторону Рима, отчасти же потому, что он

позволял сократить требующие много времени и жертв переходы от Рейна к Везеру и Эльбе и обратно. Весну этого года, так же как и предыдущую, Германик использовал для быстрых предварительных ударов на Майне и Липпе. Затем в начале лета он посадил свое войско в устье Рейна на изготовленный тем временем огромный транспортный флот из тысячи парусников и действительно без всяких потерь достиг устья Эмса, где флот и остался. Отсюда Германик направился дальше, вероятно, вверх по Эмсу до устья Гаазе и далее вверх по этой реке, в долину Верре, по которой он достиг Везера. Этим способом Германик избежал необходимости вести через Тевтобургский лес почти 80-тысячную армию, что было связано с большими трудностями, в особенности в деле снабжения армии продовольствием. Стоянка флота представляла надежную базу для подвоза провианта; вместе с тем этот поход давал возможность напасть на живших по правому берегу Рейна херусков не с фронта, а с фланга. Против римлян выступило всенародное ополчение германцев, во главе которого опять стояли вожаки патриотической партии Арминий и Ингвиомер. Какими боевыми силами располагали эти вожди, видно из того, что они два раза подряд встретились со всей римской армией в открытом бою в области херусков, сначала на самом Везере, затем несколько дальше в глубь страны*, и оба раза яростно оспаривали победу. Правда, победа осталась за римлянами, и значительная часть германских патриотов полегла на полях сражений; пленных вообще не брали, и обе стороны сражались с величайшим ожесточением. Второй победный памятник, поставленный Германиком, возвещал о покорении всех германских народов между Рейном и Эльбой. Этот свой поход Германик приравнивал к блестящим кампаниям своего отца Друза и сообщил в Рим, что в следующем походе он закончит покорение Германии. Однако Арминию, несмотря на то, что он был ранен, удалось спастись, и он в дальнейшем оставался во главе патриотов. Одно непредвиденное бедствие лишило римлян плодов их победы. На обратном пути, который бо́льшая часть легионов совершала по Северному морю, транспортный флот был настигнут осенней бурей. Корабли разнесло во все стороны по островам вплоть до британского берега, значительная часть солдат погибла, а те, которые спаслись, побросали за борт

* Шмидт (Westfal. Zeitschrift, 20, S. 301) предполагает, что первое сражение происходило на полях Идиставизо, приблизительно у Бюкебурга, а второе, поскольку в сообщении о нем упоминаются болота, — у Штейнгудерского озера, близ лежащей к югу от него деревни Бергкирхен. Это предположение, вероятно, близко к истине; во всяком случае оно позволяет составить наглядное представление о битве. Однако, подобно большинству тацитовских описаний сражений, оно не дает возможности прийти к вполне надежным выводам.

большую часть лошадей и багажа и были рады уже тому, что остались в живых. Потери при плавании, как в эпоху Пунических войн, оказались равнозначными проигрышу сражения. Сам Германик на своем адмиральском корабле, оторванный от своих, был выброшен на пустынный берег хавков; в отчаянии от этой неудачи он был готов искать смерти в пучине того самого океана, помощь которого он так серьезно и так тщетно призывал в начале этого похода. Правда, впоследствии выяснилось, что потеря в людях была не столь велика, как это казалось вначале, а несколько удачных ударов, нанесенных полководцем близживущим варварам уже по возвращении его на Рейн, подняли упавший дух войск. Однако в общем итоге поход 16 г., хотя он и был ознаменован более блестящими победами, чем предшествующий, принес гораздо более серьезные потери.

Отозвание Германика было вместе с тем упразднением объединенного верховного командования рейнской армией. С разделением командования изменился и характер военных экспедиций. То, что Германик не только был отозван, но и не получил преемника, было равносильно переходу к оборонительной тактике на Рейне. Таким образом, поход 16 г. оказался последним, который римляне совершили с целью покорения Германии и перенесения имперской границы с Рейна на Эльбу. Самый ход событий свидетельствует о том, что походы Германика преследовали именно эту цель; о том же говорит трофей, воздвигнутый Германиком в ознаменование перенесения границы на Эльбу. Восстановление военных сооружений на правом берегу Рейна, как-то: укреплений на Тауне, крепости Ализона и стратегической линии, соединяющей последнюю с Ветерой, также служило не только целям оккупации правого берега Рейна согласно сокращенному плану военных операций, принятому после поражения Вара, но и выходило далеко за рамки этого плана. Однако желания полководца не совпадали с намерениями императора. Весьма вероятно, что Тиберий с самого начала относился к предприятиям Германика на Рейне лишь более или менее терпимо, но не поощрял их, и можно с уверенностью утверждать, что, отзывая Германика зимой 16/17 г., он хотел положить конец этим предприятиям. Без сомнения, одновременно с этим пришлось отказаться от значительной части достижений; так, был выведен гарнизон из Ализона. Уже через год Германик не нашел на месте ни единого камня от трофея, воздвигнутого им в Тевтобургском лесу, и все его победы оказались ударом впустую; их результаты исчезли, и никто из его преемников не продолжал строить на заложенном им основании.

Если Август после поражения Вара решил, что уже завоеванная Германия потеряна для Рима, если вслед за ним Тиберий, после того как это завоевание было возобновлено, повелел его прекратить, то уместен вопрос, какие мотивы руководили при этом обоими выдаю-

щимися правителями Рима и какое значение имели эти важные мероприятия для общей политики империи.

Поражение Вара представляет собой загадку не в военном, но в политическом отношении, не в своих перипетиях, но в своих последствиях. Август имел основания требовать свои легионы от самого полководца, не обвиняя в их гибели врага или судьбу. Это поражение представляло собой одно из тех несчастий, какие время от времени выпадают на долю каждому государству по вине какого-нибудь незадачливого военачальника. Трудно понять, каким образом истребление 20-тысячной армии, не имевшее дальнейших последствий военного характера, могло вызвать решительное изменение дальновидной завоевательной политики мирового государства. Тем не менее оба властителя отнеслись к этому поражению поразительно терпимо; эта терпимость могла тяжело отразиться на положении правительства по отношению и к армии и к соседям. Мир с Марободом, который, без сомнения, мог рассматриваться лишь как перемирие, они превратили в окончательный; они отказались также от попыток овладеть долиной верхней Эльбы. Тиберию было, вероятно, нелегко смотреть, как рушится огромное здание, заложенное им совместно с братом и затем им же почти законченное после смерти последнего. Чего стоил ему этот отказ от собственных достижений, мы можем понять, если вспомним, с каким необычайным рвением он тотчас же после того, как вернулся к делам правления, возобновил начатую десять лет назад войну с германцами. И если тем не менее не только Август, но и сам Тиберий после смерти отца неукословно продолжал это отступление, то причину такой политики можно усматривать лишь в том, что оба правителя признали невыполнимым план перенесения северной границы, осуществить который они стремились в течение двадцати лет, и решили, что прочное подчинение области между Рейном и Эльбой является задачей, превышающей силы империи.

Существовавшая до сих пор имперская граница шла от среднего Дуная до его истоков и до верхнего Рейна, а затем спускалась вниз по Рейну. Перенесение ее на Эльбу, истоки которой сближаются со средним Дунаем, значительно сокращало ее и делало более удобной. При этом, помимо очевидных, чисто военных преимуществ, преследовалась, вероятно, и политическая цель, ибо одним из руководящих принципов политики Августа было держать как можно дальше от Рима и Италии важные военные посты, а армия на берегах Эльбы едва ли оказалась бы в состоянии играть в дальнейшем развитии Рима ту роль, которую так скоро присвоила себе рейнская армия. Создать необходимые предпосылки для такого перенесения границы, т. е. окончательно сломить силы национальной партии в

Германии и царя севов в Богемии, оказалось отнюдь не легкой задачей. Тем не менее был момент, когда римляне были близки к ее успешному разрешению, и при правильном руководстве успех мог бы быть обеспечен. С другой стороны, возник вопрос, можно ли было по установлении границы на Эльбе увести войска с территории между Эльбой и Рейном. Такой вопрос со всей серьезностью был поставлен перед римским правительством событиями далматско-паннонской войны. Если еще только предстоящее вступление римской дунайской армии в Богемию повлекло за собой всенародное восстание в Иллирике, восстание, которое удалось подавить лишь после четырех лет борьбы, с напряжением всех военных средств империи, то эту новую обширную область ни на продолжительный, ни на короткий срок нельзя было оставить без контроля. Без сомнения, таково же было положение и на Рейне. Правда, в Риме любили хвастать тем, что государство держит в подчинении всю Галлию с помощью стоящего в Лионе гарнизона численностью в 1200 человек. Однако правительство не забывало, что обе большие армии на Рейне предназначались не только для отражения германцев, но в случае надобности могли быть использованы и против отнюдь не отличавшихся покорностью галльских племен. Если бы они стояли на Везере или, тем более, на Эльбе, они были бы гораздо менее пригодны для этой цели. Держать же армии на Рейне и на Эльбе одновременно Рим был не в силах.

Таким образом, Август, вероятно, пришел к заключению, что при наличном численном составе армии — правда, еще недавно значительно увеличенном, но все еще далеко не соответствовавшем действительным потребностям государства, — осуществить вышеописанное урегулирование северных границ было невозможно. Таким образом проблема из чисто военной превращалась в проблему внутриполитическую, главным образом финансовую. Ни Август, ни Тиберий не решались еще более повысить издержки на содержание армии. Эту политику можно поставить им в упрек. Парализующее действие иллирийского и германского восстаний, тяжкие поражения, их сопровождавшие, преклонный возраст слабеющего властителя, все усиливающееся отвращение Тиберия к смелому образу действий и широкой инициативе и прежде всего к любому малейшему отступлению от политики Августа — все это, без сомнения, тоже сыграло свою роль, быть может, к ущербу для государства. Какое впечатление произвел отказ от новоприобретенной провинции Германии на военных и на молодежь, показывает поведение Германика; хотя оно и не заслуживает одобрения, но все же вполне объяснимо. Насколько затруднительно было в этом деле положение правительства перед лицом общественного мнения, можно ясно видеть

из жалкой попытки хотя бы номинально сохранить утраченную Германию в виде двух левобережных рейнских германских округов и из двусмысленных и неопределенных выражений Августа в его отчете о Германии, в котором он то признает, то не признает ее подвластной Риму. Переместить границу империи на Эльбу было грандиозным, может быть, чересчур смелым замыслом. Август, фантазия которого обычно не простиралась так далеко, решился на этот шаг, вероятно, лишь после многолетних колебаний и, наверное, не без влияния младшего пасынка, стоявшего к нему особенно близко. Но отступить после смелого начала — значит не исправлять ошибку, а совершать новую. Империя должна была сохранить незапятнанной свою военную честь, ей нужны были бесспорные военные успехи, с которыми не могли бы сравниться скромные победы прежних республиканских правительств. Исчезновение после тевтобургской катастрофы из ряда римских легионов номеров 17, 18 и 19, которые так никогда и не были восстановлены, отнюдь не способствовало повышению военного престижа империи, и даже самое верноподданническое красноречие риторов не могло превратить в дипломатический успех мир, заключенный с Марободом на основе status quo. Принимая во внимание позицию, которую занимал Германик в политических событиях того времени, мы не можем предположить, что свои широко задуманные военные экспедиции он предпринял вопреки определенному приказанию своего правительства. Однако с него нельзя снять упрека в том, что он использовал свое положение верховного главнокомандующего важнейшей армии империи и будущего престолонаследника для осуществления — на собственный риск и страх — своих военно-политических планов. Но и императора нельзя не упрекнуть в том, что он побоялся принять самостоятельное решение, а может быть, не посмел его высказать или остановился перед его энергичным выполнением. Если Тиберий все же допустил возобновление наступательных военных действий, то он, очевидно, сознавал, что по целому ряду причин важно было проводить более энергичную политику. Подобно всем чрезмерно осторожным людям, он, вероятно, оставлял решение на произвол судьбы, пока неоднократные тяжкие неудачи Германика не заставили его вернуться к более робкой политике. Нелегко было правительству дать команду «стой!» армии, которая вернула Риму два знамени из утраченных трех. Все же оно решилось на такой шаг. Каковы бы ни были при этом объективные и личные мотивы, этот момент является одним из поворотных пунктов в истории народов. История имеет свои приливы и отливы. Отныне мировое господство Рима, достигнув своего кульминационного пункта, начинает идти на убыль. К северу от Италии римское владычество на непродолжительный срок

распространилось до Эльбы; со времени поражения Вара его границей становятся Рейн и Дунай. Древнее предание гласит, что первому завоевателю Германии, Друзу, в его последнем походе на Эльбу явилась исполинского роста женщина, по внешности германка, которая на латинском языке крикнула ему: «Назад!» И хотя в действительности это слово не было произнесено, римляне все же отступили.

Впрочем, если мир с Марободом и отказ от реванша за поражение Вара можно с полным основанием признать крушением политики Августа, то крушение это едва ли означало победу германцев. После поражения Вара в сердцах лучших людей Германии, наверное, возникла надежда, что последствием блестящего успеха херусков и их союзников, а также отступления врага на западе и на юге явится хотя бы неполное объединение нации. Быть может, именно во время этого кризиса у совершенно чуждых друг другу саксов и свевов появилось сознание их единства. В том, что саксы прямо с поля сражения отправили голову Вара царю свевов, в дикой форме нашла свое выражение мысль, что для всех германцев пришло время общими силами обрушиться на Римскую империю и обеспечить границу и свободу своей страны единственным верным способом, т. е. нанесением сокрушительного удара кровному врагу в его собственных пределах. Однако Маробод, этот образованный человек и мудрый политик, принял дар мятежников лишь для того, чтобы переслать голову Вара императору Августу для погребения. Он не выступил ни за, ни против римлян и неизменно сохранял позицию нейтралитета. Непосредственно после смерти Августа в Риме опасались вторжения маркоманнов в Ретию; это опасение было, по-видимому, неосновательно, а когда вслед за тем Германик возобновил с Рейна наступление на германцев, могущественный царь маркоманнов ограничился ролью пассивного наблюдателя. Такая политика, диктовавшаяся либо тонким расчетом, либо просто страхом, в окружении кипевшего дикими страстями, опьяненного патриотическими надеждами и успехами германского мира, была явно обречена на неудачу. Отдаленные и лишь слабо связанные с царством Маробода свевские племена, а также семноны, лангобарды и готоны отказались подчиниться царю и примкнули к саксонским патриотам; не исключена возможность, что именно эти племена дали большую часть значительных военных сил, которыми, очевидно, располагали Арминий и Ингвиомер в боях против Германика.

Когда вскоре за тем римское наступление было внезапно прервано, патриоты (в 17 г.) выступили против Маробода; быть может, это было выступление против царской власти вообще, по крайней мере — против царской власти в той заимствованной из Рима форме, какую

придал ей Маробод*. Однако в их среде также возникли разногласия. Оба князя херусков, близкие родственники, в последних боях с римлянами храбро и с честью командовали патриотами, хотя и не могли добиться победы; но если донныне они сражались бок о бок друг с другом, то в этой войне они встретились уже как враги. Дядя Арминия, Ингвиомер, не желая более мириться с тем, что его племянник занимает первое место, а он, Ингвиомер, — второе, в самом начале войны перешел на сторону Маробода. Так дело дошло до решительной битвы между самими германцами, даже между единоплеменниками, ибо в обеих враждебных армиях сражались как свевы, так и херуски. Долго не определялся исход этой борьбы. Оба войска усвоили некоторые элементы римской тактики, обе стороны сражались с одинаковой яростью и ожесточением. Настоящей победы Арминий не одержал; однако поле битвы осталось за ним, а так как Маробод оказался, видимо, слабее, то стоявшие еще за него племена покинули его, и Маробод остался господином одного лишь своего царства. Когда он обратился к римлянам за помощью против своих слишком могущественных земляков, Тиберий напомнил ему о его поведении после поражения Вара и ответил, что теперь римляне тоже останутся нейтральными. Конец не заставил себя долго ждать. В следующем же году (18) на Маробода в собственной его резиденции напал один готонский князь, Катувальда, которому он раньше нанес личное оскорбление и который затем отложился от него с прочими жившими вне Богемии свевами. Покинутый всеми близкими, Маробод с трудом спас свою жизнь бегством к римлянам. Здесь он вымолил себе право убежища и много лет спустя умер в качестве римского пенсионера в Равенне.

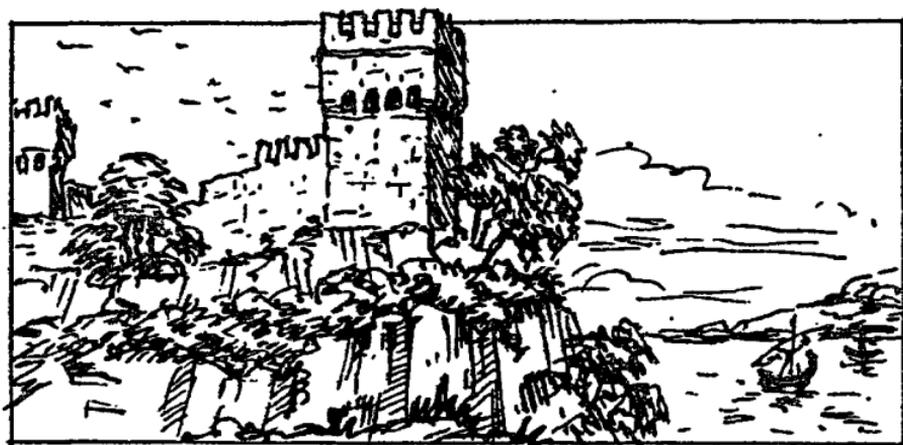
Таким образом, противники и соперники Арминия были вынуждены бежать, и взоры всех германцев обратились на этого князя. Однако самое это величие таило в себе для Арминия опасность и в конце концов гибель. Соотечественники Арминия, прежде всего его же родня, обвинили его в том, что он шел по стопам Маробода и стремился стать не только первым из германцев, но и полновластным царем. Кто может сказать, справедливы ли были эти обвинения? Кто может

* Свидетельство Тацита (Летопись, 2, 45) о том, что здесь происходила война республиканцев против сторонников монархии, конечно, в известной степени переносит эллинско-римские воззрения на совсем иные отношения германского мира. Постольку, поскольку эта война вообще имела какую-то определенную морально-политическую тенденцию, последняя заключалась в стремлении не к царскому титулу (*nomen regis*), как говорит Тацит, но к созданию прочной державы с сильной царской властью (*certum imperium visque regia*), о которых говорит Веллей (2. 108).

сказать, не был ли Арминий прав, если действительно стремился к такой цели? Дело дошло до междоусобной войны между защитниками свободы народа и Арминием, а еще через два года после изгнания Маробода погиб и он, подобно Цезарю сраженный кинжалами близких к нему знатных лиц, убежденных республиканцев. Его супруга Туснельда и рожденный в плену сын Тумелик, которого он никогда не видел, в цепях, вместе с толпой других знатных германцев были приведены на Капитолий в триумфальной процессии Германика (26 мая 17 г.). За свою верность римлянам старый Сегест получил почетное место среди зрителей, откуда он мог глядеть на позор своей дочери и внука. Все пленники окончили свои дни на римской земле. В Равенне Маробод встретился с женою и сыном своего врага, отправленными сюда в ссылку.

Если, отзывая Германика, Тиберий заметил, что нет необходимости вести войну против германцев, ибо в будущем они сами позаботятся о том, что нужно для Рима, то этим он показал, как хорошо он знал своих врагов. В этом отношении, во всяком случае, история признала его правым. Арминию же, этому вдохновенному человеку, который в возрасте двадцати шести лет стал освободителем своей родины от ига чужеземного италийского владычества, который затем в семилетней борьбе за отвоеванную свободу был и вождем, и солдатом и в борьбе за дело народа не щадил ни себя самого, ни своей жены и сына, чтобы 37 лет от роду пасть от руки убийц, — Арминию германский народ дал то, что был в состоянии дать: он навеки прославил его память в героической песне.





Глава II



Испания

В силу превратностей внешней политики Пиренейский полуостров оказался первой заморской континентальной областью, в которой римляне утвердились и ввели постоянное двойное военное командование. Уже правительство республики не ограничилось здесь, как в Галлии и Иллирике, подчинением побережья морей, омывающих Италию; напротив, с самого начала оно по примеру карфагенских Баркидов поставило себе целью завоевание всего полуострова. Столкновения римлян с лузитанами (в нынешней Португалии и Эстремадуре) не прекращались с того момента, как римляне объявили себя властителями Испании. Собственно для борьбы с ними и была учреждена Дальняя провинция одновременно с учреждением провинции Ближней Испании. Галлеки (в нынешней Галисии) подчинились римлянам за 100 лет до битвы при Акциуме. Незадолго до этой битвы Цезарь, будущий диктатор, в первом своем походе в Испанию дошел со своим войском до Бригантия (Корунья) и еще раз обеспечил административную зависимость этой области от Дальней провинции. Военные действия в северной Испании не прекращались и позже, в годы между смертью Цезаря и началом единовластного правления Августа. За этот короткий промежуток времени не менее шести наместников Испании добились для себя триумфа в Риме, и возможно, что покорение южного склона Пиренеев было осуществлено преимущественно в эту эпоху*. С этим покорением, наверное, связаны войны против со-

* Помимо носившего политический характер триумфа Лепида, триумфы за победы в Испании справляли: в 718 г. Гн. Домиций Кальвин

племенных испанцам аквитанов на северном склоне Пиренеев, происходившие в это же время (последняя из этих войн закончилась в 727 г. победой римлян). При реорганизации управления империей в 727 г. полуостров достался Августу, ибо там предполагалось начать военные операции крупного масштаба, требовавшие длительного пребывания войск. Хотя южная треть Дальней Испании, получившая новое название от реки Бетиса (Гвадалквивира), вскоре была возвращена в ведение сената*, значительно большая часть полуострова все же постоянно оставалась в императорском управлении, которому были подчинены как составлявшие большую часть Дальней Испании Лузитания и Галлекия**, так и вся обширная территория Ближней Испании. Немедленно после учреждения нового верховного управления Август лично отправился в Испанию, чтобы в течение своего двухлетнего пребывания (728—729) ввести там новое административное устройство и руководить оккупацией еще не подчинившихся Риму областей. Он занимался всем этим, не покидая Тарракона; вообще в это время центр управления Ближней провинцией был перенесен из Нового Кар-

(консул 714 г.), в 720 г. Г. Норбан Флакк (консул 716 г.), между 720 и 725 гг. Л. Марций Филипп (консул 716 г.) и Аппий Клавдий Пульхр (консул 716 г.) в 726 г. Г. Кальвизий Сабин (консул 715 г.), в 728 г. Секст Апулей (консул 725 г.). Авторы упоминают лишь победу, которую Кальвин одержал над церетанами близ Пуисерды в восточных Пиренеях (*Дион Кассий*, 48, 42; ср. *Веллей*, 2, 78 и монету Сабина с надписью «Oscæ» у *Eckhel*, 5, 203).

* Так как Августа Эмерита в Лузитании сделалась колонией лишь в 729 г. (*Дион Кассий*, 53, 26), то Лузитания не была бы пропущена при перечислении провинций, в которых Август основывал колонии (Моп. Апсуг., р. 119. ср. р. 222), если бы она была уже отделена от Дальней Испании; поэтому вероятнее всего предположить, что отделение Лузитании от Дальней Испании произошло лишь после войны с кантабрами.

** Галлекия была занята римлянами в результате наступления из Дальней провинции; к тому же в первые годы правления Августа она, вероятно, принадлежала к Лузитании; по-видимому, Астурия первоначально также была присоединена к этой провинции. Иначе невозможно понять рассказ у Диона Кассия (54, 5). Строитель Эмериты Т. Каризий был, очевидно, наместником Лузитании, Г. Фурний — наместником Тарраконской провинции. С этим согласуется параллельное изображение у Флора (2, 33), ибо *Drigaescini* манускриптов, наверное, тождественны с *Βρυγαίχινά*, которых Птолемей (2, 6, 29) упоминает среди прочих астуристов. Поэтому и Агриппа в своих измерениях соединяет в одно Лузитанию с Астурией и Галлекией (*Плиний*, Н. Н., 4, 22, 118), а Страбон (3, 4, 20, стр. 166) говорит, что галлеки раньше назывались лузитанами. О колебаниях в разграничении испанских провинций упоминает Страбон (3, 4, 19, стр. 166).

фагена в Тарракон, по имени которого с тех пор обычно и называют эту провинцию.

Если, с одной стороны, казалось необходимым не удалять центр администрации от побережья, то, с другой стороны, новая столица Ближней Испании господствовала над областью Эбро и коммуникационными линиями, соединявшими ее с северо-западом полуострова и с Пиренеями. Восемь лет продолжалась трудная и стойкая большая жертв война с астурами (в провинциях Астурии и Леоне) и особенно с кантабрами (в области васконов и в провинции Сантандер), упорно защищавшими свои горы и совершавшими набеги на соседние округа, — война, в которой происходили перерывы, выдававшиеся римлянами за победы, пока наконец Агриппе не удалось путем разрушения горных городков и переселения жителей в долины сломить их открытое сопротивление.

Хотя побережье океана от Кадикса до устья Эльбы, по словам императора Августа, со времени его правления подчинялось римлянам, на северо-западном побережье Испании подчинение это было отнюдь не добровольным и весьма малонадежным. До установления в этой области настоящего мира было, по-видимому, очень далеко. Еще при Нероне мы слышим о походах против астуфов. Еще определеннее свидетельствует об этом оккупация страны, проведенная при Августе. Галлекия была отделена от Лузитании и соединена с Тарраконской провинцией с целью сосредоточить верховное командование над всей северной Испанией в одних руках. Эта провинция являлась в то время единственной, которая была занята римскими легионами, хотя и не находилась в непосредственном соседстве с вражеской страной; по распоряжению Августа этих легионов должно было быть не менее трех*, причем два находились в Астурии, а один — в Кантаб-

* Это были легионы: 4-й Македонский, 6-й Виктрикс, 10-й Гемина. Первый из них в связи с перемещением военных лагерей, вызванным британской экспедицией Клавдия, был переведен на Рейн. Оба других, хотя и неоднократно действовали за этот промежуток времени в других местах, в начале правления Веспасиана еще находились в своем старом гарнизоне, и вместе с ними взамен 4-го легиона стоял вновь сформированный Гальбой 1-й Адьютрикс (*Тацит*, История, 1, 44). Все три легиона в связи с войной против батавов были отправлены на Рейн, и лишь один из них вернулся обратно. Еще в 88 г. в Испании стояло несколько легионов (*Плиний*, Панегирик, 14; ср. *Herms*, 3, 118), в том числе, несомненно, стоявший еще до 79 г. в Испании 7-й Гемина (*C. I. L.*, II, 2477); вторым легионом был, по-видимому, один из упомянутых трех, вероятно 1-й Адьютрикс, ибо он вскоре после 88 г. участвовал в дунайских войнах Домициана, а при Траяне стоял в Верхней Германии, что и заставляет предполагать, что он принадлежал к числу легионов, которые в 88 г. были направлены из Испании в Верхнюю Германию. В Лузитании легионов не было.

рии; несмотря на трудное военное положение в Германии и Иллирике, количество легионов здесь не было уменьшено. Главная квартира была устроена между старой метрополией Астурии, Лансией, и новой, Астурикой Августой (Асторгой), в Леоне, сохранившем это название до настоящего времени.

Вероятно, в связи с этой усиленной оккупацией северо-запада стоит проведение в начале империи широкой сети дорог, хотя мы и не в состоянии детально проследить эту связь, ввиду того что дислокация римских войск в правление Августа нам неизвестна. Впрочем, мы знаем, что Август и Тиберий соединили главный город Галлекии Бракару (Брагу) с Астурикой, т. е. римской главной квартирой, а равно с соседними городами на севере, северо-востоке и юге. Тиберий строил дороги также в области васконов и в Кантабрии*. Постепенно оказалось возможным сократить гарнизоны, и два легиона — один при Клавдии, а другой при Нероне — были выведены из Испании. Однако считалось, что оба они лишь временно откомандированы, и в начале правления Веспасиана испанская оккупационная армия снова имела свой прежний состав; по-настоящему ее сократили только Флавиус Веспасиан — на два легиона, Домициан — на один. С этих пор и до эпохи Диоклетиана в Леоне стоял гарнизоном лишь один легион, 7-й Гемина, да еще несколько вспомогательных отрядов.

В эпоху принципата ни одна провинция не была столь мало затронута внешними и внутренними войнами, как эта страна далекого Запада. В то время командующие римскими армиями как бы заняли место соперничающих партий; но и в этом отношении испанское войско играло совершенно второстепенную роль. Гальба вмешался в гражданскую войну только в качестве помощника своего коллеги и лишь совершенно случайно выдвинулся на первое место. По-видимому, северо-западная часть полуострова еще во II и III вв. не была окончательно подчинена, ибо даже после сокращения в этой области оккупационной армии последняя все же оставалась относительно чрезвычайно сильной. Тем не менее мы не можем сообщить ничего опре-

* У местечка Писораки (Эррера на Писуэрге, между Паленсией и Сантандером), которое упоминается только на надписях Тиберия и Нерона и притом в качестве исходного пункта императорской дороги (С. I. L., II, 4883, 4884), должно быть, находился лагерь кантабрийского легиона, подобно тому как у Леона стоял лагерь астурийского легиона. Августобрига (к западу от Сарагосы) и Комплут (Алкала де Энарес, к северу от Мадрида), также являвшиеся центрами имперских дорог, были обязаны этим не своему значению в качестве городов, а тому, что они были военными лагерями. По-видимому, в связи с этим стоит тот факт, что один из отрядов этого легиона действовал в течение непродолжительного времени и в Нумидии.

деленного о действиях испанского легиона на территории провинции. В войне против кантабров применялись военные корабли; впоследствии же у римлян не было поводов устраивать здесь постоянную стоянку флота. Только после Диоклетиана мы не находим постоянной армии на Пиренейском полуострове точно так же, как на Апеннинском и Балканском.

В связи с описанием внутреннего положения в Африке мы скажем подробнее о нападениях, которым подвергалась провинция Бетика, по крайней мере с начала II в., со стороны мавров — риффских пиратов, совершавших свои набеги с противоположного берега. Вероятно, именно по этой причине в городе Италике (близ Севильи) была поставлена в виде исключения часть легиона, размещенного в Леоне, несмотря на то, что вообще в сенатских провинциях императорских войск обычно не было. Однако обязанность охранять от этих вторжений богатую южную Испанию была возложена главным образом на военное командование провинции Тингитании (Танжер). Тем не менее бывали случаи, что осаде со стороны пиратов подвергались такие города, как Италика и Сингили (близ Антекверы).

Романизация Запада, эта всемирно-историческая задача Римской империи, нигде не была подготовлена республиканским правительством в такой мере, как в Испании. Дело, начатое войной, было продолжено мирными сношениями; римская серебряная монета получила в Испании всеобщее распространение раньше, чем она была принята где-либо вне Италии, а эксплуатация рудников, виноделие, разведение маслины и торговые сношения вызвали непрерывный приток италийского населения к берегам Испании, особенно на юго-западе. Созданный Баркидами Новый Карфаген, с момента своего возникновения до эпохи Августа бывший главным городом Ближней Испании и первым торговым центром Испании, уже в VII в. от основания Рима имел многочисленное римское население. Картея, основанная за поколение до Гракхов напротив нынешнего Гибралтара, представляет первую заморскую городскую общину с населением римского происхождения (II, 10). Издревле знаменитый Гадес, родной брат Карфагена, ныне Кадикс, был первым чужеземным городом вне Италии, получившим римское право и усвоившим римский язык (III, 461). Если, таким образом, на большей части средиземноморского побережья как исконная туземная, так и финикийская цивилизации уже в эпоху республики приспособлялись к обычаям господствующей нации, то в эпоху империи ни в одной провинции романизация не проводилась сверху так энергично, как в Испании. В особенности же в южной половине Бетики, между рекой Бетисом и Средиземным морем, отчасти уже при республике или при Цезаре, отчасти в 739 и 740 гг. по распоряжению Августа целый ряд общин получил права полного римского гражданства; здесь эти общины лежали не на побережье, но преимущественно во внутренней

области. Это были, во-первых, Гиспал (Севиля) и Кордуба (Кордова) с правом колонии и, во-вторых, Италика (близ Севильи) и Гадес (Кадикс) с правом муниципия. В южной Лузитании мы также встречаем ряд равноправных городов, а именно Олизипон (Лиссабон), Пакс Юлия (Бежа), а также основанную Августом во время его пребывания в Испании и превращенную в главный город этой провинции колонию ветеранов Эмериту (Мериду). В Тарраконской провинции общины граждан находились преимущественно на побережье; таковы Новый Карфаген, Илики (Эльче), Валенсия, Дертоса (Тортоса), Тарракон, Баркинон (Барселона); внутри страны известна лишь колония в долине Эбро, Цезаравгуста (Сарагоса). При Августе во всей Испании насчитывалось 50 общин с полным правом римского гражданства; около 50 других общин получили пока латинское право и в отношении внутреннего устройства стояли наравне с гражданскими общинами. В прочих городских общинах Испании император Веспасиан в связи с произведенной им в 74 г. общенперской переписью тоже ввел латинское городское устройство. В это время, как и вообще в лучшую эпоху империи, дарование права гражданства не практиковалось более широко, чем при Августе*; решающее значение имело при этом, вероятно, то обстоятельство, что рекруты набирались исключительно из числа римских граждан.

Коренное население Испании, частично смешавшееся с поселившимися здесь выходцами из Италии и во всяком случае широко приобщившееся к италийским обычаям и языку, ни разу не сыграло сколько-нибудь заметной роли в истории империи. То племя, остатки которого, сохранившие свой язык, доньяне держатся в горах Бискайи, Гипускоа и Наварры, некогда, вероятно, занимало весь полуостров, подобно тому как берберы занимали Северную Африку. Язык этого племени, совершенно отличный от индогерманских языков и, подобно языку финнов и монголов, не имеющий флексий, является доказательством его первоначальной самостоятельности. Важнейшие памятники, сохранившиеся от этого племени, а именно — монеты, в первом столетии римского владычества в Испании были распространены по всему полуострову, за исключением южного побережья, от Кадикса до Гранады, где в то время господствовал финикийский язык, а также области к северу от устья Тахо и к западу от истоков Эбро, большая часть которой была в то время, вероятно, фактически независима и, конечно, совершенно не затронута цивилизацией. Южноиспанский алфавит этой иберийской области заметно отличается от алфавита северной провинции; тем не менее оба они,

* Выражение Иосифа Флавия (*contra Apionem*, 2, 4), что «иберов называют римлянами», может относиться лишь к пожалованию им Веспасианом латинского права и представляет неточное сообщение иностранца.

совершенно очевидно, представляют две ветви одного и того же корня. Иммиграция финикийцев была здесь еще менее значительна, чем в Африке, а примесь кельтского элемента не изменила в сколько-нибудь заметной для нас степени общего единообразия национального развития. Что же касается столкновений римлян с иберами, то они преимущественно относятся к республиканской эпохе и уже были описаны нами ранее (I, 635 и сл.). После уже упомянутых выше последних военных экспедиций при первой императорской династии иберы совершенно исчезают из нашего поля зрения. Сохранившиеся известия не дают удовлетворительного ответа и на вопрос, насколько они были романизованы в эпоху империи. Нет надобности доказывать, что при сношениях с чужеземными властителями они искони должны были пользоваться латинским языком; однако под влиянием Рима национальный язык и письменность исчезают из публичного обихода и внутри самих общин. Уже в последнем столетии республики в общем почти прекратилась местная чеканка монеты, первоначально разрешенная и имевшая широкое распространение. В эпоху империи все монеты испанских городов имеют только латинскую надпись*. Ношение римской одежды и употребление латинского языка были широко распространены и среди тех испанцев, которые не имели италийского права гражданства; правительство также содействовало фактической романизации страны**. После

* Последним памятником туземного языка, время которого можно точно установить, является монета Озикерды, вычеканенная по образцу тех денариев с изображением слона, которые Цезарь выпускал во время войны в Галлии; она имеет латинскую и иберийскую надписи (*Zobel, Estudio histórico de la moneda antigua española, 2, 11*). Среди туземных или полутуземных надписей Испании некоторые, может быть, относятся и к более позднему времени; однако нет никакой вероятности, чтобы хотя одна из них имела общественное происхождение.

** Было время, когда общинам peregrinorum приходилось ходатайствовать перед сенатом о даровании им права в официальных случаях пользоваться латинским языком. В эпоху империи положение изменилось. В это время, вероятно, нередко имело место обратное явление — например, чеканка монеты разрешалась с условием, чтобы надпись была латинская. Латинские надписи делались и на общественных зданиях, сооруженных лицами, не принадлежащими к городским общинам. Так, например, одна надпись из Илипы в Андалузии гласит (C. I. L., II, 1087): *Urchail Atiitta f (ilius) Chilasurgun portas fornic[es] aedificand[a] curavit de s[ua] p[ro]secunia*. (Урхаил Атитта, сын Хилазургуна, выполнил на собственные средства постройку ворот с аркой.) Что ношение римской тоги было разрешено также и неримлянам и считалось признаком лояльности, доказывает выражение Страбона об «одетой в тогу Тарраконской провинции», равно как и поведение Агриколы в Британии (*Тацит, Агрикола, 21*).

смерти Августа латинский язык и римские обычаи преобладали в Андалузии, Гранаде, Мурсии, Валенсии, Каталонии и Арагоне, что являлось результатом не только колонизации, но и романизации. В силу упомянутого выше распоряжения Веспасиана употребление туземного языка было ограничено сферой частной жизни. То обстоятельство, что этот язык сохранился до настоящего времени, свидетельствует, что в этой сфере он никогда не исчезал; язык, сохранившийся теперь только в горах, которые никогда не были заняты ни готами, ни арабами, в римскую эпоху, видимо, был распространен в значительной части Испании, в особенности на северо-западе. Тем не менее романизация в Испании, наверно, началась гораздо раньше и проводилась интенсивнее, нежели в Африке; в Африке можно указать немало памятников с туземными надписями, относящихся к эпохе империи, в Испании же едва ли найдутся подобные надписи; берберский язык и ныне распространен на половине территории Северной Африки, тогда как иберский сохраняется лишь в долинах земли басков. Иного результата не могло и быть, как потому, что в Испании римская цивилизация появилась гораздо раньше и внедрялась гораздо энергичнее, нежели в Африке, так и потому, что в Испании в отличие от Африки местное население не имело опоры в свободных племенах.

Устройство туземных общин иберов не отличалось сколько-нибудь заметным для нас образом от устройства галльских общин. Подобно стране кельтов по обе стороны Альп, Испания с самого начала разделялась на племенные округа. Ваккеи и кантабры едва ли существенно отличались от ценоманов Транспаданской области или от ремов Бельгии. То обстоятельство, что на испанских монетах ранней эпохи римского владычества в подавляющем большинстве случаев обозначаются не города, но округа, не Тарракон, но цессетаны, не Сагунт, но арсенсы, — показывает нам еще яснее, чем история тогдашних войн, что в Испании некогда существовали большие союзы округов. Однако победители-римляне обращались с этими союзниками не всюду одинаково. Округа в Трансальпинской Галлии и под римским владычеством оставались политическими организациями, тогда как округа в Цизальпинской Галлии, как и в Испании, имели лишь географическое значение. Например, округ ценоманов являлся всего лишь общим наименованием территорий Бриксии, Бергома и т. д., а название «астуры» относилось к 22 политически самостоятельным общинам, которые, по-видимому, были столь же мало связаны между собой в правовом отношении, как города Бриксия и Бергом*.

* Эти своеобразные порядки раскрываются перед нами в списках испанских населенных пунктов у Плиния; они хорошо описаны Детлефсоном (*Philologus*, 32, 606 и сл.). Правда, терминология этих источников

Число таких общин в Тарраконской провинции в эпоху Августа равнялось 293, а в середине II в. — 275. Таким образом, древние союзы округов здесь были распущены. Едва ли это было вызвано тем обстоятельством, что союз веттонов и кантабров казался более опасным для единства империи, нежели союз секванов и треверов. Различие устройства Галлии и Испании связано с различиями времени и формы завоевания. Область по Гвадалквивиру стала римской на полтора столетия раньше, нежели берега Луары и Сены. Эпоха, в которую было положено основание испанских порядков, не слишком далеко отстоит от того времени, когда была уничтожена самнитская конфедерация. В Испании господствовал дух старой республики, в Галлии же — более свободные и мягкие воззрения Цезаря. Маленькие, бессильные округа, после уничтожения племенных союзов превратившиеся в носителей политического единства — в мелкие племена или роды, с течением времени преобразовались в Испании, как и повсюду, в города. Начало городского развития общин — в том числе и тех, которые не получили италийского права, восходит к республиканским, может быть, даже доримским временам; позже Веспасиан,

неточна; поскольку обозначения *civitas* (гражданская община), *populus* (народ), *gens* (род) относятся к самостоятельным общинам, они с полным основанием применяются и к этим частям племенных округов. Таким образом говорится, например, о X *civitates* (гражданских общинах) автригонов, о XXII *populi* (народах) астуриков, о *gens Zoelagum* (роде зелов) (С. I. L., II, 2633), который как раз входит в число этих 22 народов. Замечательный имеющийся у нас документ, относящийся к зелам (С. I. L., II, 2633), говорит, что этот *gens* (род) в свою очередь распался на *gentilitates* (родства), которые также назывались «родами» (*gentes*), о чем свидетельствуют и этот источник и ряд других данных (Eph. epigr., II, p. 243). Встречается также термин *civis* (гражданин) в применении к одному из кантабрских *populi* (Eph. epigr., II, p. 243). Однако и для более крупного округа, который некогда являлся политической единицей, также не существует других обозначений, кроме тех, которые были даны, собственно говоря, задним числом и неправильно; в особенности слово *gens* употребляется в этом значении даже в техническом языке (например, С. I. L., II, 4233: *Intercat[ensis] ex gente Vassacorum*). Что основой общинного устройства в Испании служили названные нами мелкие округа, а не крупные племенные округа, явствует как из самой терминологии, так и из того, что Плиний (3, 3, 18) упомянутым нами в тексте 293 населенным пунктам противопоставляет *civitates contributae aliis* (городские общины, подчиненные другим); далее, об этом же свидетельствует назначение должностного лица *ad census accipiendos civitatum XXIII Vasconum et Vardulorum* (для производства переписи в 23 общинах васконов и вардулов — С. I. L., VI, 1463) в сопоставлении с *sensor civitatis Remorum foederatae* (цензором союзной общины ремов — С. I. L., XI, 1855, ср. 2607).

распространив право латинского гражданства на всю провинцию, сделал, по-видимому, это превращение повсеместным или почти повсеместным*. Действительно, среди 293 общин Тарраконской провинции при Августе было 114 общин негородского типа, а среди 275 общин II в. таких оставалось только 27.

О положении Испании в общей системе управления империей можно сказать лишь немного. При наборах в армию испанские провинции играли выдающуюся роль. Стоявшие там легионы с самого начала принципата набирались, вероятно, преимущественно в самой стране. Когда в более позднюю эпоху был сокращен состав оккупационной армии и в то же время набор стал все более строго ограничиваться собственно округом данного гарнизона, Бетика, разделяя и в этом отношении судьбу Италии, наслаждалась сомнительным счастьем полной свободы от военной службы. Набор рекрутов для вспомогательных войск, производившийся именно в тех местностях, где городское устройство получило наименьшее развитие, широко практиковался в Лузитании, Галлекии и Астурии, а также в северных и центральных областях Испании. Август, отец которого сформировал отряд своих телохранителей из испанцев, ни в одной из подчиненных ему областей, за исключением Бельгики, не производил таких массовых военных наборов, как в Испании. Для римских государственных финансов эта богатая страна, без всякого сомнения, представляла один из самых надежных и обильных источников дохода; однако более точных сведений на этот счет у нас не имеется.

О том значении, которое имела в этих провинциях торговля, мы до некоторой степени можем судить по заботливости, которую проявляло правительство к строительству и содержанию дорог в Испании. На пространстве между Пиренеями и Тарраконом найдены римские мильевые камни, относящиеся уже к концу республики, между

* Так как общины, не имеющие городской организации, не могли быть превращены в городские общины латинского права, то те испанские общины, которые и после Веспасиана не имели городской организации, должно быть, либо не получили латинского права, либо получили его в видоизмененной форме. Последнее предположение мы считаем более вероятным. Надписи, относящиеся к эпохе после Веспасиана, обнаруживают существование латинских форм имен также и для *gentes* (С. I. L., II, 2633 и Eph. epigr., II, p. 322); а если бы нашлись отдельные надписи этого времени с неримскими именами, то еще можно задать вопрос, не имеем ли мы здесь попросту фактическую небрежность. Я сравнительно часто встречал указания на неримское общинное устройство в редких надписях, явно относящихся ко времени до Веспасиана (С. I. L., II, 172, 1953, 2633, 5048); напротив, я не встречал таких указаний в надписях, несомненно относящихся к последующему времени.

тем как ни в одной провинции Запада нет милевых камней, относящихся к этому периоду. Мы уже говорили, что Август и Тиберий поощряли дорожное строительство в Испании главным образом из соображений военного характера. Однако постройка Августом дороги возле Нового Карфагена могла иметь целью только интересы сообщения; преимущественно той же цели служила названная его именем имперская магистраль*, которую он привел в порядок и продолжил; эта дорога, продолжение итало-галльской береговой дороги, пересекала Пиренеи у перевала Пуисерды, отсюда шла на Таррагону, затем, не отклоняясь значительно от побережья, следовала через Валенсию до устья Хукара, откуда, пересекая внутреннюю область, вела в долину Бетиса; здесь, начиная от обозначавшей границу обеих провинций арки Августа, от которой начинался новый счет милевых камней, эта дорога шла по провинции Бетике до устья реки и, таким образом, соединяла Рим с океаном. Правда, это была единственная имперская дорога в Испании. После Августа правительство уже не проявляло больших забот о дорогах в испанских провинциях; попечение о дорогах вскоре почти полностью перешло в ведение городских общин; насколько мы можем судить, последние повсюду, за исключением внутреннего плоскогорья, восстановили пути сообщения в объеме, соответствовавшем культурному состоянию провинции. Ибо, хотя Испания и гориста, хотя в ней имеются степи и пустыни, она все же принадлежит к числу самых богатых стран земного шара как благодаря множеству злаков и плодов, так и благодаря обилию вина, оливкового масла и металлов. К этому следует добавить раннее развитие промышленности, производившей преимущественно железные изделия, а также шерстяные и льняные ткани. При имущественных переписях, производившихся в правление Августа, ни в одной городской общине с римским гражданским правом, за исключением Патавия, не оказалось такого количества богатых людей, как в испанском Гадесе, оптовые торговцы которого разъезжали по всему миру. Этому соответствовала утонченная роскошь быта; туземные танцовщицы с кастаньетами славились повсюду, а гадитанские арии были так же хорошо знакомы римским франтам, как и песни египетской Александрии. Близость Италии, а также удобный и дешевый морской транс-

* О направлении Августовой дороги (*via Augusta*) сообщает Страбон (3, 4, 9, стр. 160); ей принадлежат все милевые камни, носящие это имя, а также камни из окрестностей Лериды (С. I. L., 11. 4920—4928) и те, которые были найдены между Таррагоной и Валенсией (там же, 4949—4954); наконец, ей же принадлежат многочисленные камни *ab Iano Augusto, qui est ad Baetem* (от двухвратной арки Августа, находящейся у Бетиса), или *ab arcu unde incipit Baetica ad oceanum* (от арки, у которой начинается Бетика, до океана).

порт в эту эпоху создали Испании, особенно ее южному и восточному побережьям, возможность отправлять свои продукты на первый в мире рынок; вероятно, ни с одной страной Рим не вел такой обширной и постоянной оптовой торговли, как с Испанией.

О том, что римская цивилизация проникла в Испанию раньше и глубже, чем в какую-либо другую провинцию, свидетельствуют разнообразные данные, преимущественно из области религии и литературы. В областях, сохранивших свой иберийский характер и в более позднее время и мало затронутых иммиграцией — в Лузитании, Галлекии и Астурии, — святилища туземных богов с их странными, большей частью оканчивающимися на «*icus*» и «*esus*» именами — Эндовеликус, Эекус, Вагодоннегус и другие — сохранились и при принципате. Но что касается Бетики, то на всем ее пространстве не найдено ни единого камня с посвянительной религиозной надписью, который не мог бы с таким же основанием быть поставлен в самой Италии. То же самое можно сказать и о Тарраконской провинции в собственном смысле, где лишь на верхнем Дуэро попадаются отдельные следы культа кельтских богов*. Столь глубокой романизации религии мы не встречаем больше ни в одной провинции империи.

Цицерон упоминает латинских поэтов испанской Кордубы лишь с тем, чтобы отозваться о них отрицательно. Августовский век литературы также в сущности является созданием уроженцев Италии, хотя в отдельных случаях в общей работе принимали участие и провинциалы, между прочим, ученый библиотекарь императора филолог Гигин, родившийся в неволе в Испании. Однако начиная с этого времени испанцы взяли на себя в литературе роль если не корифеев, то, по крайней мере, школьных наставников. Бывший учитель Овидия, уроженец Кордубы Марк Порций Латрон, произведения которого служили образцами молодому Овидию, а также земляк и друг юности Латрона Анней Сенека, оба всего лишь лет на десять моложе Горация, долгое время подвизались в своем родном городе в качестве учителей красноречия, прежде чем перенесли свою преподавательскую деятельность в Рим. Оба они являются настоящими представителями школьной риторики, сменившей республиканскую свободу и дерзость речи. Когда однажды Латрону волей-неволей пришлось выступить в настоящем судебном процессе, он совершенно потерял нить своей речи и смог продолжать лишь после того, как суд в угоду этой знаменитости перенес разбор дела с трибунала на площади в школьную аудиторию.

* В Клунии найдена надпись с посвящением «Матерям» (С. I. L., II, 2776) — единственная, найденная в Испании надпись, относящаяся к этому столь распространенному у западных кельтов и столь долго державшемуся культу; в Уксаме найдено посвящение божеству Lugoves (там же, 2818), встречающемуся также у кельтов Авентика.

Сын Сенеки, министр при Нероне, модный философ своей эпохи, и его внук Лукан, поэт идейной оппозиции принципату, несмотря на то, что они не отличались особым литературным даром, также, бесспорно, имели большое историческое значение, которым до известной степени они обязаны Испании. Точно так же в эпоху ранней империи два других провинциала, уроженцы Бетики, заняли видное место в ряду писателей, являвшихся признанными авторитетами по части стиля; это были: при Клавдии — Мела с его краткими географическими описаниями, при Нероне — Колумелла с его обстоятельным, написанным частью также в поэтической форме сочинением о земледелии. Если при Домициане поэт Каний Руф из Гадеса, философ Дециан из Эмериты и оратор Валерий Лициниан из Билбила (Калатайуд близ Сарагосы) чествуются в качестве корифеев литературы наряду с Вергилием и Катуллом, а также тремя светилами Кордубы, то такая же слава досталась на долю уроженца Билбила Валерия Марциала*, который не уступает ни одному поэту той эпохи в тонкости и ловкости приемов, с одной стороны, и в продажности и пустоте — с другой; при этом не следует забывать об общем происхождении всех этих лиц. Но уже то, что Испания могла дать такую плеяду поэтов, свидетельствует о большой роли, которая принадлежит ей в литературе того времени.

Однако подлинной звездой первой величины среди латинских писателей Испании был Марк Фабий Квинтилиан (35—95) из Калагурриса на Эбро. Уже его отец занимался в Риме преподаванием красноречия. Сам же Квинтилиан явился в Рим по приглашению императора Гальбы, а при Домициане он занял почетное положение в качестве воспитателя племянников императора. Составленный им учебник риторики, представляющий собой до известной степени также

* Вот образец его хромых стихов:

Стихотворенья певца ученого любит Верона.
Мантуе счастье дарует Марон,
Ливием славна своим земля Апона и Стеллой,
Да и Флакком не меньше того,
Нил, заменяющий дождь, рукоплещет Апполодору,
О Назоне пелигны звучат,
Двум Сенекам своим да единственному и Лукану
Красноречивой Кордубы хвала,
Гадес веселый своим все Канием горд, Эмерита
Децианом блаженна моим.
Будет хвалиться тобой, Лициниан, несомненно,
И обо мне не смолчит наш Билбил.

(Марциал, Эпиграммы, I, 61, пер. А. Фета)

историю римской литературы, является одним из лучших сочинений, дошедших до нас от римской древности; он отличается тонким вкусом и верностью суждений, простотой чувства и изображения; изложение живое и непринужденное, поучительное и увлекательное; вообще, весь этот труд представляет собой, по замыслу самого автора, полную противоположность обильной громкими фразами, но бедной мыслями модной литературе того времени. Если направление этой литературы все же изменилось, хотя она не сделалась лучше, то это в немалой степени является заслугой Квинтилиана. В общем ничтожестве последующего периода влияние испанцев уже не чувствуется. Латинские писания этих провинциалов особенно важны для историка в том отношении, что они во всем следуют за литературным развитием метрополии. Правда, Цицерон подтрунивает над неловкостью и провинциализмами испанских стихотворцев, а римлянин по рождению, напыщенный и щепетильный в вопросах стиля Мессала Корвин неодобрительно отзывается о латыни Латрона; однако в период после Августа мы застаем совсем иную картину. Риторы Галлии, великие церковные писатели Африки, даже когда они писали по-латыни, всегда оставались до некоторой степени чужеземцами. Напротив, никто не признал бы за чужеземцев Сенеку и Марциала ни по содержанию, ни по форме их литературных произведений, и во всей Италии не было человека, который глубокой любовью к родной литературе и тонким ее пониманием превзошел бы учителя латинского языка из Калагурриса.



СОДЕРЖАНИЕ

Книга четвертая *(продолжение)* **РЕВОЛЮЦИЯ**

Глава XIII. Литература и искусство	5
--	---

Книга пятая

ОСНОВАНИЕ ВОЕННОЙ МОНАРХИИ

Глава I. Марк Лепид и Квинт Серторий	37
Глава II. Господство сулланской реставрации	66
Глава III. Свержение олигархии и господство Помпея	109
Глава IV. Помпей на Востоке	129
Глава V. Борьба партий во время отсутствия Помпея	164
Глава VI. Отступление Помпея и коалиция претендентов	190
Глава VII. Покорение Запада	209
Глава VIII. Совместное господство Помпея и Цезаря	279
Глава IX. Смерть Красса. Разрыв между соправителями	310
Глава X. Брундизий, Илерда, Фарсал и Тапс	338
Глава XI. Старая республика и новая монархия	412
Глава XII. Религия, образованность, литература и искусство	512

Книга восьмая

СТРАНЫ И НАРОДЫ ОТ ЦЕЗАРЯ ДО ДИОКЛЕТИАНА

Предисловие автора	571
Введение	572
Глава I. Северная граница Италии	576
Глава II. Испания	623

Теодор Моммзен
ИСТОРИЯ РИМА
Том 3

Художник *С. Царёв*
Корректоры: *Н. Никанорова, Н. Пустовойтова*

Лицензия ЛР № 065194 от 02 июня 1997 г.
Сдано в набор 10.06.97. Подписано в печать 01.08.97. Формат 84×108/32. Бум. газетная.
Гарнитура CG Times. Печать высокая. Усл. п. л. 33,6.
Тираж 5000 экз. Зак. № 233.

Издательство «Феникс»
344007, г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, 17
Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга»
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Советская, 57

**Издательство «ФЕНИКС» приглашает
к сотрудничеству авторов:**



— НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ
И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНЫХ
И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК



— ЮРИСПРУДЕНЦИИ



— МЕДИЦИНЫ



— ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

**Все финансовые затраты берем
на СЕБЯ, высокие гонорары
выплачиваем согласно договорам.**

**Наш адрес:
344007, г Ростов-на-Дону,
пер. Соборный, 17
Тел. (8632) 62-51-94, 62-47-07
Факс: 62-38-11**



Феникс

Торгово-издательская
фирма

Книги издательства «Феникс» можно приобрести в крупнейших магазинах г. Москвы:

ТД «Библио-Глобус»

ул. Мясницкая, 6 (тел. 925-24-57)

ТД «Москва»

ул. Тверская, 8 (тел. 229-66-43)

«Московский дом книги»

Новый Арбат, 8 (тел. 290-45-07)

«Молодая гвардия»

ул. Большая Полянка, 28 (тел. 238-50-01)

«Дом педагогической книги»

ул. Пушкинская, 7/5 (тел. 229-50-04)

«Медицинская книга»

Комсомольский проспект, 25 (тел. 245-39-27)

и других

По вопросам оптовых и мелкооптовых поставок книг издательства «Феникс» обращайтесь в г. Москве в фирму «Ридас»



Новоданиловская
набережная, 6.
(тел. 954-30-44).